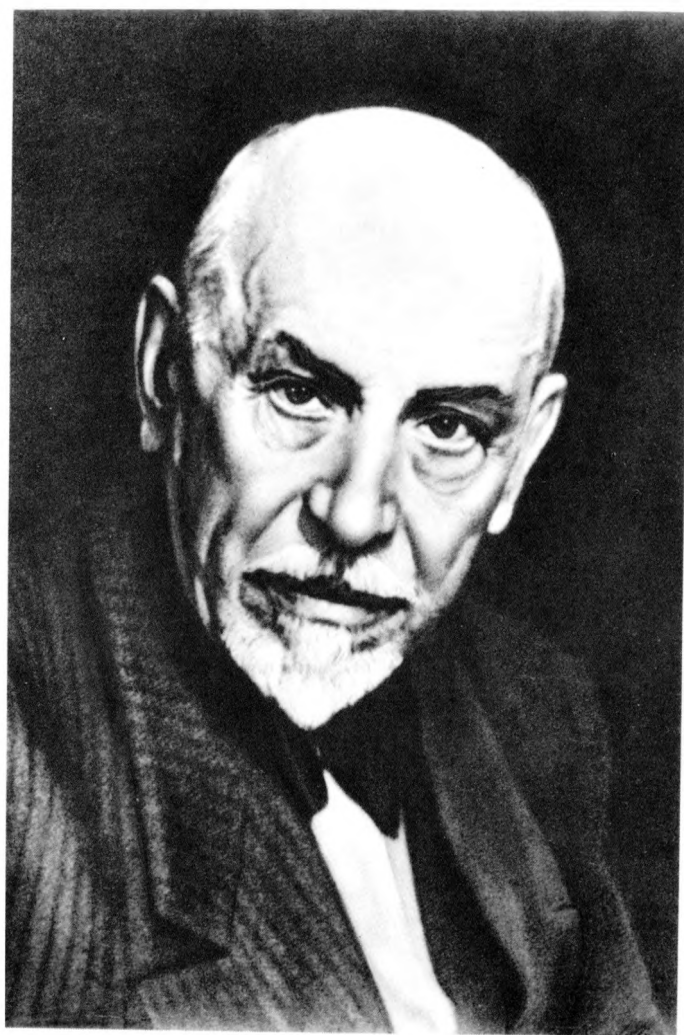




**ЛУИДЖИ
ПИРАНДЕЛЛО**





СЕРИЯ
«ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ»

ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО

Избранные произведения

Перевод с итальянского

МОСКВА
«ПАНОРАМА»
1994

ББК 84.4 Ит.
П 33

Издание выпущено в счет дотации,
выделенной Комитетом РФ по печати.

Состав и послесловие
И. Володиной
Художественное оформление
А. Неровного

П 4703010100-024
088(02)-94

ISBN 5-85220-202-9

© Состав и послесловие. И. Володиной, 1994 г.

© Художественное оформление. Издательство «Панорама», 1994 г.

Новеллы

СИЦИЛИЙСКИЕ ЛИМОНЫ

— Здесь живет Терезина?

Лакей, еще в жилете, но уже в высоченном крахмальном воротничке, оглядел с ног до головы молодого человека, стоявшего перед ним на лестничной площадке: с виду деревенщина, воротник дешевого пальто поднят так, что ушей не видно, руки посинели от холода, в одной — грязная сумка, в другой, словно для противовеся, — выдавший виды чемоданчик.

— Терезина? Какая Терезина? — в свою очередь спросил он, поднимая сросшиеся лохматые брови, больше похожие на усы, сбритые с губы и для сохранности приклеенные ко лбу.

Молодой человек мотнул головой, пытаясь стряхнуть каплю, повисшую на кончике носа.

— Терезина, певица.

— Ах вот что! — воскликнул лакей, улыбаясь с насмешливым недоумением. — Вы ее так изволите величать? Терезина — и все? А сами-то вы кто такой?

— Дома она или нет? — спросил молодой человек, хмурясь и шмыгая носом. — Доложите ей, что приехал Микуччо, и впустите меня.

— В такое время их никогда не бывает дома, — с деланной улыбкой ответил лакей. — Госпожа Сина Марнис в театре и...

— А тетушка Марта? — прервал его Микуччо.

— Так, значит, ваша милость племянником ей придется? — Лакей мгновенно стал воплощением учтивости. — Входите, пожалуйста, входите. Дома никого нет. Тетушка Марта тоже в театре. Раньше полуночи не воротится. Нынче бенефис госпожи... кем она приходится вашей милости? Кузиной, выходит?

Микуччо смешался и ответил не сразу.

— Нет, мы с ней... нет, она мне не кузина... Я... я Микуччо Бонавино, она знает. Мы земляки, я приехал повидать ее.

Услышав это, лакей решил, что можно обойтись обыкновенным «вы», без «вашей милости», и провел гостя в каморку возле кухни, где кто-то оглушительно храпел.

— Посидите здесь. Сейчас принесу лампу,— сказал он.

Микуччо первым делом бросил взгляд туда, откуда доносился храп, но ничего не разглядел, потом начал рассматривать кухню, где повар с помощью поваренка готовил ужин. Смешанный запах горячих кушаний ударил ему в нос — у него даже голова закружилась: Микуччо приехал из заштатного городка Мессинской провинции, больше суток провел в поезде, с утра ничего не ел.

Лакей внес лампу, и существо, храпевшее за занавеской, которая висела на шнуре, протянутом от стены до стены, сонно пробурчало:

— Кто там?

— Вставай, Дорина! — громко сказал лакей.— Я привел сюда господина Бонвичино.

— Бонавино,— поправил Микуччо, согревавший в эту минуту дыханием руки.

— Бонавино, верно, Бонавино, знакомого госпожи. Ты спишь как убитая: в двери звонят, а ты и не пошевелишься. Мне надо на стол накрывать, не могу же я разорваться, слышишь? То повару объясняй, что и как, то с приезжими гостями разговаривай...

Кто-то оглушительно зевнул, потом закричал, потягиваясь, потом, очевидно от холода, издал звук, напоминавший ржание,— таков был ответ на замечание лакея, который удалился, воскликнув:

— Ну и ну!

Микуччо, улыбаясь, следил, как тот шел по смежной, тоже полутемной, комнате, как потом открыл дверь в огромный ярко освещенный зал, где стоял роскошно сервированный стол, в изумлении он уставился на этот стол и, только когда снова услышал храп, перевел глаза на занавеску.

Лакей, перекинув салфетку через руку, сновал взад и вперед, ворча то на Дорину, которая так и не проснулась, то на повара, нанятого, судя по всему, специально для сегодняшнего торжества и надоевшего непрерывны-

ми требованиями объяснить то одно, то другое. Чтобы и его не сочли надоедливым, Микуччо благоразумно решил проглотить непрерывно возникавшие вопросы. Конечно, следовало бы сказать или дать понять, что он — жених Терезины, но Микуччо помалкивал, а почему — и сам не знал; скорее всего потому, что скажи он это — и лакею пришлось бы повести себя с ним, с Микуччо, как с хозяином, меж тем, глядя на него, такого непринужденного и даже в жилете элегантного, он смущался при одной мысли о подобном признании. И все-таки, когда тот в очередной раз пробежал по комнате, Микуччо не выдержал и спросил:

— Простите, а чей это дом?

— Наш, надо полагать, покамест мы в нем живем, — бросил в ответ лакей, не замедляя бега.

И Микуччо только и мог, что покачивать головой.

Значит, черт подери, это все-таки правда! Поймала фортуна за хвост! Ну и дела! Лакей — по виду важный господин, повар, мальчишка-поваренок, какая-то Дорина, которая храпит за занавеской, — и все они в услужении у Терезины! Кто бы мог подумать?..

Он мысленно представил себе убогую мансарду — там, далеко, в Мессинской провинции, где некогда жила Терезина с матерью. Пять лет назад, когда бы не он, Микуччо, мама и дочка умерли бы с голоду. И это он, он открыл сокровище, скрытое в горле Терезины! В ту пору она пела, не умолкая, пела, как чирикает воробей под стрехой, понятия не имея о своем сокровище; пела от горькой досады, пела, чтобы не думать о нищете, которую он старался по мере сил облегчить, несмотря на вечные ссоры из-за этого с родителями, особенно с матерью. Но мог ли он бросить Терезину на произвол судьбы после смерти ее отца? Бросить только потому что она осталась без гроша за душой, а он худо-бедно, но все же зарабатывал на жизнь, состоя флейтистом в муниципальном оркестре? Уважительная причина, нечего сказать! Сердцу-то ведь не прикажешь!

Да, это было поистине наитием свыше, подсказкой самой судьбы — его решение сделать ставку на голос Терезины, на который никто и внимания не обращал, решение, принятое им сияющим апрельским днем. Стоя у слухового оконца, обрамлявшего ярко-синий клочок неба, Микуччо слушал Терезину — она напевала любовную сицилийскую песенку, — и он до сих пор помнил,

какие там были нежные и страстные слова. В тот день Терезина была очень печальна — отчасти из-за смерти отца, отчасти из-за упрямого сопротивления родителей Микуччо; помнится, он тоже был печален — так печален, что, слушая Терезину, не удержался от слез. А ведь она не раз пела ее, эту песенку, но с таким чувством — впервые. И до того он был потрясен, что через день, не предупредив ни Терезину, ни ее мать, привел в мансарду своего приятеля-дирижера. Тогда-то и начала она учиться пению, и два года сряду он тратил на Терезину почти все свое жалование: взял для нее пианино напрокат, накопил нот, делал время от времени дружеские приношения учителю. Далекие прекрасные времена! Терезина горела желанием пробить себе дорогу, завоевать славу, которую предсказывал ей учитель; и какие пламенные ласки расточала она в ту пору Микуччо, стараясь выразить всю глубину своей благодарности, и какие у обоих были надежды на совместное счастье!

Меж тем тетушка Марта только горестно качала головой: так много всякого повидала в жизни бедная старуха, что ни на что уже не надеялась; она боялась за дочку, не хотела, чтобы та хоть на миг поверила в возможность вырваться из сетей смиренной нищеты, и к тому же знала, как дорого обходится ему эта безумная и пагубная мечта.

Но Микуччо с Терезиной все пропускали мимо ушей, и тщетно она сопротивлялась, когда молодой, но уже известный композитор, услышав ее дочь в концерте, заявил, что не дать ей настоящего музыкального образования у лучших педагогов — значит поистине совершить преступление: в Неаполь, пусть едет в Неаполь и поступит там в консерваторию, чего бы это ни стоило.

И тогда он, Микуччо, не долго думая, рассорившись с родителями, продал имение, завещанное ему дядей-священником, и отправил Терезину в Неаполь для завершения музыкального образования.

С тех пор он ее не видел. Письма... да, письма он получал, сперва от нее, пока она училась в консерватории, потом от тетушки Марты, когда, после блистательного дебюта в театре «Сан-Карло», Терезину наперебой стали приглашать лучшие оперные театры и ее с головой захлестнула сценическая жизнь. На почтовых открытках под тщательно выведенными дрожащей рукой каракулями бедной старушки всегда была коротенькая приписка Терезины — на большее у нее не

хватало времени: «Дорогой Микуччо, подписываюсь под всем, что сообщила тебе мама. Будь здоров и помни обо мне». Они заранее договорились, что Микуччо даст ей пять-шесть лет, чтобы утвердиться на сцене: им ведь не к спеху, оба молоды. И все пять лет он показывал эти письма направо и налево, стараясь опровергнуть клевету на Терезину и тетюшку Марту, которую распускали его родные. Потом он заболел, чуть не отправился на тот свет; и вот тогда, без ведома и согласия Микуччо, тетюшка Марта и Терезина перевели на его имя кругленькую сумму; деньги частью разошлись во время болезни, но то, что осталось, он буквально вырвал из загребущих рук родителей и теперь приехал, чтобы вернуть их Терезине. Потому что денег ему не надо — нет, нет и нет! Не из-за того, что Микуччо считал их милостыней — он ведь достаточно на нее потратился, но... нет, нет и нет! Почему? Он и сам не знал, особенно сейчас, в этом доме... только нет, нет и нет! Прождавши столько лет, можно подождать еще немного. К тому же денег у Терезины явно вволю, будущее она себе обещала, значит, пришло время исполнить давний их уговор назло всем маловерам.

Нахмурившись, Микуччо встал, словно чтобы утвердиться в своем решении; он опять подышал на окоченевшие руки и начал притоптывать.

— Замерзли? — спросил, пробегая мимо, лакей.— Теперь уже скоро. Идите на кухню. Там согреетесь.

Микуччо не последовал совету лакея — тот слишком смущал и сбивал его с толку своим вельможным видом. В полном унынии он сел и задумался. Немного погодя в дверь так громко позвонили, что он вздрогнул.

— Дорина, госпожа вернулась! — заорал лакей; лихорадочно натягивая фрак, он кинулся к дверям, но, увидев, что Микуччо идет вслед за ним, остановился на бегу и отдал приказ:

— Ждите здесь, пока я не доложу.

— Ой-ой-ошеньки!.. — раздалось сонное оханье за занавеской, и вскоре, прихрамывая, с трудом разлепляя веки, оттуда выползла толстенная особа в кое-как напяленном платье; ее крашенные в цвет золота волосы были всклокочены, шерстяная шаль натянута по самый нос.

Микуччо выпучил на нее глаза. Она в свою очередь удивленно воззрилась на незнакомца.

— Госпожа вернулась,— повторил за лакеем Микуччо

И тут Дорина пришла в себя.

— Сейчас, сейчас...— забормотала она, пригладила волосы, кинула шаль за занавеску и, колыхаясь всей своей грузной персоной, помчалась в прихожую.

Появление этой крашеной ведьмы и приказ лакея вселили в Микуччо, и без того подавленного, какое-то горестное предчувствие. До него донесся пронзительный голос тетушки Марты.

— Туда, в зал, в зал, Дорина!

Мимо него проществовали Дорина с лакеем, нагруженные великолепными корзинами цветов. Он вытянул шею, стараясь разглядеть, что происходит в этом зале, стараясь услышать гул голосов. Потом все вокруг затуманилось: до глубины души взволнованный, потрясенный, он даже не заметил, что глаза его полны слез; Микуччо зажмурился и в наступившем мраке весь внутренне сжался, стараясь справиться с режущей болью, вызванной взрывом звонкого смеха. Это, как будто, Терезина? Господи, над чем она так смеется?

Приглушенный возглас заставил его открыть глаза: перед ним стояла — почти неузнаваемая! — тетушка Марта; она была в шляпе — вот бедняжка! — и в тяжело обвисшей роскошной бархатной накидке.

— Микуччо? Ты?

— Тетушка Марта! — воскликнул он, не двигаясь и с некоторым испугом глядя на нее.

— Как это так? — растерянно продолжала она. — Не предупредив? Что стряслось? Когда ты приехал? Это ж надо, как раз сегодня вечером? О Боже милостивый!

— Я приехал, чтобы...— забормотал Микуччо, не зная, что сказать.

— погоди! — перебила его тетушка Марта. — Как же быть? Как быть? Видишь, сынок, сколько там народу? Сегодня у Терезины праздник, ее бенефис. Посиди немного здесь...

— Если вы...— выдавил из себя Микуччо: от душевной муки у него перехватило горло. — Если считаете, что мне лучше уйти...

— Да нет, говорю тебе, посиди немного здесь,— торопливо и сконфуженно пробормотала старуха.

— Дело в том,— снова заговорил Микуччо,— что я не знаю, куда мне здесь деться... так поздно...

Сделав рукой в перчатке знак обождать, тетушка Марта прошла в зал, который, как показалось Микуччо, сразу обезлюдел, такая там наступила тишина. Потом он услышал отчетливый звучный голос Терезины:

— Простите, господа...

Он подумал, что вот сейчас она придет сюда, и у него снова потемнело в глазах. Но она не пришла, и в зале снова стало шумно. Зато через несколько бесконечно долгих минут вернулась тетушка Марта, уже без перчаток, без шляпы и накидки и не такая сконфуженная.

— Подождем немножко здесь, хорошо? — сказала она.— Я побуду с тобой. Они там ужинают. А мы побудем здесь. Дорина накроет на этом столике, поужинаем вдвоем, вспомним доброе старое время, ладно? Просто не верю, что это ты, сыночек, здесь, со мной... ты да я! Видишь, сколько там господ собралось... Она, бедняжка, иначе никак не может... Сам понимаешь, карьера требует... А какую она сделала карьеру! Ты ведь читал в газетах? Прямо неслыханную, сынок! Но я... я до сих пор как рыба на песке... Просто не верится, что проведу сегодняшний вечер с тобой!

Старуха все говорила, говорила, не умолкая, бессознательно стараясь отвлечь его внимание, потом наконец улыбнулась, потирая руки, растроганно глядя на него.

Вошла Дорина и накрыла на стол, явно торопясь, потому что там, в зале, ужин уже начался.

— Она придет? — отрывисто и тревожно спросил Микуччо.— Удастся ли мне хоть взглянуть на нее?

— Конечно, придет,— скороговоркой произнесла старушка, с трудом скрывая смущение.— Сразу как улучит минутку — она сама мне это сказала.— Глаза их встретились, и они оба улыбнулись, словно наконец узнали друг друга. Казалось, их сердца, победив волнение и неловкость, обменялись приветствиями. «Вы — тетушка Марта»,— говорили глаза Микуччо. «А ты — Микуччо, мой дорогой, мой хороший сынок, и ничуть ты не изменился, бедняга»,— отвечали глаза тетушки Марты. Но почти сразу она потупилась, чтобы он не прочел в них лишнего.

— Закусим? — снова потирая руки, спросила она.

— Я голоден как волк! — воскликнул Микуччо, успокоившись и повеселев.

— Первым делом перекрестимся: при тебе я могу себе

это позволить.— И, лукаво подмигнув, тетушка Марта осенила себя крестом.

Появился лакей с первым блюдом. Микуччо напряженно следил за тем, как старуха накладывает себе еду, но, когда очередь дошла до него, он, поднимая руки, вдруг вспомнил, какие они у него грязные после долгой езды в поезде, покраснел, сконфузился и взглянул на лакея, а тот, теперь образец учтивости, слегка кивнул головой, улыбнулся, приглашая угощаться. К счастью, на помощь пришла тетушка Марта.

— погоди, я хочу поухаживать за тобой.

Он был так благодарен, что чуть не расцеловал ее тут же. Когда с раскладыванием кушанья было покончено и лакей ушел, Микуччо тоже торопливо перекрестился.

— Молодец, сынок,— похвалила его тетушка Марта.

И он сразу почувствовал уверенность, блаженное спокойствие, забыл о своих грязных руках и о лакее и принялся есть с таким аппетитом, словно всю жизнь голодал.

Но всякий раз, когда лакей, бегая взад и вперед, распахивал стеклянную дверь зала и оттуда доносился смутный гул голосов или громкий смех, Микуччо взволнованно оборачивался, а потом смотрел в скорбные и любящие глаза старухи, пытаясь прочесть в них объяснение. Но читал только мольбу ни о чем сейчас не расспрашивать, отложить разговор на после. И они снова улыбались друг другу и продолжали есть, беседуя о далеком своем городе, о друзьях и знакомых, и расспросам тетушки Марты не было конца.

— Почему ты не пьешь?

Он потянулся за бутылкой, но тут дверь зала вновь распахнулась: шуршание шелка, торопливые шаги и такое сияние, словно каморку внезапно залили ярким светом для того, чтобы ослепить Микуччо.

— Терезина...

Слова замерли на губах, так он был потрясен. Королева, воистину королева!

Весь красный, выпучив глаза, раскрыв рот, он остолбенело уставился на нее. Может ли быть, чтобы она... вот так?.. Голая грудь, голые плечи, голые руки... в переливчатом блеске тканей и драгоценностей... Она стоит перед ним, и все равно это не она, не настоящая. Что в ней от прежней Терезины? Ни голоса, ни глаз, ни смеха — он ничего не узнавал в этом точно во сне привидевшемся существе.

— Как поживаешь, Микуччо? Ты совсем выздоровел? Вот молодчина! Ведь ты, если не ошибаюсь, болел? Мы поболтаем с тобой, но попозже... А сейчас посиди с мамой... Хорошо?

И Терезина умчалась в зал, шурша шелками.

— Что ж ты не ешь? — нарушив молчание, робко спросила тетушка Марта, чтобы хоть немного привести его в себя.

Но он даже не взглянул на нее.

— Поешь, пожалуйста,— настаивала старушка, указывая на тарелку.

Двумя пальцами Микуччо оттянул измятый, перепачканный паровозной копотью воротничок — ему не хватало воздуха.

— Поесть?

И несколько раз провел рукой под подбородком, точно благодарил ее и давал понять: сыт по горло, больше не лезет. Снова помолчал, униженный, подавленный только что явившимся ему видением, потом прошептал:

— Какая она стала...

И тетушка Марта горестно кивнула в ответ и тоже отодвинула тарелку, будто все знала наперед.

— Смешно и думать...— добавил он, как бы размышляя вслух, и закрыл глаза.

И в этой тьме отчетливо увидел пронасть, разделившую их. Нет, это была не она — вон та, в зале,— не его Терезина. Все кончено, все давно уже кончено, и только он один, болван несчастный, ничего не понимал. Сколько раз ему говорили об этом там, на родине, но он упрямо отказывался верить. И теперь каким чуделом выглядит он здесь, в ее доме! Если бы эти господа и даже этот лакей, если бы они узнали, что он, Микуччо Бонавино, приехал из такой дали, тридцать шесть часов провел в поезде, всерьез считая себя женихом этой королевы, как бы они хохотали — и эти господа, и этот лакей, и повар, и поваренок, и Дорина! Как бы хохотали, если бы Терезина притащила его в зал на всеобщее обозрение и воскликнула: «Смотрите, этот дурачок, этот жалкий флейтист говорит, что хочет жениться на мне!» Правда, она сама дала ему слово, но могла ли она представить себе, что когда-нибудь станет вот такой? Правда и то, что это он открыл ей нуть, помог вступить на него, но теперь она уже ушла так далеко, так далеко, что он, оставшийся на месте, по-прежнему играющий

на флейте по воскресеньям на городской площади, может ли он рассчитывать настигнуть ее? Смешно и думать... и потом, что значат эти жалкие гроши, потраченные когда-то на нее, ставшую теперь такой важной дамой? Его кинуло в жар при одной мысли, что кто-то может заподозрить, будто он и приехал только для того, чтобы предъявить свои права в оплату за те мизерные гроши. И тут он вспомнил, что в кармане у него деньги, посланные Терезиной во время его болезни. Он залился краской, так ему стало стыдно, и сразу полез во внутренний карман пиджака за бумажником.

— Я еще и для того приехал, тетушка Марта, — скороговоркой сказал он, — чтобы вернуть вам те деньги, которые вы прислали. Вернуть, уплатить долг, называйте, как хотите. Вижу, Терезина стала теперь... да, мне показалось — передо мной королева! Вижу... ладно, даже и думать смешно! Но деньги — нет уж, увольте, этого я от нее не заслужил. Все кончено, тут и говорить не о чем, но деньги — увольте! Мне только одно неприятно — что я возвращаю не сполна.

— Что ты такое говоришь, сынок! — горестно, со слезами на глазах, попыталась его прервать тетушка Марта.

Микуччо сделал ей знак замолчать.

— Не я их истратил, истратили мои родители, когда я был болен и понятия ни о чем не имел. Но пусть они пойдут в уплату за ту мелочь, которую я истратил... помните? И довольно об этом. Тут все, что не разошлось тогда. А теперь я ухожу.

— Как уходишь? Что на тебя нашло? — воскликнула тетушка Марта, стараясь его удержать. — Подожди, я хотя бы предупрежу Терезину. Ведь она же тебе сказала, что хочет еще повидать тебя. Сейчас пойду к ней...

— Нет, это ни к чему, — твердо сказал Микуччо. — Пусть остается с теми господами, ее место там. А я, горемыка... еще раз повидал ее, с меня и довольно... Лучше и вы... идите к ним и вы... Слышите, как они смеются? Не хочу, чтобы смеялись надо мной. Я ухожу.

В неожиданном решении Микуччо тетушка Марта усмотрела самое для себя тягостное: знак презрения, порыв ревности. Ей, бедняжке, теперь вечно чудилось, что при виде ее дочери все сразу начинают подозревать худшее, то самое, из-за чего она так много и так безутешно плакала, из-за чего втайне терзалась среди сутолоки

этого ненавистно-роскошного существования, которое постыдно пятнало ее и без того утомленную старость.

— Но ведь мне, сынок,— вырвалось у нее,— мне уже не уберечь ее...

— Почему? — спросил Микуччо и тут же стал мрачнее тучи, прочитав в глазах старушки ответ, который до сих пор не приходил ему в голову.

Сломленная горем, тетушка Марта закрыла лицо дрожащими руками, но справиться с хлынувшими слезами не смогла.

— Да, да, уходи, сынок, уходи...— всхлипывала она.— Ты прав, не для тебя она теперь... если бы вы меня послушались тогда!..

— Значит...— крикнул Микуччо, бросаясь к ней и силой отрывая одну ее руку от лица, но она приложила палец к губам, таким скорбным, таким униженным взглядом моля о пощаде, что он овладел собой и совсем другим тоном, стараясь приглушить голос, сказал: — Ах так, значит, она... она уже не достойна меня. Ладно, ладно, теперь я сам уйду... Значит, еще и это... Какой же я болван, тетушка Марта, ни о чем не догадывался! Не плачьте... Что поделаешь! Карьера, как говорится, карьера...

Он вытащил из-под стола чемоданчик и сумку и направился к выходу, но вдруг вспомнил, что в сумке лежат чудесные лимоны, купленные перед отъездом для Терезины.

— Ох, посмотрите, тетушка Марта! — сказал он. Развязав сумку и одной рукой придерживая ее, Микуччо высыпал на стол налитые ароматные плоды, потом добавил: — А не запустить ли мне ими в головы вон тех благородных господ?

— Ради Бога! — простонала старушка, все еще плача, и жестом снова попросила его замолчать.

— Ну, ну, успокойтесь,— горько посмеиваясь, сказал Микуччо и спрятал пустую сумку в карман.— Я привез их в подарок ей, но сейчас оставляю вам одной, тетушка Марта.— Он выбрал лимон и поднес его к носу старухи.— Понюхайте, тетушка Марта, понюхайте, как пахнет наша родина. Подумать только, я ведь даже пошлину за них заплатил!.. Ладно. Но помните, вам одной. А ей от моего имени скажите: «Желаю удачной карьеры!»

Подхватил с пола чемоданчик и ушел. Но на лестнице вдруг пал духом: один-одинешенек ночью в огромном

чужом городе, так далеко от родных мест, обманутый, униженный, опозоренный... Он вышел на крыльцо — дождь лил как из ведра. У него не хватило мужества пуститься в путь по незнакомым улицам под таким проливнем. На цыпочках Микуччо вернулся, поднялся по лестнице на один марш, сел на верхнюю ступеньку, облокотился о колени, обхватил голову руками и беззвучно заплакал.

Когда все отужинали, Сина Марнис снова зашла в каморку. Ее мать тоже заливалась слезами в одиночестве, меж тем как из зала доносились веселые голоса и смех гостей.

— Он что, уже ушел? — удивленно спросила она.

Не поднимая на нее глаз, тетюшка Марта кивнула головой. Сина постояла, задумчиво уставившись в пространство, потом вздохнула:

— Бедняга...

И тут же, без перехода, улыбнулась:

— Погляди,— сказала ее мать, уже не утирая слез салфеткой,— какие он привез тебе лимоны.

— Ой, какие дивные! — подпрыгнув, воскликнула Сина. Прижав руку к груди, она другой рукой стала накладывать на нее лимоны.

— Не надо, слышишь, не надо! — возмущенно запротестовала мать.

Но Сина, ножав плечами, бегом бросилась в зал, выкрикивая:

— Сицилийские лимоны! Сицилийские лимоны!

ТЕСНЫЙ ФРАК

Обычно профессор Гори был довольно терпелив со старой служанкой, которая работала у него около двадцати лет. Но сегодня в первый раз в жизни ему предстояло надеть фрак, и это вывело его из равновесия.

Сама мысль, что такая чепуха способна сломить столь сильный дух, чуждый мирской суеты и погруженный в заботы высшего порядка,— сама эта мысль возмутила его. Как мог он согласиться напялить эту дурацкую штуку, предписанную нелепым обычаем для всех тех случаев, когда жизнь обманывает себя самое иллюзорными радостями празднеств!

И потом — господа, ведь он же толстый, как бегемот, как допотопное чудовище!

Профессор тяжело пыхтел и бросал испепеляющие взгляды на служанку, а она, маленькая и пухленькая, похожая на мягкий тючок, не сводила глаз с тучного своего хозяина и, ослепленная его блеском, не замечала, как жалко выглядит все вокруг — потрепанные книги, старомодная дешевая мебель, вся неприглядная обстановка неубранной, полутемной комнатки.

Понятно, это был не его фрак. Гори взял его напрокат. Приказчик из соседней лавки принес целую охапку фраков, на выбор. И теперь, прищутив глаз и снисходительно усмехаясь, — ни дать, ни взять *arbiter elegantiarum*¹ — он рассматривал несчастного учителя, заставляя его поворачиваться то тем, то другим боком, «Pardon! Pardon!» — и, время от времени решительно изрекал, встряхивая чубом:

— Не то.

Учитель пыхтел и отирал пот.

Уже примерили восемь фраков... девять фраков... целую груду фраков. Один теснее другого! А тут еще воротничок — как будто затягивают петлю! И эта манишка совсем измялась и вылезает из жилета! И белый крахмальный галстук, его надо завязать, а бог его знает, как это делается!

В конце концов приказчик милостиво изрек:

— Вот, этот ничего себе. Лучше не подберем, поверьте, сеньор.

Измученный Гори повернулся к служанке и грозным взглядом остановил ее причитания: «Ну, как картинка! Прямо как картинка!» Затем он оглядел фрак (несомненно, только из почтения к этому одеянию приказчик величал его сеньором) и повернулся к приказчику:

— Не найдется ли у вас еще какого-нибудь?

— Я принес целую дюжину, сеньор.

— А вот это, что же, и есть двенадцатый?

— Двенадцатый, к вашим услугам, сеньор.

— Ну тогда, конечно, куда уж лучше!

Этот фрак был еще теснее, чем предыдущие. Проклятый молодой человек признал не без раздражения:

— Тесноват, конечно... но как-нибудь сойдет. Не будете ли вы так добры вернуться к зеркалу, сеньор?

— Премного благодарен! — рявкнул Гори. — Хватит того, что вы на меня глаза пялите и вот эта сеньора!

¹ Арбитр изящества (*лат.*).

Приказчик сдержанно поклонился и ушел, унося одиннадцать фраков.

— Господи помилуй! — простонал в ярости несчастный Гори, тщетно пытаясь поднять руку.

Он взглянул на пригласительный билет, валявшийся на комод, и снова тяжело запыхтел. В восемь надо быть в доме невесты, на виа Милано. Двадцать минут пути! А теперь уже четверть восьмого.

Вернулась служанка, которая провожала приказчика до дверей.

— Ни слова! — закричал на нее синьор Гори. — Лучше попробуйте затянуть этот галстук.

— Ну, ну, будет вам... сейчас все сделаю... А то воротничок... — запричитала она. И, хорошенько обтерев передником дрожащие руки, приступила к делу.

Минут пять царило молчание. И сам Гори и все предметы в комнате замерли, словно в ожидании Страшного суда.

— Ну как, готово?

— О-ох! — вздохнула старуха.

Синьор Гори вскочил и прорычал:

— Хватит! Не могу больше! Пустите, я сам!

Он глянул в зеркало и тут же пришел в такую ярость, что несчастная служанка затряслась. Он неуклюже поклонился, но при этом почувствовал, что фалды странно зашевелились; тогда он резко обернулся, словно кот, которому что-то прицепили к хвосту. И тут — т-р-р! — фрак лопнул под мышкой.

Гори задохнулся от бешенства.

— Это по шву! По шву! — кинулась к нему служанка. — Снимите, я сейчас зашью!

— Я опаздываю, — рычал он. — Я так пойду! Так пойду!.. Никому руки не подам! Пустите, я пойду!

Он яростно завязал галстук, набросил пальто на позорное свое одеяние и ринулся на улицу.

Ну, в конце концов, не так уж все плохо, черт возьми. Сегодня свадьба любимой его ученицы, Чезары Рейс. Да, она заслужила счастье. Она так самоотверженно трудилась, бедняжка, все эти бесконечные годы ученья.

По дороге он размышлял о том, какое странное стечение обстоятельств привело к этому браку. Да... только как же фамилия жениха? Гори вспомнил, как тот пришел

к ним в Учительский институт; его детям нужна была гувернантка. Такой богатый вдовец, синьор... Грими? Грити? Нет, Митри, ну, конечно, Митри.

Вот как это произошло. Чезара Рейс сильно бедствовала, отца она потеряла в пятнадцать лет и так билась, так самоотверженно работала, чтобы прокормить свою старую маму: шила, давала частные уроки.... И при этом она училась, получила диплом. Гори восхищался ее упорством, а когда она кончила институт, много хлопотал, просил и добился для нее места учительницы в Риме. Потом к нему обратился этот синьор Грити (Грити, Грити, вот. Грити его фамилия, а совсем не Митри!)... и он рекомендовал ему Чезару Рейс. Через несколько дней тот пришел снова, очень огорченный. Чезара отказалась от места гувернантки. Она слишком молода, неопытна, она не может бросить свою старую маму, а больше всего она боится злых языков. Надо было видеть, как она все это говорила и как смотрела при этом, негодница!

Красивая она девушка, Чезара Рейс. Как раз такой тип красоты нравится ему больше всего. Бесчисленные удары судьбы (недаром Гори был преподавателем словесности — он так и подумал: «бесчисленные удары судьбы») придали ее чертам утонченность и печальное, мягкое благородство.

Так что ничего нет странного в том, что этот синьор Грими (да, боюсь, его фамилия все-таки Грими)... Ничего нет странного, что этот синьор Грими, как только ее увидел, влюбился до безумия. Бывает так в жизни. Он раза три приходил, а то и четыре, и все зря. Тогда Грими обратился к нему, к ее учителю, попросил замолвить словечко. Ведь синьорина Рейс так скромна, так прекрасна и добродетельна; она будет не гувернанткой, а второй матерью его детям. Почему бы ей не согласиться? Гори с радостью взялся помочь, и Чезара Рейс уступила. И вот, сегодня свадьба, хотя его родные были против, все эти... Грими? Грити? Нет, кажется, все-таки Митри.

— Ну, и черт с ними! — заключил тучный синьор Гори, тяжело отдуваясь.

Невесте полагается дарить цветы. Она так просила его быть свидетелем при бракосочетании! Но он ей сказал, что тогда он должен будет сделать ей подарок, приличествующий высокому положению жениха, а это ему не по средствам, совсем не по средствам. Хватит того, что он

напялил этот фрак! Вот цветы — это пожалуйста. Сильно смущаясь и робея, вошел он в цветочный магазин и приобрел пучок зелени, из которой выглядывало несколько цветков. Да, цветов там было немного, а денег он потратил достаточно!

Он свернул на виа Милано и увидел в глубине улицы, у дома, где жила Чезара, большую толпу любопытных. Так и есть, опоздал! Вот у подъезда кареты. Наверное, все эти люди собрались поглазеть на свадебное шествие. Он подошел к дому. Почему это они так смотрят на него? Фрак пока что скрыт под пальто. Может быть, фалды? Он посмотрел через плечо. Нет, не видно. Так в чем же тут дело? Что происходит? Почему закрыта входная дверь?

Привратник спросил его тихим, печальным голосом:

— Синьор пришел на свадьбу?

— Да... Я приглашен...

— Свадьбы не будет.

— Как не будет?

— Несчастливая синьора... мать синьорины Чезары...

— Умерла? — закричал Гори, бессмысленно глядя на дверь.

— Сегодня ночью... скоропостижно...

Учитель остолбенел.

— Господи, что ж это? Мать?.. Синьора Рейс?..

Он обвел собравшихся растерянным взглядом, как будто хотел найти в их глазах подтверждение этих страшных слов. Букет упал на мостовую. Гори наклонился и тут же почувствовал, что фрак рвется под мышкой; он замер. О господи! Так и есть. Лопнул.

Этот фрак был предназначен для свадебного торжества, и вот, теперь он предстанет в нем перед лицом смерти. Что делать? Подняться в таком виде? Вернуться домой?

Он подобрал цветы и зелень и растерянно протянул их привратнику.

— Будьте добры, подержите, пожалуйста.— И вошел в дом. Попытался взбежать по лестнице; первый пролет одолел без труда. Но на последней площадке (черт бы побрал этот жилет!) ему не хватило дыхания.

Он вошел в гостиную и сразу заметил какое-то замешательство среди собравшихся — как будто при его появлении кто-то быстро ушел или внезапно оборвалась оживленная беседа.

Сильно смутившись, Гори остановился в дверях и об-

вел комнату растерянным взглядом. Он был один среди неприятельского лагеря. Все — важные господа, родственники и друзья жениха. Вон та старуха, должно быть, его мать. Вот эти две старые девы — наверное, сестры или кузины. Он неловко поклонился. (О господи! Опять фрак!) Согнувшись, как будто бы его ударили в живот, он быстро огляделся — не услышал ли кто легкого треска. Да, снова этот проклятый шов под мышкой! Никто не ответил на его поклон, как будто серьезность момента не допускала даже легкого кивка. Какие-то люди (наверное, близкие друзья) растерянно толпились вокруг одного из мужчин. Гори присмотрелся, и ему показалось, что это сам жених. Он облегченно вздохнул и поспешил к нему:

— Синьор Грими...

— Мигри, к вашим услугам.

— Ах, Мигри! Ну, конечно! То-то я думаю... Грими, Митри, Грити... и не догадался, что просто Мигри! Простите... Я — профессор Фабио Гори... вы, может быть, припомните... мы встречались в...

— Очень рад, но... — прервал тот, высокомерно и холодно взглянув на него; затем внезапно вспомнил: — А, Гори... ну, как же. Вы, должно быть... ну, так сказать — виновник... косвенный виновник этого брака. Да, брат говорил мне...

— Простите, простите? Как вы сказали? Значит, вы брат синьора?..

— Карло Мигри, ваш покорный слуга.

— Очень рад, очень рад... Вы так похожи, черт возьми! Прошу простить меня, синьор Гри... Мигри, да. Но этот гром среди ясного неба... К сожалению, я... то есть я, к сожалению, не... ну, не то, чтобы виновник... косвенно... так сказать, косвенным образом, способствовал, это да...

Мигри не дал ему кончить.

— Разрешите представить вас моей матери,— сказал он, вставая.

— Почту за честь...

Они подошли к канапе, половину которого занимала очень толстая старуха в черном платье. Из-под черного чепца выбивались пушистые седые волосы. Лицо у нее было плоское, желтоватое, словно пергамент.

— Мама, это синьор Гори. Нут, тот самый, знаешь... который устроил брак Андреа.

Старуха подняла тяжелые, сонные веки. Ее тусклые, невыразительные глаза приоткрылись по-разному — один больше, другой чуточку меньше.

— Видите ли, я...— пробормотал учитель, осторожно кланяясь,— я... не то чтобы устроил... как бы это сказать... Я просто...

— Рекомендовали гувернантку для моих внуков,— прогудела старуха.— Да, так будет вернее.

— Видите ли...— лепетал Гори.— Зная достоинства и скромность синьорины Рейс...

— О, превосходная девушка, ничего не скажешь! — согласилась старуха, медленно опуская веки.— Поверьте, мы все чрезвычайно сожалеем...

— Такое несчастье! И так внезапно! — воскликнул Гори.

— На все воля божья...

Гори взглянул на нее:

— Жестокий рок...

Затем, оглядев гостиную, он спросил:

— А... где синьор Андреа?

Брат жениха ответил ему с притворным равнодушием:

— Не знаю... только что был тут. Наверное, пошел приготовиться.

— О! — воскликнул Гори, внезапно оживившись.— Значит, свадьба все-таки состоится?

— Нет! Что вы говорите?! — вскочила ошеломленная старуха.— О господи боже! Когда в доме покойница! О-о-о!

— О-о-о,— вторили потрясенные старые девы.

— Он готовится к отъезду,— сказал Мигри.— Сегодня они должны были уехать в Турин. У нас фабрика в тех краях, в Вальсангоне. Его присутствие необходимо.

— И... он уедет? — спросил Гори.

— Это необходимо. В крайнем случае завтра. Мы настояли на этом. Совершенно очевидно, что его дальнейшее пребывание здесь было бы неприличным.

— Для нее... конечно...— прогудела старуха.— Злые языки...

— Вот именно, вот именно,— подхватил Мигри.— И потом — дела не ждут. Этот брак был несколько...

— Необдуманном,— подсказала одна из старых дев.

— Ну, скажем, несколько поспешным,— постарался смягчить Мигри.— Теперь судьба обрушила на них этот

удар, как бы для того, чтобы дать время... вот именно — чтобы дать время подумать. Траур, знаете ли... И таким образом можно будет здраво рассудить, обдумать со всех сторон...

Гори онемел. Эти слова, все эти осторожные недомолвки раздражали его совсем как тесный фрак, лопнувший под мышкой. Потяни чуть-чуть, и все расплывется по швам. Вот так же, как может оторваться рукав, стоит только дернуть — и сразу прорвется наружу все лживое лицемерие этих господ.

Гори почувствовал, что не может вынести ни минуты больше. Особенно раздражало его белое кружево у ворота старой синьоры. Такое кружево почему-то всегда напоминало ему о некоем Пьетро Карделло, который держал галантерейную лавку в его родной деревушке; у него еще была огромная шишка на затылке... Гори чуть было не фыркнул, но вовремя сдержался и глупо вздохнул:

— Да... Бедная девушка!

Посыпались соболезнования. Тут он внезапно пришел в себя и раздраженно спросил:

— Где она? Можно ее видеть?

Мигри показал ему на дверь:

— Вот сюда, пожалуйста.

И Гори выскочил из комнаты.

На белой кровати лежало вытянутое, окоченевшее тело. Огромный туго накрахмаленный чепец украшал голову покойной.

Войдя, Гори увидел только это. Раздражение его росло, он был смущен, подавлен, ошеломлен, голова у него кружилась; и печальное зрелище не растрогало, а скорее раздосадовало его. Какая нелепость! Какой жестокий, бессмысленный предрассудок. Нельзя, черт побери, ни в коем случае нельзя так оставить.

Неподвижность умершей казалась ему намеренной, словно бедная старая женщина в огромном накрахмаленном чепце нарочно вытянулась тут, на кровати, чтобы хитростью лишить счастья собственную дочь. Гори захотелось крикнуть:

— Встаньте! Встаньте, бедная моя синьора! Сейчас не время для таких шуток!

Чезара стояла на коленях у кровати. Она вся сжалась

и уже не плакала, как будто оцепенела в своем безнадежном, немом отчаянье. В ее черных растрепанных волосах с вечера торчали бумажные папилютки.

Но даже тут он почувствовал не жалость, а скорее досаду. Главное сейчас — поднять ее с пола, вырвать из этого оцепенения. Он не даст судьбе сломить ее. Судьбе, которая так подло играет на руку всем этим лицемерным господам в гостиной! Нет, не даст! Все готово! Те господа пришли во фраках, как он, пришли на свадьбу! Нужно только, чтобы у кого-нибудь хватило воли поднять эту несчастную девушку, повести ее, потащить вот так, почти без сознания, только бы свадьба состоялась сегодня. Иначе она погибла.

Не так это легко — противопоставить свою волю враждебной воле всех этих людей. Но когда Чезара едва заметно шевельнула рукой и сказала ему, не поднимая головы: «Видите, учитель?» — Гори не вытерпел.

— Да, дорогая, да, — закричал он так громко и сердито, что девушка вздрогнула. — Только ты встань! Я не могу опуститься на колени! Ты сама встань! Вставай! Ну, живо! Сделай это для меня!

Его тон ошеломил Чезару. Невольно она стряхнула оцепенение и с ужасом посмотрела на него:

— Зачем? — спросила она.

— Вот зачем, дорогая... только ты сперва встань. Говорю тебе, я не могу опуститься на колени! О господи! — повторял Гори.

Чезара поднялась. Она взглянула на тело матери и страшно зарыдала, закрыв лицо. Но Гори схватил ее за руки и стал яростно трясти, волнуясь еще больше, чем прежде.

— Не надо! Не надо! Не надо! Потерпи, дорогая! Послушай, что скажу!

Она посмотрела на него, с трудом сдерживая слезы, и спросила:

— Как же мне не плакать?

— Сейчас не надо плакать. Не время сейчас плакать, — сердито говорил Гори. — Ты теперь одна и должна о себе позаботиться. Понимаешь? Сама должна о себе позаботиться. Сейчас, вот сейчас! Собери все свое мужество. Стисни зубы и делай, как скажу.

— Что мне делать?

— Ничего особенного. Сперва вынь бумажки из волос.

— Господи, боже мой! — простонала она, снимая папильотки дрожащими пальцами.

Гори не давал ей опомниться:

— Вот молодец! Теперь иди ко мне, надень скромненькое платьё, шляпку надень, и мы поедем.

— Куда мы поедем?

— В мэрию, дорогая.

— Господи, что вы говорите!

— Я говорю: мы поедем в мэрию, зарегистрируем брак, а потом — в церковь. Свадьба будет сегодня. Иначе ты погибла. Видишь, как я для тебя нарядился? Фрак надел! И я буду свидетелем, как ты хотела. Оставь ненадолго свою бедную маму. Ее ты не оскорбишь. Она сама хочет, чтобы ты это сделала. Твоя мама хочет! Послушай меня, ступай, оденься, а я пойду и все приготовлю.

— Нет... нет... я не могу... — в отчаянии говорила Чезара, снова роняя голову на кровать и пряча лицо. — Я не могу. Все кончено, я знаю! Он уйдет, он меня бросит... он не вернется. Только я не могу... не могу...

Гори не отступил. Он хотел наклониться, чтобы оторвать ее от кровати, но не смог. Тогда он яростно затопал ногами и закричал:

— Глупости! Я поеду с одним рукавом! Но вы обвенчаетесь сегодня! Ты пойми... Ну посмотри мне в глаза! Ты пойми — если мы упустим момент, все пропало! Что с тобой будет? У тебя нет работы! Ты одна! Хочешь свалить вину на свою бедную маму? Ты забыла, как она мечтала об этом браке? Несчастливая синьора! И ты хочешь, чтобы все расстроилось из-за нее? Ну, возьми себя в руки, Чезара! Что тут дурного? Я с тобой! Я за все отвечаю. Ступай же, оденься! Оденься, дорогая, надо спешить!

И он повел ее к двери, поддерживая за плечи. Потом вернулся, пересек комнату, закрыл дверь и воинственно вошел в гостиную.

— Где жених?

Все повернулись, пораженные его тоном. Мигри спросил с притворной заботливостью:

— Синьорине дурно?

— Синьорина чувствует себя прекрасно, — ответил Гори, в упор глядя на него. — Имею честь сообщить вам, господа, что мне удалось ее убедить. Она согласилась взять себя в руки. Мы все в сборе. Все готово. Нужно только — не перебивайте меня! — нужно только, чтобы

кто-нибудь из вас... вот, например, вы (обратился он к одному из гостей) взял на себя труд отправиться в мэрию и предупредить, что...

Ему не дали договорить. Как можно! Какой скандал! Это невысказано!

— Дайте мне объяснить! — крикнул он, заглушая хор протестов.— Зачем откладывать? Ведь препятствием был траур невесты? Но если сама невеста...

— Не позволю! — крикнула старуха.— Не допущу, чтобы мой сын...

— Исполнил свой долг и сделал доброе дело? — перебил ее синьор Гори.

Карло Мигри выступил на защиту матери:

— По какому праву вы вмешиваетесь? — спросил он, с трудом сдерживая гнев.

— Я вмешиваюсь в это дело потому, что считаю вас порядочным человеком, дорогой синьор Грими...

— Мигри!

— Мигри, Мигри — и поймите, что не подобает пользоваться этим внезапным несчастьем. Мы не должны поддаваться удару судьбы, постигшему несчастную девушку. Наш долг — спасти ее. Разве мы можем бросить ее так, одну, беспомощную, без работы? Нет. Свадьба состоится, несмотря на несчастье и несмотря на... простите!

Он остановился, яростно пыхтя, залез в рукав пальто, с ожесточением дернул рукав фрака, оторвал его и подбросил над головой. Все невольно рассмеялись при этой неожиданной выходке. А он продолжал со вздохом облегчения:

— ...и несмотря на проклятый рукав, который меня так мучил.

— Вы шутите! — сказал Мигри, приходя, наконец, в себя.

— Нет, синьор. Он лопнул.

— Вы шутите! Это насилие!

— Другого выхода нет!

— Вы так думаете? Повторяю, это невозможно, при подобных обстоятельствах...

К счастью, в эту секунду в комнату вошел жених.

— Нет! Не соглашайся! Андреа, не соглашайся! — закричали со всех сторон.

Не обращая внимания на крики, Гори направился к нему.

— Решайте сами! Дайте мне сказать! Дело в следующем. Я убедил синьорину Рейс взять себя в руки. Она согласилась, принимая во внимание серьезность момента. Так что, дорогой синьор Мигри, если вы тоже согласны, поедem сейчас в мэрию потихоньку, в закрытой карете, и зарегистрируем брак... Надеюсь, вы не откажетесь? Только скажите, скажите, что согласны.

Андреа Мигри растерянно взглянул на Гори, потом на других и нерешительно произнес:

— Но... если Чезара согласна...

— Согласна! Согласна! — воскликнул Гори, стараясь перекричать протесты.— Вот, наконец, искренние слова! Ну, скорее! Летите в мэрию, дорогой мой синьор!

Он схватил за руку одного из гостей и потащил его к дверям. В передней он споткнулся о цветочные корзины и снова бросился в гостиную, чтобы освободить жениха от окруживших его разъяренных родственников.

— Синьор Мигри! Синьор Мигри! — кричал он.— Одну минутку! У меня к вам просьба!

Андреа Мигри подошел к нему.

— Сделаем приятное бедной Чезаре. Вот эти цветы... К покойной... Помогите мне!..

Он схватил две корзины и побежал через гостиную прямо в комнату, где лежала покойная. Жених следовал за ним с двумя другими корзинами. Все внезапно преобразилось. Многие бросились в прихожую за остальными корзинами и потащили их туда же.

— Цветы — покойной. Очень хорошо! Цветы — покойной!

Вскоре появилась Чезара, очень бледная, в простом черном платье. Ее волосы были слегка растрепаны. Она дрожала — видно было, что ей очень трудно сдерживаться. Жених кинулся к ней и нежно ее обнял. Все замолчали. Чуть не плача от радости, Гори попросил троих гостей отправиться вместе в качестве свидетелей; и они тихо удалились.

Тогда оставшиеся — мать, брат, старые девы, все гости — дали волю негодованию, которое им поневоле приходилось сдерживать в присутствии Чезары. Хорошо, что бедная, старая женщина, там, среди цветов, уже не могла слышать, как возмущаются эти люди таким оскорблением ее памяти.

По пути в мэрию синьор Гори думал о том, что говорят в гостиной. Выходя из кареты, он шатался, как

пьяный, и был так ошеломлен, что совсем забыл об оторванном рукаве, и стал снимать пальто вместе со всеми.

— Учитель!

— Ах! Черт возьми! — спохватился он.

Чезара улыбнулась. Но Гори было не до смеха. Он уже успокоился, думая, что больше не вернется туда, к тем людям, а теперь придется ехать за рукавом. Ведь фрак взят напрокат. Подписаться? Как это? Ах, подписаться! Да, конечно, он поставит свою подпись как свидетель. Здесь, что ли?

Потом они отправились в церковь, наскоро совершили обряд бракосочетания и поехали домой.

Их встретило ледяное молчание.

Стараясь казаться как можно меньше, Гори оглядел комнату, а потом, шепотом, приложив палец к губам, обратился к одному из гостей:

— Не знаете ли вы, куда делся рукав от моего фрака, помните — я его подбросил в воздух?

Вскоре он отыскал свой рукав и незаметно ушел. По дороге домой он размышлял о случившемся. В конце концов, только благодаря тесному фраку удалось ему одержать такую блестящую победу над судьбой. Ведь если бы этот расползавшийся рукав не раздражал его так сильно, он бы вел себя, как всегда, и, пораженный внезапной бедой, оплакивал бы несчастную судьбу бедной девушки. Но тесный фрак лишил его обычной кротости, и он нашел в себе силы восстать и победить.

ЧАСОВЕНКА

Устроившись в постели рядом с женой, которая уже спала, повернувшись к кроватке, где лежали двое малюток, Спатолино сначала прочитал обычные молитвы, потом скрестил руки за головой, закрыл глаза и незаметно для себя самого принялся насвистывать, как всегда, когда какое-нибудь сомнение или навязчивая мысль грызли его изнутри.

— Фи-фи-фи... фи-фи-фи... фи-фи-фи...

Он не свистел по-настоящему, а, скорее, посвистывал приглушенно, почти не разжимая губ, всегда в одном и том же ритме.

Вдруг проснулась жена:

— Ну что там еще? Что на тебя нашло?

— Ничего. Спи. Спокойной ночи.

Он улегся поудобнее, повернулся спиной к жене, свернулся клубком и приготовился спать. Какое там спать!

— Фи-фи-фи... фи-фи-фи... фи-фи-фи...

Тогда жена протянула руку и стукнула его кулаком по спине:

— Перестанешь ты наконец? Смотри, разбудишь мне малышей.

— Ты права. Тише. Я уже засыпаю.

И он действительно постарался избавиться от той мучительной мысли, которая, как всегда, становилась внутри его этаким поющим сверчком. Но когда он решил, что прогнал ее, эту мысль, как снова:

— Фи-фи-фи... фи-фи-фи... фи-фи-фи...

На этот раз он не стал ждать, пока жена ударит его еще раз, посильнее, чем в первый, и в отчаянии вскочил с постели.

— Что ты делаешь? Куда ты собрался? — спросила она.

Он ответил:

— Я одеваюсь, черт возьми! Мне не спится. Пойду посижу возле двери, на улице. Воздуха! Воздуха!

— И все-таки,— снова начала жена,— можно узнать, какой бес в тебя вселился?

— Какой бес?! Этот негодяй,— взорвался тогда Спатолино, сиюсья говорить потише,— этот мерзавец, этот враг господи...

— Да кто? Кто это?

— Чанкарелла.

— Нотариус?

— Он самый. Он велел мне передать, что ждет завтра у себя на вилле.

— Ну и что?

— Да что ты мне говоришь?! Что может хотеть от меня такой человек, как он? Мерзавец, прости меня господи, мерзавец, и это еще мало сказано! Воздуха! Воздуха!

Он схватил стул, открыл дверь, поставил стул позади себя и уселся в уснувшем переулке, опершись плечами о стену своего домика.

Керосиновый фонарь слабо мерцал неподалеку, бросая желтоватый свет на зловонную лужу. Но все-таки

там, между булыжниками горбатой и выщербленной, совсем разбитой и истертой мостовой, была настоящая вода.

От домишек, прятавшихся в тени, исходил тяжелый запах хлеба, и время от времени раздавался топот какого-нибудь животного, которому досаждали мухи.

Кот, кравшийся вдоль стены, остановился и настороженно притаился.

Спатолино стал смотреть вверх, на полоску неба и звезды, горевшие там, и, глядя на них, покусывал волоски своей редкой рыжеватой бородки.

Он был невысокого роста, и, хоть и привык с детства месить глину и известку, все-таки в его облике было что-то утонченное. Вдруг его ясные глаза, обращенные к небу, наполнились слезами, он вздрогнул и, смахивая слезу рукой, прошептал в тишине ночи:

— Помоги мне, господи!

С тех пор как клерикальная партия в их городке потерпела поражение, а новая партия, партия «отлученных», заняла все места в муниципалитете, Спатолино чувствовал себя будто в стане врагов.'

Все его товарищи, по работе, как овцы, пристроились за новыми вожаками и, сплотившись, принялись хозийничать.

Вместе с немногими рабочими, оставшимися верными святой церкви, Спатолино основал Католическое общество недостойных детей скорбящей богоматери. Однако борьба была неравной: насмешки врагов (а иногда и друзей) и бессильная ярость лишали Спатолино последней надежды. Как председатель католического общества, он взял на себя организацию процессий, устройство иллюминаций и фейерверков в дни религиозных праздников, чем раньше всегда занимался прежний муниципальный совет. Под свист, крики и смех враждебной партии Спатолино выложил из своего кармана деньги и на святого архангела Михаила, и на святого Франческо ди Паола, и на страстную пятницу, и на праздник тела господня, в общем, на все основные праздники церковного календаря.

Таким образом, небольшой капиталец, который до сих пор позволял ему брать подряды на некоторые работы, истощился, и он понимал, что недалек тот день, когда из мастера-подрядчика превратится в простого каменщика-поденщика.

Даже жена перестала относиться к нему с прежним уважением и больше на него не рассчитывала. Она сама стала зарабатывать на себя и на детей стиркой, стряпней, любой черной работой.

Как будто он бездельничал ради собственного удовольствия! Но что поделаешь, если союз этих сукиных детей перехватывал все работы! Что это вообразила себе жена! Что он откажется от веры, отвергнет господа, пойдет и запишется в партию этих? Да он лучше руку отдаст на отсечение!

Вынужденное безделье между тем его портило, делало все более нервным, капризным, угнетало его, восстанавливало против всех.

Чанкарелла, нотариус, правда, не состоял ни в какой партии, он был определенно врагом господа, он сделал себе из этого профессию с тех пор, как оставил свои занятия нотариуса. Однажды он даже посмел натравить собак на священника дона Лагаипу, когда тот пришел к нему, чтобы попросить за каких-то бедных родственников, которые прямо-таки умирали от голода, в то время как он жил, будто князь, на прекрасной вилле, построенной на краю городка на неизвестно каким образом скопленные деньги, которые он преумножил за те годы, что занимался ростовщичеством.

Всю ночь Спатолино (к счастью, было лето) то сидел у стены, то прогуливался по безлюдному закоулку и размышлял («Фи-фи-фи... фи-фи-фи... фи-фи-фи...») об этом непонятном приглашении Чанкареллы.

Потом, зная, что Чанкарелла имеет обыкновение вставать рано, и услышав, что жена уже встала, как всегда, на рассвете и занимается домашними делами, Спатолино решил пойти к нему. Стул он оставил на улице, потому что стул был старый и никто на него не позарился бы.

Вилла Чанкареллы окружена стеной, как крепость, только со стороны проезжей дороги решетка с калиткой.

Старик, который был похож на огромную одетую и обутую жабу, казался придавленным громадной кистой на шее, заставляющей его держать голову всегда склоненной вниз и набок. Старик этот жил один, со слугой, но множество вооруженных арендаторов и два пса самого устрашающего вида всегда были готовы служить ему.

Спатолино позвонил в колокольчик. Тотчас эти две

зверюги бросились в ярости на решетку и не успокоились даже тогда, когда на помощь Спатолино, боявшемуся войти, прибежал слуга. Пришлось хозяину, который пил кофе в увитой плющом беседке, стоящей в стороне от виллы, в глубине сада, позвать их свистом.

— А, Спатолино! Молодец,— сказал Чанкарелла.— Садись сюда.— И он показал на одну из железных скамеек, которые стояли по кругу в беседке.

Но Спатолино остался стоять, зажав в руках смятую шляпу.

— Ты ведь один из недостойных детей, так?

— Да, синьор, и горжусь этим: я сын скорбящей богоматери. Какие у вас будут приказания?

— Ну вот,— сказал Чанкарелла, но не продолжил, а поднес к губам чашку и выпил три глотка кофе.— Часовенка.— И еще глоток.

— Что вы сказали?

— Я бы хотел, чтобы ты построил для меня часовенку.— И еще глоток.

— Часовенку, ваша милость?

— Да, там, на дороге, перед решеткой.— Еще глоток, последний.

Он поставил чашку и, не вытерев губ, встал. Капля кофе потекла у него из уголка рта по небритой уже несколько дней щетине.

— Часовенку, но не такую уж и маленькую, чтоб там могло поместиться распятие в натуральную величину. А на боковых стенах я хочу повесить две картины: с одной стороны — «Восхождение на Голгофу»¹, а с другой — «Снятие с креста». В общем, мне нужна часовня величиной с просторную комнату, с фундаментом в метр высотой, с железной решеткой спереди и, само собой разумеется, с крестом наверху. Тебе понятно?

Спатолино, закрыв глаза, два раза кивнул головой, потом открыл глаза, вздохнул и сказал:

— Но ваша милость шутит, правда?

— Я шучу? Почему же?

— Я полагаю, что ваша милость хочет пошутить. Часовенку, ваша милость, вы хотите построить часовенку сыну божию?²

Чанкарелла попытался приподнять бритую голову, поддерживая ее рукой, усмехнулся своим особенным об-

¹ Голгофа — лобное место, где был распят Иисус Христос.

² В тексте «L'Esse Homo» — «Это человек».

разом. Усмешка у него была необыкновенная, будто он корчился от боли, пронзавшей ему шею.

— А, вон оно что! — воскликнул он. — Ты что, считаешь, что я недостоин?

— Нет, синьор, простите! — попытался возразить Спатолино, вспыхивая от смущения. — Зачем это вам, ваша милость, вот так, без всякой причины, приносить жертву? Позвольте мне сказать и простите, если я буду говорить откровенно. Кого вы хотите обмануть, ваша милость? Бога? Нет, бога обмануть нельзя, бог вас видит и не позволит вашей милости обмануть себя. Людей? Но ведь и они видят и знают, что вы, ваша милость...

— Что они знают, негодяй?! — закричал старик, перебивая его. — А ты, что ты знаешь о боге, земляной червь? То, что тебе рассказали попы? Но бог... А, да что с тобой говорить... Ты завтракал?

— Нет, синьор.

— Плохая привычка. Что же, я теперь должен тебя накормить, да?

— Нет, синьор. Я ничего не буду есть.

— А! — сказал Чанкарелла, зевая. — О! Попы, сынок, помutilи твой разум. Они говорят, правда ведь, что я не верю в бога. А знаешь ли почему? Потому, что я их не угощаю. Ладно, ладно, помолчи. Они получают угощение, когда придут освящать нашу часовенку. Я хочу, чтобы это был отличный праздник, Спатолино. Ну что ты так на меня смотришь? Не веришь мне? Не понимаешь, как это пришло мне в голову? Во сне, сынок. Приснилось вчера ночью. Теперь попы, конечно, скажут, что это бог просветил мою душу. Пусть себе говорят, мне все равно! Ну а мы договорились, так ведь? Говори, говори быстрее... Ты как-то вдруг поглупел.

— Да, синьор, — признался Спатолино.

Чанкарелла на этот раз обхватил голову двумя руками, чтобы посмеяться подольше.

— Хорошо, — сказал он. — Ты знаешь, как я веду дела. Я не хочу никаких затруднений. Я знаю, что ты хороший мастер и все сделаешь как надо и честно. Делай все сам, смету и прочее, не досаждай мне. А когда кончишь, рассчитаемся. Часовенка... ты понял, какую мне надо?

— Да, синьор.

— Когда ты начнешь?

— Да хоть завтра.

— А когда ты мог бы закончить?

Спатолино немного подумал, а потом сказал:

— Ну, если она будет такой большой, понадобится... не знаю... месяц...

— Хорошо. Пойдем посмотрим место.

Земля по ту сторону дороги тоже принадлежала Чанкарелле, который ее забросил и не обрабатывал. Он купил ее только для того, чтобы ничто не мешало ему перед его виллой. Пастухам он позволял пасти там стада овец, как будто земля была ничьей. Поэтому не нужно было спрашивать ни у кого разрешения. Показав место прямо напротив решетки, старик вернулся на виллу, а Спатолино, оставшись один, засвистел как прежде: «Фи-фи-фи, фи-фи-фи». Потом зашагал прочь. Шел он и шел, пока не очутился, сам того не заметив, перед домом дона Лагаипы, который был его исповедником. Уже постучав в дверь, он вспомнил, что священник вот уже несколько дней болен, и, наверное, не следовало тревожить его таким ранним визитом. Однако дело было серьезное, и он вошел.

Дон Лагаипа был на ногах, к величайшему смятению своих женщин, служанки и племянницы, которые не знали, как подчиняться всем его противоречивым приказаниям. Он стоял посреди комнаты в брюках и в рубашке и чистил ружье.

Его нос, большой и мясистый, весь изъеденный оспой, как губка, казалось, стал за время болезни еще больше. По бокам от этого носа блестящие, черные глаза разбегались, словно в испуге, в разные стороны и, казалось, хотели и вовсе убежать с этого желтого лица.

— Они меня разорят, Спатолино, они меня разорят! Только что приходил этот мальчишка, худющий как палка, и сказал, что мои поля стали общественной собственностью, вот как! Мои поля принадлежат всем! Эти социалисты — ты понимаешь? — крадут у меня еще незрелый виноград, фикидиндию, все! Твое — это мое! Ты понимаешь? Твое — мое! Я ему пошлю это ружье по ногам! Я ему сказал: стреляй им по ногам! Заряд свинца — вот что им надо! (Розина, гусыня ты несчастная, еще немного укуса, я же сказал, и чистый платок.) Что ты хотел сказать мне, сын мой?

Спатолино не знал, как и начать. Имя Чанкареллы, едва слетев с его губ, вызвало поток ругательств, но

когда он упомянул о постройке часовни, то увидел, что дон Лагаипа поражен до глубины души.

— Часовенка?

— Да, синьор, сыну божию. Я хотел спросить у вашего преподобия, должен ли я ее строить?

— Это ты у меня спрашиваешь? Осел, что ты ему ответил?

Спатолино повторил все, что он сказал Чанкарелле, и еще добавил кое-что, чего и не говорил, воодушевленный похвалами воинственно настроенного священника.

— Прекрасно! А он? Негодяй!

— Он говорит, ему приснился сон.

— Мошенник! Не верь ему! Мошенник! Если бы господь действительно говорил с ним во сне, он бы велел ему помочь этим бедным Латтуга, которых он и признавать-то за родственников не желает только потому, что они верующие и поддерживают нас, а зато он защищает этих Монторо, понятно тебе? Этих нечестивых социалистов! Им-то он и оставит все свои богатства. Хватит. Что ты хочешь от меня? Построй ему часовенку. Если откажешься, ее построит другой. Для нас в любом случае будет прок, потому что такой закоренелый грешник подает знак, что хочет хоть как-нибудь примириться с богом. Мошенник! Негодяй!

Вернувшись домой, Спатолино целый день чертил часовни. К вечеру он отправился за материалами, нанял двух подручных и мальчишку готовить раствор. И на следующий день на заре принялся за работу.

Все, кто проходил, останавливался верхом или в повозке по пыльной дороге, останавливались и спрашивали у Спатолино, что это он строит.

— Часовенку.

— Кто же вам ее заказал?

И он, мрачно подняв палец к небу, отвечал:

— Сын божий.

Все время, пока шло строительство, он отвечал только так.

— Именно здесь? Прямо на этом самом месте? — спрашивали его иногда, поглядывая на решетку виллы.

Никому не пришло в голову, что часовню эту мог заказать нотариус. С другой стороны, все, кто понятия не имел, что этот клочок земли принадлежит Чанкарелле, но знал религиозный фанатизм Спатолино, решили, что этот последний то ли по поручению епископа, то ли по

решению католического общества строит эту часовню именно там, чтобы досадить старому ростовщику. И все смеялись.

Между тем на Спатолино сыпались всевозможные несчастья, как будто господь действительно гневался на это предприятие. Пришлось четыре дня копать и ровнять землю, чтобы подготовить твердую площадку для фундамента; потом он вынужден был скандалить в каменоломнях из-за камня, скандалить из-за известки, ругаться с рабочим-кирпичником, и, наконец, упал свод, который устанавливали, чтобы построить арку. И только чудом не убило мальчика, готовившего раствор.

В довершение всего произошло еще одно несчастье. В тот самый день, когда Спатолино собирался показать готовую часовню, с Чанкареллой случился апоплексический удар, и через три часа он умер.

Никто не мог убедить Спатолино, что эта неожиданная смерть нотариуса была карой, посланной разгневанным господом. Он, однако, сначала не подумал, что гнев божий обрушится и на него, потому что он, хоть и против воли, взялся за это проклятое дело.

Это он понял только тогда, когда отправился к Монторо, наследникам нотариуса, чтобы получить плату за работу, и увидел, что они и слышать об этом не слышали и потому не желают без какого-нибудь документального подтверждения признавать долг.

— Как же так! — воскликнул Спатолино. — Для кого же я строил эту часовенку?

— Для сына божия.

— Просто так, потому что мне это взбрело в голову?

— Ну вот что, — ответили они ему, чтобы покончить с этим. — Мы сочли бы неуважением памяти нашего дяди даже минутное предположение, что он действительно мог дать тебе заказ, противоречащий всему его образу мыслей и жизни. Никаких доказательств нет. Чего же ты хочешь от нас? Оставь часовню себе, а если тебе это не подходит, обращай в суд.

И Спатолино — как же иначе — тотчас побежал в суд. Разве мог он проиграть? Разве судьи могли поверить, что он просто так, по собственному желанию, построил эту часовню? И потом, был же слуга, слуга самого Чанкареллы, который приходил его звать по поручению своего хозяина, был и дон Лагаина, с которым он советовался в тот же день, была жена, которой он все рассказал,

и подручные, с которыми он все это время работал. Ну как же он мог проиграть?

И все же он проиграл, да, господа, проиграл. Проиграл, потому что слуга Чанкареллы, перешедший уже на службу к Монторо, заявил, что да, конечно, он позвал Спатолино к хозяину, мир праху его, но вовсе не потому, что хозяин, блаженной памяти, хотел заказать эту самую часовенку. Наоборот, от садовника, теперь тоже покойного (какое совпадение), хозяин услышал, что Спатолино собирается строить часовенку прямо напротив решетки, и хотел предупредить его, что участок по ту сторону дороги тоже принадлежит ему и чтобы тот поостерегся строить там какую-нибудь подобную ерунду. Слуга также добавил, что, когда он однажды сказал хозяину, мир праху его, что Спатолино, несмотря на запрет, роется там с тремя подручными, тот ответил: «И пусть себе роется. Ты что, не знаешь, что он сумасшедший? Может, он ищет там сокровище, чтобы закончить церковь святой Катерины!» Свидетельство дона Лагаины ничего не дало, потому что все знали, что он вдохновил Спатолино на множество безумств. Что еще? Те же подручные засвидетельствовали, что никогда не видели Чанкареллу и поденную плату получали всегда от мастера.

Спатолино выскочил из зала суда как повредившийся в уме, не столько из-за потери своего небольшого состояния, выброшенного на строительство этой часовни, не из-за судебных издержек, которые ему предстояло уплатить, а из-за крушения его веры в божественное правосудие.

— Так что же? — все повторял он. — Что же? Бога больше нет?

По совету дона Лагаины он послал апелляцию. Это был полный крах. В тот день, когда пришло известие о том, что верховный суд отклонил апелляцию, Спатолино, не говоря ни слова, купил на последние оставшиеся деньги полтора метра красной хлопчатобумажной материи, три старых мешка и вернулся домой.

— Сшей мне рубище, — сказал он жене, бросив ей на колени три мешка.

Жена посмотрела на него, не понимая:

— Что ты собираешься делать?

— Я сказал тебе, сшей мне рубище... Не хочешь? Я сам сошью.

В одно мгновение (быстрее, чем это можно сказать) он разрезал дно у двух мешков и сшил их вместе в длину, верхний мешок спереди разрезал, из третьего мешка сделал рукава, пришил их вокруг дыр, сделанных в первом мешке, у которого он зашил горловину с одной и с другой стороны, так, чтобы осталось достаточно места для шеи. Он свернул рубище, взял красную материю и, не попрощавшись, ушел.

Примерно через час по городку разнеслась весть, что Спатолино окончательно спятил и стоит теперь как статуя Христа на распятии в новой часовенке на дороге напротив виллы Чанкареллы.

— Как стоит, что вы хотите этим сказать?

— Да вот так и стоит, как Христос, внутри часовенки.

— Да правда ли это?

— Чистейшая правда!

И все побежали смотреть на него. Он стоял в часовне, за решеткой, одетый в какое-то подобие рубища из мешков, на которых еще четко были видны отметки лавочника, с красной тряпкой на плечах наподобие плаща, с терновым венцом на голове, с камышом в руке.

Спатолино склонил голову, повернул ее чуть набок, потупился. Он не пошевелился ни на смех, ни на свист, ни на безумные крики толпы, которая все росла. Мальчишки-сорванцы бросали в него корками, многие кричали ему в лицо ужаснейшие оскорбления — он стоял твердо, неподвижно, как настоящая статуя, лишь иногда моргая.

Его не сдвинули с места ни мольбы жены, ни последовавшие затем горькие упреки, ни плач детей. Пришлось вмешаться двум полицейским, которые выломали решетку часовенки и увели Спатолино под арестом.

— Оставьте меня! Кто больше Христос, чем я? — пронзительно закричал Спатолино, пытаясь освободиться. — Разве вы не видите, как надо мной издеваются, как меня оскорбляют? Кто больше Христос, чем я? Оставьте меня! Это мой дом. Я сам его построил на свои деньги, своими руками! Я вложил в него свою душу! Оставьте меня, иудеи!

Но иудеи освободили его только вечером.

— Домой! — приказал ему начальник полиции. — Убирайся домой! И берегись правосудия!

— Хорошо, синьор Пилат, — ответил ему Спатолино, кланяясь.

И потихоньку вернулся в часовню. Снова он пред-

ставился Христом, провел там ночь и больше оттуда не уходил.

Его искушали голодом, страхом, насмешками. Все напрасно. Наконец его оставили в покое, как бедного сумасшедшего, который никому не приносит вреда.

Теперь ему приносят кто масло для лампадки, кто поесть и попить; некоторые кумушки называют его святым и просят помолиться за них и за близких; кто-то сшил ему новое рубище, не такое грубое, как старое, а взамен попросил назвать три числа для игры в лото.

Погонщики, которые по ночам проходят по дороге, привыкли к лампадке, горящей в часовне, замечают ее издали с удовольствием; они ненадолго останавливаются поболтать с беднягой Христом, который благосклонно улыбается их грубоватым шуткам, потом они уходят, стук повозок затихает мало-помалу в тишине, и бедняга Христос засыпает или выходит по нужде, не думая в этот момент, что он подобен Христу в рубище из мешка и красном плаще.

Частенько какой-нибудь сверчок, привлеченный светом, прыгает на него и внезапно будит. Тогда он принимается за молитву, но нередко другой сверчок, стародавний сверчок-певун, просыпается в нем. Спатолино снимает с головы терновый венец, к которому уже привык, и, почесывая места, где шипы оставили отметины, поглядывая вокруг блуждающим взором, начинает насвистывать:

— Фи-фи-фи... фи-фи-фи... фи-фи-фи...

НЕЗАБВЕННАЯ ДУША

Еще в день помолвки Бартолино Фьеренцо услышал от своей будущей жены:

— Настоящее мое имя — Каролина. Но «Незабвенная Душа» звал меня просто Лина. Так это имя и осталось за мной.

Незабвенная Душа, он же Козимо Таддеи, был ее первым мужем.

— Вот он,— Лина показала на портрет мужчины, который, приподняв шляпу, приветливо и непринужденно улыбался. Портрет покойного мужа Лины (сильно увеличенное моментальное фото) висел на стене, и Бартолино,

сидевший на оттоманке, как раз напротив, непроизвольно наклонил голову, как бы отвечая на его приветствие.

Лине Сарулли, с недавних пор вдове Таддеи, даже в голову не пришло убрать из гостиной этот портрет, портрет хозяина дома. Ведь раньше дом принадлежал Незабвенной Душе; это он, инженер Козимо Таддеи, сам спроектировал его и обставил с таким вкусом и изяществом, а, умирая, завещал со всей обстановкой ей, Лине.

Не замечая растерянности своего нареченного, синьора Сарулли продолжала рассказывать:

— Я не хотела менять имя. Но Незабвенная Душа сказал мне: «Право же, лучше если я буду звать тебя не Каролина, а Кара Лина ¹». Звучит почти одинаково, зато сколько нежности. Ну как, не плохо?

— Отлично, да, да, отлично! — ответил Бартолино, словно Незабвенная Душа именно у него спрашивал совета.

— Значит, *кара* Лина, договорились? — с улыбкой заключила Сарулли.

— Договорились... да, да... договорились,— сгорая от стыда и растерянности, бормотал Бартолино. Ему казалось, что Незабвенная Душа насмешливо улыбается ему со стены.

Когда три месяца спустя супруги Фьеренцо уезжали в свадебное путешествие в Рим, на вокзале собрались многочисленные друзья и родственники.

— Бедный мальчик, какая она ему жена?! По-моему, роль мужа ей куда больше подходит!..— объясняла своему супругу Ортензия Мотта, давняя приятельница семьи Фьеренцо и близкая подруга Лины Сарулли.

Не думайте, однако, что Ортензия Мотта хотела этим сказать, будто Лина Сарулли, в первом браке Лина Таддеи, ныне Лина Фьеренцо, больше походила на мужчину, чем на женщину. Эта Каролина была даже слишком женственна. Одно только несомненно. Она куда опытнее Бартолино. Ах, какой он все-таки чудной, этот Бартолино — толстенький, лысый, румяный, а лицо, точно у любопытного мальчугана. Да и лысина у него какая-то странная; словно он нарочно выбрил макушку, чтобы не выглядеть таким мальчиком. Но это ему не помогло, бедняге.

¹ Игра слов: по-итальянски *сага* означает «дорогая».

— Как бедняга! Почему бедняга?! — недовольно промяукал в нос старый Мотта, муж молоденькой Ортензии. Он, можно сказать, самолично устроил брак Бартолино, и ему неприятно было слышать причитания жены.— Бартолино не какой-нибудь глупец или бездарность, он знающий химик.

— О да, просто первоклассный! — усмехнулась Ортензия.

— Первокласснейший! — отпарировал ее супруг.— Фьеренцо выдающийся химик, и если бы он пожелал напечатать и послать на конкурс свои глубокие, оригинальные исследования, то наверняка был бы избран профессором любого из лучших наших университетов. До сих пор химия была его единственной страстью. Он настоящий ученый. И мужем Бартолино будет тоже примерным — ведь он невинен и чист сердцем!

— Тут уж ты, конечно, прав...— согласилась Ортензия, как бы желая сказать: «Уж что-что, а невинен он, действительно, сверх меры».

Прежде, еще до того как Бартолино обручился с Линой Сарулли, всякий раз, когда муж заводил разговор с дядей Фьеренцо, синьором Ансельмо, о том, что надо «оженить» этого большого ребенка, Ортензия начинала громко и язвительно хохотать.

— Да, да, женить, его непременно надо женить! — оборотившись к ней, рассерженно говорил старый Мотта.

— Жените его на здоровье, мои дорогие! — отвечала она, разом успокаиваясь.— Я и смеюсь-то совсем не над тем — просто мне попалась веселая книга.

И верно, пока супруг играл очередную партию в шахматы с синьором Ансельмо, Ортензия Мотта читала какой-нибудь французский роман старой, разбитой параличом госпоже Фьеренцо, уже с полгода прикованной к креслу.

Что и говорить, веселые это были вечера! Бартолино сиднем сидел в своем кабинете, его старая больная мать, не понимая ни единой строчки, делала вид, будто слушает чтение, а в углу оба старика были поглощены игрой в шахматы. Просто необходимо было «оженить» Бартолино, тогда в доме станет хоть немного веселее. Вот они его и «оженили», бедного мальчика!

Ортензия думала сейчас о свадебном путешествии супругов Фьеренцо и молча улыбалась, живо представив

себе Лину наедине с этим полысевшим, неопытным мальчиком, чистым сердцем, как говорил ее супруг. Ведь Лина целых четыре года прожила с инженером Таддеи, таким веселым, жизнерадостным. Вот кто действительно был опытен и смел... пожалуй, даже слишком смел.

Быть может, Лина уже успела заметить разницу между первым и вторым мужем...

Перед отходом поезда Ансельмо сказал своей новой родственнице: «Поручаю тебе Бартолино...» «Покажи ему... Рим»,— хотел добавить дядюшка. Ведь Бартолино никогда там не был.

Лина же отлично знала этот город еще по первому своему свадебному путешествию с Незабвенной Душой. Ей до мельчайших подробностей запомнилась та, первая поездка. Она не забыла ни одной, даже самой пустяковой подробности, точно это произошло не шесть лет, а шесть месяцев тому назад.

Нынешнее путешествие с Бартолино показалось ей целой вечностью: занавесок и тех он не догадался задернуть! Едва только поезд прибыл в Рим, Лина сказала мужу:

— Теперь предоставь все мне, прошу тебя!

Вошел носильщик.

— Три чемодана, две картонки, нет, три картонки, саквояж, еще один саквояж, вон ту сумку и эту тоже. Ничего не забыли? Нет? В отель «Виктория»,— приказывала она.

Выйдя на площадь, Лина сразу же узнала знакомого кучера и кивнула ему. Когда они уселись в омнибус, Лина сказала мужу:

— Увидишь, гостиница хоть и не роскошная, но очень удобная, цены умеренные, обслуживают там хорошо, и даже центральное отопление есть.

Незабвенная Душа,— Лина все время невольно вспоминала его,— остался очень доволен этой гостиницей. И Бартолино там будет совсем неплохо. Ах, бедняжка, он еле дышит.— Растерялся, да? — участливо спросила Лина.— В первый раз и я тоже растерялась... Вот увидишь, Рим тебе понравится. Смотри, смотри, вон Пьяцца делле Терме... Термы ¹ Диоклетиана... церковь Санта Мария

¹ Общественные бани в Древнем Риме.

дельи Анджели, а вот это... да повернись же скорее, виа Национале... Потом мы придем сюда погулять...

В гостинице Лина сразу почувствовала себя как дома. Ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь узнал ее, а уж она-то знала здесь почти всю прислугу. Вот этого старого коридорного, например, зовут... Пиппо... не так ли? Ну конечно, прошло шесть лет, а она его не забыла.

— Какой нам дали номер? — спросила Лина.

— Двенадцатый, на втором этаже. Просторный, красивый, с удобным альковом.

Но Лина спросила у старого коридорного:

— А как насчет девятнадцатого номера на третьем этаже? Узнайте, Пиппо, не свободен ли он?

— Сию минуту, — с поклоном ответил коридорный.

— Он гораздо удобнее, — объяснила Лина мужу. — Возле спальни там есть еще крохотный закуток... Да и не так шумно, и воздуху больше. Нам там будет куда лучше... Вот и с Незабвенной Душой случилось то же самое... Сначала нам дали номер на втором этаже, но потом муж сменил его.

Вскоре вернулся коридорный и сказал, что девятнадцатый номер свободен и господа могут занять его, если желают.

— Конечно! Конечно! — поспешно ответила Лина, восторженно хлопая в ладоши.

Едва войдя в номер, она с радостью убедилась, что там все осталось по-прежнему: те же обои на стенах, так же расставлена мебель... Бартолино оставался равнодушным и не разделял восторгов жены.

— Тебе не нравится здесь? — спросила Лина, развязывая шляпку перед зеркалом.

— Нет... тут хорошо, — пробормотал Бартолино.

— Взгляни-ка! Вот этой картинке, я ее вижу в зеркале, здесь раньше не было. На ее месте висела японская тарелочка. Наверно, она разбилась. Ну говори же, тебе не нравится этот номер? Нет, нет! Никаких поцелуев... Сначала умойся. Умывальник вот здесь, а я пойду в свой закуток... Прощай! — И она упорхнула, счастливая и радостная.

Бартолино Фьеренцо смущенно огляделся. Потом подошел к алькову, поднял занавеску и увидел широкую постель. Должно быть, как раз на ней его жена и провела первую ночь с инженером Таддеи.

Бартолино отчетливо представил себе портрет

Козимо, висевший в гостиной, и ему показалось, что Незабвенная Душа снова улыбается ему.

Все то время, пока они жили в Риме, Лина не только ложилась в эту постель, но обедала и ужинала в тех же ресторанах, куда прежде ее водил Незабвенная Душа. Лина безошибочно, точно собачка, находила те самые улицы, где раньше она гуляла с Козимо. Они осматривали те же развалины, музеи, церкви, галереи, сады, которые Незабвенная Душа показывал жене.

Первые дни Бартолино совсем потерялся. Он не решался открыть жене, что это полное подчинение вкусам, советам, опыту Незабвенной Души все сильнее угнетает и унижает его.

Но Лина поступала так без всякого злого умысла. Она ничего не замечала, да и не могла заметить.

В восемнадцать лет ее, неопытную, не знавшую жизни девушку, взял к себе в дом Козимо Таддеи. Он воспитал ее, привил ей свои взгляды и привычки. Словом, Лина была его творением, всем, буквально всем, она была обязана своему первому мужу. И теперь она на все смотрела его глазами, говорила и рассуждала в точности как покойный Козимо Таддеи.

Так почему же она снова вышла замуж? Да потому, что Козимо успел внушить ей ту простую истину, что слезами горю не поможешь. Мертвые не воскресают, и жизнь берет свое. Если б умерла она, Козимо наверняка женился бы во второй раз, а поэтому...

Поэтому Бартолино должен поступать так же, как она, то есть, как сам Козимо Таддеи,— в сущности, их общий учитель и наставник. Не надо ни о чем думать, не надо огорчаться. Пока не поздно, нужно смеяться и веселиться. Нет, Лина вела себя именно так без всякого злого умысла.

Все это понятно, но неужели... он ни разу не может поцеловать или приласкать ее иначе, чем тот, другой? Неужели сам он не в состоянии вызвать в ней какие-то другие чувства, хоть на миг вырвать ее из-под незримой власти мертвеца?

Бартолино Фьеренцо лихорадочно старался придумать, как бы понежнее, по-своему, приласкать жену. Однако ему мешала робость.

Вернее, про себя он многое придумал. Но стоило

только жене, взглянув на его внезапно покрасневшее лицо, спросить: «Что с тобой?» — как его покидало всякое мужество.

— Со мной? — переспрашивал он с самым глупым видом.

Когда они вернулись из свадебного путешествия, их ждала печальная весть: Мотта, главный виновник их брака, скоропостижно скончался.

В свое время, когда умер Таддеи, Ортензия ухаживала за Линой, как за родной сестрой, и теперь Лина не замедлила прийти на помощь подруге.

Впрочем, Лина не думала, что утешить ее будет таким уж трудным делом. Откровенно говоря, Ортензия не должна особенно отчаиваться. Конечно, бедный Мотта был хоть и сухарь, но хороший человек. Но ведь он был гораздо старше ее.

Вот почему, когда Лина нашла свою подругу в столь безутешном горе через целых десять дней после несчастья, она долго не могла прийти в себя от изумления. «Наверно, у нее теперь, после смерти мужа, неважно с деньгами», — решила Лина. И она осторожно осведомилась у подруги, не надо ли ей помочь.

— Нет, нет! — поспешно отказалась Ортензия, вся в слезах. — Но... понимаешь...

Значит, Ортензия всерьез горевала о муже. Этого Лина никак не могла понять. И она решила поделиться своими сомнениями с Бартолино.

— Ах! — пожимая плечами, воскликнул Бартолино. Он покраснел, как рак, от стыда, что его разумная и рассудительная жена не может понять такой простой вещи. — Все-таки... у нее умер муж...

— А! Муж! — воскликнула Лина. — Да он ей в отцы годился!

— А разве этого мало?

— Так он Ортензии и отцом-то не был!

Лина была права. Ортензия слишком много плакала.

Хотя со дня женитьбы Бартолино прошло только три месяца, Ортензия успела заметить, что бедного мальчика очень смущает тот восторг, с каким его молодая жена рассказывает о первом муже. Бартолино всегда удивляло, что Лина непрерывно, ежечасно, точно о живом, вспоминает о Незабвенной Душе и в то же время решилась вторично выйти замуж. Дома он поделился своими

сомнениями с дядюшкой Ансельмо. Однако тот постарался разубедить племянника. Он доказывал ему, что это говорит лишь об искренности бедняжки, и Бартолино не следует на нее обижаться. Ведь раз Лина решила снова выйти замуж, значит, она хотя и не забыла о Козимо Таддеи, но и не хранит память о нем глубоко в сердце. Поэтому она и может безбоязненно говорить о покойном муже с ним, Бартолино. Рассуждения дяди не очень-то убедили Бартолино, и Ортензия это отлично знала. Она могла даже с уверенностью предположить, что после свадебного путешествия странная искренность жены обеспокоила его еще сильнее. И когда супруги Фьеренцо пришли выразить ей свое соболезнование, Ортензия решила показать Бартолино, что она безутешна.

Горе вдовы Мотта произвело на Бартолино такое сильное впечатление, что он впервые решился возразить жене, не желавшей верить в искренность ее страданий.

— А ты разве не плакала, когда умер твой...— с пылающим лицом сказал он жене.

— При чем здесь я! — прервала его Лина.— Во-первых, Незабвенная Душа был...

— Еще совсем молодым,— поспешно закончил Бартолино за жену.

— И потом я плакала,— продолжала Лина,— право же, плакала.

— Не очень сильно? — рискнул спросить Бартолино.

— Очень, очень... Но под конец я взялась за ум. Верь мне, Бартолино, слишком уж она убивается.

Однако Бартолино не хотел этому верить: слова жены вызвали в нем лишь еще большее раздражение, но не столько против самой Лины, сколько против покойного Козимо Таддеи. Теперь Бартолино ясно понял, что первый муж внушил ей и свои суждения и свои взгляды на жизнь. Собственных суждений у нее не было. «Этот человек был, верно, большим циником»,— думал Бартолино. Разве Незабвенная Душа не подмигивал ему каждый раз, когда он входил в гостиную?

Ах, видеть этот портрет стало для Бартолино невыносимой пыткой; он все время торчал у него перед глазами. Стоило Бартолино войти в кабинет, и вот уже вездесущий Козимо Таддеи улыбается и приветствует его и здесь, как бы говоря: «Входите! Входите, не стесняй-

тес! Раньше тут был мой кабинет. Вам это известно? Теперь вы оборудовали здесь свою химическую лабораторию. Не так ли? Не плохая работка! Что ж, мертвые не воскресают, а жизнь берет свое».

Стоило ему войти в спальню — Козимо Таддеи и тут не оставлял его. Хихикая, он приветствовал своего преемника: «Добро пожаловать! Будьте как дома! Покойной ночи! Ну как, довольны вы моей женой? А... я ее недурно обучил... Что ж, мертвые не воскресают, а жизнь берет свое».

Нет, Бартолино не мог больше этого переносить! И в жене и в самом доме — все, буквально все напоминало ему об этом человеке. Прежде такой спокойный, Бартолино стал теперь нервным, возбужденным, хотя и пытался всячески это скрыть. В конце концов, чтобы заставить жену изменить своим привычкам, он начал вести себя самым странным образом.

Но, на его несчастье, все эти привычки Лина приобрела, уже став вдовой. Козимо Таддеи был человеком самого веселого нрава, никаких привычек он не имел, да и не желал иметь. Поэтому при первых же своих чудачествах Бартолино слышал от жены:

— О Бартолино, да ты стал таким же, как Незабвенная Душа!

И все-таки Бартолино не хотел признать себя побежденным. Наперекор желанию, почти насильно, он изобретал все новые и новые чудачества. Но что бы он ни делал, Лине казалось, будто тот, другой, поступал точно так же.

Бартолино совсем пал духом, тем более что Лине начали даже нравиться его выходки. Ей казалось, наверно, что теперь она снова живет с Незабвенной Душой.

И тогда... желая дать выход растущему с каждым днем раздражению, он решил насолить жене.

Вообще-то, Бартолино мечтал отомстить не столько жене, сколько Козимо, который сумел подчинить ее себе, всю целиком, и до сих пор держит в своей власти. Бартолино воображал, что мысль об измене пришла ему внезапно. На самом же деле она была ему незаметно внушена и подсказана Ортензией, которая, когда Бартолино был еще холостяком, безуспешно пыталась всяческими уловками оторвать его от чрезмерных занятий химией.

Наконец-то Ортензия Мотта смогла взять реванш.

Сделав вид, будто ей очень неприятно обманывать подругу, Ортензия тем не менее намекнула Бартолино, что, когда он еще не был женат, она... Словом, все случившееся было неизбежным.

Бартолино не очень-то понял, почему это было неизбежным. Его, как наивного человека, разочаровала, почти оскорбила та легкость, с какой он добился своей цели.

Он сидел один в комнате старого добряка Мотта и мучился угрызениями совести. Случайно его взгляд упал на какой-то блестящий предмет, лежавший на коврике возле кровати. Вглядевшись, он увидел, что это был золотой медальон с цепочкой. Должно быть, Ортензия уронила его, когда вставала с постели. Бартолино поднял медальон и стал ждать. Нервно теребя медальон в руках, он нечаянно открыл крышку... Открыл и остолбенел. Внутри он увидел миниатюрный портрет Козимо Таддеи.

Незабвенная Душа смотрел на него и приветливо улыбался.

В САМОЕ СЕРДЦЕ

Когда Раффаэлла Озимо узнала, что утром студенты-медики снова будут в больнице, она попросила старшую сестру сводить ее в конференц-зал, где проводились занятия по диагностике.

Сестра сердито покосилась на нее.

— Хочешь показаться студентам?

— Да, да, пожалуйста, возьмите меня.

— А ты знаешь, что похожа на ящерицу?

— Знаю. Мне все равно. Возьмите меня.

— Поглядите только на эту бесстыдницу. Да ты хоть знаешь, что с тобой там будут делать?

— То же, что и с Нанниной,— сказала Раффаэлла.— Верно?

Наннина, ее соседка по палате, накануне выписалась из больницы. Перед этим она была в конференц-зале и, как только вернулась в палату, сразу же показала Раффаэлле свое тело, расчерченное, точно географическая карта: легкие, сердце, печень, селезенка — все было обведено дермографическим карандашом.

— И все-таки ты хочешь побывать там? — сказала старшая сестра. — Ну так и быть, я тебе помогу. Только помни, эти знаки ты потом долго-долго даже с мылом не отмоешь.

Раффаэлла Озимо пожала плечами и, слабо улыbnувшись, сказала:

— Вы только отведите меня туда и больше ни о чем не беспокойтесь.

Лицо ее слегка порозовело. Но какая она все еще худющая: одни глаза да пышные волосы! Глаза, правда, черные и прекрасные, вновь сверкали прежним огнем. А худоба ее хрупкого, словно у девочки, тельца скрадывалась складками широкого одеяла, покрывавшего убогую больничную койку.

Для старшей сестры, как и для всего медицинского персонала, Раффаэлла Озимо была старой знакомой.

Уже два раза она лежала в больнице. Первый раз из-за... ах, эти глупенькие девушки! Сначала они легко дают себя обмануть, а мучиться должно бедное невинное созданище, которое непременно попадает в приют.

Хотя, по правде говоря, и Раффаэлле не дешево пришлось заплатить за свою ошибку. Спустя два месяца после родов ее в почти безнадежном состоянии снова привезли в больницу: бедняжка проглотила три таблетки сулемы. И вот теперь Раффаэлла уже целый месяц лечилась от малокровия. Благодаря инъекциям железистых препаратов она поправилась и через несколько дней должна была выписаться.

В палате любили и жалели Раффаэлли, всегда такую застенчивую и добрую, с грустной улыбкой на лице. Даже в горе она не стала ни резкой, ни слезливой.

Когда ее в первый раз привезли в больницу, она, улыбаясь, сказала, что теперь ей только и остается умереть. Но слишком много девушек, подобно Раффаэлле, стали жертвой своего легкомыслия, и потому никого особенно не встревожили ее слова. Ведь известно, что все соблазненные и покинутые девушки грозят покончить самоубийством,— так стоит ли придавать значение таким словам!

Однако Раффаэлла Озимо как сказала, так и сделала.

И напрасно добрые монахини пытались тогда укрепить ее в вере. Раффаэлла вела себя так же, как сейчас:

внимательно слушала, улыбаясь, соглашалась с ними, но про себя чувствовала, что и после всех этих увещаний сердце ее по-прежнему сжимают стальные тиски.

Ничто больше не привязывало ее к жизни. Раффаэлла сознавала, что горько обманулась и в сущности всему виной был не юноша, которому она отдалась и который все равно не мог бы стать ее мужем, а собственная ее неопытность, доверчивость и страстность.

Но смириться она не могла.

И если другим ее история казалась вполне обычной, самой ей не становилось от этого легче. Она столько выстрадала! Сначала предательски убили отца, потом разлетелись в прах все ее надежды и мечты.

Теперь она была бедной портнихой, обманутой и брошенной, как тысячи других, но когда-нибудь... Правда, другие тоже говорили: когда-нибудь...— и обманывали самих себя, потому что у несчастных, сломленных жизнью людей произвольно возникает потребность лгать.

Однако она не лгала.

Отец ничего не жалел для нее, и Раффаэлла наверняка получила бы диплом учительницы, если б во время парламентских выборов он не погиб в Калабрии от руки наемного убийцы. Имя убийцы так и осталось неизвестным, но все знали, что убили отца Раффаэллы не из мести, а по приказу политических врагов барона Барни, преданным и ревностным секретарем которого он был.

Барни знал, что у Раффаэллы еще раньше умерла мать, и, когда его избрали депутатом парламента, афишируя перед избирателями свою доброту, приютил девушку у себя в доме.

Так Раффаэлла очутилась в Риме. Положение ее в доме Барни было двусмысленным: с ней обращались как с членом семьи, но, по существу, она была воспитательницей младших сыновей барона, а также чем-то вроде компаньонки баронессы. Денег ей, понятно, не платили.

Она работала, а Барни гордился своей добротой.

Но какое ей было тогда дело до всего этого? Она работала не за страх, а за совесть, стараясь заслужить отеческое расположение своего благодетеля. Втайне Раффаэлла надеялась, что ее бескорыстие и жертва, принесенная ее отцом, смягчат сердце Барни. Старший сын барона Риккардо обещал Раффаэлле, что признается отцу в своих чувствах к ней и тот не станет противиться их счастью. Сам Риккардо был убежден, что отец охотно уступит их

мольбам. Но ему всего девятнадцать лет, он еще студент. У него просто не хватало смелости признаться во всем родителям. Лучше подождать несколько лет.

И вот, ожидая... Но сколько можно ждать? Все время вместе, в одном доме, уверения в любви, клятвы, обещание жениться...

Словом, страсть ослепила Раффаэлла.

Когда же грех стало невозможно скрывать, ее выгнали из дому. Да, да, ее буквально вышвырнули вон без всякой жалости, не посчитавшись даже с ее состоянием. Барон Барни написал в Калабрию ее старой тетке, чтобы та немедленно забрала Раффаэлла. При этом он пообещал помогать им деньгами. Однако тетка умоляла барона немного подождать — может, он разрешит Раффаэлле хотя бы родить в Риме! Ведь там, в маленьком калабрийском селении, это вызовет целый скандал. Барни уступил, но с условием, что сын не будет ничего знать: ему скажут, будто обе они уже уехали. Однако после родов Раффаэлла отказалась вернуться в Калабрию. Вне себя от ярости барон пригрозил лишить их пособия. И после того как Раффаэлла попыталась покончить с собой, он действительно перестал им помогать. Риккардо уехал во Флоренцию. Раффаэлла, которую чудом удалось спасти, поступила ученицей к портнихе — теперь ей надо было содержать себя и тетку. Прошел год, Риккардо вернулся в Рим, но она даже не пыталась снова с ним встретиться. После неудавшегося самоубийства Раффаэлла твердо решила постепенно известить себя. Ее тетка в один прекрасный день потеряла всякое терпение и вернулась в Калабрию. Месяц тому назад, придя на работу, Раффаэлла потеряла сознание. Ее отвезли в больницу, где она и осталась лечиться от малокровия.

И вот вчера, когда Раффаэлла лежала в кровати, мимо нее прошла группа студентов-медиков, слушавших курс лекций по диагностике. Среди них впервые за эти два года она увидела Риккардо. Рядом с ним шла красивая, белокурая девушка. С виду она походила на иностранку и, наверно, тоже была студенткой. А как она на него смотрела! Нет, чутье не обманывало Раффаэлла: эта девушка была влюблена в Риккардо. А с какой нежностью она улыбалась, заглядывая в самую глубину его глаз!

Раффаэлла провожала их взглядом, пока они не вышли из палаты. Она полулежала, опираясь на локоть,

глаза ее были широко раскрыты. Ее соседка по палате Наннина залилась смехом.

— Что ты там увидела интересного?

— Ничего.

Раффаэлла с какой-то грустной улыбкой поспешно легла. Сердце у нее билось часто-часто, точно хотело выпрыгнуть из груди.

Потом пришла старшая сестра и велела Наннине одеваться: профессор хотел продемонстрировать ее студентам во время лекции.

— А что они будут со мной делать? — спросила Наннина.

— Съедят! Что они могут с тобой особенного сделать? — ответила ей старшая сестра. — В этот раз выбрали тебя; потом дойдет очередь и до других. Тем более что ты завтра выписываешься.

Сначала Раффаэлле бросало в дрожь при одной мысли, что могут выбрать и ее. Ах, как она покажется им, такая худая и некрасивая? Ведь подурневшая женщина ни в ком не вызывает ни сочувствия, ни сострадания.

Конечно, друзья Риккардо, увидев ее, такую жалкую, начнут смеяться над ним.

— Как! Неужели ты мог связаться с этой ящерицей?

Так ей не удастся отомстить Риккардо. Впрочем, она и не собирается ему мстить.

Спустя полчаса вернулась Наннина. Когда она объяснила подруге, что с ней делали, и показала ей свое исчерченное специальным карандашом тело, Раффаэлла внезапно передумала. Теперь она просто дрожала от нетерпения, ожидая прихода студентов.

Наконец часов в десять они появились. Пришел и Риккардо, как и в прошлый раз, вместе с белокурой студенткой. Они влюбленно улыбались друг другу.

— Можно одеваться? — спросила Раффаэлла у старшей сестры. Вся зардевшись, она мгновенно вскочила и села на постели, едва только те двое прошли в зал.

— Что за спешка! Ложись! — приказала старшая сестра. — Подожди, пока профессор распорядится...

Но Раффаэлла — можно было подумать, что она ослышалась, — потихоньку начала одеваться.

Когда старшая сестра пришла за ней, Раффаэлла уже была готова.

Содрогаясь всем своим жалким телом, бледная как смерть, с распущенными волосами, вошла она в зал. Глаза у нее лихорадочно блестели, она пробовала улыбнуться.

Риккардо Барни разговаривал с юной студенткой и сначала не заметил Раффаэлла. Затерявшись среди множества людей, она искала его глазами и даже не слышала, как главный врач сказал ей:

— Сюда, сюда, детка!

Риккардо Барни обернулся на голос профессора и увидел Раффаэлла, которая с пылающим лицом пристально смотрела на него. Он совсем растерялся, побледнел как полотно. В глазах у него потемнело.

— Ну же! — крикнул профессор. — Идите сюда!

Студенты захохотали. Услышав их смех, Раффаэлла растерялась еще сильнее. Она увидела, что Риккардо отошел к окну, обвела зал испуганным взглядом, нервно улыбнулась и спросила:

— Что я должна делать?

— Сюда, сюда, ложитесь вот сюда! — крикнул ей профессор, который стоял возле демонстрационного стола, покрытого чем-то вроде ватного одеяла.

— Сейчас, сейчас, синьор! — торопливо ответила Раффаэлла, но ей не удавалось залезть на стол; она снова улыбнулась и сказала: — Никак не могу...

Один из студентов помог ей взобраться. Прежде чем лечь, она взглянула на профессора, красивого, высокого, гладко выбритого мужчину в золотых очках и, указывая на молоденькую девушку, сказала:

— Пожалуйста, пусть меня разрисует она.

Студенты снова дружно расхохотались. Улыбнулся и профессор.

— Почему? Стесняешься, что ли?

— Нет, синьор. Просто лучше, чтобы она. — Раффаэлла обернулась и посмотрела на Риккардо, который по-прежнему стоял у окна, спиной к ней.

Белокурая студентка невольно проследила за ее взглядом. Она уже успела заметить, что Риккардо Барни смущен и растерян. Теперь она увидела, что он отошел к окну, и тоже ужасно смутилась.

Однако профессор уже окликнул ее:

— Что ж, прошу вас, приступайте к осмотру, синьорина Орлицц. Так и быть, уважим пациентку.

Раффаэлла легла на стол и посмотрела на белокурую

студентку, которая осторожно подняла вуаль. Какая она красивая, стройная, кожа у нее белая, а глаза — голубые и нежные-нежные. Вот она сняла плащ, профессор протянул ей дермографический карандаш, и молоденькая девушка наклонилась над Раффаэлкой. Руки девушки слегка дрожали, когда она обнажала грудь пациентки.

Раффаэлла закрыла глаза, стыдясь своей жалкой груди, на которую смотрело сейчас столько молодых мужчин, столпившихся возле стола. На сердце ей легла холодная рука девушки.

— Учащенное сердцебиение...— сразу же сказала синьорина Орлицц, убирая руку. Говорила она с сильным иностранным акцентом.

— Давно вы в больнице? — спросил профессор.

Раффаэлла ответила, не открывая глаз, лишь ресницы ее тревожно дернулись:

— Тридцать два дня. Я почти выздоровела.

— Проверьте, нет ли у больной шумов в сердце,— продолжал профессор, протягивая белокурой студентке стетоскоп.

Раффаэлла почувствовала холодное прикосновение инструмента к груди, потом услышала, как девушка ответила:

— Шумов нет... Сильное сердцебиение.

— Сделайте перкуссию,— приказал профессор.

При первом же легком ударе Раффаэлла отвернулась, крепко стиснула зубы и приоткрыла глаза. Но тут же она снова закрыла их, изо всех сил сдерживая рыдания. Время от времени студентка прекращала перкуссию, стоявший рядом студент вынимал из стакана с водой карандаш и протягивал его синьорине Орлицц; слегка надавив на грудь средним пальцем, девушка проводила карандашом короткую линию. Раффаэлла, которая, пока ее выстукивали, лежала затаив дыхание, только в эти секунды решалась, наконец, глубоко вздохнуть.

Скоро ли кончится эта пытка? А он по-прежнему стоит у окна... Почему профессор не позовет его? Не прикажет взглянуть на изображение ее сердца. Пусть и он посмотрит на ее жалкую, иссохшую по его вине грудь, которую его белокурая подруга постепенно расчерчивала карандашом.

Наконец студентка закончила перкуссию. Теперь она соединяла между собой все линии, завершая общий рисунок. Раффаэлле хотелось взглянуть на точное изображе-

ние своего сердца, но силы покинули ее, и, не удержавшись, она разрыдалась.

Профессор отослал ее в палату и раздраженно приказал старшей сестре вызвать другую больную, не такую истеричку и дуру, как эта.

Раффаэлла Озимо спокойно перенесла упреки старшей сестры. Улегшись в свою убогую постель, она с дрожью нетерпения ждала, когда студенты выйдут из конференц-зала.

Будет ли Риккардо, проходя через палату, хоть взглядом искать ее? Нет, нет. Какое ей теперь до этого дело? Она даже головы не поднимет. Ему и незачем видеть ее. Во что она превратилась, он уже знает. Больше ей ничего не надо.

Дрожащими руками она натянула на лицо простыню и долго лежала так, точно мертвая.

Целых три дня, до самой выписки, Раффаэлла Озимо старательно следила за тем, чтобы рисунок на груди не стерся.

Вернувшись в свою бедную комнатку, она подошла к маленькому зеркальцу, вытащила остро отточенный нож, уперла его в стену и вонзила в самое сердце, которое невольная соперница обрисовала на ее груди.

В МОЛЧАНИИ

— Ватерлоо! Ватерлоо! Боже мой! Надо произносить Ватерлоо!

— Да, синьор, после Святой Елены.

— После... Да что вы говорите? При чем тут Святая Елена?

— Ах, да! Остров Эльба.

— Ну нет! Оставьте Эльбу, дорогой Бреи! Или вы думаете, что на уроке истории можно импровизировать? Садитесь!

Чезарино Бреи, бледный и смущенный, сел. Несколько секунд учитель продолжал смотреть на него недовольно, даже раздраженно.

В первых двух классах лица так хвалили усердие

и прилежание этого мальчика, а теперь,— то есть с тех пор, как он надел форму воспитанника Национального колледжа,— подумайте только: не может даже понять истинных причин поражения Наполеона при Ватерлоо, хотя по-прежнему, как и подобает хорошему ученику, бесконечно внимателен на уроках.

Что с ним случилось?

Чезарино и сам этого не понимал. Он целыми часами занимался, или, вернее, целыми часами смотрел сквозь большие очки в открытую книгу своими близорукими глазами, но не мог сосредоточиться; он был ошеломлен и увлечен новыми, беспокойными мыслями.

И случилось это не в момент поступления в колледж, как думали учителя, а несколько раньше. Чезарино мог бы даже сказать, что именно эти мысли и некоторые странные впечатления заставили его подчиниться матери и поступить в колледж.

Мать (называвшая его Чезаре, а не Чезарино), не глядя ему в глаза, сказала:

— Тебе необходимо, Чезаре, переменить образ жизни, тебе нужно общество сверстников, нужен порядок и дисциплина не только в занятиях, но и в развлечениях. Вот я и подумала, если ты ничего не имеешь против, то тебе лучше провести последний учебный год в колледже. Хочешь?

Он поспешил согласиться, даже не раздумывая, настолько он был смущен поведением матери в последние месяцы.

Он был единственным сыном и не помнил отца, который, должно быть, умер совсем молодым, раз мать еще могла считаться молодой: всего тридцать семь лет. Самому ему исполнилось восемнадцать, ровно столько, сколько было матери, когда она вышла замуж.

Он подсчитал правильно, но ведь, по правде говоря, если его мать еще была молода и вышла замуж восемнадцати лет, то это не значит, что отец умер совсем молодым; мать могла выйти замуж за человека старше ее, быть может, даже за старика, не так ли? Но Чезарино не обладал пылким воображением. Ни над этим, ни над многим другим он не задумывался.

Кроме того, в доме не было ни одного портрета отца, никаких следов его существования; мать никогда об отце не вспоминала, да и сам Чезарино не расспрашивал о нем. Он знал, что отца звали тоже Чезаре, и только. Да

и это знал он лишь потому, что в школьном аттестате было написано: «*Брей Чезарино, сын покойного Чезаре, родился в Милане*» и т. д. В Милане? Да. Но ведь и о своем родном городе он ровно ничего не знал, или, вернее, знал, что в Милане есть собор, вот и все: собор, галерея Виктора Эммануила, рождественские хлебцы — и только. Мать, тоже уроженка Милана, переехала в Рим сразу же после смерти мужа и рождения сына.

Хорошенько подумав, Чезарино мог бы сказать, что и мать он знает мало. Днем он ее почти не видел. С утра до двух часов она преподавала рисование и вышивание в профессиональной школе, потом до шести, до семи, а иногда и до восьми часов вечера давала частные уроки французского языка и музыки. Вечером она возвращалась домой усталая, но и дома, до ужина, была занята по хозяйству, делала все то, с чем не могла справиться служанка; а сразу же после ужина садилась исправлять тетради частных учениц.

Мебель, более чем приличная, все удобства, хорошее платье, расходы, да, конечно, большие расходы, щедро оплачиваемые трудом неутомимой мамы; но зато какая печаль, какая тишина в доме!

Думая об этом в колледже, Чезарино чувствовал, как у него сжимается сердце. Дома, возвращаясь из школы, он неохотно обедал один в хорошо обставленной, но почти темной столовой, прислонив раскрытую книгу к графину на белом квадрате скатерти, покрывавшей старинный ореховый стол. Потом шел в свою комнату и занимался, и наконец вечером, когда его звали ужинать, выходил неловкий, подавленный, хмурый, щуря под очками близорукие глаза.

За ужином мать и сын говорили мало. Она расспрашивала его о школе, о том, как он провел день, часто упрекала за то, что он живет совсем не по-юношески, советовала развлечься, убеждала гулять днем на свежем воздухе, быть поживее, больше походить на мужчину. Конечно, следует заниматься, но надо же и отдыхать. Ей тяжело видеть его таким печальным, бледным, равнодушным ко всему.

Он отвечал ей коротко: «Да, нет», холодно соглашался и с нетерпением ждал конца ужина, чтобы как можно скорее лечь в постель, потому что привык вставать рано.

Он рос одиноко; между ним и матерью не было близости. Он видел, понимал, как непохожа она на него, такая живая, энергичная, ловкая. Быть может,

он походил на отца. И пустота, возникавшая после смерти отца, отделяла его от матери и все острее чувствовалась с годами. Даже если мать была рядом, она всегда казалась ему далекой.

Теперь это ощущение усилилось и вызывало в нем странную неловкость, в особенности когда (правда, довольно поздно, но мы ведь знаем, Чезарино не обладал пылким воображением), когда он услышал разговор двух товарищей, и у него рассеялись детские иллюзии. Перед ним неожиданно раскрылись некоторые постыдные тайны жизни, о которых он даже не подозревал. И тогда мать стала еще более далекой. За последние дни, проведенные дома, он заметил, что, несмотря на тяжкий труд с утра до вечера, она все еще была красивой, очень красивой и цветущей, и всегда заботилась о своей красоте: по утрам она долго и любовно причесывала волосы, одевалась с аристократической простотой, необыкновенно изящно; и его оскорблял даже запах ее духов, которого он прежде почти не замечал.

Чтобы освободиться от этого странного чувства к матери, он сразу же согласился поступить в колледж. Заметила ли она это? И что побудило ее сделать такое предложение?

Теперь Чезарино задумывался над всем. С детских лет он всегда был послушным и прилежным, всегда исполнял свои обязанности без какого-либо надзора, правда, он был несколько хрупок, но все же вполне здоров. Доводы матери его несколько не убеждали. Он боролся с собой, пытаясь отогнать некоторые мысли, от которых ему становилось стыдно и совестно, особенно теперь, когда он узнал, что мать заболела. Уже несколько месяцев она не навещала его по воскресеньям в колледже. Во время двух-трех последних визитов она жаловалась, что ей нездоровится; и действительно, она показалась Чезарино не такой цветущей, как прежде. Он даже заметил непривычную небрежность в ее костюме, и ему стало еще более совестно дурных мыслей, вызванных ее чрезмерной заботливостью о своей наружности.

Из записочек, которые мать время от времени ему посылала, справляясь, не нуждается ли он в чем-нибудь, Чезарино знал, что врач предписал ей покой, так как она слишком долго и сильно переутомлялась, запретил ей выходить, хоть и уверял, что ничего серьезного нет, и если она будет точно исполнять его предписания, то, несомненно, выздоровеет. Но болезнь затягивалась, и Че-

зарина беспокоился и не мог дождаться конца учебного года.

Естественно, что в таком настроении ему не удалось понять до конца истинные причины поражения Наполеона Бонапарта при Ватерлоо, выдуманные преподавателем истории, хотя он и старался изо всех сил.

В этот самый день, едва Чезарино вернулся в колледж, его вызвали к директору. Он ждал серьезного выговора за плохие успехи в текущем учебном году, но вместо этого директор говорил с ним очень мягко и ласково и даже казался несколько смущенным.

— Милый Бреи,— сказал он, кладя ему руку на плечо, чего обычно не делал,— вы знаете, что ваша мама...

— Ей хуже? — тотчас же вскричал Чезарино, в ужасе подняв глаза на директора, и фуражка выпала у него из рук.

— Как будто да, мой мальчик. Вам нужно немедленно идти домой.

Чезарино продолжал смотреть на директора, и в его умоляющем взгляде был вопрос, который губы не решились произнести.

— Я сам хорошенько не знаю,— сказал директор, поняв этот немой вопрос.— За вами недавно приходила из дому какая-то женщина. Мужайтесь, мой мальчик! Идите. Я отдаю служителя в ваше распоряжение.

Чезарино вышел из кабинета, мысли его путались, он не знал, что делать, какой дорогой бежать домой. Где служитель? А фуражка? Где он оставил фуражку?

Директор подал ему фуражку и велел служителю, если понадобится, не отходить от юноши весь день.

Чезарино побежал домой на улицу Финанце. За несколько шагов он увидел, что парадная дверь полуоткрыта, и ноги у него подкосились.

— Мужайтесь! — повторил ему служитель, который уже все знал.

Весь дом был перевернут вверх дном, словно смерть ворвалась туда силой.

Вбежав, Чезарино сейчас же заглянул в комнату матери, и там, в глубине, на постели, увидел ее... такую длинную (таково было первое, ошеломляющее, странное, поразительное впечатление) — такую длинную, о боже,

точно смерть насильно вытянула ее. Она лежала неузнаваемая, оцепенелая, бледнее воска, а под глазами и около ноздрей уже проступила синева.

— Что это? Что это? — пролепетал он, опустив плечи и вытягивая шею, чтобы лучше видеть, как обычно делают близорукие, сначала скорее заинтересованный, чем испуганный этим зрелищем.

И словно в ответ, из соседней комнаты, разорвав жуткую тишину смерти, послышался пронзительный, хриплый детский крик.

Чезарино тотчас же обернулся, словно этот крик хлестнул его по спине, и, дрожа всем телом, посмотрел на служанку, которая молча плакала, стоя на коленях у постели.

— Ребенок?

— Там, — кивнула она на дверь.

— Ее? — скорее выдохнул, чем проговорил он.

Служанка утвердительно кивнула головой.

Он снова обернулся к матери, но не в силах был смотреть на нее. Потрясенный неожиданным, ужасным разоблачением, которое ошеломило его и точно убило горе у него в груди, он закрыл глаза руками и почувствовал, что из глубины его судорожно сжавшегося тела рвется крик, который не пропускает сдавленное отчаянием горло.

Так, значит, от родов? Умерла от родов? Но как же? Так вот почему? И вдруг в нем вспыхнуло подозрение, нет ли там, откуда донесся детский плач, *кого-нибудь*; он с ненавистью взглянул на служанку.

— Кто... кто?

Больше он ничего не мог выговорить.

Дрожащей рукой он пытался поправить очки, скользившие с носа, мокрого от слез, которые неожиданно хлынули горячим потоком.

— Идите... идите... — говорила ему служанка.

— Нет... скажи мне... — настаивал он.

В конце концов он заметил, что вокруг кровати стоят незнакомые люди и смотрят на него изумленно и сочувственно. Он замолчал и позволил служанке увести себя в комнатку, где жил до поступления в колледж.

Там была только акушерка, которая недавно выкупала еще красного и опухшего новорожденного.

Чезарино с отвращением посмотрел на него и снова обернулся к служанке.

— Никого? — сказал он почти про себя. — А этот ребенок?

— О, мой синьорино! — воскликнула служанка, стискивая руки. — Что я могу сказать? Я ничего не знаю. Мы как раз говорили об этом с акушеркой... Я, право же, ничего не знаю! Могу поклясться, что сюда ни разу никто не приходил.

— Она тебе не говорила?

— Никогда, ничего! Никогда ничего она мне не рассказывала, а я, конечно, не смела спрашивать... Она плакала, вот что. Все время плакала потихоньку! Перестала выходить из дому, когда стало заметно... Вы меня понимаете...

Чезарино в ужасе поднял руки, требуя, чтобы служанка замолчала. В ужасной пустоте, порожденной этой внезапной смертью, он чувствовал неодолимую потребность узнать все и вместе с тем не хотел ничего знать. Позор был слишком велик. Его мать умерла от этого позора, и она все еще здесь, в доме.

Закрыв лицо руками, Чезарино остановился у окна и в одиночестве принялся размышлять.

Он, как и служанка, не мог вспомнить ни одного мужчины, который казался бы подозрительным, пока он жил здесь. Но на стороне? Его мать так мало бывала дома! А что он знал о ее жизни на стороне? Что делала его мать вне узкого круга их общения, здесь, по вечерам, за ужином? У нее была другая жизнь, в которую ему всегда был закрыт доступ. Наверное, она сошлась с кем-то... С кем? Она плакала. Значит, тот ее бросил, не желая или не имея возможности на ней жениться. Вот почему она отдала сына в колледж: хотела избавить и себя и его от неизбежного позора. Но потом? Ведь он бы кончил колледж в июле. А тогда? Или она думала скрыть все следы своего падения?

Он отнял руки от лица и снова посмотрел на ребенка. Акушерка запеленала его и положила на кровать, на которой спал Чезарино, когда жил дома. Чепчик, распашонка, нагрудничек... Нет, она, очевидно, хотела оставить ребенка у себя. Ну, конечно, сама приготовила ему приданое. А значит, выйдя из колледжа, Чезарино нашел бы дома незнакомое маленькое существо. Что сказала бы ему мать тогда? Вот, вот почему она умерла! Кто знает, какую страшную тайную муку пережила она за эти месяцы! Ах, подлец, какой подлец тот, кто обрек ее на эту

пытку, бросил ее опозоренной! И она пряталась дома, скрывая свое положение, и, быть может, лишилась места преподавательницы в профессиональной школе... На что она жила все эти месяцы? Вероятно, на сбережения, отложенные за долгие годы работы. А теперь?

Чезарино вдруг почувствовал, что пустота вокруг него становится еще страшнее и безбрежнее. Он был один, один на свете, без помощи, без родных, близких или дальних; один с этим маленьким существом, которое при появлении на свет убило мать и само очутилось в такой же пустоте, обреченное на такую же судьбу... без отца... как и он.

Как и он? Ну да, быть может, и он,— почему это раньше не приходило ему в голову? Быть может, и он тоже родился так! Что знал он о своем отце? Кто был этот Чезаре Бреи? *Бреи*? Но разве это не фамилия его матери? Да, Энрика Бреи. Так она подписывалась, и все знали ее как учительницу Бреи. Если бы она была вдовой, то, поселившись в Риме и начав преподавать, она не стала бы называться своей прежней фамилией или, в крайнем случае, присоединила бы ее к фамилии мужа. Но нет, Бреи была ее собственная фамилия; и он, следовательно, носит фамилию матери, а покойный Чезаре, совершенно неведомый ему, не оставивший в доме никаких следов, быть может, никогда и не существовал. А вдруг он был Чезаре, но не Бреи... Кто знает, как настоящая фамилия его отца! И почему он до сих пор обо всем этом не думал?

— Послушайте, бедненький синьорино,— сказала ему служанка.— Акушерка хотела бы вам сказать... Эта крошка...

— Да,— прервала ее акушерка,— эта крошка нуждается в молоке. Кто его даст?

Чезарино растерянно взглянул на нее.

— Я говорила,— продолжала акушерка,— что... раз он так родился... и матери, бедняжки, больше уж нет... а вы, бедный мальчик, не сможете заботиться о малютке... я говорила...

— Что надо забрать его? — нахмурившись, спросил Чезарино.

— Я, видите ли,— продолжала она,— должна буду сейчас сообщить о нем в городскую управу... Я хочу знать, что вы собираетесь делать.

— Да,— снова смутившись, сказал Чезарино.— Да... Подождите... я хочу, я хочу раньше посмотреть...

И он оглянулся, словно чего-то искал. Служанка пришла ему на помощь.

— Ключи? — тихо спросила она.

— Какие ключи? — машинально повторил он.

— Вы ищете связку ключей, чтобы посмотреть... или еще что? Видите, вон они там, на подзеркальнике в маминной комнате.

Чезарино пошел было туда, но вдруг остановился при мысли, что опять увидит мать, теперь, когда он все знает. Служанка, которая следовала за ним, прибавила еще тише:

— О многом нужно позаботиться, синьорино. Я знаю, вы, конечно, растерялись, совсем один, бедная, невинная душенька... Врач приходил, я бегала в аптеку... накупила много всего... но это пустяки, теперь надо подумать и о бедной маме, не правда ли? Что делать? Сами посудите.

Чезарино пошел за ключами. Он снова увидел на постели мать, вытянувшуюся и окоченелую, и, точно околдованный, подошел к ней. Ах, немые, немые теперь навсегда эти губы, которые так много должны были ему сказать! Она унесла с собой в ужасное безмолвие смерти тайну этого ребенка и тайну его собственного рождения... Но, быть может, если поискать, порыться... Где же ключи?

Он взял их с подзеркальника и последовал за служанкой в кабинет матери.

— Поищите здесь, вот в этом шкафчике.

Он нашел там немногим более ста лир — быть может, все, что осталось от сбережений.

— Больше ничего?

— Ничего, но подождите...

В шкафчике он нашел несколько писем и решил тотчас же прочесть их. Но эти письма (всего три) были от одной учительницы профессиональной школы, которая послала их матери в Рио Фреддо, где два года тому назад они провели вместе летние каникулы. А через год эта учительница, коллега матери, умерла. Из последнего письма вдруг выпала записка, и служанка торпливо подобрала ее.

— Дай сюда! Дай сюда!

Записка была написана карандашом, без обращения, без даты и гласила:

«Сегодня невозможно. Постараюсь в пятницу.

Альберто».

— Альберто...— повторил Чезарино, глядя на служанку.— Это он! Альберто... Ты его знаешь? Ничего не знаешь? Совсем ничего? Говори!

— Ничего, мой синьорино, ведь я же вам сказала!

Он снова стал шарить в шкафчике, в ящиках комодов, всюду, перерыл всю комнату, но ничего не нашел. Одно только имя! Известно только, что отца ребенка зовут Альберто. А его отца — Чезаре... Два имени, ничего больше. А она лежит мертвая, там! И вокруг все те же вещи, бесчувственные, безучастные. И он один, в этой пустоте, с ребенком, едва родившимся, но уже никому не нужным; у него самого до сих пор все же была мать. Бросить ребенка? Нет, нет, бедный малютка!

Охваченный острой жалостью, в которой уже проступала братская нежность, он почувствовал, как в нем возрастает энергия отчаяния. Он взял из шкафчика несколько драгоценных безделушек и отдал их служанке, чтобы та раздобыла денег на первое время. Затем пошел в маленькую гостиную и попросил служителя позаботиться обо всем, что надо было сделать для мамы. Вернулся к акушерке и попросил ее немедленно найти кормилицу. Сбегал за своей форменной фуражкой в комнату покойницы; в душе поклялся матери, что ни малыш, ни сам он не погибнут, и побежал в колледж переговорить с директором.

За несколько мгновений он стал другим человеком. Не жалуясь, он рассказал директору о своем положении, о своих намерениях и попросил помощи спокойно, в твердой уверенности, что никто не может отказать ему, что он имеет священное право на помощь за все те страдания, на которые его, ни в чем не повинного, обрекли его собственная мать и неизвестный, который дал ему жизнь, и тот, другой, который отнял у него мать, оставив на руках новорожденного ребенка.

Директор слушал его с открытым от удивления ртом и со слезами на глазах, он тотчас заверил, что сделает все, чтобы как можно скорее помочь молодому человеку, и никогда-никогда не оставит его.

Он крепко обнял Чезарино, плача вместе с ним, и обещал сегодня же вечером прийти к нему и, надо надеяться, с добрыми вестями.

— Хорошо. Спасибо, синьор. Я вас жду.

И он помчался домой.

Небольшая помощь была оказана сразу же, но Чезарино этого почти не заметил, потому что все ушло на похороны, о которых позаботились чужие люди.

Сам он думал только о ребенке, о том, как спасти его и себя, уйти прочь, прочь из этого несчастного дома, где, к довершению позора, было собрано, неизвестно как, неизвестно откуда все это богатство: мебель, портьеры, ковры, фарфор, вся эта обстановка, может быть, не роскошная, но уж, конечно, дорогая. Он смотрел на нее почти с ненавистью, потому что она хранила в себе тайну своего происхождения. Нужно было как можно скорее избавиться от всего этого, сохранив только самое скромное и необходимое, чтобы обставить три убогие комнаты, снятые в предместье с помощью директора колледжа.

Он долго и упорно торговался со скупщиками поддерживаемой мебели и старьевщиками, которых рекомендовали ему соседи. Как это ни странно, но ему казалось, что эти вещи принадлежат прежде всего ребенку, раз мама умерла из-за него и тем самым выставила напоказ позор своего богатства, а ребенок, такой крохотный и безответный, имел право, черт возьми, не чувствовать позора, тем более, что другой, а не он сам защищал его интересы.

Он продал бы также платья и всякие мелочи меланхоличной, болезненной старьевщице, которая явилась наряженная и жеманная, точно изнемогала от усталости, если бы она вкрадчивым голосом и со сладкой улыбкой не дала понять, для какой клиентуры предназначает эти платья и украшения. Он выгнал ее вон. Ах, эти вещи, почти живые, еще хранили запах духов, так смущавший его в последнее время. Когда он прятал их, ему показалось, что от них словно веет дыханием ребенка, и это подтверждало странное ощущение, что здесь все, все принадлежит этому ребенку, вымытому, напудренному, запеленатому в роскошное приданое, приготовленное для него матерью перед смертью. Этому ребенка надо было не только спасти, но и окружить таким нежным уходом, каким, вероятно, окружила бы его мама; ребенок казался Чезарино теперь бесценным, бесценным и милым существом, благодаря которому в нем неожиданно и радостно пробудилась прекрасная, мужественная бодрость матери.

Он не замечал (хотя это могли заметить другие), что живость и пылкая энергия матери в его несчастном, худеньком тельце поддерживалась лишь ценой отчаянного усилия, а это делало мальчика резким,

подозрительным и даже жестоким. Да, даже жестоким, ведь у него хватило жестокости уволить старую служанку Розу, хотя она и была так добра к нему во время всей этой суматохи. Но нельзя было осуждать его за слова и поступки. В сущности, он правильно поступил, уволив служанку, раз приходилось дорого платить кормилице; правда, можно было бы все устроить иначе, но люди простили ему и это, как, впрочем, простила и сама Роза: ведь бедняжка, должно быть, и не замечала, как он жесток к другим,— на него самого сейчас обрушивались такие жестокие удары судьбы. Если бы не сострадание, то самое большее, что можно было позволить себе,— это улыбнуться, глядя на замученного человечка, на худенькие вздернутые плечики, бледное, суровое лицо, пристальные, близорукие глаза за толстыми стеклами. Охваченный постоянным беспокойством, боясь не поспеть вовремя, он бегал по городу и хлопотал обо всем. Ему помогали, а он даже не благодарил. Не поблагодарил он и директора колледжа, когда тот пришел в его новую квартиру после переезда и сообщил, что нашел ему место переписчика в министерстве народного просвещения.

— Это, конечно, немного. Но по вечерам, после работы, ты будешь заходить в колледж и давать частные уроки воспитанникам, ученикам младших классов. Вот увидишь, этого тебе хватит. Ты — молодчина.

— Да, синьор. Ну, а как с костюмом?

— С каким костюмом?

— Я не могу ходить в министерство в лицейской форме.

— Надень один из костюмов, которые ты носил до поступления в колледж.

— Нет, синьор, это невозможно. Они все, по желанию мамы, с короткими панталонами. И нет ни одного черного.

Все затруднения (а их было множество) не столько смущали, сколько раздражали его. Он хотел победить, он должен был победить. Но, казалось, чем больше он стремился победить, тем большей помощи он ждал от других. И когда в министерстве другие служащие, люди все пожилые или старые, несмотря на угрозы начальства совсем закрыть отдел переписки, приносящий слишком мало дохода, бездельничали, он начинал, фыркая, вернуться на стуле, или топал ногой, потом резко поворачивался и смотрел на них из-за своего стола, стуча кулаком

по спинке стула; не потому, что ему казалось бесчестной их глупая небрежность, а потому, что они, не сознавая своей обязанности работать вместе с ним, можно сказать — для него, подвергали его риску потерять место. Естественно, что призванные к порядку мальчишкой, они смеялись и издевались над ним. Он вскакивал, грозил пожаловаться и этим все портил, потому что тогда они сами предлагали ему сделать это, и ему приходилось признать, что доносом он, пожалуй, только приблизит общую беду. И он смотрел на них так, словно своим смехом они раздирали его на части, а потом, сгорбившись над столом, переписывал, сколько мог, просматривал то небольшое, что переписали другие, исправлял их ошибки, при этом он не обращал внимания на острые словечки, которыми они старались его задеть, чтобы вывести из себя. В иные вечера, чтобы кончить работу, порученную отделу, он уходил из министерства часом позже других. Директор видел, как Чезарино приходил в колледж измученный, тяжело дыша; его глаза, казалось, застыли в судорожной неподвижности от мысли, что у него не хватит сил преодолеть все эти затруднения и препятствия, к которым теперь добавилась еще и человеческая злоба.

— Ничего, ничего,— говорил ему директор, утешая своего питомца, а иногда и ласково журил его.

Но Чезарино не слушал ни утешений, ни упреков, так же как на улице, на бегу, он ни на что не обращал внимания. Утром он спешил из своего далекого пригорода, чтобы точно в указанный срок быть на службе; в полдень приходил обедать, а потом опять спешил к трем на службу, всегда пешком, отчасти жалея денег на трамвай, отчасти боясь, что опоздает, если будет его ждать. По вечерам он буквально валился с ног. От усталости он даже не мог стоя взять на руки Нинни и вынужден бывал сперва сесть.

Он садился на балкончике с ржавыми железными перилами, который показался ему сначала, благодаря виду на ближние огороды, таким красивым, и, держа на коленях Нинни, стремился вознаградить себя за беготню, труд и огорчения целого дня. Но ребенок, которому было уже около трех месяцев, не хотел сидеть у него на коленях,— потому ли, что, почти не видя брата днем, он его еще не узнавал, потому ли, что тот не умел его держать, а может быть, и потому, что хотел спать, как говорила, оправдывая его, кормилица.

— Дайте его мне, я его убаюкаю, а потом позабочусь о вашем ужине.

Сидя на балкончике, в холодном, угасающем свете сумерек, он глядел (хотя, может быть, и невидящим взором) на лунный серп, уже сиявший на бледном, еще беззвездном небе; затем скользил взором по пустынной, грязной улочке, по одной стороне которой, вдоль огородов, тянулся сухой пыльный забор, и чувствовал, как его усталая душа погружается в отчаяние и мрак, но, едва слезы начинали жечь ему глаза, он стискивал зубы, сжимал руками железную решетку балкона, устремлял взгляд на единственный уличный фонарь, у которого мальчишки камнями выбили два стекла, и нарочно начинал дурно думать о своих товарищах, о директоре, которому не мог уже доверять, как прежде, поняв, что если тот и оказывает ему услуги, то больше для себя, ради удовольствия чувствовать себя хорошим, и теперь, принимая эти услуги, Чезарино ощущал нечто вроде унижения. И эти сослуживцы с их грязными разговорами и гнусными вопросами, стремившиеся унижить его и устыдить: «Если бы вы попробовали; если бы вы попробовали хоть раз...» И вдруг комок подступал к горлу при воспоминании об одном вечере, когда он, как всегда, точно слепой, проходил по улице и наскочил на уличную женщину, которая, делая вид, будто отталкивает, прижала его к груди обеими руками и заставила вдохнуть на своем живом теле бесстыдный запах духов, тот же запах, что у мамы, а он с воплем вырвался и убежал. Ему казалось, что он все еще слышит ее злобную насмешку: «Невинненький, невинненький!» Он снова сжимал решетку и стискивал зубы. Нет, он никогда не сможет *попробовать*, потому что всегда, всегда будет ощущать этот ужасный запах, запах матери.

В тишине ему было слышно, как резко ударялись об пол ножки стула, сначала передние, потом задние: это покачивалась кормилица, баюкая малютку; а за изгородью журчала вода, всею расплескиваясь из длинной, как змея, кишки,— это огородник поливал свой огород. Журчание воды нравилось Чезарино, освежало его душу, и ему не хотелось, чтобы по рассеянности огородника на какое-нибудь одно место попало слишком много воды, он сейчас же это замечал по отзвуку, потому что земля делалась вязкой и набухала от влаги. И почему ему тотчас приходила на память узорчатая чайная скатерть

с голубой каемкой и пышной бахромой, которой мама накрывала столик, когда угощала чаем какую-нибудь приятельницу, неожиданно зашедшую к ним в пять часов? Эта скатерть... приданое Нинни... изящество, вкус, мамина любовь к чистоте; а теперь на столе грязная скатерть; ужин не готов; его постель с утра не застелена; и хоть бы за ребенком был хороший уход, так нет же: распашонки грязные, слюнявчики тоже; если же сделать кормилице малейшее замечание, она наверняка рассердится и, воспользовавшись отсутствием Чезарино, может выместить злобу на безвинном существе; и потом у нее всегда готов ответ, что, нянчась с ребенком, она не поспевает убирать комнаты и готовить, а если за ребенком недостаточный уход, то это потому, что ей приходится быть вдвоем и горничной и кухаркой. Грубая деревенщина, похожая на пень, а воображает, будто стала красивой оттого, что высоко зачесала волосы и завилась! Но придется потерпеть. Молоко у нее хорошее, и ребенок, несмотря на плохой уход, отлично растет. До чего он похож на маму! Те же глаза, тот же нос и ротик... Кормилица, напротив, старается его убедить, что ребенок похож на него. Да что там! Почему знать, на кого он сам-то похож. Но теперь это ему безразлично. С него довольно, что Нинни похож на маму, он даже рад этому, и, целуя личико ребенка, не будет вспоминать о том неизвестном, которого больше не хочет и разыскивать.

После ужина, едва успевали убрать посуду, он садился за тот же стол заниматься; ему хотелось через год выдержать выпускные экзамены, чтобы потом, если удастся получить освобождение от платы, поступить в университет. Он пошел бы на юридический факультет, а диплом позволил бы ему принять участие в конкурсе на должность секретаря в том же министерстве народного просвещения. Ему хотелось как можно скорее избавиться от жалкого и непрочного положения переписчика. Но иногда, занимаясь вечерами, он чувствовал, как его малопомалу охватывает и душит безысходное отчаяние. Возможность учиться казалась ему такой далекой среди всех этих мучений! И, пытаясь заглянуть в эту дадь, он чувствовал, что мучения его напрасны и никогда не кончатся. Тишина этих трех почти пустых комнаток была такой глубокой, что он начинал слышать гудение керосиновой лампы, снятой со стены и поставленной на стол, чтобы

было виднее; он снимал с носа очки, прищурившись, пристально смотрел на огонь, и крупные слезы, выступая на ресницах, тяжело падали на раскрытую книгу.

Но это были только минуты. На следующее утро он работал еще усерднее, склоняя измученное, потное, словно восковое личико, вытягивая над сутулыми плечами, как это делают близорукие, голову с гладкими, словно у больного, волосами, с заросшей шеей и с огромными очками на носу, которые туманили его блестящие, пронзительные глаза, сквозь стекла казавшиеся еще меньше, и врезались до крови в нежную переносицу.

Иногда его навещала старая служанка Роза. Она исподтишка раскрывала перед ним пороки кормилицы и, чтобы предостеречь его, передавала все, что говорили соседки на ее счет. Чезарино пожимал плечами. Он подозревал, что Роза говорит так из зависти, потому что с самого начала, не желая терять место, она предлагала выкормить ребенка стерилизованным молоком; по ее словам, она видела многих матерей, делавших это с большим успехом. Но в конце концов Чезарино пришлось с ней согласиться и прогнать кормилицу, которая была на втором месяце беременности. К счастью, ребенок не пострадал от перемены питания, благодаря любовной заботе доброй старушки, которая была рада-радешенька вернуться на службу к покинутым детям.

Теперь Чезарино мог, наконец, насладиться спокойствием, обретенным с таким трудом. Он знал, что его Нинни в хороших руках, и мог спокойно работать и учиться. Возвращаясь вечером домой, он находил всё в полном порядке: Нинни наряжен; как жених, ужин вкусный, постель мягкая. Это было счастье. Первые выкрики и милые гримасы Нинни заставляли его сходить с ума от радости. Он взвешивал его каждые два дня, боясь, что от искусственного кормления ребенок теряет в весе, хотя Роза его и успокаивала:

— Да разве вы не видите, что скоро он будет весить больше меня? Постоянно с дудкой во рту!

Дудкой она называла рожок.

— А ну-ка, Нинни, сыграй сонатину!

И Нинни тотчас же начинал, его не надо было просить дважды; он не хотел, чтобы другие держали ему дудку; он желал держать ее сам, как истый трубач, и только томно закрывал от наслаждения свои милые глазки. Чезарино и Роза смотрели на него с восторгом, и если ребенок, еще

не кончив сосать, засыпал, они тихонько вставали и на цыпочках, затаив дыхание, несли его в колыбель.

И Чезарино, с удвоенным рвением садясь за свои вечерние занятия, теперь уже с твердой верой в успех, великолепно понимал истинные причины поражения Наполеона Бонапарта при Ватерлоо.

Но вот однажды, вечером, как всегда бегом, стосковавшись по Нинни, он вернулся домой. На пороге Роза взволнованно сообщила ему, что какой-то господин хочет с ним поговорить и ждет уже с полчаса.

Перед Чезарино предстал человек лет пятидесяти, высокий, хорошо сложенный, одетый в черное, точно в глубоком трауре, седой и смуглый, с серьезным и мрачным выражением лица. Он встал, когда прозвонил дверной колокольчик, и дожидался в столовой.

— Вы хотите поговорить со мной? — спросил Чезарино, настороженно и недружелюбно разглядывая его.

— Да, наедине, если позволите.

— Пожалуйста, войдите.

Чезарино указал на дверь своей комнатки и пропустил незнакомца вперед, затем затворил ее дрожащими руками, обернулся и, переменившись в лице, страшно бледный, хмуря брови, шуря за стеклами очков глаза, спросил:

— Альберто?

— Рокки, да. Я пришел...

Чезарино приблизился к незнакомцу с судорожно искаженным лицом, словно собираясь напасть на него.

— Зачем? В мой дом?

Незнакомец отступил, бледнея, но сдерживаясь.

— Дайте мне сказать. Я пришел с добрыми намерениями.

— Какими намерениями? Моя мать умерла!

— Я это знаю.

— Ах, знаете? И вам этого мало? Уходите сейчас же, или я заставлю вас пожалеть...

— Но простите...

— Пожалеть, пожалеть, что вы пришли сюда, навязывая мне позорное...

— Но... простите...

— Позорное знакомство с вами! Да, синьор! Чего вы хотите от меня?

— Простите, вы не даете мне сказать... Успокойтесь! — снова заговорил посетитель, растерявшись

от этих нападков.— Я понимаю... Но я должен сказать вам...

— Нет! — решительно крикнул Чезарино, дрожа всем телом и поднимая свои слабые кулачки.— Хватит, я не хочу ничего знать! Я не хочу объяснений! Достаточно, что вы посмели прийти! Уходите!

— Но здесь мой сын...— возразил Рокки, сердясь и теряя терпение.

— Ваш сын? — закричал Чезарино.— Вот почему вы пришли? Теперь вы вспомнили, что здесь ваш сын?

— Прежде я не мог... Дайте мне сказать...

— Что вы хотите сказать? Уходите! Уходите! Вы убили мою мать! Уходите или я позову людей!

Рокки прищурил глаза, потом надул щеки и с глубоким вздохом сказал:

— Хорошо. Значит, мне придется доказывать свои права в другом месте.

И он направился к двери.

— Права? Вам? — крикнул ему вслед Чезарино, у которого потемнело в глазах.— Негодяй! Ты убил мою мать и считаешь, что можешь доказать свои права? Ты — против меня? Права?

Тот обернулся и мрачно посмотрел на него, потом по его губам пробежала улыбка не то презрения, не то жалости к хрупкому мальчику, оскорблявшему его.

— Посмотрим,— сказал он.

И ушел.

Чезарино остался в темной столовой, за дверью, дрожа от безумного порыва, на который его, застенчивого и слабого от природы, толкнула злоба, позор и боязнь лишиться обожаемого малыша. Немного придя в себя, он постучал в дверь к Розе, которая заперлась на ключ, прижимая к себе мальчика.

— Я поняла! Поняла! — ответила Роза.

— Он хотел Нинни.

— Он?

— Да. И понимаешь, права, свои права он собирается доказывать.

— Он? Да кто же признает его права?

— Он отец. Неужели он может отнять у меня Нинни? Я прогнал его, как собаку! Я сказал ему, что он... что он убил мою мать... и что я приютил ребенка... и что теперь он мой, мой!.. Никто не вырвет его из моих рук! Мой! Мой!.. Погоди... негодяй... убий... убийца...

— Ну, да! Конечно! Успокойтесь, синьорино! — сказала ему Роза, еще более опечаленная и удрученная, чем он.— Он только силой может взять у вас ребенка. Вы тоже сумеете доказать свои права. И хотела бы я видеть, как у нас отберут теперь Нинни, ведь это мы его воспитали. Но успокойтесь, успокойтесь, он больше не придет после достойного приема, который вы ему оказали.

Напрасно добрая старушка целый вечер повторяла свои увещания, ничто не могло успокоить Чезарино. Следующий день в министерстве был для него подлинной нескончаемой пыткой. В полдень, дрожа и задыхаясь, он прибежал домой. В три часа он не хотел возвращаться на службу, но Роза уговорила его, пообещав держать дверь на запоре, никому не открывать и ни на минутку не оставлять Нинни одного. Тогда он ушел, но вернулся домой в шесть часов, не заходя в колледж, где его ждали ученики.

Видя его подавленным, ошеломленным и угнетенным, Роза всячески пыталась его отвлечь. Но тщетно. Душу Чезарино грызло предчувствие, не дававшее ему покоя. Всю ночь он не спал.

На следующий день в полдень он не пришел обедать. Старая Роза не знала, как объяснить это опоздание. Наконец к четырем часам он пришел бледный, тяжело дыша: взгляд его был странно неподвижен.

— Я должен отдать ребенка. Меня вызывали в квестуру. Он тоже был там. Он показал письма моей матери. Это его ребенок.

Он сказал это прерывающимся голосом, не глядя на ребенка, которого Роза держала на руках.

— О, сердце мое! — воскликнула та, прижимая Нинни к груди.— Как же так? Что он сказал? Как мог суд?..

— Он отец! Он отец! — ответил Чезарино.— И поэтому ребенок его.

— А вы? — спросила Роза.— Вы что будете делать?

— Я? Я с ним, мы уйдем туда вместе.

— С Нинни, к нему?

— К нему.

— Ах, так?.. Значит, оба вместе! Ну, что же, отлично! Вы не покинете его... А я, синьорино? Ваша бедная Роза?

Чезарино, чтобы не отвечать ей прямо, взял малыша на руки, прижал к груди и со слезами стал ему говорить:

— Бедная Роза, а, Нинни? Взять ее с нами? Это несправедливо! Этого нельзя! Мы все оставим бедной

Розе. Все то небольшое, что здесь есть. Нам было так хорошо втроем, ведь правда, мой Нинни? Но они не захотели... не захотели...

— Ну, вот,— сказала Роза, глотая слезы.— Неужели вы теперь будете убиваться из-за меня, синьорино? Я стара, я в счет не иду, господь обо мне позаботится. Лишь бы вы были счастливы... А скажите, разве я не могу приходиться к вам повидаться с моим ангелочком? Не прогонят же меня, если я приду. В конце концов, почему бы мне не приходиться? Со временем так, может быть, и лучше для вас будет, синьорино, как вам кажется?

— Может быть,— сказал Чезарино,— а пока, Роза, приготовь все, скорее... все, что мы сшили Нинни, все мои вещи и твои также. Мы уедем сегодня вечером. Нас ждут к обеду. Ты слышишь: я все оставляю тебе...

— Что вы говорите, мой синьорино! — воскликнула Роза.

— Все... все то небольшое, что у меня есть... до последнего гроша. Я тебе гораздо больше должен за все твои заботы... Молчи, молчи. Не будем говорить об этом. Ты это знаешь, и я знаю. И довольно. И эту мебель тоже... Там у нас будет другой дом. А с этим делай, что хочешь. Не благодари меня. Приготовь все, и пойдем. Сначала ты. Я не смогу уйти, если ты останешься здесь. А завтра ты придешь ко мне, я дам тебе ключ и все остальное.

Старая Роза молча повиновалась. У нее было так тяжело на сердце, что если бы она открыла рот, чтобы заговорить, то, наверное, вырвались бы рыдания, а не слова.

Она собрала вещи, потом и свой узелок.

— Можно мне оставить это здесь? — спросила она.— Ведь завтра я вернусь...

— Да, конечно,— отвечал Чезарино,— а теперь поцелуй Нинни... Поцелуй его, и прощай.

Роза взяла на руки ребенка, посмотревшего на нее с каким-то испугом, но не сразу смогла заставить себя поцеловать его, потом перевела дух и сказала:

— Глупо плакать... ведь завтра... Вот, синьорино.. возьмите его... и мужайтесь, право! И вас тоже я поцелую... До завтра!

Она ушла, не оборачиваясь, стараясь платком заглушить рыдания.

Чезарино тотчас же запер дверь. Он провел рукой по своим прямым, жестким волосам. Положил Нинни на

кровать, сунул ему в руку серебряные часики, чтобы он лежал тихо. Торопливо написал несколько строчек на листке бумаги: он оставлял Розе всю убогую обстановку. Потом побежал на кухню, быстро развел огонь в очаге, принес его в комнату, запер ставни, дверь и при свете лампадки, которую старая Роза всегда зажигала перед образом мадонны, лег на кровать рядом с Нинни. Ребенок тотчас же выронил часы на постель и, как всегда, поднял руку, чтобы стащить очки с носа у брата. Чезаринно на этот раз не сопротивлялся; он закрыл глаза и прижал ребенка к себе.

— Тише, Нинни, тише... Будем спать, красавчик мой, будем спать.

ВСЕ КАК У ПОРЯДОЧНЫХ ЛЮДЕЙ

I

Синьорина Сильвия Ашенси приехала в Рим, чтобы добиться перевода из Перуджи, где она преподавала в средней школе; она готова работать где угодно, даже в Сардинии, даже в Сицилии. В Риме Сильвия обратилась за помощью к молодому депутату парламента Марко Верона. Прежде Верона был любимым учеником ее бедного отца, знаменитого физика, профессора университета в Перудже, погибшего год назад в результате взрыва в лаборатории.

Сильвия была уверена, что Верона использует все свое влияние, которое он за короткий срок приобрел в парламенте, чтобы помочь ей; ведь он отлично знает, какие причины заставили ее покинуть родной город.

Действительно, Верона принял ее не только любезно, но и с искренней симпатией. Молодой депутат снизошел даже до воспоминаний о том, как он бывал в гостях у покойного профессора, и, если не ошибается,— иногда встречал там и ее. Ну, конечно же! Она была тогда совсем девочкой, почти малышкой, но уже заменяла отцу секретаршу...

При этих словах лицо синьорины Ашенси стало пунцовым. Малышкой? Надо же сказать такое! Ей было тогда полных четырнадцать лет... Ну а сколько лет было

в то время уважаемому депутату Верона? Двадцать, са мое большое двадцать один. О, она могла бы повторить сейчас слово в слово все, о чем он говорил тогда с отцом.

Да, да, он очень жалеет, что не продолжил научных исследований, к которым профессор Ашенси сумел привить ему такую сильную любовь; потом, заметив, что при упоминании о несчастье с отцом синьорина Ашенси не смогла сдержаться слез, он с неподдельным участием посоветовал ей не падать духом. И, чтобы придать еще больший вес своей рекомендации, Марко Верона пожелал лично проводить ее в министерство просвещения («Ах, она доставляет ему столько хлопот!» — «Нет, нет, он непременно пойдет с ней»).

Однако, как это нередко бывает летом, в министерстве все ушли в отпуск. Верона знал, что ни министра, ни его заместителя нет в Риме, но никак не ожидал, что не застанет ни начальника департамента, ни даже начальника отделения. Пришлось ему удовлетвориться разговором с секретарем первого класса кавалером Мартино Лори, который один ведал делами всего департамента.

Лори был добросовестнейшим чиновником; его доброты, искренняя сердечность, сквозившая в улыбке, во взгляде, в каждом движении, какая-то особая чистота и аккуратность в одежде снискали ему расположение начальства и подчиненных.

Мартино Лори принял синьора Верона весьма почтительно и даже покраснел от удовольствия. Визит молодого депутата доставил ему большую радость, и не только потому, что, как и предвидел Лори, тот рано или поздно станет его начальником. Ведь он уже много лет восхищался блистательными выступлениями Верона в парламенте. Затем, повернувшись, чтобы взглянуть на синьорину (как он уже знал, дочь знаменитого профессора), кавалер Лори вновь испытал живейшее удовольствие.

Лори было немногим больше тридцати лет, и он сразу же заметил, что у синьорины Сильвии Ашенси весьма занятная манера разговаривать: ее глаза, мерцавшие каким-то странным зеленым светом, казалось, хотели помочь словам проникнуть собеседнику глубоко в душу. Разговаривая, она увлекалась, и собеседник мог оценить ее острый, блестящий ум, душевную твердость. Но постепенно уверенность и ясность мысли исчезали; Сильвия заливалась краской смущения, лицо ее становилось милым и застенчивым. Скоро она с неудовольствием заме-

чала, что ее слова и доводы больше не производят впечатления, ибо слушатель забывал обо всем, очарованный ее красотой. И тогда на ее лице, пылавшем от смущения и счастья, что ее женственность и очарование имеют такую неотразимую власть (сама она не прилагала к этому никаких усилий), ясно отражалась растерянность. Но восхищенная улыбка очарованного собеседника невольно заставляла и ее улыбаться. Сердито тряхнув головой и пожимая плечами, Сильвия умолкала. Потом добавляла, что она просто не умеет разговаривать, не может ничего толком объяснить.

— Что вы! Как можно? Наоборот, мне кажется, вы прекрасно объяснили суть дела,— поспешил заверить ее кавалер Мартино Лори.

И он пообещал уважаемому Верона сделать все возможное, дабы удовлетворить желание синьорины. Он будет счастлив оказать услугу господину депутату!

Два дня спустя Сильвия одна пришла в министерство к кавалеру Лори. Она еще раньше убедилась, что не нуждается больше в рекомендациях. С наивным видом она объясняла, что не может, ну просто никак не может покинуть Рим. За эти три дня она исходила город вдоль и поперек и ни капельки не устала. Ее поразили и восхитили одинокие виллы, окруженные кипарисами, молчаливая нежность садов Авентино и Челио, трагическая торжественность древних руин и старинных улиц, вроде виа Аппиа, голубизна прохладного Тибра. Словом, она очарована Римом и хочет, чтобы ее перевели сюда. Невозможно? Но почему? Ах, это будет очень трудно сделать? Ну полноте... Вы говорите, ужасно трудно. А если как следует захотеть... Даже учительницей младших классов нельзя?.. Нет, он должен сделать ей это одолжение. Иначе она без конца будет надоедать ему своими просьбами. Она не оставит его в покое! Ведь назначить ее в младшие классы не трудно! Не так ли? Значит...

Однако развязка была иной.

Сильвия нанесла Мартино Лори еще шесть или семь таких визитов. И вот однажды после обеда, одетый весьма парадно, кавалер Мартино Лори вышел из министерства и направился в Монтечиторио ¹ на прием к депутату Верона.

В ожидании секретаря, который должен был провести

¹ Здание парламента.

его к Верона, он, сильно волнуясь, оглядывал свои перчатки, носки лакированных туфель, кончиками пальцев нервно поправлял манжеты.

Едва войдя в кабинет, Мартино Лори, чтобы скрыть свое замешательство, с жаром принялся объяснять синьору Верона, что его «протеже» просит о невозможном.

— Моя «протеже»? — прервал его молодой депутат. — Какая «протеже»?

Он, Лори, очень сожалеет, что употребил, конечно, без всякого злого умысла, это слово, которое можно... да, да, неверно истолковать, но он собирался говорить о синьорине Ашенси.

— Ах, о синьорине Ашенси! Тогда это действительно моя «протеже», — с улыбкой прервал его Верона, чем еще больше увеличил смущение бедного Лори. — Я забыл, что рекомендовал вам ее, и сначала не догадался, о ком это вы собираетесь со мной говорить. Мне очень дорога память о замечательном физике, отце синьорины и моем учителе, и я очень хотел бы, чтобы и вы, кавалер, взяли синьорину Сильвию под свое покровительство, именно под покровительство, и непременно удовлетворили ее просьбу — она этого заслуживает.

Но он, Лори, как раз и пришел поговорить об этом. При всем своем желании, перевести синьорину Ашенси в Рим он никак не может. Если это не будет нескромным, он хотел бы знать истинную причину, почему... почему синьорина решила покинуть Перуджу.

Увы, причина не из приятных! Жена профессора Ашенси, женщина богатая и глубоко порочная, изменила ему, сошлась с таким же негодяем, как она сама. Она прижила с любовником двух или трех детей и вскоре совсем ушла от мужа. Профессор Ашенси, понятно, не пожелал расстаться с единственной дочерью и отдал бывшей жене все свое состояние. Он был человеком благородным, но совершенно непрактичным, жилось ему очень трудно, неприятности и неудачи так и сыпались со всех сторон. Он непрерывно покупал книги, горы книг и приборы для своей лаборатории, а потом никак не мог понять, почему его жалованья не хватает на нужды столь маленькой семьи. Чтобы папочку не огорчала постоянная нужда, синьорине Ашенси пришлось самой заняться преподаванием. О, жизнь девушки до самой смерти отца была сплошным испытанием терпения и стойкости. Но Сильвия гордилась, и не зря, славой своего отца. Она без

страха могла противопоставить эту славу бесстыдству своей матери. Однако после трагической смерти отца, оставшись сиротой без всякой помощи и почти без средств, она не могла больше жить в одном городе со своей богатой и подлой матерью. Вот и вся история.

Мартино Лори растрогал этот грустный рассказ (по правде говоря, история синьорины Сильвии растрогала его еще до того, как он услышал ее из авторитетных уст преуспевающего депутата), и, откланявшись, он пообещал синьору Верона сделать все возможное, чтобы вознаградить девушку за лишения, горести и удивительную преданность отцу.

Так синьорина Сильвия Ашенси, которая приехала в Рим добиться перевода, нашла здесь... мужа.

II

Однако их семейная жизнь, по крайней мере первые три года, была совсем нерадостной и весьма бурной.

В пламени первых дней Лори готов был сжечь самого себя; Сильвия же уделяла мужу лишь самую малую толику тепла. Когда понемногу утих огонь, в котором горят, сливаясь воедино, душа и тело, он увидел, что женщина, казалось, ставшая частью его самого, совсем иная, чем это представлялось ему в мечтах.

Словом, Лори понял, что Сильвия его не любит, она и замуж вышла точно в каком-то странном сне. И вот наступило пробуждение, мрачное, горькое, мучительное.

Кто знает, о чем она грезила в своих сновидениях?

Со временем Лори убедился, что Сильвия не только не любила его, но и не могла любить, так несхожи были они по натуре. Им даже не удавалось притерпеться друг к другу. Если он, любя Сильвию, готов был считаться с ее беспокойным характером и стремлением к полной независимости, то она не любила мужа, и поэтому не желала уважать ни его суждений, ни его привычек.

— Какие там суждения! — в ярости кричала она. — У тебя не может быть никаких суждений, дорогой мой. Ты человек без нервов.

Какое отношение имели нервы к его суждениям? Бедняга Лори только удивлялся про себя. Наверно, Сильвия считала его холодным и бессердечным, потому что он всегда молчал. Но ведь он молчал, стараясь избежать

ссор. Теперь он замкнулся в отчаянии, смирившись с крушением своей прекрасной мечты — прожить жизнь вместе с преданной и заботливой подругой в чистеньком домике, где всегда царили бы мир и любовь.

Лори поражался тому, как жена истолковывала каждый его шаг, каждое слово. Иногда ему начинало казаться, что он действительно не таков, каким привык считать себя, что он просто не замечал всех своих недостатков и пороков, в которых жена обвиняла его теперь.

Раньше он всегда шел прямой дорогой, никогда не углублялся в дебри и потому, наверно, привык доверять себе и другим. Жена же, наоборот, с детства видела грязную изнанку жизни и, к несчастью, уверовала, что все в мире отвратительно и нет в нем ничего святого, если даже ее мать, о боже, даже мать... Ах, бедная Сильвия! Если она и видела сейчас плохое там, где его не было вовсе, и часто бывала несправедливой к нему,— все это можно понять и простить! Однако, чем больше он со своей обычной деликатностью пытался сблизиться с ней, вселить в нее веру в жизнь и убедить ее быть справедливее в своих суждениях, тем сильнее она злилась и возмущалась.

Немножко благодарности, если не любви,— вот все, что он требовал от нее... Ведь в конце концов это он, Лори, помог ей покончить с тяжелой, неустроенной жизнью, дал ей дом и семью. Нет, Сильвия не питала к нему даже благодарности. Она была гордая, уверенная в себе, в том, что сможет сама заработать на жизнь. И много раз за эти три года Сильвия угрожала ему, что снова начнет учительствовать и уйдет от него. В один прекрасный день Сильвия привела свою угрозу в исполнение.

Вернувшись со службы, Лори не нашел жены дома. Утром между ними произошла очередная, особенно резкая ссора из-за пустякового упрека, на который он отважился. В сущности же, хотя буря разразилась только в это утро, тучи начали сгущаться месяцем раньше. Весь этот месяц Сильвия была мрачной и вела себя очень странно. Она даже откровенно высказала свое презрение к мужу.

И, как обычно, без всяких на то причин!

В письме, оставленном дома, Сильвия объявляла о своем бесповоротном решении навсегда порвать с ним. Далее она писала, что решила любой ценой снова добиться места учительницы. А чтобы он не натворил глупостей

и не тратил понапрасну время на розыски, Сильвия сообщала адрес гостиницы, где она временно остановилась. Но пусть Лори не приходит, это бесполезно.

С письмом в руках Лори надолго задумался.

Он слишком много и несправедливо страдал. Быть может, избавление от этой женщины и принесет ему какое-то облегчение, но и невыразимую боль тоже. Ведь он по-прежнему любит ее. Значит, почувствовав на какой-то миг облегчение, он будет потом всю жизнь мучиться и страдать от одиночества. Лори хорошо знал и чувствовал, что никогда не сможет полюбить другую женщину, никогда... А какой разыграется скандал! Нет, он не заслужил всех этих испытаний, ведь он во всем и всегда вел себя как порядочный человек. И вот теперь, когда от него ушла жена, злые языки могут обвинить его в каких угодно грехах, хотя один бог знает, сколько терпения и выдержки проявил он за эти три года.

Что теперь делать?

Лори решил ничего пока не предпринимать. Утро вечера мудренее, и, может быть, за ночь Сильвия одумается.

На следующий день Лори не пошел на службу и все утро просидел дома. В полдень он все же собрался выйти, хотя так твердо и не решил, как ему действовать, но в это время ему подали письмо от Марко Верона, который приглашал Лори зайти к нему в палату депутатов.

В эти дни в стране разразился правительственный кризис, и в министерстве просвещения настойчиво поговаривали о Верона как о вероятном кандидате на пост заместителя министра, а то и самого министра.

Еще раньше Лори в его раздумьях пришла в голову мысль посоветоваться с Верона. Однако он живо представил себе, сколько всяких хлопот должно быть сейчас у молодого депутата, и решил не беспокоить его. Сильвия же наверняка не страдает излишней деликатностью; может быть, узнав, что Верона должен возглавить министерство просвещения, она уже обратилась к нему с просьбой дать ей место учительницы.

Мартино Лори помрачнел при мысли, что теперь Верона, воспользовавшись своей прямой властью, может потребовать, чтобы он, Лори, не мешал жене.

Однако Марко Верона встретил его очень любезно.

Он глубоко огорчен, но его прямо-таки поймали в ловушку... «Нет, нет, не министром! К счастью, только

заместителем министра». Он, Верона, не хотел принять даже и этой должности, известно ведь, какова сейчас политическая обстановка! Но ничего не поделаешь, этого требует его партия. А раз уж так получилось, он хотел бы иметь в министерстве помощником честного и весьма опытного человека, и сразу же подумал о нем, кавалере Мартино Лори. Согласен ли он?

Бледный от волнения Лори не знал как и благодарить синьора Верона за такую честь и доверие. Кончики ушей у него стали пунцовыми. Не переставая рассыпаться в благодарностях, Лори, однако, настойчиво спрашивал взглядом: «А больше уважаемому депутату, точнее его превосходительству господину Верона, ничего не угодно?»

Марко Верона поднялся и, улыбаясь, положил руку на плечо собеседника. Действительно, ему угодно еще кое-что. Лори должен набраться терпения... и простить синьоре Сильвии ее ребячество.

— Она пришла ко мне и изложила свое «смелое» решение,— не переставая улыбаться, сказал Верона.— Я очень долго беседовал с ней и... вам незачем оправдываться. Теперь я отлично знаю, что во всем виновата сама синьора! Я так ей и сказал без всяких обвиняков. Она даже расплакалась... Да, да, я напомнил ей об отце, о том, как тот страдал от семейных неурядиц... и о многом другом. Можете спокойно возвращаться домой. Синьора будет вас ждать.

— Ваше превосходительство, не знаю, как вас и благодарить...— кланяясь, взволнованно лепетал Лори.

Однако Верона сразу же прервал его:

— Пожалуйста, не благодарите и, главное, не называйте меня «ваше превосходительство».

Прощаясь, Марко Верона сказал, что синьора Сильвия — женщина с характером и наверняка сдержит все свои обещания. Так что Лори может быть спокоен: неприятные сцены больше никогда не повторятся, и жена постарается любой ценой вознаградить его за все обиды и унижения.

III

Так оно и было.

Вечер их примирения запомнился ему навсегда. Запомнился по многим причинам, и особенно по тому, с какой

любовью, едва завидев его, кинулась Сильвия к нему в объятия. Теперь все изменится,— понял или, вернее, сердцем почувствовал Лори.

А как она плакала, как плакала! И каким счастьем было для него видеть эти слезы раскаяния и любви!

В тот день они впервые, по-настоящему отпраздновали свою свадьбу. Осуществилась его мечта — он обрел подругу жизни. И еще одна тайная мечта сбылась в этот день, когда их души и тела слились воедино.

Скоро у Лори уже не оставалось никаких сомнений относительно состояния жены; когда Сильвия родила ему дочку, он увидел, на какое самопожертвование способна ради девочки эта женщина. А какой заботой она окружила его, Лори! Только теперь он понял и ее прежнее поведение. Понял и объяснил себе: Сильвия хотела стать матерью. Быть может, она и сама не осознавала этого, не слышала смутного зова природы. Оттого-то она и была прежде такой странной, а жизнь казалась ей отвратительной, лишенной смысла. Конечно, она хотела стать матерью.

Счастье Лори было омрачено лишь падением кабинета министров, куда входил Марко Верона. А так как Лори был его личным секретарем, он тоже чувствовал себя не совсем приятно.

Наглые действия оппозиционных партий, объединившихся, чтобы свалить правительство (в сущности, без всяких на то причин), возмущали его даже больше, чем самого Верона. Со своей стороны Верона объявил, что он по горло сыт политикой. Лучше он снова займется научными исследованиями. Во всяком случае, пользы от этого будет куда больше.

Действительно, на новых выборах в парламент Марко Верона, несмотря на настойчивые просьбы избирателей, не выдвинул своей кандидатуры. Его весьма заинтересовала одна крайне важная научная работа, которую профессор Бернардо Ашенси не смог закончить. Если синьора Лори не откажется передать ему это исследование, он, Верона, попытается продолжить опыты своего учителя и довести их до конца.

Намерение Верона привело Сильвию в восторг.

За год совместной службы в министерстве между Верона и его верным и ревностным помощником установились самые дружеские отношения. Но хотя Верона никак не выказывал своего превосходства и не подчеркивал

разницы в положении, Лори не мог преодолеть робости и некоторого смущения. Даже теперь, когда Верона говорил ему «ты» и требовал от него того же, Лори по-прежнему видел в друге своего начальника. Верона это не нравилось, и он часто подшучивал над ним. Лори беззлобно смеялся в ответ. Он подметил, что Верона с каждым днем становился все мрачнее, и втайне огорчался этой перемене. Лори приписывал плохое настроение своего бывшего начальника неудачному концу его политической карьеры, горькому сознанию, что он не сможет больше участвовать в парламентских битвах. Мартино Лори не раз говорил об этом с женой. Он советовал ей использовать все свое влияние и убедить Верона вновь целиком посвятить себя политике.

— Как же, послушает он меня,— отвечала Сильвия мужу.— И потом, ты же знаешь, раз я сказала нет, значит, все. Да и не думаю, чтобы Верона очень расстраивался. Посмотри, с какой любовью и страстью работает он сейчас...

Мартино Лори пожимал плечами:

— Не хочешь, не надо!

Впрочем, ему казалось, что, когда Верона играет с их маленькой дочкой Джинеттой, он становится таким же веселым, как прежде. А девочка росла прямо на глазах, с каждым днем становилась красивее и живее.

Лори до слез трогали нежные заботы друга о Джинетте.

— Пусть Лори поостережется; когда-нибудь он похитит у него дочку,— не раз говаривал Верона.— Да, да, он и не думает шутить. А Джинетта не заставит себя долго упрашивать. Правда, ведь она бросит папу и маму... да, да, даже маму, и уйдет с ним...— Джинетта, скверная девчонка! соглашалась — уйдет. Еще бы, Верона при каждом удобном случае дарил ей игрушки. Да какие! Всякий раз при этом Лори и его жена чувствовали себя страшно неловко. Подчас, не в силах сдержаться, Сильвия давала понять Верона, что такие подарки ее оскорбляют. Может быть, она страдала чрезмерной гордостью? Нет. Подарки действительно были слишком дорогие, да и приносил их Верона очень уж часто. Однако Верона, радуясь тому, как восторгалась Джинетта каждой игрушкой, в ответ на их протесты и упреки только сердито пожимал плечами, а иногда довольно грубо просил их замолчать и не мешать ребенку радоваться.

В конце концов Сильвия объявила мужу, что ей надоели эти выходы Верона. Стараясь оправдать друга, Лори упорно убеждал жену, что Верона тяжело переживает свой вынужденный уход от политической жизни, но Сильвия отвечала, что это еще не дает ему права вымещать на них свое плохое настроение.

Лори хотел было возразить жене, что, как ни груб бывает Верона, их дочке эти посещения доставляют столько радости; однако, не желая нарушать полное согласие, которое установилось между ними со дня примирения, решил промолчать.

В первые годы их супружеской жизни Лори видел в характере жены много недостатков. Теперь же он находил одни достоинства. Ее ум, твердость, энергия, не направленные против него, бесконечно восхищали Лори и помогали стойко переносить трудности. Жизнь казалась ему прочной, налаженной — ведь рядом с ним была жена, преданная дому и семье.

Лори в глубине души очень дорожил дружбой с Верона, и его огорчало, что жену все больше и больше раздражает чрезмерная привязанность Верона к их дочери. С другой стороны, раз эти неумеренные заботы о Джинетте могут нарушить мир и согласие в доме, лучше уж... Но как объяснить все это другу, если он не хочет даже замечать той холодности, с какой его встречает теперь Сильвия?

С годами Джинетта стала обнаруживать непреодолимую страсть к музыке. И вот уже два-три раза в неделю Верона заезжает за ней в экипаже и везет ее то на один, то на другой концерт. Часто в разгар музыкального сезона он приходил к ним, отзывал Джинетту в сторону и что-то шептал ей на ухо, после чего та подходила к папочке и мамочке и вкрадчиво начинала уговаривать их поехать с ней в театр. Ложа для нее уже заказана.

В ответ Лори только смущенно и озабоченно улыбался; у него не хватало храбрости отказываться, он боялся обидеть друга и дочку. Но, боже мой, пора бы Верона, наконец, понять, что он не в состоянии ездить в театр так часто! Какие нужно иметь деньги, чтобы каждый раз платить за ложу и экипаж. И потом Сильвии необходимо быть прилично одетой, не может же она ударить лицом в грязь. Конечно, теперь, после того как он, Лори, стал начальником отделения, его скромный заработок немного увеличился; но бросать деньги на ветер он, понятно, не может.

Любовь Верона к девочке была так велика, что он совершенно не задумывался о подобных вещах; он даже не замечал, на какие жертвы шла Сильвия. Нередко, отговорившись нездоровьем, она долгими вечерами сидела одна.

Но не сидеть же ей, право, все время взаперти! И вот однажды Сильвия вернулась из театра совершенно продрогшей. На следующее утро ее мучил кашель, началась сильнейшая лихорадка. А через пять дней она умерла.

IV

Все свершилось с такой ужасной быстротой, что в первые мгновения Лори даже не почувствовал горя; ничего, кроме полнейшего смятения.

Вечером Верона, которого пугала эта растерянность друга, грозившая перейти в помешательство, отослал Мартино Лори к дочке, клятвенно пообещав ему, что он всю ночь неотлучно будет сидеть у постели покойной. Лори позволил увести себя. Но когда среди ночи бесшумно, словно призрак, он вернулся в комнату жены, то увидел там Верону, уткнувшегося лицом в постель, на которой лежало похолодевшее тело Сильвии.

Сначала Лори показалось, что, сраженный сном, Верона в забытьи нечаянно склонился головой на кровать, но, присмотревшись повнимательнее, Лори заметил, что он весь содрогается, пытаясь сдержать слезы. Безутешное горе друга вывело Лори из странного оцепенения, и теснившие грудь рыдания неудержимо прорвались наружу. Внезапно Верона вскочил с кровати, лицо его, искаженное гримасой страдания, часто дрожало. Весь в слезах, Лори судорожно протянул к нему руки. И вдруг Верона оттолкнул его, оттолкнул грубо, с ненавистью. «Он чувствует себя виновником ее смерти. Ведь это он пять дней назад почти силой заставил Сильвию поехать в театр, и теперь мое горе совсем разбередило ему душу», — думал Лори, пытаясь объяснить себе эту вспышку ярости. Горе по-разному действует на людей, решил он: одних оно пригибает к земле, других — ожесточает.

Теперь ни бесконечные посещения сослуживцев, любивших Лори как родного отца, ни увещания друга заняться дочкой, которая совсем убита горем, не могли вывести его из состояния подавленности и апатии. Необъяснимая,

мрачная жестокость этой внезапной смерти оглушила Лори; между ним и окружающими словно выросла невидимая стена.

Все казалось ему сейчас иным, чем прежде, звуки словно долетали до него откуда-то издалека, и даже голоса друга и дочери, столь разные и знакомые, звучали совсем по-особенному.

Постепенно его растерянность сменилась каким-то холодным любопытством к окружающему миру, который был ему раньше незнаком или представлялся совсем иным.

Неужели Марко Верона и прежде был таким, как сейчас? Ведь даже его фигура, его лицо казались Лори незнакомыми. А собственная дочка? Неужели она так сильно выросла? А может быть, это несчастье сразу сделало ее взрослой? Эта новая, незнакомая Джинетта была высокой и стройной, немного сдержанной, особенно с ним, с Лори. Да, лицом и фигурой она похожа на мать, однако в ней нет той душевной теплоты, которая в молодости придавала лицу его незабвенной Сильвии такую живую и яркую красоту. Поэтому временами Джинетта казалась даже некрасивой. Она была такой же гордой и властной, как мать, но без искренних порывов Сильвии, без ее внезапных переходов от веселья к печали.

Теперь Верона, не слишком церемонясь, почти каждый день приходил к нему в дом, часто оставался к обеду или ужину. Он завершил, наконец, важные научные исследования, начатые профессором Бернардо Ашенси, и готовился напечатать их роскошным изданием. Многие газеты уже поместили первые сообщения об этой работе, а наиболее крупные итальянские и иностранные журналы оживленно обсуждали важнейшие ее выводы. Все говорило о том, что работу ждет триумф.

Наконец работа была опубликована, и все единодушно признали, что Верона, который продолжил исследования и сделал на основании первоначальной гипотезы ряд смелых выводов, внес в нее такой же большой вклад, как и сам профессор Ашенси. Имя покойного профессора было окружено теперь ореолом славы, но еще большую известность и славу приобрел Верона. Со всех сторон на него сыпались почести и поздравления; его назначили сенатором. Вначале, удалившись от парламентских дел, Верона не соглашался. Но сейчас, когда назначение не

было связано с политической карьерой, он охотно его принял.

В те дни Мартино Лори нередко думал, как радовалась бы сейчас Сильвия посмертной славе своего отца. Вечером, после работы, он отправлялся на могилу жены, и с каждым разом он просиживал там все дольше и дольше. Под конец он так привык к этим посещениям, что и зимой в непогоду приходил на могилу поухаживать за живой изгородью или сменить фитиль лампы. И каждый вечер он задумчиво и тихо беседовал с умершей. Эти ежедневные беседы на могиле навевали безотрадные мысли и оставляли глубокие следы на его худом, бледном лице.

Верона и Джинетта уговаривали его отказаться от этой привычки. Сначала Лори пытался все отрицать, точно ребенок, уличенный в нехорошем поступке. Потом, когда ему пришлось признаться, он, пожимая плечами, сказал со слабой улыбкой:

— Что ж тут плохого... Для меня даже утешение. Не надо мне мешать...

Да и так рассудить. Ну, вернется он со службы прямо домой, кто его встретит? Каждый день Верона уводит Джинетту с собой. Нет, Лори не обижался на него, нет. Наоборот, он был очень благодарен другу, что тот старался всячески развлечь дочку. И хотя иногда Верона был довольно холоден к нему и Лори начал замечать мелкие недостатки в его характере,— он не перестал восхищаться этим удивительным, незаурядным человеком. А его благодарность и преданность другу даже возросли. Ведь ни слава, ни высокое положение, ни удача не могли изменить сердечного, поистине братского отношения Верона к нему, маленькому, незаметному человеку, который не знал за собой иных достоинств, кроме доброго сердца.

Лори с радостью убеждался: нет, он не ошибся, когда говорил жене, что привязанность Верона к Джинетте принесет девочке только счастье. Лучшее доказательство своей правоты он получил, когда Джинетте исполнилось восемнадцать. Ах, как бы он хотел, чтобы Сильвия была в этот праздничный вечер вместе с ними! Верона нарочно пришел на день рождения без всякого подарка. Но едва только Джинетта легла спать, Верона отвел Лори в сторону. Волнуясь, он торжественно объявил, что один его юный друг, маркиз Флавио Гуальди, просит руки Жи-

нетты. Маркиз поручил ему, Верона, поговорить об этом с отцом девушки.

Мартино Лори не мог прийти в себя от изумления. Маркиз Гуальди? Богач... знатного рода... просит руки его дочери? Конечно, бывая с Верона на концертах, на лекциях, на прогулках, Джинетта могла войти в мир знати, который по ее происхождению и положению в обществе был ей прежде недоступен. Джинетта даже могла пользоваться там некоторым успехом, но он-то...

— Ты ведь знаешь,— сказал Лори другу, растерявшись и словно даже погрузнев от счастья,— каково мое положение... Я не хотел бы, чтоб маркиз Гуальди...

— Гуальди знает все... что ему нужно знать,— прервал его Верона.

— Понимаю. Однако разница в положении между нами слишком велика. Хоть у него и самые лучшие намерения, все ж мне не хотелось... чтобы маркиз так и не узнал о целом ряде вещей...

Здесь Верона снова с досадой прервал его.

— Я считал излишним напоминать тебе об этом. Но ты говоришь сейчас такие глупости, что для твоего же спокойствия я, так и быть, объясню тебе. Мы с тобой друзья уже много лет.

— Это я знаю.

— Джинетту воспитывал скорее я, чем ты... так что, можно сказать...

— Да... да...

— Чего же ты плачешь? Я не собираюсь быть посредником в этом браке. Да перестань же. Я уйду. Завтра утром сам поговоришь обо всем с Джинеттой. Увидишь, тебе нетрудно будет ее убедить.

— Так она уже знает? — улыбаясь сквозь слезы, спросил Лори.

— А ты не заметил, что вечером она совсем не удивилась, когда я пришел с пустыми руками?

И Марко Верона засмеялся. Давно уже Лори не слышал, чтобы он смеялся так радостно и весело.

V

В доме зятя на Лори сначала точно повеяло холодом. Впрочем, он не придавал этому никакого значения. По своей наивности и доброте он всему находил оправдание.

Ведь социальное неравенство, известная разница в характерах и воспитании между ним и зятем не могли не чувствоваться.

Маркиз Гуальди был не так уж молод. Ярко выраженный блондин, изрядно уже облысевший, с блестящим розовым лицом, он казался статуэткой из тончайшего, слегка подкрашенного фарфора. Маркиз говорил неторопливо, и, хотя был пьемонтцем, в его речи слышался французский акцент. Да, да, он разговаривал очень медленно, и в голосе его звучала снисходительная доброта, которая, однако, странным образом не гармонировала с жестким взглядом голубых, точно стеклянных глаз.

Лори чувствовал, что зять смотрит на него если и не враждебно, то равнодушно. Ему даже показалось, будто во взгляде маркиза сквозит жалость и легкое презрение к нему, Лори, с его сначала слишком простыми, а теперь, по-видимому, чрезмерно осторожными манерами. Разницу в отношении маркиза Гуальди к нему и к Вероне с Джинеттой тоже можно было объяснить. Маркиз имел основания думать, что своей женитьбой на Джинетте он обязан Вероне, а не ему, родному отцу... Так оно в сущности и было, но Верона...

А вот перемену в друге Мартино Лори никак не мог себе объяснить.

Разве теперь, когда он, Лори, остался один в доме и в угоду зятю даже ушел на пенсию, Верона не должен отнестись к нему с еще большей сердечностью и заботливостью?

На виллу маркиза Гуальди повидаться с Джинеттой друг ходил каждый божий день, а к нему в дом после свадьбы не заглянул ни разу, даже невзначай. Может быть, ему надоело вечно видеть его в горе и отчаянье? Верона тоже уже не молод и, верно, предпочитает приятно проводить время в обществе Джинетты, которая благодаря ему нашла свое счастье.

Возможно, так оно и есть. Но почему же, когда он, Лори, приходит навестить дочку и находит там друга за интимной застольной беседой с зятем и Джинеттой, Верона встречает его холодно, с нескрываемой досадой? Быть может, это ощущение холодности создает необъятный, роскошно обставленный салон, весь в зеркалах? Да нет же, нет! Верона не просто отдалился от друга. Изменилось само его обращение. Он, не глядя, небрежно

подает ему руку и, как ни в чем не бывало, продолжает свой разговор с Гуальди.

Казалось, еще немного, и ему не предложат сесть. Лишь Джинетта изредка говорила ему несколько ничего не значащих фраз. Видно было, что делает она это из чистой вежливости — надо же показать, что хоть кто-то им интересуется.

Чувствуя себя униженным, Марино Лори в смятении уходил домой, и сердце его сжималось от невыразимой боли.

Неужели зять не должен оказывать ему хоть немного внимания и уважения? Выходит, только Верона, раз он богат и знаменит, имеет право на весь почет? Если так, если они все трое намерены каждый вечер встречать его как незваного и непрошеного гостя, он больше туда не пойдет. Нет, нет, ни за что не пойдет! Посмотрим, как они себя тогда почувствуют, эти трое синьоров.

Между тем прошло два дня, четыре, пять, прошла целая неделя, однако ни Верона, ни зять, ни Джинетта так и не показывались. Никто, даже слуга, не пришел узнать, не случилось ли с ним чего, не болен ли он...

Взгляд Лори бесцельно блуждал по комнате; он беспрестанно потирал дрожащими пальцами лоб, точно стараясь освободиться от странного оцепенения. Лори не знал, что и думать; снова и снова, совсем растерявшись, перебирал он в памяти события прошлых лет...

Внезапно, без всякой видимой связи, в памяти встала картина далекого прошлого. Он живо вспомнил все, что было в ту, самую печальную и страшную ночь его жизни. В комнате горели четыре свечи, и Марко Верона, припав лицом к кровати, на которой лежало тело Сильвии, плакал...

Внезапно эти четыре свечи словно закачались и, вспыхнув, осветили ужасным мертвящим светом всю его жизнь с того дня, когда Сильвия впервые пришла к нему вместе с Марко Верона.

У него подкосились ноги; и сразу комната словно поплыла куда-то. Он весь сгорбился, закрыл лицо руками:

— Неужели? Неужели?

Почти испугавшись своих мыслей, Лори посмотрел на портрет жены. Потом во взгляде его, с немим вопросом устремленном на портрет, сверкнула ярость. Сжав кулаки, с лицом, искаженным ненавистью, презрением и ужасом, он прошептал:

— Ты! Ты!

Она обманывала его больше всех, оттого, наверное, ее запоздалое раскаяние было искренним. Да, Сильвия раскаялась, но не Верона, нет; тот приходил к нему в дом как хозяин, и... ну конечно же, подозревал, наверняка подозревал, что ему, Лори, известно все, но предпочитал делать вид, будто его это не касается...

При этой ужасной мысли Лори почувствовал, как спина у него точно разломилась надвое, а ногти непроизвольно впились в мякоть ладони. Он вскочил, но не удержался на ногах, сраженный новым приступом головокружения. Гнев и боль разом вылились в неудержимых, судорожных рыданиях.

Постепенно Лори успокоился; внутри у него была какая-то странная пустота, и он чувствовал себя совершенно обессиленным.

Понадобилось больше двадцати лет, чтобы он понял. Он так ничего бы и не понял, если бы те трое своей холодностью и презрительным равнодушием не открыли ему глаза. Их отношение было убедительнее всяких слов.

Что же теперь делать? Что ему оставалось делать после стольких лет неведения! Теперь, когда со всем давно уже было покончено: без шума... аккуратно, как принято у порядочных людей, которые умеют ловко выпутаться из любого дела. Разве ему не дали вежливо понять, что он уже отыграл все свои роли? Сначала он играл роль мужа, потом — отца. Хватит, пора и честь знать. Теперь он им больше не нужен — эта тройца и без него отлично спелась...

Быть может, меньше всех лгала и притворялась та, которая раскаялась сразу же после своей непоправимой ошибки, но она мертва...

В тот вечер Мартино Лори по старинной привычке отправился на могилу жены. На полдороге он неожиданно остановился, в мрачной растерянности спрашивая себя: идти ли ему дальше или вернуться назад. Он подумал о цветах на могиле, за которыми он с такой любовью ухаживал уже бог знает сколько лет. Скоро и он отдохнет на том же кладбище. Рядом с нею? Нет, нет, теперь уже нет! И все-таки, как плакала эта женщина, вернувшись в дом, какой заботой она окружила его... Конечно же, конечно, она раскаялась... Ее, только ее, он и может, пожалуй простить.

И Мартино Лори снова пошел по дороге к кладбищу. В этот вечер ему многое надо было сказать умершей.

ГЛИНЯНЫЙ КУВШИН

И для оливок это был урожайный год. Хорошие, стойкие деревья, принесшие уже в прошлом году немало плодов, теперь окрепли, несмотря на то, что туманы захватили цветенье.

На ферме у Лолло Дзирафа в Квотэ а Примосоле оливок было полным-полно, и хозяин, предвидя, что прежних пяти кувшинов, стоявших в подвале, для масла может не хватить, заблаговременно заказал еще один вместительный кувшин в Санто Стефано ди Камастро. «Высокий, по грудь взрослому человеку, пузатый и величавый, новый кувшин среди тех пяти будет красоваться, словно полководец», — размышлял дон Лолло.

Нечего и говорить, что из-за этого кувшина дон Лолло долго спорил и ссорился с тамошним гончаром. Да и к кому только не привязывался дон Лолло Дзирафа? Из-за всякого пустяка, из-за камня, свалившегося с ограды, из-за каждой безделицы он кричал, чтобы ему немедленно седлали мула, и мчался в город подавать жалобу.

В конце концов, благодаря бесполезным расходам на гербовую бумагу, на адвокатов, на тяжбы то с одним соседом, то с другим, на судебные издержки, платить которые ему неизбежно присуждали, — Дзирафа оказался на пути к разорению. Говорили, что адвокат, утомленный его частыми посещениями, — дон Лолло появлялся у него не реже двух-трех раз в неделю, — решил от него отделаться и подарил ему книжечку, с виду похожую на молитвенник: свод законов, дабы он сам находил юридические основания для тех дел, кои собирался возбуждать.

Прежде люди, с которыми он был не в ладах, чтобы подшутить над ним, кричали чуть что: «Седлайте мула!» Теперь же вместо этого слышалось: «Справьтесь-ка в своем словаре».

И дон Лолло отвечал:

— Непременно, и всех вас в порошок сотру, собачьи дети!

Новый кувшин, за который было заплачено чистогоном целых четыре унции¹, в ожидании, пока для него найдется достойное место в подвале, был временно помещен в давяльню для винограда. Еще никто на свете не видел такого кувшина! И потому так жалко выглядел он

¹ Старинные золотые монеты в Сицилии.

© Перевод Л. Шапориной.

в этой заплесневелой норе, пропитанной кислым и терпким запахом, как всякое непроветриваемое и темное помещение!

Уже два дня, как началась уборка урожая, и дон Лолло прямо из кожи лез, не зная, за кем следить, метался от поденщиков, собиравших оливки, к погонщикам мулов, которые привезли удобрение, чтобы разбросать его по полю для весенней посадки бобов. Он зверски ругался и угрожал стереть в порошок и тех и других, — пусть хоть одной оливки, одной только оливки не хватит, потому что он все их пересчитал, все до единой, еще на деревьях; пусть только навоз не будет распределен равномерно! В огромной белой шляпе, в рубахе с открытым воротом, весь красный, обливаясь потом, он бегал от одних к другим, вращая круглыми волчьими глазами, и нервно скреб свои бритые щеки, на которых своевольная щетина, казалось, выступала прямо под бритвой.

В конце третьего дня трое сборщиков, войдя в сарай, чтобы сложить там лестницы и палки, остановились как вкопанные при виде великолепного нового кувшина, от которого был отколот огромный кусок.

— Смотрите-ка, смотрите!

— Кто это натворил?

— Мать родная! И кто теперь решится сказать об этом дону Лолло? Новый кувшин, какая жалость! — Первый, который перепугался больше всех, предложил притворить дверь и потихоньку уйти, оставив на дворе у стены лестницы и палки.

Но тут вмешался второй:

— Вы с ума сошли? А дон Лолло? Он может подумать, что это мы разбили кувшин. Стойте здесь!

Выйдя из сарая, он сложил ладони рупором и закричал:

— Дон Лолло! Эй, дон Лолло-о-о!

А тот, под горой, возился с поденщиками, удобрявшими поле; как всегда, он неистово жестикулировал и время от времени поглубже нахлобучивал обеими руками свою белую шляпу. Наконец он ее так нахлобучил, что больше уже вообще не мог стянуть с головы.

На небе угасли последние отблески зари, и благодать спускалась на землю вместе с вечерними сумерками и мягкой свежестью, а окрестность все еще оглашалась криками:

— Дон Лолло! Эй, дон Лолло-о-о!

Когда же, наконец, дон Лолло подошел и увидел, что случилось, он чуть было не сошел с ума. Сначала он накинулся на всех троих, затем, выбрав жертву, схватил одного из них за горло и прижал к стене с криком:

— Клянусь кровью мадонны! Даром это вам не пройдет!

Схваченный в свою очередь двумя другими, видя вокруг грубые, тупые лица, он обрушил всю свою бешеную ярость на самого себя, бросил на землю шляпу, скреб щеки, топал ногами и завывал, как плакальщик над покойником.

— Новый кувшин! Четыре унции за кувшин заплачено. И обновить не успели!

Вот бы узнать, кто его разбил, не сам же он разбился? Вероятно, его кто-нибудь разбил по злобе или из зависти! Но когда и как? Не видно никаких следов! Может быть, его уже привезли треснутым от гончара? Нет, он звенел, как колокол!

Как только крестьяне увидели, что первая вспышка ярости стала утихать, они принялись успокаивать хозяйина. Кувшин можно склеить. Он удачно разбился. Всего один кусок отколот! Вот, кстати, дядя Дима Ликази изобрел чудодейственную замазку, секрет ее он ревниво охраняет: замазка такая, что, когда затвердеет, ее и молотком не расшибешь. Если дон Лолло согласен, то завтра же, на рассвете, дядя Дима Ликази придет, и в один миг кувшин станет лучше прежнего.

Долгое время дон Лолло не поддавался уговорам: кувшин погиб, починить его никак нельзя; но, наконец, он сдался, и на другое утро, только забрезжил рассвет, дядя Дима Ликази появился в Примосоле с корзинкой инструментов за плечами.

Это был сутулый старик с искалеченными, узловатыми руками, похожий на ствол старого оливкового дерева. Слова надо было вытягивать из него клещами. Его хмурый характер происходил либо от бесчисленных телесных недугов, либо от того, что никто не мог понять и оценить по достоинству его недюжинный талант изобретателя. Дядя Дима Ликази хотел, чтобы за него говорили его дела. К тому же надо было жить с оглядкой, быть всегда начеку, чтобы, боже сохрани, не украли его секрета.

— Покажите мне эту замазку,— сказал ему прежде

всего дон Лолло, недоверчиво осмотрев его с головы до пят.

Дядя Дима с достоинством отрицательно покачал головой.

— На деле увидите.

— А хорошо получится?

Дядя Дима поставил корзину на землю; вынул из нее большой красный платок, вылинявший и свернутый; принялся медленно, медленно разворачивать его, привлекая всеобщее внимание и любопытство, а когда, наконец, показались сломанные в нескольких местах и перевязанные бечевкой очки, он вздохнул; все кругом захохотали. Дядя Дима, несколько не смутившись, вытер руки, надел очки и принялся внимательно исследовать кувшин, вынесенный под навес, а потом сказал:

— Получится хорошо.

— В одну замазку я не верю,— заявил Дзирафа.— Здесь нужны скрепы.

— Я уйду,— коротко отрезал дядя Дима, выпрямился и вскинул корзинку на плечо.

Дон Лолло схватил его за руку.

— Куда? Это так-то вы договариваетесь? Смотрите, пожалуйста, какой вид, ни дать ни взять Карл Великий! Душегубец проклятый, осел! Я должен туда масло наливать, а масло просачивается. Трещина в целую милю, а он одной замазкой? Тут нужны скрепы. Замазка и скрепы. Я здесь хозяин.

Дядя Дима закрыл глаза, сжал губы, покачал головой. Вот-вот — всегда так! Ему отказывают в удовольствии показать настоящее мастерство, чтобы все могли оценить высокое качество его замазки.

— Если кувшин,— сказал он,— не зазвенит снова, как колокол...

— И слышать не хочу,— перебил его дон Лолло.— Скрепы. Плачу за скрепы и за замазку. Сколько это будет стоить?

— Если за одну замазку...

— Черт возьми, ну и упрямец! — воскликнул Дзирафа.— Сколько раз тебе повторять, что мне нужны скрепы?! Ну ладно, после сговоримся. С тобой только зря время теряешь.

И ушел смотреть, как унавоживают поле.

Дядя Дима принялся за работу, преисполненный гнева и досады. И гнев и досада росли в нем с каждой

дыркой, которую он просверливал в кувшине и в отбитом куске, чтобы пропустить в них проволочку. Он сопровождал каждый поворот сверла ворчливым фырканьем, которое становилось все громче; лицо его зеленело от разлившейся желчи, а глаза смотрели все более и более сердито. Закончив эту подготовительную работу, он со злостью бросил сверло в корзину; приложил отбитый кусок на место, чтобы проверить, правильно ли высверлены дыры; потом клещами откусил от проволоки столько кусочков, сколько требовалось скреп, и позвал на подмогу одного из глазевших на эту работу крестьян.

— Не унывай, дядя Дима! — сказал тот, видя его расстроенное лицо.

Дядя Дима негодуяще махнул рукой, открыл жестянку, в которой хранилась замазка, поднял ее, встряхнул, как бы принося свое изобретение в жертву богу, коль скоро люди не хотели признавать его целительных свойств; потом начал смазывать пальцем излом; взял клещи и заготовленные кусочки проволоки и влез через пролом в кувшин, приказав крестьянину приложить отбитый кусок, как он сам только что это проделывал. Прежде чем вставлять проволоку, он крикнул крестьянину из кувшина:

— Дерни! Дергай изо всех сил! Видишь, не отрывается. Тем хуже для тех, кто не верит! Бей! Бей! Звенит или не звенит, даже когда я внутри? Поди-ка, поди, расскажи своему хозяину!

— Чей верх, того и воля, дядя Дима, — вздохнул крестьянин, — такая уж наша доля. Просовывай скрепы!

Дядя Дима продел скрепы и принялся клещами скручивать их концы.

Целый час заняла эта работа. Пот лил со старика градом. Работая, он жаловался на свою злосчастную судьбу. А крестьянин снаружи подбадривал его.

— Ну, а теперь помоги мне вылезти, — сказал, наконец, дядя Дима. Но у широкого внизу кувшина было слишком узкое горлышко. В слепом раздражении дядя Дима не обратил на это внимания. Теперь он пробовал выбраться и так и этак, но ничего не выходило. А крестьянин, вместо того чтобы помочь, — корчился от хохота. Заточен! Он был заточен в кувшине, который сам починил! Теперь вылезти из него можно было только одним способом: разбить его снова, и уже навсегда.

На хохот и крики прибежал дон Лолло. Дядя Дима метался в кувшине, как взбесившийся кот.

— Выпустите меня отсюда! — вопил он. — Черт возьми, не хочу я тут сидеть! Скорее! Помогите же!

Дон Лолло стоял ошеломленный. Не мог поверить своим глазам.

Как же это произошло? Он внутри? Сам себя замуравал?

Подойдя к кувшину, он крикнул:

— Помочь? Чем же я тебе могу помочь? Безмозглый старикашка, как же это случилось? Не мог, что ли, сперва примериться? Попробуй-ка одну руку вверх... так! и голову... Выше... нет... тихо!.. Как... вниз... подождите... Не так! Ниже, ниже. Что за чертовщина! Как же быть с кувшином?.. Спокойно! Спокойно! Спокойно! — успокаивал он всех, хотя эти уговоры нужны были только ему самому. — Просто голова кругом идет! Тихо! Неслыханно!.. Седлайте мула! — Он постучал костяшками пальцев по кувшину, который и вправду звенел как колокол.

— Красавец! Как новый!.. Обожди! — сказал дон Лолло узнику. — Пойди, оседлай мула! — приказал он одному из поденщиков. Скребя себе лоб всеми десятью пальцами, дон Лолло продолжал рассуждать сам с собой: — Смотрите, пожалуйста, что приключилось! Это не кувшин! Это дьявольское наваждение! Держись! Держись!

И, подойдя к кувшину, в котором разъяренный дядя Дима бился как зверь в капкане, сказал:

— Непредвиденный случай, дорогой мой, его может разрешить только адвокат. Сам я этого сделать не берусь. Мула! Мула! Я еду в город и скоро вернусь, потерпите немножко. Это в ваших интересах... А пока тихо! Спокойно! Ведь и свои интересы приходится охранять... мое право, я выполняю свой долг. Я плачу за работу поденно... Пять лир. Достаточно!

— Я ничего не хочу! — верещал дядя Дима. — Я хочу выйти!

— И выйдешь. Но пока ты работаешь у меня, и я тебе плачу. Вот пять лир, получай!

Он вынул из жилетного кармана деньги и бросил в кувшин. Потом предупредительно спросил:

— Ты еще не завтракал? Сейчас тебе дадут хлеба и все что полагается! Не хочешь? Бросьте это собакам! Я позаботился, а там как знаете.

Дзирафа распорядился, сел на мула и галопом помчался в город. Смотревшие ему вслед крестьяне решили, что он торопится в сумасшедший дом,— так неистово и так странно размахивал он руками.

По счастью, дону Лолло не пришлось долго дожидаться адвоката; но зато пришлось довольно долго ждать, пока адвокат перестанет смеяться, выслушав его рассказ. Дон Лолло обиделся не на шутку.

— Что тут смешного, прошу прощения? Вашей милости безразлично. А кувшин-то мой!

Но адвокат продолжал смеяться и пожелал еще раз выслушать рассказ во всех подробностях, чтобы нахотаться вдоволь.

— В кувшине, да? Сам себя замуровал? А вы, дон Лолло, что предполагаете? Дер-дер-жать его в кувшине?.. Ха-ха-ха... Охо-хо-хо-хо... Держать его там, чтобы не лишиться кувшина?

— А с какой стати я должен его лишиться? — спросил Дзирафа, сжав кулаки.— А ущерб, а позор?

— Известно ли вам, как это называется? — сказал ему, наконец, адвокат.— Это называется насильственное заточение.

— Заточение? Кто ж его заточал? — воскликнул Дзирафа.— Он же сам себя замуровал. Я-то тут при чем?

Тогда адвокат пустился толковать ему, что у этого дела две стороны: с одной стороны, он, дон Лолло, должен сейчас же освободить пленника, чтобы не отвечать за насильственное заточение; с другой — гончар должен отвечать за ущерб, нанесенный благодаря его легкомыслию и неосмотрительности.

— Ага! — с облегчением вздохнул Дзирафа.— Он должен заплатить мне за кувшин!

— Пойдите,— заметил адвокат.— Не как за новый, конечно.

— А почему?

— Да потому что он был уже разбит, сами знаете!

— Разбит? Нет, синьор, сейчас он в полном порядке. И даже стал лучше, чем прежде. Дядя Дима сам это подтвердит. А если я его теперь снова разобью, то починить его уже будет нельзя. Пропаший кувшин, синьор адвокат!

Адвокат заверил его, что все это будет учтено и ему заплатят стоимость кувшина в его теперешнем виде. И на прощанье посоветовал:

— Прежде всего заставьте оценить кувшин его самого.

— Целую руки — сказал дон Лолло, поспешно выходя из конторы.

Вернувшись под вечер, он застал всех крестьян в самом веселом расположении духа около нового жилища старика. Даже дворовая собака дона Лолло радостно прыгала и лаяла на кувшин. Дядя Дима не только успокоился, но даже вошел во вкус своего странного приключения и подшучивал над собой с невеселым смехом уязвленного человека.

Дзирафа отогнал всех прочь и заглянул в кувшин:

— Ну! Как дела?

— Прекрасно! Воздух свежий,— ответил узник,— куда лучше, чем дома.

— Очень рад. Я тебя предупреждаю, что этот новый кувшин мне обошелся в четыре унции. Как ты думаешь, сколько он может стоить теперь?

— Со мной вместе? — спросил дядя Дима.

Крестьяне засмеялись.

— Молчать! — крикнул Дзирафа.— Одно из двух: или эта замазка годится на что-нибудь, или она вообще ни черта не стоит; если она ни черта не стоит, то ты просто обманщик; если же она годится, то кувшин, такой, каков он сейчас, должен иметь свою цену. Вот и назначай ее сам.

Дядя Дима подумал немного, затем сказал:

— Если бы вы дали мне склеить его одной замазкой, как я хотел, то я бы не сидел в кувшине, и он не потерял бы своей цены, а теперь, когда он испоганен этими скрепами, которые я не мог наложить иначе, как изнутри, сколько он может стоить? Третью прежней цены, примерно.

— Треть? — переспросил Дзирафа.

— Может быть, даже меньше, но уж никак не больше.

— Итак,— сказал дон Лолло,— держи свое слово и плати мне назначенную тобой третью цены.

— Что? — сказал дядя Дима, как будто не понимая.

— Я разобью кувшин, чтобы тебя выпустить, а ты, как сказал адвокат, заплатишь мне третью его стоимости.

— Я заплачу? — усмехнулся дядя Дима.— Ваша милость шутит. Мне и здесь не дуется.

Он извлек с некоторым трудом из кармана свою старую трубку, зажег ее и закурил, выпуская дым через горлышко кувшина.

Дон Лолло был ошеломлен. Такого оборота дела ни он, ни адвокат не могли предвидеть. И как теперь разрешить этот вопрос? Он чуть было снова не приказал седлать мула, но вспомнил, что уже слишком поздно.

— Ах, так? Ты хочешь поселиться в моем кувшине? Будьте же все свидетелями. Лично я готов разбить кувшин, но он не желает вылезать оттуда, чтобы ничего мне не платить. Итак, ввиду того, что он хочет остаться тут, я завтра привлеку его к суду за противозаконный захват жилища и за то, что он мешает мне пользоваться кувшином.

Дядя Дима сделал еще одну затяжку, потом спокойно ответил:

— Нет, синьор, я-то ничему не хочу мешать. Я сижу здесь не для забавы! Выпустите меня, и я охотно уйду. Но платить... даже и в шутку не соглашусь, ваша милость.

В припадке бешенства дон Лолло занес было ногу, чтобы ударить по кувшину, но вовремя сдержался. Единственное, что он позволил себе,— так это обхватить его обеими руками и потрясти.

— Видите, какая замазка? — сказал ему дядя Дима.

— Злодей! — закричал Дзирафа.— Кто натворил бед, я или ты? А расплачиваться должен я? Подыхай же там с голода! Увидим, кто победит!

И ушел, забыв о тех пяти лирах, которые он швырнул утром в кувшин. На эти деньги дядя Дима решил отпраздновать событие вместе с крестьянами, которые, задержавшись из-за такого странного приключения, решили заночевать в деревне на открытом воздухе под навесом. Один пошел за покупками в ближайшую таверну. Луна, словно по заказу, сияла так, что было совсем светло.

Уснувший дон Лолло был разбужен адским шумом и грохотом. Выйдя на балкон, он увидел на току, при свете луны, пляшущих чертей: пьяные крестьяне, взявшись за руки, танцевали вокруг кувшина, в котором сидел распевавший во все горло дядя Дима.

На этот раз дон Лолло не мог себя сдержать,— он бросился как разъяренный бык и, прежде чем крестьяне успели ему помешать, сильным толчком опрокинул кувшин. Кувшин покатился под гору под хохот пьяных крестьян и раскололся об оливковое дерево. Победа осталась за дядей Димой.

ПОДУМАЙ, ДЖАКОМИНО!

Вот уже три дня, как дом профессора Агостино Тотти покинули радость и покой, на которые он, по его мнению, имел теперь полное право.

Профессору уже под семьдесят, и при всем желании его нельзя назвать красивым; он почти карлик: несоразмерное, лишенное шеи, туловище на двух паучьих ножках венчает огромная лысая голова... Да, да! Профессор Тотти это отлично сознает и не питает никаких иллюзий: разве Магдаленина, его хорошенькая женушка, которой не исполнилось еще и двадцати шести, может любить его!

Правда, он взял ее из бедной семьи и возвысил до себя: дочь слугителя лица стала супругой ординарного профессора естественных наук, который через несколько месяцев должен был получить право на высшую пенсию. Мало того, два года назад на него, точно манна небесная, неожиданно свалилось крупное состояние: брат Тотти, который много лет назад эмигрировал в Румынию и умер там холостяком, оставил ему почти двести тысяч лир.

Однако профессор Тотти считает, что не это дает ему право на радость и покой. Он философ и понимает, что одних только материальных благ недостаточно для молодой и красивой женщины.

Если бы наследство было получено им до брака, он, пожалуй, мог бы еще требовать, чтобы Магдаленина проявила некоторое терпение, то есть дождалась бы его уже недалекой смерти и только после этого вознаградила бы себя за жертву, которую она принесла, выйдя за него. Но, увы, эти двести тысяч лир были получены слишком поздно — через два года после свадьбы, когда... когда профессору Тотти уже пришлось философски признать, что одной пенсии, которую он в один прекрасный день должен был оставить своей жене, оказалось недостаточно, дабы компенсировать ее жертву.

Профессор Тотти давно примирился со всем этим и полагает, что теперь, благодаря весьма значительному наследству, он больше чем когда бы то ни было имеет право на покой и радость в своем доме. Тем более, что, будучи человеком благожелательным и мудрым, он не ограничился тем, что облагодетельствовал собственную

супругу, но пожелал также облагодетельствовать... да, да, его, этого славного Джакомино, одного из лучших своих учеников, юношу скромного, порядочного, деликатного и к тому же хорошенкого, точно ангелок.

Конечно же, конечно,— он все сделал, он обо всем позаботился, старый профессор Агостино Тотти! Джакомино Делизи болтался без дела, собственная праздность печалила и унижала его, и профессор Тотти подыскал ему место в Земельном банке, куда поместил двести тысяч лир наследства.

В доме теперь есть ребенок, ангелочек двух с половиной лет, и старик привязан к нему всей душой, точно влюбленный раб. Каждый день, сразу же после занятий в лицее, он спешит домой и покорно выполняет все капризы своего маленького тирана. Правду говоря, получив наследство, он мог бы уйти на покой, отказаться от своей пресловутой пенсии и отдавать все время малышу. Но нет! Это было бы грешно! Он должен нести свой крест до конца, как бы это ни было ему тяжело! Он женился единственно для того, чтобы оказать благодеяние, а между тем это стало для него мукой на всю жизнь.

Он вступил в брак с этой юной особой с одним намерением — облагодетельствовать ее,— и любил свою жену, можно сказать, по-отечески; особенно с того времени, как родился ребенок... Насколько ему было бы приятнее, если бы малыш называл его дедушкой, а не папой! Бессознательная ложь, слетающая с чистых, невинных уст младенца, заставляет его страдать; ему кажется, что это оскорбляет и собственную его любовь к ребенку. Но что поделаешь? Вслед за поцелуем с непорочных уст Нини слетает это слово «папа», вызывающее насмешку недобрых людей; они неспособны понять нежность, которую он испытывает к этому невинному существу, и ощущение счастья, приносимого ему сознанием того, что он делал и продолжает делать добро молодой женщине, и славному юноше, и малышу, а также и себе, и себе, конечно! Какое это счастье прожить последние годы в радости, в кругу милых сердцу людей и, шествуя к могиле, чувствовать в своей руке руку ангелочка.

Но они смеются, смеются над ним, все эти злобные люди! Какой жалкий, какой глупый смех! Потому что они не понимают... Потому что они не могут поставить себя на его место... Они замечают только смешную, даже

гротескную сторону его положения, не умея проникнуть в его чувства!.. Но что ему до того! Ведь он-то счастлив!

Только вот уже три дня...

Что, собственно, произошло? У жены глаза распухли и покраснели от слез; она жалуется на сильную головную боль и не выходит из своей комнаты.

— Эх, молодежь!.. молодежь!..— вздыхает профессор Тотти, покачивая головой; на лице его грустная и проникательная улыбка.— Какое-нибудь облачко... мимолетная гроза...

И вместе с Нини он слоняется по дому, печальный, встревоженный, даже немного раздраженный, ибо... по правде говоря, он не заслужил такого отношения со стороны жены и Джакомино. Молодые не считают дней: у них еще много времени впереди... Но для бедного старика каждый день — это тяжкая утрата! А ведь уже целых три дня, по вине жены, он места себе не может найти; Маддаленина не радуется его больше песенками и романсами, которые она обычно распевает своим страстным звонким голоском, и не проявляет по отношению к нему тех забот, к которым он успел уже привыкнуть.

Нини также задумчив и серьезен, как будто понимает, что маме сейчас не до него. Профессор водит его за руку из комнаты в комнату, и при этом старику почти не приходится наклоняться — настолько он мал ростом; он подносит ребенка к фортепьяно, ударяет несколько раз наугад по клавишам, отдувается, зевает, потом усаживается, берет малыша на колени и, сидя, пускается вскачь, но затем внезапно встает — он чувствует себя как на угольях. Он уже раз пять или шесть безуспешно пытался вызвать на откровенность свою молодую жену.

— Все еще болит? Ты себя так дурно чувствуешь?

Маддаленина по-прежнему не хочет ему ничего сказать, только плачет и просит притворить ставни и унести ребенка из комнаты: ей хочется побыть одной в темноте.

— Голову ломит? А?

Бедняжка, у нее так болит голова... Эх, ссора, должно быть, у них произошла нешуточная!

Профессор Тотти отправляется на кухню и пробует заговорить со служанкой, чтобы выпытать у нее какие-нибудь сведения; но он не знает, как к ней подступиться, ибо служанка ему враг: она, как и все, злословит на его

счет, позорит его, дура несчастная! Старику так ничего и не удается у нее узнать.

И тогда профессор Тоти принимает героическое решение: отводит Нини к матери и просит, чтобы она одела его получше.

— Зачем? — спрашивает та.

— Я пойду с ним гулять, — отвечает он. — Сегодня праздник... Бедный малыш скучает дома!

Мать не соглашается. Она знает, что скверные люди всегда насмеются, когда видят старого профессора с ребенком; ей известно даже, что один злобный наглец осмелился сказать ее мужу: «До чего же сынок похож на вас, профессор!»

Однако Тоти упорствует.

— Нет, мы пойдем гулять, непременно пойдем гулять...

И вместе с малышом направляется к дому Джакомино Делизи. Юноша живет у своей незамужней сестры, которая заменяет ему мать. Не подозревая об истинной причине благодеяний, синьорина Агата была сначала весьма признательна профессору Тоти; теперь же, напротив, эта ханжа считает его сущим дьяволом — ни больше, ни меньше, — ибо он толкнул ее Джакомино на смертный грех.

Профессор Тоти звонит, и ему приходится довольно долго ждать, пока откроют дверь. Синьорина Агата подошла к двери, посмотрела в щелку и убежала. Она, без сомнения, хочет предупредить брата о визите и сейчас возвратится и скажет, что Джакомино нет дома.

Вот она. В черном платье, тощая, хмурая, с восковым лицом, на котором выделяются синие круги под глазами; едва приоткрыв дверь, она, дрожа от негодования, обрушивается на профессора:

— Вот как... позвольте... теперь его уже не оставляют в покое даже дома?.. Что я вижу! И ребенок здесь? И ребенка с собой привели?

Профессор Тоти не ожидал подобного приема; он просто оторопел; затем посмотрел на синьорину Агату, перевел взгляд на малыша, растерянно улыбнулся и пролепетал:

— Но... почему?.. что случилось?.. я не могу... не могу прийти к...

— Его нет! — ответила она резко и сухо. — Джакомино нет дома.

— Превосходно,— кивнул головой профессор Тотти.— Но вы, синьорина... прошу прощения... вы принимаете меня так, что... не знаю! Кажется, ни вашему брату, ни вам я не причинил...

— Видите ли, профессор,— сказала несколько мягче синьорина Агата,— мы, что и говорить, весьма... весьма вам признательны; но вы должны также понимать...

Профессор Тотти прищурил глаза, снова улыбнулся, поднял руку и несколько раз ткнул себя кончиком пальца в грудь, словно говоря, что уж кто-кто, а он-то отлично понимает.

— Я уже стар, синьорина,— сказал он,— и понимаю... многое понимаю! Но прежде всего, мне кажется, не следует поддаваться гневу, и когда возникают недоразумения, то лучше всего объясниться... да, объясниться, синьорина, объясниться начистоту, ничего не утаивая и не горячася... Разве не так?

— Конечно, так...— растерянно подтвердила синьорина Агата.

— А посему,— продолжал профессор Тотти,— позвольте мне войти и позовите Джакомино.

— Но его нет дома!

— Вы опять за свое! Зачем вы мне говорите, что его нет? Джакомино дома, и вы должны позвать его сюда. Мы все с ним спокойно обсудим... Так и скажите ему: спокойно обсудим! Я уже стар и все понимаю, потому что ведь и я был молод, синьорина. Мы все спокойно обсудим, так и скажите ему. А теперь позвольте мне войти.

В скромной гостиной профессор Тотти опустил на стул и усадил на колени Нини; ему пришлось довольно долго ожидать, пока сестра уговаривала Джакомино.

— Сиди спокойно, Нини... мой хороший! — говорил он время от времени ребенку, которому обязательно хотелось подойти к столику, где так заманчиво сверкали фарфоровые безделушки; между тем профессор терялся в догадках, что за нелепая и, видимо, серьезная ссора могла произойти в его доме и притом так, что он ничего даже не заподозрил. Ведь Маддаленина такая хорошая! Что дурного могла она сделать? Чем могла она вызвать столь сильное, столь явное негодование даже у сестры Джакомино?

Профессор Тотти, до сих пор полагавший, что речь идет о мимолетной размолвке, начал теперь не на шутку тревожиться.

А вот, наконец, и Джакомино! Господи, до чего у него взволнованное лицо! Какой взъерошенный вид! Но что это? Как он смеет! Он холодно отстраняет малыша, который бросился к нему навстречу, протягивая ручонки, и крича: «Джами! Джами!»

— Джакомино! — сурово восклицает пораженный в самое сердце профессор Тотти.

— Что вы хотели сказать мне, профессор? — торопливо спрашивает Джакомино, избегая смотреть в глаза старику. — Я нездоров... Я лежал в постели... Мне трудно разговаривать и мне сейчас не до гостей...

— Но ведь ребенок!..

— Ах, да, — говорит Джакомино, наклоняется и целует Нини.

— Ты плохо себя чувствуешь? — продолжает профессор Тотти, немного успокоенный этим поцелуем. — Я так и предполагал и поэтому пришел. Голова болит, да? Садись, садись... Давай побеседуем. Поди сюда, Нини... Ты слышал, что Джами бобо? Да, дорогой, у него головка болит... у нашего бедного Джами... Будь умником; мы скоро пойдем домой. Я хотел спросить тебя, — прибавляет он, поворачиваясь к Джакомино, — говорил ли с тобой о чем-нибудь директор Земельного банка?

— Нет, а что такое? — спрашивает Джакомино в еще большем смятении.

— Дело в том, что вчера я с ним разговаривал о тебе, — отвечает с загадочной улыбкой профессор Тотти. — Твое жалованье не слишком-то велико, сынок. И знай, одного моего слова...

Джакомино корчится на стуле и с такой силой сжимает кулаки, что ногти впиваются ему в ладони.

— Профессор, я вам очень благодарен, — говорит он, — но сделайте милость, ради бога, не тревожьтесь больше обо мне! Прошу вас!

— Ах, так? — произносит профессор Тотти, все еще продолжая улыбаться. — Bravo! Мы уже больше ни в ком не нуждаемся, да? Ну, а положим, я хочу это сделать ради собственного удовольствия? Мой милый, если не о тебе, то о ком же, по-твоему, я должен заботиться? Я уже стар, Джакомино! А старики — ну, если они, конечно, не эгоисты! — старики, которые бедствовали, как я, пока не добились определенного положения, радуются, видя, что достойные молодые люди продвигаются в жизни с их помощью; они разделяют радость своих питомцев, их

надежды и с удовлетворением наблюдают, как те малопомалу занимают должное место в обществе. А по отношению к тебе я к тому же... ну, ты ведь знаешь.. я смотрю на тебя, как на сына... Что с тобой? Ты плачешь?

Джакомино и в самом деле закрыл лицо руками и весь содрогается от безудержных рыданий, которые тщетно пытается подавить!

Нини испуганно смотрит на него, потом поворачивается к профессору и говорит:

— Джами бобо...

Профессор поднимается и хочет положить руку на плечо Джакомино; но тот вскакивает со стула, словно в порыве отвращения; лицо его внезапно искажается отчаянной решимостью, и он, не помня себя, кричит:

— Не приближайтесь ко мне! Профессор, уходите, умоляю вас, уходите! Вы заставляете меня испытывать адские муки! Я не заслуживаю вашего расположения и не желаю его, слышите, не желаю!.. Уходите, бога ради, уведите ребенка и забудьте, что я существую!

Профессор Тоти ошеломлен, он растерянно спрашивает:

— Но почему?

— Я вам сейчас скажу! — отвечает Джакомино.— Я помолвлен, профессор! Понимаете? Помолвлен!

Профессор Тоти пошатнулся, словно его ударили по голове; воздев руки, он бормочет:

— Ты? По... помолвлен?

— Да, сударь,— отвечает Джакомино.— И поэтому все кончено... кончено навсегда! Теперь вы, надеюсь, поймете, что я не могу больше... видиться с вами...

— Ты меня прогоняешь? — почти беззвучно роняет профессор Тоти.

— Нет! — горестно отвечает Джакомино.— Но лучше будет, если вы... если вы уйдете, профессор...

Уйти? Профессор без сил опускается на стул. У него подкосились ноги. Он хватается руками за голову и стонет:

— О господи! Ах, какая беда! Так вот оно что! Горе мне! Горе! Но когда? Каким образом? Ничего не сказав! С кем ты обручился?

— Видите ли, профессор... уже давно... — лепечет Джакомино.— С одной бедной сиротой, такой же, как я... с подругой моей сестры...

Профессор Тотти устремляет на него блуждающий, угасший взор; из его открытого рта вырываются нечленораздельные звуки, он заикается:

— И... и... и ты бросил все... так... и... и... и больше не думаешь о... ни о чем... больше не принимаешь в расчет ничего...

Джакомино слышится в этих словах упрек в неблагодарности, и он мрачно возражает:

— Но позвольте? Вы что, считаете меня своим рабом?

— Я считаю тебя рабом? — с рыданием в голосе произносит профессор Тотти.— Я? И ты можешь так говорить? Ведь я сделал тебя хозяином в своем доме! Вот уж поистине черная неблагодарность! Ты, видно, считаешь, что я оказывал тебе благодеяния для собственной выгоды? Но что мне это дало, кроме насмешек глупцов, которые не в силах понять моих подлинных побуждений? Значит, и тебе они непонятны, выходит, и ты не сумел оценить по достоинству чувства несчастного старика, который готовится покинуть этот мир и был покоен и радовался, что оставляет все в должном порядке, что его маленькая семья не будет нуждаться... будет счастлива! Мне уже семьдесят лет, не сегодня-завтра я умру, Джакомино! Что это тебе взбрело в голову, сынок? Ведь я вам все оставляю... Что тебе еще нужно? Я не знаю, не хочу знать, кто твоя невеста; если ты ее выбрал, то она, должно быть, достойная девушка, ведь и сам ты хороший человек... но подумай... подумай, что... не может быть, Джакомино, чтобы ты нашел кого-нибудь лучше, чем... во всех отношениях... Я имею в виду не только обеспеченное существование... но у тебя уже есть собственная семья, в которой один только я лишний, но ведь и это не надолго... да я и в счет не иду... Разве я вам докучаю? Ведь я для вас как отец... Могу даже, если хотите... для вашего спокойствия... Но скажи мне, как это произошло? Как это случилось? Как это ты так переменялся в одно мгновение? Скажи мне! Скажи мне...

Профессор Тотти приблизился к Джакомино, намереваясь дружески похлопать его по плечу; но тот весь сжался, словно охваченный ужасом, и отпрянул назад.

— Профессор! — воскликнул он.— Как вы не понимаете, как вы не видите, что вся эта ваша доброта...

— Ну?

— Оставьте меня! Не заставляйте меня говорить! Как вы не понимаете, что все это может происходить лишь

втайне? А теперь, когда об этом знаете вы, когда все вокруг смеются над нами, это невыносимо!

— Ах, ты боишься сплетен? — вскричал профессор. — И ты...

— Оставьте меня в покое! — повторил Джакомино в страшном возбуждении, размахивая руками. — Смотрите! Вокруг столько других юношей, которые нуждаются в поддержке, профессор!

Тоти почувствовал, что слова эти ранили его в самое сердце: ведь в них таилось жестокое и несправедливое оскорбление для его жены. Он смертельно побледнел и, весь дрожа, воскликнул:

— Маддаленина молода, но глубоко порядочна! И ты, черт побери, это отлично знаешь! Она может умереть после всего этого... потому что болезнь ее здесь, здесь, в сердце... Да, да, неблагодарный! И ты смеешь говорить о других? Ко всему еще и оскорбления? Бесстыжий! И ты не испытываешь угрызений совести, глядя мне в глаза? Отваживаешься заявлять мне это прямо в лицо? По-твоему, она может переходить вот так, от одного к другому, как бог весть кто? Она, мать этого ребенка? Но что ты говоришь? Как смеешь так говорить?

Побледневший Джакомино с изумлением смотрел на него.

— Я? — пролепетал он. — Скорее я должен спросить об этом вас, профессор. Простите, но как можете вы так говорить? Вы это серьезно?

Профессор Тоти закрыл лицо руками, веки его задрожали, голова затряслась, и он разразился безудержными рыданиями. Нини, глядя на него, также расплакался. Старик услышал это, поднял ребенка и прижал к своей груди.

— Ах, мой бедный Нини... ах, какое горе, мой милый, какая беда! Что теперь будет с твоей мамой? И что будет с тобою, мой маленький Нини? Ведь твоя мамочка так неопытна, а у нее не будет никакой опоры... Ах, какое несчастье!

Он поднял голову и сквозь слезы посмотрел на Джакомино:

— Я плачу, — проговорил он, — меня мучат угрызения совести; ведь я тебе покровительствовал, ввел тебя в свой дом, всегда говорил ей о тебе одно лишь хорошее... я разрушил все сомнения, которые мешали ей

полюбить тебя... а теперь, когда она, отбросив все колебания, полюбила тебя... она, мать этого малыша... ты...

Он остановился и, дрожа от негодования, сурово и решительно проговорил:

— Берегись, Джакомино! Я способен, взяв за руку ребенка, отправиться в дом к твоей невесте!

От бессвязных речей и рыданий профессора Джакомино бросало то в жар, то в холод; теперь же, при этой угрозе, он умоляюще сложил руки и стал заклинать старика:

— Профессор, профессор, неужели вы хотите стать всеобщим посмешищем?

— Посмешищем? — вскричал профессор. — А что мне до того, когда я вижу, как ты разбилаешь жизнь несчастной женщины, свою собственную жизнь и жизнь этого невинного создания? Пойдем, пойдем отсюда, Нини!

Джакомино бросился к нему.

— Профессор, вы этого не сделаете!

— Нет, сделаю! — заявил профессор Тотти с решительным видом. — И чтобы воспрепятствовать этому браку, я готов также добиться твоего увольнения из банка! Даю тебе три дня на размышление.

Ведя малыша за руку, он дошел до дверей, обернулся и проговорил:

— Подумай, Джакомино! Подумай!

ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ

Тартана¹, которую дядюшка Нино Мо назвал в честь первой своей жены «Филиппой», входила в порт Эмпедокле. Пламенел закат, прекрасный закат Средиземноморья; в сказочном великолепии огней и красок переливалась и трепетала бесконечная водная гладь. Горели стекла разноцветных домиков, сверкало мергелевое плоскогорье, отливал золотом песчаный берег, и единственным темным пятном по соседству с молом выступали мрачные очертания древнего замка.

Минуя узкий проход между двумя рифами, матросы увидели, что вся пристань, от замка до белой башни маяка, кишит народом и народ этот что-то кричит, размахивает беретами и платками.

¹ Одномачтовое судно.

© Перевод Н. Трауберг.

Конечно, ни дядюшке Нино, ни его матросам не могло прийти в голову, что это их так встречают, — хотя, казалось, крики и бурные жесты относятся именно к ним. Должно быть, сюда вошла какая-нибудь флотилия миноносцев, сейчас она собирается поднять якоря, и население ее приветствует — ведь не каждый день удается повидать настоящий военный корабль.

Дядюшка Нино Мо на всякий случай распорядился спустить паруса и ждать пароходика, который должен был взять «Филиппу» на буксир.

Паруса спустили; тартана медленно скользила между рифами по перламутровой глади воды; и любопытные юнги проворно, как белки, полезли наверх — один на ванты, другой на самую верхушку мачты, третий на рею.

Вон идет буксир, очень быстро, а за ним множество лодок, и они чуть не тонут, столько в них народу набилось, кричат все, размахивают руками, показывают куда-то...

Значит, это все-таки их встречают? Столько народу? И такой шум? Может быть, тут думали, что они погибли?

Команда кинулась на нос, навстречу лодкам — скорее узнать, о чем это так кричат. Пока что можно было разобрать только одно слово:

— Филиппа! Филиппа!

Дядюшка Нино Мо спокойно стоял в стороне. Он один не выказывал любопытства, не двигался с места и невозмутимо смотрел из-под низко надвинутого берета, прищурив, как всегда, левый глаз. Этот глаз был косой. Наконец он вынул изо рта свою пенковую трубку, сплюнул, пригладил тыльной стороной руки жесткие рыжие усы и остроконечную бородку, резко повернулся к юнге и приказал звонить к вечерней молитве.

Он провел в плаваниях всю жизнь, глубоко верил в промысел божий, смиренно переносил все превратности судьбы, и крики толпы всегда его возмущали.

При первом ударе колокола он снял берет, обнажив белую кожу черепа, едва прикрытую легким рыжеватым пушком. Он перекрестился и собрался было начать молитву, как вдруг увидел, что матросы бегут к нему и орут, как сумасшедшие:

— Дядюшка Ни! Дядюшка Ни! Жена ваша! Тетка Филиппа! Жива! Вернулась!

Дядюшка Ни оторопел; он испуганно обвел их взглядом и понял, что это правда, а не наваждение. На его

лице мгновенно сменили друг друга гримасы тупого непонимания, недоверия, ужаса, радости. Потом, внезапно придя в бешенство, он оттолкнул напиравших на него матросов, схватил одного из них за грудь и стал яростно трясти, крича:

— Что? Что? — И с поднятыми руками, как будто защищаясь от опасности, кинулся он к носу тартаны, навстречу прибывшим; они оглушительно кричали и махали ему руками. Он отпрянул, опасаясь подтверждения новости (а может быть, внезапного желания броситься в воду?), и опять обернулся к своим, словно просил помочь или удержать его. Жива? Как так жива? Вернулась? Откуда вернулась? Когда? Он не мог говорить, только знаками просил спустить канат, да, да, поскорей. Канат спустили, он крикнул: «Ну, держите!», крепко ухватился за него, подтянулся и ловко, как обезьяна, вскарбкался на буксир, откуда уже протягивали ему руки.

Команда тартаны разочарованно и сердито смотрела ему вслед. Потом, боясь упустить редкое зрелище, матросы стали кричать, чтобы подобрали канат и прицепили тартану к буксиру. Никто не обратил на них внимания; все шлюпки устремились за буксиром, на борту которого дядюшка Нино Мо растерянно слушал сбивчивый рассказ о воскресении своей первой жены. Три года тому назад она поехала в Тунис к умирающей матери, и все думали, что она погибла, как и все пассажиры, — корабль пошел ко дну, — а вот, оказывается, нет, не погибла, спаслась: сутки пробыла в воде, на доске; потом ее подобрал русский пароход; по пути в Америку она сошла с ума от страха и два года восемь месяцев сидела в сумасшедшем доме в Нью-Йорке; потом выздоровела, пошла в консульство и через три дня уехала сюда — через Геную.

Дядюшка Нино Мо под градом этих фраз, сыпавшихся на него со всех сторон, моргал косыми глазами; левое веко судорожно подергивалось, и все лицо искажалось, как от уколов булавкой.

С одной из шлюпок крикнули: «Две жены завел, вот молодец!» — и грубо захохотали. Он стряхнул оцепенение и обвел толпу презрительным, недобрым взглядом. Жалкие черви! Не раз видел он из бесконечной дали моря, как они исчезают на горизонте. Вот они, сбегались, ждут не дождутся! Толкаются, орут, как бесноватые. Интересно им поглядеть на человека, которого

встречают две жены. Да, им смешно, а ему-то какво! Ведь его жены — родные сестры. Как они любили друг друга! Старшая, Филиппа, заменила Розе родную мать и после свадьбы ее не оставила, взяла к себе в дом, как дочку. Так что Роза, с самой их свадьбы, жила в его доме. И вот, когда Филиппа пропала, он подумал: «Кто ж еще будет так заботиться о маленьком?» Вот он и женился на младшей сестре, все честь честью. А теперь? Теперь-то что делать? Филиппа приехала, а Роза теперь его жена и к тому же беременна на четвертом месяце. Да, тут есть над чем посмеяться! У одного мужа две жены, да еще сестры друг другу, да еще у обоих от него дети! Вон она, вон стоит на пристани. Вон она, Филиппа! Вон она! Живая! Машет ему рукой — видно, хочет ободрить. Другой рукой обнимает беднягу Розу; та плачет, дрожит, убивается, стыдно ей. А кругом хохочут, хлопают в ладоши, беретами размахивают — ждут.

Дядюшка Нино Мо затрясся от ярости. Хоть бы утонуть, тут же, на месте! Он подумал было заставить гребцов повернуть назад. Бежать надо, далеко, подальше, навсегда. Но тут же он понял, что не сможет противостоять этой враждебной силе и этим людям. Внезапно что-то оборвалось у него внутри, в ушах зашумело, в глазах стало темно. Потом он увидел, что голова его покоится на груди воскресшей жены. Она была выше его на голову — длинная, худая, лицо у нее было смуглое, суровое, она всем походила на мужчину — жестами, голосом и походкой.

Выпустив его из объятий, она на глазах у всех толкнула его к Розе, чтобы он и ее обнял. А та, бедняжка, не сводила с него светлых, прозрачных глаз, похожих на полные слез озера. Оглушенный криками, не помня себя от стыда и горя, он с трудом подавил рыдание, наклонился к трехлетнему ребенку, взял его на руки и в бешенстве зашагал по дороге, крича:

— Домой! Домой!

Обе женщины пошли следом, а за ними, по бокам, и даже впереди, двинулась толпа. Филиппа поддерживала за плечи Розу, вела ее, защищала; ей приходилось поминутно оборачиваться, огрызаться на шутки и насмешки. Время от времени она наклонялась к сестре и громко говорила ей:

— Ну, не реви! Тебе вредно! Вот, вот так, молодец! Чего тут плакать? Все в руках божьих. Все хорошо будет.

Ну, не реви, не реви, не реви ты! Все устроится. Бог не оставит.

Потом оборачивалась и кричала то тому, то другому:

— Ну что тут такого? Видите — не подрались, не поругались, все у нас тихо. Мы люди мирные.

Когда дошли до замка, пламя заката уже померкло, пурпурное небо посерело, и народ потихоньку стал расходиться. Многие зажгли фонари и свернули на широкую дорогу, в сторону города, но все-таки большая часть последовала за ними вдоль берега, мимо рыбацких хижин, в Балате, где жил дядюшка Нино. У дома все остановились — посмотреть, что же станут делать эти трое. Как будто можно было что-то решить вот так, на ходу.

Домик был низенький, без окон. И от этой толпы любопытных, сгрудившейся у дверей, в комнате стало еще темней и еще труднее дышать. Однако ни дядюшка Нино, ни беременная его жена не посмели ничего сказать — тень этой толпы омрачала их души, и они, или по крайней мере Роза, не видели способа избавиться от этой тяжести. Только тетка Филиппа обо всем позаботилась. Она зажгла лампу, поставила ее на стол, уже накрытый к ужину, и подошла к дверям.

— Опять устались! — крикнула она. — Чего стоите? Посмотрели, посмеялись — и ладно. Мы в своих делах сами разберемся. Шли бы лучше домой.

Тогда народ стал понемногу отходить от дверей, отпуская последние шуточки. Правда, многие все-таки притаились на берегу, в темноте, поглядеть, что будет.

Любопытство было особенно возбуждено потому, что все знали безупречную честность, крайнюю богобоязненность, примерное поведение дядюшки Нино Мо и обеих сестер.

Новое доказательство этих качеств не заставило себя ждать. Всю ночь входная дверь была открыта настежь. Печально темнел морской берег, изрезанный крохотными бухтами; маслянисто поблескивала плотная, темная вода; уныло торчали черные рифы, разъединенные приливом, липкие, поросшие водорослями, иногда одинокая волна перекатывалась через них и сразу же катилась обратно, низвергаясь маленьким водопадом. И всю ночь из дверей хижины струился желтый свет лампы. Всякий, кто проходил мимо открытой двери, мог видеть, что сперва все четверо ужинали; потом обе женщины стояли

на коленях, а дядюшка Нино сидел у стола, подперев рукой щеку, и все молились; потом ребенок лежал, скорчившись, на супружеском ложе, вторая жена, беременная, примостилась на полу, склонив голову на тюфяк, а те двое, дядюшка Нино и тетка Филиппа, тихо беседовали за столом, друг против друга; потом они присели на пороге и все говорили, тихо-тихо, в темноте, при слабом свете звезд, под медленный плеск воды.

Наутро дядюшка Нино и тетка Филиппа, никому не сказавшись, отправились искать жилище. Они сняли лачужку на самом краю селения, по дороге на кладбище, в горах; перевезли туда кровать, столик, два стула, а к вечеру и саму Розу, вторую жену, беременную. Роза заперла двери, а они молча вернулись домой, в Балате.

Вся округа жалела Розу. Нехорошо они сделали! Вышвырнули женщину из дому! Одну, в таком положении. Подумать только, в таком положении! И как у них духу хватило? Разве она в чем провинилась? Конечно, закон так велит... только какой закон? Турецкий это закон! Нет, нет уж, бог свидетель, не по совести они поступили! Не по совести!

Многие тут же отправились поговорить с дядюшкой Нино. Он ходил по пристани, наблюдал за погрузкой (тартана готовилась к плаванию) и был еще мрачнее, чем всегда.

Он не остановился, даже не обернулся — только надвинул свой берет на самые глаза (один глаз открыт, другой закрыт) и, не выпуская изо рта трубки, резко пресек все требования и обвинения:

— Не ваше дело!

Сухо обошелся он и с теми, кого называл «начальством» — с маклерами, торговцами, лавочниками. Правда, с ними он все-таки был чуть помягче:

— Всяк по-своему живет, синьор,— говорил он.— Это дела семейные. В таких делах один Бог судья.

Через два дня он ушел в плавание; но даже своей команде не сказал ничего.

Пока его не было, сестры жили вместе, в старом доме. Жили они дружно, мирно, вместе возились по хозяйству и смотрели за мальчиком. А на расспросы соседней разводили руками, поднимали глаза к небу и печально улыбались:

— Как Бог велит, кума.

— Как Бог велит, куманек.

Вместе отправились они на пристань встречать тартану. Малыш шел посередине. На этот раз любопытных было немного. Сойдя на берег, дядюшка Нино поздоровался с обеими сестрами, молча поцеловал сына, взял его на руки и пошел к дому; жены отправились следом. Но теперь в дом вошла Роза, вторая, беременная. А Филиппа с мальчиком тихо ушли в домик, что по дороге на кладбище.

И тут вся округа поняла, что Розу жалеть нечего — никто ее не обижал. Все пришли в ярость. Возмущала разумная простота этого решения. Правда, сперва открытие ошеломило всех, потом — рассмешило. Но, посмеявшись, все возмутились. В глубине души никто не мог отрицать, что лучше не придумает — ведь ни одна не обманывала, ни одна не виновата, обе законные его жены перед богом и перед людьми. Особенно раздражало полное спокойствие, согласие, глубокое смирение набожных сестер. Они не ревнуют, не завидуют. Понятно, Розе ревновать нечего; она сестре всем обязана, и потом, как ни говори, она все-таки завладела чужим мужем. Вот Филиппа — другое дело. Хотя и Филиппе обижаться не на что, Роза ее не обманывала и ни в чем перед ней не провинилась. Так как же тогда? Значит, обе они соблюдали святость брака, обе верны своему долгу по отношению к хозяину, кормильцу. Кстати, сам он домой почти не заходил, на суше бывал дня два-три в месяц.

Да, тут ничего не скажешь. Все честь по чести... А все-таки — хоть и честно, хоть и мирно они порешили — что-то тут не так.

И как только дядюшка Нино вернулся во второй раз, мировой судья вызвал его к себе, чтобы сообщить ему со всей строгостью, что двоеженство преследуется законом.

Прежде чем идти к судье, дядюшка Нино посоветовался с адвокатом и потому выслушал наставления с обычной своей невозмутимостью. Потом он возразил, что в данном случае о двоеженстве говорить нельзя, поскольку в бумагах сказано, что первая жена умерла, и по закону у него только одна жена, Роза. «А превыше закона человеческого, — заключил он, — есть закон божеский, и я из него не выходил».

Были у него неполадки и в мэрии, куда каждые пять месяцев он аккуратно являлся регистрировать рождение ребенка. «Это — от мертвой». «Это — от живой».

Когда он пришел в первый раз — зарегистрировать

ребенка от Розы, все сошло хорошо. Филиппа недавно приехала и по закону числилась мертвой. Но как быть со вторым, через пять месяцев, от Филиппы? Она ведь мертвая. Так что или тот незаконный, или этот.

Дядюшка Нино Мо почесал затылок, сдвинул берет на самый нос и сказал чиновнику:

— А... прошу прощенья, нельзя будет его записать как будто от второй?

Чиновник удивленно уставился на него:

— Как так от второй? Да ведь пять месяцев только прошло...

— Это верно, это верно,— согласился дядюшка Нино, скребя в затылке.— Как же тут быть?

— Как тут быть? — вскипел чиновник.— Это вы меня спрашиваете, как быть? А вы кто такой будете? Султан? Паша? Может быть — бей? Кто вы такой, интересно знать? Надо было раньше думать, черт вас дери, а не морочить мне голову! Сами хороши!

Дядюшка Нино Мо отшатнулся от него и ткнул себя пальцем в грудь:

— Я? — закричал он.— А что же мне делать, если на то воля божья?

Тут чиновник рассвирепел:

— Бог! Бог! Бог! Все Бог да Бог! Умер кто — Бог взял! Не умер — Бог помиловал! Ребенок родился — Бог послал! Две жены завел — тоже Бог! Да хватит вам все на Бога валить! Черт вас дери, приходите хотя бы раз в девять месяцев. Я вам всех запишу, все будут законные!

Дядюшка Нино Мо выслушал его спокойно. Потом сказал:

— Это уж от меня не зависит. Вы делайте, как вам будет угодно. Я свой долг выполнил. Честь имею.

И каждые пять месяцев он выполнял свой долг, твердо веря, что такова воля божья.

СОЛОМЕННОЕ ЧУЧЕЛО

Кроме отца, который умер в пятьдесят лет от воспаления легких, все остальные члены их семьи: мать, братья, сестры, дядья и тетки по материнской линии — один за другим умерли от чахотки, не дожив до среднего возраста.

Впечатляющая вереница гробов.

Держались только двое: Марко и Аннибале Пикотти — они как будто решили дать бой болезни, грозившей оборвать сразу две генеалогические линии.

Братья заботливо оберегали друг друга, всегда были начеку и во всеоружии, не только скрупулезно и неукоснительно выполняли предписания врачей в отношении количества и качества принимаемой пищи, не только добросовестно глотали пилюли и пили микстуры, но также одевались соответственно времени года и погоде, ложились спать и вставали в строго определенный час, совершали ежедневные прогулки и ко всем дозволенным врачами развлечениям относились как к лечебным процедурам.

Ведя такую жизнь, они надеялись в добром здравии достичь возраста, который был предельным для всех их родичей, за исключением отца, умершего от другой болезни.

Когда братья — сначала Марко, затем Аннибале — достигли этого возраста, они сочли, что одержали большую победу.

Да только Аннибале, младший брат, благодаря этой победе осмелел настолько, что стал чуточку отпускать поводья, которые до той поры держал натянутыми, стал мало-помалу выходить за рамки жестких правил.

Марко, будучи на два или три года старше, пытался использовать свой авторитет и призвать брата к порядку. Но Аннибале не внял его уговорам, полагая, что теперь, дескать, можно уж не так опасаться смерти, раз она не скосила его в том возрасте, в каком настигала его родных.

Братья были, в общем, одинаковой комплекции — коренастые, хорошо сложенные, с раскосыми глазами, невысоким лбом и пышными усами, но все же он, Аннибале, хотя и младший, был покрепче брата: он мог похвастаться и небольшим брюшком, и более выпуклой грудью, и в плечах был пошире. Стало быть, если Марко, хоть он и послабее, живет и здравствует, то уж Аннибале за счет своего преимущества перед братом может без опаски позволить себе кое-какие нарушения режима.

Марко, выполнив свой долг, как того требовала его совесть, оставил свои укоры и увещания, с тем чтобы, не подвергая себя никакому риску, посмотреть, как действуют на здоровье брата те излишества, которые тот

себе позволяет. Ведь если Аннибале со временем не будет наказан за такое поведение, то и сам он... Как знать! Может, и ему дозволено дать себе послабление, отчего не попробовать?

О нет, нет. Это уж слишком: в один прекрасный день Аннибале сказал ему, что влюблен и хочет жениться. Глупец! Жениться, когда над тобой висит угроза смерти? Да это все равно что броситься прямо в ее объятия! Зачем еще жена? А кроме того, разве не преступление производить на свет других обреченных? И что за несчастная пошла на такой союз? Для нее это двойное преступление, вот именно — двойное!

Аннибале приуныл. Прежде всего заявил брату, что ни в коем случае не позволит ему говорить в таких выражениях о девушке, которая скоро станет его женой; а в остальном — если ему надо сохранить жизнь за счет отказа от нее, то ему такую жизнь не страшно и потерять: чуть раньше, чуть позже — какая разница? Он сыт по горло, с него хватит.

Марко выслушал брата, испытывая к нему снисходительную жалость, и в ответ лишь покачал головой.

Дурачок! Жить... не жить... Разве в этом дело? Главное — не умереть! И не из страха перед смертью, а из-за того, что она являет собой ужасающую несправедливость, против которой восстает все его существо, и своим яростным, упорным сопротивлением он отомстит ей не только за себя, но и за всех погибших родственников.

Довольно. Хватит. Не надо волноваться. Жаль, что он погорячился и потерял самообладание. Больше это не повторится. Нет!

Брат хочет жениться? Ради бога! На здоровье, сделай одолжение!.. Он один будет противостоять смерти, не попадаясь в ловушки, которые расставляет жизнь.

Но во всем должна быть ясность. Вместе жить нельзя: недоразумения, осложнения — все это ни к чему. Хочешь жениться — уходи из дома. Старший брат — глава семьи, дом по праву принадлежит ему. Остальное можно поделить поровну. В том числе и мебель. Пусть Аннибале забирает, что ему понравится, только без суеты и не всё вдруг, чтобы пыль не поднимать, потому что он, Марко, свое здоровье хочет сохранить.

Этот платяной шкаф? Хорошо, и этот комод тоже, и трюмо, и кресла, и умывальник... да, да... Портьеры? Ладно, пусть и портьеры... и большой обеденный стол,

будет куда сажать краснощеких карапузов, которые нарождаются, и горку со всей посудой... Пусть Аннибале только оставит все, что в комнате Марко: старинный диван с креслами.— он к ним привык,— два книжных шкафа со старыми книгами да письменный стол — их он оставляет себе.

— И это тоже? — улыбаясь, спросил Аннибале.

Между шкафами, на специальном насесте, какие устраивают для попугаев, стояло чучело большой птицы, такое старое, что по выцветшим перьям уже невозможно было определить, что это за птица.

— И это тоже,— ответил Марко.— Все, что здесь находится. Чучело птицы... Семейная реликвия. Пусть висит!

Он не стал говорить брату, что это чучело, не поддававшееся годам, служило ему вдохновляющим примером всякий раз, как он обращал на него взор: оно так хорошо сохранилось.

Когда Аннибале женился, он даже не пошел на свадьбу. Один-единственный раз (дань приличиям!) зашел в дом невестки и не вымолвил ни одного слова поздравления или хотя бы теплого привета. Пять минут холодной учтивости. Не зайдет он к брату, разумеется, и по возвращении молодоженов из свадебного путешествия, не зайдет вообще никогда. При одной лишь мысли об этом браке он ощущал дурноту и дрожь в коленях.

— Какое несчастье, какое безумие! — повторял он, прохаживаясь взад-вперед по комнате, закупоренной от всех сквозняков и провонявшей лекарствами, глядя в пустоту и ощупывая нервными пальцами оставшуюся мебель.— Какое несчастье, какое безумие!

На старых обоях выделялись места, где стояла вывезенная мебель; эти следы усиливали впечатление утраты, нехватки, пустоты.

— Какое несчастье! Какое безумие! — повторял он снова и снова.

Им так хорошо было, когда оба заботились друг о друге, друг за другом ухаживали, делились мыслями.

А что теперь?

Теперь он один в старом доме, будто неприкаянная душа.

Нет! Прочь эти мысли! Нечего падать духом, размышляя об этом неблагодарном, об этом безумце! Обойдемся и без него.

И Марко принимался тихонько насвистывать какой-нибудь мотив или барабанить пальцами по оконному стеклу, глядя на остовы деревьев, оголенные осенью, и вдруг замечал мертвую муху, высушенную чахоткой и прилипшую к стеклу, по которому он барабанил...

После свадьбы брата прошел почти год.

В канун Рождества Марко услышал звуки волынки и бубна перед часовенкой, украшенной ветками,— хор девушек и подростков исполнял гимны, какие полагается петь в сочельник; громко трещала солома в двух кострах, зажженных у входа в часовенку. Марко, которого этот шум раздражал, приготовился было лечь спать — наступал установленный час отхода ко сну,— как вдруг подпрыгнул от сумасшедшего звона колокольчика у входной двери, словно потрясшего весь дом.

Это зашли брат и невестка. Аннибале и Лиллина.

Они ввалились, с трудом переводя дух, закутанные, озябшие, и принялись топтать ногами, чтобы согреться, и хохотать, хохотать... Как они смеялись! Праздничные, веселые, счастливые...

Ему показалось, что они пьяны.

О, они зашли на минутку поздравить его с Рождеством, они не хотят, чтобы из-за них его отход ко сну задержался хоть на минуту. И... а нельзя ли немножко открыть форточку хоть на минуту, проветрить комнату? Нельзя? Даже на минуту нельзя? О боже! Что это за страшилище, вон то чучело на насесте? А это что, весы? Чтоб взвешивать лекарства? Какая прелесть, ну просто прелесть!.. А донна Фанни, где же донна Фанни?

Все десять минут Лиллина не умолкала, порхая по комнате деверя от вещи к вещи.

Марко Пикотти был потрясен, словно в дом ворвался вихрь, возмутивший не только тишину его обжитой комнаты, но и покой его души.

— Однако... однако...— повторял он, сидя на постели, когда гости ушли, и при этом обеими руками тер себе лоб.— Однако...

Он не знал, что сказать.

Возможно ли? Он был так уверен, что брат через неделю после свадьбы свалится, рассыплется... Вышло наоборот: он здоров и бодр! А как весел! Он по-настоящему счастлив...

Стало быть... Может, и ему больше уже не нужны все эти трусливые меры предосторожности? Нельзя ли и ему сбросить с себя этот жуткий кошмар ожидания смерти и жить, жить, окунуться в жизнь с головой, как его брат?

Тот, смеясь, поведал ему, что не принимает никаких лекарств и не соблюдает никакого режима. К черту! Ко всем чертям врачей и лекарства!

— А что, если и мне попробовать?

Приняв такое решение, Марко впервые отправился с визитом к брату.

Его встретили с таким ликованием, что он на какое-то время оторопел. Зажмурился и выставлял руки ладонями вперед, всякий раз как Лиллина порывалась броситься ему на шею. Что за милый чертенок, что за милый чертенок эта Лиллина! Так вся и кипит! Она — жизнь, сама жизнь! Невестка настояла на том, чтобы он остался обедать с ними. Сколько она заставила его съесть и выпить! Марко встал из-за стола пьяный не столько от вина, сколько от радости.

Однако, возвратившись от них вечером, он почувствовал недомогание. Сильная простуда и несварение желудка уложили его в постель больше чем на неделю.

Напрасно Аннибалё пытался доказать ему, что это случилось с ним потому, что он слишком много думал, а не отдался безрассудству с легким сердцем. Нет, нет. С него довольно. Довольно. И посмотрел на брата таким взглядом, что Аннибале вдруг... Нет, не может быть!

— Что? Что ты во мне разглядел? — спросил тот, бледнея, с улыбкой, застывшей на устах.

О, несчастный! Смерть... смерть... Она уже поставила на его лице свою метку, свое неизгладимое клеймо!

Марко увидел этот знак, когда брат вдруг побледнел: на скулах остались два розовых пятна! Вот чем кончилась радость — двумя яркими точками смертного огня, выступившими на скулах.

Аннибале Пикотти действительно умер примерно через три года после женитьбы.

Для Марко это был страшный удар.

Он, разумеется, предвидел такой исход, он прекрасно знал, что брата ожидает неминуемая смерть. Но все равно, какое это зловещее предупреждение ему, какое потрясение!

Марко не рискнул проводить брата на кладбище. Он слишком разволнуется, а кроме того, испытает чувство досады и даже ненависть, когда к нему станут подходить со словами соболезнования и при этом будут глядеть на его лицо, отыскивая приметы той болезни, от которой умерли все его родные, в том числе и этот — последний.

Нет, он обязан не умирать! Он один из всего рода должен победить смерть. Ему уже сорок пять. Надо продержаться до шестидесяти. А тогда пускай смерть берет свое, но другая, не та, которая постигла всех его родственников. Ему уже будет все равно.

И он удвоил заботы о своем здоровье. Но в то же время опасался, как бы постоянная настороженность и тревога не повредили ему. И тогда он дошел до того, что стал притворяться перед самим собой, будто о смерти вовсе и не думает. Время от времени у него произвольно, без какого бы то ни было раздумья, стали вырываться слова вроде «жарко» или «хорошая погода»; он произносил их совсем не для того, чтобы проверить, не хрипит ли его голос.

Он ходил взад-вперед по комнатам старого дома, тряся кисточкой на бархатной ермолке и насвистывая какой-нибудь мотив.

Миниатюрная донна Фанни, домоправительница, еще не считала себя старухой и за несколько лет службы у Марко ухитрилась сохранить убеждение, что хозяин имеет на нее виды, но не решается признаться в этом из робости. Видя, как он бродит по дому, она подходила, ласково улыбалась и спрашивала:

— Вам что-нибудь нужно, синьорино?

Марко Пикотти глядел на нее сверху вниз и сухо отвечал:

— Мне ничего не нужно. Высморкайте нос!

Донна Фанни кокетливо изгибала стан и говорила:

— Понимаю, понимаю... Вы меня ругаете, потому что любите.

— Никого я не люблю! — кричал он ей тогда, тараща глаза. — Я прошу вас высморкать нос, потому что вы нюхаете табак, а когда человек нюхает табак, он не замечает, что у него под носом капля!

Повернувшись к ней спиной, он снова принимался свистеть, трясая кисточкой и шагать взад-вперед.

Однажды вдове его брата пришла в голову нелепая мысль навестить его.

— Нет, ради бога, нет! — вскричал он, закрывая лицо руками, чтобы не видеть, как женщина в трауре плачет. — Уходите, прошу вас, уходите! И никогда больше не навещайте меня! Вы хотите, чтобы я умер? Заклинаю вас, уходите, сейчас же уходите! Я не могу, не могу вас видеть!

Ее приход он воспринял как покушение на его здоровье. Она думала, он не вспоминает брата, что ли? Вспоминает, как же, вспоминает... Но притворяется, что не вспоминает, так как это ему вредно.

Весь день ему было не по себе. А ночью он вдруг проснулся и зарыдал. Поутру же притворился, что ничего не помнит. Утром он был вновь весел и бодр, как дрозд, и время от времени приговаривал:

— Жарко... Хорошая погода...

Когда его усы, долго сохранявшие черный цвет, начали седеть, равно как и виски, Марко не только не опечалился этому, но даже обрадовался, именно обрадовался. Поскольку все его родные умерли молодыми, чахотка для него ассоциировалась с цветущей молодостью. Чем больше удалялся он от своего расцвета лет, тем в большей безопасности себя считал. Он хотел, он должен был состариться. Вместе с молодостью он ненавидел и все, что с ней связано: любовь, весну. Особенно весну. Ведь весна — самое опасное время года для больных чахоткой. С глухой злобой глядел он, как набухают и лопаются почки на деревьях в саду.

Весной он из дома не выходил.

После обеда оставался за столом и развлекался, выстукивая вилкой на стаканах какой-нибудь мотив. Если на этот звон прилетала, как бабочка на огонь, донна Фанни, он немилосердно гнал ее прочь.

Бедная донна Фанни! Ее жестокий хозяин действительно не питал к ней никаких добрых чувств. Она убедилась в этом, когда серьезно заболела: он отправил ее умирать в больницу. Марко Пикотти был огорчен этим событием лишь оттого, что вынужден был искать новую домоправительницу. И сколько их пришлось ему сменить за три-четыре года! В конце концов, из-за того что ни одна из них не могла ему потрафить, да и сами они долго не выдерживали, он решил обходиться без прислуги.

Так он дожил до шестидесяти лет.

И тогда напряжение, в котором он держал себя долгие годы, сразу спало.

Марко Пикотти считал себя удовлетворенным. Он достиг-таки цели своей жизни.

Что же теперь?

А теперь он мог и умереть. Ну да, умереть, умереть, ничего другого ему не надо: он устал, ему все осточертело, ему тошно! Что теперь для него жизнь? Свою задачу он выполнил, цели достиг, вот и остались ему в жизни лишь усталость, скука, тоска.

Стал он жить без всяких правил: вставать раньше положенного часа, выходить по вечерам, посещать значные места, есть любые блюда. Немного испортил желудок, изрядно похудел, его все больше раздражали знакомые, которые при встрече с ним, как прежде, выражали радость по поводу того, что видят его в добром здравии.

Его хандра и тоска стали настолько невыносимыми, что однажды он наконец понял: надо что-то сделать; он еще не знал точно, что именно, но, во всяком случае, необходимо было избавиться от того кошмара, который его мучил. Победил он или нет? Нет. Он чувствовал, что пока еще не победил.

Ему сказала об этом, ему окончательно доказало это чучело птицы, торчавшее на насесте между шкапами со старыми книгами.

— Солома... солома... — сказал себе Марко Пикотти в тот день, глядя на птицу.

Он сорвал ее с насеста, извлек из жилетного кармана перочинный нож и вспорол ей брюхо:

— Вот она — солома... солома...

Оглядел свою комнату, увидел диван и старинные кресла из искусственной кожи и тем же ножом принялся вспарывать обивку, вытаскивая пригоршнями волос и продолжая твердить в отчаянии и с отвращением:

— Вот... солома... солома... солома...

Что он хотел этим сказать? А вот что: он сел за письменный стол, вытащил из ящика револьвер и приставил его к виску. Только и всего. Лишь теперь он победил по-настоящему.

Когда по городку разнеслась весть о самоубийстве Марко Пикотти, поначалу никто не хотел этому верить, настолько это противоречило тому несгибаемому, яростному упорству, с которым он до старости берег свою

жизнь. А многие, кто побывал в его комнате и видел вспоротые кресла и диван, не находя объяснения этому обстоятельству, равно как и факту самоубийства, полагали, что тут было совершено преступление и все это дело рук грабителя или даже шайки преступников. К этой мысли пришли, прежде всего, судебные власти, которые тотчас приступили к допросам и расследованию.

Среди вещественных доказательств почетное место заняло чучело птицы, набитое соломой, и, поскольку оно могло оказаться главным козырем следствия, был приглашен дотошный орнитолог, которого попросили определить, что же это за птица.

ПОЙ-ПСАЛОМ

— И вы приняли сан священника?

— Нет. Я дошел лишь до звания иподиакона, то есть псаломщика.

— Псаломщика? А что делает псаломщик?

— Поет псалмы; держит книгу перед дьяконом, когда тот читает Евангелие; подносит чашу со святой водою во время мессы, держит дискос¹, завернув его в полотно, во время литургии...

— А-а, так вы читали из Евангелия!

— Нет, синьор. Евангелие читает дьякон. А псаломщик поет псалмы.

— И вы пели псалмы?

— А как же? Коли ты псаломщик — пой псалом.

— Пой псалом?

— Пой псалом.

Что в этом было смешного?

Старый доктор Фанти задавал эти вопросы Томмазино Унцио, только что покинувшему семинарию из-за утраты веры, в кругу местных бездельников, расположившихся за столиком перед аптекой на просторной площади, где ветер шуршал опавшими листьями, которые то загорались осенними красками в лучах солнца, то блекли в тени набегающих облаков. Получив ответ, доктор соорудил такую гримасу, что присутствующие с трудом сдержали смех — кто закусил губу, а кто прикрыл рот ладонью.

¹ Металлический кружок, которым закрывается чаша со святой водой.
© Перевод В. Федорова.

Но как только Томмазино ушел, сопровождаемый хороводом опавших листьев, грянул дружный хохот:

— Значит, пой псалом?

— Пой псалом!

Так случилось, что Томмазино Унцио, псаломщик-расстрига, оставивший семинарию из-за того, что утратил веру, получил прозвище Пой-Псалом.

Веру можно потерять по тысяче причин, и обычно тот, с кем это случается, убежден, хотя бы поначалу, что он приобрел нечто взамен, ну хотя бы свободу делать то, чего раньше не позволяла вера.

Однако же, когда утрата веры вызвана не буйством мирских вожделений, а душевной жаждой, которую уже не утоляет святая вода из чаши, вот тогда утративший веру едва ли сочтет, что одновременно сделал какое-то приобретение. Но тем не менее такой человек плакаться не станет, поскольку он убежден, что потерял нечто уже не имеющее для него никакой ценности.

Томмазино Унцио с верой утратил все, включая состояние, которое мог бы получить от отца по завещанию покойного дяди — священника, если бы не отказался от духовной карьеры. Отец, разумеется, попробовал урезонить сына с помощью оплеух и пинков, держал его несколько дней на хлебе и воде, бросал в лицо сыну всяческие оскорбления и при этом в выражениях не стеснялся. Томмазино все стерпел геройски — он уповал на то, что отец в конце концов убедится в невозможности возродить подобными средствами веру сына и вернуть его в лоно церкви.

Беднягу Томмазино удручало не столько само произведенное над ним насилие, сколько его низменный характер, полностью противоположный высоким принципам, побудившим молодого человека сбросить с плеч сутану.

С другой стороны, он понимал, что его щеки, бока и желудок как объекты экзекуции дали его отцу возможность отвести душу, смирить боль, которую остро ощущал и сам виновник: ведь жизнь его окончательно разрушилась, превратилась в бесформенную грудку обломков, укрытую в четырех стенах их дома.

Вместе с тем молодому человеку хотелось как-то доказать окружающим, что он нарушил обет не из желания «пугнуться во все тяжкие», как не уставал твердить его

отец всякому встречному и поперечному. Он ушел в себя, заперся в своей комнате и выходил из дома лишь для того, чтобы пройтись либо вверх, через каштановые рощи, до равнины Пиан-делла-Бритта, либо вниз, по дороге через поля, в долину, до заброшенной церквушки Санта-Мария ди Лорето. Шел он, всегда погружившись в размышления, и ни на кого не поднимал глаз.

Правда, бывает и так, что дух человека охвачен тяжким страданием или одержим честолюбивыми мечтами, а тело предоставляет дух его заботам, а само незаметно от него начинает мало-помалу жить своей жизнью: наслаждаться свежим воздухом и здоровой пищей.

Так случилось и с Томмаино: в то время как дух его все глубже погружался в меланхолию и истощал себя безнадежной грустью, тело, будто назло, довольно быстро округлилось и приняло цветущий вид, как у аббата.

Какой уж тут Томмаино! Он теперь Томмазоне Пой-Псалом... Взглянув на него, всякий согласится с отцом. Но ведь все жители их маленького городка знают, какую жизнь ведет бедный юноша: ни одна женщина не скажет, что он на нее посмотрел хотя бы мельком.

Жить, не сознавая, что живешь, как камень, как растение; забыть даже собственное имя; жить ради жизни, не задумываясь, как живут звери и птицы, без волнений, без желаний, без воспоминаний и раздумий — без всего, что придает жизни смысл и значение. Вот хотя бы так: растянуться на траве и, заложив руки за голову, смотреть, как плывут в синем небе ослепительно белые облака, пронизанные солнцем; слушать ветер, который, как морской прибой, шумит в вершинах каштанов, и под шум ветра и листвы, сознавать тщету всех устремлений, тоскливую унылость человеческого существования.

Облака и ветер.

Да, но увидеть и назвать облаком то, что, сияя, проплывает в бездонной синеве,— это уже все. Разве облако знает о том, что оно облако? И знают ли это деревья и камни, которые и себя-то не признают?

А вот ты — ты видишь облако и называешь его облаком, да еще, чего доброго, и задумаешься (почему бы и нет?) о круговороте воды в природе: она превращается в облако, чтобы потом снова стать водой. Объяснить эти превращения может самый захудалый учительшка физики, но кто объяснит причину причин?

Наверху, в каштановой роще,— стук топора; внизу, в копях,— стук кирки.

Калечат гору, валят деревья, чтобы строить дома. Новые дома в этом городишке среди гор. Сколько усилий, стараний, забот и трудов, и все для чего? Для того чтобы вывести вверх печную трубу и пустить из нее дым, который тотчас рассеется в бесконечности пространства.

Наши мысли и воспоминания — тот же дым...

И все-таки, созерцая величественную картину природы, пышную зелень дубовых, оливковых и каштановых рощ, спускавшихся уступами от отрогов хребта Чимино до самого Тибра, Томмазино чувствовал, как его отчаяние постепенно переходит в тихую бесконечную грусть.

Все иллюзии и разочарования, все горе и вся радость, все надежды и чаяния людей казались ему пустыми и проходящими, когда он созерцал предметы и вещи, которые бесстрастны, но долговечны: мысли и чувства исчезают, вещи — остаются. Дела человеческие на фоне вечной природы представлялись ему облачками, сменяющими друг друга в быстром круговороте. Достаточно взглянуть хотя бы на громады гор по ту сторону долины Тибра, которые тянутся к горизонту и там сходят на нет, исчезают в розовой дымке.

О эти человеческие дерзания! Сколько восторженных кликов из-за того, что человек стал летать подобно птице! Но ведь как летит птица? Полет ее — сама легкость и свобода, он так же безыскусен, как радостная птичья трель. Теперь представьте себе неуклюжий ревуший самолет, представьте также беспокойство, боязнь, смертельный страх человека, который захотел летать как птица! Там — трель и шорох крыл, здесь — грохот и бензиновая вонь и угроза смерти. Мотор сломается, заглухнет и — прощай птица!

— Человек,— взывал Томмазино Унцио, лежа на траве,— перестань летать. Зачем тебе летать? Разве ты когда-нибудь летал?

И вдруг по городку вихрем пролетела новость, всех ошеломившая: лейтенант де Венера, начальник гарнизона, публично дал пощечину Томмазино Унцио и вызвал его на дуэль, из-за того что тот отказался дать объяснения по поводу своего поступка, которого он не отрицал: накануне он обозвал дурой синьорину Ольгу Фанелли,

невесту лейтенанта, встретив ее на дороге у заброшенной церкви Санта-Мария ди Лорето.

Новость вызвала изумление, а у некоторых и смех, она казалась настолько невероятной, что расспросам и переспросам не было конца.

— Томмазино? Вызван на дуэль? Назвал душой синьорину Фанелли? И не отперся? Отказался дать объяснения? И принял вызов?

— Ну да, черт возьми, получил пощечину!

— И они будут драться?

— Завтра, на пистолетах.

— На пистолетах с лейтенантом де Венерой?

— На пистолетах.

Значит, причина была самая серьезная. Все полагали, что тут, вне всякого сомнения, речь шла о бурной страсти, долго скрываемой и прорвавшейся наружу только теперь. Скорей всего, он бросил ей в лицо «Дура!», так как она полюбила не его, а лейтенанта де Венеру. Ясное дело! Все жители городка и в самом деле считали, что только дура может полюбить этого идиота де Венеру. Но сам де Венера, конечно, не разделял общего мнения, а потому потребовал объяснений.

Меж тем синьорина Ольга Фанелли клялась и божи-лась со слезами на глазах, что такой причины прискорбного поступка Томмазино быть не могло: она видела этого молодого человека всего два или три раза, причем он даже не поднимал на нее глаз и не выказал никакого, хотя бы малейшего признака того, что питает к ней эту самую тайную дикую страсть, о которой все толкуют. Нет-нет! Только не это! Тут должна быть какая-то другая причина. Но какая же? Ведь ни с того ни с сего никто не обзовет девушку душой.

Если всем, особенно родителям юноши, секундантам, лейтенанту и Ольге во что бы то ни стало хотелось узнать истинную причину странного поступка, то самому Томмазино горше всех было оттого, что он не мог ее открыть, так как был уверен, что, если и откроет, все равно никто ему не поверит, а только все подумают, будто он хочет к оскорблению добавить еще и скрытую издевку.

И действительно, кто поверит, что он, Томмазино Унцио, погружаясь все глубже в свою философическую меланхолию, за последние несколько недель оказался охваченным острой и нежной жалостью ко всему, что рождается на свет и живет какое-то время без цели

и смысла, пока на наступят увядание и смерть. И чем непостоянней, слабей и неуловимей та или иная форма жизни, тем больше она трогала Томмазино, порой до слез. Как по-разному рождаются существа, каждое — один-единственный раз, в данной единственной форме (ибо двух одинаковых форм не бывает), для такой короткой жизни, иногда всего на один день, и занимает такое ничтожное пространство, а вокруг — неосознаваемый огромный мир, зияющая пустота непостижимой тайны существования! Рождаются и муравей, и мошка, и травинка... Муравей — и мир! Вселенная — и мошка или травинка... Травинка рождается, растет, цветет, вянет — и навсегда исчезает; ее, этой травинки, больше не будет никогда. Никогда!

И вот уже около месяца Томмазино день за днем наблюдал за одной травинкой, которая росла меж двух камней, поросших мохом, на задворках заброшенной церкви Санта-Мария ди Лорето.

Он чуть ли не с материнской нежностью следил, как эта былинка понемногу перерастала окружающую траву, как она робко и нерешительно высовывалась из расщелины между замшелыми камнями, словно ее мучили и страх, и любопытство, словно ей хотелось полюбоваться пейзажем — бесконечной зеленой равниной, простиравшейся внизу; он наблюдал, как потом она тянулась все выше и выше, держалась все более смело и даже дерзко — красноватая метелочка на конце ее торчала точно петушиный гребень.

Каждый день он созерцал ее по часу или даже по два, жил ее жизнью, качаясь при малейшем дуновении ветерка; в панике прибегал к ней, когда поднимался сильный ветер или когда ему казалось, что его опередит небольшое стадо коз, которое каждый день поутру проходило мимо церкви и иногда задерживалось, чтобы пощипать травку меж камней. Когда Томмазино убеждался, что ветер и козы пощадили его травинку и метелочка ее торчит по-прежнему задорно, его радости не было границ. Он ласкал травинку, нежно поглаживал пальцами, затаив дыхание; уходя с наступлением темноты, препоручал ее первым звездам, загоравшимся на темном небосводе, с тем чтобы они охраняли ее всю ночь. И даже находясь вдали от своей травинки, он мысленным взором видел ее меж камнями, под черным небом, на котором мерцают звезды-хранительницы.

Так вот, в тот день, придя в обычный час пожить

одной жизнью с травинкой, Томмазино увидел, что за церковью на одном из тех самых двух камней сидит синьорина Ольга Фанелли — видимо, присела отдохнуть.

Он остановился, не решаясь подойти и полагая, что она уже отдохнула и вот-вот уйдет. Девушка и в самом деле скоро встала (возможно, ее смутило присутствие мужчины), огляделась, потом рассеянным жестом протянула руку, сорвала ту самую травинку и взяла ее в зубы за середину, так что метелочка закачалась у ее щеки.

Бедняга Томмазино Унцио ощутил такую боль, будто ему вырвали сердце, и, когда девушка, держа травинку в зубах, поравнялась с ним, какая-то неодолимая сила заставила его крикнуть ей в лицо: «Дура!»

Как же он мог теперь признаться, что так грубо оскорбил девушку из-за какой-то травинки?

Лейтенанту де Венере пришлось дать ему пощечину.

Томмазино устал от своего бесцельного житья, устал носить эту гору плоти — свое тело, устал терпеть насмешки, которые стали бы еще злей, если бы он отказался от дуэли. И он принял вызов, потребовав при этом, чтобы условия дуэли были самыми жесткими. Он знал, что лейтенант де Венера — превосходный стрелок. В этом можно было убедиться каждое утро, посетив занятия на стрельбище. И все же Томмазино пожелал стреляться с лейтенантом на рассвете следующего дня, избрав местом поединка уголок того же самого стрельбища.

Он получил пулю в грудь. Сначала рана казалась не очень серьезной, потом раненому стало хуже. Пуля пробила легкое. Поднялась температура, начался бред. Четверо суток врачи отчаянно боролись за жизнь молодого человека.

Когда они объявили, что сделать ничего нельзя, синьора Унцио, женщина весьма набожная, стала умолять сына вернуться пред лицом смерти к святой вере. Томмазино ради матери согласился принять исповедника.

Тот спросил у умирающего:

— Но из-за чего, сын мой! Из-за чего?

Томмазино, приоткрыв глаза, вздохнул, слабо улыбнулся и тихим голосом ответил:

— Из-за простой травинки, падре...

Все решили, что он продолжает бредить.

СЧАСТЬЕ

Старая герцогиня в растерянности вышла из кабинета своего супруга, который он почти не покидал с того самого дня, как невестка с двумя внучатами решила навсегда оставить дворец и вернуться к своим родителям в Никозию.

Что-то словно оборвалось у нее внутри, лицо сморщилось, да и вся она как-то съежилась при жалобном скрипе дверей, которые она хотела бесшумно притворить. Что означал этот скрип? Ровно ничего. Быть может, герцог даже не обратил на него внимания. И все-таки старую герцогиню душила глухая досада, словно эта дверь, с которой она обошлась так осторожно, хотела причинить ей жестокую обиду.

Как люди, так и вещи в этом доме, хранившие только семейных воспоминаний, казалось, пришли с некоторых пор в мучительное напряжение: стоило только коснуться их, как они издавали нечто похожее на стон.

Вид у герцогини был убитый, шея согнулась, как под ярмом. Несколько секунд она прислушивалась, потом быстро проследовала через анфиладу мрачных комнат, устланных мягкими коврами, увешанных старинными портьерами, уставленных темной, почти траурной мебелью, где стояла странная удушливая жара; наконец герцогиня остановилась на пороге последней комнаты, где в трепетном волнении ее ожидала дочь Элизабетта.

Взглянув на грустное лицо матери, Элизабетта почувствовала, что теряет сознание. Истомленная ожиданием, она хотела было броситься навстречу, но силы внезапно оставили ее; она так ослабела, что не смогла даже поднять свои хрупкие руки и закрыть лицо.

Старая герцогиня приблизилась к дочери и легонько опустила руку ей на плечо.

— Дочь моя,— сказала она,— он согласен...

Дочь вздрогнула и взволнованно взглянула на мать. Радость, охватившая ее при этих словах, так резко сменила ощущение давящей тяжести, которое вселил в нее скорбный вид матери, что бедняжка, заломив руки, залилась слезами и истерическим смехом.

— Неужели согласен?

— Да,— подтвердила мать скорее жестом, чем голосом.

- Он кричал? Топал ногами?
- Нет, нисколько.
- Значит?

Элизабетта сразу поняла: именно потому, что отец согласился без крика и гнева, мать испытала столь горестное недоумение. Она просила у герцога согласия на брак дочери с воспитателем двух детей невестки, той самой, что недавно уехала. Однако уступчивость отца, который не кричал и не сердился, имела для Элизабетты совсем иной смысл, нежели для матери. Иной, но не менее горький.

Быть может, потому, что Элизабетта была вторым ребенком в семье, потому что она некрасива, робка с виду, наделена кротким сердцем, молчалива и застенчива, отец не считал ее своей дочерью; скорее, он даже видел в ней лишь помеху, нечто такое, от чего всякий раз испытываешь досаду. И мысль о том, что Элизабетта выходит замуж за плебея, за какого-то ничтожного учителя, нисколько не коробила его; возможно, старый герцог считал, что она и недостойна другой партии.

Герцогиня отважилась заговорить с супругом о подобном деле, повинувшись одному лишь чувству материнской любви и с трудом поборов страх перед герцогом, чья спесь была ей хорошо известна: чем печальнее становились их денежные обстоятельства, тем сильнее он замыкался в своей непомерной гордости. Любое действие «черни» казалось ему очередным покушением на его аристократические привилегии, возбуждая яростный гнев. Герцог полагал, что если он изменяет теперь своим принципам, то лишь вследствие душевного разлада, который начался год назад, когда единственный сын, наследник его имени, бежал из дому с какой-то театральной девкой.

Дон Гаспаре Гризанти, герцог ди Розабиа, маркиз ди Коллеманьо, барон ди Фонтана и ди Джибелла, камергер Неаполитанского двора, до гробовой доски преданный низложенному правительству Обеих Сицилий, был удостоен великой чести переписываться с последними отпрысками павшей династии. Ежедневно в положенный час он отправлялся на прогулку по виа Макуэда в огромный, пустынный парк Фаворитки; суровый и мрачный, презрительно взирал он на мир с высоты своей старинной кареты, на запятках которой стояли два неподвижных, как статуи, ливрейных лакея в париках; третий сидел впереди, рядом с великаном кучером. Тем

не менее теперь он согласился на брак дочери с Фабрицио Пинджитерра, преподавателем гимнастики в начальной школе, бывшим наставником его внуков. Да, теперь... Раньше он еще надеялся поправить дела, женив молодого герцога на богатой наследнице, единственной дочери провинциального барона. Но сын, этот мерзавец, по уши увяз в своей грязной страстишке и вынужден был с позором бежать из родного дома. А невестка, глухая ко всем мольбам, добилась через суд «отделения от имени и ложа супруга»¹ и вернулась к своим родителям. Все было кончено. Герцог желал теперь только одного — любой ценой сохранить свою великолепную карету с тремя лакеями в париках, чтобы ежедневно показываться на людях, а также привратника с жезлом у входа во дворец, хотя вот уже месяц — с того дня, как ушла невестка, — решетчатые ворота перед парадным подъездом были наглухо заперты, и в них не пропускали никого.

— Разве ты не мертва? — сказал герцог жене. — Да и я тоже, — добавил он тотчас. — Они в грязи; а мы, живые мертвецы, продолжаем разыгрывать комедию...

Элизабетта овладела собой и со вздохом спросила у матери:

— Что он сказал?

Мать желала смягчить жестокость условий, которые выдвинул отец холодным и презрительным тоном, не допуская возражений; но дочь просила сказать всю правду, без утайки.

— Но... ты знаешь, что он уже давно не хочет никого видеть...

— Значит, он и *его* не хочет видеть? Дальше?

— Дальше... Парадный вход, как тебе известно, закрыт... с тех пор как твоя невестка...

— Значит, отец требует, чтобы он подымался по лестнице для прислуги. Дальше?

Мать колебалась. Она не знала, как сообщить дочери, что после замужества та не смеет больше приходить домой, даже одна.

— Чтобы... чтобы повидать тебя, — пролепетала мать, — когда... да, потом... когда ты выйдешь замуж, я буду каждый день сама приходить к тебе.

Элизабетта, обливаясь слезами, схватила руку матери и поцеловала ее, из груди девушки вырвался стон:

¹ Юридическая формула при расторжении брака в довоенной Италии.

— Бедная... бедная мама...

— Представляешь,— ответила мать,— он меня... чуть не рассмешил... Ты ведь знаешь, как он дрожит за свою карету... Что угодно, говорит, только не ее, только не ее...

И словно это был действительно повод для смеха, старая герцогиня рассмеялась, делая вид, будто этот произвольный смех помешал ей сказать дочери о другом условии, которое, впрочем, было не менее забавным.

— Он требует, чтобы я нанимала коляску... когда буду навещать тебя; он разрешает нам выезжать вместе на прогулку, но только не в карете... нет... только не в ней... не в ней...

— Ну, а насчет приданого он ничего не говорил? — спросила Элизабетта.

Чтобы выиграть время, мать притворилась, будто не расслышала этого вопроса, ответить на который ей было всего труднее.

— Насчет чего? — переспросила она.

— Насчет приданого, мама...

Вот оно, главное... Элизабетта вовсе не питала иллюзий. Ведь ей было ясно, что только ради приданого он на ней и женится. Она была старше своего жениха на целых семь лет и сознавала, что давно поблекла... хуже! — отцвела, еще не распутившись, в холодном мраке этого дома, среди множества мертвых вещей; в ней не было ничего, что могло бы зажечь в мужчине страсть. Без денег — только из одной чести породниться с герцогом Розабиа — разве он пойдет на такой брак? Он даже намекнул ей на это довольно прямо, предвидя, вероятно, что герцог никогда не снизойдет до того, чтоб относиться к нему как к зятю. Он имел наглость даже признаться, что он, Фабрицио Пинджитерра, исполненный (подобно молодому герцогу, чьей дружбой он пользовался) демократических и либеральных чувств, приносит, может быть, жертву, согласившись породниться со столь консервативно настроенным патрицием. Но только ради нее он идет на это, ради нее, такой кроткой и доброй — только ради нее... То есть, единственно ради денег, подумала Элизабетта, впрочем, без отвращения и ужаса.

Нет, нет: поистине без отвращения и ужаса! Право же, она всегда гордо и ревностно оберегала благородство и чистоту своих чувств и помыслов, дабы их не запятнало любое недостойное прикосновение; но сейчас опуститься

до него, признаться в своем падении, унизиться, отречься — все это не вызывало у Элизаветты ни гнева, ни ужаса, так как было неизбежно и необходимо для достижения цели. Она хотела жить, хотела быть матерью, хотела сына, который принадлежал бы ей, ей одной, и не могла достичь этого иным способом.

Эта страсть зародилась и окрепла в ней, когда она, словно мать, отдала всю свою душу, всю материнскую нежность, весь свой покой двум маленьким племянникам, уехавшим отсюда вместе с невесткой месяц назад, чьи глазки зажигали зарю и в этом мрачном доме и в собственной ее душе, возбуждали невыразимую нежность и радость, которые заставили ее переродиться.

О, какой огонь, какую пытку вынесла бы она ради этих родных малюток, только бы их нянчить, целовать, прижимать к себе, исполнять малейшие их желания, только бы их розовые ручки касались ее лица, груди...

Но почему бы ей не иметь собственного сына, который принадлежал бы ей, ей одной? С ума можно сойти от счастья! Она претерпела бы любое унижение, любой позор, любую муку из-за единственной радости иметь сына!

Разве могла она не обратить внимания на юного учителя, приглашенного для того, чтобы терзать азбукой двух крошек, которые, сидя на коленях у тетки, не желали покидать их ни на минуту?

Лишь бы он принял условия, поставленные герцогом. О, никакого приданого, к сожалению, — только двадцать лир в день да небольшая сумма на покупку мебели. Но чем тяжелее условия, тем дороже готова Элизабетта заплатить за свое счастье. Лишь бы он согласился!

В мучительной тревоге ждала она в этот вечер, что мать сама объявит ему условия. И вот теперь он там, у нее. Бедная, добрая мама, как ей тяжело сейчас!.. А самой Элизабетте? Заломив руки, зажмурив глаза, стиснув зубы, она рвалась к нему всей душой, полная немой мольбы: «Согласись, согласись! Ты даже не представляешь, на что я готова для тебя, только согласись». Потом она вслушивалась. «Если он не согласится, мама появится в дверях, как тень, с бессильно опущенными руками. Если же согласится, о, тогда они позовут ее... Боже, скорей, скорей бы!..»

В дверях, как тень, появилась старая герцогиня, и,

взглянув на нее, Элизабетта снова почувствовала, что теряет сознание. Но мать, как и утром, приблизилась к ней, опустила руку ей на плечо и сказала: он согласен; вот только условие пользоваться лестницей для прислуги привело его в ярость. Но, боже мой, если парадный вход закрыт для всех, даже для нее самой!.. Довольно! Он был слишком взбешен и, чтобы не раздражать ее зрелищем своего,— как он выразился? — ах, да,— недовольства! — удалился, заявив, что никогда, никогда больше ноги его не будет в этом доме. Они будут видаться теперь ежедневно только вне дома, подыскивать жилье и приобретать необходимые вещи. Он желает, чтобы все кончилось как можно скорее.

Подумать только! Вдруг, сразу! От радости у Элизабетты словно выросли крылья. Красивее, конечно, она не стала. Но сколько света засияло в ее глазах; какое нежное и грустное очарование одухотворило ее улыбку; какая робкая грация появилась в движениях,— и все для того, чтобы успокоить гнев этого человека, вознаградить его за унижение и выказать ему если не любовь, то полную покорность и признательность.

Домик был найден быстро, правда, довольно далеко, почти за городом, на виа Куба, пропитанной запахами померанца и жасмина. Приданое Элизабетты, богато разукрашенное кружевами, лентами, вышивкой, было уже давно готово; мебель простая, почти деревенская, была куплена и тут же водворена на место; и бракосочетание свершилось — без гостей и без родителей невесты, чуть ли не тайно, хотя и в соответствии с законами гражданскими и церковными.

Несмотря на то, что все произошло очень поспешно, словно в каком-то угаре, наверняка еще ни одна новобрачная не сознавала лучше Элизабетты всю серьезность и святость этого события. Не прошло и четырех месяцев, как она заставила мужа нежно привязаться к себе,— это было время, когда она нуждалась в нем; от всего ее обновленного существа исходило очарование, рожденное радостью. Потом она была ослеплена и опьянена появлением первых признаков материнства и уже не замечала более ничего — все остальное утратило для нее свое значение. Уходил ли муж из дома и долго не возвращался; не возвращался ли он вовсе; не оказывал ли он ей должного внимания и плохо с ней обращался; таскал ли он из дома деньги, те жалкие несколько лир, что мать

ежедневно приносила Элизабетте, и проматывал их, кто знает где и с кем,— она не возмущалась и ни на что не обращала внимания, дабы не мешать святому таинству природы, которое совершалось в ней и должно было совершиться в радости. Всей душой упивалась она лазурной чистотой неба и очарованием гор, созданных, казалось, вовсе не из грубого камня и вдыхавших, подобно живым существам, горячий, трепещущий воздух; она впивала в себя солнечный свет, свет, который входил в ее комнатки совсем не так, как в мрачные залы отцовского дворца.

— Ну да, мама, разве ты не видишь? Я счастлива, счастлива!..

Наемная коляска двигалась медленно, чтобы не потрясти беременную; прохожие останавливались, поворачивали головы и с жалостью смотрели на старую герцогиню ди Розабиа, сидевшую в наемном экипаже рядом с нищенски одетой, постаревшей дочерью, которую родной отец выгнал из дома, и она вышла замуж тайком — неизвестно когда и за кого; фигура ее обезображена беременностью, лицо — бледнее обычного, но она улыбается; ах, бедняжка, улыбается, а мать глядит на нее так печально.

Герцогиня ди Розабиа, обманутая веселым видом Элизаветты, никогда не заподозрила бы, что этот негодяй заставляет ее дочь голодать, если бы однажды, желая угостить Элизабетту пирожным, она не сделала знак кучеру остановиться перед кондитерской, а дочь шутливым тоном не сказала, что уж если мать намерена тратиться, она предпочла бы пирожному что-нибудь более существенное; она как раз знает такое место, где можно поесть. В огороде, недалеко от ее домика, стоит сарай одной старой крестьянки, у нее столько голубей и кур, Элизабетта каждый день покупает там яйца...

Голод, голод, она испытывала настоящий голод!..

— Как, разве ты не ешь у себя дома? — спросила мать спустя несколько часов, когда дочь, сидя перед сарайчиком, за простым деревенским столом, жадно поглощала жареного цыпленка. Не переставая жевать, Элизабетта ответила с усмешкой:

— Ну что ты!.. Я ем так много... так много! Но никогда не наедаюсь... Видишь, я ем за двоих!..

Между тем старая крестьянка украдкой делала ге-

рцогине знаки, значение которых та никак не могла понять.

Поняла она все лишь через несколько дней, когда, войдя в домик дочери, увидела полицейских, производивших обыск. Фабрицио Пинджитерра, обвиненный в подлоге и в принадлежности к шайке мошенников, бежал в неизвестном направлении — не то в Грецию, не то в Америку...

При виде матери Элизабетта бросилась ей навстречу, точно хотела заслонить от нее это зрелище, и проговорила сдавленным голосом:

— Ничего, мама, ничего! Не пугайся! Ты видишь, я спокойна... Возблагодарим же господа, мама, возблагодарим господа! — И вся дрожа, она тихо прошептала ей на ухо: — Теперь он *его* никогда не увидит и не узнает, понимаешь? И *он* будет мой, только мой, только мой!..

Волнение ускорило роды — не без риска для матери и для ребенка. Но когда Элизабетта выздоровела и увидела подле себя младенца; когда она увидела эту трепетную плоть, отъединившуюся от ее плоти, это еще слабое, беспомощное существо, которое пищало и копошилось около нее в поисках тепла; когда она смогла дать грудь своему ребенку, ликуя, что в это крошечное тельце, недавно вышедшее из ее тела, мгновенно проникает живительная струйка, и ребенок может почувствовать в тепле молока тепло материнского лона, ей показалось, что она сходит с ума от радости.

И Элизабетта недоумевала, почему мать, видя ее такой веселой, становится день ото дня все более печальной и мрачной. Почему?!

В конце концов старая герцогиня призналась: она так мечтала, что отец, после того, как этот негодяй бросил Элизабетту, сжалится и вновь примет ее в свой дом! Но нет, он не пожелал...

— Так вот оно что? — воскликнула Элизабетта. — Бедная мама! Мне жаль тебя; но я была бы в отчаянии, поверь, если бы пришлось заточить моего ребенка в этом мрачном, холодном доме, ведь он так радуется нежному, теплomu свету, видишь?..

И посреди пустой комнаты, где все дышало святой простотой, она протянула дитя свое навстречу солнцу, которое вместе с огородной свежестью празднично входило в дом через распахнутые окна и двери.

ЧИСТАЯ ПРАВДА

Едва Сару Ардженту, по прозвищу Тарара, был доставлен на скамью подсудимых, отгороженную от остальной части мрачного судебного зала высокой решеткой, как первым делом он извлек из кармана большущий, красный, в желтых цветах платок и аккуратно разостлал его на сиденье, чтобы не запачкать свой праздничный костюм из грубого темно-синего сукна. Костюм и платок были совсем новые.

Удобно устроившись, Сару повернулся лицом к крестьянам, толпившимся за перегородкой в той части зала, которая отведена для публики, и улыбнулся. Его щетинистая обычно физиономия была свежевыбрита — и это придавало ему сходство с обезьяной. В ушах висели золотые серьги.

От толпы крестьян шел терпкий пронзительный дух конюшни и пота, свежего навоза и прелой овчины, от которого делалось дурно.

Какая-то женщина, одетая в черное, в шерстяной накидке, натянутой по самые брови, при виде подсудимого иступленно заголосила; между тем сам подсудимый весело поглядывал из своей клетки и то поднимал натруженную крестьянскую руку, то кивал направо и налево головой, делая это, впрочем, не столько в знак приветствия, сколько для того, чтобы выказать приятелям и сотоварищам по работе нечто вроде признательности и даже известного снисхождения.

После стольких месяцев предварительного заключения этот суд был для него почти праздником. Поэтому-то он и принарядился, словно в воскресный день. По бедности Тарара не мог нанять адвоката и вынужден был довольствоваться защитником, назначенным судом; но в том, что зависело от него лично, Тарара был на высоте: чистенький, бритый, причесанный, одет по-праздничному.

Как только суд покончил с необходимыми формальностями и был оглашен состав присяжных, председательствующий велел подсудимому встать.

— Ваше имя?

— Тарара.

— Это прозвище. Назовите настоящее имя.

— А, понимаю, ваша честь. Зовут меня Ардженту,

Сару Ардженту, ваша честь. Но все знают меня как Тарара.

— Так. Сколько вам лет?

— Не знаю, ваша честь.

— Как не знаете?

Тарара подернул плечами и скорчил гримасу, совершенно ясно дав этим понять, что подсчитывать годы всегда представлялось ему занятием если не предосудительным, то уж во всяком случае бессмысленным. Однако добавил:

— Я ведь из деревни, ваша честь. Кто там считает годы?

В публике рассмеялись; председательствующий склонился над разложенными перед ним бумагами:

— Вы родились в тысяча восемьсот семьдесят третьем году. Следовательно, сейчас вам тридцать девять лет.

Тарара покорно развел руками:

— Как прикажете, ваша честь.

Чтобы не вызвать в зале новых приступов веселья, председательствующий стал поспешно задавать новые вопросы, отвечая на них сам:

— Правильно? Правильно.

Покончив с вопросами, он сказал:

— Садитесь. Сейчас секретарь огласит обвинительное заключение.

Секретарь начал чтение, однако уже вскоре должен был прервать его, так как от зловония, пропитавшего зал, старшине присяжных сделалось дурно. Сторожа получили распоряжение открыть двери и окна.

Вот тогда-то и стало ясным неоспоримое превосходство подсудимого над судьями.

Восседавший на своем огненно-красном платке Тарара даже не замечал этого зловония, столь привычного для его носа, и безмятежно улыбался; он не чувствовал жары, хотя и был облачен в толстое синее сукно; не испытывал он ни малейшего беспокойства и от мух, которые вынуждали присяжных заседателей, королевского прокурора, адвокатов, сторожей и даже карабинеров отчаянно жестикулировать. Мухи облепляли ему руки, сонно жужжали вокруг лица, хищно впивались в лоб, губы, глаза — Тарара их не чувствовал, не гнал и только улыбался.

Молодой защитник, назначенный судом, заранее уверил своего подзащитного в благополучном исходе дела, поскольку речь шла всего лишь об убийстве жены, измена которой была доказана.

С блаженной наивностью, свойственной животным, Тарара оставался совершенно спокойным. На его лице не было и тени угрызений совести. Ему было решительно непонятно, почему он должен отвечать за дело, которое никого на свете, кроме него, не касалось. Он воспринимал правосудие только как печальную неизбежность. В хозяйстве крестьянина — неурожайные годы, в жизни — правосудие. Не все ли равно?

Правосудие со всей его парадностью — величественными скамьями, судейскими шапочками, тогами, пышными плюмажами — было для Тарара чем-то вроде той большой новой паровой мельницы, которую так торжественно открывали в прошлом году. Разглядывая год назад вместе с другими зеваками эту удивительную машину, все это нагромождение колес, всю эту чертовщину из поршней и блоков, Тарара ощущал, как мало-помалу в нем росло чувство удивления и вместе с тем недоверия. Каждый привозил на эту мельницу свое зерно, но кто бы мог поручиться потом, что полученная обратно мука была именно из его зерна, а не из чужого? Приходилось закрывать на это глаза и покорно брать ту муку, которую давали.

Вот так и теперь с тем же самым недоверием и той же покорностью Тарара вручал свою судьбу машине правосудия.

Он знал лишь, что разможил жене голову топором. Произошло это так. Тарара целую неделю батрачил на полях возле городка Монтаперто. Вернувшись в очередной субботний вечер домой, промокший и грязный, Тарара узнал о большом скандале, который произошел в Арко-ди-Спото, где он жил.

За несколько часов перед тем его жену застали на месте преступления с кавалером доном Агатино Фьорикой.

Донна Грациелла Фьорика, супруга кавалера, — руки в браслетах и кольцах, щеки нарумянены, вся изукрашена, как мул, на котором под звуки тамбурина возят в церковь зерно, — сама, лично, привела двух полицейских во главе с комиссаром Спано в тупичок Арко-ди-Спото, чтобы те удостоверили факт прелюбодеяния.

Соседи не смогли скрыть от Тарара постигнутого его несчастья, ибо жену, вместе с кавалером, продержали всю ночь под арестом. На следующее утро, как только она показалась в дверях дома, Тарара бросился на нее и,

прежде чем успели вмешаться соседи, разmozжил ей голову.

А что там бубнит секретарь суда — кто его разберет?..

Когда секретарь кончил чтение, председательствующий снова приказал подсудимому встать и отвечать на вопросы:

— Подсудимый Ардженту, вы поняли, в чем вас обвиняют?

Тарара чуть шевельнул рукой и с обычной своей улыбкой ответил:

— Ваша честь, по правде сказать, я не очень-то слушал.

Председательствующий сердито сделал ему внушение:

— Вы обвиняетесь в том, что утром десятого декабря тысяча девятьсот одиннадцатого года убили топором Росарию Феминеллу, вашу жену. Что вы скажете в свое оправдание? Повернитесь лицом к присяжным и говорите ясно, с должным уважением к суду.

Тарара прижал руку к сердцу, словно в знак того, что у него нет ни малейшего желания относиться к суду с неуважением. Присутствующие зрители, уже настроенные на веселый лад, заранее предвкушали ответ. Тарара это заметил и некоторое время смущенно молчал.

— Отвечайте же! — понукал его председательствующий. — Скажите синьорам присяжным то, что имеете сказать.

Тарара пожал плечами и наконец решился:

— Видите ли, ваша честь, тут сидят все люди ученые, и что написано в бумагах, они сами разберут. Я, ваша честь, человек простой. Но раз в этих бумагах написано, что я убил жену, значит, так оно и есть. И говорить тут не о чем.

На этот раз не удержался от смеха сам председатель.

— Не о чем говорить? Э нет, почтенный, тут есть о чем поговорить...

— Я хочу сказать, ваша честь,— пояснил Тарара, снова прижимая руку к сердцу,— хочу сказать, что убил ее я, вот и все. Я убил ее — да, ваша честь, я обращаюсь к синьорам присяжным,— я убил ее собственными руками, синьоры присяжные, потому что иначе я не мог поступить, вот. Больше мне прибавить нечего.

— Прошу соблюдать порядок, синьоры! Прекратите

смех! — насупился председательствующий, яростно трезвоня колокольчиком.

— Где вы находитесь? Вы же в зале суда! Судят человека за убийство! Если смех будет продолжаться — я прикажу очистить зал. Мне чрезвычайно стыдно, синьоры присяжные, уж вам-то напоминать о серьезности дела!

И, грозно нахмурившись, он обратился к подсудимому:

— Что вы имели в виду, когда сказали, что иначе поступить не могли?

В наступившей гробовой тишине Тарара смущенно ответил:

— Я хотел сказать, ваша честь, что не я в этом виноват.

— Как так не вы виноваты?

Тут молодой защитник, назначенный судом, не выдержал и счел долгом восстать против грозного тона, с каким председатель обращался к подсудимому.

— Прошу прощения, синьор председатель, но этак мы вовсе собьем с толку беднягу! Мне кажется, он прав, утверждая, что не он в этом виноват, а жена, которая изменяла ему с кавалером Фьорикой. Это же ясно!

— Извините, синьор адвокат, но я прошу вас не мешать суду! — сердито прервал его председательствующий. — Пусть говорит подсудимый. Продолжайте, Тарара. Вы согласны с тем, что сказал ваш защитник?

Тарара сперва отрицательно покачал головой, потом пояснил:

— Нет, ваша честь. Бедняжка покойница тоже не виновата. Всему виной одна эта... супруга кавалера Фьорики, которая нипочем не хотела оставить все шитокрыто, как было. Какого рожна, ваша честь, понадобилось ей закатывать такой скандал возле самого моего дома? Такой скандал, ваша честь, что камни мостовой — и те покраснели, глядя, как достойного, высокочтимого кавалера Фьорику — а ведь мы все его знаем за такого — накрыли в одной рубашке, без штанов, в берлоге грязной крестьянки? Одному богу известно, ваша честь, на что только не приходится нам идти ради корки хлеба!

Пока Тарара все это говорил дрожащим от волнения голосом, со слезами на глазах и прижимая к груди сцепленные в пальцах руки, в зале гремел неудержимый хо-

хот, а многие просто корчились от смеха. Но даже сквозь этот смех председательствующий сумел уловить, что подсудимый своим заявлением придал делу новый, неожиданный для него оборот. Понял это и молодой адвокат, который увидел, как разом рушилась вся придуманная им система защиты. Он повернулся к обвиняемому и стал делать ему предостерегающие знаки.

Но было слишком поздно. Председательствующий, неистово потрясая колокольчиком, задал подсудимому вопрос:

— Так вы признаете, что знали о связи вашей жены с кавалером Фьорикой?

— Синьор председатель,— вмешался защитник, вскочив с места,— извините... но так я... так я...

— Что так, так?..— прервал его окрик председательствующего.— Я же обязан немедленно все уточнить!

— Я протестую против вашего вопроса, синьор председатель!

— Протестовать вы не имеете никакого права, синьор адвокат! Допрос веду я!

— В таком случае, я слагаю с себя обязанности защитника.

— Сделайте одолжение... Нет, неужели вы это серьезно? Раз подсудимый сам признает...

— Нет, позвольте, позвольте, синьор председатель! Подсудимый еще ничего не признает. Он только сказал, что, по его мнению, во всем виновата синьора Фьорика, которая устроила скандал перед самым его домом.

— Допустим! Но на каком основании вы мешаете мне спросить подсудимого, знал ли он о связи своей жены с Фьорикой или нет?

В ту же секунду из зала посыпались предостерегающие Тарара возгласы и знаки. Председательствующий пришел в бешенство и снова пригрозил очистить зал.

— Подсудимый Ардженту, отвечайте: вы знали о связи вашей жены с кавалером?

Смешавшийся, сбитый с толку, Тарара покосился на защитника и обвел глазами зал.

— Должен ли я... сказать «нет»? — вопросительно пробормотал он наконец.

— Болван! — крикнул из задних рядов какой-то старик крестьянин.

Молодой защитник стукнул в сердцах кулаком по скамейке и пересел на другое место.

— Говорите всю правду, это в ваших же интересах! — обратился к Тарара председательствующий.

— Ваша честь, я и так говорю чистую правду, — начал Тарара, на этот раз прижав к сердцу сразу обе руки. — А правда — вот она в чем: все было так, если бы я ничего не знал! Потому как дело это — да, ваша честь, я обращаюсь к синьорам присяжным, — потому как дело это, синьоры присяжные, было тайным и, значит, никто не мог сказать мне в лицо, что я о нем знал. Я говорю так, синьоры присяжные, потому как я человек простой, неученый. Что может знать бедняк, который обливается потом на полях с понедельника рано утром и до субботы поздно вечером? Такая беда может приключиться со всяким! Конечно, вот если б кто подошел ко мне в поле и сказал: «Тарара, гляди, твоя жена путается с кавалером Фьорикой», — мне не оставалось бы ничего иного, как взять топор, побежать домой и размозжить ей голову. Но никто, ваша честь, не приходил и не говорил мне такого; а я на всякий случай, когда мне случалось вырваться домой на неделе, всегда кого-нибудь посылал предупредить жену. Говорю это к тому, ваша честь, чтобы вы поняли, что я никому не желал зла. Мужчина есть мужчина, ваша честь, а женщина есть женщина. Оно, конечно, мужчина должен понимать, что женщина так уж устроена, что не может не изменять, даже когда она вовсе не остается по целым дням одна, то есть я хотел сказать, когда ее муж и не пропадает на работе по целым неделям; но ведь и женщина должна уважать мужчину и понимать, что он не может позволить кому попало плевать себе в лицо, ваша честь! Есть вещи... которые, ваша честь, — я обращаюсь к синьорам присяжным, — есть вещи, синьоры присяжные, хуже плевков — они режут глаза! И мужчина не может их сносить! Я, синьоры, готов поклясться, что эта несчастная всегда уважала меня; хоть и то верно, что я в жизни не тронул у нее волоска на голове. Все соседи могут это подтвердить! При чем тут я, синьоры присяжные, если эта синьора, храни ее бог, примчалась... Вы, ваша честь, велели бы позвать сюда эту синьору, и уж я бы с ней поговорил! Нет ничего хуже — я обращаюсь к вам, синьоры присяжные, — нет ничего страшнее крикливых баб! «Если бы ваш муж, — сказал бы я этой синьоре, будь она тут сейчас передо мной, — если бы ваш муж спутался с незамужней, то ваша ми-

лость могли бы скандалить сколько душе угодно, потому как никто от этого не страдает... Но по какому праву вы, ваша милость, пришли досаждают мне, человеку тихому и спокойному, который никогда не совал нос в чужие дела, который никогда не хотел ничего ни видеть, ни слышать, который, синьоры присяжные, без шума, с утра до позднего вечера добывал свой хлеб с мотыгой в руках? Для вашей милости это веселая шутка, — сказал бы я этой синьоре, будь она сейчас тут, передо мной. — Что значит для вас этот скандал, ваша милость? Пустяк! Одна забава! Через два дня вы уже помирились с мужем. А подумали вы, ваша милость, что тут замешан еще один муж? Что этот муж не может позволить плевать себе в лицо, что этот муж должен что-то сделать? Если бы ваша милость сперва пришли ко мне и все, как есть, рассказали, я бы ответил: „Бросьте, синьора! Мы же мужчины! Мужчина, дело известное, от рожденья охотник! Что вам за дело до грязной крестьянки? Кавалер, ваш муж, привык с вами к тонкой французской булке; так не перечьте ему, если изредка ему придет охота побаловаться коркой крутого черного домашнего хлеба!“» Вот как сказал бы я ей, синьор судья, и тогда, быть может, не произошло бы того, что, видит бог, к сожалению, произошло по вине этой синьоры.

Председательствующий снова пустил в ход звонок, и лишь ценой невероятных усилий ему удалось уговорить зал, который встретил лихорадочную исповедь Тарара выкриками и смехом.

— Таковы, значит, ваши показания? — спросил он у подсудимого.

Выдохшийся Тарара отрицательно покачал головой:

— Нет, ваша честь. Какие же это показания? Это чистая правда, синьор судья.

За эту чистую правду Тарара получил тринадцать лет тюрьмы.

ЧАУЛА ¹ ОТКРЫВАЕТ ЛУНУ

В этот вечер забойщики решили прекратить работу, не вытащив всех ящиков с серой, которыми нужно было на следующий день загрузить обжигательную печь. Над-

¹ Местное сицилийское название грача.

© Перевод Г. Рубцовой.

смотрщик Каччагаллина набросился на них с револьвером в руке при выходе из Каче, пытаясь помешать им уйти.

— Черт вас побери... чтоб вас... все назад, все вниз, снова в штольню! Работать до зари, кровь из зубов, иначе буду стрелять!

— Бум! — ответил кто-то из глубины. — Бум! — эхом отозвались еще несколько человек и со смехом, издевками и ругательствами пошли в наступление; проталкиваясь плечами и локтями, в конце концов прошли все, за исключением одного. Кого? Дядюшки Скарда, само собой разумеется, несчастного кривого, над которым Каччагаллина мог измываться сколько угодно. Боже мой, какой ужас! Надсмотрщик прыгнул на него, как лев, схватил его за рубашку и, точно держа в кулаке всех остальных, бешено тряс его и вопил ему в лицо:

— Назад все, я вам говорю, каналы! Все назад в штольню, или я устрою побоище!

Дядюшка Скарда покорно позволял себя трясти. Ведь нужно же было и этому человеку отвести на ком-нибудь душу; вполне естественно, что он набросился на него, старика, который не станет отбиваться и позволит ему все. Да в конце концов и у него был свой подневольный человек, еще слабее, на котором можно было отыграться: Чаула, его откатчик.

Все же остальные... они уходили вниз, по тропинке, ведущей к Комитини; они смеялись и кричали:

— Давай держи его покрепче, Каччагаллина! Он натакает тебе до завтра полную печь.

— Молодежь! — с бледной снисходительной улыбкой вздохнул дядюшка Скарда, обращаясь к Каччагаллина.

И, хотя надсмотрщик все еще держал его за рубашку, дядюшка Скарда наклонил голову набок, скривил в другую сторону нижнюю губу и, словно дожидаясь чего-то, замер на несколько мгновений.

Предназначалась ли эта гримаса Каччагаллина? Или старик смеялся над молодостью своих товарищей?

Конечно, их веселость и молодой задор не подходили к этим местам. На суровых лицах, почти погасших в беспросветной тьме штолен, на истощенных ежедневным трудом телах, на разорванной одежде лежал свицовый отблеск этих земель без единой травинки, про-

дырявленных серными копиями, похожих на гигантский муравейник.

Нет, нет. Дядюшка Скарда, застывший с этим странным выражением, не смеялся над ними, не дразнил надсмотрщика. С помощью этой обычной для него grimасы дядюшка Скарда с трудом втягивал в рот крупную слезу, которая время от времени вытекала из здорового глаза.

Он полюбил солоноватый привкус слез и старался не пропустить ни одной.

Они текли скупно: по капле, через долгие промежутки, но зато с утра до вечера; когда он был в двухстах метрах от поверхности земли, с киркой в руке, при каждом ударе, вырывавшем подобие гневного хрипа из груди, у него всегда пересыхало в горле, и эта слеза, попадавшая в рот, была тем самым, чем могла бы стать для нося понюшка табаку.

Она утоляла жажду и давала отдых.

Когда он чувствовал, что глаз его наполнился, он на некоторое время опускал кирку и, смотря на красное, дымное пламя лампочки, прикрепленной к скале, мерцавшей во мгле адской пещеры и освещавшей то тут, то там какой-нибудь кристалл серы, сталь креплений или кирку, склонял голову набок, вытягивал нижнюю губу и ждал, пока слеза, медленно катившаяся по следу, оставленному предыдущими, прольется в рот.

У других было пристрастие к табаку или вину, а у него к своей слезе.

Эта слеза скатывалась не потому, что он хотел плакать, а потому, что у него было заболевание слезной железы; но он выпил и те слезы, которые выплакал четыре года назад, когда у него при взрыве шпура погиб единственный сын, оставив семерых детей и жену. Иногда скатывалась слеза солонее других, и он ее сразу узнавал; покачивав головой, Скарда бормотал имя:

— Каликкьо...

Его еще держали на работе, потому что при этом взрыве он потерял сына и один глаз. Скарда работал больше и лучше молодых, но когда по субботним вечерам он получал плату, то, по правде сказать, считал ее милостыней и, кладя в карман деньги, почти смущенно шептал:

— Бог благословит их за это.

Ведь обычно считают, что человек его возраста не может работать как следует.

Когда наконец Каччагаллина оставил его и бросился за другими, чтобы по-хорошему уговорить хоть нескольких проработать ночную смену, дядюшка Скарда попросил его послать одного из возвращающихся в поселок к нему домой — пусть дома не ждут и не беспокоятся, так как он останется в копях. Потом он оглянулся и позвал своего откатчика, которому уже было за тридцать (но он был дурачком в семь лет и в семьдесят останется таким же). Скарда позвал его так, как зовут ручных грачей:

— Тэ, па! Тэ, па!

Чаула переодевался перед возвращением в поселок. Переодеться для Чаулы значило прежде всего снять рубашку или, вернее, то, что когда-то было рубашкой,— единственное одеяние, которое, так сказать, прикрывало его во время работы. Сняв рубашку, он надевал на голое тело, такое худое, что можно было пересчитать все косточки, подаренный ему из милости красивый широкий и длинный жилет, который когда-то был верхом элегантности и изящества (теперь же грязь так пропитала его, что он затвердел и не лежал на земле, а стоял дыбом). С большим старанием Чаула застегивал шесть пуговиц, три из которых уже болтались, а потом любовался им, поглаживая его руками, потому что даже теперь считал себя недостойным носить подобную вещь; это было настоящим щегольством. И пока он любовался, его голые жалкие кривые ноги застывали и синели от холода. Если его толкали рукой или ногой, говоря: «Как ты красив!» — он разевал до ушей беззубый рот и удовлетворенно улыбался; затем натягивал брюки, из бесчисленных дыр которых виднелись колени и ягодичы, завертывался в заплатанное пальтишко из грубого сукна. Когда он направлялся в местечко, стук его босых ног удивительно напоминал крик грачей: «Кра-а! Кра-а!» (почему его и прозвали Чаула). «Кра-а! Кра-а!» — ответил он и в этот вечер на призыв своего хозяина; он подошел к нему совсем голый, если не считать жилета, старательно застегнутого с обычным щегольством.

— Иди, иди, переоденься,— сказал ему дядюшка Скарда.— Надень рубашку и мешок на плечи. Сегодня, по воле божьей, для нас не будет ночи.

Чаула не выразил протеста; некоторое время он смотрел на Скарду, открыв рот, выпучив глаза, потом, стиснув грудь руками и судорожно сморщив нос, потянулся и прогнусил:

— Ланно...

И пошел снимать жилет.

Если бы не усталость и стремление поспать, ничего не стоило поработать и ночью, потому что там, внизу, все равно всегда была ночь. Но это для дядюшки Скарда.

А для Чаулы это было не так. Чаула с масляной лампочкой на лбу в отверстии мешка, с тяжелой ношей, давившей шею, шел по крутой грязной подземной лестнице, по ее поломанным ступенькам, все выше, выше, выше; его дыхание прерывалось, а карканье на каждой ступеньке все слабело, превращаясь почти что в подавленный стон; но все же при каждом подъеме он видел солнечный свет. Сначала он стоял ослепленный, потом со вздохом облегчения освобождался от груза, и привычные образы знакомых вещей выступали со всех сторон; все еще задыхаясь, он некоторое время стоял и смотрел на них и успокаивался, хотя сам хорошенько не понимал, отчего.

Очень странно, что в грязной тьме подземных пещер, где за каждым поворотом его ждала смерть, Чаула ничего не боялся: ни чудовищных теней, которые на мгновение отбрасывал чей-нибудь фонарь вдоль штреков, ни внезапно вспыхивавшего то там, то тут красноватого отсвета в колодцах и лужицах сернистой воды; под землей он всегда хорошо ориентировался: ища опоры, касался рукой чрева горы, оставаясь слепым и спокойным, точно в глубине материнской утробы.

Но он боялся пустой темноты ночи.

Он знал, каким бывает день, пронизанный вздохами света, там, наверху, в конце лестницы, по которой он поднимался столько раз за смену, и при каждом шаге подошвы его скрипели, как придушенная галка. Но тьмы ночи он не знал.

Каждый вечер, окончив работу, он возвращался в поселок вместе с дядюшкой Скарда; дома, едва успев проглотить остатки супа, ложился спать на мешок с соломой, прямо на землю, как собака; и напрасно дети, все семеро сирот, внуков хозяина, топтали его ногами, чтобы не дать ему уснуть и посмеяться над его глупостью, — он почти тотчас же погружался в свинцовый сон, от которого пробуждал его каждое утро на рассвете пинок знакомой ноги.

Страх перед темнотой ночи появился у него с тех пор,

как взрыв разорвал живот и грудь сыну дядюшки Скарда, тоже его хозяина, а сам Скарда лишился глаза.

В тот вечер там, внизу, в разных местах серных копей, уже кончали работу, когда Чаула услышал страшный грохот взорвавшегося шпура. Все забойщики и откатчики бросились к месту взрыва: один Чаула в ужасе убежал и спрятался в пещере, известной только ему одному.

Торопясь спрятаться, он разбил о скалу глиняную лампочку; когда же наконец — он не мог определить точно, сколько прошло времени — Чаула выбрался из пещеры в молчание пустынных, окутанных мглой штолен и с трудом, ощупью нашел проход, ведущий к лестнице, ему тоже не было страшно. Страх охватил его только тогда, когда он вышел в безлюдную черную ночь.

Он совсем потерялся и весь дрожал; трепет охватывал его при каждом неуловимом, смутном дуновении в беспредельной, полной таинственного молчания пустоте, где непрерывное мерцание крохотных, густо усеявших небо звезд не могло пролить даже слабого света.

Темнота там, где всегда был свет, одиночество вещей, когда никто их не видит, их неподвижность, их изменившийся, почти неузнаваемый облик так панически действовали на его смятенную душу, что Чаула внезапно бросился бежать как сумасшедший, точно его кто-то преследовал.

Теперь, возвратившись с дядюшкой Скарда в штольню, ожидая, когда будет подготовлена его ноша, он чувствовал, как постепенно растет его страх перед темнотой, которая поглотит его, как только он выйдет из серных копей. Боясь темноты больше на земле, чем в проходах и на лестнице, он особенно внимательно оберегал глиняную лампочку.

Издали доносилось ритмическое поскрипывание и бульканье насоса, не прекращавшееся ни днем, ни ночью. И к ритму поскрипыванья и бульканья прибавлялось глухое ворчанье дядюшки Скарда, как если бы старик заставлял далекий механизм помогать движению своих рук.

В конце концов груз был приготовлен, и дядюшка Скарда помог Чауле уложить и разместить его в мешке, привязанном за спиной. Пока дядюшка Скарда нагружал, у Чаулы постепенно все больше подгибались ноги.

И вдруг одна нога начала судорожно дрожать; боясь, что дрожь не даст ему донести такую тяжесть, Чаула закричал:

— Хватит! Хватит!

— Чего хватит, падаль? — ответил ему дядюшка Скарда.

И продолжал нагружать.

На мгновение страх перед темнотой ночи был заглушен боязнью, что ему с такой тяжелой ношей не удастся вскарабкаться наверх, потому что он чувствует смертельную усталость. Ведь он работал весь день без всякой передышки. Чауле никогда не было жаль своего тела, да и сейчас он об этом не думал. Он просто чувствовал, что больше не может.

Чаула двинулся с огромным грузом, который надо было не только нести, но и держать в равновесии. Да, да, он еще может двигаться, пока идет по ровному месту, а как будет, когда начнется подъем? К счастью, уже в начале подъема Чаулу снова охватил страх перед темнотой ночи: ведь он вскоре должен выйти из шахты.

В этот вечер, когда он проходил по штрекам, вместо обычного карканья был слышен протяжный хриплый стон. Но чем выше он поднимался, тем тише становился стон, заглушенный страхом перед черным безмолвием, ожидающим его снаружи, в неосязаемой пустоте.

Лестница была такой крутой, что Чаула, вытянутая голова которого была придавлена тяжестью, даже пройдя последний поворот, как ни закатывал глаза, не мог увидеть выход, маячивший там, вверху.

На грязи верхних ступенек едва отражался колеблющийся отсвет тусклого кроваво-красного огонька, а Чаула, пригнувшись, почти касаясь лбом этих ступенек, поднимался все выше, выше, выше из недр горы, не чувствуя радости, даже боясь грядущего освобождения. Он все еще не видел отверстия, которое открывалось высоко-высоко, как светлый глаз, пленительно светившийся серебром.

Он увидел это отверстие только тогда, когда очутился на верхних ступеньках. Сначала, хотя это показалось ему странным, он подумал, что видит последние отблески дня. Но свет разливался все сильнее и сильнее. Неужели солнце, которое на его глазах начало заходить, снова стало подниматься?

Возможно ли?

И, выйдя на воздух, он остановился ошеломленный. Груз соскользнул с его плеч. Он слегка приподнял локти и разжал черные руки навстречу серебряному свету.

Большая спокойная луна, словно тонувшая в свежем сияющем океане молчания, смотрела ему прямо в лицо.

Да, он знал ее; но ведь многое знаешь и не придаешь этому никакого значения. Да и какое значение могло иметь для Чаулы то, что на небе существует луна?

Только теперь, вырвавшись ночью из чрева земли, он заново открыл ее.

В восхищении он опустился на свой груз, рядом с выходом из копей. Вот она, вот она здесь, здесь, луна... Это же луна! Луна!

И Чаула заплакал, сам того не зная и не желая, от умиления, от огромной нежности, которую почувствовал, открыв ее, Луну, когда она поднималась на небо в широкой светящейся вуали, ничего не зная о горах, лугах, долинах, освещенных ею, ничего не зная о нем, который благодаря ей перестал бояться, перестал чувствовать усталость в эту ночь, опьяненную его изумлением...

НЕКОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Когда отсталая цивилизация принуждает человека тащить на собственной спине длинную лестницу от одного фонаря к другому и подниматься и спускаться по ней три раза в день возле каждого из них — утром потушить, днем почистить и вечером опять зажечь,— человек, даже недалекий и имеющий склонность к вину, непременно приобретает привычку разговаривать с собой на темы высокие, как его лестница.

Квакéo-ламповщик однажды в пьяном виде упал с нее. Он расшиб себе голову, сломал ногу. Произошло чудо — он выжил, вышел через два месяца из больницы, прихрамывая на одну ногу, с безобразным шрамом на лбу и стал опять бродить в голубой рубашке, бородатый, с лестницей на спине, от фонаря к фонарю. Каждый раз, добравшись по лестнице до той перекладины, с которой он упал, он обязательно начинал одно и то же рассуждение: это неоспоримо — некоторые обязательства должны существовать. Не хотелось бы, чтобы они существовали, но они существуют. Муж в глубине души может ничуть

не интересоваться поведением своей жены. Но нет! Он должен этим интересоваться! В противном случае — все, даже мальчишки, имеют право осуждать его.

— Квакео, рогоносец! Когда они тебе наставляют рога, эй, Квакео?

— Вот собаки! — кричит Квакео с высоты фонаря.— Теперь вы мне это говорите? Теперь, когда я освещаю город!

Вот так оправдание — освещает город! Все равно он обязан приглядывать за поведением жены. Но, может быть, он не замечает ее измен? При свете этих керосиновых фонарей разве видно, как воры забираются в дом или нападают в грязных, пустынных переулках!

— Сами вы воры, убийцы!

Квакео отправился в муниципалитет, к ассессору кавалеру Бисси, которому он был обязан местом и который время от времени представлял его к наградам за усердие по службе. Он рассказал все, как было, и спросил: разве он в то время, когда зажигает фонари, не находится при исполнении служебных обязанностей?

— Конечно,— ответил ему ассессор.

— Следовательно, тот, кто оскорбляет меня,— заключил Квакео,— оскорбляет государственного служащего при исполнении обязанностей — так?

Кажется, кавалер Бисси с этим не вполне согласен, зная, о каком именно оскорблении идет речь и на что жалуется Квакео. Он пытается в деликатной форме доказать, что эти оскорбления не имеют отношения к нему, ламповщику, как таковому.

— О нет, ваше превосходительство,— протестует Квакео.— Я прошу вас верить мне, ваше превосходительство!

И произнося: «Ваше превосходительство», Квакео щурит глаза, будто пьет свое любимое вино — он произносит «ваше превосходительство» с полным чувством. Что же касается кавалера Бисси, то кроме тех обязательств, которые он, как частное лицо, может быть, совсем не хотел бы брать на себя, но все же берет, у него есть много других обязательств, неотделимых от должности ассессора. Квакео ко всем этим обязательствам, личным и общественным, относится с полным уважением; а если время от времени какая-нибудь капелюшка, появившаяся не вовремя, вынуждает его провести тыльной стороной руки под носом, он предусмотрит-

тельно вытирает руку полой своей длинной голубой рубашки.

Квакео в самой вежливой форме, немного смущаясь, старается доказать ассессору, что оскорбление, на которое он пришел жаловаться, возможно, и имеет под собой некоторую почву, но самый факт может иметь место только в то время, когда он исполняет свои обязанности ламповщика, потому что, когда он не ламповщик, а только муж, никто дурного не скажет ни о нем, ни о его жене. Жена при нем послушна, ведет себя благонаравно и безупречно; он никогда плохого за ней не замечал.

— Меня оскорбляют, ваше превосходительство, когда я освещаю город, когда я стою на лестнице, прислоненной к фонарю, и подношу спичку, чтобы зажечь его. Всем известно, что я не могу оставить город в темноте и бежать домой поглядеть, что делает моя жена и с кем она, а в случае необходимости, если бы я убедился в измене, убить их, синьор кавалер!

Он подчеркивает слова «убить их» с улыбкой человека, который примирился с печальной необходимостью, так как сознает, что такое обязательство он должен взять на себя как оскорбленный муж, и не хотел бы, но должен!

— Хотите еще доказательств, ваше превосходительство? В лунные вечера, когда фонари не горят, они ни слова не говорят мне: а почему? Потому что в эти вечера я не служащий при исполнении своих обязанностей.

Квакео отлично рассуждает. Но одних рассуждений недостаточно. Надо обратиться к фактам. Но, когда доходит до фактов, самые лучшие рассуждения отпадают, — падают, как упал он с лестницы в тот раз, когда был сильно пьян.

Какое заключение он хочет вывести из своих рассуждений? Кавалер Бисси задает ему этот вопрос. Если он думает, что его супружеские неурядицы зависят от обязанностей ламповщика, пусть в таком случае откажется от этих обязанностей. Если же он не хочет от них отказаться, то пусть предоставит людям говорить, что угодно.

— Это окончательное решение? — спрашивает Квакео.

— Окончательное, — отвечает кавалер Бисси.

— Покорный слуга вашего превосходительства!

С каждым днем лестница становится все тяжелее и тяжелее. Квакео с трудом залезает по обветшавшим от долгого употребления перекладинам, одна нога у него короче другой.

Теперь, когда он добрался до окраинных фонарей на самой вершине холма, он не спешит спускаться, прижимается к фонарю, или, скорее, повисает на нем всем телом, опустив вниз руки и склонив голову к плечу; и в таком положении там, над землей, он продолжает думать и рассуждать сам с собой.

Он думает о грустных и странных вещах. Думает, например, о том, что звезды, несмотря на то, что они рассеяны по всему небу, в некоторые ночи хотя и видны, но все же недостаточно освещают землю.

Напрасная иллюминация!

Но зато какая красивая иллюминация,— и подумать только, однажды ночью ему снилось, будто он должен был зажигать ее, эту иллюминацию, на небе, с лестницы, которой он не видел конца и которую не знал, куда прислонить, не в силах удержать в руках эту тяжесть. И как бы он взобрался туда, на такую высоту, по бесчисленным ступенькам, до самых звезд? Сон... Ах, какие бывают тревожные и беспокойные сны!

Подумайте, какое грустное занятие быть ламповщиком, по крайней мере таким, как он, у которого вошло в привычку рассуждать, зажигая фонари!

Самый факт зажигания света во тьме, если делать это в течение долгого времени, не разбудит разве, даже в темном мозгу, хотя бы проблеск мыслей?

Квакео однажды пришел к выводу, что, распоряжаясь светом, он может распоряжаться и тенью. Конечно! Одно неотделимо от другого! Кто рождается, тот умирает. И тень, все равно как смерть, следует за всяким. Значит, его таинственная фраза, которая кажется угрозой, брошенной с высоты лестницы во время зажигания фонарей, есть не что иное, как следствие, которое он вывел из одного из своих рассуждений:

— Подожди-ка, подожди-ка, я тебе приклею сзади смерть.— Квакео считает свою работу — зажигание фонарей — делом высшего порядка, ведь он исправляет ошибку природы, и какую ошибку! Недостаток света! Мало того: в своем городке он заменяет солнце. Заместитель, собственно говоря, двое — он и луна, и они чередуются между собой. Когда есть луна,— он, Квакео,

отдыхает. И вся значительность его работы видна именно в те вечера, когда луна должна быть, но ее нет, потому что облака мешают ей освещать землю — обязанность, — которую, может быть, луна не хотела бы исполнять, но все же исполняет; и город остается в темноте.

Как приятно смотреть темной ночью на какой-нибудь освещенный городок по соседству!

Квакео видит много огней каждую ночь, когда добирается до последних фонарей на краю города, и любит их, повиснув на фонаре, склонив голову к плечу и вздыхая.

Да, эти огоньки, как рой светлячков, без усталости мерцают и всю ночь бодрствуют в мрачном молчании над грязными улочками и домишками, где прячется нищета, может быть, более ужасная, чем в его городке; но издали это очень красиво, и ему приятно видеть огни среди полной темноты. Порыв ветра налетает в темноте, и тогда светлячки, сбитые в кучу, вздрагивают и точно вздыхают.

И когда смотришь, то издали кажется, что бедные человечки, рассеянные во мраке по земле, собрались тут и там, чтобы оказать друг другу поддержку и помощь; а на самом деле выходит совсем не так. Если построить домик в одном месте, другой ведь не поставят рядом, как доброго братца, нет, — поставят обязательно напротив, чтобы загородить весь вид и лишить воздуха, и люди не объединяются тут и там, чтобы жить вместе, а разбивают лагеря один против другого, чтобы воевать. Он, Квакео, это отлично знает. В каждом доме идет война между теми, которые должны бы любить друг друга и жить в согласии, чтобы защищаться против чужих. Разве его жена не самый лютейший его враг?..

Если Квакео пьет, — он пьет именно поэтому; пьет, чтобы не думать о тех вещах, которые заставляют его брать на себя некоторые обязательства. Он не хотел бы их брать, но ничего не поделаешь.

— А ты как думаешь, старая мышка?

Квакео разговаривает с летучей мышью. Он называет ее старой мышкой, потому что летучая мышь — это мышь, у которой есть крылья. Очень часто он разговаривает с какой-нибудь кошкой, которая тихо крадется по стене, а потом вдруг сразу останавливается и, выгнув спину, глядит на него, или с какой-нибудь бродячей собакой,

которая понуро плетется по пустынным переулкам от одного фонаря к другому и садится под каждым фонарем, ожидая, пока он не зажжет его.

Но как он может зажигать фонари, когда нет керосина? Сегодня вечером городок останется в темноте. Подрядчик, поставляющий керосин, в ссоре с муниципалитетом. Уже несколько месяцев ему не платят ни копейки; он отпустил товару в кредит почти на двадцать тысяч лир и теперь больше знать ничего не хочет.

Когда наступил вечер, Квакео обошел город с лестницей, чтобы посмотреть, нельзя ли зажечь фонари: оставалось немного керосина с прошлой ночи. Фонари зажглись ненадолго, потом погасли, и стало еще темнее. Прохожие протестовали — злились на ламповщика, как будто он виноват. Мальчишки затянули свою старую песню:

— Рога, рога! Кому рога? Квакео, не хочешь ли рогов?

Квакео больше не в силах терпеть. Чтобы избавиться от оскорблений, он уходит с главной улицы и с лестницей на спине шагает по переулкам. Но мальчишки не отстают. В одну прекрасную минуту, когда Квакео, усталый, отчаявшийся, по своему обыкновению устраивается на фонаре, они, не удовлетворившись словесными поддразниваниями, вытаскивают у него из-под ног лестницу — теперь он беспомощно висит в воздухе.

Ах, так! Они хотят, чтоб он и впрямь выполнил обязанности оскорбленного мужа, потому что из-за нехватки керосина он не смог выполнить своих обязанностей ламповщика? Они напали на него как раз сегодня вечером, когда он не может оправдаться тем, что занят освещением города! Хорошо! Пусть ему возвратят лестницу, и он исполнит их желание.

Лестницу, лестницу! Пусть ему дадут сойти вниз, черт возьми, они увидят, что он сделает!

Трое, четверо с хохотом ставят ему под ноги лестницу, и все хором кричат:

— А нож у тебя есть?

— Вот он!

И Квакео поднимает рубашку, вытаскивает из кармана штанов большой нож, открывает его и показывает.

— Хорош?

— Всадишь им?

— Ему и ей, если только застану. Все будете свидетелями. Идите за мной!

И он бежит впереди, припадая на короткую ногу. Мальчишки следуют за ним по темным, извилистым переулкам, в гору, с криками окружая его.

— Всадишь им, и вправду?

Квакео останавливается, поворачивается и хватается за грудь одного из подстрекателей.

— Вы еще пожалеете! Теперь, когда я пошел с вами, черт возьми, вооруженный, чтоб исполнить свой долг, все вы должны быть со мной. Все, черт возьми!

И он трясет мальчишку изо всех сил. Многие пугаются, некоторое время идут следом, растерянные и смущенные; тянут друг друга за рукав, отстают. Только два шалуна идут за ним до самого дома, но они серьезны — не насмеются больше, напротив, готовы вмешаться, удержать его. У дверей его дома они, действительно, схватывают его за руки и со смехом и шутками стараются увести в какую-нибудь таверну выпить вина. Но Квакео вырывается и угрожает открытым ножом; он колотит в дверь и кричит жене:

— Открой, развратная женщина! Открой! На этот раз ты мне за все заплатишь! Пустите меня, пустите! Пустите, негодяи, не то я разобью вам морды!

При этой угрозе мальчишки отступают, а он вытаскивает из нагрудного кармана ключ, открывает дверь, вскакивает внутрь, захлопывает ее с шумом. Мальчишки бросаются к двери и, стараясь открыть ее, зовут на помощь. Изнутри слышны вопли.

— Палачи, палачи! — кричит Квакео, с ножом в кулаке; он только что оттащил жену за волосы и швырнул ее на пол, а теперь ищет под кроватью, переворачивает все, что попадает под ноги: ищет повсюду, бежит на кухню, не переставая кричать.

— Где он? Скажи мне, где он, куда ты его спрятала?

— Ты с ума сошел? Ты пьян! Что это тебе в голову взбрело?

В переулке ждут и кричат те, которые преследовали его; на шум сбегаются люди. Кругом открываются окна, все спрашивают: «Что такое, что случилось?» — стучатся в дверь.

Квакео насккивает на жену:

— Скажи мне, где он, а то убью! Крови, крови хочу сегодня, крови!

Он не знает, где еще искать. Внезапно взгляд его падает на окно кухни, выходящее к обрыву. Это окно помещается довольно высоко, оно всегда закрыто, стекла черны от сажи.

— Возьми стул и открой окно! Не хочешь открыть, ведьма? Я сам открою!

Он лезет на скамейку, открывает, и — о ужас! — отступает с вытаращенными глазами, руки он запустил в волосы, нож падает на пол.

Кавалер Бисси стоит там, над обрывом, в опасности.

— А вдруг, сохрани боже, ваше превосходительство поскользнется! — кричит Квакео, едва придя в себя от ужаса, подносит кулак ко рту, и тотчас же, весь дрожа, бросается на помощь кавалеру.

— Осторожнее, осторожнее! Ставьте ногу мне на плечо, ваше превосходительство... Как могли вы спрятаться здесь? Подумать только, на краю обрыва, рискуя сломать себе шею из-за такой противной бабы, как эта! Вы, кавалер! Ваше превосходительство!

Он поворачивается к жене, поднося кулак к ее лицу.

— Как это? — кричит он. — Разве здесь надо было прятать его! Не нашла более приличного места! Не видела, дура, что я искал повсюду, только не в стенном шкафу под занавеской? Скорее бери щетку и почисти синьора кавалера! Будьте любезны, ваше превосходительство, спрячьтесь в шкафу на пять минут! Вы слышите, как кричат на улице? Существуют некоторые обязательства, ваше превосходительство, верьте мне! Не хотелось бы, но ничего не поделаешь! Только на пять минут, будьте любезны, я их прогоню!

И, заперев кавалера в стенной шкаф, он открывает окно, выходящее на улицу, и кричит сбежавшейся толпе:

— Никого нет! Я открываю двери... Кто хочет войти — входите, чтобы убедиться. Но здесь никого нет!

СВИНЬЯ

Вот уже третью ночь Нели Згембри спит под открытым небом, на току, подстлав под себя солому, оставшуюся после молотьбы; где-то рядом, на жнивье, пасутся два его ослика и мул, ради которых Нели и ночует здесь.

Солома была мокрая от росы, или, как любил говорить Нели, «была умыта слезами звезд». Сверчки оглашали округу нежным, прозрачным звоном своих песен, которые так живительно действовали после сухого, ржавого скрежета унылых цикад, оглушавших Нели в течение целого дня.

И все равно старик грустил. Лежа на соломе, он глядел на звезды, изредка закрывал глаза и тяжело вздыхал.

Он размышлял о том, что судьба надула его: она не дала ему ничего из того, о чем он так мечтал в юности, а под старость отняла даже ту малость, которую он получил, в сущности, помимо своего желания. Вот уже четыре года, как умерла жена, а в ней он нуждался и теперь; домогаться же новой любви, когда волосы стали совсем седыми, а спина сгорбилась, он стыдился.

Вдруг сонное течение мыслей Нели нарушилось: зеленая искорка светлячка прорезала тусклое мерцание влажных звезд и опустилась рядом с ним на солому.

При появлении этой искорки Нели почудилось, что небо не то опрокинулось на него, не то отъехало еще дальше, и он вскочил, словно встряхнувшись ото сна; однако сном показалось ему скорее все то, что было вокруг, затерянное в сумраке ночи: его крестьянская хижина, потрескавшаяся и закопченная, мул и двое ослят на жнивье и — где-то совсем далеко — робкие огни Раффадали, его родной деревеньки.

Светляк все еще сидел тут, на соломе, совсем рядом. Нели сгреб его в кулак и, разглядывая на дне мозолистой ладони, где светляк продолжал излучать слабое зеленое мерцание, думал, что эта «пастушья свечка» явилась ему как вестница далеких лет его счастливой юности; быть может, это тот самый светлячок, что одной июньской ночью, лет сорок пять тому назад, запутался в черных волосах Тризуццы Тумминиа, которая вместе со своими подружками из Раффадали осталась на ночь вот на таком же току, чтобы при луне, под звуки цимбал, плясками отпраздновать конец жатвы.

— Эх, молодость, молодость!

Как испугалась тогда Тризуцца Тумминиа этого крохотного червячка, заползшего ей в волосы! Она не знала, что это всего-навсего «пастушья свечка»! Нели вспомнил, как он подошел к ней, осторожно, двумя пальцами, снял

светлячка, показал его Тризуцце и торжественно, словно собираясь читать стихи, произнес:

— Видишь этот огонек? Он хотел превратиться в звездочку у тебя на лбу.

Так Нели начал ухаживать за Тризуццей Тумминиа еще в те далекие времена, когда мир был совсем иным! Но из-за старой семейной распри родители воспротивились их браку; потому-то Тризуцца вышла замуж за другого, а Нели женился на другой. С тех пор прошло больше сорока пяти лет; он овдовел, овдовела и она около десяти лет назад... Но интересно, к чему бы это светлячок вдруг взял да вернулся? Почему он решил сверкнуть перед глазами Нели именно тогда, когда ему было так грустно и одиноко? Почему светляк выбрал место на мокрой соломе, да еще рядом с ним?

Вытащив из кармана клочок бумаги, Нели аккуратно завернул в него светляка; остаток ночи старик уже не спал и только думал, чему-то ухмыляясь про себя. На рассвете Нели увидел девочку, которая возвращалась по тропке, протоптанной мулами, домой, в Раффадали.

— Нику, Никуццу, поди-ка сюда! — окликнул он ее из-за своей загородки.

Глаза его при этом смеялись; казалось, что и лицо вот-вот расплывется в улыбке. Подперев рукой колючий, давно не бритый подбородок, Нели спросил:

— Знаешь тетю Трезу Тумминиа?

— Ту, у которой свинья?

Старик обиженно нахмурил брови. Дождалась! Иначе, как «та, у которой свинья», и не называют теперь в Раффадали бедную Тризуццу Тумминиа! А прозвали ее так потому, что вот уже несколько лет она с неслыханной любовью откармливает свинью такой невероятной толщины, что животное не может уже передвигаться. Когда умер муж, а сыновья, женившись, обзавелись своим хозяйством, Треза перенесла на свинью все свои заботы, и плохо приходилось тому, кто предлагал ей эту свинью резать! Тризуцца частенько склонялась над своей любимицей, чтобы почесать ей за ухом, и тогда огромная розовато-белая масса блаженно распластывалась на соломе, морщила, словно в улыбке, свой пяточок и, радостно похрюкивая, подставляла шею. Эта свиная идиллия вызывала в деревне всеобщее осуждение, ибо никто не мог понять — зачем выкармливать свинью, если она не предназначается на убой.

— Ну да, тетю Трезу, ту самую...— растолковывал Нели.— Знаешь ее? Так вот, гляди: тут в бумажке — «пастушья свечка». Смотри не выпусти и не раздави ее! Отнесешь тете Трезе и скажешь, что тебя, мол, послал Нели Згембри и что тут, в бумажке, тот самый светлячок, скажешь ей, которого тетя Треза видела много-много лет назад! Понятно? Главное, не забудь сказать: «Тот самый, что много-много лет назад!» Вечером принесешь ответ. Получишь печеных каштанов. Ну, беги!

...А ведь чем черт не шутит! Згембри вовсе еще не старик! Подумаешь, каких-то шестьдесят три года... Он здоров и крепок, как ствол оливкового дерева; да и Треза свежа, как несорванный зрелый боб, здорова, цветуща — в самом соку...

Вечером девчонка принесла ответ:

— Тетя Треза велела передать, что волосы из черных стали белыми и что «свечка» потухла.

— Так и сказала?

— Да.

На следующий день, побрившись и приодевшись словно жених, Нели сам направился к Трезе Тумминия, дабы заверить ее в том, что огонь «пастушьей свечки» по-прежнему горит в его сердце так же ярко и молодо, как в тот день, когда он впервые зажегся на лбу Трезы наподобие звезды.

— Давай поженимся и зарежем свинью!

Треза пихнула его обеими руками в грудь.

— Проваливай-ка ты лучше отсюда, глупый дед!

Но при этом Треза смеялась. Понятно, о том, чтобы зарезать свинью, не могло быть и речи. А вот насчет свадьбы... что ж, можно подумать!

Но такова судьба. Раньше против их брака были родители, теперь — дети.

Правда, на сей раз жених и невеста не очень-то посчитались с бунтом. Дудки, теперь они сами себе хозяева. И хоть внешне они и делали обиженный вид, но про себя даже улыбались — как-никак, а этот бунт придавал их женитьбе привкус молодости. Разве не забавно и не приятно было слышать, как дети рассуждают об уместности и пристойности их брака?

У жениха и невесты было по четверо детей: у Трезы — четыре сына, у Нели — две дочери и два сына. Все

четверо Трезиных сыновей были уже женаты, и хорошо женаты, причем каждый получил равную долю отцовского наследства. При Нели оставалась еще дочь Нарда, но и она была уже на выданье.

Чтобы заставить детей замолчать, старики отправились перед женитьбой к нотариусу составить завещание, которое, в случае их смерти, обеспечивало бы справедливый раздел остающегося имущества. Этим они хотели пресечь жестокие раздоры, вспыхнувшие между детьми с самого начала. Но все было напрасно. Особенно несговорчивыми оказались дети Нели, хотя они и получили больше других, поскольку старик отдал им не только имущество покойной жены, но и собственную долю, решив, пока хватит сил, обрабатывать землю Трезы и своей младшей дочери Нарды, вплоть до ее замужества.

Особенно горячилась, прямо-таки выходила из себя, старшая его дочь Сидора, по мужу Перонелла. Едва речь заходила о бедняжке Нарде, которая переселилась с отцом к мачехе, Перонелла с пеной у рта твердила своему мужу, невесткам и братьям Сару и Луццу:

— Пусть черви съедят мой язык, если эта старая ведьма не принудит бедняжку засохнуть в старых девах. Пусть к Нарде сватается сам королевский сын — и тогда старая карга скажет, что он ей не пара!

Злословила она так потому, что никак не хотела поверить, будто Треза Тумминия откажется от приданого Нарды и позволит Нели распоряжаться ее собственным хозяйством.

Соседкам, забегавшим посплетничать о подарках, которыми мачеха одаряла свою падчерицу, подарках, каких не делают и родной дочери, — всех этих золотых серьгах, кольцах, коралловых бусах, шейных и головных платках из чистого шелка, шелковых накидках с кружевами в четыре пальца шириной, опойковых туфлях на высоком каблуке, да еще с лаковыми носками, словом, таких вещах, что и поверить трудно, — Сидора, позеленев от злобы, отвечала:

— Эх вы, дурочки! Неужели не понимаете, что она это делает из корысти? Просто хочет откормить Нарду и держать взаперти, как свинью!

Угомонилась Сидора лишь тогда, когда соседки примчались и сообщили, что Нарда выходит замуж. И притом, за кого бы вы думали? За самого Питрину

Чинквемани! А уж какой золотой это парень... Кстати, звонок старшего Трезина сына... А сколько у него земли, домов, скота, вьючного и рабочего... И устроила этот брак сама Треза, собственными руками!

— Как, неужели? Верно? Смотри, пожалуйста! — загараторила Сидора в ответ, только чтобы не дать этим верхивосткам позлорадствовать.— Питрину Чинквемани? Как я рада за бедняжку Нарду! Вот уж рада, так рада!

Ни она, ни братья ни разу не навестили Нарду с тех самых пор, как она поселилась у мачехи, хотя двор Сару — старшего из братьев — был всего на расстоянии ружейного выстрела от двора мачехи, так близко, что сквозь листву фиговых и миндальных деревьев можно было не только разглядеть навес на заднем дворике мачехи, где находилось стойло для скота, но даже пересчитать кур, копошившихся в навозе. Сидора с братьями не хотела знаясь с Нардой потому, что та целиком приняла сторону мачехи и ее сыновей. Доброе отношение и подарки сделали свое дело. Сыновья Трезы, выросшие без сестры, наперебой осыпали ее ласками и знаками внимания.

Накануне свадьбы на двор к Сару явился с пасмурным видом отец; почесывая щетину на давно не бритых щеках, он обратился к своему старшему сыну с тем, чтобы тот потом передал их разговор Сидоре и Луцу. Уставясь в землю, Нели начал:

— Годы пошли неурожайные, дети мои, и всем нам приходится туго. Видит бог, как хотел бы я видеть вас всех на свадьбе сестры вашей Нарды. Но что говорят колокола Раффадали? Они говорят: «*Деньги где? Деньги где? Деньги где?*» Я роздал все и теперь гол, как Христос на распятии. Больше у меня нет ничего. Хотите верьте, хотите нет. Если придете вы, родственники невесты, то Питрину Чинквемани захочет, чтобы и его родичи были — те, что со стороны Трезы, знаете? — а между вами кошка пробежала и потому ничего хорошего из этого не выйдет. Вот мы и порешили, что не будет ни их, ни вас. Будем только мы с Трезой со стороны невесты и отец с матерью со стороны жениха. Хотите верьте, хотите нет.

Сару выслушал всю эту наверняка заранее заученную речь с потупленными, как у отца, глазами и так же, как он, держась за подбородок, и наконец сказал:

— Ну что ж, отец. Хозяин ты, моя твоя кровь и плоть и, конечно, сделаем, как ты хочешь... но только, если *тех*

тоже не будет. Иначе,— я говорю тебе это прямо, отец,— дело кончится плохо...

Старик, не подымая глаз, постоял еще немного, почесывая щетину, насупившись.

— Что касается меня, дети, то тем, другим, я тоже сказал не приходить, как говорю это вам.

— А если кто из них все же придет?

Старик не ответил. Его молчание ясно означало, что если с той стороны кто и будет, то он, право, не знает, как ему поступить.

— Ладно, отец,— сказал Сару.— Иди домой. Мы еще подумаем.

Проводив взглядом отца, который на ходу смущенно теребил двумя пальцами мочку левого уха, Сару вошел в дом. Тут он извлек из чересседельного мешка, подвешенного на гвозде, длиннющий нож,— из тех, что называют «смерть свиньям»,— вытащил из-под стола точило, окунул лезвие в воду, уселся на пороге дома и, положив камень на колени, принялся точить нож.

Перепуганная всеми этими приготовлениями жена трижды окликала его, но, не получив ответа, принялась со слезами на глазах заклинать:

— Пресвятая мать божья, Сару, милый, что ты надумал?

Сару вскочил, словно тигр, и замахнулся ножом:

— Замолчи, или, клянусь богом, я начну с тебя!

Жена, чтобы приглушить плач, обеими руками натянула на лицо передник и, всхлипывая, забилась в угол. А Сару снова принялся точить нож под испытующими взглядами трех сыновей, безмолвно сидевших вокруг. На Трезином дворе запел петух, и здешний тотчас же завторил ему, выставив вперед свою когтистую ногу и воинственно встряхнув кровавым гребнем.

— Один... два... три... четыре... пять... шесть!

Целых шесть оседланных мулов разместились в стойле под навесом соседнего дворика! Вот они все: при свете луны отлично видно их всех шестерых, стоящих рядком.

Сару считал их, стоя на пороге своего дома. Чтобы лучше разглядеть их сквозь мешавшие стволы деревьев, он вертел головой, а внутри у него все так и кипело от негодования.

— Уже шесть. Может, будут еще.

Стало быть, праздник большой. Значит, все сыновья мачехи с женами и детьми, все-все родичи со стороны жениха приглашены. Обошли только их, ближайших родственников невесты... Видно, все уже сидят за столом, а потом пойдет музыка, танцы...

Сару снял куртку и перекинул ее через руку, чтобы прикрыть наточенный нож. Из дома со страхом и дрожью наблюдали за ним жена и Нилуццу, его старший сын. Еще раньше Сару приказал жене развести огонь и поставить кипятиться большой котел. Оторопевшая от ужаса жена машинально выполнила все, что он велел, не понимая, зачем понадобился ему этот котел с кипятком.

— О пресвятая мать божья,— молилась она,— хоть бы кто пришел! О мать божья, успокой его кровь и просвети его разум!

На дворе, в ярком блеске луны, неслись согласные песни сверчков — нити протяжных, острых, почти осязаемых звуков.

— Нилуццу,— позвал отец.— Сбегай к тетке Сидоре, потом к дяде Луццу и скажи, чтоб не мешкая, со всеми домашними, шли сюда. Понял? Беги.

Нилуццу, не двигаясь с места, в испуге уставился на отца. Одной рукой он прикрыл голову, словно ожидая затрещины...

— Отец... я боюсь, отец...

— Боишься? Ах ты, дохлятина этакая! — заорал отец и встряхнул мальчишку за шиворот. Затем, повернувшись к жене, добавил: — Ты пойдешь с ним! И чтоб мигом все были обратно!

Жена еще раз рискнула спросить плаксивым голосом:

— Ради бога, скажи, что ты собираешься делать, Сару?

Сару приложил палец к губам и той же рукой сделал повелительный знак — не перечить.

Как только они ушли, Сару стал осторожно, от дерева к дереву, пробираться к мачехиному дому. Луна светила вовсю. Так добрался он до крайнего фигового деревца, которое росло прямо против хозяйственного дворика Трезы. Сердце прыгало у него в груди, и кровь стучала в висках. Ржание одного из мулов, стоявших в стойле, заставило было его отпрянуть назад. В нос ударил теплый, жирный запах навоза, а в уши — нестройный гул криков, смеха и громоуханья посуды, который несся из

мачехино дома. Сару просунул голову сквозь листву, чтобы оглядеться. Во дворе пусто, только шесть еще не расседланных мулов, а там, ближе к дому, — гигантская свинья.

Она лежала, уткнувшись рылом в передние ноги; уши свисали, глаза сладко прищурены — точно в блаженном созерцании свежего, полного неги сияния луны. Время от времени она вздыхала; но в этих вздохах не было ничего, кроме сытой, блаженной истомы.

Согнувшись в три погибели, Сару бесшумно подкрался сзади, осторожно протянул руку и стал слегка почесывать ей за ухом. Свинья вытянулась, морща от удовольствия свой пятак, как бы желая улыбнуться привычной хозяйской ласке, и подставила шею. Тогда Сару свободной рукой всадил ей нож в самое сердце.

Домой он вернулся с огромной ношей, окровавленный с головы до пят. Почти одновременно, в сопровождении родни, вернулись жена и сын.

- Ради мадонны, тихо! — цыкнул на них Сару, освобождаясь от своей ноши и тяжело переводя дух. — Мы тоже устроим себе здесь праздничек, да еще получше, чем у них! Четверть туши — Сидоре, четверть — Луццу, а остальное — мне. За работу! Но сперва постоит! Помогите разделать тушу! Луццу, крепко держи вот тут! Ты, Сидора, тут. А ты, Нилиццу, тащи-ка сюда большое круглое блюдо, оно в шкафу. Печень, печень — вот что подарю я старой карге. Да тише, вы все! Печень старухе!

Сару вспорол свинье брюхо, вытащил печень, прополоскал в лоханке, затем выложил эту сверкающую дрожущую массу на блюдо и передал сыну.

— Сходи к деду, Нилиццу, и скажи ему так: меня послал папа Сару, наказал передать этот подарок маме Трезе и кланяться свинье.

ДЛИННОЕ ПЛАТЬЕ

Для Диди это было первым настоящим путешествием. Шутка сказать — из Палермо в Цунику. Почти восемь часов поездом.

Цуника была для нее обетованной землей, правда, очень далекой, но далекой скорее во времени, чем в пространстве. Когда Диди была еще совсем маленькой, отец

привозил ей из Цуники какие-то необыкновенные душистые плоды, цвет, вкус и запах которых Диди никак не могла припомнить впоследствии, хотя отец и потом продолжал привозить ей оттуда и иссиня-черную шелковицу в глиняных деревенских посудинах, выложенных виноградными листьями, и груши, прозрачно-восковые с одного бока и кроваво-красные с другого, даже с зелеными листиками, и переливающиеся всеми цветами радуги сливы, и фисташки, и сладкие сицилийские лимоны.

И хотя с некоторых пор Диди уже отлично знала, что Цуника — всего лишь пыльный городишко Центральной Сицилии, опоясанный грядами женой серы и выщербленными известковыми скалами, ослепительно сверкавшими под яростными лучами солнца, и что фрукты — конечно, столь непохожие на сказочные плоды ее детских грез — привозились из поместья Чумиа, расположенного за много километров от этого города, — и вот тем не менее при одном упоминании Цуники перед ее глазами вставал непроходимый лес сарацинских олив, возникали просторы густо-зеленых виноградников и ярких садов, обнесенных живыми изгородями, над которыми роились пчелы, ей мерещились подернутые ряской пруды, цитрусовые рощи, напоенные одуряющим запахом жасмина и апельсиновых деревьев.

Обо всем этом Диди слышала от отца. Сама она никогда не бывала дальше Багери, что возле Палермо. В белую Багерию, спрятавшуюся от огнедышащей синевы неба в густую зелень, Диди вывозили на лето. В прошлом году она ездила еще ближе, в апельсиновые рощи Санта-Флавия. Правда, тогда еще она бегала в коротких платьицах.

А вот теперь ради столь длительного путешествия она впервые в жизни надела длинное платье.

Диди сразу же показалась себе совсем другой. Просто взрослой. Даже взгляд ее посерьезнел и, казалось, под стать платью приобрел трен — она так уморительно поводила бровями, словно волокла трен своего взгляда, и при этом вздергивала свой задорный носик, подбородок с ямочкой и поджимала губки — губки настоящей дамы, облаченной в длинное платье, губки, скрывавшие зубы, подобно платью, скрывавшему ее маленькие ножки.

Вот если бы только не этот Коко, ее старший брат, плут Коко, который, устало откинувшись на красную спинку дивана купе первого класса и посасывая сигарет-

ку, приклеившуюся к верхней губе, время от времени так тяжело вздыхал и нудно твердил:

— Диди, не смейся меня.

Боже, как она злилась! Боже, как чесались у нее руки! Счастье Коко, что, следуя моде, он не носил усов! Не то Диди мигом бы выдрала их, набросившись на него, словно разъяренная кошка.

Но Диди только сдержанно улыбалась в ответ и бесстрастно отвечала:

— Милый, если ты такой дурак...

Не дурак, а просто идиот. Подумать только! Смеяться над ее платьем или, предположим, даже над выражением ее лица,— и это после того серьезного разговора, который был у них накануне вечером по поводу этого таинственного путешествия в Цунику...

Разве не походило их путешествие на военную экспедицию, на штурм хорошо укрепленного горного замка? Разве не было ее длинное платье главным оружием этого штурма? Так что же смешного в том, что она заблаговременно делала смотр этому оружию, училась обращению с ним?

Накануне вечером Коко сказал ей, что наконец пришло время всерьез поговорить об их делах.

Диди только вытаращила на него глаза.

Об их делах? Каких делах? Разве могли быть у нее дела, о которых стоило бы толковать, да еще серьезно?

Оправившись от первого удивления, Диди расхохоталась.

Она знала только одну особу, как бы нарочно созданную для того, чтобы думать о делах — своих или чужих, безразлично. Этой особой была донна Сабетта, ее гувернантка, которую Диди называла донной Бебе или, в скороговорке, просто донной Бе. Донна Бе постоянно думала о своих делах. Когда Диди особенно досаждала ей своими неожиданными сумасбродными выходками, бедняжка, доведенная до отчаяния, делала вид, что плачет, и, хватаясь руками за голову, начинала причитать:

— Ради всего святого, синьорина, дайте мне подумать о своих делах!

Неужели Коко в тот вечер спугал ее с донной Бе? Нет, он ничего не спугал. В тот вечер Коко открыл ей, что эти благословенные *их дела* и в самом деле существуют и что они важны, и даже весьма важны, как, впрочем, важно и ее длинное дорожное платье.

С детских лет привыкнув к тому, что раз, а то и два в неделю отец уезжал в Цунику, и наслушавшись разговоров о поместье Чумиа, о серных копиях Монте-Дьези и о разных других копиях, владениях и домах, Диди легко освоилась с мыслью о том, что все эти богатства являются собственностью баронов Брилла и принадлежат ее отцу.

На самом же деле они принадлежали маркизам Нигренти ди Цуника. Отец ее, барон Брилла, был всего лишь опекуном. И вот эта опека, доставлявшая отцу в течение двадцати лет завидное благополучие, а Диди и Коко — полный достаток, должна была кончиться через три месяца.

Диди было чуть больше шестнадцати, и она родилась и выросла среди этого благополучия. Коко же перевалило за двадцать шесть, и он сохранял отчетливое воспоминание о далеких годах нищеты, в которой билась семья, прежде чем отец всеми правдами и неправдами выхлопотал себе опеку над несметным богатством этих маркизов Цуника.

А вот теперь над ними снова нависает угроза нищеты, быть может, и не такой, как раньше, но которая после двадцати лет благоденствия наверняка показалась бы им еще более тяжелой, и отворотить ее можно, только приведя в исполнение тот план военной кампании, который с таким искусством измыслил отец. Путешествие в Цунику и было первым стратегическим маневром.

По правде говоря, даже не первым. Дело в том, что три месяца назад Коко уже ездил с отцом в Цунику на разведку; он пробыл там около двух недель и познакомился с семейством Нигренти.

Насколько Коко мог понять, семейство состояло из сестры и трех братьев. Твердо он не был в этом уверен, потому что в старинном замке, расположенном на горе, которая господствует над всей Цуникой, проживали еще две восьмидесятилетние старухи, две тетки, принадлежность которых к Нигренти он точно не мог определить. Это были не то сестры деда нынешнего маркиза, не то сестры бабушки.

Самого маркиза звали Андреа, ему было около сорока пяти лет и, по окончании срока опеки, к нему, согласно завещательному документу, должна была перейти главная часть наследства. Два брата Андреа: один — дон Фантазер, как окрестил его отец, был священником, дру-

гой, по прозвищу Кавалер, был просто лоботряс. Следовало остерегаться обоих, и больше священника, чем лоботряса. Сестре маркиза было двадцать семь лет — на год больше, чем Коко; звали ее попеременно то Агатой, то Титиной. Была она хрупкая, как облатка для причастия, и бледная, словно воск; в глазах у нее застыла безысходная тоска, а длинные, костлявые и холодные руки всегда дрожали от смущения, робости и неуверенности в себе. Видимо, бедняжка была самым воплощением добродетели и чистоты: за всю жизнь она не сделала и шагу из замка, ухаживая за двумя восьмидесятилетними старухами, своими тетками, вышивала, да еще «божественно» играла на рояле.

Так вот, план отца был простой: прежде чем минет срок опеки, устроить два брака — дочь выдать за маркиза Андреа, а Коко женить на Агате.

Когда Диди объявили об этом впервые, лицо ее вспыхнуло словно раскаленный уголек, а глаза заискрились негодованием. Ее взорвало не столько известие, сколько тот непринужденный цинизм, с каким Коко сам шел на эту сделку и теперь предлагал ей то же самое в качестве единственного спасения. Как! Выйти ради денег замуж за старика, который ровно на двадцать восемь лет старше ее?

— Ну, уж будто на двадцать восемь? — подтрунивал Коко над этим взрывом негодования. — Какие там двадцать восемь, Диди! Зачем привирать? На двадцать семь... ну, на двадцать семь и несколько месяцев.

— Коко, ты просто мерзавец! Мерзавец, вот и все! — выкрикнула Диди, дрожа от негодования и показывая ему кулачок.

Но Коко не унимался:

— Я же говорю тебе, что женюсь на добродетели! На самой что ни на есть добродетели, Диди, на воплощенной добродетели! Я женюсь на добродетели, а ты называешь меня мерзавцем? Она, правда, на какой-нибудь годик старше меня... Но видишь ли, милая, я должен тебе заметить, что добродетель не может быть особенно юной. А ведь я так нуждаюсь в добродетели! Ты же знаешь, что я шалопай из шалопаяв, распутник из распутников — словом, настоящий проходимец, как утверждает папа. Пора образумиться — буду расхаживать в шикарных туфлях с вышитым на них золотым вензелем и баронской короной, а на голове у меня будет бархатная

шапочка, тоже расшитая золотом, с великолепной шелковой кистью. Барон Коко ди Добро д'Етель... Барончик-красавчик! Правда, здорово, Диди?

Тут он дурашливо скривил голову набок и принялся расхаживать с глупым-преглупым видом, потупив глаза, вытянув губы трубочкой и изобразив сложенными ладонями подобие козлиной бородки.

Диди невольно прыснула со смеху.

Воспользовавшись этим, Коко принялся вкрадчиво уговаривать сестру, перечисляя ей все радости, какие он смог бы доставить бедняжке, хрупкой, как причастная облатка, и бледной, как воск. Ведь за те две недели, которые он гостил в Цунике, Агата ясно дала понять, несмотря на всю свою робость, что видит в нем спасителя. Ну да! В этом же все дело! Братья — особенно Кавалер (кстати, на стороне у него есть бабенка, от которой он прижил десять, пятнадцать, двадцать, уж не знаю сколько там, детишек) — заинтересованы в том, чтобы она оставалась незамужней и чахла взаперти. Так вот, для нее Коко будет ярким солнышком, самой жизнью. Он увезет ее с собой в Палермо, в чудесный новый дом, и пойдут празднества, театры, путешествия, поездки в автомобилях... Конечно, спору нет, красавицей ее не назовешь, скорее она даже уродлива, но что поделаешь, для жены сойдет. Главное, она добра и настолько нетребовательна, что будет довольствоваться самым малым.

Он еще долго продолжал болтать все в том же шутовском тоне и только о себе, о своем жертвенном благодеянии, так что Диди, раздосадованная и подстрекаемая любопытством, наконец не выдержала:

— Ну, а какая же роль отводится мне?

Тяжело вздохнув, Коко ответил:

— Что касается тебя, Диди, то твое дело куда более хлопотное. Беда в том, что тут замешана не только ты.

Диди нахмурилась.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Хочу сказать... хочу сказать, что вокруг маркиза увиваются и другие женщины. И в особенности... одна!

И тут весьма красноречивым жестом, видимо, призванным пробудить воображение, Коко намекнул на необыкновенную красоту этой женщины.

— Вдова... лет тридцати... вдобавок кузина...

Сладко прищурившись, Коко чмокнул кончики своих пальцев.

Диди даже передернуло от отвращения.

— Ну и пусть забирает его себе!

Коко поспешно запротестовал:

— Хорошее дело, пусть забирает! Ты воображаешь, что маркиз Андреа... Красивое имя Андреа! А звучит-то как: *маркиз Андреа*... Кстати, с глазу на глаз ты можешь называть его просто Нене — так зовет его Агата, или, иначе, Титина, его сестра. Пари держу, ты даже не подозреваешь, что за мужчина этот Нене! Довольно тебе знать, что у него хватило глу... или как это называют... мужества прожить целых двадцать лет затворником в своем замке. Понимаешь, двадцать лет! Я серьезно говорю: с тех самых пор, как его имущество попало под опеку. Представь только, как отросли у него волосы за эти двадцать лет! Но он их острижет. Непременно острижет, не волнуйся. Каждый божий день, чуть свет, еще солнце не успеет встать, он выходит из замка... тебе это нравится? Выходит один-одинешенек, укутавшись в плащ, и отправляется в горы. Разумеется, верхом. Лошаденка, правда, дряхленькая... белая, будто седая. Но наездник он превосходный. Да, да, верхом он ездит божественно... почти так же божественно, как его сестра Титина играет на рояле. И только представь себе при этом, что до двадцати пяти лет, то есть до того самого дня, когда из-за банкротства его упрятали в Цунику, он вел настоящую жизнь, дорогая моя! Где только он не был: и на континенте — в Риме, во Флоренции, и в Париже — и в Лондоне... Ходят слухи, что он с юношеских лет был влюблен в эту кузину, о которой я тебе говорил; кстати, зовут ее Фана Лопес. Кажется, даже был с ней помолвлен. Правда, когда он разорился, она и слышать о нем не захотела и поспешила выйти за другого. Ну, а теперь, когда все вернулось к прежнему... понимаешь? Конечно, дело облегчается тем, что маркиз, лишь бы утереть ей нос, скорее женится на другой своей кузине, этой старой деве Туцца Ла Диа, которая всегда втайне вздыхала по нему и вымаливала его себе у бога. К тому же, Диди, волосатый маркиз после своего двадцатилетнего затворничества стал весьма пылким, так что можно опасаться и этой старой девы. Однако пора и кончать,— так заключил накануне вечером свои излияния Коко.— Теперь, Диди, нагнись и чуть-чуть приподыми своими пальчиками подол платья.

Опешившая от такой длинной речи, Диди наклонилась, спросив:

— Зачем?

— Хочу проститься с твоими ножками. Больше их никогда не будет видно.

Коко взглянул на них и приветственно помахал им обеими руками. Потом, вздохнув, добавил:

— Роро! Ты помнишь свою подружку Роро? Помнишь, как я прощался с ее ногами в тот последний раз, когда она надела короткое платье? Я еще думал, что никогда больше их не увижу. Так вот довелось же!

Диди побледнела и сразу посерьезнела:

— Что ты болтаешь?

— Увы, уже у мертвой! — поспешил пояснить Коко. — Клянусь, уже у мертвой! Ах, бедняжка Роро! Ее перенесли в церковь Сан-Доменико и оставили гроб открытым. Утром я зашел в церковь. Вижу — гроб, кругом свечи, я подошел. Возле гроба вертелись какие-то крестьянки и с восторгом глазели на подвенечное платье, в которое муж пожелал обрядить покойницу. Вдруг одна из этих бабенок приподняла краешек платья, чтобы поглядеть на кружева нижней юбки, и вот так мне снова довелось увидеть ноги Роро.

Всю ночь Диди беспокойно металась в постели и никак не могла уснуть.

Но прежде чем улечься, Диди решила еще раз примерить длинное дорожное платье перед зеркальным шкафом. Вспомнив красноречивый жест, которым Коко хотел изобразить красоту этой... как ее? Фаны... Фаны Лопес, Диди показала себе в зеркале совсем маленькой, худенькой, жалкой... Она подобрала подол платья, чтобы взглянуть на ноги, которые до сих пор у нее были не прикрыты одеждой, и сразу же вспомнились ноги мертвой Роро Кампи.

В постели Диди снова захотела посмотреть на свои ноги под одеялом. Они показались ей какими-то высохшими и прямыми, словно палки, и тут Диди представила себя мертвой, в гробу, в подвенечном платье, после свадьбы с длинноволосым маркизом Андреа...

Ну и болтун же этот Коко!

Сидя в купе, Диди разглядывала брата, развалившегося на сидении напротив, и чувствовала, как постепенно ее охватывает все большая и большая жалость к нему.

Она вспомнила, как буквально за два-три последних

года поблекло его когда-то красивое лицо, изменилось выражение, появилось что-то новое в глазах и складках рта. Диди казалось, что он как бы выгорел изнутри. Этот пожирающий огонь внутренней тоски и смутного беспокойства, прорывавшийся в каждом взгляде, изменил очертания губ, иссушил и избороздил красными прожилками кожу, оставил под глазами темные круги. Она знала, что Коко каждую ночь возвращается домой очень поздно, что он играет, подозревала в нем еще худшие пороки по тем гневным упрекам, которые отец частенько обрушивал на него тайком от нее, запершись с ним в своем кабинете. Со временем Диди стала испытывать к брату странное чувство горечи и отвращения, ощущая подле себя эту скрытную и чуждую ей жизнь; ее угнетала мысль, что этот всегда такой любящий, снисходительный к ней брат за стенами дома ведет себя хуже чем просто шалопай, что он порочный человек, а может быть, и настоящий негодяй, как не раз в припадке ярости кричал ему отец. До чего же грустно, что для других его сердце не было таким открытым и любящим, как для нее! Если он так бесхитростно добр к ней, то почему он приносит столько горечи другим?

А может, эта горечь гнездится за пределами дома — в том самом мире, куда в определенном возрасте, ставшись с чистыми, простыми семейными привязанностями, мужчины вступают в длинных брюках, а женщины — в длинных платьях? И как ужасна должна быть эта горечь, если никто не смеет заговорить о ней, разве что шепотом и с хитрыми, дурацкими ужимками, которые так раздражают тех, кто, подобно ей, ничего не может понять? Как пагубна должна быть эта горечь, если ее брат в такое короткое время из цветущего юноши превратился в развалину, если ее подруга Роро Кампи, не выдержав и года замужества, умерла...

Диди ощутила на своих ножках, еще вчера свободных и открытых, тяжесть длинного платья, и ее охватила щемящая грусть, она почувствовала, что ее душит тоска, и, чтобы отвлечься, перевела взгляд с брата на отца. Он сидел в другом конце купе, погруженный в чтение каких-то деловых бумаг, которые извлек из кожаного портфеля, лежавшего у него на коленях.

В портфеле, на фоне красной подкладки, поблескивала граненая пробка флакона. Диди уставилась на нее, думая в этот момент о том, что отцу уже много лет грозит

внезапная смерть от сердечной болезни и потому он никогда не расстается с этим флаконом.

А вдруг ей пришлось бы лишиться отца, вот так, в один миг... Нет, нет, зачем об этом думать? Вот отец хоть и носит с собой флакон, а о смерти вовсе не думает. Читает себе свои деловые бумаги и только время от времени то поправит очки, сползающие на самый кончик носа, то проведет пухлой, белой, волосатой рукой по сверкающей лысине, то оторвется от чтения и смотрит куда-то в пространство, слегка прищурив тяжелые веки. И тогда его миндалевидные голубые глаза загораются живым и острым лукавством, так контрастирующим с усталым, дряблым лицом, мясистым и угреватым, на котором топорщатся короткие рыжеватые усики, местами тронутые сединой.

После смерти матери, три года назад, у Диди появилось ощущение, что отец как-то отдалился от нее или даже стал вовсе чужим, и вот теперь она разглядывает его как можно разглядывать лишь человека чужого. Да и не только отец, Коко тоже. Диди казалось, что только она одна продолжает еще жить жизнью их дома или, вернее, чувствовать его пустоту после исчезновения той, которая была его душою и объединяла их всех в одну семью.

Отец и брат зажили каждый своей жизнью — разумеется, вне дома, — и то немногое, что еще сохранилось от семьи, было лишь ее видимостью, не имеющей ничего общего с былым душевным теплом и согласием, которые одни только и дают поддержку, силу и успокоение.

Диди чувствовала страстную потребность в таком тепле и согласии, и это заставляло ее безудержно рыдать, стоя на коленях перед старым сундуком, где хранились платья матери.

Семейное тепло было заключено там, в дряхлом сундуке орехового дерева, длинном и тесном, как гроб, и оттуда, от этих маминых платьев, исходило тепло и горько пьянило ее воспоминаниями детства.

О мама! Мама!

После смерти матери жизнь стала пустой и ненужной, вещи, казалось, потеряли свою телесность и превратились в тени. Что-то ждет ее завтра? Неужели она всегда будет ощущать эту пустоту, бессмысленно ожидать чего-то, что должно заполнить эту пустоту и вернуть Диди веру, смысл жизни и покой?

Дни тянулись для Диди подобно облакам, скользящим по диску луны.

Сколько вечеров провела она в пустынной, неосвещенной комнате, неотрывно глядя сквозь витражи высоких окон на белые и пепельно-серые облака, обволакивающие луну! Ей казалось, что луна бьется, стремясь вырваться из этой пелены. И Диди подолгу стояла в темноте, вперив невидящий взгляд в пустоту, предаваясь мечтам, и глаза ее часто наполнялись невольными слезами.

Ей вовсе не хотелось грустить! Напротив, ей хотелось жить, веселиться, петь. Но ее окружала полная пустота, и это ее желание прорывалось только в сумасбродных выходках, сбивавших с толку несчастную донну Бебе.

Без наставника, без поддержки, вдруг лишившись всего, она не знала, что ей предпринять в жизни, какую дорогу выбрать. Сегодня она грезила об одном, завтра о другом. Однажды, вернувшись из театра, она ночь напролет промечтала о том, как станет балериной, а уже на следующее утро, когда в дом явились за подаванием монашки, она решила сделаться сестрой милосердия. А еще немного спустя ей захотелось уйти в себя, погрузиться в теософию и отправиться в странствие по белу свету, подобно фрау Венцель, ее учительнице немецкого языка и музыки; иногда ей хотелось целиком отдаться искусству, живописи... Или нет, нет! Только не живописи! Ведь с тех пор как живопись воплотилась для нее в этого идиота Карлино Вольпи, сына художника Вольпи, ее учителя, который однажды явился на урок вместо заболевшего отца... Как же это случилось?.. Да, она сдуру спросила:

— Какую нужно брать краску — ярко-красную или карминовую?

А он, хитрая бестия:

— Вот такую, синьорина... карминовую!

И поцеловал ее в губы.

С того самого дня навсегда прочь и палитра, и кисти, и мольберт! Мольберт она опрокинула прямо на него, затем швырнула ему в лицо кисти и, даже не дав возможности отмыть бесстыжую рожу, окрасившуюся в зеленый, желтый и красный цвет, выгнала вон...

Так, значит, она во власти первого встречного... Значит, дома нет никого, кто бы мог ее защитить. Любой проходимец может войти и как ни в чем не бывало целовать ее в губы! Какое гадливое чувство оставил в ней этот поцелуй! Тогда она до крови растерла себе губы;

и вот даже теперь, при одном воспоминании, инстинктивно поднесла руку ко рту...

Да и был ли у нее рот на самом деле? Она его не чувствовала!.. Диди сильно ущипнула себя за губу — ничего... Так вот и все тело... Она не чувствовала его. Быть может, это оттого, что она всегда витала где-то, отрешенно от самой себя. Да и все внутри у нее было в каком-то смятении, нерешительности, волнении. А тут еще длинное платье, надетое на тело, которого она сама не ощущала! Платье весило куда больше, чем тело! Отец и брат воображали, что под этим длинным платьем скрыто настоящее женское тело, но они ошибались — под ним Диди ощущала только свое детское тело, и ничего больше, да и то не нынешнее свое тело, а тельце того ребенка, каким Диди себя помнила в счастливую пору, когда все вокруг дышало реальностью сладостного детства, той осязаемой реальностью, какую умела придавать вещам своим дыханием, своей любовью только ее мать. И это ребячье тельце было взлелеяно неусыпными ее заботами. Со смертью матери Диди перестала ощущать даже свое тело, словно и оно растворилось, как и все вокруг, как растворилась сама реальность, которую Диди перестала уже осязать.

А эта поездка...

Взглянув еще раз на отца и на брата, Диди ощутила, как ее захлестывает чувство гадливости.

Оба спали в скрюченных, неудобных позах. Отец посапывал, лоб покрылся жемчужинками пота, а дряблая шея нависала над тесным воротничком.

Поезд, словно задыхаясь, полз в гору; за окном ни росинки, ни травинки — сплошная выжженная пустыня под опрокинутым густым синим куполом неба. Только время от времени медленно заваливались назад иссохшие телеграфные столбы с лениво провисающими проводами.

Куда везут ее эти два человека, которые даже тут, в купе, предоставили ее самой себе? На постыдное дело, на подлый торг, на унижение, на обман. И они еще могут спать! Да, потому что вся жизнь такова и, видно, не может быть иной. Вот эти двое уже вступили в нее, и им все равно, они вкусили ее и потому, отдаваясь движению поезда, могут спокойно спать, они могут спать... Они заставили ее надеть это длинное платье и волокут туда, на грязное дело, не испытывая при этом никакого беспокойства. Волокут в ту самую Цунику, которая была сказоч-

ной страной ее детских счастливых грез! А зачем? Чтобы она умерла там через год, как ее подруга Роро Кампи?

Когда и чем кончится это бесцельное ожидание неизвестности, это вечное беспокойство? Быть может, в мертвом городишке, в старинном мрачном замке, рядом со старым длинноволосым мужем... Быть может, именно ей, если удастся хитроумный план отца, суждено заменить золотку в заботах об этих восьмидесятилетних старухах.

Вперив глаза в пространство, Диди рисовала себе залы мрачного замка. Разве ей не пришлось уже побывать там? Да, однажды во сне, а теперь ей предстоит остаться там навсегда... Однажды? Когда же это было? Да вот, только сейчас... и вместе с тем очень давно... а теперь уже навсегда ей придется погрузиться с головой в пустоту времени, сотканного из неизбывных минут, терзаемого монотонным гудением мух, дремлющих на солнце, которое сквозь грязные стекла высвечивает голые стены, пожелтевшие от дряхлости, или пыльными кругами отпечатывается на выщербленных красных кирпичах пола.

О боже, и нет никакого выхода, нет возможности убежать... Ведь она связана тем, что рядом спят эти двое, связана невероятной медлительностью этого поезда, подобной медлительности времени в том старом замке, где только и остается спать, как спят эти двое...

И вдруг, все еще пребывая по власти галлюцинации, Диди ощутила, как на душу ей навалилась такая тяжелая глыба неумолимой действительности, такое жгучее чувство пустоты и ее окутал такой невыносимо удушливый зной жизни, что непроизвольно, сама собой, рука ее потянулась к кожаному портфелю, который отец оставил открытым на сидении. Сверкающая граненая пробка флакона уже и раньше привлекала ее взгляд.

Брат и отец все еще спали. Некоторое время Диди рассматривала флакон, в котором отсвечивал розоватым блеском яд. Затем, как в дурмане, осторожно отвернула притертую пробку и медленно поднесла флакон к губам, не спуская глаз со спящих. Диди видела, как отец поднял во сне руку, чтобы согнать муху, проворно бегавшую по его лбу.

Вдруг рука, поддерживавшая флакон, тяжело опустилась на колени. В уши, как будто внезапно раскупорившиеся, ворвался устрашающий грохот поезда, такой жуткий грохот, что Диди испугалась, как бы он не заглушил крика, рвущегося из ее горла, раздирающего его.... Нет...

вот отец и брат вскочили... склонились над ней... Ухватиться бы за них!

Диди простерла руки, но ничего не поймала, не ушла, не увидела...

Три часа спустя маленькая покойница в длинном платье прибыла в Цунику, сказочную страну своих детских грез.

СВИСТОК ПОЕЗДА

Он бредил. Врачи считали, что началось воспаление мозга, энцефалит, и все его товарищи по службе повторяли этот диагноз, возвращаясь вдвоем, втроем из больницы, куда ходили его навещать.

Казалось, им доставляло особенное удовольствие сообщать о нем сведения в научных терминах, едва заученных со слов врачей, прямо на улице какому-нибудь запоздавшему коллеге.

- Бессознательное состояние...
- Энцефалит.
- Воспаление мозговой оболочки.
- Воспаление мозга.

Им хотелось казаться опечаленными, но в глубине души они были так довольны, что исполнили свой долг и вышли совершенно здоровыми из мрачной больницы под радостную лазурь зимнего утра.

- Он умрет? Сойдет с ума?
- Неизвестно.
- Умрет? Вряд ли!
- Но что он говорит? Что говорит?
- Все одно и то же. Бредит.
- Бедный Беллука.

И никому не приходило в голову, что условия, в которых этот несчастный жил столько лет, могли естественно свергнуть его в подобное состояние; и все, что он говорил и что всем казалось бредом, явным признаком безумия,— могло служить простым и ясным объяснением этого его состояния.

И в самом деле, то обстоятельство, что накануне вечером Беллука гордо возражал своему начальнику, а затем, после резкого выговора, чуть не бросился на

него, было веским доводом в пользу предположения, что у него самое настоящее воспаление мозга.

Более мягкого и покорного, более аккуратного и терпеливого человека, чем Беллука, невозможно было себе представить.

«Ограниченный»... да, кто его так назвал? Один из сослуживцев охарактеризовал его этим словом. Это было отлично сказано, да! Бедный Беллука был ограничен пределами нудных обязанностей счетовода. Он помнил только счета, открытые, простые, двойные и переводные, вычеты, изъятия, почтовые отправления, гроссбухи, расходные статьи, квитанции и тому подобное. Он был ходячим реестром или, скорее, старым ослом в наглазниках, тихонько тащившим свою тележку все одним и тем же размеренным шагом, по одной и той же дороге.

И что же, сотни раз этого старого осла били, безжалостно стегали, просто так, для забавы, из любопытства, чтобы посмотреть, нельзя ли заставить его разгорячиться или хотя бы приподнять обвисшие уши, или сделать попытку отбрыкнуться. Куда там! Он с неизменным спокойствием, без единого вздоха, переносил несправедливые удары и жестокие уколы, точно до него просто едва коснулись, или вернее, точно он уже больше ничего не чувствует, привыкнув год за годом сносить постоянные безжалостные удары судьбы.

Действительно, его бунт нельзя было объяснить ничем, кроме внезапного сумасшествия.

Тем более что выговор, сделанный накануне вечером, был справедливым: начальник действительно имел право его сделать. Уже с утра у Беллука было какое-то новое, непривычное выражение лица. И что совсем уж невероятно — с чем это сравнить? Разве только с рухнувшей лавиной! — он пришел с более чем получасовым опозданием.

Казалось, вдруг расширился его кругозор, внезапно упали наглазники, и перед ним предстало, развернулось зрелище жизни. Казалось, вдруг открылись его уши, и он впервые услышал неуловимые прежде голоса и звуки.

Он явился на службу ликующий, переполненный смутной и шальной радостью. И целый день ничего не делал.

Вечером, войдя в его комнату, начальник просмотрел регистры, бумаги и остановился, пораженный.

— Как же так? Что вы сегодня целый день делали?

Беллука посмотрел на него с улыбкой, почти дерзко и развел руками.

— Что это значит? — воскликнул тогда начальник, подойдя к нему и тряхнув его за плечо.— Эй, Беллука! Что это значит?

— А ничего! — ответил Беллука все с той же полудерзкой, полубессмысленной улыбкой на губах.— Ничего... Это поезд, синьор кавалер.

— Поезд?

— Да синьор, он свистел.

— Что за ерунду вы несете? Какой поезд?

— Сегодня ночью, синьор кавалер. Он свистел. Я слышал, как он свистел...

— Поезд?

— Да, синьор. И если бы вы знали, где я побывал! В Сибири... или... или... в лесах Конго... Это можно сделать в один миг, синьор кавалер...

Служащие, привлеченные криком разгневанного начальника, поспешили заглянуть в комнату и, услышав слова Беллука, принялись хохотать как сумасшедшие.

Тогда начальник, который в тот вечер, по-видимому, был не в духе, оскорбленный этим смехом, пришел в бешенство и грубо набросился на кроткую жертву своих прежних жестоких шуток.

Но на этот раз жертва, к изумлению и даже к испугу всех, взбунтовалась, выкрикивая все ту же чушь о свистке поезда и о том, что теперь, черт возьми, когда он слышал свисток, он не хочет, не может переносить такого обращения.

Его схватили, связали и отправили в больницу для умалишенных.

Он и там продолжал говорить об этом поезде. Он подражал его свистку, такому грустному, жалобному, точно доносившемуся откуда-то из ночной тьмы. И тут же добавлял:

— Он уходит, уходит. Синьоры, куда? Куда?

Он смотрел на всех какими-то новыми, незнакомыми глазами.

Эти глаза, всегда мрачные, тусклые, хмурые, теперь лучисто смеялись, точно глаза ребенка или бесконечно счастливого человека. Бессвязные фразы слетали с его губ. Это было неслыханно: поэтические, фантастические, причудливые слова, особенно поразительные потому, что невозможно было понять, как, каким чудом расцветали они на устах человека, занятого до того времени лишь

цифрами, регистрами, каталогами, точно слепого и глухого к жизни, не человека, а скорее — счетной машины. А теперь он говорил о *лазурном челе* снежных гор, вздымавшихся к небу; об огромных скользких китообразных в глубинах моря, с хвостами, *как запятые*. Повторяю, он говорил нечто неслыханное.

Тот, кто рассказывал мне об этом внезапном помешательстве, был совершенно ошеломлен, когда не заметил на моем лице не только изумления, но даже и легкого удивления.

Действительно, я молча выслушал это известие.

И молчание мое было полно скорби. Я покачал головой, горестно опустил углы губ и сказал:

— Синьоры, Беллука не сошел с ума. Будьте покойны, он не сошел с ума. Что-то с ним случилось, но что-то вполне естественное. Никто не может этого объяснить, потому что никто по-настоящему не знает, как жил этот человек до сих пор. А я знаю и убежден, что, повидавшись и поговорив с ним, я все объясню очень просто.

По дороге в больницу, где лежал несчастный Беллука, я продолжал рассуждать про себя:

— На человека, живущего так, как до сих пор жил Беллука, то есть жизнью «невозможной», самое обыкновенное событие, самое ничтожное происшествие, какое-нибудь пустяковое непредвиденное препятствие, даже ничтожный камешек на пути, может оказать потрясающее действие, которое никто не сумеет объяснить, если не поймет, что жизнь этого человека «невозможна». Объяснение следует искать именно в этом, в невозможных условиях жизни, и тогда все станет простым и ясным. Кто видит один только хвост, отвлекаясь от чудовища, которому он принадлежит, считает хвост сам по себе ужасным. Его необходимо видеть вместе с чудовищем, и тогда он покажется иным, именно таким, каким и *должен быть* хвост подобного чудовища: самым обыкновенным хвостом.

Я никогда не видел, чтобы люди жили так, как Беллука.

Я был его соседом, и не только я, но и все другие обитатели дома спрашивали себя, как может человек выносить подобную жизнь.

С ним жили трое слепых: жена, теща и сестра тещи. Последние две — глубокие старухи — были слепы от

катаракты ¹, но жена была совершенно слепа по другой причине: веки ее не размыкались.

За всеми троими нужно было ухаживать. Они пронзительно кричали с утра до вечера, потому что некому было им прислуживать. У двух вдовых дочерей, которые поселились в доме после смерти мужей,— одна с четырьмя, другая с тремя детьми,— не было ни времени, ни желания ходить за ними; только изредка они все же оказывали некоторую помощь матери.

Как мог прокормить все эти рты бедный Беллука на свое ничтожное жалованье счетовода? Он брал работу домой, по ночам переписывал бумаги. Переписывал под пронзительные крики этих пяти женщин и семи малышей, до тех пор, пока все они не укладывались на тех трех кроватях, которые имелись в доме.

То были широкие двуспальные кровати, но их было всего три на тринадцать человек.

Неистовые ссоры, ругань, опрокинутая мебель, разбитая посуда, плач, вопли, побои! Кто-нибудь из детей удирал в темноте и забирался к слепым старухам, спавшим на отдельной постели. Каждый вечер старухи спорили между собой, потому что ни одна из них не желала спать посередине и протестовала, когда приходила ее очередь.

Наконец все затихало, а Беллука продолжал работать до поздней ночи, до тех пор, пока перо не выпадало у него из рук, а глаза не закрывались сами собой.

Тогда он бросался, иногда прямо в одежду, на колченогий диванчик и тотчас же засыпал мертвым сном, а наутро еле вставал, еще более измученный, чем накануне.

И вот, синьоры: с Беллукой в таких условиях произошел вполне естественный случай.

Когда я пришел к нему в больницу, он сам рассказал мне об этом во всех подробностях. Правда, он был еще немного возбужден, но это ведь так естественно после всего, что случилось. Он смеялся над врачами, сиделками и сослуживцами, считавшими его сумасшедшим.

— Пускай! — говорил он. — Пускай!

Синьоры, Беллука много лет назад забыл — совершенно забыл, — что мир существует.

Вам это кажется странным?

Поглощенный вечными раздумьями о своей горест-

¹ Помутнение хрусталика глаза.

ной жизни, занятый целый день счетами в своей конторе, без минуты передышки, как животное с завязанными глазами, которое приковано к вороту колодца или мельницы, да, синьоры, еще много-много лет назад он забыл, совершенно забыл, что мир существует.

Двое суток тому назад, свалившись в изнеможении на свой диванчик, он, должно быть, от чрезмерной усталости, не смог сразу же заснуть, как обычно. И вдруг, в глубокой тишине ночи, он услышал далекий свисток поезда.

Точно сверкнула неожиданная молния. После столетних лет уши его внезапно обрели способность слышать. Взволнованный, с трепетом он мысленно последовал за поездом, уходящим в ночь.

Там, вдали от этого отвратительного дома, вдали от всех мучений, был, действительно был, мир, бесконечный мир, куда уходил поезд... Флоренция, Болонья, Турин, Венеция... Сколько городов, где он бывал в молодости... Да, он знал, какая жизнь кипит там! Жизнь, которой он и сам жил когда-то! И она продолжалась, продолжалась все время, пока он, как животное с завязанными глазами, вертел свой мельничный ворот. Он больше не думал о ней! Мир замкнулся для него, ограниченный муками домашней жизни, унылой, невыносимой теснотой конторы... А теперь вот он предстал перед его освобожденным внутренним взором: он снова могучим потоком влился в душу, весь целиком, без остатка. Озарение, постигшее его здесь, в этой тюрьме, точно молния, открыло ему невиданные доселе горизонты; теперь он мог свободно парить над знакомыми и незнакомыми городами, безлюдными равнинами, горными хребтами, непроходимыми лесами, океанскими просторами... Это озарение... этот трепет времени... Пока он жил своей «невозможной» жизнью, миллионы и миллионы людей по всей земле жили совершенно иначе. В тот самый миг, когда он здесь мучился, были снежные горы, поднимавшие к ночному небу свое *лазурное чело*... Да, да, он их видел, видел, видел... эти океаны... леса...

И вот теперь, когда весь мир снова хлынул в его душу, у него было какое-то утешение! Да, отрываясь на миг от своих мучений, он мог испытать в воображении глоток воздуха, которым дышит мир.

И этого довольно!

Конечно, в первый день он хватил через край. Он был опьянен. Целый мир сразу вошел в него! Но мало-помалу

он бы успокоился. Он чувствовал, что все еще немного пьян от чистого воздуха.

А успокоившись, он пошел бы извиниться перед начальником и снова взялся бы за свои счета.

Только начальник не должен теперь злоупотреблять его трудом, как раньше. Он должен разрешить ему время от времени, между регистрацией двух расходных статей, съездить в Сибирь... или... или... даже в леса Конго.

Это все происходит мгновенно, синьор кавалер. Теперь, когда раздался свисток поезда...

ТАЧКА

Я никогда на нее не смотрю, если поблизости кто-то есть; но чувствую, что она-то смотрит на меня, смотрит и смотрит, ни на миг не отводя глаз. Я хотел бы объяснить ей, когда мы остаемся наедине, что это всё пустое, что она может не беспокоиться, что я никогда не осмеюсь делать с другими то, что так торопливо проделываю с ней, то бесконечно важное для меня и незначительное для нее. Я этим занимаюсь с ней каждый день в удобную минуту, в величайшей тайне, с радостью, исполненной ужаса, ибо, дрожа от страха, испытываю сладострастное наслаждение божественным, сознательным безумием и чувствую, что хотя бы на мгновение обретаю полную свободу и могу отомстить за все.

Я должен быть уверен (а уверенность эту, по-моему, может дать мне только она одна), что никто не узнает, чем я занимаюсь. Если все откроется, это повлечет за собой невообразимые беды, и не только для меня одного. Я буду конченным человеком. Может быть, меня даже схватят, свяжут и в ужасе препроводят в сумасшедший дом.

И вот я читаю в глазах моей жертвы тот самый ужас, который охватит всех, если моя тайна будет раскрыта.

Бесчисленные люди вверяют мне свою жизнь, честь, свободу, состояние, осаждают меня с утра до ночи, добиваясь моего вмешательства, совета, помощи; я несу к тому же бремя другого, весьма важного долга по отношению к обществу и семье: у меня есть жена и дети, которые нередко поступают не так, как должно, и поэтому необходимо постоянно одергивать их суровой, властной рукой, постоянно подавать им пример моего бес-

прекословного и неуклонного подчинения обязанностям, а обязанности у меня одна ответственной другой — обязанности мужа, отца, гражданина, профессора юридического факультета, адвоката. Итак, горе мне, если откроется моя тайна!

Правда, жертва моя ничего сказать не может. Однако с некоторых пор я не чувствую себя в безопасности. Я растерян и встревожен. Потому что — хоть она и впрямь не может ничего сказать — она смóтрит на меня этими своими глазами, и в них так ясно виден ужас, что я боюсь, как бы в любую минуту кто-нибудь, кроме меня, не заметил этого ужаса и не стал доискиваться причины.

Тогда, повторяю, я буду конченным человеком. Значительность моего поступка может быть понята и оценена немногими, кому внезапно жизнь предстала такой, какой предстала мне.

Рассказать об этом так, чтобы меня поняли, нелегко. Но я попытаюсь.

Две недели тому назад я возвращался из Перуджи, куда ездил по делам, связанным с моей работой.

Я вменяю себе в строжайший долг, помимо всего остального, никогда не поддаваться гнетущей меня усталости, непомерному грузу возложенных на меня обязанностей и не позволяю себе хотя бы в малейшей степени чем-то отвлечься, хотя мой измученный мозг время от времени требует этого. Единственное, что я могу сделать, когда какое-то занятие чрезмерно утомляет меня, это переключиться на другое, новое.

Поэтому я взял с собой кожаную папку с еще неизвестными мне документами, чтобы изучить их в поезде. Едва мне встретилось в них какое-то затруднение, я оторвался от бумаг и обратился взглядом к окну вагона. Я смотрел в окно, но ничего не видел, углубившись в затруднявший меня вопрос.

Нет, по правде говоря, я не могу утверждать, будто ничего не видел. Глаза мои видели и, возможно, по-своему наслаждались прелестью и мягким очарованием умбрийских полей. Но сам я, разумеется, не отдавал себе отчета в том, что видят глаза.

Мало-помалу внимание, которое я уделял встретившейся трудности, стало рассеиваться, однако это не значит, что я обратил его на светлую, отрадную и безмятежную местность, расстилавшуюся перед моими глазами.

Я не думал о том, что вижу, да и вообще ни о чем больше не думал; не знаю, сколько времени просидел я в таком оцепенении, смутном и непонятном, но вместе с тем приятном и светлом. Дышалось легко. Дух мой как бы лишился способности что-либо ощущать и в бесконечной дали, с несвойственным ему восторгом, уловил едва заметное кипение иной жизни, которой он никогда не жил, но мог бы жить, не здесь, не сейчас, а там, в той бесконечной дали,— жизни, давно минувшей, прожитой им, быть может, неведомо как и когда; от нее веяло неясными воспоминаниями, но вспоминались не поступки, не образы, а подобию желаний, исчезнувших, еще не возникнув; печалью небытия, тревожной, невнятной и все же острой, схожей, должно быть, с печалью цветов, не успевших распуститься,— словом, кипение той жизни, которую ему предстояло когда-то прожить там, далеко-далеко, откуда она подавала знаки трепетными вспышками света; но не зародилась она, эта жизнь, где дух, конечно же, обрел бы себя во всей полноте, во всей цельности, пусть даже для страданий, а не только для радости, но то были поистине его собственные страдания.

Я не заметил, как глаза мои закрылись, но и во сне я, должно быть, видел мою несбывшуюся жизнь. Я говорю «должно быть», потому что проснулся я уже близко от города, в очень дурном настроении, совсем разбитым, с терпкой горечью и сухостью во рту, и тотчас же на меня навалилась отчаянная тоска, какое-то мрачное, налитое свинцом безразличие; все, что я видел вокруг и к чему давно привык, внезапно показалось мне лишенным всякого смысла и в то же время подавляло своим нестерпимым унынием.

В таком состоянии я вышел на перрон, сел в ожидавший меня у выхода автомобиль и поехал домой.

И вот я оказался у себя на лестнице, на площадке, перед дверью своей квартиры.

Именно тогда, стоя перед этой дверью цвета темной бронзы, где на овальной медной табличке было выгравировано мое имя, со всеми званиями впереди него и всяческими атрибутами моей учености и профессии позади, я вдруг, как бы со стороны, увидел самого себя и свою жизнь, но не узнал себя и жизнь эту не признал своей.

К моему ужасу, я в единый миг обрел уверенность

в том, что человек, стоящий перед этой дверью, держа под мышкой кожаную папку, человек, живущий в этом доме, не я и не был мною никогда. Внезапно я понял, что всегда находился вне этого дома, вне жизни этого человека, и не только этого, а, по существу, вне какой бы то ни было жизни. Я никогда не жил; не было у меня никакой жизни; я хочу сказать, не было той жизни, какую я мог бы назвать своей, желанной мне, прочувствованной мною.

Даже мое тело, весь мой внешний облик, неожиданно явившийся мне сейчас именно в такой одежде, в таком костюме,— все показалось мне чужим, будто кто-то навязал мне этот облик, придумав его, чтобы заставить меня действовать в чуждой мне жизни, совершать в этой жизни, где меня никогда не было, такие поступки, в которых дух мой, как я теперь внезапно понял, никогда не участвовал, никогда, никогда! Кто же сделал его таким, человека, представлявшегося мною? Кто хотел, чтобы он стал таким? Кто так его одел, так обул? Кто заставил его двигаться и говорить именно так, а не иначе? Кто навязал ему все эти обязанности, одна другой тягостней и отвратительней? Комендаторе, профессор, адвокат, человек, нужный всем, уважаемый всеми, вызывающий всеобщее восхищение, тот, чье вмешательство, совет, помощь всем необходимы, тот, кого рвут на части, не давая минуты покоя, минуты передышки,— это я? Я? Неужели? Да полно вам! Какое мне дело до забот, одолевающих этого человека с утра до вечера, какое мне дело до уважения, почтения, которыми он пользуется, комендаторе, профессор, адвокат, какое мне дело до богатства и почестей, пришедших к нему благодаря усердному, тщательному выполнению им всех обязанностей и добросовестной работе?

А там, за дверью, где на медной табличке овальной формы красуется мое имя, живет женщина и четверо детей; и каждый день, с тем же отвращением, что я испытываю теперь сам, но не терплю в них, они видят невыносимого человека, назвавшегося мною и представшего передо мной сейчас как посторонний, нет, как враг. Моя жена? Мои дети? Но если правда, что он никогда не был мною, если правда, что невыносимый человек, стоящий перед этой дверью, вовсе не я (а я с ужасающей уверенностью чувствовал, что это именно так), то чья жена эта женщина и кто отец этих четверых детей? Я?

Нет! Не я, а тот самый человек, кому в эту минуту дух мой, будь ему дано обрести телесную оболочку, истинный свой облик, надавал бы пинков, либо избил бы его, разорвал на части, уничтожил вместе со всеми его заботами, со всеми его обязанностями, и почестями, и уважением, и богатством, и вместе с женой, да, наверно, вместе с женой.

Ну, а дети?

Я схватился руками за голову и стиснул ее изо всех сил.

Нет. Я не чувствовал, что эти дети — мои. Но странное, тягостное чувство к ним, живущим вне меня, к тем самым детям, которых я видел каждый день, которым был нужен и я, и мои заботы, советы, вмешательство, — вот это чувство вместе с отчаянной тоской, напавшей на меня, когда я проснулся в поезде, заставили меня вернуться в невыносимого человека, стоящего перед дверью.

Я вынул из кармана ключи, открыл эту дверь и вошел в этот дом и в прежнюю свою жизнь.

Теперь о сути моей трагедии. Я сказал «моей», но кто знает, сколько нас, таких! Тот, кто живет, не видит себя, пока жив, просто живет... Если человеку дано увидеть собственную жизнь, значит, он больше ею не живет: он ее терпит, он ее влачит, влачит, как мертвый груз. Ибо любая форма есть смерть.

Очень, очень мало людей, знающих это; большинство, чуть ли не все, борются, суетятся, чтобы достигнуть, как принято говорить, положения, чтобы обрести некую форму, и, обретя, полагают, что завоевали жизнь, а на самом деле начинают умирать. Они этого не знают, потому что не видят себя, потому что уже не могут вырваться из умирающей формы, обретенной ими, они не сознают, что мертвы, и думают, что живы. Познает себя только тот, кому удастся увидеть свою форму, сотворенную им самим или другими, судьбой, обстоятельствами, условиями, в которых он родился. Но если мы можем увидеть ее, эту форму, это означает, что наша жизнь уже покинула ее, иначе мы бы ее не увидели, мы жили бы в ней, в этой форме, не видя ее, и понемногу умирали бы в ней с каждым днем, ибо она сама по себе есть смерть, но распознать ее не могли бы. Следовательно, мы можем видеть и познать только то, что в нас мертво. Познать себя и умереть

В моем случае дело обстоит еще хуже. Я вижу не только то, что мертво во мне; я вижу, что никогда не был живым, вижу форму, сотворенную для меня другими, не мной, и чувствую, что в этой форме жизнь моя, истинная моя жизнь, никогда не пребывала. Меня взяли, как берут любой материал, взяли некий мозг, некую душу, мышцы, нервы, плоть и по своему вкусу соединили и обработали их, чтобы они могли трудиться, действовать, выполнять обязанности, а я ищу себя в них и не нахожу. И я кричу, душа моя кричит в этой чуждой мне мертвой форме: как? неужели это я? неужели я такой? Да полно вам! И у меня вызывает тошноту, отвращение, ужас, ненависть, тот, кто не я и никогда мною не был, мертвая форма, что держит меня в плену без надежды на избавление. Форма, несущая бремя моих обязанностей, хотя я и не признаю их своими, подавленная моими заботами, хотя мне до них нет решительно никакого дела, окруженная всеобщим уважением, хотя мне оно не нужно; форма, которая и есть не что иное, как эти обязанности, эти заботы, это уважение вне меня, поверх меня: все пустое, все мертвое, но оно гнетет меня, душит, давит, не дает дышать.

Освободиться? Но никто не может сделать так, чтобы содеянное оказалось не содеянным и чтобы не было смерти, когда она уже схватила и крепко нас держит.

Все, содеянное тобой, существует. Если ты совершил поступок — неважно, что ты сам потом себя в нем не узнаешь, — то, что ты сделал, остается при тебе, это — твоя тюрьма. Последствия твоих поступков обвивают тебя, как щупальца, а ответственность, которую ты несешь за свои непредвиденные и невольные поступки, давит на тебя, как тяжелый и спертый воздух, которым невозможно дышать. И разве можно от нее избавиться? Разве могу я, в темнице формы, чуждой мне, но представляющей меня в глазах всех людей именно таким, каким все меня знают, каким я им нужен, каким меня уважают, разве могу я принять иную жизнь, истинную мою жизнь и жить ею? Жить в форме, мертвой для меня, но вынужденной существовать для других, для всех, кто навязал ее мне, кто хочет, чтобы она была именно такой, а не иной? Она непременно должна быть такой. Такой она нужна моей жене, детям, обществу, иначе говоря, господам студентам юридического факультета университета, господам клиентам, вверившим мне свою жизнь, честь, свободу, состояние. Она нужна им только такая, и я не могу

ее изменить, взбунтоваться, отомстить; и все же мне это удается каждый день, на одно мгновение, когда я совершаю этот свой поступок, в величайшей тайне, с трепетом и безмерной осторожностью выбирая подходящую минуту, когда никто не может меня увидеть.

Итак, вот уже одиннадцать лет живет у меня старенькая собака, белая с черным, разжиревшая, коротконогая и лохматая, с помутневшими от старости глазами.

У нас с ней никогда не было хороших отношений; возможно, она вначале не одобряла моей профессии, из-за которой в доме неукоснительно соблюдалась тишина; но с возрастом она мало-помалу стала с ней свыкаться и вот уже давным-давно, устав от назойливых приставаний детей, без конца возившихся с ней в саду, нашла убежище в моем кабинете и с утра до вечера спала на ковре, спрятав в лапах острую мордочку. Здесь она чувствовала себя в безопасности, под защитой бесчисленных бумаг и книг. Время от времени она приоткрывала один глаз и смотрела на меня, как бы говоря:

— Так, дорогой, молодец! Работай и не уходи отсюда, потому что, пока ты здесь сидишь и работаешь, никто не войдет и не помешает мне спать.

Безусловно, именно так думала бедная собака. Искушение воспользоваться ею для моей мести охватило меня внезапно, две недели тому назад, когда я заметил, как она на меня поглядывает.

Ничего плохого я ей не делаю; вообще ничего особенного я не делаю. Просто, как только у меня появляется возможность, как только я хотя бы на мгновение освобождаюсь от клиентов, я осторожно, потихоньку встаю с кресла, чтобы никто не заметил, что моя мудрость, внушающая всем страх и зависть, моя потрясающая мудрость профессора юридического факультета и адвоката, моя суровая важность мужа и отца на миг покинули кресло, где восседали как на троне; на цыпочках подкрадываюсь к двери и украдкой заглядываю в коридор, не идет ли кто; закрываю дверь на ключ — только на одно мгновение; глаза мои горят от радости, руки дрожат от сладострастного предвкушения минуты, когда я наконец позволю себе стать безумным, стать безумным хотя бы на миг, вырваться на миг из темницы мертвой формы, насмеяться над ней и разрушить, уничтожить на миг эту мудрость, эту важность, что душат и унижают меня; я подбегаю к ней, к собаке, спящей на

ковре; потихоньку, осторожно беру ее за задние лапы и толкаю вперед, как тачку; заставляю ее сделать так восемь или десять шагов, не больше, на передних лапах, держа ее за задние.

И это все, ничего больше. Сразу же после этого я иду к двери, тихо-тихо отпираю ее без малейшего щелчка и снова усаживаюсь на свой трон, в свое кресло, и вот уж я готов принять очередного клиента, с прежней суровой важностью, заряженный, как пушка, всей моей потрясающей мудростью.

Но вот беда: последние две недели собака все смотрит на меня мутными глазами, широко раскрытыми от ужаса. Повторяю, я хочу, чтобы она поняла, что это все пустое, что она может быть спокойной и не надо ей так смотреть на меня.

Но ведь собака отлично понимает, какой страшный поступок я совершаю. Вот если бы это в шутку сделал кто-нибудь из детей, это и впрямь было бы пустяком; но она хорошо знает, что я-то шутить не могу; она и допустить не может, чтобы я пошутил хотя бы на мгновение,— и вот она, проклятая, все смотрит да смотрит на меня, охваченная ужасом.

СКАМЬЯ ПОД СТАРЫМ КИПАРИСОМ

Даже в лучшую свою пору (а о ней еще многие помнили) он был из тех людей, чье поведение всегда остается непонятным: то они смотрят на тебя как-то по-особенному; то смеются ни с того ни с сего, прямо тебе в лицо, безо всякого повода; то вдруг поворачиваются к тебе спиной, и ты сразу чувствуешь себя дураком. Сколько ни имеешь с ними дела, ты никогда до конца не узнаешь, что там у них кроется в глубине души; вечно они рассеянны, вечно где-то витают; однако в какой-то миг, когда ты вовсе этого не ждешь, они приходят в ярость из-за такой ерунды, которую и замечать-то не стоило, или, того хуже, ты с чувством какого-то унижения неожиданно узнаешь, что они давным-давно, по неизвестной причине, затаили против тебя глубокую и коварную злобу и в то же время не отказывают в дружбе и уважении людям, весьма дурно поступившим с ними не далее как месяц тому назад.

Странной и несколько смешной были и наружность его, и манера держаться. Ноги, без того достаточно тощие, казались палками в узких, как у циркового наездника, брючонках; пиджак, неизменно двубортный, был ему всегда настолько тесен, что туловище походило на торс манекена, привинченного к трехногой подставке и выставленного в магазине готового платья. А над этим туловищем — маленькая головка, торчком сидящая на непомерно длинной шее, нафабранные усики и живые пронзительные птичьи глазки, моргавшие беспрестанно.

Каждому, кто знал, что это один из лучших адвокатов в наших краях, невольно при виде его хотелось наделить его другой внешностью. Но адвокат Лино Чимино в ответ на их разочарование хохотал им в лицо, как всегда.

Кое-кто из приятелей, искренне к нему расположенных, не раз пытался внушить ему, что такому человеку, как он, надо бы воздержаться от иных разговоров, иных поступков и не давать то и дело пищу сплетникам, вынося на люди тайные горести семейной жизни.

Да куда там! Он словно испытывал бесстыдное наслаждение, делаясь предметом всеобщего злословия. Так, например, размахивая что было сил руками, он в самых безобразных выражениях громко взывал к небу о мщении за то, что жена четыре раза подряд приносила ему девочек; будто она проделала это нарочно, чтобы показать всем, что он — да, черт возьми, он, именно он! — не способен произвести на свет ребенка мужского пола! Нелепые вспышки ярости привели наконец к тому, что друзья, чтобы его не расстраивать, мало-помалу прекратили свои уговоры.

Трудно было поверить, что такой талантливый человек может с головой погружаться в убогие, ничтожные мелочи жизни и в то же время волновать и потрясать слушателей, когда его внезапно осенит вдохновение или когда, разбирая какой-то сложный, запутанный случай, он приводил доводы, в свете которых все становилось ясным и понятным.

В доме у него, однако, царил сущий ад из-за постоянных ссор с женой, то и дело грозивших семье полным развалом. То один, то другой из его друзей вынужден был откликаться на его зов и приходиться, чтобы восстановить там мир; особенно часто выпадало это на долю одного из них, кому Чимино, по своей привычке неожиданно дарить кому-то свою дружбу, внезапно стал

полностью доверять; на этот раз, впрочем, по общему мнению, выбор его оказался разумным: то был молодой адвокат Карло Папия.

Чимино пригласил его в свою адвокатскую контору, как только тот получил университетский диплом. Все четыре девочки, тогда еще маленькие, едва завидев, как он торопливо направляется к их дому, бежали ему навстречу, зная, что с его приходом на лицо матери и даже отца вернется улыбка; как только в доме восстанавливался мир, девочки звали его гулять и наперебой хватались за него, каждая хотела, чтобы он шел с ней за руку, а он с шутливым отчаянием объяснял, что у него только две руки и поэтому он никак не может угодить всем четверем. Друзья, видя, как он идет по городу с этими ласковыми, щебечущими девчушками, радушно приветствовали его и предсказывали, что теперь, когда Чимино ему покровительствует и он стал любимцем семьи, окупятся наконец все жертвы, принесенные за годы его учения несчастными, давно обедневшими родителями.

Но можно ли безнаказанно брать в посредники между собой и молодой женой человека еще моложе, чем она, с приятной наружностью, приветливого в обращении да еще старающегося установить в доме любовь и согласие? Как только измена была обнаружена, Лино Чимино повел себя так странно, как умел вести себя только он. Нелепость следовала за нелепостью, одна глупее другой. Всем известно, что иные происшествия нипочем не скроешь, не сохранишь в тайне от людей; как ни старайся, новость просочится то тут, то там, пока не станет общим достоянием, и только из жалости все делают вид, будто ничего не знают. Но куда хуже самому поднять шум, а потом, поняв, как далеко зашло дело, вдруг остановиться, застыть среди позора, собственными руками выставленного напоказ, и странным бездействием обмануть ожидания окружающих.

Сперва Чимино выгнал из дома жену, но даже не подумал отомстить любовнику, а, напротив, заявлял всем и каждому, что благодарен ему за услугу; потом, из жалости к дочкам, разрешил жене вернуться при условии, что она никогда больше не увидится с любовником; но стоило ему в первый раз встретить Папия на улице, как он выхватил из кармана револьвер и — пиф-паф — давай палить, себя не помня; прохожие разбежались кто куда; Папия отделался легкой раной в руку, а его противника

схватили двое полицейских. Когда суд его оправдал, он построил себе двухэтажный особнячок, видом смахивающий на тюрьму, поселил жену с дочками в верхнем этаже, а сам жил внизу и водил к себе на ночь девок, всех одного пошиба,— словом, вел себя так глупо и постыдно, что растерял бы вместе с уважением друзей еще и всех клиентов, если бы страх, что он может оказаться на противной стороне, не удержал их от желания обратиться к другим адвокатам.

Знаете, как бывает, когда вдруг схватит страшная резь в животе, такая, что дыхания не переведешь, не поймешь, как и куда повернуться, цепляешься за кровать, готов на стену лезть, рад бы кричать, да не хватает сил; все окружающее, на что ни посмотришь, вызывает нестерпимое отвращение, в особенности лекарства, которые наперебой предлагают те, что стоят рядом, смотрят на тебя и мало-помалу раздражаются, глядя на твои муки; и тебе становится легче от их раздражения, будто это единственная отдушина, найденная тобой, никем не предложенная.

По счастью, такие приступы быстро проходят. Но адвокату Лино Чимино боль свела внутренности и не отпускала, а грызла его год за годом.

Жена снова находилась у него в доме, любовник спокойно уехал из города, после того как Чимино был оправдан, и все находили дальнейшую месть ненужной и дальнейшую шумиху бессмысленной.

Однако ему было мало того, что жена его жила словно в заточении и даже в окно не могла посмотреть, так как ставни были всегда закрыты. Ему было мало этого, потому что при ней оставались девочки (но ведь и это, если угодно, заслуживало осуждения, ибо не может хорошо воспитать детей женщина, позабывшая, что она мать, и ставшая плохой женой); к тому же, лишившись свободы и общения с людьми, она была зато избавлена от его присутствия и в то же время сама по-прежнему была ему в тягость. Живя внизу, он слышал, как она ходит у него над головой, не раз слышал также, как она поет и смеется. Он довел до полного разорения родителей Папия, и без того живших в нужде, и продолжал втайне преследовать их сына; но и этого ему было мало, так как он знал, что уехал Папия не из-за его преследований, а из-за сыпавшихся на него отовсюду попреков в том, что он-де, как последний дурак, поддался соблазну

любовной интрижки и причинил такое зло своему благодетелю, а также самому себе и своим родным. А если так (и Чимино понимал, что так оно и есть), то он, Чимино, продолжает втаптывать его в грязь скорее на радость другим, нежели себе. И ему, пожалуй, хотелось, чтобы кто-нибудь, наперекор всем, уговорил этого дурака пренебречь всеобщим осуждением, вернуться сюда и вызвать в нем куда более неистовый гнев, возродить в нем ярость куда более страшную.

Но никто и пальцем не пошевелил; и мало-помалу вовсе испарилась и гнев, и ярость. О Папия ничего не было слышно. Шли годы; и когда девочки выросли, вышли замуж за клиентов отца и те развезли их, униженных и расстроенных, без свадебных торжеств по разным провинциальным городкам, никто не задумался, как теперь сложится жизнь Чимино в опустелом доме, где жена, в одиночестве, жила наверху, а он, в одиночестве, внизу.

Бурные чувства, кипевшие в нем в ту далекую пору, остыли в унылой повседневности жизни, и само воспоминание о них, быть может, было погребено и забыто.

Но воспоминание это пробудилось, неожиданно-негаданно, ожило на глазах у всех, подобно ужасному призраку, и всем почудилось, будто неведомое правосудие годами тайне готовило страшную кару; на улицах города неизвестно откуда появился, с одной стороны, Папия, просивший милостыню, оборванный, истощенный, неузнаваемый, с растрепанной уже седой бородой, полуслепой, а с другой — Чимино, превратившийся в собственную тень после нескольких месяцев, что он просидел взаперти у себя дома, скрывая какую-то тяжелую болезнь. А затылок-то у него, боже мой, раздулся над воротничком чуть ли не на ладонь, весь лоснился и так затвердел, что головы не поднять, будто под ярмом, подбородок уткнулся в шейную ямку, а глаза застыли в мучительной, пугающей неподвижности, на бледном, исхудавшем и в то же время отечном лице, осыпанном черными точками вроде тех, какими бывают испещрены камни старых домов. Коварная болезнь, много лет таившаяся в нем после бурной жизни и постоянных безумств, которым он предавался в отместку за измену жены, теперь захватила его врасплох и беспощадно впилась в затылок, до непристойности обнаженный и затвердевший.

Но глаза его, застывшие в нестерпимой муке, все еще

горели таким ярким огнем, что никому не могло прийти в голову, будто рассудок его помрачился. Однако глаза эти внушали ужас. И клиенты, один за другим, покидали навсегда кабинет, где он с прежней точностью ждал их по утрам, сидя за письменным столом, уже не заваленным, как раньше, бумагами, не сводя глаз с пожелтевшей, некогда зеленой портьеры, которую никто уже не отдернет. В привычный час он запирает кабинет и шел прогуляться по пустой аллее за городскими воротами, откуда открывался прекрасный вид на холмы и долины.

На повороте аллеи, там, где она поднималась по довольно крутому склону соседнего холма, стояла, под кипарисом, скамья. Деревья, образующие аллею, были молодыми и свежими. Один только кипарис казался здесь чужим и одиноким. Хвоя давно с него осыпалась, и на старости лет он стал похож на огромный шест, мертвый и гладкий, увенчанный реденьким султаном, похожим на щетку для чистки ламповых стекол. Никто не приходил посидеть на скамейке под сенью этого старого, зловещего кипариса. А Чимино как раз там-то и сидел долгими часами, неподвижный и мрачный, как пугало, кем-то посаженное тут смеха ради.

Был еще ранний вечер, но уже почти что стемнело. Сидя на скамье, Чимино увидел, что по пустой аллее идет Папия, протянутой рукой как бы отгоняя темноту, а другой рукой, с палкой, нащупывая дорогу.

Чимино окликнул его.

Скамья стояла на виду и в то же время словно пряталась в полумраке, как все, что смутно видишь в сумерках.

Полуслепой Папия услышал голос и вытянул шею, чтобы разглядеть, кто его зовет; узнав Чимино, он сперва вздрогнул, а потом разразился рыданиями, булькавшими где-то в животе и сотрясавшими все его тело; он упал на скамью; громко плакать он не мог и только жалобно и непрерывно скулил и хлюпал носом.

Оба молчали.

Услышав, как плачет Папия, Чимино, все так же не поворачивая головы, протянул руку и тихонько похлопал по его колену.

Так они и сидели, внезапно сближенные острой горечью всего, что пережили по обоюдной вине; и горечь эта порождала в них, быть может всего на мгновение, безысходную жалость, не приносящую утешения ни тому, ни другому.

Покойный Маттиа Паскаль

РОМАН

1. ПЕРВАЯ ПОСЫЛКА СИЛЛОГИЗМА

Я знал очень мало, а достоверно мне было известно, пожалуй, только одно: меня зовут Маттиа Паскаль. И я этим пользовался. Если кто-нибудь из друзей или знакомых до такой степени терял рассудок, что приходил просить у меня совета или указания, я пожимал плечами, прищуривался и отвечал:

— Меня зовут Маттиа Паскаль.

— Спасибо, дорогой. Я это знаю.

— И тебе этого мало?

По правде сказать, этого было мало даже мне самому. Но тогда я еще не понимал, каково человеку, который не знает даже этой малости и лишен возможности ответить при случае:

— Меня зовут Маттиа Паскаль.

Иные, пожалуй, посочувствуют мне (это ведь так легко!), представив себе горе несчастного, который внезапно узнает, что... ну, словом, что у него никого нет — ни отца, ни матери, и что ему самому неизвестно, жил он или не жил. Конечно, такие люди начнут возмущаться (это ведь еще легче!) испорченностью нравов и пороками нашего жалкого века, обрекающего ни в чем не повинного бедняка на безмерные страдания.

Ну что ж, слушайте! Я мог бы представить генеалогическое древо, изображающее происхождение моей семьи, и документально доказать, что я знал не только своих родителей, но и своих предков, равно как их не всегда похвальные дела в давно прошедшие времена.

А что дальше?

А вот что: все, происшедшее со мной, очень странно и совершенно исключительно, да, да, настолько исключительно и странно, что я решил рассказать об этом.

Почти два года подряд я был хранителем книг,

вернее — охотником за крысами в библиотеке, которую завещал нашему городу некий монсиньор Боккамацца, скончавшийся в 1803 году. Нет сомнения, что этот прелат плохо знал привычки и характер своих сограждан, если питал надежду, что дар его постепенно пробудит в их душах любовь к знанию. Могу засвидетельствовать, что такая любовь не пробудилась до сих пор, и говорю это в похвалу моим землякам. Городок был так мало признателен Боккамацце за его дар, что не подумал даже воздвигнуть ему статую — хотя бы бюст, а книги много лет валялись кучей в большом сыром складе. Потом их вытащили оттуда — можете себе представить, в каком виде! — и перевезли в отдаленную часовенку Санта-Мария Либерале, где, не знаю уж почему, запрещено было отправлять богослужение. Здесь их без всяких инструкций вверили, как бенефиций или синекуру, некоему бездельнику с хорошей протекцией, чтобы тот за две лиры в сутки проводил в библиотеке несколько часов в день, глядя или даже не глядя на книги и дыша запахом глена и плесени.

Такой жребий выпал и мне. С первого же дня я проникся настолько глубоким презрением к книгам, печатным и рукописным (например, к некоторым старинным фолиантам нашей библиотеки), что ни тогда, ни теперь ни за что бы не взялся за перо. Однако я уже сказал выше, что считаю свою историю действительно странной и даже поучительной для любопытного читателя, если он, осуществив давнюю надежду покойного монсиньора Боккамаццы, забредет в библиотеку, где будет храниться моя рукопись. Впрочем, рукопись эта может быть выдана ему для прочтения не раньше чем через пятьдесят лет после моей третьей, последней и окончательной смерти.

Ведь в данный момент (видит бог, мне бесконечно горько это сознавать!) я мертв. Да, да, я умер уже дважды — в первый раз по ошибке, а во второй... Впрочем, слушайте все по порядку.

2. ВТОРАЯ ПОСЫЛКА СИЛЛОГИЗМА (ФИЛОСОФСКАЯ) ВМЕСТО ИЗВИНЕНИЯ

Мысль или, вернее, совет писать мне подал мой уважаемый друг дон Элиджо Пеллегринотто, нынешний хранитель книг Боккамаццы, которому я поручу свою

рукопись, как только ее закончу, если это вообще когда-нибудь произойдет.

Я пишу эти записки в заброшенной часовенке при свете свисающего с купола фонаря, в апсиде, отведенной для библиотекаря и отделенной от зала низкой деревянной решеткой с маленькими пилястрами. Дон Элиджо тем временем пытит, выполняя добровольно взятую на себя обязанность и пытаюсь навести хотя бы приблизительный порядок в этом книжном вавилонском столпотворении. Боюсь, однако, что ему не удастся довести дело до конца. Никто из прежних библиотекарей не пытался выяснить, хотя бы даже по корешкам, какого рода книги подарил городу прелат. Считалось, что все они — душеспасительного свойства. Теперь Пеллегринотто, к великой своей радости, обнаружил в библиотеке книги на самые разные темы; а так как их перевозили и сваливали как попало, путаница получилась невообразимая. Книги, оказавшиеся по соседству, склеились, образовав самые немыслимые комбинации. Дон Элиджо рассказывал мне, например, что ему стоило большого труда отделить «Жизнь и смерть Фаустино Матеруччи, бенедиктинца из Полироне, которого кое-кто именует блаженным», биографию, изданную в Мантуе в 1625 году, от весьма непристойного трактата в трех книгах «Искусство любить женщин», написанного Антониом Муцием Порро в 1571 году. Из-за сырости переплеты этих двух книг по-братски соединились. Кстати, во второй книге этого непристойного трактата подробно говорится о жизни и любовных приключениях монахов.

Много занятных и приятнейших сочинений извлек дон Элиджо Пеллегринотто из шкафов библиотеки, целый день просиживая на лесенке, взятой им у фонарщика. Иногда, найдя какую-нибудь интересную книгу, он ловко бросал ее сверху на громадный стол, стоявший посередине часовенки; эхо гулко вторило удару, поднималась туча пыли, из которой испуганно выскакивало несколько пауков; я прибежал из апсиды, перепрыгивая через загородку, и сначала той же книгой прогонял пауков с пыльного стола, а потом открывал ее и начинал просматривать.

Так постепенно я приохотился к подобного рода чтению. Дон Элиджо говорил мне, что моя книга должна быть написана по образцу тех, которые он находил

в библиотеке, то есть должна иметь свой особый аромат. Я пожимал плечами и отвечал, что эта задача не для меня. Кроме того, меня удерживало еще кое-что.

Вспотевший и запыленный, дон Элиджо спускался с лестницы и шел подышать воздухом в обнесенный заборчиком из прутьев и колышков огородик, который ему удалось развести позади апсиды.

— Знаете, мой уважаемый друг,— сказал я ему однажды, сидя на низенькой садовой стене и опираясь подбородком о набалдашник трости, в то время как дон Элиджо окапывал латук,— по-моему, теперь не время писать книги даже для забавы. В отношении литературы, как и в отношении всего остального, я должен повторить свое любимое изречение: «Будь проклят Коперник!».

— Ой-ой-ой, при чем тут Коперник? — воскликнул дон Элиджо, выпрямляясь и поднимая покрасневшее от работы лицо, затененное соломенной шляпой.

— При том, дон Элиджо, что когда земля не вертелась...

— Ну вот еще! Она всегда вертелась!

— Неправда! Человек этого не знал, а значит, для него она не вертелась. Для многих она и теперь не вертится. На днях я сказал это одному старику крестьянину, и знаете, что он мне ответил? Что это удобное оправдание для пьяниц. Простите, но и вы сами не имеете, в конце концов, права сомневаться в том, что Иисус Навин остановил солнце. Впрочем, довольно об этом. Я хочу лишь сказать, что, когда земля не вертелась, человек, одетый греком или римлянином, выглядел весьма величественно, чувствовал себя на высоте положения и наслаждался собственным достоинством; по этой причине ему и удавались обстоятельные рассказы, полные ненужных подробностей. Как вы сами учили меня, у Квинтилиана сказано, что история существует для того, чтобы писать ее, а не для того, чтобы переживать. Так или нет?

— Так,— согласился дон Элиджо,— но верно и другое: никогда не писали более обстоятельных книг, никогда не входили в более ничтожные подробности, как с тех пор; когда, по вашим словам, земля начала вертеться.

— Ну хорошо! «Господин граф поднимался рано, точно в половине девятого... Госпожа графиня надела сиреневое платье с роскошной кружевной отделкой у шеи... Терезина умирала с голоду, Лукреция изнемогла

от любви...» О, Господи, да какое мне до этого дело! Разве не находимся все мы на невидимом волчке, опаленном лучами солнца, на безумной песчинке, которая вертится и вертится, сама не зная почему, без всякой цели, словно ей просто нравится вертеться, чтобы нам было то чуть-чуть теплее, то чуть-чуть холоднее? А после шестидесяти — семидесяти ее оборотов мы умираем, причем нередко с сознанием того, что жизнь наша — вереница мелких и глупых поступков. Милый мой дон Элиджо, Коперник, Коперник — вот кто безвозвратно погубил человечество. Теперь мы все постепенно приспособились к концепции нашей бесконечной ничтожности, к мысли, что мы, со всеми нашими замечательными изобретениями и открытиями, значим во вселенной меньше, чем ничто. Какую же ценность могут иметь рассказы, не говорю уж о наших личных страданиях, но даже о всеобщих бедствиях? Теперь это только история ничтожных червей. Вы читали о небольшой катастрофе на Антильских островах? Нет? Бедняжка земля, устав бесцельно вертеться по желанию польского каноника, слегка вспыхнула и изрыгнула чуть-чуть огня через один из своих бесчисленных ртов. Кто знает, чем вызвано это разлитие желчи? Может быть, глупостью людей, которые никогда не были так надоедливы, как ныне. Ладно. Несколько тысяч червяков поджарилось. Будем жить дальше. Кто вспомнит о них?

Дон Элиджо Пеллегринотто все же заметил мне, что с какой бы жестокостью мы ни старались сокрушить, уничтожить иллюзии, созданные для нашего блага заботливой природой, нам это не удастся: человек, к счастью, забывчив.

Это правда. В иные ночи, отмеченные на календаре, наш муниципалитет не зажигает фонарей и часто — в пасмурную погоду — оставляет нас в темноте.

А это доказывает следующее: в глубине души мы и теперь верим, что луна горит в небе только для того, чтобы освещать нас ночью, как солнце освещает днем, а звезды — чтобы радовать нас великолепным зрелищем. Именно так. Нам часто хочется забыть, что мы лишь ничтожные атомы и что у нас нет оснований уважать и ценить друг друга, ибо мы способны драться из-за кусочка земли и грустить о таких вещах, которые показались бы нам бесконечно мелкими, если бы мы по-настоящему прониклись сознанием того, что мы собой представляем.

Несмотря на это предуведомление, я, ввиду необычности моей истории, все-таки расскажу о себе, но расскажу насколько возможно короче, сообщая лишь те сведения, которые сочту необходимыми.

Некоторые из них, конечно, представят меня не в очень-то выгодном свете; но я сейчас нахожусь в таких исключительных условиях, что могу считать себя как бы стоящим за пределами жизни, а следовательно, свободным от каких-либо обязательств и какой-либо щепетильности.

Итак, начнем.

3. ДОМ И КРОТ

Вначале я чересчур поторопился, сказав, что знал своего отца. Я его не знал. Мне было четыре с половиной года, когда он умер. Тридцати восьми лет от роду он поехал по торговым делам на одном из своих кораблей на Корсику и не вернулся: он умер там в три дня от злокачественной лихорадки, оставив порядочное состояние жене и двум детям — Маттиа (которым я был и когда-нибудь снова стану) и Роберто, родившемуся на два года раньше меня.

Кое-кто из местных старожилов любит порой намекнуть, что богатство моего отца (которое теперь не должно бросать на него тень, потому что оно целиком перешло уже в другие руки) было, скажем мягко, таинственного происхождения.

Говорят, что он добыл его в Марселе, обставив в карты капитана английского торгового судна, который, спустив все деньги, какие у него были с собой (вероятно, порядочную сумму), проиграл также большое количество серы, погруженной в далекой Сицилии для одного ливерпульского негоцианта, зафрахтовавшего пароход, — знают даже это! А имя? Это никого не интересует; после проигрыша капитан в отчаянии снялся с якоря, вышел в море и утопился, так что по прибытии в Ливерпуль тоннаж парохода уменьшился на вес капитана. Итак, балластом удачи моего отца служила зависть его сограждан.

Мы владели землей и домами. Мой отец был предприимчив и хитер и потому не занимался коммерцией в каком-нибудь одном определенном месте, а путешествовал на своем двухмачтовом суденышке, покупая, где ему было удобнее и выгоднее, и сейчас же перепродавая самые разнообразные товары; однако он не увлекался

слишком большими и рискованными операциями и постепенно обращал свою прибыль в земли и дома здесь, в своем родном местечке, где, вероятно, рассчитывал вскоре отдохнуть в мире и довольстве с женой и детьми, наслаждаясь достатком, добытым с таким трудом. Так, он купил сначала участок Дуэ-Ривьере, богатый оливами и шелковицей, потом имение Стиа, щедро орошаемое ручьем, на котором он выстроил мельницу; потом всю возвышенность Спероне — лучшие виноградники в нашей округе — и, наконец, Сан-Роккино, где возвел прелестную виллу. В городке, кроме дома, в котором мы жили, отец приобрел еще два других, а также большое здание, приспособленное ныне под верфь.

Его почти скоропостижная смерть принесла нам разочарование. Моя мать, не способная сама управлять наследством, вынуждена была довериться человеку, которому отец оказал столько благодеяний, что его общественное положение совершенно изменилось. Этому человеку перепало от нас так много, что он должен был бы питать к нам хоть чуточку признательности, которая не потребовала бы от него никаких жертв, разве что немного рвения и честности.

Святая женщина — моя мать! От природы тихая и застенчивая, она не знала жизни и людей и рассуждала совсем как ребенок. Она говорила в нос и так же смеялась, хотя, словно стыдясь своего смеха, неизменно сжимала при этом губы. Очень хрупкая, она после смерти отца стала прихварывать, но никогда не жаловалась на свои страдания; думаю, что она никогда даже мысленно не досадовала на них, покорно принимая все как естественное следствие своего несчастья. Может быть, она просто думала, что ей следовало бы умереть с горя, и благодарил Бога за то, что он, ради ее детей, оставляет жизнь такому измученному и жалкому существу, как она.

К нам она питала почти болезненную нежность, трепетную и боязливую. Она хотела, чтобы мы постоянно были около нее, словно боялась потерять нас, и стоило кому-либо из нас на минуту отлучиться, как прислугу немедленно отряжали разыскивать пропавшего по всему нашему большому дому.

Она слепо подчинялась мужу и, лишившись его, почувствовала себя потерянной в этом мире. Теперь она выходила из дому только рано утром по воскресеньям, когда отправлялась к мессе в ближайшую

церковь в сопровождении двух старых служанок, с которыми она обращалась как с родственницами. Занимали мы в большом доме всего три комнаты; в остальных, за которыми кое-как присматривала прислуга, мы шалили. Обветшалая мебель и выцветшие занавеси в этих комнатах источали затхлый запах, свойственный старинным вещам и кажущийся дыханием другой эпохи; я вспоминаю, что нередко подолгу осматривался там вокруг, изумленный и подавленный молчаливой неподвижностью этих предметов, столько лет стоявших без движения, без жизни.

Одной из самых частых посетительниц мамы была сестра отца, старая дева с глазами как у хорька, ворчливая, смуглая, гордая. Звали ее Сколастика. Но она никогда не оставалась у нас подолгу, потому что во время разговора внезапно приходила в ярость и убегала, ни с кем не попрощавшись. Ребенком я ее очень боялся. Я глядел на нее во все глаза, в особенности когда она в бешенстве вскакивала и начинала кричать моей матери, гневно топая ногой:

— Слышишь? Под полом яма. Это крот! Крот!

Она намекала на нашего управляющего Маланью, который исподтишка рыл яму у нас под ногами. Тетя Сколастика (это я узнал позже) хотела, чтобы мать во что бы то ни стало вторично вышла замуж. Обычно золовкам такие мысли не приходят в голову и таких советов они не дают. Но у Сколастики было острое и гордое чувство справедливости; оно-то, в еще большей мере, чем любовь к нам, не позволяло ей спокойно смотреть, как этот человек безнаказанно обкрадывает нас. Вот почему, сознавая, как непрактична и слепо доверчива моя мать, Сколастика видела лишь один выход из положения — второй брак. И она прочила маме в мужа одного беднягу, по имени Джероламо Помино. Он был вдовец и жил с сыном, который здравствует поныне; зовут его, как и отца Джероламо; он мой большой друг и даже больше чем друг, как будет ясно из дальнейшего. Еще мальчиком он приходил к нам вместе с отцом и приводил в отчаяние меня и моего брата Берто. Отец его в юности долго добивался руки тети Сколастики, но она и слышать не хотела о нем, как, впрочем, не хотела и никого другого, и не потому, что от природы была не способна любить, но потому, что, как она сама признавалась, даже отдаленное предположение об измене, хотя бы

мысленной, любимого человека могло довести ее до преступления. Все мужчины, по ее мнению, были притворщики, мошенники и обманщики. И Помино тоже? Нет. Помино — нет. Но она убедилась в этом слишком поздно. За каждым мужчиной, который к ней сватался, а потом женился на другой, ей удавалось узнать какой-нибудь изменнический поступок, чему она свирепо радовалась. За Помино же таких грехов не водилось: несчастный был жертвой своей жены.

Почему же она не хотела выйти за него теперь? Вот еще! Ведь он уже вдовец! Он принадлежал другой женщине, о которой он, может быть, станет по временам вспоминать. И потом... Ну конечно, это же видно за милю, несмотря на всю его робость! Бедный синьор Помино влюблен, да, влюблен, и понятно в кого!

Да разве моя мать могла согласиться на такой брак? Он казался ей самым настоящим кощунством. К тому же бедняжка и не верила, что тетя Сколастика говорит серьезно; она смеялась своим неповторимым смехом над гневными вспышками золовки и протестами бедного Помино, который обычно присутствовал при этих спорах и которого старая дева осыпала самыми преувеличенными похвалами. Сколько раз он восклицал, ерзая на стуле, как на ложе пытки:

— Боже все милостивый!

У этого чистенького, аккуратненького человечка с добрыми голубыми глазками была одна слабость — он пудрился и, как мне кажется, даже слегка поддурманивал щеки; он явно гордился тем, что у него до преклонных лет сохранились волосы, которые он заботливо взбивал и постоянно охорашивал.

Не знаю, как пошли бы наши дела, если бы моя мать, не ради себя, а лишь заботясь о будущем своих детей, последовала совету тети Сколастики и вышла замуж за Помино. Несомненно одно: они, во всяком случае, шли бы не хуже, чем при этом кроте, синьоре Маланье.

Когда мы с Берто подросли, большая часть состояния уже исчезла. Спаси мы из когтей вора хотя бы остаток, это позволило бы нам жить если уж не в полном довольстве, то по крайней мере не нуждаясь. Но мы были лентяи и ни о чем не желали думать, продолжая и взрослыми жить так, как мать приучила нас с детства.

Мы у нее не ходили даже в школу. Нашим воспитателем был некто Циркуль. По-настоящему его звали не

то Франческо, не то Джованни дель Чинкуе, но всем он был известен как Циркуль и так к этому привык, что сам стал именовать себя этим прозвищем.

Это был омерзительно худой и невероятно высокий человек. Боже мой, он казался бы еще выше, если бы его спина не изгибалась под самым затылком внезапным небольшим горбиком, словно ей наскучило тонким ростком тянуться вверх. Шея у него была как у ощипанного петуха, а громадный кадык непрерывно двигался то вверх, то вниз. Циркуль вечно старался закусить губы, словно для того, чтобы удержать и поглубже запрянуть постоянно пробивавшийся сквозь них резкий смешок. Но все его усилия оказывались тщетными: если этому смешку не удавалось сорваться со сжатых губ, он издевательски и зло светился в глазках Циркуля.

Этими маленькими глазками он видел у нас в доме многое, чего не замечали ни мы, ни мама. Но он молчал, может быть, считая, что вмешиваться — не его дело, втайне злобно наслаждаясь тем, что видел.

Мы делали с ним все, что хотели, и он позволял нам все, а затем, словно желая успокоить свою совесть, выдавал нас, когда мы меньше всего этого ожидали.

Однажды, например, мама велела ему повести нас в церковь; наступала Пасха, и мы готовились исповедоваться. После исповеди мы должны были на минутку заглянуть к большой жене Маланьи, затем вернуться прямо домой. Но, едва очутившись на улице, мы предложили Циркулю сделку: мы ставим ему литр хорошего вина, а он разрешает нам вместо церкви и посещения Маланьи пойти в Стиа за птичьими гнездами. Циркуль согласился. Он был очень доволен, потирал руки, глаза его сверкали. Затем он выпил вино, и мы направились в имение. Он бегал с нами три часа как сумасшедший, помогал нам, лазил с нами по деревьям. Но вечером, когда мы вернулись домой и мама спросила, исповедовались ли мы и были ли у Маланьи, он с самым невинным видом ответил:

— А вот сейчас расскажу...

И подробно рассказал обо всем, что мы делали.

И хотя мы каждый раз мстили за предательство, ничто не помогало. А ведь месть наша часто бывала отнюдь не шуточной. Например, однажды вечером, зная, что Циркуль в ожидании ужина дремлет на сундуке в передней, мы с Берто тихонько соскочили с постелей, куда

нас в наказание уложили раньше обычного, раздобыли оловянную клистирную трубку в две пяди длиной и наполнили ее мыльной водою из таза с бельем; вооруженные таким образом, мы тихонько подошли к учителю, представили трубочку к ноздре и — пффф!.. Циркуль подскочил чуть ли не до потолка.

Нетрудно представить себе, как мы преуспевали в науках под руководством подобного наставника. Конечно, виноват был не один Циркуль; он все же старался чему-то нас выучить и, не имея представления о том, что такое метод и дисциплина, изобретал всевозможные уловки, чтобы заставить нас хоть как-то сосредоточиться. Со мной ему это удавалось сравнительно часто, потому что я по натуре гораздо впечатлительней брата. Но эрудиция у Циркуля была очень своеобразная, забавная и странная. Он, например, был весьма сведущ по части игры слов, знал фиденцианскую и макароническую, бурлескную и ученую поэзию¹, мог без конца декламировать стихи — тавтограммы и липограммы, крипты, центоны и палиндромы² — словом, произведения всех жанров, в которых подвизались поэты-празднословы, и немало таких шуточных стихотворений сочинял сам.

¹ Фиденцианская поэзия — в сущности, разновидность макаронической. Получила наименование от литературного псевдонима своего основоположника, графа Камилло Скроффа Фиденцио Глоттокризю Лудима-Гистро (1527—1565). В основе фиденцианской поэзии лежит сатирическое пародирование стиля и языка псевдоученых педантов. Макароническая поэзия возникла в Италии в конце XV века в среде гуманистов, развивалась в XVI и XVII веках. Отличительные ее черты: пародийность, острая сатиричность, зачастую весьма непристойный словарь (и соответственная тематика), смешение (в плане пародии и сатиры) итальянского и латинского языков. Бурлескная поэзия — от итал. *burlesca* (шутка). Одно из общих наименований всякой шуточной, комической поэзии, основанной на пародийном снижении всех высоких литературных жанров. Возникла еще в античную эпоху, в новое же время получила особенное развитие в XVII—XVIII веках. Ученая поэзия — общее наименование поэтических упражнений ученых гуманистов Ренессанса и литераторов XVII—XVIII веков, где не было подлинного творческого вдохновения, но зато выставлялось на первый план знакомство авторов с латинской и греческой филологией, мифологией, философией, где подражали античной метрике и т. п. К ученой поэзии относятся также произведения дидактического характера (типа ломоносовского послания Шувалову «О пользе стекла»).

² Тавтограммы — стихи, сплошь построенные на одной аллитерации (каждое слово стихотворения любой длины начинается с одной и той же буквы). Липограммы — стихи, построенные на словах, в которых отсутствует одна какая-либо буква. Крипты, или «кусочные» стихи, — стихи, в которых каждая строка распадается на две половины. Если эти половинки строк читать одну за другой, получается самостоятельное стихотворение. Таким образом, каждое стихотворение представляет собой три отдельных стихотворения: одно, состоящее из левых половинок, другое из правых половинок и, наконец, третье, «полное» стихотворение, в котором обе половинки читаются как одна строка. Центоны — стихи, имеющие определенный смысл, но составленные из различных стихотворных строк разных поэтов. Палиндромы — стихи, состоящие из строчек, которые могут читаться одинаково справа налево и слева направо.

Помню, что однажды в Сан-Роккино он привел нас к холму, отличавшемуся особыми акустическими свойствами, и начал вместе с нами повторять свое «Эхо»:

Ужель она меня навек забудет?

(Будет!)

А может, не любила никогда?

(Да!)

Насмешник, кто ты? Мне ведь не до смеха!

(Эхо!)

Он заставлял нас разгадывать «Загадки-октавы» Джулио Чезаре Кроче ¹, а также «Загадки-сонеты» Монети ² и другого бездельника, который нашел в себе мужество скрыться под псевдонимом Катона Утического. Он переписал их чернилами табачного цвета в старую тетрадку с пожелтевшими листьями.

— Послушайте-ка вот это стихотворение Стильяни ³. Как красиво! Ну, кто догадается? Слушайте:

Я и одна, и две. Но в должный час
Что было два — единым вдруг бывает.
Нет тем числа на голове у нас,
В кого пятью меня одна вонзает.
Я также в рот огромный разрослась,
Что без зубов еще большей кусает.
И два пупка даны судьбою мне,
И пальцы на очах, и очи на ступне.

Мне кажется, я и сейчас вижу, как он декламирует, полузакрыв глаза, сияя от восторга и прищелкивая пальцами.

Моя мать полагала, что нам вполне достаточно того, чему учит нас Циркуль; может быть, слушая, как мы декламируем загадки Кроче или Стильяни, она считала даже, что мы знаем слишком много. Однако тетя Сколастика, которой не удалось выдать маму замуж за своего любимчика Помино, взялась за Берто и меня. Мы же под защитой мамы не поддавались ей, и это приводило ее в такую ярость, что если бы ей удалось остаться с нами наедине, без свидетелей, она наверняка содрала бы с нас кожу. Помню, однажды, выбегая, как обычно, в бешенст-

¹ Кроче Джулио Чезаре (1550—1609) — итальянский поэт, сатирик и юморист, писавший преимущественно на болонском диалекте.

² Монети Франческо (1635—1712) — итальянский монах и сатирический поэт, славившийся как ловкий версификатор.

³ Стильяни Томмазо (1573—1651) — итальянский поэт, декларативно выступавший против крайнего формализма «барочных» поэтов и их усложненной изысканной образности, но на практике проводивший в своем творчестве ту же линию.

ве из нашего дома, она столкнулась со мною в одной из нежилых комнат; схватив меня за подбородок, она из всех сил сжала его пальцами и, все ближе наклоняясь к моему лицу и сверля взглядом мои глаза, несколько раз повторила: «Красавчик! Красавчик! Красавчик!» — а затем, странно хрюкнув, отпустила меня и прорычала сквозь зубы: «Собачье отродье!».

Меня она почему-то преследовала больше, чем Берто, хотя я несравненно внимательнее брата относился к сумасбродным поучениям Циркуля. Ее, вероятно, особенно раздражали безмятежное выражение моего лица и большие очки, которые меня заставляли носить, чтобы исправить один глаз, неизвестно почему смотревший куда-то в сторону.

Для меня эти очки были настоящей пыткой. В один прекрасный день я выбросил их и позволил своему глазу смотреть туда, куда ему больше нравится. Но если бы даже мой глаз не был косым, это не прибавило бы мне красоты. Я был совершенно здоров, и этого мне было достаточно.

В восемнадцать лет мое лицо заросло рыжеватой кудрявой бородищей в ущерб носу, который у меня был маловат и почти терялся между бородой и большим строгим лбом.

Если бы человеку было дано самому выбирать себе нос, соответствующий лицу, или если бы мы при виде какого-нибудь бедняги, подавленного слишком большим носом на тощем личике, могли сказать ему: «Этот нос мне подходит, я его беру», — я, пожалуй, переменял бы его, а заодно и глаза и другие части моей особы. Но, отлично зная, что это невозможно, я примирился со своими прелестями и больше о них не думал.

Напротив, Берто, который был красив и телом, и лицом (по крайней мере в сравнении со мной), не отходил от зеркала, всячески охорашивал себя и без конца тратил деньги на новые галстуки, на все более тонкие духи, на белье и одежду. Чтобы поддразнить его, я однажды взял из его гардероба новенький, с иголки, фрак, эlegantнейший черный бархатный жилет и цилиндр и в таком виде отправился на охоту.

Батта Маланья между тем плакался матери на плохие урожаи, вынуждавшие его делать большие долги, чтобы оплачивать наши чрезмерные траты, и на большие расходы, которые неизбежны, если хочешь содержать имение в порядке.

— Мы получили еще один серьезный удар! — объявлял он всякий раз, когда входил.

Туман погубил на корню все оливки в Дуэ-Ривьере, а филлоксера — виноград в Спероне. Нужно посадить американскую лозу, которая может противостоять этой болезни. Значит — снова долги. Потом совет — продать Спероне, чтобы освободиться от осаждающих его, Маланью, ростовщиков. И так были проданы сначала Спероне, затем Дуэ-Ривьере, потом Сан-Роккино. Оставались еще дома и имение Стиа с мельницей, но моя мать со дня на день ждала сообщения, что ручей высох.

Конечно, мы были бездельниками и тратили, не считая. Но правда и то, что такого вора, как Батта Маланья, свет не видывал. Это самое мягкое, что можно сказать, принимая во внимание родственные отношения, в которые я вынужден был с ним вступить.

Пока моя мать была жива, он ловко доставлял нам все, чего мы желали. Но за всем этим довольством и возможностью легко удовлетворять любой каприз скрывалась пропасть, которая после смерти матери поглотила меня одного; мой брат, к счастью, вовремя выгодно женился. А мой брак, напротив...

— Как вы полагаете, дон Элиджо, надо мне рассказать о моем браке?

— А как же? Конечно!.. По-хорошему... — отозвался дон Элиджо с высоты своей фонарной лесенки.

— Как это по-хорошему?! Вы же отлично знаете, что...

Дон Элиджо смеется, и бывшая часовенка вторит ему. Потом он замечает:

— Будь я на вашем месте, синьор Паскаль, я прочел бы сначала какую-нибудь новеллу Боккаччо или Банделло. Для стиля, для тона...

Бог с ним, с вашим тоном, дон Элиджо. Уф! Я пишу, как взбредет в голову.

Ну что же, смелее вперед!

4. БЫЛО ТАК

Однажды на охоте я в странном волнении остановился перед низеньким толстеньким стогом, из которого торчал шест, увенчанный горшком.

— Я тебя знаю! — сказал я.— Я тебя знаю...— Потом внезапно воскликнул: — Ты же Батта Маланья!

Схватив лежавшие на земле вилы, я с такой страстью воткнул их стогу в брюхо, что горшок чуть не свалился с шеста. Ну вылитый Батта Маланья, когда он, потев и отдуваясь, надевает шляпу набекрень!

Он как-то весь скользил: скользили вверх и вниз по длинному лицу брови и глаза; скользил нос над нелепыми усами и подбородком, скользили плечи, скользил дряблый живот, свисавший почти до земли, потому что портной, видя, как висит брюшко над толстенькими ножками, вынужден был скроить их владельцу самые необъятные брюки, и издали казалось, будто вместо штанов на Батте Маланье надет длинный сюртук.

Не могу понять, как при подобном лице и телосложении Маланья мог быть таким вором. По-моему, даже воры должны иметь какой-то вид, а у него и вида-то никакого не было. Он ходил тихо, покачивая животом, заложив руки за спину и с большим трудом выдавливая из себя мягкие, мяукающие звуки. Хотелось бы мне знать, как примирял он со своею совестью все те кражи, которые совершал в ущерб нам. Как я уже говорил, оправдываться перед нами у него не было надобности, но должен же он был хотя бы для самого себя придумать какую-нибудь причину, какое-нибудь извинение. Может быть, бедняга крал просто для того, чтобы развлечься.

Его действительно страшно подавляла жена, одна из тех женщин, которые требуют уважения к себе.

Он сделал ошибку, выбрав жену из более высокого круга, чем его собственный, очень низкий. Выйди эта женщина за ровню, она не была бы такой тщеславной; Маланье же она, естественно, при малейшей возможности стремилась напомнить, что она из хорошей семьи и что у них дома поступали так-то и так-то. И Маланья, чтобы походить на синьора, послушно поступал так, как требовала жена. Но это стоило ему дорого и всегда вгоняло его в пот.

К тому же вскоре после свадьбы синьора Гуенальдина заболела неизлечимым недугом, исцелиться от которого она могла лишь ценой непосильной для нее жертвы — не более не менее, как отказа от дорогих ее сердцу пирожков с трюфелями и тому подобных лакомств, а в особенности от вина. Разумеется, она пила не много — она же

была из хорошей семьи, но вина ей не следовало даже в рот брать.

Когда мы с Берто были мальчиками, нас иногда приглашали к Маланье обедать. Было очень занятно слушать, как он с соответственными подходами читал жене проповедь о воздержании, в то время как сам не то что ел, а сладострастно пожирал самые сочные блюда.

— Не понимаю,— говорил он,— как это ради мгновенного наслаждения, которое испытываешь, проглатывая кусочек вроде этого (и он глотал кусок), человек идет на то, чтобы потом целый день болеть. Ну что тут особенно вкусного, а? Уверен, что, поддавшись такому соблазну, я чувствовал бы себя после этого глубоко униженным. Розина! (Он подзывал служанку.) Дай-ка мне еще немножко. И вкусный же, однако, этот майонез!

— Майонез? — яростно взрывалась жена. — Довольно! Смотри, Бог даст, ты еще поймешь, что такое больной желудок. Вот тогда ты научишься быть внимательным к жене.

— Как, Гуенальдина! Разве я не внимателен к тебе? — восклицал Маланья, подливая себе вина.

Вместо ответа жена поднималась, вырывала у него из рук стакан и выплескивала его за окно.

— Ну зачем же так? — стонал бедняга, не вставая с места.

— Затем, что для меня это яд! Ты же видишь, что я налила и себе глоточек. Так вот, возьми и вылей его за окно, как сделала я, понятно?

Маланья, обиженно улыбаясь, поочередно смотрел на Берто, на меня, на окно, на стакан, а потом говорил:

— Боже мой, но разве ты ребенок? Чтобы я?.. Насильно?.. Нет, дорогая, ты сама должна надеть на себя узду рассудка...

— Но как? — кричала жена. — У меня же вечно соблазн перед глазами. Я вижу, как ты нарочно пьешь, смакуешь, рассматриваешь вино на свет, чтобы раздражать меня. Убирайся, я тебе говорю. Другой бы муж, чтобы не мучить меня...

Маланья пошел и на это: он отказался от вина, чтобы подать жене пример воздержанности и не мучить ее. Зато он крал. Ну и что? Нужно же было и ему что-нибудь делать.

Однако несколько позже он узнал, что синьора Гуенальдина пьет потихоньку от него. Получалось так, что вино не причиняет ей вреда, лишь бы муж не знал об этом. Тогда и он, Маланья, начал пить, но вне дома, чтобы не раздражать жену.

Правда, красть он все же продолжал. Я знаю, что Маланья всем сердцем желал, чтобы жена вознаградила его за те бесконечные огорчения, которые она ему доставляла, и наконец произвела на свет ребенка. Тогда его воровство имело бы цель, оправдание — чего не сделаешь для блага детей!

Между тем жене день ото дня становилось хуже, и Маланья не смел даже высказать ей свое пламенное желание. А вдруг она бесплодна от рождения? Больную надо беречь: не дай Бог, она еще умрет от родов... Кроме того, всегда есть и другой риск: что, если она не доносит ребенка?

Поэтому Маланья примирился со своей бездетностью.

Искренне ли? Достаточно ли он доказал это после смерти синьоры Гуенальдины? Он оплакивал ее, о, горько оплакивал и всегда вспоминал с такой почтительной преданностью, что даже не пожелал взять на ее место другую синьору — да, да, не пожелал, хотя преспокойно мог бы это сделать, так как стал теперь не только толст, но и очень богат, — а женился на здоровой, цветущей, крепкой и веселой дочери одного деревенского арендатора, и то лишь для того, чтобы никто не усомнился в его способности иметь желанное потомство. Правда, он немного поторопился, но ведь надо принять во внимание, что он был уже не юноша и не мог терять время.

Оливу, дочь Пьетро Сальвони, нашего арендатора из Дуэ-Ривьере, я знавал еще девочкой.

Благодаря ей моя мать уже начала надеяться, что я образумился и приобрел вкус к деревенской жизни. Бедняжка была вне себя от радости! Но однажды зловредная тетя Сколастика открыла ей глаза:

— И ты не видишь, дурочка, что он постоянно ходит в Дуэ-Ривьере?

— Да, ходит — на сбор оливок.

— Одной оливки, одной, одной-единственной, идиотка!

Тогда мама задала мне славный нагоняй: я, мол, собираюсь совершить смертный грех — ввести во искушение и навсегда погубить бедную девушку, и т. д., и т. д.

Но это мне не грозило. Олива была добродетельна, несокрушимо добродетельна, потому что отлично сознавала, какой вред причинит себе, уступив мужчине. Это избавляло ее от глупой робости и притворной стыдливости, делало смелой и развязной.

Как она смеялась! Губы — две вишни! И какие зубки!

Однако с этих губ не удавалось сорвать ни одного поцелуя. Если я брал Оливу за руку и не соглашался отпустить, пока не поцелую хотя бы ее волосы, она, чтобы наказать меня, пускала в ход зубы.

Вот все, что я от нее видел.

А теперь эта девушка, такая красивая и свежая, стала женой Батты Маланья... Ну что ж! У кого хватит мужества отказаться от богатства? Олива отлично знала, каким толстосумом стал Маланья. Как-то раз она наговорила мне о нем бог знает сколько плохого, а затем, только ради денег, взяла и вышла за него замуж.

Прошел год после свадьбы, прошло два, а детей все не было.

Маланья, еще много лет назад уверовавший в то, что у него не было детей от первой жены только из-за ее бесплодия и непрерывных болезней, даже отдаленно не подозревал, что причиной этого мог быть он сам. И он начал злиться на Оливу:

— Ничего?

— Ничего...

Он выждал еще один год — третий. Напрасно! Тогда он принялся открыто бранить вторую жену и в конце концов, потеряв всякую надежду и совершенно отчаявшись, стал беззастенчиво притеснять ее. Он кричал, что она обманула его, да, обманула своим цветущим видом, хотя только ради того, чтобы иметь ребенка, он и возвысил ее до положения своей супруги, до места, которое раньше занимала настоящая синьора, чьей памяти он никогда не нанес бы такого оскорбления, если бы не эта надежда.

Бедная Олива не находила слов для ответа. Она часто приходила к нам, ища сочувствия у моей матери, и та утешала ее добрым словом, уверяя, что Олива еще может надеяться, так как она молода, очень молода.

— Вам двадцать?

— Двадцать два.

Ну, значит, все в порядке! Бывают случаи, когда дети рождаются через десять, даже через пятнадцать лет после свадьбы.

Через пятнадцать? Но ведь Маланья уже стар, и если...

Еще на первом году супружества Олива заподозрила, что — как бы это сказать? — виновата не она, а муж, хотя он упорно это отрицал. Не попробовать ли?.. Но нет! Выходя замуж, Олива поклялась самой себе быть честной и не хотела нарушать клятву даже для того, чтобы обрести покой.

Как я узнал об этом? Да очень просто — я ведь уже сказал, что она приходила искать утешения в наш дом; сказал я также, что знал ее еще девочкой; теперь, видя, как она плачет от дурного обращения, от глупых и беззастенчивых придирок мерзкого старикашки, я... Но неужели я должен договаривать? Словом, я получил отказ, вот и все.

Я быстро утешился. В голове у меня бродило много разных мыслей, или (это одно и то же) казалось, что бродит. Водились у меня и деньги, а они, не говоря уже обо всем прочем, наталкивают на такое, до чего без них и не додумаешься. Просаживать их мне помогал Помино Джероламо Второй, который, ввиду мудрой отцовской скупости, вечно сидел на мели.

Мино был нашей тенью — то моей, то Берто, поочередно. Он менялся с удивительной обезьяньей ловкостью в зависимости от того, с кем водился — с Берто или со мной. Стоило ему прицепиться к Берто, как он тотчас же становился франтом, и тогда его отец, сам не чуждый притязаний на элегантность, чуточку отпускал шнурки кошелька. Но с Берто нельзя было дружить подолгу. Когда мой брат видел, что ему подражают даже в походке, он, вероятно из боязни показаться смешным, терял терпение, начинал третировать Помино и даже прогонял его. Тогда Мино возвращался ко мне, а его отец затягивал шнурки кошелька. У меня терпения было больше, потому что Мино развлекал меня. Потом я часто раскаивался в этом, сознавая самому себе, что из-за него я сильно перебарщивал в разных своих затеях, поступал наперекор своей натуре или слишком бурно выражал свои чувства — и все это с единственной целью: удивить приятеля или поставить его в затруднительное

положение, следствием чего, естественно, были неприятности также и для меня.

Так, однажды на охоте Мино, которому я рассказал о супружеских подвигах Маланьи, признался мне, что он тоже приглядел себе девушку — дочку кузины нашего управляющего, ради которой готов надеть глупостей. Он был на это вполне способен, тем более что девушка не казалась недоступной. Однако до сих пор ему не удавалось даже поговорить с ней.

— Сознайся, что у тебя просто не хватает смелости, — рассмеялся я.

Мино запротестовал, но что-то уж слишком сильно покраснел.

— Со служанкой я все-таки поговорил, — торопливо добавил он. — И знаешь, я узнал от нее занятные вещи! Она говорит, что ваш Маланья торчит у них в доме и, судя по его виду, замышляет что-то скверное, а эта старая ведьма кузина поддакивает ему:

— Что же он замышляет?

— Он плачется на свою беду: у него, мол, нет детей. А злобная старуха ворчит, что это ему поделом. Похоже, что она после смерти первой жены Маланьи задумала женить его на своей дочери и пускалась ради этого на всё. А когда ничего не добилась, стала болтать всякие пакости насчет этой скотины Маланьи, врага своей семьи, предавшего своих кровных, и так далее. Заодно бранила она и дочку за то, что та не сумела завлечь дядю. А теперь, когда старикан так кается, что не осчастливил племянницу, кто знает, какую еще предательскую штуку придумала эта ведьма.

Я заткнул уши руками и крикнул Мино:

— Замолчи!

В ту пору я был, в сущности, очень наивен, хотя и не казался таким. Тем не менее, узнав о сценах, которые происходили и происходят в доме Маланьи, я подумал, что подозрения служанки могут быть в известной мере оправданы, и мне захотелось для блага Оливы попробовать хоть немного улучшить их положение. Я попросил Мино дать мне адрес этой ведьмы. Мино забеспокоился насчет девушки.

— Не бойся, — ответил я, — ее я оставлю тебе.

На следующий день, под тем предлогом, что сегодня истекает срок одного из векселей, о чем мне якобы случайно сказала мама, я отправился искать Маланью в дом вдовы Пескаторе.

Я нарочно бежал бегом и ворвался в дом, разгоряченный и весь в поту:

— Маланья, вексель!

Если бы даже я раньше не знал, что совесть у него нечиста, я понял бы это в тот день, увидев, как он, бледный, с искаженным лицом, вскочил и забормотал:

— Ка... какой вексель?

— Тот, срок которого истекает сегодня. Меня послала за вами мама — она очень встревожена.

Батта Маланья упал на стул и в долгом «А-а!» излил страх, который на мгновение охватил его.

— Но это же улажено!.. Все улажено!.. Черт возьми, как ты меня перепугал! Я его переписал, понятно? На три месяца, включая проценты, разумеется. И ты в самом деле бежал из-за такого пустяка? — И он закатился смехом, от которого у него долго содрогался живот; затем он указал мне на стул и представил меня дамам: — Маттиа Паскаль. Марианна Донди, вдова Пескаторе, моя кузина. Ромильда, моя племянница.

Тут же он предложил мне чего-нибудь выпить — после такого бега меня, наверно, мучит жажда.

— Ромильда, не затруднись...

Он распоряжался здесь, как в собственном доме.

Ромильда встала, переглянулась с матерью и, несмотря на мои протесты, вскоре возвратилась с небольшим подносом, на котором стояли стакан и бутылка вермута. Увидев это, мать ее с недовольным видом поднялась и бросила:

— Да нет, не этот! Дай-ка сюда!

Она выхватила у дочери подносик и немного спустя вернулась с другим подносом, лакированным и сверкавшим новизной, на котором стоял великолепный ликерный прибор — посеребренный слон со стеклянной бочкой на спине, увешанный множеством слегка позванивавших рюмок.

Я предпочел бы вермут, но пить мне пришлось ликер. Маланья и его кузина выпили вместе со мной. Ромильда отказалась.

На этот раз я задержался недолго; мне нужен был предлог, чтобы прийти сюда снова. Я объявил, что тороплюсь успокоить маму насчет векселя и что на днях надеюсь подольше насладиться обществом милых хозяек.

Судя по виду, с которым попрощалась со мной

Марианна Донди, вдова Пескаторе, ее не слишком обрадовало сообщение о моем вторичном визите: она опустила глаза, поджала губы и нехотя протянула мне руку, ледяную, сухую, жилистую и желтую. Зато дочь одарила меня ласковой улыбкой, обещавшей радушный прием, и нежным взглядом грустных глаз, которые с самого начала произвели на меня большое впечатление. У этих глаз, затененных длинными ресницами, был какой-то странный зеленый цвет, да и смотрели они как-то слишком мрачно и пристально. Темные, как ночь, глаза девушки и волосы цвета воронова крыла, двумя волнами спускавшиеся на лоб и виски, особенно разительно подчеркивали ослепительную белизну кожи.

Дом был очень скромн, но среди старой мебели уже виднелись новые приобретения, претенциозные и смешные в своей вызывающей новизне, например: две большие майоликовые, еще ни разу не зажигающиеся лампы с матовыми стеклянными колпаками вычурной формы, стоявшие на непритязательном столике с доской из пожелтевшего мрамора, на которой было укреплено потускневшее зеркало в круглой, кое-где облупившейся раме, напоминавшей разинутый рот голодного. Перед расшатанным диванчиком стоял столик на четырех позолоченных ножках с фарфоровой доской, расписанной ярчайшими цветами, чуть поодаль — стенной шкафчик японского лака и прочие сокровища. Глаза Маланья с явным удовольствием останавливались на всех этих новых вещах, равно как на ликерном приборе, триумфально внесенном в комнату его кузиной, вдовой Пескаторе.

Стены почти сплошь были увешаны старыми, хотя отнюдь не безобразными гравюрами; некоторыми из них Маланья предложил мне полюбоваться, утверждая, что это произведения Франческо Антонио Пескаторе, его кузена, замечательного гравера (скончавшегося в Турине, в сумасшедшем доме, добавил он тихо); он пожелал также показать мне его автопортрет:

— Написан собственноручно, перед зеркалом.

Только что, глядя на Ромильду, а затем на ее мать, я решил: «Наверно, она походит на отца». Теперь, глядя на портрет, я не знал, что и думать.

Я не осмеливался делать оскорбительные предположения. Я считал Марианну Донди, вдову Пескаторе, способной на все, но как представить себе мужчину, да

к тому же еще красивого, который мог бы в нее влюбиться, если, конечно, он не умалишенный, еще более умалишенный, чем ее покойный муж?

Я сообщил Мино впечатление от своего первого визита. Я говорил ему о Ромильде с таким пылким восхищением, что он сейчас же зажегся, радуясь, что мне она тоже очень понравилась и что я одобряю его выбор.

Тогда я спросил, какие у него намерения. Мать, конечно, совершенная ведьма, но дочка, я готов в этом поклясться, честная девушка. И я не сомневаюсь, что Маланья задался какой-то низкой целью; следовательно, нужно любой ценой и как можно скорее спасти бедняжку.

— Но как? — спросил меня Помино, ловивший каждое мое слово как зачарованный.

— Как? Подумаем. Нужно прежде всего все проверить, проникнуть в суть всех отношений, хорошо все изучить. Понимаешь, решение нельзя принимать вот так, на ходу. Предоставь действовать мне, я тебе помогу. Это приключение мне нравится.

— Да... но... — робко возразил Помино, который, увидя мое воодушевление, начал уже чувствовать себя не в своей тарелке. — Может быть, считаешь — жениться на ней?

— Пока я ничего не считаю. А ты, чего доброго, не боишься?

— Нет. С чего ты взял?

— С того, что ты чересчур уж торопишься. Не спеши, обдумай все хорошенько. Если мы убедимся, что она такая, какой кажется, — добрая, умная, порядочная (в том, что она красива и нравится тебе, нет сомнения, верно?), и если она из-за низости матери и этого негодяя подвергается серьезной опасности, обречена на позор, на омерзительную самопродажу, неужели ты остановишься перед таким достойным и святым поступком, как спасение ближнего?

— Я-то нет... Нет! — пробормотал Помино. — Но мой отец?..

— Он будет возражать? Из-за чего? Из-за приданого, не правда ли? Да, только из-за этого. Знаешь, она ведь — дочь художника, выдающегося художника, умершего... ну, в общем, честно умершего в Турине. Но ведь твой отец богат, и ты у него один; значит, тебе хватит на жизнь и без приданого! А если уж его не удастся убедить,

гоже не бойся: улетишь из гнезда, и все устроишься. Помино, неужели у тебя сердце из пакли?

Помино засмеялся, и я как дважды два — четыре доказал ему, что он прирожденный муж, как иные бывают прирожденными поэтами. Я описал ему самыми живыми и соблазнительными красками его семейное счастье с Ромильдой, привязанность, заботы, благодарность, которыми она окружит своего спасителя. И в заключение объявил:

— Теперь ты должен найти способ и возможность привлечь ее внимание, поговорить с ней или написать ей. Видишь ли, для нее, опутанной этим науком, твое письмо может стать якорем спасения. А я покамест буду почаще бывать у них в доме, чтобы следить за происходящим, улучу момент и представлю тебя. Понятно?

— Понятно.

Почему мне так захотелось выдать Ромильду замуж? Да просто так: я любил удивлять Помино. Я говорил и говорил, и все трудности словно исчезали. Я был пылок и ко всему относился легкомысленно. Может быть, именно поэтому женщины и любили меня в те дни, несмотря на мое легкое косоглазие и нескладную фигуру. На этот раз, признаюсь, я воспламенился еще больше из-за желания разорвать мерзкую паутину, сплетенную грязным стариком, оставить его с носом и помочь бедной Оливе, а также — почему бы и нет? — сделать добро девушке, которая действительно произвела на меня большое впечатление.

Разве я виноват, что Помино слишком робко выполнял мои предписания? Разве я виноват, что Ромильда влюбилась в меня вместо Помино, хотя я постоянно твердил ей о нем? Виноват ли я в конце концов, что хитрая Марианна Донди, вдова Пескаторе, убедила меня, будто я в самое короткое время сумел преодолеть ее недоверчивость и даже сотворить чудо — несколько раз рассмешить ее своими странными выходками? Постепенно она начала складывать оружие; меня стали принимать хорошо. Я думал, что, видя у себя в доме богатого юношу (я тогда еще считал себя богатым), который по всем признакам явно влюблен в ее дочь, вдова Пескаторе в конце концов отказалась от своего низкого замысла, если, конечно, он когда-нибудь вообще приходил ей в голову. Признаюсь, в конце концов я сам стал сомневаться в этом.

Конечно, я должен был бы обратить внимание на то,

что мне больше не приходилось встречаться с Маланьей у нее в доме и что не без причины же она принимала меня только по утрам. Но разве стоило придавать этому значение? Казалось, так естественно, что, желая чувствовать себя посвободней, я каждый раз предлагал прогуляться по окрестностям именно утром — это всегда приятней. К тому же я и сам влюбился в Ромильду, хотя продолжал постоянно рассказывать ей о любви Помино; да, влюбился как сумасшедший в эти прекрасные глаза, в носик, в рот, во все, даже в маленькую бородавку на затылке, в почти незаметный шрам на руке, который я так самозабвенно целовал... от имени Помино.

И все же ничего серьезного, вероятно, не произошло бы, если бы однажды утром Ромильда (мы были в Стиа и оставили мать любоваться в одиночестве мельницей) внезапно не прервала мои затянувшиеся шутки о далеком робком поклоннике, не разразилась судорожными рыданиями и не бросилась мне на шею, дрожа и заклиная меня пожалеть ее и увезти, но только подальше, подальше от дома, подальше от ненавистой матери, от всех, сейчас же, сейчас же.

Подальше? Но как я мог сделать это сейчас же?

Несколько дней спустя, еще опьяненный ею и решившись на все, я принялся искать способ уладить все почестному. И я уже начал подготавливать свою мать к мысли о моей скорой и по долгу совести неизбежной женитьбе, когда неожиданно получил от Ромильды крайне сухое письмо, в котором она, не входя ни в какие объяснения, просила меня ни в коем случае не заботиться о ней, не появляться больше у них в доме и считать наши отношения навсегда разорванными. Ах так? Но почему? Что случилось?

В тот же самый день к нам вся в слезах прибежала Олива и сообщила маме, что она самая несчастная женщина на свете, что спокойствие ее дома навеки нарушено. Ее муж получил доказательства, что детей у них нет не по его вине, и торжествующе заявил ей об этом.

Я присутствовал при этой сцене. Не знаю, что дало мне сил сдержаться. Вероятно, уважение к матери. Задыхаясь от гнева и отвращения, я убежал, заперся и, схватившись за волосы, долго спрашивал себя, как Ромильда могла опуститься до такой мерзости после всего, что было между нами. А-а! Достоянная дочь своей матери! Они вдвоем гнусно обманули не только старика, но

и меня, меня... Значит, и мать, и она бесчестно воспользовались мной для своих низких целей, для своих злодейских замыслов. А бедная Олива обездолена и погублена.

Вечер еще не наступил, а я уже, весь дрожа, бежал к дому Оливы. В кармане у меня лежало письмо Ромильды.

Заплаканная Олива собирала вещи: она решила вернуться к отцу, которому до сих пор из осторожности даже намеком не дала понять, сколько ей пришлось выстрадать.

— Что мне теперь остается? — сказала она. — Все кончено! Может быть, сойдись он с какой-нибудь другой...

— Ах, значит, ты знаешь, с кем он сошелся? — спросил я.

Она несколько раз кивнула, разрыдалась и закрыла лицо руками.

— Девушка! — воскликнула она, всплеснув руками. — А мать-то, мать! Она обо всем знала, понимаешь? Родная мать!

— И ты говоришь это мне? На, читай! — ответил я и протянул ей письмо.

Ошеломленная Олива посмотрела на листок, потом взяла его и осведомилась:

— Что это значит?

Она читала только по печатному, поэтому взгляд ее как бы спрашивал, стоит ли ей тратить столько усилий в такой момент.

— Читай, — настаивал я.

Тогда она вытерла глаза, развернула листок и медленно-медленно, по складам начала разбирать письмо. После первых же слов она взглянула на подпись, потом, широко раскрыв глаза, перевела их на меня:

— Так это ты?

— Дай сюда, — сказал я. — Я тебе прочту все целиком.

Но Олива прижала листок к груди.

— Нет, — закричала она, — я тебе его не отдам! Оно мне еще пригодится.

— Как оно может пригодиться? — спросил я, горько улыбаясь. — Покажешь мужу? Но в письме нет ни одного слова, которое разуверило бы Маланью в том, чему он так хочет верить. Как видишь, тебя ловко околпачили!

— Ах, верно! Верно! — простонала Олива. — Он

явился ко мне, размахивая руками и крича, чтобы я остерегалась сомневаться в честности его племянницы!

— А что из этого следует? — сказал я с язвительным смехом.— Понимаешь, ты ничего не добьешься, если будешь отрицать. Напротив, будь осторожна и соглашайся со всем, подтверждай, что это правда, чистейшая правда, что он может иметь детей... Ясно?

Вот почему примерно месяц спустя Маланья в ярости побил жену, а потом с пеной у рта ворвался к нам в дом, крича, что он требует немедленного удовлетворения, что я обесчестил и погубил его племянницу, бедную сиротку. Он добавил что, не желая скандала, он согласился молчать. Из жалости к бедняжке он хотел взять ребенка, когда он родится, и усыновить его, поскольку у него, Маланьи, нет своих детей. Но теперь, когда господь послал ему в утешение законное дитя от собственной жены, он уже не может, по совести не может назвать себя отцом другого ребенка, который родится у его племянницы.

— Это сделал Маттиа. Пусть Маттиа и поправляет,— закончил он, дрожа от ярости.— И немедленно! Пусть немедленно сделает все, что я сказал. Не ждите, пока я наговорю лишнего или натворю безумств.

Раз уж мы дошли до этого момента, давайте поразмыслим. В жизни я видел еще и не такое. В конце концов, выглядеть болваном... или даже чем-нибудь похуже — беда не слишком большая. И если, дойдя до этого момента, я все-таки хочу поразмыслить, то делаю это только ради логики.

Мне кажется совершенно бесспорным, что Ромильда не сделала ничего плохого, по крайней мере не старалась ввести дядю в заблуждение. Вот почему Маланья избил жену за измену и обвинил меня перед моей матерью в том, что я обесчестил его племянницу.

Ромильда действительно утверждала, что через некоторое время после нашей прогулки в Стиа мать вырвала у нее признание в любви, которая теперь неразрывно нас связывала; старая ведьма, невероятно разъярясь, кричала ей в лицо, что никогда не позволит дочери выйти замуж за бездельника, находящегося почти на краю пропасти. А поскольку Ромильда навлекла на себя самую худшую беду, какая только может произойти с девушкой, ее заботливой матери остается одно — извлечь из случившегося возможно больше пользы. Какая польза имелась в виду — догадаться нетрудно. Когда Маланья в обычный

час я бросилась к ним, мать под каким-то предлогом ушла и оставила Ромильду наедине с дядей. Тогда девушка, как она сама рассказывала, вся в слезах бросилась к его ногам, поведала о своем горе и о том, чего требовала от нее мать; она просила его вмешаться и принудить мать к более честному поведению, потому что она, Ромильда, принадлежит другому и хочет остаться ему верной.

Маланья растрогался, разумеется до известного предела. Он сказал Ромильде, что она еще несовершеннолетняя, а потому покамест находится под властью латери, которая при желании может начать против меня судебное дело, что он сам, по совести говоря, не может одобрить брачный союз племянницы с шалопаем и безмозглым расточителем вроде меня и поэтому не вправе дать подобный совет ее матери; он добавил, что она должна кое-чем пожертвовать, дабы успокоить справедливый и естественный материнский гнев, и что эта жертва впоследствии принесет ей счастье; закончил он заявлением, что в конце концов в его силах сделать лишь одно — позаботиться (при условии, конечно, строжайшего соблюдения тайны) о новорожденном, даже заменить ему отца, так как у него самого нет детей, а он давно хочет иметь ребенка. «Можно ли,— спросил я себя,— поступить честнее?»

В самом деле, он намерен возратить ребенку то, что украл у его отца.

Разве он после этого виноват, что я по неблагодарности и легкомыслию сам все расстроил?

Двое? Нет! Двоих он не хочет, черт возьми!

Ему казалось, что двое — это слишком много, и казалось, вероятно, потому, что Роберто, как я уже говорил, выгодно женился. Видимо, Маланья решил, что не так уж сильно навредил моему брату, чтобы платить за двоих.

В конце концов, имея дело с такими хорошими людьми, я не мог не понять, что причина всех зол — я один. Следовательно, мне за все и расплачиваться.

Сначала я презрительно отказался. Потом, уступая мольбам матери, которая видела, что наш дом рушится, и надеялась, что я спасу себя браком с племянницей своего врага, я уступил и женился.

Над моей головой висел грозный гнев Марианны Донди, вдовы Пескаторе.

5. ЗРЕЛОСТЬ

Ведьма не успокаивалась.

— Что ты еще задумал? — спрашивала она меня.— Мало тебе того, что ты воровски втерся ко мне в дом, обольстил мою дочку и погубил ее? Этого тебе мало?

— Ну нет, дорогая теща,— отвечал я.— Остановись я на этом, я доставил бы вам удовольствие, оказал бы услугу...

— Слышишь? — кричала она дочери.— Он еще хвастается, он смеет хвастаться подвигом, который совершил с той...— Следовал поток мерзкой брани в адрес Оливы. Потом теща подбоченивалась, выставляла локти вперед и продолжала: — Так что же ты задумал? Разве ты уже не разорил заодно и своего ребенка? Но это для него, видите ли, неважно! Ведь тот ребенок тоже от него..

Она никогда не пропускала случая излить весь свой яд, зная, как это действует на Ромильду, ревновавшую к Оливе, ребенку которой суждено родиться в роскоши и жить в радости, тогда как удел ее собственного младенца — печаль, неуверенность в будущем и бесконечные скандалы; ревность поднималась в ней и тогда, когда какая-нибудь кумушка, притворяясь, будто ничего не знает, сообщала ей, что побывала у тетушки Маланьи, которая так довольна, так счастлива милостью, ниспосланной ей господом богом; ах, она стала прямо как розочка; никогда еще она не была такой красивой и цветущей!

А она, Ромильда, лежит в кресле, измученная непрерывными приступами тошноты, бледная, изнеможенная, подурневшая, не зная ни одной радостной минуты, не в силах даже говорить или открыть глаза.

И в этом виноват тоже я? Похоже было, что так. Ромильда не желала больше ни видеть меня, ни слышать. И стало еще хуже, когда для спасения имения Стиа и мельницы мы вынуждены были продать наш дом и бедной маме пришлось поселиться в моем семейном аду.

Кстати, эта продажа ничему не помогла. Маланья, ожидавший наследника, мысль о котором побуждала его поступать без удержу и совести, нанес нам последний удар: он сговорился с ростовщиками и сам, хотя и не от своего имени, скупил все наши дома за ничтожную сумму. Долги, висевшие над Стиа, остались большей частью неуплаченными, имение вместе с мельницей было отдано кредиторам под опеку, а затем продано с молотка.

Что было делать? Я начал, правда, почти без всяких надежд на успех, приискивать себе какое-нибудь занятие, которое могло обеспечить хотя бы самые насущные нужды семьи. Я был ни на что не годен, а слава, которую я стяжал себе в юности бездельем и озорством, не вызвала у людей желания дать мне работу. Кроме того, сцены, ежедневно происходившие у меня дома, в моем присутствии и при моем участии, лишали меня покоя, необходимого для того, чтобы сосредоточиться и поразмыслить над тем, что же я умею и могу делать.

Для меня было подлинной и мучительной пыткой видеть мою мать в обществе вдовы Пескаторе. Святая моя старушка теперь уже знала все, но, с моей точки зрения, она не была ответственна за ошибки, совершенные ею из-за того, что до самой последней минуты она не могла поверить в человеческую низость. Теперь, сложив руки на груди, опустив глаза, она замкнулась в себе и притаилась в уголке, словно не уверенная в том, что ей позволят тут остаться, словно ожидая своего часа, чтобы уйти и, если захочет бог, уйти как можно скорее! Она боялась лишний раз вздохнуть. Время от времени она жалостливо улыбалась Ромильде, но подойти к ней не решалась; однажды, через несколько дней после ее переселения к нам, она подбежала, чтобы помочь Ромильде, но моя ведьма теща грубо отстранила ее:

— Я сама все сделаю; я лучше знаю, что нужно.

Тогда, видя, что Ромильда действительно нуждается в помощи, я из осторожности смолчал, но в дальнейшем внимательно следил, чтобы никто не проявлял к маме неуважения. Однако я замечал, что мое бережное отношение к матери глухо раздражает и ведьму, и мою жену, и вечно боялся, что в мое отсутствие они обидят ее, чтобы сорвать на ней свое раздражение и освободиться от накопившейся желчи. Я был уверен, что мама мне, конечно, ничего не скажет, и эта мысль терзала меня. Сколько раз я заглядывал ей в глаза, подозревая, что она плакала. Она улыбалась мне, ласково смотрела на меня и спрашивала:

— Что это ты на меня так уставился?

— Ты здорова, мама?

Она делала чуть заметное движение рукой и отвечала:

— Конечно, здорова. Разве ты сам не видишь? Иди-ка лучше к жене, иди. Бедняжка так страдает.

Я решил написать Роберто в Онелью и попросить его взять к себе маму — не для того, чтобы снять с меня

тяжесть, которую я охотно продолжал бы нести даже в тех трудных условиях, в каких находился, но единственно ради ее блага.

Берто ответил, что не может этого сделать, потому что после нашего разорения его положение в семье жены стало очень тяжелым. Он жил теперь на приданое и был не вправе навязывать жене еще одну обузу — содержание свекрови.

В конце концов, писал он, маме будет не лучше и у него в доме, так как ему приходится жить с матерью жены, которая, несомненно, очень хорошая женщина, но может перемениться в худшую сторону под влиянием ревности и всяких трений, неизбежно возникающих между тещей и свекровью. Поэтому маме лучше остаться у меня, хотя бы уже для того, чтобы на склоне лет не покидать родных мест и не менять образа жизни и привычек. Далее Берто выражал искреннее сожаление по поводу того, что, ввиду изложенных соображений, он не в силах оказать мне денежную помощь, хотя всем сердцем желал бы этого.

Я скрыл это письмо от мамы. Если бы душевное отчаяние не ослепляло мой разум, я, вероятно, был бы не так возмущен ответом брата; например, в соответствии с обычным направлением моих мыслей, я мог бы сказать себе: «Соловей, лишившись хвоста, утешается тем, что у него остался талант; ну, а что остается у павлина, если он теряет свой хвост?». Даже легкое нарушение того равновесия, которое наверняка стоило Берто немалых трудов, но зато позволяло ему жить, не испытывая унижений, а может быть, и сохранять некоторое достоинство в отношениях с женой, было бы для него огромной жертвой, невозполнимой потерей. Ему ведь нечего было дать жене, кроме красоты, хороших манер и облика эlegantного синьора; ни одной искоркой сердечности он не мог вознаградить ее за те беспокойства, которые доставила бы ей моя бедная мама. Но что поделаешь? Таким уж сотворил его Бог, который дал ему лишь самую чуточку сердечной теплоты. Чем же был виноват бедный Берто?

Между тем неприятностей у нас становилось все больше, и я был бессильно этому воспрепятствовать. Мы продали мамини сережки, драгоценную память лучших дней. Вдова Пескаторе, опасаясь, как бы мне с матерью не пришлось вскоре жить на ренту с ее приданого, жалкие сорок две лиры в месяц, день ото дня делалась все

мрачней и грубее. С минуты на минуту я ждал с ее стороны взрыва бешенства, которое она так долго сдерживала, вероятно, лишь благодаря присутствию моей мамы и ее выдержке. Видя, как я слоняюсь по дому, словно муха с оторванной головой, эта женщина, похожая на грозовую тучу, бросала на меня взгляды-молнии, предвещавшие бурю. Я уходил, чтобы разрядить атмосферу и предупредить вспышку, но боязнь за маму гнала меня назад.

Однажды я все-таки не поспел вовремя. Буря наконец разразилась, и по самому ничтожному поводу: мою мать навестили две ее старые служанки.

Одна из них, не сумев ничего скопить на черный день, так как ей приходилось содержать дочь-вдову с тремя детьми, сразу же после ухода от нас нашла себе новое место; другая, по имени Маргарита, женщина совершенно одинокая, оказалась счастливее: за долгую службу в нашем доме она кое-что отложила и теперь, на старости лет, могла отдыхать.

Оказавшись в обществе этих двух добрых женщин, преданных подруг многих лет ее жизни, мама тихонько пожаловалась на свою несчастную и горестную судьбу. Маргарита, добрая старушка, догадавшаяся обо всем, но не осмелившаяся заговорить первой, тотчас же предложила маме перебраться к ней, в домик из двух чистеньких комнаток и терраски, утопавшей в цветах и выходявшей на море; там, сказала она, они мирно поселятся вдвоем; о, она будет счастлива еще немного поухаживать за мамой и доказать ей, какую любовь и преданность она к ней питает.

Но разве могла моя мать принять предложение бедной старушки? Тут-то и вспыхнул гнев вдовы Пескаторе.

Вернувшись домой, я застал такую сцену: ведьма, размахивая кулаками, наскakивала на Маргариту, которая мужественно давала ей отпор, а испуганная, дрожащая мама, со слезами на глазах и словно ища защиты, обнимала обеими руками другую старушку.

Когда я увидел мою мать в таком отчаянии, у меня потемнело в глазах. Я схватил вдову Пескаторе за руку и отшвырнул ее. Она мгновенно поднялась и подбежала ко мне, намереваясь броситься на меня, но, очутившись лицом к лицу со мной, остановилась.

— Вон! — завопила она. — И ты, и твоя мать — вон! Вон из моего дома!

— Слушайте,— сказал я ей тогда голосом, дрожащим от подавленного желания дать выход своему бешен-

нству,— слушайте, убирайтесь сейчас же и не раздражайте меня. Убирайтесь для собственного же блага! Убирайтесь!

Ромильда, плача и крича, поднялась с кресла и бросилась в объятия матери:

— Нет, ты со мной, мама! Не оставляй, не оставляй меня здесь одну!

Но достойная мамаша яростно отшвырнула ее:

— Ты его хотела? Вот и оставайся со своим прохвостом! Я уйду одна.

Разумеется, она никуда не ушла.

Через два дня, побывав — я так думаю — у Маргариты, к нам, как обычно вихрем, ворвалась тетя Сколастик с намерением увезти маму к себе.

Эта сцена заслуживает описания.

В то утро вдова Пескаторе, засучив рукава, подоткнув юбку и подвязав ее вокруг талии, чтобы не выпачкаться, собиралась печь хлеб. Увидев входящую тетю Сколастику, она едва повернула голову и как ни в чем не бывало продолжала просеивать муку.

Тетя не обратила на это никакого внимания,— да, кстати, она вошла, тоже ни с кем не поздоровавшись,— и тотчас же, как если бы в доме не было никого, кроме моей матери, обратилась к ней:

— Живее, одевайся! Пойдешь ко мне! До меня дошло черт знает что. Вот я пришла. Скорее прочь отсюда! Где твои вещи?

Она говорила отрывисто. Ноздри ее гордого орлиного носа, который время от времени морщился, трепетали на смуглом желчном лице, глаза сверкали.

Вдова Пескаторе молчала.

Кончив просеивать муку, она смочила ее водой, сделала тесто и теперь месила его, высоко подбрасывая и шумно опрокидывая в квашню,— так она отвечала на слова тети Сколастики. Тогда тетя принялась поддавать жару. А вдова, все сильнее хлопая рукой по тесту, словно приговаривала: «Ну да! Ну конечно! А как же? Ну, само собой!» — а потом, словно этого было недостаточно, пошла за скалкой и положила ее рядом на квашню, точно желая сказать: «У меня еще и это припасено!»

Лучше бы она этого не делала! Тетя Сколастика вскочила, яростно сорвала с плеч шаль и кинула ее матери:

— На, надень! Брось все, и сейчас же уйдем!

А сама вплотную подошла к вдове Пескаторе

и устави́лась на нее. Та, избе́гая сли́шком опасной близо́сти, угрожа́юще отступила́ на шаг, словно́ намерева́ясь ударить ее скалкой; тогда́ тетя Скола́стика, выхв́атив обеими́ рука́ми из квашни́ большо́й ком теста́, нахлобу́чила его́ на голову́ вдове́, налепи́ла на лицо́ и кулаком ста́ла разма́зывать — хлоп! хлоп! хлоп! — по носу́, по гла́зам, по губа́м, а тесто́ текло́ и текло́. Потом схвати́ла ма́му за руку́ и увела́ ее.

Все последст́вия обруши́лись исклю́чительно на меня́. Вдова́ Песка́торе, рыча́ от бешенства́, ста́ла сди́рать тесто́ с лица́, со склеивши́хся волос и швы́рять в меня́, а я хохотал до упа́ду; она́ дергала́ меня́ за боро́ду, цара́пала мне́ лицо́; потом, словно́ сойдя́ с ума́, грохну́лась навзничь, нача́ла срывать́ с себя́ пла́тье и в дико́й я́рости ката́ться по полу́; мою́ же́ну в это́ время (*sit venia verba*)¹ рвало́, и она́ пронзительно́ вопила́.

— Ноги́! Ноги́! — закри́чал я вдове́ Песка́торе, катавшейся́ по полу́.— Ра́ди бога́, не показыва́йте мне́ ваши́ ноги́!

Можно́ сказа́ть, что с этого́ момента́ я ста́л смея́ться над все́ми свои́ми несча́стиями и печа́лями. Я смотре́л на себя́ как на актера́ само́й шутовско́й траге́дии, ка́кую то́лько можно́ себе́ предста́вить: моя́ ма́ть убежала́ с сумаше́дшей тетко́й; вон там́ моя́ же́на, кото́рая... ну ла́дно, бог с ней; вон здесь, на полу́, Марианна́ Песка́торе; и, на́конец, я сам, у кото́рого на завтра́шний де́нь нет да́же хлеба́, да́же того́, что мы называ́ем кусо́ком хлеба́. Боро́да у меня́ в тесте́, лицо́ расцара́пано, и по нему́ от сме́ха теку́т не то́ слезы́, не то́ кро́вь. Что́бы удо́стовериться́, я подо́шел к зерка́лу: это́ были́ слезы́, но и расцара́пан я бы́л то́же изрядно́. Ох, как мне́ нра́вился в эту́ мину́ту мой гла́з! От отча́яния он е́ще большо́е, че́м обы́чно, гляде́л в сторо́ну, куда́ ему́ вздумало́сь. И я убежа́л, тве́рдо решив́ не возвра́щаться до́мой, пока́ не найду́ средств, что́бы са́мому соде́ржать, пусть ни́щенски, свою́ же́ну и себя́.

Я́ростная́ злоба́ на са́мого себя́ за свою́ многоле́тнюю беззабо́тность, преисполни́вшая меня́ в эту́ мину́ту, помо́гла мне́ встре́то уразуме́ть, что́ рассказ о мои́х беда́х ни́ у ко́го не встрети́т не то́лько сочу́вствия, но да́же понима́ния: я́ вполне́ заслужи́л свою́ уча́сть.

Пожа́леть меня́ мо́г то́лько тот, кто́ захвати́л все́ наше́

¹ Да позво́лено́ бу́дет так вы́разиться́ (*лат.*).

имущество, но я отнюдь не надеялся, что Маланья сочтет себя обязанным прийти мне на помощь после всего происшедшего между нами.

Помощь пришла ко мне оттуда, откуда я меньше всего ее ожидал.

Проведя целый день вне дома, я к вечеру случайно натолкнулся на Помино, который хотел пройти мимо, притворяясь, что не замечает меня.

— Помино!

Он обернулся с мрачным видом и остановился, потупив глаза.

— Чего тебе?

— Помино! — повторил я громче, тряся его за плечо и смеясь над его мрачностью. — Да ты серьезно?

О, человеческая неблагодарность! В довершение всего на меня сердился даже Помино, сердился за то предательство, которое я, по его мнению, совершил. Мне не удалось убедить его, что на самом-то деле я предан ему и что он должен не просто благодарить меня, но, простершись на земле, целовать следы моих ног.

Я был как пьяный от приступа злобной веселости, охватившей меня в тот миг, когда я посмотрел на себя в зеркало.

— Видишь эти царапины? — спросил я его спустя несколько минут. — Это все она.

— Ро... то есть твоя жена?

— Нет, ее мать!

И я рассказал ему все. Он улыбнулся, но так, чуть-чуть. Может быть, он при этом подумал, что его-то вдова Пескаторе не стала бы царапать: у него все было совсем другое — и положение, и характер, и сердце.

Тут меня стало подмывать спросить его: почему он вовремя сам не женился на Ромильде, если уж так горюет о ней; он ведь мог убежать с нею, как я ему советовал, прежде чем я из-за его нелепой робости и нерешительности влюбился в нее на свою беду. Я был до того возбужден, что чуть не наговорил ему и многого другого, но все-таки сдержался, протянул ему руку и спросил, с кем он проводил все это время.

— Ни с кем! — вздохнул он. — Ни с кем! Я скучаю, смертельно скучаю!

То отчаяние, с которым он произнес эти слова, казалось, внезапно открыло мне истинную причину мрачности Помино. Так вот в чем дело: он, вероятно,

оплакивает не столько потерю Ромильды, сколько утрату всех своих приятелей. Берто здесь уже нет, а со мной он не может общаться, потому что между нами стоит Ромильда,— что же оставалось делать бедному Помино?

— Женись, дорогой! — сказал я ему.— Увидишь, как тебе станет весело.

Но он покачал головой, закрыл глаза, поднял руку и с самым серьезным видом объявил:

— Никогда! Теперь уже никогда!

— Bravo, Помино! Будь постоянен! А если тебе нужно общество, я в твоём распоряжении, если угодно — хоть на всю ночь.

Я рассказал ему об обещании, которое я дал себе, уйдя из дому, и объяснил, в каком отчаянном положении нахожусь. Помино растрогался и, как истинный друг, предложил мне все деньги, какие у него были с собой. Я поблагодарил от всего сердца, но возразил, что такая помощь меня не спасет: на следующий же день я снова окажусь в затруднительном положении. Мне нужно твердое жалованье.

— Подожди-ка! — воскликнул Помино.— Ты знаешь, что мой отец стал членом муниципалитета?

— Нет, но вполне могу себе это представить.

— Он коммунальный советник по делам народного просвещения.

— Вот уж этого я себе не представлял.

— Вчера за ужином... Пстой! Ты знаешь Ромителли?

— Нет.

— Вот те на! Это же тот, кто работает в библиотеке Боккамаццы. Он глух, почти слеп, впал в детство и не держится на ногах. Вчера вечером за ужином отец говорил, что библиотека приведена в самое плачевное состояние и о ней нужно как следует позаботиться. Вот и место для тебя!

— Библиотекарем? — воскликнул я.— Да ведь я...

— Почему бы нет? — сказал Помино.— Если уж годился Ромителли...

Этот довод убедил меня.

Помино посоветовал мне позаботиться, чтобы с его отцом поговорила тетя Сколастика. Так оно будет лучше.

На следующий день я отправился навестить маму и поговорить с ней, потому что тетя Сколастика не пожелала выйти ко мне. Вот так через четыре дня я и сде-

лался библиотекарем. Шестьдесят лир в месяц! Я стал богаче вдовы Пескаторе и мог торжествовать победу!

В первые месяцы служба меня забавляла, так как Ромителли никак не мог уразуметь, что муниципалитет перевел его на пенсию и он не обязан больше ходить в библиотеку. Каждое утро в один и тот же час, ни минутой раньше, ни минутой позже, он появлялся в ней на четырех ногах (считая палки, которые он держал в обеих руках и которые служили ему лучше, чем ноги). Сразу же по приходе он извлекал из жилетного кармана старые медные часы-луковицу на толстой цепочке и вешал их на стену. Затем он садился, ставил палки между ног, вытаскивал из кармана круглую шапочку, табакерку, большой платок в красную и черную клетку, закладывал в нос большую понюшку, утирался, открывал ящик столика и вынимал оттуда принадлежащую библиотеке книгу — «Исторический словарь мертвых и живых музыкантов, артистов и любителей искусства, напечатанный в Венеции в 1758 году».

— Синьор Ромителли! — кричал я ему, пока он невозмутимо проделывал все эти операции, не подавая виду, что заметил меня.

Но кому я это говорил? Он не услышал бы даже пушечного выстрела. Я тряс его за руку, и тогда он оборачивался, таращил глаза, прищуривался, совершенно перекашивая при этом лицо, и показывал желтые зубы, вероятно, пытаясь улыбнуться мне. Затем он склонялся над книгой с таким видом, словно хотел лечь на нее, как на подушку; на самом деле он просто так читал — одним глазом на расстоянии двух сантиметров от книги, читал вслух:

— Бирнбаум, Иоганн Абрахам!.. Бирнбаум, Иоганн Абрахам напечатал... Бирнбаум, Иоганн Абрахам напечатал в Лейпциге в тысяча семьсот тридцать восьмом году брошюрку ин-октаво... ин-октаво. Беспристрастные замечания по поводу одного деликатного поступка музыканта-критика. Мицлер... Мицлер поместил этот эпизод в первом томе своей музыкальной библиотеки. В тысяча семьсот тридцать девятом году...

И он продолжал читать, повторяя по два, а то и по три раза каждое имя и дату, словно старался их запомнить. Не могу понять, почему он читал так громко. Повторяю, он не услышал бы и пушечного выстрела.

Я изумленно смотрел на него. Какое было дело такой

развалине, стоявшей, можно сказать, одной ногой в гробу (он умер через четыре месяца после назначения меня библиотекарем), до того, что Иоганн Абрахам Бирнбаум напечатал в 1738 году в Лейпциге брошюрку ин-октаво? И зачем он тратил столько сил на чтение? Может быть, он просто не в силах был жить без всех этих дат и сведений (он-то, совершенно глухой!) о музыкантах, артистах и любителях искусства, живших до 1758 года. Или, может быть, он полагал, что, поскольку библиотека создана для чтения, а в нее не заглядывает ни одна живая душа, библиотекарь обязан читать сам? Вот почему он взял эту книгу — впрочем, он мог бы взять любую другую. Он до такой степени оступел, что это предположение вполне вероятно, пожалуй еще более вероятно, чем первое.

Большой стол посредине был покрыт слоем пыли в палец толщиной, и я, чтобы как-то заглазить черную неблагодарность моих сограждан, начертал на нем большими буквами следующую надпись:

МОНСИНЬОРУ БОККАМАЦЦЕ,
ВЕЛИКОДУШНЕЙШЕМУ ДАРИТЕЛЮ,
В ЗНАК ВЕЧНОЙ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
СОГРАЖДАНЕ
ВОЗЛОЖИЛИ ЭТУ ПЛИТУ

Время от времени с полок валились книги, а вдогонку им несколько крыс размером с доброго кролика.

Это сыграло в моей жизни ту же роль, что яблоко в жизни Ньютона.

— Нашел! — с удовлетворением воскликнул я. — Вот и занятие для меня, пока Ромителли читает своего Бирнбаума.

И для начала я написал учтивейшее прошение по инстанции на имя многоуважаемого кавалера Джероламо Помино, коммунального советника по делам народного просвещения, о незамедлительном снабжении библиотеки Боккамаццы, иначе — библиотеки Санта-Мариа Либерале, по крайней мере двумя кошками, содержание которых почти ничего не будет стоить муниципалитету, принимая во внимание, что вышеуказанные животные могут и сами прокормиться за счет обильной охотничьей добычи. Я присовокупил также, что было бы неплохо снабдить библиотеку полдюжиной крысоловок с необходимым количеством приманки. Под этой последней подразумевался сыр, но, в качестве подчиненного, я не

счел возможным употреблять столь грубое слово в прошении, которое будут читать глаза коммунального советника по делам народного просвещения.

Сначала мне прислали двух настолько заморенных кошачонок, что они сразу же испугались огромных крыс и, чтобы не сдохнуть с голоду, принялись лазить в крысоловки за сыром. Каждое утро я освобождал их из плена, отощавших, взъерошенных и до того напуганных, что у них не было ни сил, ни желания мяукать.

Я сочинил новое прошение, и тогда в библиотеке появились два красивых кота, ловких и деловитых, которые, не теряя времени, принялись выполнять свой долг. Помогли мне и крысоловки, куда крысы попадались живьем. И вот однажды вечером, раздраженный тем, что Ромителли не обращает ни малейшего внимания на мои труды и победы, словно его обязанность — читать, а крыс — грызть библиотечные книги, я перед уходом посадил двух живых крыс в ящик столика. Я надеялся хоть на одно утро оторвать Ромителли от его обычного убийственно скучного чтения. Какое там! Открыв ящик и почувствовав, как эти два зверька пробежали у него под носом, он обернулся ко мне (я уже не мог сдерживаться и разразился хохотом) и спросил:

— Что это было?

— Две крысы, синьор Ромителли!

— А-а, крысы...— спокойно протянул он.

Они были для него вроде как домашними животными, он к ним привык, поэтому он как ни в чем не бывало принялся за чтение своего фолианта.

В одном из «Трактатов о деревьях» Джованни Витторио Содерини можно прочесть, что «фрукты зреют частично благодаря теплу, частично благодаря холоду, поскольку тепло, как это наблюдается повсеместно, обладает способностью ускорять вызревание и является его естественной причиной». Очевидно, Джованни Витторио Содерини не знал, что садоводы умеют ускорять созревание не только с помощью тепла, но и другим способом. Когда им надо отвезти ранние фрукты на рынок и продать их подороже, они срывают эти плоды — яблоки, персики, груши — раньше, чем они дойдут и станут приятны на вкус, и ударами приводят их в состояние зрелости.

Так дозрел и я, совсем еще зеленый юнец.

За короткое время я стал совсем иным, чем раньше.

Когда Ромителли умер, я остался один в заброшенной часовенке среди всех этих книг, где меня пожирала скука; я был беспредельно одинок, но не искал общества. Я мог бы проводить на службе всего лишь несколько часов в день, но показаться на улицах городка мне, впадшему в нищету, было стыдно, из дома же я бежал, как из тюрьмы; поэтому я повторял себе: «Лучше уж торчать здесь. Чем заняться? Охотой на крыс, разумеется». Но разве мне этого было достаточно?

Когда я в первый раз заметил, что стою с книгой, которую бессознательно, наугад снял с одной из полок, меня охватила дрожь ужаса. Значит, и я, как Ромителли, опустилсЯ до того, что чувствую потребность читать за всех, кто не приходит в библиотеку? Я швырнул книгу на пол, но потом поднял ее и — да, синьоры, — тоже начал читать и тоже одним глазом, потому что другой глядел у меня в сторону.

Читал я беспорядочно, всего понемногу, но главным образом книги по философии. Это очень тяжелая пища, но тот, кто ею питается и усваивает ее, витает в облаках. Она еще больше спугала мои мысли, и без того несвязные. Когда голова у меня начинала кружиться, я закрывал библиотеку и спускался по крутой тропинке на маленький пустынный пляж.

Вид моря порождал во мне ужасное смятение, которое постепенно стало просто невыносимым. Я сидел на пляже, опустив голову и запрещая себе смотреть на море, но слышал его шум по всему берегу, медленно пересыпая между пальцами тяжелый, плотный песок и бормотал:

— Вот так всегда, до самой смерти, без всяких перемен...

Неизменность условий моего существования возбуждала во мне внезапные странные мысли, почти вспышки безумия. Я вскакивал, словно желая стряхнуть их, и начинал расхаживать вдоль берега; я видел, как море без устали шлет на сушу ленивые, дремотные волны, видел вокруг пустынные пески и гневно кричал, размахивая кулаками:

— Почему? Почему?

И море омывало мне ноги.

Быть может, оно забрасывало волну чуть дальше обычного, чтобы предостеречь меня:

«Видишь, дорогой, чего ты добился своими «почему»?»

Только промочил ноги. Вернись-ка лучше в библиотеку. Соленая вода разъедает обувь, а у тебя нет лишних денег, чтобы бросать их на ветер. Вернись в библиотеку и не читай книг по философии. Иди и уж лучше тоже читай о том, что Иоганн Абрахам Бирнбаум напечатал в тысяча семьсот тридцать восьмом году в Лейпциге брошюрку ин-октаво. Это, без сомнения, полезнее».

В один прекрасный день за мной наконец пришли: у моей жены начались роды, и мне надо было спешить домой. Я помчался, как безумный, но хотелось мне главным образом убежать от себя самого, ни секунды не оставаться наедине с самим собой, не думать, что у меня сейчас родится ребенок. У меня? В таких условиях? Ребенок?

Не успел я вбежать в двери дома, как теща схватила меня за плечи и повернула назад:

— Врача! Живей! Ромильда умирает!

Я должен бы остаться дома, не правда ли? Вместо этого внезапно, как снег на голову: «Беги!» Я не чуял под собой ног, не знал, в какую сторону направиться, и на бегу бессмысленно повторял: «Врача! Врача!» Встречные останавливались и требовали, чтобы я тоже остановился и объяснил им, что у меня случилось; я чувствовал, как меня тянут за рукав, видел бледные, расстроенные лица, но всех отстранял: «Врача! Врача!» А врач в это время уже был у меня дома. И когда я, запыхавшись, изнемогая, обегав все аптеки, в бешенстве и отчаянии вернулся к себе, первая девочка уже родилась, и Ромильда силилась произвести на свет второго ребенка.

— Двойня!

Мне кажется, я как сейчас вижу их рядом в колыбельке — они царапали друг друга тоненькими пальчиками, словно движимые каким-то диким инстинктом, который внушал и жалость, и отвращение. Жалкие, еще более жалкие, чем те две кошчонки, которых я каждое утро вызволял из крысоловок и у которых не хватало сил даже мяукать, они тоже были не в состоянии даже пищать и все-таки царапались!

Я отодвинул их друг от друга, и при первом же прикосновении к их нежным холодным тельцам меня охватило незнакомое чувство — невыразимая трепетная нежность. Это были мои дочери!

Одна умерла через несколько дней, другая же дала

мне время привязаться к ней со всей пылкостью отца, у которого нет ничего, кроме ребенка, и который видит в нем единственный смысл жизни. Как жестоко, что она умерла, когда ей был уже почти год и она стала такой хорошенькой, вся в золотых кудряшках, которые я навивал себе на пальцы и никогда не уставал целовать; она говорила мне: «Папа», а я ей тотчас в ответ: «Дочка», а она мне снова: «Папа»... Так, без всякой цели, как перекликаются между собой птицы.

Одновременно с ней, в тот же день и почти в тот же час, умерла моя мать. Я не знал, как поделить между ними мои заботы и мое горе. Я оставлял малютку спящей и бежал к маме, которая не думала о себе, о предстоящей смерти и все спрашивала о внучке, горюя, что не может ее увидеть и поцеловать в последний раз. Эта пытка длилась девять дней! И после девяти суток напряженного бодрствования, не сомкнув глаз ни на минуту... Должен ли я признаться в этом? Многие, вероятно, постеснялись бы сказать правду, но ведь это же свойственно, свойственно человеку!.. Я в первый момент не почувствовал горя: на какое-то время я словно застыл, погрузился во мрак и заснул. Да, прежде всего мне надо было выспаться. Потом, когда я проснулся, меня охватила неистовая, гневная тоска по моей дочурке, по маме, которых больше не было... И я чуть не сошел с ума. Целую ночь я бродил по городку и по полям; не знаю, о чем я думал; знаю только, что в конце концов я оказался в имении Стиа, около мельничного пруда, и старый Филиппо, бывший мельник, а ныне сторож, увел меня подальше, под деревья, усадил на землю и долго-долго рассказывал мне о моей маме, об отце, о далеких, прекрасных днях; он убеждал меня не плакать и не отчаиваться, — ведь добрая бабушка поспешила на тот свет именно за тем, чтобы ухаживать там за внучкой, постоянно говорить ей обо мне, держать ее на коленях и никогда не оставлять одну.

Три дня спустя Роберто, словно желая заплатить мне за мои слезы, прислал мне пятьсот лир. Он писал, что хочет пристойно похоронить маму. Но об этом уже позаботилась тетя Сколастика.

Пятьсот лир некоторое время лежали в одной из библиотечных книг.

Потом они сослужили мне службу, став — как бы это выразиться? — причиной моей *первой* смерти.

6. ТАК, ТАК, ТАК...

Казалось, играет только он, шарик из слоновой кости, который там, внутри рулетки, грациозно бежит против часовой стрелки.

Так, так, так...

Да, играет именно он один, а вовсе не те, кто смотрит на него, терзаясь мукой, на которую обрекают их его капризы. Это ему вон тут, внизу, на желтых квадратах игорного стола, приносят как жертвенную дань золото и снова золото столько рук, дрожащих от страстного ожидания и бессознательно нащупывающих золото для следующей ставки; это на него устремлены молящие глаза, которые как бы говорят: «Где же соизволишь остановиться ты, изящный шарик слоновой кости, наше жестокое божество?»

Сюда, в Монте-Карло, я попал случайно.

После одной из обычных сцен с тещей и женой, сцен, которые теперь внушали мне, подавленному и разбитому двойным горем, непреодолимое отвращение, я поддался тоске и почувствовал, что не в силах больше продолжать такое омерзительное существование. Беспросветно несчастный, лишенный возможности и надежды хоть что-нибудь изменить, утратив свое единственное утешение — мою милую дочурку, не зная, чем облегчить душевную горечь и тоску, я внезапно решил и пешком ушел из нашего городка, унося в кармане пятьсот лир, присланных Берто.

Сперва я намеревался отправиться в Марсель; в соседнем поселке, куда я шел, была маленькая железнодорожная станция; добравшись до Марселя, я мог бы сесть на пароход и отправиться в Америку.

В конце концов, чего мне бояться после того, что я выстрадал в собственном доме? Конечно, в будущем меня ожидают новые цепи, но оков тяжелее тех, которые я собирался сбросить с ног сейчас, я все равно не мог себе представить.

И потом, я увижу другие страны, других людей, другую жизнь и по крайней мере освобожусь от тяжести, которая душит меня и давит.

Однако, подъезжая к Ницце, я почувствовал, что начинаю терять мужество. Мой юношеский пыл давно уже погас: тоска изгрызла меня, горе обессилило. Но больше всего меня угнетала ничтожность суммы,

с которой я отважился пуститься в такое далекое путешествие, навстречу неведомой судьбе, и к тому же совершенно неподготовленный к ожидающей меня новой жизни.

Итак, сойдя с поезда в Ницце и не решив еще окончательно вернуться домой, я бродил по городу и на авеню де ла Гар случайно остановился перед большим магазином, вывеска которого большими позолоченными буквами возвещала:

DÉPÔT DE ROULETTES DE PRÉCISION ¹

В витрине были выставлены рулетки разных размеров, другие игорные принадлежности, а также всевозможные брошюры с изображением рулетки на обложках.

Известно, что люди несчастные, при всей их склонности высмеивать доверчивые надежды ближних, сами часто бывают суеверны и обольщают себя беспочвенными надеждами, которые, разумеется, никогда не оправдываются.

Вспоминаю, что, прочитав название одной из этих брошюр «Méthode pour gagner à la roulette» ², я отошел от магазина с высокомерно-снисходительной улыбкой. Но, сделав несколько шагов, я с той же самой высокомерно-снисходительной улыбкой на губах вернулся обратно, вошел в магазин и купил брошюру.

Я совершенно не знал, о чем идет речь, в чем состоит игра и как устроен игральный аппарат. Я начал читать, но понял очень мало.

«Может быть, это объясняется тем, что я плохо знаю французский?» — подумалось мне.

Французскому языку меня никто не учил; я овладел им сам, почитывая разные книжки в библиотеке. Я совершенно не был уверен в своем произношении и боялся заговорить по-французски, чтобы не навлечь на себя насмешки, но потом подумал, что уж раз я собираюсь в Америку без всяких средств и в глаза не видав ни одной английской или испанской книги, то, зная немного по-французски и располагая путеводителем — только что купленной брошюрой, — я могу отважиться на поездку в Монте-Карло, тем более что до этого города рукой подать.

«Ни теща, ни жена, — повторял я себе в поезде, — ничего не знают об этих деньгах, лежащих у меня в бу-

¹ Продажа выверенных рулеток (франц.).

² «Способ выигрывать в рулетку» (франц.).

мажнике. Поеду и растрочу их, чтобы избавиться от искушения. Надеюсь, что сумею сохранить сколько надо на обратный проезд. А если нет...»

Я слышал, что в саду вокруг игорного дома растет довольно деревьев — и притом крепких. В конце концов я могу без лишних расходов повеситься на одном из них с помощью брючного ремня; я даже буду, пожалуй, выглядеть довольно импозантно. Люди, вероятно, скажут про меня:

— Бедняга, наверно, Бог знает сколько проиграл!

Надо, однако, признаться, что я надеялся на лучшее. И то сказать, вход выглядел неплохо. Восемь его мраморных колонн сразу наводили на мысль о том, что здесь хотели воздвигнуть храм Фортуне. По обеим сторонам подъезда располагались две боковые двери. Сначала я подошел к большой двери, на которой было написано «Tirez»¹, затем приблизился к подъезду с надписью «Poussez»², означавшей, очевидно, нечто противоположное; я толкнул дверь и вошел.

До чего же, к сожалению, было безвкусно внутри! Неужели нельзя было на радость людям, оставлявшим здесь такую уйму денег, устроить все так, чтобы их обирали в помещении менее пышном, но более красивом? Во всех больших городах устраиваются красивые бойни для бедного скота, но поскольку животные лишены всякого образования, они не умеют наслаждаться этой красотой. Правда, большая часть посетителей казино занята совсем иными мыслями и не обращает внимания на безвкусную отделку пяти его залов; точно так же те, кто рассаживаются вокруг игорного стола на диванах, чаще всего просто не замечают сомнительной роскоши, которая их окружает.

На этих диванах сидят обычно несчастные, чей рас судок бесповоротно помutila страсть к игре; они сидят там в надежде определить вероятность выигрыша, с невозмутимой серьезностью размышляют, какие комбинации им испробовать, изучают архитектонику игры, наблюдают за чередованием номеров — словом, пытаются открыть закономерность в случайности, что не легче, чем выдавить воду из камня, и пребывают в убеждении, что не сегодня-завтра им это удастся.

Впрочем, ничему не следует удивляться.

¹ К себе (франц.).

² От себя (франц.).

— Ах, двенадцать, двенадцать! — говорил мне один синьор из Лугано, мужчина, размеры которого наводили на самые утешительные размышления о способности рода человеческого сопротивляться ударам судьбы.— Двенадцать — это король чисел, это мой номер. И он никогда не изменяет мне. Правда, он часто подводит меня, но в конце концов все-таки вознаграждает за верность.

Этот мужчина крупных размеров, влюбленный в число двенадцать, не мог говорить ни о чем другом. Он рассказал мне, что накануне это число ни разу не пожелало выйти, но он все-таки не сдался, упорно ставил на двенадцать и проигрывал до последней минуты, когда крупье объявил:

— Messieurs, aux trois derniers! ¹

И вот, на первом круге — ничего, на втором — ничего, и лишь в третьем, и последнем, внезапно: бах — двенадцать.

— Оно ответило мне! — уверял он со сверкающими от радости глазами.— Оно мне ответило!

Правда, для последней ставки у него оставалось очень мало, так как он весь день проигрывал; таким образом, выигрыш ничего не поправил. Но какое это имеет значение, если число двенадцать ему все-таки ответило! Слушая такие рассуждения, я вспомнил одно четверостишие бедного Циркуля. После того как из нашего дома было вынесено все имущество, тетрадь с его виршами и каламбурами попала в библиотеку, и мне захотелось прочитать этому господину следующее четверостишие:

К Фортуне быстрокрылой я, убогий,
Взывал и долго ждал своей поры.
Но вот она и на моем пороге
Стоит,—увы! — скупая на дары.

А он охватил голову руками, и лицо его долго искажала страдальческая гримаса. Я посмотрел на него сначала с удивлением, потом с тревогой:

— Что с вами?

— Ничего. Просто смеюсь,— ответил он мне.

Вот как он смеялся! У него так сильно болела голова, что и легкая дрожь смеха казалась ему слишком мучительной.

Попробуйте-ка влюбиться в число двенадцать!

¹ Господа, три последние ставки! (*франц.*)

Хотя у меня не было никаких иллюзий, я, прежде чем испытать судьбу, решил немного понаблюдать за игрой. Она показалась мне совсем не такой сложной, как я воображал себе, прочитав брошюрку.

Посреди стола, на зеленом перенумерованном поле, была укреплена рулетка. Игроки, мужчины и женщины, старые и молодые, сидели или стояли вокруг и нервно готовились ставить кучи и кучки луидоров, скуди, банковских билетов на желтые номера квадратов; те, кто не сумел или не захотел пробиться к столу, называли крупные номера и цвета, на которые они собирались ставить, и крупные в соответствии с их указаниями с изумительным проворством лопаточкой располагал ставки; затем наступала тишина, странная, томительная, словно трепещущая от сдержанной страсти и по временам прерываемая монотонными и ленивыми возгласами крупные:

— Messieurs, faites vos jeux! ¹

А у других столов другие, такие же монотонные голоса повторяли:

— Le jeu est fait. Rien ne va plus ².

В конце концов крупные бросал шарик на рулетку.

Так, так, так...

Все взоры устремлялись к шарiku. В глазах читались самые разные чувства — тревожное ожидание, вызов, мука, ужас. Игроки, стоявшие позади тех, кому посчастливилось занять место за столом, перегибались через стулья, чтобы еще раз проверить свою ставку, прежде чем крупные лопаточкой снимет ее.

В конце концов шарик падал на какую-нибудь цифру, и крупные тем же тоном провозносил обычную формулу, объявляя выигравший номер и цвет.

Первую маленькую ставку я поставил за столом слева в первом зале, наобум назвав цифру двадцать пять; я тоже стоял и с улыбкой смотрел на предательский шарик, чувствуя какой-то странный холодок в животе. Наконец шарик остановился...

— Vingt-cinq, rouge, impair et passe! ³ — объявил крупные.

Выиграл! Я уже протянул руку, чтобы взять мою увеличившуюся кучку, как вдруг какой-то очень высокий господин с могучими, но слишком покатыми плечами,

¹ Господа, делайте ставки! (франц.)

² Ставки сделаны. Банк закрыт (франц.).

³ Двадцать пять, красное, нечет и пас! (франц.)

над которыми возвышалась маленькая голова с плоским лбом, длинными, прилизанными на затылке белокурыми с проседью волосами, остренькой бородой и усами того же цвета, горбатым носом и золотыми очками, оттолкнул меня и без всяких церемоний забрал себе мои деньги.

На моем скудном французском языке я робко заметил ему, что он ошибся — о, конечно, невольно... Он был немец, говорил по-французски еще хуже, чем я, но бросился на меня с мужеством льва, утверждая, что ошибся, без сомнения, я сам и что это его деньги.

Я удивленно оглянулся — все молчали, даже мой сосед, который отлично видел, как я поставил эти несколько монет на двадцать пять. Потом я посмотрел на крупье. Они стояли неподвижно и бесстрастно, как статуи.

— Ах так! — сказал я себе спокойно, взял другие монеты, которые положил на стол рядом с собой, и ушел. «Вот еще один способ *pour gagner à la roulette*¹, — подумал я, — который не разобран в моей брошюрке. И, быть может, единственно верный способ».

Но судьба, не знаю уж, во имя каких тайных целей, пожелала торжественно и незабываемо опровергнуть мои выводы.

Подойдя к другому столу, где играли по крупной, я сначала долго рассматривал окружавших его людей. По большей части это были господа во фраках, было среди них и несколько дам; многие показались мне сомнительными субъектами, а один белокурый человек с большими голубыми глазами, испещренными красными жилками и обрамленными длинными, почти белыми ресницами, сперва внушил мне прямо-таки недоверие: он тоже был во фраке, хотя, судя по виду, явно не привык носить его. Мне захотелось посмотреть, как человек ведет себя во время игры. Он поставил много и проиграл, но не изменился в лице и в следующий раз опять сделал крупную ставку. Ясное дело, этот на мои гроши не польстится! Хотя в первый раз я и обжегся, тут я устыдился своей подозрительности. Вокруг столько людей, которые пригоршнями, словно песок, без всякого страха, бросают золото и серебро, а я дрожу над такой ничтожной малостью!

Среди прочих я заметил бледного, как воск, юношу

¹ Чтобы выиграть в рулетку (франц.).

с большим моноклем в левом глазу, который старался напустить на себя сонливо-безразличный вид; он сидел развалившись, вытаскивал золотые из кармана панталонов и ставил их наобум, на какой попало номер, а потом, не глядя на ставку и пощипывая еле пробивающиеся усики, ждал, пока шарик остановится. Тогда он спрашивал у соседа, проиграл он или нет.

Проигрывал он непрерывно.

Его соседом был худощавый, в высшей степени элегантный господин лет сорока, с длинной тонкой шеей, почти без подбородка, с черными живыми глазками и с черными как смоль волосами, густыми и зачесанными назад. Ему доставляло явное удовольствие отвечать юноше утвердительно. Сам он иногда выигрывал.

Я встал рядом с толстым господином, до того смуглым, что глазницы и веки его казались закопченными; у него были седые, стального оттенка волосы, но еще совсем черная кудрявая борода; он дышал силой и здоровьем, и все же казалось, что движение шарика слоновой кости вызывает у него астму, так сильно и неудержимо начинал он всякий раз хрипеть. Люди оборачивались и смотрели на него, но он редко замечал это; заметив же, на мгновение переставал хрипеть, оглядывался кругом с нервной улыбкой и снова принимался хрипеть, не в силах остановиться до тех пор, пока шарик не попадал на цифру.

Я наблюдал, и лихорадка игры постепенно охватывала меня. Первые ставки не удались. Потом я почувствовал странное бурное опьянение; я действовал почти автоматически, повинуюсь неожиданному бессознательному вдохновению; я ставил каждый раз после всех, и во мне тотчас же возникала сперва надежда на выигрыш, затем уверенность в нем. И я выигрывал. Сначала я ставил мало, потом постепенно, не считая, начал увеличивать ставки; во мне росло нечто вроде просветленного опьянения, которое не омрачили даже несколько проигрышей, так как мне казалось, что я почти предвидел их. Иногда я даже говорил себе: «Вот эту ставку я проиграю, *должен проиграть*». Я был словно наэлектризован. Наступил момент, когда меня охватило вдохновенное желание рискнуть всем, раз и навсегда. Я выиграл. У меня звенело в ушах; я был весь в холодном поту. Мне показалось, что один из крупье, словно удивленный такой постоянной удачей, следит за мной. Я заколебался, но во

взгляде этого человека я прочел нечто вроде вызова и, не размышляя, вновь рискнул всем, что у меня было и что я выиграл. Моя рука сама потянулась к прежнему номеру — тридцать пять; я хотел было снять ставку, но затем, словно повинувшись чьему-то приказанию, опять положил деньги на место.

Я закрыл глаза и, должно быть, очень побледнел. Стало необычайно тихо, и мне показалось, что все происходит только ради меня одного, что все разделяют со мной страшное тревожное ожидание. Шарик вертелся, вертелся целую вечность с медленностью, которая от секунды к секунде делала попытку все более невыносимой.

Наконец он остановился.

Я уже знал, что крупье привычным голосом (мне казалось, что слова его доносятся откуда-то издалека) сейчас объявит:

— Trente-cinq, noir, impair et passe! ¹

Я взял деньги и ушел, шатаюсь словно пьяный. Измученный вконец, я упал на диван и откинул голову на спинку, чувствуя неожиданную непреодолимую потребность хоть немного заснуть, забыться. Но когда я почти поддался этому желанию, я почувствовал на себе такую физически ощутимую тяжесть, которая немедленно заставила меня очнуться. Сколько я выиграл? Я открыл глаза, но был вынужден снова закрыть их — у меня кружилась голова. Жара в зале была невыносимая. Как! Неужели уже вечер? Я мельком увидел зажженные огни. Сколько же времени я играл? Я тихонько встал и вышел.

Снаружи, в подъезде, я увидел дневной свет. Свежий воздух подбодрил меня.

Гуляющих в саду было не много: одни прохаживались задумчиво и одиноко, другие по двое и по трое, болтая и покуривая.

Я наблюдал за всеми. Человек в этих местах новый, еще не освоившийся, я стремился хоть немного походить на завсегдатая. Особенно пристально я присматривался к тем, кто держался наиболее развязно. Порою, когда я меньше всего этого ожидал, кто-нибудь из таких людей бледнел, устремлял глаза в одну точку, бросал папиросу и под смех окружающих возвращался в игорный дом. Почему его собеседники смеялись? Но ведь смеялся и я — произвольно и с каким-то идиотским видом.

¹ Тридцать пять, черное, нечет и пас! (франц.)

— A toi, mon chéri ¹,— услышал я тихий, немного хриплый женский голос.

Я обернулся и увидел одну из тех женщин, которые вместе со мной сидели у игорного стола: она, улыбаясь, протягивала мне розу. Другую она оставила себе. Она только что их купила у цветочницы в вестибюле.

Неужели у меня был такой смешной и глупый вид? Страшное раздражение охватило меня. Даже не поблагодарив, я отказался от подарка и отодвинулся от женщины; но она только рассмеялась, взяла меня под руку и, всем видом показывая окружающим, что у нас с ней интимный разговор, торопливо и тихо заговорила со мной. Я понял, что она присутствовала при моем выигрыше и предлагает мне играть вместе с ней: она хотела по моим указаниям ставить и за себя, и за меня.

Меня передернуло, я презрительно отвернулся и ушел. Несколько позже, вернувшись в игорный зал, я увидел, что она разговаривает с низеньким, смуглым, бородастым, косоглазым господином, по виду испанцем. Она дала ему розу, которую раньше предлагала мне. По тому, как они повернулись при моем появлении, я понял, что они говорили обо мне, и решил быть настороже.

Я вошел в другой зал и приблизился к первому столу, не собираясь играть; и вот, немного спустя, этот господин, уже без спутницы, тоже подошел к столу, делая вид, что не заметил меня.

Тогда я уставился на него, желая дать ему понять, что я все заметил и что меня не проведешь.

Но он совсем не походил на мошенника. Я видел, что он играет и притом крупно: он проиграл подряд три ставки, торопливо моргая — наверно, потому, что ему было трудно скрыть свое волнение. Проиграв третью ставку, он посмотрел на меня и улыбнулся.

Я оставил его там и вернулся в другой зал, к столу, за которым я выиграл.

Крупье сменился. Женщина сидела там же, на прежнем месте. Я встал сзади, чтобы она меня не заметила, и увидел, что она играет по маленькой и ставит не каждый раз. Я протиснулся вперед. Она меня заметила, хотела поставить, но удержалась. Она явно ждала, пока я начну играть, чтобы поставить на тот же номер, что и я. Но ждала напрасно. Когда крупье объявил: «Le jeu est

¹ Вот тебе, милый (франц.).

fait. Rien ne va plus», я посмотрел на нее. Она подняла палец и шутливо погрозила мне. Несколько раз я пропустил, потом, снова придя в возбуждение при виде играющих и чувствуя, что во мне зажигается прежнее вдохновение, перестал обращать на нее внимание и снова стал играть.

По какому таинственному наитию я так безошибочно ориентировался в непостижимом разнообразии комбинаций чисел и цветов? Во мне, наверно, жило какое-то изумительное подсознательное предвидение. Как можно иначе объяснить то безумное, поистине безумное упорство, одно воспоминание о котором бросает меня в дрожь? Ведь я рисковал всем, быть может — самой жизнью, и мои ставки были самым настоящим вызовом судьбе. Но нет, в те минуты, когда я покорял и околдовывал судьбу, подчиняя ее капризы своей воле, у меня было сознание небывалой, почти демонической силы. И эта уверенность жила не только во мне: она мгновенно заразила окружающих, и теперь почти все они, затаив дыхание, следили за моей отчаянной игрой. Не помню уж точно, сколько раз подряд выиграло красное, на которое я упорно ставил; когда я ставил на нуль, выходил и нуль. Даже тот юноша, который вытаскивал золотые из кармана панталон, наконец встряхнулся и словно воспламенился. Толстый смуглый господин хрипел громче обычного. Возбуждение вокруг стола росло с каждой минутой; всех от нетерпения была дрожь, все делали короткие нервные жесты, с трудом сдерживая мучительную и страшную ярость. Даже крупные утратили свою каменную бесстрастность.

Внезапно, сделав огромную ставку, я ощутил что-то вроде головокружения. Мне показалось, что на мне лежит чудовищная ответственность. Я почти ничего не ел с утра и поэтому весь дрожал от длительного и сильного возбуждения. Я больше не мог подавлять его и после этой ставки направился к выходу, но тут же почувствовал, как кто-то схватил меня за руку. Коренастый бородастый испанец с глазами, метавшими молнии, возбужденно пытался удержать меня. Сейчас четверть двенадцатого, крупные приглашают сделать три последние ставки; мы могли бы сорвать банк.

Он говорил на комичном, ломаном итальянском языке, а я, ничего уже не соображая, упорно отвечал ему на своем родном языке:

— Нет, нет! Довольно! Я больше не могу! Позвольте мне уйти, дорогой синьор!

Он отпустил меня, но пошел за мной. Вместе со мной он сел в поезд на Ниццу и потребовал, чтобы я непременно поужинал с ним и остановился в том же отеле, что и он.

Сначала мне было приятно то почти боязливое восхищение, которое проявлял этот человек, обращавшийся со мной так, словно я волшебник. Человеческое тщеславие не отказывается иногда воздвигать себе пьедестал даже из оскорбительного подобострастия, даже из горького и зловонного фимиама недостойной и ничтожной лести. Я был похож на полководца, который случайно, сам не зная как, выиграл тяжелое и безнадежное сражение. Но вскоре я уже начал понимать это, пришел в себя, и общество нового знакомца стало постепенно раздражать меня.

Однако по приезде в Ниццу мне, как я ни старался, не удалось от него отделаться, и пришлось пойти с ним ужинать. И тогда он признался, что туда, в подъезд казино, прислала его та самая женщина, веселенькая дамочка, которой он в течение трех дней прилаживал крылышки из банковских билетов, чтобы она могла летать хотя бы над самой землей, то есть, проще говоря, дал несколько сот лир, чтобы она попытала счастье. Дамочка, вероятно, порядочно выиграла в этот вечер, ставя на мои номера, потому что при выходе ее уже не было видно.

— Что поделаешь! Бедняжка, наверно, нашла себе что-то получше: я ведь уже старик. Впрочем, благодарю Бога за то, что он избавил меня от нее.

Он сказал мне, что живет в Ницце уже около недели и каждое утро ездит в Монте-Карло, где до этого вечера неизменно и крупно проигрывал. Он хочет знать, как я научился выигрывать. Вероятно, я понял механизм игры и постиг какое-то ее непреложное правило.

Я рассмеялся и ответил, что до сегодняшнего утра не видел рулетки даже на картинках и что не только совершенно не знал, как люди играют, но даже отдаленно не предполагал, что буду играть и столько выиграть. Я изумлен и поражен этим больше, чем он.

Он не поверил мне. Я убедился в этом, когда, ловко изменив тему (он, без сомнения, считал, что имеет дело с патентованным мошенником) и совершенно

непринужденно изъясняясь на своем полуиспанском, полу бог знает каком языке, он предложил мне то же самое, на что пытался подбить меня утром, запустив в меня коготки той веселенькой дамочки.

— Нет уж, увольте! — воскликнул я, стараясь все же хотя бы улыбкой смягчить его обиду на меня за отказ. — Неужели вы всерьез думаете, что в этой игре есть какие-то правила, какой-то секрет? В ней нужно одно — чтобы вам везло! Сегодня мне повезло; завтра это, может быть, не повторится, а может быть, снова удача придет. По крайней мере я надеюсь на нее.

— Но почему вы не захотели сегодня воспользоваться ею? — спросил он.

— Воспользоваться?..

— Другими словами, продолжать игру! *Voilà!* ¹

— Но, дорогой синьор, я играл соответственно своим средствам.

— *Bien* ², — сказал он. — Я буду ставить за вас. Вы даете свою удачу, я вкладываю деньги.

— И очень может быть, что мы проиграем! — возразил я, улыбаясь. — Нет, нет, давайте сделаем иначе. Если вы действительно считаете меня удачником, разумеется только в игре, а не во всем остальном, мы поступим так: не заключая никакого соглашения, без всякой ответственности с моей стороны, потому что я не хочу брать ее на себя, вы будете ставить большие суммы на те номера, на которые я буду ставить маленькие, как было сегодня, и если все пойдет хорошо...

Он не дал мне кончить, разразился странным смехом, которому постарался придать иронический оттенок, и отрезал:

— Ну нет, синьор! Нет! Сегодня я это делал; но завтра, конечно, не буду! Если вы согласны ставить со мной по крупной — *bien!* Если нет, я тоже не стану делать больших ставок. Благодарю покорно.

Я смотрел на него, стараясь понять, что он хочет сказать: в этом смехе и в этих последних словах, несомненно, скрывалось какое-то оскорбительное для меня подозрение. Я заволновался и потребовал объяснений. Он перестал смеяться, но на его лице застыло нечто вроде тени умолкшего смеха.

¹ Вот! (*франц.*)

² Хорошо (*франц.*).

— Я говорю только: нет, я не стану этого делать,— повторил он.— Больше ничего я вам не скажу.

Я грохнул кулаком по столу и изменившимся голосом настойчиво потребовал:

— Напротив, вы обязаны говорить, обязаны объяснить, что означают ваши слова и дурацкий смех. Я этого не понимаю.

Пока я говорил, он все больше бледнел и словно уменьшался в размерах: он, очевидно, собирался попросить извинения. Я негодуяще пожал плечами и встал.

— Довольно! Я презираю вас и ваши подозрения, хотя даже не могу представить себе, что вы имели в виду.

Заплатив по счету, я вышел.

Я знал одного почтенного человека, чья выдающаяся умственная одаренность заслуживала самого глубокого восхищения; но им не восхищались, и, по-моему, исключительно из-за его брюк: он, насколько мне помнится, упорно носил светлые брюки в клетку, слишком плотно облегавшие его тощие ноги.

Платье, которое мы носим, его покрой и цвет могут дать повод думать о нас самые странные вещи. Но сейчас я чувствовал тем большую досаду, что не казался себе плохо одетым. Правда, я был не во фраке, но носил черный, траурный, вполне приличный костюм. И потом, я был в том же самом костюме, когда этот противный немец принял меня за простофилю и без всяких церемоний забрал себе мои деньги. Почему же теперь испанец принимает меня за мошенника?

«Может быть, из-за моей бородищи,— подумал я, уходя,— или из-за слишком коротко остриженных волос?..»

Я отправился на поиски какой-нибудь гостиницы: я хотел запереться и сосчитать, сколько выиграл. Мне казалось, что я засыпан деньгами; они были рассованы всюду понемногу — в карманах пиджака, брюк, жилета. Золото, серебро, банковские билеты; наверное, их много, очень много!

Я услышал, что пробило два. Улицы были безлюдны. Мимо проезжал пустой фиакр, я сел в него.

Поставив пустячную сумму, я выиграл около одиннадцати тысяч лир! Я давно не видел таких денег, и сначала эта сумма показалась мне огромной. Но потом, подумав о своей прежней жизни, я почувствовал

презрение к самому себе. Неужели же два года службы в библиотеке и все остальные несчастья сделали меня до такой степени мелочным?

Глядя на деньги, лежавшие на кровати, я с новой язвительностью принялся терзать себя:

«Ступай, добродетельный человек, скромный библиотекарь, ступай, вернись домой и порази своим сокровищем вдову Пескаторе. Она подумает, что ты украл эти деньги, и немедленно почувствует к тебе глубокое уважение. Если же и это кажется тебе недостаточной наградой за твои титанические труды, поезжай в Америку, как собирался раньше. Теперь ты можешь туда поехать: у тебя достаточно денег. Одиннадцать тысяч лир! Какое богатство!»

Я собрал деньги, бросил их в ящик комода и лег. Но заснуть не удавалось. Что же мне в конце концов делать? Вернуться в Монте-Карло и возратить этот неожиданный выигрыш? Или удовольствоваться и скромно пользоваться тем, что у меня есть? Но как? Может быть, наслаждаться достатком в кругу той семьи, которую я себе создал? Я могу чуточку получше одеть свою жену; но ведь она не только не заботилась о том, чтобы понравиться мне, а, напротив, делала все, чтобы внушить мне отвращение к ней: целый день ходила непричесанная, без корсета, в ночных туфлях, в волочащихся по полу платьях. Вероятно, она полагала, что ради такого мужа, как я, не стоит стараться быть красивой. К тому же Ромильда еще не совсем оправилась после своих тяжелых и опасных для жизни родов. Что же касается характера, то она становилась все более раздражительной — и не только со мной, но со всеми окружающими. Обида и отсутствие живого, искреннего чувства стали для нее источником мрачности и все возрастающей лени. Она даже не привязалась к девочке: рождение ее, равно как и той, другой, прожившей всего несколько дней, стало для моей жены поражением — ведь Олива примерно через месяц без всякого труда и после легкой беременности родила красивого, цветущего мальчика. Взаимное отвращение и постоянные разногласия, неизбежно возникающие там, где нужда, как взъерошенная черная кошка, свертывается клубком на золе потухшего очага, сделали дальнейшее сожителство ненавистным для нас обоих. Так могут ли мои одиннадцать тысяч лир вернуть в дом спокойствие и оживить любовь, подло убитую вдовой Пескаторе в са-

мом зародыше? Безумие! Что же остается? Уехать в Америку. Но зачем мне искать счастья так далеко, если оно словно нарочно хочет удержать меня здесь, в Ницце, хотя я и не мечтал ни о чем подобном, когда стоял перед витриной с выставленными в ней игорными принадлежностями? Нет, я должен доказать, что достоин удачи и милостей фортуны, если они и впрямь предназначены мне. Да, да! Все или ничего. В конце концов, проиграв, я только вернусь к прежнему своему положению, да и что такое, в сущности, одиннадцать тысяч лир?

Итак, на следующий день я вернулся в Монте-Карло. И возвращался туда еще двенадцать дней подряд. У меня уже не было ни времени, ни возможности удивляться капризу судьбы, не то что исключительно, а просто баснословно благосклонной ко мне. Я был вне себя, я совершенно сошел с ума; я удивляюсь себе и сегодня, хотя теперь слишком хорошо знаю, какое возмездие готовила мне судьба, осыпая меня такими неслыханными и безмерными щедротами. Девять дней я играл, отчаянно рискуя, и выиграл огромную сумму; на десятый день я начал проигрывать и покатился в пропасть. Удивительное чутье, словно не находя больше пищи в моей иссякшей энергии, изменило мне. Я не смог или, верней, не сумел остановиться вовремя. И если я все-таки остановился и опомнился, то не по своей воле, а благодаря сильному впечатлению, которое произвело на меня одно ужасное зрелище, какие, вероятно, наблюдаются здесь нередко.

Утром двенадцатого дня, когда я входил в игорный зал, ко мне подошел синьор из Лугано, влюбленный в число двенадцать. С расстроенным видом и задыхаясь, он скорее знаками, чем словами, сообщил, что сейчас в саду покончил с собой один игрок. Я сразу же подумал, что это, наверно, мой испанец, и почувствовал угрызения совести. Я был убежден, что он помогал мне выигрывать. В первый день после нашей ссоры он не захотел ставить на те номера, что я, и все время проигрывал. В последующие дни, видя, что я неизменно выигрываю, он пытался ставить вместе со мной; но тогда уже я не захотел играть вместе с ним и, словно повинувшись персту самой фортуны, вездесущей и невидимой, начал бродить от одного стола к другому. Два дня я не видел испанца и с тех пор стал проигрывать, может быть именно потому, что он перестал за мной гоняться.

Подбегая к указанному месту, я был уверен, что

самоубийца, простертый на траве,— именно он. Однако вместо испанца я увидел того бледного юношу, который, напуская на себя сонный и безразличный вид, вытаскивал из карманов панталон золотые и, не глядя, ставил их.

Здесь, посреди аллеи, он казался меньше ростом. Он лежал в спокойной позе, сдвинув пятки, словно сам опустился на землю, чтобы не ушибиться при падении. Одну руку он прижал к телу, другую чуть-чуть откинул в сторону, сжав кулак и вытянув указательный палец, словно все еще спускал курок. Около этой руки лежал револьвер и — несколько поодаль — шляпа. Мне сначала показалось, что пуля вышла через левый глаз: из него на лицо вытекло много тепер уже запекшейся крови. Но нет, кровь, правда, брызнула и оттуда, равно как из ноздрей и ушей, но большая часть ее вылилась из дырочки в правом виске прямо на желтый песок аллеи, который весь пропитался ею. Вокруг жужжала целая дюжина ос; некоторые особенно подлые садились прямо на глаз. Стоявшие вокруг люди не догадались прогнать их. Я вынул из кармана платок и закрыл им жестоко изуродованное лицо несчастного. Никто из присутствующих не почувствовал ко мне признательности за это: я отнял у них самую интересную часть зрелища. Я убежал из сада, вернулся в Ниццу и в тот же день уехал. У меня было около восьмидесяти двух тысяч лир.

Я мог себе представить все на свете, за исключением того, что в тот же день вечером и со мной случится нечто подобное.

7. Я ПЕРЕСАЖИВАЮСЬ В ДРУГОЙ ПОЕЗД

Я думал так:

«Выкуплю Стиа, поселюсь в деревне, сделаюсь мельником. Человеку лучше жить поближе к земле; под ней — может быть, еще лучше.

Каждое ремесло в конце концов дает известное утешение. Даже ремесло могильщика. Мельник может утешаться стуком жерновов и мукой, летающей в воздухе и покрывающей его с ног до головы.

Уверен, что сейчас на мельнице даже дырявого мешка не найдешь. Но как только мельница будет моя... «Синьор Маттиа, нужна новая задвижка! Синьор Маттиа,

сломался подшипник! Синьор Маттиа, полетели зубцы на шестерне».

Все будет так, как при покойной матушке, когда наши дела вел Маланья.

И пока я буду присматривать за мельницей, управляющий будет красть урожай с полей; а если я примусь следить за управляющим, мельник начнет воровать помол. Словом, мельник, с одной стороны, и управляющий — с другой, будут как бы раскачивать качели, а я, находясь между ними, буду наслаждаться полетом.

А может быть, лучше вынуть из почтенного сундука моей тещи один из старых костюмов Франческо Антонио Пескаторе, которые вдова хранит в нафталине и перце как священные реликвии, надеть его на Марианну Донди и послать ее в Стиа и в качестве мельника, и как наблюдателя за управляющим.

Деревенский воздух, несомненно, окажется полезен моей жене. Конечно, при появлении тещи листья на иных деревьях, вероятно, свернутся, а птицы онемеют, но источник, будем надеяться, все-таки не пересохнет. А я останусь один-одинешенек библиотекарем в Санта-Марга Либерале».

Так размышлял я, а поезд безостановочно шел вперед. Стоило мне закрыть глаза, как передо мной с невероятной отчетливостью немедленно представал труп юноши в аллее, казавшийся таким маленьким и тихим под большими деревьями, неподвижными в свежем утреннем воздухе. Поэтому я вынужден был отвлекать себя другим видением, не менее кошмарным, но не столь кровавым в буквальном смысле слова, — я вспоминал о моей теще и жене. И я наслаждался, представляя себе сцену моего возвращения после тринадцати дней таинственного отсутствия.

Я был уверен (мне казалось, что я вижу все это как наяву), что обе они при моем появлении изобразят самое презрительное равнодушие и едва бросят на меня взгляд, словно говоря: «А-а, ты опять здесь? И ты не свернул себе шею?»

Молчат они, молчу и я.

Но немного погодя вдова Пескаторе, без сомнения, начнет плевать желчью и заговорит о службе, которую я, наверно, уже потерял.

Действительно, я увез с собой ключи от библиотеки; при известии о моем исчезновении квестура, вероятно,

распорядилась взломать дверь. Не найдя в часовне моего тела и не получая обо мне никаких сведений, чиновники муниципалитета, видимо, ждали моего возвращения три, четыре, пять дней, неделю, а потом отдали мою должность какому-нибудь другому бездельнику.

Так что же это я расслаиваюсь? Я снова, по своей собственной вине, выброшен на улицу. Там мне и место. Две бедные женщины не обязаны содержать лентяя, как горжника, который исчезает неизвестно для каких новых подвигов, и т. д., и т. д.

А я молчу.

Постепенно из-за моего презрительного молчания желчь у Марианны Донди разливается, кипит, хлещет через край, а я все сижу и молчу. Наконец наступает минута, когда я вынимаю из нагрудного кармана бумажник и начинаю отсчитывать на столе мои тысячи: вот, вот, вот и вот.

У Марианны Донди и у жены широко раскрываются глаза и рты.

Потом:

— Где ты их украл?

...Семьдесят семь, семьдесят восемь, семьдесят девять, восемьдесят, восемьдесят одна; пятьсот, шестьсот, семьсот; десять, двадцать, двадцать пять; восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать пять лир и сорок ченгезимо в кармане.

Я спокойно собираю деньги, кладу их в бумажник и встаю:

— Вы не хотите, чтобы я жил с вами? Ну что ж, весьма благодарен! Всего наилучшего, я ухожу.

Я смеялся, думая об этом.

Мои спутники наблюдали за мной и тоже исподтишка смеялись.

Тогда, чтобы придать себе более серьезный вид, я начинал думать о кредиторах, которым мне придется раздать эти банковские билеты. Скрыть их я не смогу. Да и зачем мне они, если их нужно прятать?

Истратить их для собственного удовольствия эти собаки мне, конечно, не позволят. Чтобы восстановить свои права на мельницу в Стиа и на доходы с имения, придется заплатить также и властям, которые сдерут с меня долги в двойном размере (за мельницу с меня тоже возьмут в двойном размере) — ведь в противном случае они должны будут ждать уплаты еще бог знает сколько

лет. Впрочем, теперь, предложив им наличные, я, быть может, сумею отделаться от них на более сходных условиях. И я пустился в подсчеты:

«Столько-то этому сукину сыну Реккьоне, столько-то Филиппо Бризиго — ах, с каким удовольствием я оплатил бы этими деньгами расходы по его похоронам: он по крайней мере перестал бы сосать кровь из бедняков... Столько-то Чикину Лунаро, туринцу, столько-то вдове Липпани... Кому еще? Ну, кредиторов хватает: делла Пьена, Босси, Марготтини. Вот и весь мой выигрыш.

Но разве для них я выигрывал в Монте-Карло? Какая обида, что эти два дня я проигрывал. Не будь этого, я снова был бы богат, да, богат».

Тут я начал так вздыхать, что мои спутники заулыбались еще откровеннее. Но я не мог успокоиться. Наступал вечер, воздух стал пепельно серым, и дорожная тоска сделалась окончательно невыносимой.

На первой итальянской станции я купил газету, в надежде, что чтение усыпит меня. Я развернул ее и при свете электрической лампочки начал читать. Я имел счастье узнать, что замок Валансе, вторично пущенный с аукциона, достался синьору графу де Кастеллане за два миллиона триста тысяч франков. Прилегающие земли составляют две тысячи восьмьсот гектаров; это самое обширное поместье во Франции.

«Почти совсем как Стиа».

Я узнал, что германский император принял в Потсдаме в полдень марокканскую миссию и что на приеме присутствовал статс-секретарь барон Рихтхофен. Потом миссия была представлена императрице и приглашена на завтрак. И обжиралась же, наверно, там эта миссия!

Русские царь и царица приняли в Петергофе чрезвычайную тибетскую миссию, которая привезла их императорским величествам дары от далай-ламы.

«Дары от далай-ламы? — спросил я себя, задумчиво закрыв глаза. — Что это за дары?»

Вероятно, это был опий, потому что я уснул. Но опий этот действовал слабо, — я скоро проснулся от толчка: поезд остановился на очередной станции.

Я посмотрел на часы; было четверть девятого. Значит, через часок приеду.

Газета все еще была у меня в руках, и я перевернул ее в надежде найти на второй странице что-нибудь получше,

чем дары далай-ламы. Взгляд мой упал на заголовок, набранный крупным шрифтом:

САМОУБИЙСТВО

Я подумал сперва, что речь идет о самоубийстве в Монте-Карло, и торопливо начал читать, но удивленно остановился на первой же напечатанной петитом строчке: «Нам телеграфируют из Мираньо...»

Мираньо?

Кто же покончил с собой в моем городке? Я прочитал:

«...вчера, в субботу 28-го, в мельничном шлюзе был замечен сильно разложившийся труп...»

Внезапно туман застлал мне глаза; мне показалось, что я вижу на следующей строке название моего бывшего поместья; а так как мне трудно было читать мелкий шрифт одним глазом, я встал и подошел поближе к свету.

«...разложившийся труп. Мельница расположена в имении Стиа, примерно в двух километрах от нашего городка. Когда на место прибыли судебские власти и другие должностные лица, труп был извлечен из шлюза на предмет освидетельствования и отдан под охрану. Позже он был опознан и оказался телом нашего...»

К горлу у меня подступил ком, и я как безумный посмотрел на моих спящих спутников.

«...На место прибыли... извлечен... под охрану... опознан и оказался телом нашего библиотекаря...»

Моим?

«...Прибыли на место... позже... телом нашего библиотекаря Маттиа Паскаля, исчезнувшего несколько дней назад. Причина самоубийства — денежные затруднения.»

Я?

«Исчезнувшего... опознан... Маттиа Паскаль...»

Много раз подряд с дикой злостью и смятенным сердцем перечитал я эти несколько строк. В первую минуту все мои жизненные силы взбунтовались и запротестовали, словно это известие, раздражающее своей бесстрастной лаконичностью, могло быть правдой и для меня. Но что из того, что для меня оно — ложь? Для других-то оно правда. Уверенность в моей смерти, которую со вчерашнего дня прониклись все мои сограждане,

невыносимо угнетала и давила меня... Я вновь посмотрел на моих спутников, и мне показалось, что и они уснули здесь, на моих глазах, с этой же уверенностью. Меня так и подмывало растрясти скорчившихся в неудобных позах пассажиров, растолкать их, разбудить и крикнуть им, что это неправда.

Возможно ли?

И я еще раз перечитал ошеломляющее известие.

Я не мог больше сидеть неподвижно. Мне хотелось, чтобы поезд остановился или рухнул в бездну; его монотонное движение, жестокое, глухое, тяжелое, автоматическое, все больше и больше усиливало мою взволнованность. Я непрерывно сжимал и разжимал пальцы, впинаясь ногтями в ладони; я мял газету и разглаживал ее, снова и снова перечитывал известие, в котором уже знал наизусть каждое слово.

«Опознан!» Но возможно ли, что меня опознали?..

«...Сильно разложившийся...» Фу!

На мгновение я увидел себя в зеленоватой воде шлюза, грязного, распухшего, отвратительного. Инстинктивным движением я скрестил руки на груди и принялся тискать и ощупывать себя пальцами.

«Нет, нет, это был не я... Но кто же это? Он, конечно, походит на меня... Может быть, у него такая же борода, такое же телосложение... И они меня опознали... «Исчезнувшего несколько дней назад». Ну и ну! Хотел бы я знать, кто это так поторопился опознать меня! Возможно ли, что этот несчастный так похож на меня? Одет как я? Совсем одинаково? Может быть, это она виновата, она, Марианна Донди, вдова Пескаторе? О, она меня тотчас же нашла, тотчас же опознала! Можно себе представить, до чего же она была поражена! «Это он, это он! Мой зять! Ах, бедный Маттиа! Ах, бедный мой сынок!» И она, наверно, даже заплакала, даже встала на колени перед трупом этого бедняги, который не может пнуть ее ногой и крикнуть: «Убирайся отсюда, я тебя не знаю».

Я весь дрожал. Наконец поезд остановился на очередной станции. Я открыл дверь и выбежал, смутно сознавая, что я немедленно должен что-то сделать — лучше всего послать телеграмму-молнию с опровержением.

Прыжок из вагона спас меня: он как бы вытряхнул из моей головы глупую навязчивую мысль, и я на мгновение увидел... да, увидел свое освобождение, новую, свободную жизнь.

У меня восемьдесят две тысячи лир, и я никому не должен отдавать их! Я мертв! Мертв! У меня нет долгов, жены, тещи... никого! Я свободен, свободен! Чего мне еще надо?

Я, вероятно, производил очень странное впечатление, когда размышлял обо всем этом, сидя на станционной скамейке. Вокруг меня толпились какие-то люди и что-то мне кричали, наконец один из них толкнул меня, потряс и крикнул еще громче:

— Поезд уходит!

— Пусть уходит! Пусть уходит, дорогой синьор! — крикнул я в ответ. — Я пересаживаюсь!

И тут меня охватило сомнение: а не будет ли опровергнуто сообщение о моей смерти? Наверно, в Мираньо уже поняли, что произошла ошибка, наверно, родные мертвеца уже объявились и опознали истинную его личность.

Прежде чем радоваться, надо как следует удостовериться, получить точные и подробные сведения. Но как добыть их?

Я пошарил в карманах, ища газету, но оказалось, что я забыл ее в поезде. Я посмотрел на пустынное полотно железной дороги, которое, сверкая, тянулось в молчании ночи, почувствовал себя словно затерянным в пустоте на этой жалкой, маленькой промежуточной станции, и сомнение охватило меня с еще большей силой: а вдруг все это мне просто приснилось?

Но нет:

«Нам телеграфируют из Мираньо: вчера, в субботу 28-го...»

Да я могу слово в слово повторить всю телеграмму. Нет никаких сомнений! И все же этого слишком мало, это никак не может удовлетворить меня. Я посмотрел на здание станции, она называлась Аленга.

Найду ли я здесь другие газеты? Я вспомнил, что сегодня воскресенье. Значит, сегодня утром в Мираньо вышла «Фольетто», единственная газета, печатавшаяся там. Во что бы то ни стало я должен раздобыть этот номер. В нем я найду все нужные мне подробности. Но разыскать «Фольетто» в Аленге вряд ли удастся. В таком случае я телеграфирую от чужого имени в редакцию газеты. Я был знаком с ее издателем Миро Кольци, Жаворонком, как называли его все жители Мираньо, с тех пор как он, еще совсем мальчиком, опубликовал под этим милым заголовком свою первую и последнюю книгу стихов.

Но ведь просьба прислать экземпляр газеты в Аленгу, несомненно, покажется Жаворонку чем-то из ряда вон выходящим. Кроме того, самое интересное известие на прошлой неделе и, следовательно, «гвоздь» воскресного номера — мое самоубийство. Так не рискую ли я возбудить подозрение, обращаясь в редакцию с таким необычным требованием?

«Полно! — успокаивал я себя. — Жаворонку даже в голову не придет, что я не утопился. Он подумает, что причина запроса — какое-нибудь другое важное сообщение, опубликованное в сегодняшнем номере. Он уже давно и мужественно борется с муниципалитетом за водопровод. Скорее всего он решит, что просьба прислать газету связана с поднятой им кампанией».

Я вошел в здание станции.

К счастью, кучер единственного здешнего экипажа — почтовой повозки — задержался на станции, чтобы поболтать с железнодорожными служащими; езды до поселка было примерно три четверти часа, и дорога все время шла в гору.

Я влез в эту разболтанную, дребезжащую повозку без фонарей — и вперед, в ночной мрак!

Мне нужно было многое обдумать; время от времени при мысли о том сильном потрясении, которое вызвало во мне столь близко касавшееся меня известие, я испытывал чувство мрачного, неведомого мне донныне одиночества, и мне, как давеча, при виде безлюдного железнодорожного полотна, на мгновение показалось, что я очутился в пустоте; я был беспощадно вырван из прежней жизни, пережил самого себя и в совершенной растерянности стоял перед лицом новой, посмертной жизни, не зная, как она сложится.

Чтобы отвлечься, я спросил у извозчика, есть ли в Аленге газетный киоск.

— Как вы сказали? Нет, синьор.

— А разве в Аленге не продаются газеты?

— Продаются, синьор. Ими торгует аптекарь Гротанелли.

— А гостиница у вас есть?

— Есть трактир Пальментино.

Извозчик слез с повозки, чтобы хоть немного помочь старой кляче, которая сопела от натуги и чуть ли не тыкалась носом в землю. Я едва видел его в темноте. Когда он раскуривал трубку, я на мгновение различил

черты его лица, контуры фигуры и подумал: «Если бы он знал, кого везет!..»

И немедленно задал этот же вопрос самому себе:

«Кого он везет? Но ведь я и сам не знаю этого. Кто же я теперь? Надо поразмыслить. По крайней мере надо сейчас же придумать себе имя, которым можно подписать телеграмму, какое-нибудь имя, чтобы не растеряться, если в трактире спросят, как меня зовут. Покамест достаточно придумать имя. Ну, так как же меня зовут?»

Я никогда бы не подумал, что выбор имени и фамилии будет стоить мне такого труда. Особенно фамилии. Я наугад нанизывал слоги — получались разные фамилии: Строццани, Парбетти, Мартони, Бартузи, но все они лишь еще больше раздражали меня. Я не видел в них никакого значения, никакого смысла. Как будто фамилия должна что-то означать... Ладно, выберу первое, что придет на ум. Например, Мартони... А почему бы и нет? Карло Мартони. Ну вот и готово. Но через минуту я уже отвергал его. Пусть лучше будет Карло Мартелло... И мучение начиналось снова.

Я доехал до поселка, так и не выбрав себе имени. К счастью, аптекарь, который совмещал обязанности фармацевта, телеграфиста, почтового чиновника, продавца канцелярских товаров, газетчика, мошенника и не знаю еще кого, имени не понадобилось. Я купил номера тех немногих газет, которые он получал, — генуэзские «Каффаро» и «XIX век» — и осведомился, не найдется ли у него «Фольетто» из Мираньо.

У аптекаря Гроттанелли была совиная голова и круглые, словно стеклянные глаза, на которые он время от времени с видимым усилием опускал хрящеватые веки:

— «Фольетто»? Не знаю такой.

— Это провинциальная еженедельная газетка, — пояснил я. — Мне хотелось бы получить ее. Само собой разумеется, сегодняшний номер.

— «Фольетто»? Не знаю такой, — твердил он.

— Ну ладно. Знаете вы ее или нет, не важно. Я заплачу за телеграфный запрос в редакцию, можно ли получить десять — двадцать экземпляров завтра же или, во всяком случае, как можно скорее. Это осуществимо?

Аптекарь не отвечал и, устремив незрячий взгляд в пространство, все повторял: «„Фольетто“? Не знаю

такой...» Наконец он согласился сделать под мою диктовку телеграфный запрос с обратным адресом на свою аптеку. На другой день, после бессонной ночи, взбудораженный бурным потоком мыслей, я получил в трактире Пальментино пятнадцать экземпляров «Фольетто».

В двух геновзских газетах, которые я прочитал, как только остался один, я не нашел ни малейшего намека на свое самоубийство. У меня дрожали руки, когда я развернул «Фольетто». На первой странице — ничего. Я стал искать на развороте, и мне в глаза немедленно бросилась траурная рамка сверху третьей страницы, а в ней большими буквами мое имя:

МАТТИА ПАСКАЛЬ

«Уже несколько дней мы не имели о нем сведений. Это были дни страшной скорби и невыразимой тревоги за несчастную семью, скорби и тревоги, разделяемой лучшей частью наших сограждан, которые уважали и любили Паскаля за душевную доброту, веселость и врожденную скромность — черты характера, позволявшие ему, обладателю многих других достоинств, терпеливо и без всякой приниженности переносить удары враждебной судьбы, ибо в последнее время бездумное довольство сменилось для него весьма стесненными обстоятельствами.

Когда после первого дня необъяснимого отсутствия мужа его взволнованная семья направилась в библиотеку Боккамаццы, где он весьма усердно трудился, проводя там целые дни и стараясь обогатить свой живой ум серьезным чтением, дверь оказалась запертой; эта замкнутая дверь немедленно породила черное и мучительное подозрение, которое вскоре, однако, было заглушено надеждой, теплившейся несколько дней и постепенно слабевшей,— надеждой, что Маттиа Паскаль уехал из родного города по каким-то своим тайным соображениям.

Увы, действительность опровергла эти упования!

Недавняя единовременная утрата обожаемой матери и единственной дочери, последовавшая за потерей наследственного состояния, глубоко потрясла душу нашего бедного друга. Еще около трех месяцев тому назад он пытался прервать свои скорбные дни в шлюзе той самой мельницы, которая напоминала ему о прежнем процветании его дома и счастливом прошлом.

Тот страждет высшей мукой,
Кто радостные помнит времена
В несчастьи...¹

Нам, всхлипывая над распухшим, разложившимся трупом, поведал об этом заплаканный старый мельник, верный и преданный слуга прежних хозяев. Наступила мрачная ночь. Близ трупа, охраняемого двумя чинами королевской полиции, был поставлен красный фонарь, и старый Филиппо Брина (называем его имя в назидание всем добрым людям) говорил и плакал вместе с нами. В ту печальную ночь ему удалось помешать несчастному осуществить свое безумное намерение, но в этот раз другого Филиппо Брины, который вторично воспрепятствовал бы страшному замыслу, не нашлось, и Маттиа Паскаль пролежал всю ночь, а может быть, и половину следующего дня, в мельничном шлюзе.

Мы не будем даже пытаться описывать душераздирающую сцену, которая разыгралась позавчера под вечер, когда неутешная вдова предстала перед неузнаваемыми жалкими останками любимого друга жизни, ушедшего вслед за их дочуркой.

Весь городок принял участие в ее горе и пожелал выразить ей сочувствие, проводив в последний путь ее супруга, над телом которого произнес краткую прочувствованную речь коммунальный советник кавалер Помино.

Мы выражаем самое глубокое соболезнование погруженной в траур семье несчастного и брату его Роберто, живущему вдали от родного Мираньо, и в последний раз с растерзанным сердцем говорим нашему доброму Маттиа: «Vale², возлюбленный друг, vale!».

М. К.»

Даже без этих инициалов я догадался бы, что некролог принадлежит перу Жаворонка.

Должен прежде всего признаться, что мое имя, напечатанное под черной чертой, хоть я и ожидал этого, не только не обрадовало меня, но даже вызвало у меня отчаянное сердцебиение; поэтому, прочитав несколько строк, я вынужден был прервать чтение: «страшная скорбь» и «невывразимая тревога» моей семьи, равно как любовь и уважение сограждан к моим добродетелям и служебному усердию, отнюдь не рассмешили меня.

¹ Данте. Божественная комедия. Ад, песнь 5 (перевод М. Лозинского).

² Прощай (лат.).

Сначала я удивился тому, как неожиданно и мрачно связалось с фактом моего самоубийства воспоминание о самой несчастной в моей жизни ночи, которую я провел в Стиа после смерти матери и дочурки и которая стала теперь, пожалуй, наиболее убедительным подтверждением моего самоубийства; потом я почувствовал себя униженным и начал испытывать угрызения совести. Нет, я не покончил с собой из-за смерти мамы и дочурки, хотя в ту ночь у меня, вероятно, была такая мысль. Я действительно в отчаянии бежал из родного городка, но теперь я возвращался из игорного дома, где мне самым неожиданным образом улыбнулась судьба, которая, как видно, продолжала благоволить ко мне; вместо меня с собою покончил другой, какой-нибудь чужестранец, которого я лишил сочувствия далеких родных и друзей и — какая ирония! — обрек на то, что адресовалось совсем не ему: на притворные сожаления и даже похвальное надгробное слово напудренного кавалера Помино.

Таково было мое первое впечатление от некролога в «Фольетто».

Но потом я подумал, что этот бедный человек умер, конечно, не из-за меня и что, объявившись живым, я все равно его не воскрешу, тогда как, воспользовавшись его смертью, я не только не обманываю его родных, но даже приношу им пользу: раз для них мертв я, а не он, они могут считать его пропавшим без вести и питать надежду рано или поздно увидеться с ним.

Оставались моя жена и теща. Как я мог поверить, что они горюют о моей смерти, испытывая ту «невыразимую и страшную скорбь», которую расписывал Жаворонок в своем сенсационном некрологе. Ведь им нужно было только тихонько приоткрыть несчастному один глаз, чтобы убедиться, что это не я; право же, не имея на то желания, женщине не так уж легко принять постороннего человека за своего мужа.

Почему они так поторопились опознать меня в этом мертвце? Уж не надеется ли вдова Пескаторе, что Маланья, взволнованный моим ужасным самоубийством и, возможно, даже почувствовавший угрызения совести, придет на помощь бедной вдове? Ну что ж, если довольны они, то я и подавно.

Умер? Утопился? Поставить на всем крест, и больше говорить не о чем! Я встал, потянулся и вздохнул с глубоким облегчением.

8. АДРИАНО МЕИС

И вот, не столько для того, чтобы обмануть других, которые, кстати, и сами хотели обмануться, сколько повинуясь судьбе и собственным стремлениям, я с легкомыслием, в данном случае не столь уж достойным порицания, хотя, конечно, не заслуживающим и одобрения, начал создавать из себя другого человека.

Тот несчастный, который, как всем угодно было считать, самым жалким образом погиб в мельничном шлюзе, почти или даже совсем не стоил похвал. Он наделал столько глупостей, что это, вероятно, и была самая подходящая для него участь.

Я хотел, чтобы теперь во мне не осталось никакого следа от него — не только внешне, но и внутренне.

Теперь я был один, и никто на земле не мог быть более одинок, чем я. Я был избавлен от всех связей и обязательств, свободен, обновлен; полный хозяин самому себе, я был не обременен прошлым и стоял лицом к лицу с будущим, которое мог строить по собственному желанию.

Если бы мне крылья! Я чувствовал себя таким легким!

Те понятия, которые привила мне моя прошлая жизнь, не имели теперь для меня никакого значения.

Мне предстояло обрести новое мироощущение, нисколько не считаясь с печальным опытом покойного Маттия Паскаля.

Все зависело от меня: я мог и должен был стать кузнецом моего обновленного бытия в тех пределах, которые судьба пожелает мне указать.

«И прежде всего, — говорил я себе, — я буду дорожить своей свободой, буду прогуливаться с нею по ровным и всегда новым дорогам и не дам ей надевать на себя слишком тяжелые одежды. Как только зрелище жизни покажется мне неприятным, я просто закрою глаза и пройду мимо. Я постараюсь наслаждаться вещами, которые принято называть бездушными, буду искать красивых пейзажей, спокойных, приятных мест, постепенно перевоспитаю и преобразу себя, буду настойчиво и любознательно учиться, чтобы в конце концов получить право считать, что я не только прожил две жизни, но и был двумя разными людьми».

Еще в Аленге за несколько часов до отъезда я зашел к парикмахеру побриться; я хотел сразу сбрить бороду

и усы, но меня удерживала боязнь возбудить подозрения в этом маленьком поселке.

Цирюльник оказался одновременно и портным. Он так давно привык сидеть согнувшись, в одной и той же позе, что его ребра словно склеились, и очки он носил на кончике носа. Должно быть, он все-таки был скорее портной, чем цирюльник. Вооружась портновскими ножницами, концы которых приходилось сводить свободной рукой, он, словно ангел, карающий грешника, набросился на мою густую бороду, которая мне уже не принадлежала. Не смея лишний раз дохнуть, я закрыл глаза и открыл их лишь тогда, когда почувствовал, что меня трясут за плечо.

Добрый человек, весь в поту, протягивал мне зеркальце, чтобы я мог удостовериться, как хорошо он поработал.

Это уже было слишком.

— Нет, благодарю,— отстранил я брадобрея.— Положите зеркальце на место, я не хочу пугать его.

Цирюльник вытаращил глаза и спросил:

— Кого?

— Да само это зеркальце. Кстати, оно у вас красивое и, по-видимому, старинное.

Зеркальце было круглое, с костяной, украшенной инкрустациями ручкой. Какова его история и как попало оно сюда, в эту цирюльню-портняжную? В конце концов я все-таки поднес его к лицу, чтобы не огорчать хозяина, изумленно глазевшего на меня.

Хорошо ли он поработал?

После этой первой попытки я увидел, какое чудовище появится на свет, когда вскоре будет произведено коренное изменение примет Маттиа Паскаля. Вот еще одна причина ненависти к нему! Крохотный, остренький, вдавленный подбородок, который я столько лет прятал под своей бородой, показался мне особенно предательским. Какой нос оставили мне в наследство? А глаз?

«Ах, этот глаз, восторженно смотрящий в сторону! — сокрушался я.— Он всегда останется прежним, даже на этом новом лице. Самое лучшее, что я могу придумать,— это скрыть его за темными очками, которые, будем надеяться, придадут мне более приятный вид. Я отращу длинные волосы, и тогда красивый высокий лоб, очки и бритое лицо сделают меня похожим на немецкого философа. Носить я буду сюртук и широкополую шляпу».

У меня не было выбора: такой тип наружности требовал, чтобы я стал философом. Ну что ж, немного усилий, и я вооружусь скромной улыбчивой философией, чтобы пройти своим путем среди несчастного человечества, которое, несмотря на все мои старания, всегда будет казаться мне чуточкой смешным и ничтожным.

Новое имя мне, в сущности, было прямо подсказано в поезде, несколько часов тому назад отошедшем из Аленги в Турин.

Я ехал с двумя синьорами, возбужденно спорившими о христианской иконографии, в которой оба они, как показалось такому невежде, как я, были весьма сведущи. У одного из них, более молодого, лицо обросло жесткой черной бородой; он с явным и, по-видимому, немалым удовольствием доказывал, что, согласно весьма, по его словам, древним свидетельствам, подтвержденным великомучеником Юстином, Тертуллианом и кем-то еще, Христос отличался в высшей степени непривлекательной внешностью.

Он говорил глухим голосом, странно контрастировавшим с вдохновенным видом его обладателя.

— Да, безобразен, крайне безобразен. Кстати, Кирилл Александрийский, да, именно Кирилл Александрийский, тоже утверждает, что Христос был самым уродливым из людей.

Его собеседник, худенький-прехуденький старичок, спокойный и аскетически бледный, но с тонкой иронической складкой в уголках рта, сидел сгорбясь и вытянув длинную шею, словно подставленную под ярмо; он утверждал, что древним свидетельствам доверять нельзя.

— Дело в том, что церковь, стремившаяся воспринять доктрину и дух своего вдохновителя, мало, вот именно — мало, думала о его телесном облике.

Тут они заговорили о Веронике и о двух статуях в городе Панаеде, сочтенных изображениями Христа и кающейся Магдалины.

— Вот еще! — воскликнул бородатый молодой человек. — Теперь на этот счет не осталось никаких сомнений: статуи изображают императора Адриана и город, склонившийся к его ногам.

Старичок продолжал незлобиво отстаивать свое мнение, видимо в противоположное, потому что его собеседник не сдавался и, поглядывая на меня, упорно повторял:

— Адриан!

— По-гречески — Беронике, отсюда — Вероника.

— Адриан! (Реплика обращена ко мне.)

— Или же Вероника от *Veraison* — искажение вполне вероятное.

— Адриан! (Ко мне.)

— Потому что Беронике из «Деяний Пилата»...

— Адриан!

И бородач без устали твердил «Адриан», все время поглядывая на меня.

Когда они оба сошли на какой-то станции и оставили меня одного в купе, я подошел к окну и посмотрел им вслед. Они продолжали спорить и на ходу.

Внезапно старичок потерял терпение и пустился бегом.

— Кто это сказал? — громко и вызывающе бросил ему вслед молодой человек.

Старичок обернулся и крикнул:

— Камилло де Меис!

Мне показалось, что он прокричал это имя для меня, машинально твердившего под впечатлением этого разговора: «Адриано...» Я немедленно откинул «де» и сохранил «Меис».

— Адриано Меис. Да... Адриано Меис звучит хорошо...

Мне показалось также, что это имя отлично соответствует бритому лицу, очкам, длинным волосам и шляпе, которую я собирался носить.

— Адриано Меис! Великолепно! Меня окрестили!

Я начисто отбросил все воспоминания о предшествующей жизни и убедил себя, что с этого мгновения начинаю жить по-новому. Охваченный чистой детской радостью, я испытывал душевный подъем; мне казалось, что сознание мое вновь девственно и прозрачно, а дух бодр и готов на все ради создания моего нового «я». Я весь ликовал при мысли о вновь обретаемой свободе. Я еще никогда не смотрел на людей и вещи с такой точки зрения; туман, скрывающий их от меня, внезапно рассеялся, и новые отношения, которые должны были установиться между нами, представились мне легкими и радостными, потому что для полного довольства мне теперь было очень мало нужно от моих ближних. О сладостная легкость души, безоблачное, неизъяснимое опьянение! Судьба освободила меня от всякой путаницы, внезапно вырвала из обыденной жизни,

сделала посторонним свидетелем забот, которыми все еще терзались другие, и предупреждала меня: «Увидишь, какой занятой покажется тебе жизнь, когда ты посмотришь на нее извне! Вот, например, этот бородач: он исходит желчью и приводит в бешенство бедного старичка, утверждая, что Христос был самым безобразным из людей...»

Я улыбался, беспрерывно улыбался всему на свете: деревьям, которые словно стремились мне навстречу, принимая самые странные позы на своем иллюзорном бегу; разбросанным там и сям поместьям, где арендаторы, которых я с удовольствием рисовал себе, ругательно ругают туман, врага оливковых деревьев, и грозят кулаком небу, не посылающему дождя. Я улыбался и птицам, испуганно вспархивающим при виде черного чудовища, с грохотом бежавшего по полям; улыбался дрожащим телеграфным проводам, по которым бежали в газеты новости, вроде известия из Мираньо о моем самоубийстве на мельнице Стиа; улыбался бедным беременным женам путевых обходчиков — надев на голову мужнюю фуражку, они протягивали навстречу поезду неразвернутый флажок.

Внезапно мой взгляд упал на обручальное кольцо, которое все еще сжимало безымянный палец моей левой руки. Меня так и подбросило. Я зажмурился, схватил левую руку правой и, не глядя на этот золотой ободок, сорвал его, чтобы никогда больше не видеть. Затем я вспомнил, что кольцо раскрывается изнутри, что на нем выгравированы имена «Маттиа» — «Ромильда» и дата свадьбы. Что же мне с ним делать?..

Я открыл глаза и некоторое время, прищурясь, разглядывал кольцо, лежавшее на ладони.

Все вокруг меня сразу потемнело.

Вот последнее звено цепи, связывавшей меня с прошлым. Маленькое колечко, легонькое и в то же время такое тяжелое! Но ведь цепь порвана, значит, надо уничтожить и это последнее звено.

Я хотел выбросить кольцо в окошко, но удержался. Удача сопутствовала мне с таким исключительным постоянством, что я был не вправе больше испытывать судьбу; на свете возможно все — вдруг какой-нибудь крестьянин случайно найдет на поле это колечко с выгравированными внутри его двумя именами и датой, и оно, переходя из рук в руки, раскроет истину и докажет, что в Стиа утонул вовсе не библиотекарь Маттиа Паскаль.

«Нет, нет,— решил я,— поищем более безопасное место... Но где?»

В это время поезд остановился на очередной станции. Я посмотрел в окно, и во мне тотчас же возникла мысль, которая сначала вызвала у меня некоторое отвращение. Я говорю это, чтобы извиниться перед теми, которые стараются поменьше рассуждать, любят красивые жесты и стремятся забыть, что у людей есть кое-какие потребности, имеющие власть даже над теми, кто подавлен большим горем. И Цезарь, и Наполеон, и даже, как это на первый взгляд ни унижительно, самая красивая женщина... Довольно. С одной стороны написано «М», с другой «Ж». Вот туда я и бросил свое обручальное кольцо.

Затем, не столько чтобы отвлечься, сколько желая придать некоторое содержание моей новой жизни, пока еще повисшей в пустоте, я начал размышлять об Адриано Меисе и придумывать ему прошлое. Я спрашивал себя, кто был мой отец, где я родился и т. д., взвешивая все, принуждал себя замечать и как следует запоминать самые мельчайшие подробности.

Я — единственный сын; на этот счет не может быть двух мнений.

Разве на свете есть человек с еще более исключительной судьбой?.. А почему бы и нет? Может быть, людей, находящихся в том же положении, моих, так сказать, собратьев, много. Ведь это же так просто — оставить шляпу и пиджак с письмом в кармане на парашюте моста через реку, а потом не броситься в нее, а спокойно уехать себе в Америку или еще куда-нибудь. Через несколько дней вылавливают неизвестный труп — наверное, того, кто оставил письмо на парашюте. И кончен разговор. Правда, в данном случае все произошло помимо моей воли: я не оставлял ни письма, ни пиджака, ни шляпы. Но ведь я точно такой, как все эти люди, с той лишь разницей, что могу наслаждаться свободой без всяких угрызений совести. Судьба просто подарила мне свободу, а значит...

Итак, решено: единственный сын. Я родился... Место рождения лучше бы не уточнять. Но как быть? Нельзя же родиться на облаках, чтобы луна была повивальной бабкой, хотя в библиотеке я как-то прочел, что древние, помимо прочих обязанностей, приписывали луне и эту, поэтому беременные женщины призывали ее на помощь, именуя Люциной.

На облаках, конечно, родиться нельзя, но, скажем, на пароходе можно. Вот и отлично! Я родился во время путешествия. Мои родители путешествовали, чтобы дать мне возможность родиться на пароходе. Ну, ну, довольно шутить! Какой достаточно вразумительной причиной можно объяснить путешествие беременной женщины накануне родов? Может быть, мои родители ехали в Америку? А почему бы и нет? Туда едет столько народу... Даже бедняга Маттиа Паскаль тоже собирался туда. Тогда я смогу утверждать, что там, в Америке, мой отец и заработал эти восемьдесят две тысячи лир. Впрочем, нет. Имея восемьдесят две тысячи, он подождал бы, пока жена разрешится от бремени на суше, окруженная всеми удобствами. Нет, не годится! К тому же эмигранту в Америке не так-то легко заработать такую сумму, как восемьдесят две тысячи лир. Мой отец... Кстати, как же его звали? Паоло. Да, Паоло Меис. Мой отец, Паоло Меис, как и многие другие, обманулся в своих надеждах. Он промучился несколько лет, потом, отчаявшись, написал из Буэнос-Айреса письмо дедушке.

Ах, дедушка!.. Как хотелось бы мне увидеть этого милого старичка, похожего на того знатока христианской иконографии, который только что сошел с поезда!

Непостижимые капризы фантазии! Откуда, вследствие какой необъяснимой потребности пришла мне в эту минуту мысль, что этот Паоло Меис, мой отец, был изрядным шалопаем. Да, он причинил деду много неприятностей: женился против его воли, сбежал в Америку. Он, вероятно, тоже утверждал, что Христос был крайне уродлив. Да, Христос, несомненно, казался ему уродливым и высокопарным, раз уж Паоло Меис был такой человек, что, не успев получить пособие от деда, немедленно уехал, хотя жена его вот-вот должна была родить.

Но почему я обязательно родился во время путешествия? Разве не лучше родиться просто в Америке, в Аргентине, за несколько месяцев до возвращения моих родителей на родину? Вот именно! Дед как раз и смягчился из-за невинного младенца: он простил сына только из-за меня. Таким образом, я совсем еще малюткой пересек океан, и, вероятно, в третьем классе. Во время путешествия я заболел бронхитом и выжил просто чудом. Великолечно! Так мне часто рассказывал дед. Но я вовсе не обязан сожалеть, как это принято, что я не умер тогда, в возрасте нескольких месяцев, нет, не обязан. В конце

концов, какие горести пережил я в жизни? По правде сказать, у меня было только одно горе — смерть моего бедного дедушки, у которого я вырос. Мой отец, Паоло Меис, бродяга, не выносивший никакого принуждения, через несколько месяцев оставил меня и жену у дедушки и опять убежал в Америку, где умер от желтой лихорадки. Трех лет я потерял также мать и потому не помню своих родителей. У меня сохранились о них только эти скудные сведения. Более того — я даже не знаю точно, где я родился. В Аргентине, конечно. Но где? Дедушка этого не знал, потому что отец никогда ему об этом не говорил, а может быть, он просто забыл. Я, конечно, помнить этого тоже не мог.

Итак, подведем итоги. Я:

- а) единственный сын Паоло Меиса;
- б) родился в Америке, в Аргентине (без дальнейших уточнений);
- в) приехал в Италию нескольких месяцев от роду (бронхит);
- г) не помню родителей и почти ничего не знаю о них;
- д) вырос у деда.

Где? Мы жили повсюду и нигде — подолгу. Сначала в Ницце. Смутные воспоминания: площадь Массена, Променад, авеню де ла Гар. Потом в Турине.

Словом, я размечтался и придумал целую кучу подробностей: я выбрал улицу и дом, где дед оставил меня до десятилетнего возраста, вверив попечению семьи, которую я нарисовал себе так, чтобы она сохранила все черты обитателей данной местности; я пережил или, вернее, мысленно, но опираясь на действительность, проследил жизнь маленького Адриано Меиса.

Это припоминание или, вернее, придумывание жизни, на деле не прожитой и собранной из кусочков чужих жизней и картин, виденных мной в чужих краях, а потом ставшей моей и пережитой как моя, сделалось для меня в начале моих странствий источником новой, незнакомой радости, к которой примешивалась и доля грусти. Оно превратилось для меня в постоянное занятие. Я переживал не только настоящее, но и прошлое, то есть те годы, когда Адриано Меис еще не существовал.

Из того, что я нафантазировал в начале моих странствий, я не запомнил ничего или почти ничего. Конечно, человек не в силах придумать ничего такого, что более или менее глубоко не уходило бы корнями

в действительность; однако в действительности случаются порой самые странные вещи, и никакое воображение не может изобрести более невероятные безумства и приключения, чем те, которые возникают в шумном потоке жизни и вырываются из него.

И все же как отлична подлинная, дышащая жизнью реальность от выдумок, созданных нами на основе ее! В скольких мельчайших невообразимых и все же существенных деталях нуждается наша фантазия, чтобы снова стать реальностью, породившей ее! Сколько нитей связывают ее со сложнейшей тканью жизни, нитей, которые мы обрываем, чтобы сделать ее «вещью в себе»!

Итак, я представлял собой вымышленного человека, вымышленного странника, который, будучи брошен в гущу действительности, хотел и в конце концов был по необходимости вынужден жить.

Присутствуя при жизни других и наблюдая ее во всех подробностях, я видел какими бесчисленными нитями связан с ней, и в то же время понимал, сколько таких нитей оборвал сам. Как теперь вновь связать их? Кто знает, куда это меня заведет? Не станут ли они вожжами взбесившейся упряжки, которая увлечет в пропасть убогую повозку моей невольной выдумки? Нет, вновь связать эти нити я могу лишь с помощью фантазии.

На дорогах и в садах я следил за мальчиками от пяти до десяти лет, изучал их манеру двигаться и играть, запоминал их выражения, чтобы постепенно составить из этих впечатлений детство Адриано Меиса. Это удалось мне так хорошо, что детство его приобрело в моем сознании почти осязаемую реальность.

Придумывать себе новую маму я не захотел — это показалось бы мне осквернением живой и скорбной памяти о моей настоящей матери. Но вот дедом, разумеется, обзавелся: он ведь был первым плодом моих фантазий.

Из скольких живых дедушек, скольких старичков, за которыми я, присматриваясь, ходил по пятам в Турине, Милане, Венеции, Флоренции, создал я своего дедушку! У одного я позаимствовал кожаную табакерку и большой носовой платок в черную и красную клетку, у другого — палку, у третьего — очки и бороду лопатой, у четвертого — походку и привычку сопеть носом, у пятого — манеру говорить и смеяться, и получился славный, хотя несколько раздражительный старичок, любитель искусств, дедушка с предрассудками, не пожелавший дать

мне регулярное образование и обучавший меня сам, путем живых бесед, переездов из города в город, осмотра музеев и картинных галерей.

Посещая Милан, Падую, Венецию, Равенну, Флоренцию, Перуджу, я всегда возил с собой, как тень, моего мысленного дедушку, который не раз беседовал со мной устами какого-нибудь старенького сторожа.

Но я хотел жить и для себя, в настоящем. Время от времени я задумывался о своей беспредельной, небывалой еще свободе, и меня охватывало внезапное ощущение счастья, настолько сильное, что я как бы забывался в блаженном опьянении. Это сознание свободы вливалось мне в грудь бесконечным широким потоком, словно приподнимавшим все мое существо. Я один! Один! Хозяин сам себе! Ни в чем никому не обязан отчетом! Могу уехать куда вздумается — в Венецию так в Венецию, во Флоренцию так во Флоренцию.

И мое счастье следовало за мной повсюду. О, я вспоминаю один закат в Турине на Лунго По, около моста со шлюзом, который удерживает неистово бурлящие воды. Это случилось в первые месяцы новой жизни. Воздух был изумительно прозрачен и сообщал окружающим предметам какое-то легкое сияние, наслаждаясь которым, я чувствовал такое опьянение свободой, что мне казалось, я не выдержу и сойду с ума.

Я уже изменил свой внешний облик с головы до пят: чисто выбритый, в светло-синих очках, с длинными волосами, ниспадавшими в артистическом беспорядке, я действительно казался совсем другим человеком. Иногда я останавливался перед зеркалом и разговаривал сам с собой, то и дело раздражаясь смехом:

— Адриано Меис! Счастливый человек! Жаль, что ты должен выглядеть так... А впрочем, тебе-то что? Все прекрасно! Если бы не этот глаз, оставшийся от того дурака, твой странный, несколько вызывающий облик не казался бы в конце концов таким уж безобразным. Ну, да пусть женщины смеются. Ты-то, в сущности, не виноват. Если бы тот, другой, не носил короткие волосы, ты был бы не обязан носить такие длинные; и я же знаю, ты не по своей воле выбрит как священник. Что поделаешь! Если женщины смеются, смейся и ты — это для тебя самое разумное.

Замечу, кстати, что жил я почти исключительно собой и для себя. Я обменивался лишь несколькими словами

с хозяевами гостиницы, со слугами, с соседями по столу, да и то не потому, что хотел завязать разговор. Я понял, что мое молчание доказывает отсутствие у меня склонности к притворству. Окружающие тоже не слишком часто заговаривали со мной. Вероятно, по моему внешнему виду они принимали меня за иностранца. Вспоминаю, как в Венеции я не сумел убедить старика гондольера в том, что я не немец и не австриец. Конечно, я родился в Аргентине, но в семье итальянцев. Подлинный же секрет моей, если можно так выразиться, необычности заключался совсем в ином, и знал его я один: я стал теперь другим человеком, и ни один город, кроме Мираньо, не числил меня в актах гражданского состояния; я был мертвецом, живущим под чужим именем.

Я этим не огорчался, но все-таки не хотел ни быть, ни слыть австрийцем. Мне еще ни разу не пришлось поразмыслить над словом «родина». Раньше я должен был думать о многом другом. Теперь, на досуге, у меня стала вырабатываться привычка вникать во многое, чем прежде я ни в коем случае не заинтересовался бы. Я углублялся в эти вопросы, сам того не замечая и раздраженно пожимая плечами. Но ведь надо же было и мне чем-нибудь заниматься, когда я уставал бродить по улицам и смотреть по сторонам! Чтобы отвлечься от праздных и ненужных размышлений, я иногда исписывал лист за листом своей новой подписью, пытался писать другим почерком, держа перо иначе, чем раньше. Однако в конце концов я бросал перо и рвал бумагу. Я мог бы спокойно быть и неграмотным — кому мне писать? Я ни от кого не получал и не мог получать писем.

Эта мысль, как и многие другие, возвращала меня в прошлое. Я снова видел дом, библиотеку, улицы Мираньо, пляж и спрашивал себя: «Ромильда все еще носит траур? Наверное, да, ради приличия. Что она поделывает?» И я вспоминал ее такой, какой столько раз видел у нас дома; я представлял себе также вдову Пескаторе, которая, вероятно, проклинает даже память обо мне. Я думал: ни та, ни другая, конечно, ни разу не были на кладбище, где лежит бедный, трагически погибший человек. Интересно, где меня похоронили? Наверно, тетя Сколастика не захотела потратить на меня столько, сколько на маму; Роберто и подавно; пожалуй, он даже сказал: «Кто его заставлял? Он мог бы в конце концов жить на те две лиры в день, которые получал как библио-

текарь». Может быть, меня бросили, как собаку, в общую яму для бедняков... Ну-ну, не надо об этом думать... Мне очень жаль этого бедного человека, родственники которого, может быть, более человечны, чем мои; может быть, они отнеслись бы к нему лучше. Но какое в конце концов это имеет теперь значение, даже для него? Он ведь ни о чем больше не думает.

Некоторое время я продолжал путешествовать. Мне захотелось поехать за пределы Италии; я побывал на прекрасных берегах Рейна, проехав вниз по реке на пароходе до самого Кёльна. Я останавливался в крупных городах: Маннгейме, Вормсе, Майнце, Бингене и Кобленце... В Кёльне я подумывал поехать дальше, за пределы Германии, хотя бы в Норвегию, но потом решил наложить известную узду на свою свободу. Деньги свои я должен был растянуть на всю жизнь, а их было не так много. Прожить я мог еще лет тридцать, но отсутствие документов, которые подтверждали бы по крайней мере реальность моего существования, лишало меня возможности поступить на службу. Чтобы не кончить плохо, я должен был жить скромно. Когда я произвел подсчет, оказалось, что я могу тратить не больше двухсот лир в месяц. Конечно, это не много, но около двух лет я жил на меньшую сумму, и притом не один. Значит, надо приспособиться.

В сущности, я уже устал от своего одинокого и молчаливого бродяжничества и чувствовал инстинктивную потребность в обществе. Я понял это хмурым ноябрьским днем в Милане, сразу по возвращении из Германии.

Было холодно, к вечеру непременно должен был пойти дождь. Под фонарем я заметил старого продавца спичек, которому висевший на груди ящик мешал закутаться в истрепанное пальтишко. Он подпирал подбородок кулаками, в одном из которых была зажата свисавшая до земли веревочка. Я наклонился и увидел щеночка нескольких дней от роду, который, свернувшись клубочком между рваными башмаками хозяина, весь дрожал от холода и непрерывно скулил. Бедное животное! Я спросил старика, не продает ли он собачку. Он ответил утвердительно, прибавив, что отдаст ее за гроши, хотя щенок стоит дорого. О, из него вырастет красивый большой пес.

— Двадцать пять лир...

Бедный щенок, ничуть не возгордившись при таком

похвальном отзыве, продолжал дрожать. Он, конечно, понимал, что хозяин оценил не его будущие достоинства, а глупость, которую он прочел на моем лице. Тем временем я успел сообразить, что, купив собаку, я приобрету верного, скромного и любящего друга, который, уважая меня, никогда не спросит, кто я на самом деле такой, откуда взялся и в порядке ли мои документы; но за него придется платить налоги, а я уже отвык их платить. Это мне показалось первым ограничением моей свободы, первым ущемлением, который я нанес бы ей.

— Двадцать пять лир? До свидания! — сказал я старому торговцу спичками.

И, надвинув шляпу на глаза, я ушел под мелким дождем, начавшим сеяться с неба, и впервые подумал, что моя беспредельная свобода, хотя она, без сомнения, прекрасна, все-таки чуть-чуть деспотична, раз она не позволяет мне даже купить собачку.

9. НЕМНОГО ТУМАНА

Хотя первая зима была суровой, дождливой и туманной, я почти не заметил ее, захваченный путешествиями и опьяненный новой свободой. К началу второй зимы я, как уже сказано, устал от постоянных разъездов и решил наложить на себя узду. И я заметил... ну конечно, был легкий туман и было холодно... я заметил, что страдаю от смены времен года, хотя в душе и решил не поддаваться подобным настроениям.

«Послушай,— укорял я себя,— тебе не пристало хмуриться,— ты ведь можешь безмятежно наслаждаться свободой!»

Я достаточно поразвлекся поездками; за этот год Адриано Меис прожил свою беспечную юность; теперь надо было стать мужчиной, сосредоточиться, избрать спокойный и скромный образ жизни. О, это нетрудно: он — человек свободный, не отягченный никакими обязанностями.

Так мне казалось, и я стал соображать, в каком городе мне обосноваться, потому что, решив принудить себя к правильному образу жизни, я не мог больше влачить существование бездомной собаки. Но где же поселиться — в большом или маленьком городе? Я никак не мог ответить себе на этот вопрос.

Я закрывал глаза и мысленно летал по тем городам, где уже побывал; я переносился из одного в другой, принуждая себя в каждом из них отчетливо вообразить именно ту улицу, ту площадь, то место, о котором у меня сохранились наиболее яркие воспоминания. Я говорил себе: «Я был и здесь и там! И всюду кипит многообразная жизнь, и всюду она ускользает от меня. Сколько уже раз я твердил себе: «Вот тут я хотел бы поселиться! Как охотно я остался бы тут!», завидовал местным жителям, которые, следуя своим привычкам и повседневным занятиям, спокойно живут в родном городе и не знают мучительного чувства непрочности, свойственного тем, кто много разъезжает».

Это мучительное чувство непрочности владело мной и теперь, мешая мне полюбить постель, на которую я ложился спать, равно как другие окружавшие меня предметы.

Каждый предмет изменяется в нашем сознании соответственно образам, которые он вызывает, и, так сказать, притягивает к себе, поскольку возбуждает различные приятные ощущения, сочетающиеся в гармоническом единстве; но гораздо чаще предмет доставляет нам удовольствие не сам по себе, а потому, что наша фантазия украшает его, окружая и как бы озаряя дорогими нам образами. Мы воспринимаем его не таким, каков он на самом деле, но как бы оживленным образами, которые он вызывает в нас и которые наши привычки ассоциируют с ним. Словом, в предмете мы любим то, что вносим в него от себя, то согласие, ту гармонию, которую устанавливаем между ним и собой, ту душу, которую он обретает только благодаря нам и которая соткана из наших воспоминаний.

Так разве может пробудить подобные чувства номер в гостинице?

Но стоит ли мне обзаводиться своим собственным домом? Денег у меня мало... А если скромный домик в несколько комнат? Не торопись: надо раньше осмотреться, все хорошенько взвесить. Конечно, свободным, совершенно свободным я могу быть только с чемоданом в руке: сегодня здесь, завтра там. Стоит мне осесть и обзавестись домом, как тут же последуют и регистрация, и налоги, а я даже не отмечен в адресном столе. А как отметить? Под фальшивым именем? А не начнет ли тогда полиция тайное расследование?

Во всяком случае, забот и затруднений не оберешься... Нет, оставим это: я понимаю, что мне нельзя иметь свой дом, свои вещи. Но я мог бы поселиться в семейном пансионе, в меблированной комнате. Стоит ли расстраиваться из-за пустяков?

На все эти меланхолические размышления меня навели зима и близость Рождества, праздника, пробуждающего тоску по теплу родного очага, покою, домашнему уюту.

Разумеется, я не оплакивал свой последний дом; другой же, дом моего отца, где я жил раньше, единственный, о котором я вспоминал с сожалением, был уже разрушен, да и не соответствовал моему новому положению. Таким образом, я должен был утешаться мыслью о том, как весело бы мне было, отправясь я на рождественские праздники в Мираньо к жене и теще. (О, ужас!)

Чтобы посмеяться и развлечься, я представлял себе, как стою перед дверью своего дома с огромной корзиной в руках.

— Разрешите? Живут ли здесь еще синьора Ромильда Пескаторе, вдова Паскаль, и Марианна Донди, вдова Пескаторе?

— Да, синьор, но кто вы?

— Я — покойный муж синьоры, тот самый бедный синьор Паскаль, что утопился в прошлом году. Как видите, я с разрешения начальства преспокойно вернулся с того света, чтобы провести праздники в семье, после чего немедленно уйду обратно.

Не умрет ли от ужаса вдова Пескаторе, внезапно увидев меня? Она-то? Вот еще! Скорее она снова уморит меня дня за два.

Все мое счастье, убеждал я себя, состоит именно в этой свободе от жены, от тещи, от долгов, от унижительных огорчений моей прежней жизни. Теперь я избавлен от них. Разве этого не достаточно? Передо мной еще вся жизнь. Кто знает, сколько сейчас на свете таких же одиноких людей, как я?

«Да, но все они, — продолжали мне нашептывать непогода и проклятый туман, — или иностранцы, или где-то имеют дом, куда рано или поздно вернуться, или, если у них нет дома, как у тебя, они могут приобрести его завтра, а пока поселиться у какого-нибудь приятеля. Ты же, по правде сказать, всегда и всюду будешь чужим, вот в чем разница. Ты чужой в жизни, Адриано Меис».

Я пожимал плечами и раздраженно восклицал:

— Тем лучше, меньше забот! У меня нет друзей? Я их приобрету.

Некий господин, мой сосед по столу в таверне, где я бывал в эти дни, уже выказывал желание подружиться со мной. Ему было под сорок, он был лысоват, смугл и носил золотое пенсне, не слишком прочно сидевшее на носу — вероятно, цепочка из чистого золота была слишком тяжела. Ах, какой славный человек! И представляете себе, стоило ему встать и надеть шляпу, как он совершенно менялся и становился похожим на мальчика. Все дело заключалось в ногах — настолько коротеньких, что они не доставали до полу, когда он сидел; поэтому он не вставал, а как бы слезал со стула. Он пытался исправить этот недостаток, нося высокие каблуки. Что тут плохого? Ничего, разве только то, что они чресчур стучали. Зато ходил он грациозными маленькими шажками, как куропатка.

Он был очень мил, занятен, хотя немного чудаковат и болтлив, отличался своеобразными взглядами и происходил из дворян — на визитной карточке, которую он мне вручил, значилось:

Кавалер Тито Ленци.

Этой визитной карточкой он чуть было не причинил мне серьезную неприятность и, во всяком случае, поставил меня в неловкое положение, так как я не мог ответить ему тем же. У меня еще не было визитных карточек: я не решился напечатать на них мое новое имя. Вот несчастье! Неужели нельзя обойтись без визитных карточек? Просто назвал свое имя, и все.

Я так и сделал, но, по правде сказать, мое настоящее имя...

Впрочем, довольно об этом.

Какие интересные разговоры вел кавалер Тито Ленци! Он знал даже латынь и походя цитировал Цицерона.

— Сознание? Но сознания недостаточно, дорогой сеньор! Одним сознанием руководствоваться нельзя. Это было бы возможно, будь оно, смею так выразиться, замком, а не площадью, то есть чем-то таким, что мы в силах представить себе изолированно, что по своей природе не открыто для других. Именно в сознании, по-моему, осуществляется основная связь между мною, который мыслит, и другими существами, которых я мыслю. Что касается чувств, наклонностей и вкусов этих других существ, которых мы с вами мыслим, они не

отражаются ни во мне, ни в вас, не давая нам ни удовлетворения, ни покоя, ни радости, хотя все мы стремимся к тому, чтобы наши чувства, мысли, наклонности и вкусы отражались в сознании других людей. А если этого не происходит, то лишь потому что... ну, скажем, потому что воздух в каждый данный момент не успевает перенести зародыши ваших идей, дорогой синьор, в мозг ближнего и помочь им там развиваться. Вот почему вы не можете сказать, что вам достаточно вашего сознания. А кому же его достаточно? Разве его достаточно, чтобы прожить в одиночку, бесплодно истощив себя во мраке? Нет, и еще раз нет! Знаете, я ненавижу риторику, эту старую лживую хвастунью, эту кокетку в очках. Именно она, бия себя в грудь, придумала эту красивую фразу: «У меня есть мое сознание, и мне этого достаточно». Не спорю, Цицерон первый сказал: «*Mea mihi conscientia pluris est quam hominum sermo*». Цицерон, конечно, красноречив, но... боже избави и спаси нас от него, дорогой синьор! Он скучнее, чем начинающий скрипач.

Мне хотелось расцеловать моего собеседника. Но милый человек не ограничился острыми и оригинальными рассуждениями, за которые я готов был счесть его мудрецом,— он начал откровенничать, и тогда я, уже полагавший, что наша дружба пошла по легкому и правильному пути, немедленно почувствовал некоторую неловкость, ощутил, как некая сила во мне вынуждает меня отдалиться от него и уйти в себя. Пока говорил он и беседа касалась отвлеченных вопросов, все было хорошо, но теперь кавалер Тито Ленци пытался вызвать на разговор меня:

— Вы не миланец, не правда ли?

— Нет...

— Проездом здесь?

— Да.

— А Милан красивый город, а?

Я был ненамного красноречивее ручного попугая. Чем настойчивей становились его вопросы, тем уклончивей я был в ответах. Очень скоро мы дошли до Америки. Но едва человек узнал, что я родился в Аргентине, как он вскочил и бросился пожимать мне руки!

— Поздравляю вас, дорогой синьор, и завидую вам! Ах, Америка. Я тоже там был.

Он там был? Спасайся, Адриано!

— В таком случае,— торопливо вставил я,— поздра-

вить нужно скорее вас, потому что я, в сущности, там и не был, хотя родился за океаном. Я уехал оттуда нескольких месяцев от роду, так что ноги мои даже не касались американской земли.

— Жаль! — грустно воскликнул кавалер Тито Ленци.— Но у вас там остались родственники, не правда ли?

— Нет, никого...

— А, значит, вы приехали в Италию со всей семьей и здесь обосновались? Где же вы поселились?

Чувствуя себя как на иголках, я пожал плечами и вздохнул:

— Я жил в разных мсстах. У меня нет семьи, и я странствую.

— Как замечательно! Вы просто счастливец! Странствия!.. И у вас так-таки никого нет?

— Никого...

— Как замечательно! Счастливец! Завидую вам.

— Значит, у вас есть семья? — спросил я в свою очередь, чтобы отвести разговор от себя.

— Совершенно никого,— вздохнул он, закрыв глаза.— Я один, и всегда был один.

— Значит, у нас одна судьба!

— Но я скучаю, дорогой синьор, я скучаю,— возразил человек.— Одиночество для меня... Словом, оно мне наскучило. У меня много друзей, но, поверьте, в моем возрасте не слишком приятно, когда возвращаешься домой и тебя никто не встречает. Есть люди, которые все понимают, есть такие, которые ничего не понимают, дорогой синьор. Тому, кто понимает, пожалуй, хуже, потому что в конце концов у него не остается ни энергии, ни воли. Он говорит себе: «Я не должен делать то, не должен делать это, чтобы не совершать свинства». И все-таки наступает момент, когда он замечает, что вся жизнь сама по себе — сплошное свинство. А тогда, скажите на милость, какой смысл в том, что он не делал свинства? Не значит ли это, что он вроде и не жил вовсе? Вот так-то, дорогой синьор.

Я попытался утешить его:

— Но ведь у вас, к счастью, еще есть время...

— Сделать свинство? Поверьте, я уже делал его, и не раз,— перебил он меня, хвастливо улыбаясь.— Я путешествовал и странствовал, как вы, и со мной случались приключения... да, да, весьма забавные и пикантные приключения. Вот, например, как-то вечером в Вене...

Я словно упал с облаков на землю. Как! Любовные приключения? У него? Три, четыре, пять — в Австрии, во Франции, в Италии, даже в России... И какие! Одно отчаяннее другого. Вот, к примеру, отрывок из диалога между ним и одной замужней дамой:

Он. Если хорошенько подумать, я вполне понимаю вас, дорогая синьора! Изменить мужу — боже мой! Верность, целомудрие, достоинство — три великих и святых слова, слова с большой буквы! И потом — честь! Еще одно возвышенное слово!.. Но на деле, поверьте, дорогая синьора, все обстоит иначе. Это ведь лишь краткое мгновение. Спросите ваших подруг, которые это уже испытали.

Дама. Спрашивала. Все они были потом очень разочарованы.

Он. Еще бы! Понятное дело! Напуганные и скованные всеми этими громкими словами, они колебались полгода, год — словом, слишком долго, и разочарование возникло как раз от несообразности самого поступка и непомерно долгих размышлений, которые ему предшествовали. Нужно решаться сразу, дорогая синьора. Подумал — сделал. Все очень просто.

Достаточно было посмотреть на него, представить себе его крохотную смешную фигурку, чтобы без дальнейших доказательств понять: он лжет.

Удивление мое сменилось глубочайшим стыдом за него — ведь он не отдавал себе отчета в том, какое жалкое впечатление должно непременно производить его вранье, в особенности на меня, видевшего, что он с такой развольностью и таким удовольствием врет совершенно без всякой нужды. А я, вынужденный лгать, сдерживался и страдал до того, что каждый раз чувствовал, как у меня вся душа переворачивается. Я испытывал унижение и досаду, мне хотелось схватить его за руку и крикнуть: «Простите, кавалер, зачем вы это делаете?»

Это унижение и досада были вполне естественны, но, подумав как следует, я понял, что такой вопрос был бы по меньшей мере гнусным. В самом деле, если милый человечек ведет себя так странно и хочет, чтобы я поверил в его победы, то причина такого поведения как раз и заключается в отсутствии для него необходимости лгать, тогда как меня... меня вынуждает лгать необходи-

мость. В конце концов, для него это, вероятно, просто развлечение или умственное упражнение, для меня же, напротив, — неприятная обязанность, наказание. К чему вели подобные рассуждения? Увы, к сознанию того, что я, по своему положению неизбежно вынужденный лгать, никогда не смогу иметь друга, настоящего друга. А значит, у меня не будет ни дома, ни друзей... Дружба требует откровенности, а разве я, человек без имени, без прошлого, доверю кому-нибудь секрет своей жизни, выросшей, как гриб, из самоубийства Маттиа Паскаля? Я могу позволить себе только мимолетные встречи, только короткой обмен ничего не значащими словами.

Ну что ж, это обратная сторона моей удачи. Ладно, не стоит приходить в уныние.

— Буду жить собой и для себя, как жил до сих пор.

Но вот в чем беда: я, признаться, боялся, что мое общество никому не доставит ни интереса, ни удовольствия. И потом, ощупывая свое безбородое лицо, проводя рукой по длинным волосам или поправляя на носу очки, я испытывал странное чувство: мне казалось, что я больше не я, что я трогаю не себя.

Будем справедливы: я привел себя в такой вид для других, не для себя. А теперь я и наедине с собой должен носить маску, и все, что я измыслил, выдумал насчет Адриано Менса, все это стало уже не для других. А для кого? Для меня? Но ведь я-то мог поверить в это только при условии, что в это поверят другие...

И вот, когда оказалось, что у Адриано Менса не хватает духу лгать и бросаться в гущу жизни, что он, усталый от одиночества, все же вынужден уединяться, что он в эти печальные зимние дни возвращается по улицам Милапа к себе в гостиницу и замыкается в обществе мертвого Маттиа Паскаля, я стал понимать, что мои дела плохи, что мне предстоит не только радости и что, следовательно, моя счастливая судьба...

Но, может быть, дело в другом — в том, что из-за беспредельности моей свободы мне и трудно начать жить каким бы то ни было определенным образом. В момент, когда я должен принять решение, меня всегда что-то удерживает: мне кажется, что я вижу слишком много помех, теневых сторон и препятствий.

И вот я снова выбегал из дома на улицу, наблюдал за всем, присматривался к каждому пустяку, подолгу размышлял над самыми незначительными вещами. Устав,

я заходил в кафе, читал какую-нибудь газету, смотрел на входящих и выходящих, а в конце концов выходил и сам. Но жизнь, когда я смотрел на нее как посторонний зритель, казалась мне бесформенной и бесцельной; я чувствовал себя потерянным среди суетливой толпы, а шумное и непрерывное уличное движение оглушало меня.

Почему люди, настойчиво спрашивал я самого себя, так стремятся все больше усложнять себе образ жизни? Зачем такое нагромождение машин? Чем же займется человек, когда все будут делать машины? Не спохватится ли он тогда, что так называемый прогресс не имеет ничего общего со счастьем? Какую радость получаем мы от всех изобретений, которыми наука честно пытается обогатить человечество (а на деле обедняет его, потому что обходятся они слишком дорого), даже когда восхищаемся ими?

Как-то в вагоне трамвая я столкнулся с одним беднягой из числа тех, кто не может не поделиться с окружающими всем, что ему приходит в голову.

— Какое прекрасное изобретение! — объявил он. — За два сольдо я в несколько минут проезжаю пол-Милана.

Два сольдо за проезд заслоняли в сознании бедняги то обстоятельство, что всего его заработка не хватает на эту шумную жизнь с трамваями, электрическим освещением и т. д., и т. д.

И все же наука, думал я, создает иллюзию, будто жизнь становится легче и удобнее. Но если даже признать, что своими сложными и громоздкими машинами наука действительно облегчает жизнь, я все равно спрошу: можно ли оказать тому, кто обречен на бессмысленный труд, худшую услугу, чем облегчить этот труд и сделать его почти механическим?

Я возвращался в гостиницу.

Там, в проеме коридорного окна, висела клетка с канарейкой. Так как я не мог беседовать с людьми и не знал, чем заняться, я начал говорить с канарейкой. Я старался повторить губами ее песенку, и она действительно думала, что с ней кто-то разговаривает, слушала меня и, быть может, угадывала в моем щебете милые ей вести о гнездах, о листьях, о свободе. Она начинала волноваться, порхала, прыгала, смотрела сквозь прутья клетки, трясла головкой, потом отвечала мне, о чем-то спрашивала и вновь слушала. Бедная птичка! Вид ее трогал меня, но ведь я-то не знал, что я ей говорю.

Так вот, если поразмыслить, разве с нами, людьми, не происходит нечто подобное? Разве мы не думаем, что природа говорит с нами? И разве мы не находим смысла в ее таинственных голосах? Не находим ответа, соответственно нашим желаниям, на мучительные вопросы, с которыми к ней обращаемся? А природа в своем бесконечном величии даже не замечает ни нашего существования, ни наших тщетных иллюзий.

Вот видите, к каким выводам может привести человека, обреченного жить наедине с собой, шутливое занятие, которому он предался от безделья. Я готов был отколотить самого себя. Неужели я действительно всерьез собираюсь стать философом?

Нет, нет, довольно! Мое поведение нелогично, так дальше продолжаться не может. Я должен победить все свои колебания и во что бы то ни стало принять решение.

Я действительно должен начать жить, жить.

10. КРОПИЛЬНИЦА И ПЕПЕЛЬНИЦА

Через несколько дней я приехал в Рим с намерением там поселиться. Почему в Риме, а не где-нибудь еще? После всего, что со мной случилось потом, я понял настоящую причину, но я ее не назову, чтобы не испортить свой рассказ рассуждениями, которые в данный момент были бы неуместны. Я выбрал Рим прежде всего потому, что он нравился мне больше других городов. И потом, мне казалось, что, равнодушно давая приют стольким чужестранцам, он может приютить такого чужестранца, как я.

Выбор дома, то есть приличной комнатки на спокойной улице в скромной семье, стоил мне немалых трудов. Наконец на улице Рипетта я нашел комнату с видом на реку. По правде сказать, первое впечатление от семьи, в которой мне предстояло поселиться, было настолько неблагоприятным, что, вернувшись в гостиницу, я долго колебался, не лучше ли поискать еще.

На двери четвертого этажа были две дощечки: с одной стороны — «Палеари», с другой — «Папиано». Под второй была прибита двумя медными гвоздиками визитная карточка, на которой можно было прочесть: «Сильвия Капорале».

Мне открыл старичок лет шестидесяти (Палеари?)

Папиано?) в бумажных брюках и грязных туфлях на босу ногу, с мясистым розовым обнаженным торсом без единого волоска, с намыленными руками и целым тюрбаном взбитого мыла на голове.

— Простите! — воскликнул он. — Я думал, это служанка. Подождите немного: вы меня застали... Адриана! Теренцио! Скорей сюда — вы же видите: здесь синьор... Подождите минутку, будьте любезны... Что вам угодно?

— У вас сдается меблированная комната?

— Да, синьор. Вот моя дочь — поговорите с ней. Адриана, это по поводу комнаты!

Появилась смущенная маленькая девушка, белокурая, бледная, с голубыми глазами, такими же грустными и нежными, как все ее лицо. Адриана — как я. «Вот так штука! — подумал я. — Словно нарочно».

— А где же Теренцио? — спросил человек в тюрбане из пены.

— О боже, папа, ты же отлично знаешь, что они со вчерашнего дня в Неаполе. Уйди! Если б ты сам себя видел... — удрученно ответила девушка нежным голоском, в котором, несмотря на легкое раздражение, чувствовалась душевная кротость.

Он ушел, повторяя: «Ну конечно, конечно», шлепая туфлями и продолжая намыливать лысую голову и густую седую бороду. Я не удержался и улыбнулся, но доброжелательно, чтобы не смутить его дочь еще больше. Она прищурилась, словно не желая замечать моей улыбки. Сначала она показала мне девочкой; потом, рассмотрев выражение ее лица, я понял, что она уже взрослая и поэтому должна носить капотик, делающий ее немножко смешной, так как он не соответствует ни телосложению, ни лицу такой малышки. Одета она была в полутраур.

Говоря очень тихо и стараясь не смотреть на меня (мне неизвестно, какое я сначала произвел на нее впечатление), она темным коридором провела меня в сдававшуюся комнату. Когда дверь открылась, я почувствовал, как грудь моя расширилась от воздуха и света, врывавшихся через два больших окна, которые выходили на реку. На горизонте виднелись Монте Марио, Понте Маргерита и весь новый квартал Праги до замка Святого Ангела — он возвышался над старым мостом Рипетта и новым, который строился рядом; немножко дальше виднелся мост Умберто и старые дома Тординоне, расположенные вдоль широкой речной излучины; в глубине,

с другой стороны,— зеленые высоты Джаниколо с большим фонтаном Сан-Пьетро в Монторио и конная статуя Гарибальди.

Из-за этого приятного вида я снял комнату; меблирована она была, кстати сказать, с изящной простотой и оклеена светлыми — белыми с голубым — обоями.

— Вот этот балкончик рядом,— добавила девушка в капотике,— тоже наш, по крайней мере покамест. Говорят, его сломают, так как он слишком выдается.

— Выдастся?

— Да, выступает над улицей. Разве так нельзя сказать? Но это будет не скоро — не раньше, чем достроят набережную Тибра.

Слушая ее тихий, серьезный голос и глядя на ее наряд, я улыбнулся и сказал:

— Ах, вот как.

Она обиделась, опустила глаза и чуть-чуть прикусила губку. Чтобы доставить ей удовольствие, я тоже заговорил серьезно:

— Простите, синьорина, в доме, кажется, нет детей?

Она молча покачала головой. Может быть, в моем вопросе ей послышался оттенок иронии, что совсем не входило в мои намерения. Я ведь сказал «детей», а не «девочек». Я снять спохватился:

— А... Скажите, синьорина, а других комнат вы не сдаете?

— Это самая лучшая,— ответила она, не глядя на меня.— Если она вам не нравится...

— Нет, нет, я спросил просто, чтобы узнать...

— Мы сдаем еще одну,— сказала она, подняв глаза с принужденно-безразличным видом.— Со стороны фасада... Она выходит на улицу... Ее занимает одна синьорина. Она живет у нас уже два года. Дает уроки фортепьяно, но не дома.— При этих словах она улыбнулась чуть-чуть грустно и прибавила: — Здесь живу я, мой отец и мой зять...

— Палеари?

— Нет, Палеари — это мой отец, а моего зятя зовут Теруккио Палмамо. Он должен уехать вместе со своим брагом, который сейчас живет с нами. Моя сестра умерла... полгода назад.

Чтоб переменить тему разговора, я осведомился о плате, мы быстро сговорились, и я спросил, нужен ли задаток.

— Как хотите,— ответила она.— Лучше просто назовите ваше имя.

Я ощупал нагрудный карман и, нервно улыбаясь, сказал:

— У меня нет... нет ни одной визитной карточки... Меня зовут Адриано, именно так. Я слышал, что вас тоже зовут Адриана, синьорина. Может быть, вам неприятно такое совпадение?

— Да нет, почему же? — возразила она, очевидно, заметив мое замешательство, и на этот раз рассмеялась как ребенок.

Я тоже рассмеялся и добавил:

— Ну, раз вам это безразлично, меня зовут Адриано Менс. Вот, кажется, и все. Я могу переехать сегодня вечером. Или лучше завтра?

Она ответила:

— Как хотите.

Тем не менее уходил я с сознанием, что доставил бы ей большое удовольствие, если бы не вернулся. Я осмелился даже не обратить должного внимания на ее капотик.

Однако несколько дней спустя я не только заметил его, но даже убедился, что бедная девушка была просто вынуждена носить этот капотик, от которого она, вероятно, охотно бы отказалась. Вся тяжесть домашней работы лежала на ее плечах, и неизвестно, что стало бы с семьей, если бы не Адриана.

У ее отца, Ансельмо Палеари, того старика, который вышел ко мне навстречу с тюрбаном пены на голове, мозг тоже был из пены. В тот самый день, когда я поселился у него в доме, он явился ко мне не столько для того, пояснил он, чтобы вторично извиниться за малопрстойный вид, в котором он появился передо мной в первый раз, сколько ради удовольствия познакомиться с человеком, столь похожим на ученого или, скажем, художника.

— Я не ошибся?

— Ошиблись. Я ни в каком смысле не художник. Ученый — относительно: я люблю иногда читать книги.

— О, у вас есть хорошие! — сказал он, глядя на корешки тех немногих книг, которые я уже поставил на полочку бюро.— Как-нибудь после я покажу вам мои, хорошо? У меня тоже есть неплохие, но...— Он пожал плечами, остановился и задумался. Взгляд его затума-

нился — он, очевидно, уже забыл, где он и с кем. Потом лицо его приняло отрешенное выражение, он еще два раза повторил: — Но... но... — повернулся ко мне спиной и ушел, не попрощавшись.

Сначала я несколько удивился, но, когда он сдержал обещание и, пригласив меня к себе в комнату, показал свои книги, мне стала понятна не только некоторая его рассеянность, но и многое другое. Вот какие названия были у этих книг: «Смерть и потусторонний мир», «Семь принципов человека», «Карма», «Ключ к теософии», «Азбука теософии», «Тайное учение», «Астральный план» и т. д.

Синьор Ансельмо Палеари был членом теософского общества. Его раньше времени уволили в отставку с должности начальника отдела какого-то министерства, чем погубили его не только материально, но и нравственно: ничем не занятый и свободный от каких бы то ни было обязанностей, он углубился в фантастические исследования и туманные размышления, все больше отрываясь от реальной жизни. По крайней мере половина его пенсии уходила на покупку книг. Он уже составил себе маленькую библиотеку. Тем не менее теософские учения не удовлетворяли его полностью. Его, несомненно, грыз червь сомнения, потому что, наряду с теософскими сочинениями, у него была богатая коллекция старинных и новых философских эссе и трактатов, а также сборников научных статей. В последнее время он, кроме того, увлекался спиритическими экспериментами.

Он открыл в синьорине Сильвии Капорале, своей жилище и учительнице музыки, необыкновенные способности медиума, не очень, по правде сказать, хорошо развитые; тем не менее он не сомневался, что со временем и с помощью упражнений она еще разовьет их и затмит самых знаменитых медиумов.

Я, со своей стороны, могу засвидетельствовать, что никогда не видел на столь вульгарном и уродливом лице, похожем на карнавальную маску, более скорбных глаз, чем глаза синьорины Сильвии Капорале. Они были черные, миндалевидные, всегда глядели пристально и производили такое впечатление, словно к ним изнутри привешен свинцовый противовес, как у кукол.

У синьорины Сильвии Капорале, женщины за сорок, под ярко-красным шарообразным носиком росли настоящие усы.

Позднее мне стало известно, что бедняжке безумно хотелось любви, и поэтому она пила: она знала, что уродлива, стара, и пила с отчаяния. Иногда по вечерам она возвращалась домой в совершенно неопишемом виде, в шляпе, съехавшей набок, ее ярко-красный шарообразный носик походил на морковь, а взгляд полузакрытых глаз был еще горестнее, чем обычно.

Она бросалась на постель, и выпитое ею вино тотчас же превращалось в бесконечные потоки слез. И тогда бедной маленькой маме в капотике приходилось до поздней ночи ухаживать за ней и утешать ее: она чувствовала к ней жалость, которая превозмогала даже отращение. Адриана знала, что Сильвия одна на свете и глубоко несчастна, что огонь, пылающий в ее теле, вынуждает ее ненавидеть жизнь, на которую она уже два раза покушалась. Адриана тихонько уговаривала бедняжку обещать, что она будет хорошей, что это больные не повторится, и — что бы вы думали? — на следующее утро синьорина Капорале выходила к завтраку разодетая, гримасничая, как обезьянка, словно внезапно превратившись в наивную, капризную девочку.

Несколько лир, которые ей удавалось время от времени заработать, репетируя песенки с какой-нибудь дебютанткой из кафе-шантана, уходили на пьянство или наряды; она не платила ни за комнату, ни за ту скудную еду, которую получала в семье Палеари. Но выгнать ее было нельзя — синьор Ансельмо Палеари не смог бы тогда устраивать спиритические сеансы.

Впрочем, была и другая, более существенная причина. Два года тому назад, когда после смерти матери синьорина Капорале продала дом и перебралась на жительство к Палеари, она дала Теренцио Папиано на одно верное и весьма доходное предприятие тысяч шесть лир, вырученных от продажи мебели; эти шесть тысяч бесследно исчезли.

Когда синьорина Капорале, обливаясь слезами, сама рассказала мне об этом, я отчасти извинил синьора Ансельмо Палеари: раньше мне казалось, что он держит такую женщину около своей дочери только из прихоти.

Правда, маленькая Адриана была инстинктивно такой порядочной и, пожалуй, даже чересчур рассудительной девушкой, что опасаться за нее, вероятно, не было оснований. Больше всего ее в этой истории оскорбляли

таинственные манипуляции отца и вызывание духов с помощью синьорины Капорале.

Маленькая Адриана была набожна. Я заметил это еще с первых дней, когда она повесила над моим ночным столиком на стене, рядом с кроватью, кропильницу из голубого стекла. Вечером, ложась спать, я закурил и стал читать одну из книг Палеари, а потом по рассеянности я положил окуроч в эту кропильницу.

На следующий день ее уже не было. Вместо нее на ночном столике стояла пепельница. Я спросил Адриану, не она ли сняла ее со стены, и девушка, слегка покраснев, ответила:

— Простите, мне показалось, что пепельница вам нужнее.

— Но разве в кропильнице была святая вода?

— Была. Здесь у нас напротив церковь Сан-Рокко.

И она ушла. Эта маленькая мама хотела, чтобы я был благочестив лишь на том основании, что в Сан-Рокко она зачерпнула святой воды для моей кропильницы. Ну, разумеется, и для своей. Отцу святая вода наверняка была ни к чему. А кропильница синьоры Капорале, если у нее таковая и была, содержала скорее всего святое вино.

Теперь, когда я чувствовал, что с некоторого времени как бы повис в тумане, всякая мелочь наводила меня на длительные размышления. Эта кропильница напомнила мне, что я с детства не исполнял религиозных обрядов и ни разу не был в церкви с тех пор, как ушел Циркуль, водивший нас туда вместе с Берто по распоряжению мамы. Я не испытывал никакой потребности задать самому себе вопрос: верующий я или нет? И Маттиа Паскаль умер смертью нечестивца — без покаяния и причастия.

Неожиданно я понял, что нахожусь в совсем особом положении. Для всех, кто меня знал, я так или иначе, но покончил с самой досадной, самой гнетущей мыслью, какая только может быть у живого человека, — с мыслью о смерти. Кто знает, сколько моих сограждан в Мираньс говорили:

— В конце концов, он — счастливец. Как бы то ни было, для него все решено.

А между тем я ничего не решил. Я листал книги Ансельмо Палсари, и эти книги говорили мне, что в таком же положении, как я, в «раковинах» Камалока пребывают настоящие мертвецы, в особенности самоубийцы, терзаемые,

согласно господину Лидбитеру, автору «Астрального плана» (так в теософии именуется первая ступень невидимого мира), всевозможными чувственными желаниями, которых они не могут удовлетворить, так как лишены телесной оболочки, хоть и не знают, что потеряли ее.

«Ого,— подумалось мне,— а ведь этак я скоро поверю, что действительно утопился на мельнице в Стиа и сейчас только воображаю, что еще жив».

Известно, что некоторые виды сумасшествия заразительны. Помешательство Палеари, как я ни противился, в конце концов передалось и мне. Я, конечно, не считал себя действительно мертвым, хотя в этом не было бы большой беды. Самое трудное — умереть, а уж если человек умер, то у него вряд ли явится прискорбное желание вернуться к жизни. Беда была в другом — я внезапно понял, что мне еще предстоит умереть. Я ведь об этом совсем забыл: после моего самоубийства в Стиа я, естественно, думал только о жизни. А теперь синьор Ансельмо Палеари непрерывно вызывал передо мной призрак смерти.

Этот милый человек не мог говорить ни о чем другом, но зато говорил он с таким жаром и порой прибегал к таким странным образам и выражениям, что, слушая его, я испытывал желание немедленно уехать и поселиться в другом месте. Однако в теориях и воззрениях синьора Палеари, хотя они иногда и казались мне ребячливыми, было, по существу, нечто утешительное, и поскольку мною теперь овладела мысль, что когда-нибудь я все же умру по-настоящему, я не без удовольствия слушал, как он рассуждает.

— Есть тут логика? — спросил он меня однажды, прочитав мне отрывок из книги Фино, посвященный не более не менее, как зарождению червей из гниющего человеческого тела, и полный такой сентиментально-похоронной философии, что все это казалось бредом могильщика и морфиниста.— Есть тут логика? Согласен, материя существует; предположим даже, что все материально. Но есть форма и форма, образ и образ, качество и качество. Есть камень и есть невесомый эфир, черт возьми! Да и в самом моем теле есть ногти, зубы, кожа и есть, черт возьми, тончайшая глазная ткань. Да, синьор, с какой стати мы будем отрицать, что так называемая душа тоже материальна; но согласитесь, что это иная материя, нежели ноготь, зуб, кожа. Это материя,

похожая на эфир или что-то в этом роде. Почему же мы принимаем эфир как гипотезу, а душу отрицаем? Есть тут логика? Материя — да, синьор. Следите за моими рассуждениями и увидите, к чему я приду и как все согласую. Мы придем к Природе. Сейчас мы, не правда ли, рассматриваем человека как результат смены бесчисленных поколений, как продукт длительной работы природы. Значит, дорогой синьор Меис, вы тоже животное, притом самое жалкое, и в целом мало чего стоите. Я соглашаюсь с этим и говорю: допустим, что человек занимает не очень высокое положение на иерархической лестнице живых существ — от червя до человека, скажем, семь-восемь, пусть даже пять ступеней. Но черт возьми! Чтобы подняться на эти пять ступеней, природа трудилась тысячи и тысячи веков; не правда ли, материи пришлось пройти немалый путь развития как форме-субстанции, для того чтоб достичь этой пятой ступени и сделаться животным, которое ворует и лжет, но в то же время способно написать «Божественную комедию» или принести себя в жертву, как наши матери — моя и ваша, синьор Меис. И это существо внезапно — пух! — превращается в ничто? Есть тут логика? Нет, в червя превратится мой нос, моя нога, но не моя душа, черт возьми! Да, синьор, никто не спорит: она — тоже материя, но не такая, как нос и нога. Есть тут логика?

— Простите, синьор Палеари, — возразил я ему, — великий человек гуляет, падает, ушибает голову, становится идиотом. А куда же делась душа?

Синьор Ансельмо оцепенел и усталился в одну точку, словно к его ногам внезапно упал камень:

— Куда делась душа?..

— Конечно, мы с вами не великие люди, но все же рассудите сами: я гуляю, падаю, ушибаю голову, становлюсь идиотом, куда же делась душа?

Палеари сложил руки и с выражением снисходительного сочувствия ответил:

— Но боже мой, зачем вам падать и ударяться головою, дорогой синьор Меис?

— Ну, это просто гипотеза.

— Нет, синьор, гуляйте лучше спокойно. Возьмем стариков, которые, не падая и не ушибая голову, порой в силу законов природы становятся идиотами. О чем это свидетельствует? Вы хотите доказать, что, повредив тело, вы ослабляете и душу, что исчезновение тела влечет за

собой исчезновение души. Но почему бы вам, простите, не представить себе нечто противоположное — душу, озаряющую совершенно изможденное тело. Например, Джакомо Леопарди. И многие старики тоже, скажем, его святешество Лев Тринадцатый! Вообразите себе фортепьяно и пианиста. Внезапно во время игры инструмент отказывается — одна клавиша больше не звучит, несколько струн обрываются; конечно, на таком инструменте даже очень хороший пианист будет играть плохо. Но разве пианист перестает существовать, даже если рояль совсем замолчит?

— По-видимому, мозг — это фортепьяно, а душа — пианист?

— Старое сравнение, синьор Меис. Конечно, если мозг испортился, душа становится глупой, безумной или еще какой-нибудь в том же роде. Но это значит лишь, что если пианист сломал инструмент не случайно, не по неосторожности, а по собственной воле, то он за это расплачивается: кто ломает, тот и платит — в мире за все надо платить. Однако это совсем другой вопрос. Простите, неужели для вас ничего не значит то обстоятельство, что все человечество, все люди, о которых мы что-нибудь знаем, всегда мечтали о жизни по ту сторону смерти? Ведь это же факт, факт, реальное доказательство.

— Говорят, инстинкт самосохранения...

— Нет, синьор, мне, знаете, наплевать на эту мерзкую оболочку, которая меня покрывает! Она давит на меня, я ношу ее, потому что должен носить, но если мне докажут, черт возьми, что, протаскав ее еще пять, шесть, десять лет, я не буду за это как-то вознагражден и что для меня все кончится здесь, я сегодня же, в эту же самую минуту отброшу ее. Причем же здесь инстинкт самосохранения? Я сохраняю себя единственно потому, что чувствую — так все кончиться не может! Но мне возразят: человек сам по себе — одно, человечество — другое. Особь умирает, род продолжает свою эволюцию. Вот так рассуждение! Подумайте сами: разве человечество — это не я, не вы, не каждый человек? Разве каждый из нас не чувствует, что было бы абсурдно и ужасно, если бы все сводилось лишь к ничтожному дуновению, которое представляет собой наша земная жизнь? Пятьдесят — шестьдесят лет скуки, несчастий, трудов, и во имя чего? Впустую! Ради человечества? Но ведь и человечеству когда-нибудь придет конец. Подумайте, жизнь, прогресс, эволюция — для чего все это? Зазря? Но ничто, абсолютное

ничто, говорят, не существует... Значит, ради обновления светила, как выразились вы на днях? Хорошо, пусть обновлекие, но надо посмотреть — в каком смысле. С огласитесь, синьор Менс, что беда науки и заключается в том, что она хочет заниматься только жизнью.

— Ну,— вздохнул я и улыбнулся,— поскольку мы все-таки должны жить...

— Но мы должны также и умереть,— подхватил Палеари.

— Понимаю, но зачем же об этом так много думать?

— Зачем? Затем, что мы не можем понять жизнь, если как-нибудь не объясним себе смерть! Это же необходимое условие наших действий, это путеводная нить, выводящая из лабиринта. И этот свет, синьор Менс, должен к нам прийти оттуда, от смерти.

— Но ведь смерть — это тьма.

— Тьма? Да, для вас. А вы попробуйте затеплить лампадку веры чистым маслом души. Если такой лампадки нет, мы бродим по жизни как слепые, несмотря на электрический свет, который мы изобрели. Для жизни электрическая лампа хороша, великолепна. Но мы, дорогой синьор Менс, нуждаемся в другом светильнике, который озаряет нас. Видите этот фонарик с красным стеклом? Я зажигаю его по вечерам — нужно учиться видеть при слабом освещении. Сейчас мой зять Теренцио в Неаполе. Через несколько месяцев он вернется, и тогда, если вы захотите, я приглашу вас присутствовать на одном из наших скромных сеансов. И почему знать, может быть, этот фонарик... Довольно, пока я больше ничего не скажу.

Как видите, общество Ансельмо Палеари было очень приятно. Но мог ли я, по здравом рассуждении, без всякого риска или, вернее, не принуждая себя лгать, надеяться на общество людей, не оторванных от жизни? Я вновь и вновь вспоминал кавалера Тито Ленци. В отличие от него, синьор Палеари ни о чем не расспрашивал меня, довольствуясь вниманием, с каким я слушал его речи. Почти каждое утро после обычного смывания всего тела он сопровождал меня в моих прогулках; мы ходили или на Джаниколо, или на Авентино, или на Монте Марио, порой даже до самого Понте Номентано, постоянно говоря о смерти.

«Нечего сказать, много я выиграл,— думал я,— оттого, что не умер на самом деле».

Иногда я пытался перевести разговор на другие темы,

но синьор Палеари, казалось, не замечал зрелища окружающей его жизни. На ходу он почти всегда держал шляпу в руке; иногда он внезапно приподнимал ее, словно здороваясь с какой-то тенью, и восклицал:

— Глупости!

Только однажды он неожиданно обратился ко мне с личным вопросом:

— Почему вы живете в Риме, синьор Меис?

Я пожал плечами и ответил:

— Потому что мне нравится жить здесь...

— А ведь это печальный город,— заметил он, покачивая головой.— Многие удивляются, почему здесь не удается ни одно предприятие, не пускает корни ни одна живая идея. Но люди удивляются этому лишь по одной причине — они не хотят признать, что Рим мертв.

— Рим тоже мертв? — огорченно воскликнул я.

— Давно, синьор Меис. И поверьте, все попытки оживить его напрасны. Замкнутый в снах своего великого прошлого, он ничего не хочет знать о повседневной жизни, которая непрестанно кипит вокруг него. Когда город прожил такую исключительную и выдающуюся жизнь, как Рим, он уже не может стать современным городом, то есть таким, как любой другой. Разве эти новые дома -- Рим? Послушайте, синьор Меис, моя дочь Адриана рассказала мне о кропильнице, которая висела в вашей комнате, вспоминаете? Адриана вынесла оттуда эту кропильницу, но вечером она выпала у нее из рук и разбилась; уцелела только раковина, которая стоит теперь на моем письменном столе — я приспособил ее именно для того, для чего вы по рассеянности воспользовались ею впервые. Такова же и судьба Рима, синьор Меис. Папы сделали из него кропильницу — в своем роде, конечно,— а мы, итальянцы, превратили ее в пепельницу. Люди из всех стран съезжаются сюда стряхивать пепел со своих сигар. Какой символ нашей несчастной жизни и того горького, отравленного наслаждения, которое она нам дает!

11. ВЕЧЕРОМ, ГЛЯДЯ НА РЕКУ

Чем больше сближали нас уважение и симпатия, которые выказывал мне хозяин дома, тем труднее мне становилось общаться с ним; я и раньше испытывал в его

присутствии тайную неловкость, но теперь она постепенно делалась острой, как терзавшие меня угрызения совести,— ведь я втерся в эту семью под чужим именем, изменив свой внешний вид, живя придуманной, почти лишенной содержания жизнью. И я обещал себе по возможности стоять в стороне, ни на минуту не забывая, что я не вправе слишком приближаться к чужой жизни, должен избегать всякой интимности и довольствоваться существованием вне общества.

«Свободен!» — все еще повторял я себе, но уже начал постигать смысл этой свободы и видеть ее границы.

Из-за этой свободы я, например, проводил целые вечера, облокотившись о подоконник и глядя на черную, молчаливую реку, которая текла меж новых домов, под мостами, где отражались огни фонарей, пляшущие как огненные змейки; я мысленно следил за этими водами, берущими начало далеко в Апеннингах и текущими через поля, город, потом снова через поля и так до самого устья; я представлял себе беспокойное, мрачное море, в котором, пройдя такой долгий путь, теряются эти воды, и время от времени утомленно зевал.

— Свобода... свобода... — бормотал я. — Но разве в другом месте будет не то же самое?

Иногда по вечерам я видел на балконе рядом нашу маленькую маму в капотике — она поливала цветы. «Вот жизнь», — думал я, следя за славной девушкой и ее приятным занятием, и ждал, что она вот-вот бросит взгляд на мое окно. Но напрасно. Она знала, что я дома, но, когда была одна, притворялась, что не замечает меня. Почему? Вероятно, только из-за робости; впрочем, может быть, наша мамочка все еще втайне сердилась на меня за то, что я с упорной жестокостью оказывал ей очень мало внимания?

Потом она, поставив лейку, облокачивалась о перила балкона и тоже смотрела на реку, стараясь показать мне, что она несколько не интересуется мной, так как занята собственными, гораздо более серьезными мыслями и нуждается в одиночестве.

Думая об этом, я мысленно улыбался, но, когда она уходила с балкона, готов был признать, что мое суждение может быть ошибочно, что оно — обычное, инстинктивное следствие досады, возникающей у каждого, кто видит, что на него не обращают внимания.

«Почему, в конце концов, — спрашивал я себя, — она

должна думать обо мне и без всякой надобности говорить со мной?»

Ведь я служил живым напоминанием о несчастье ее жизни — безумии ее отца; быть может, мое присутствие было унижением для нее. Быть может, она оплакивала то время, когда ее отец, состоя на службе, не был вынужден сдавать комнаты и держать в доме постороннего, в особенности такого, как я! Быть может, я просто пугаю бедную девочку своим глазом и очками...

Стук экипажа, проезжавшего по ближайшему деревянному мосту, отрывал меня от этих размышлений; я фыркнул, отходил от окна, смотрел на кровать, смотрел на книги, некоторое время колебался — лечь мне в постель или взяться за чтение, затем пожимал плечами, хватал шляпу и уходил, надеясь, что на улице я избавлюсь от щемящей тоски.

Повинуясь настроению, я шел или на самые шумные улицы, или в уединенные места. Помню, однажды ночью на площади Святого Петра мне почудилось, что я погружаюсь в сновидение, что я воочию вижу далекий мир былых веков, замкнутый здесь между крыльями величавого портика, в тишине, казавшейся еще более глубокой из-за немолчного лепета двух фонтанов. Я подошел к одному из них, и вода показалась мне живой, а все остальное почти призрачным и глубоко печальным в своей молчаливой и неподвижной торжественности.

Возвращаясь по улице Борго Нуово, я наткнулся на пьяного, который, проходя мимо меня и видя, что я задумался, наклонился, вытянул шею, заглянул мне в лицо, слегка трянул мою руку и сказал:

— Веселей!

Я круто остановился и удивленным взглядом смерил его с ног до головы.

— Веселей! — повторил он, сопровождая это слово жестом, означавшим: «Что ты делаешь? Стоит ли так задумываться? Выкинь-ка все из головы!»

И он ушел, шатаясь и держась рукой за стену.

Меня ошеломило появление этого пьяницы и неожиданный дружеский и философский совет, данный им на безлюдной улице, около большого храма, как раз в тот момент, когда я был целиком погружен в мысли, которые возбудил во мне этот храм.

Некоторое время я стоял неподвижно и следил за

этим человеком, потом почувствовал, что мое удивление вот-вот изольется иступленным хохотом.

— Веселей! Да, дорогой, но я не могу, как ты, идти в кабачок и по твоему совету искать веселья на дне бокала. Я, конечно, не найду его там! Не найду и в другом месте! Я пойду в кафе, мой дорогой, к порядочным людям, которые курят и болтают о политике. По словам одного адвокатика-монархиста, мы все можем быть веселы и даже счастливы только при одном условии, что нами управляет добрый абсолютный монарх. Ты, бедный пьяный философ, ничего об этом не знаешь, это даже не приходит тебе в голову. А знаешь, в чем истинная причина всех наших бед и печалей? В демократии, мой дорогой, в демократии, то есть в правлении большинства, потому что, когда власть в руках одного, этот один, помня, что он один, должен удовлетворять многих; но когда управляют многие, они думают о том, как бы удовлетворить самих себя, и тогда возникает самая гнусная, самая отвратительная тирания — тирания, прикрытая маской свободы. Именно так! Отчего, ты думаешь, я страдаю? Я страдаю как раз от этой тирании, которая замаскирована свободой... Вернемся-ка домой!

Но это была ночь встреч.

Немного спустя, проходя почти в темноте по улице Тординоне, я услышал громкий вопль и другие, более приглушенные крики в одном из переулков, выходявших на эту улицу. Внезапно я увидел, что навстречу мне движется группа дерущихся. Четыре негодяя, вооруженные суковатыми палками, гнались за проституткой.

Я упоминаю об этом приключении не для того, чтобы похвастаться мужественным поступком, но чтобы передать тот страх, который я испытал перед последствиями его. Мужчин было четверо, но у меня была трость с железным наконечником. Двое из них бросились на меня с ножами. Я защищался, как мог, размахивая тростью и вовремя отпрыгивая в сторону, чтоб не оказаться окруженным; наконец мне удалось метко ударить самого буйного металлическим набалдашником по голове, и я увидел, как он зашатался, а потом пустился наутек; трое остальных, опасаясь, вероятно, что на крики женщины сбегутся народ, последовали за ним. Не помню, как это получилось, но оказалось, что у меня разбит лоб. Я крикнул женщине, которая продолжала звать на помощь, чтобы она замолчала, но она, видя, что у меня все

лицо залито кровью, не удержалась и, сама вся растерзанная, с плачем попыталась помочь мне, перевязав меня шелковым платком, закрывавшим ей грудь и разорванным во время драки.

— Нет, нет, благодарю,— сказал я, содрогаясь от отвращения.— Оставь, это пустяки. Уходи сейчас же и никому не показывайся...

Я пошел умыться к ближайшей колонке, находившейся под лестницей моста. Но, пока я был там, прибежали, запыхавшись, два полицейских и стали выяснять, что случилось. Женщина, которая была из Неаполя, немедленно рассказала им о приключившемся со мной несчастье, произнося по моему адресу самые пылкие и восторженные фразы на своем родном диалекте. Мне стоило немалых усилий избавиться от этих двух ретивых полицейских, которые непременно хотели, чтобы я пошел с ними и дал показания о происшествии. Боже, только этого не хватало! Мне ли, кому надлежит молчаливо жить в тени, в полной неизвестности, связываться с квестурой, чтобы на следующее утро стать героем газетной хроники?

Вот уже кем я не мог стать, так это героем — разве что ценою смерти... Но ведь я уже был мертв!

— Простите, синьор Меис, вы вдовец?

Синьорина Капорале внезапно задала мне этот вопрос однажды вечером на балконе, где они были вдвоем с Адрианой и куда пригласили посидеть с ними и меня.

Мне на мгновение стало дурно, потом я ответил:

— Я? Нет. Почему вы это предположили?

— Потому что вы всегда трете указательным пальцем правой руки безымянный на левой, словно хотите повернуть кольцо. Вот так... Не правда ли, Адриана?

Подумайте, чего только не видят глаза женщин, вернее сказать — некоторых женщин, потому что Адриана заявила, что она никогда ничего подобного не замечала.

— Ты просто не обращала внимания! — воскликнула синьорина Капорале.

Должен признаться, что хотя я тоже никогда не обращал на это внимания, у меня, вполне вероятно, действительно была такая привычка.

— В самом деле,— пришлось добавить мне,— я долгое время носил на этом пальце колечко, которое рас-

пилил ювелир, потому что оно слишком жало и причиняло мне боль.

— Бедное колечко! — простонала, кривляясь, сорокалетняя дева, обуреваемая в этот вечер ребячливым жеманством.— Такое ли уж оно было узкое? Неужели оно не слезало с пальца? Может быть, это было воспоминание о...

— Сильвия! — укоризненно прервала ее маленькая Адриана.

— Что здесь плохого? — ответила синьорина Капорале.— Я хотела только сказать — о первой любви... Ну, расскажите же нам что-нибудь, синьор Меис. Неужели вы так никогда и не заговорите?

— Так вот,— начал я.— Я подумал о том, как вы объяснили мою привычку почесывать палец. Вы сделали очень нелогичный вывод, милая синьорина, потому что вдовцы, насколько мне известно, не снимают обручального кольца. Тяготить может жена, но не кольцо, когда жены уже нет. Скажу больше: как ветеранам нравится украшать себя всеми своими медалями, так и вдовцу, думается мне, приятно носить кольцо.

— Ну вот еще! — воскликнула Капорале.— Вы просто ловко меняете тему разговора.

— Напротив, я даже хочу углубить ее.

— Что тут углублять! Я никогда ничего не углубляю. Просто у меня создалось такое впечатление, и все.

— Впечатление, что я вдовец?

— Да, синьор. Не кажется ли тебе, Адриана, что у синьора Меиса вид вдовца?

Адриана подняла было на меня глаза, но тотчас же их опустила — застенчивость не дала ей выдержать чужой взгляд. Она слегка улыбнулась своей обычной нежной и грустной улыбкой и сказала:

— Откуда мне знать, как выглядят вдовцы? Какая ты странная!

В это мгновение у нее, наверно, возник какой-то образ, какая-то мысль, потому что она смутилась и вновь стала смотреть вниз на реку. Ее приятельница, должно быть, поняла это. Она вздохнула и тоже повернулась лицом к реке. Очевидно, между нами встал кто-то четвертый, невидимый. В конце концов, глядя на полутраурное платье Адрианы, до этого додумался и я. В самом деле, ее находящийся в Неаполе зять Теренцио Папиано едва ли похож на безутешного вдовца; следовательно, такой

же вид, по мысли синьорины Капорале, должен быть и у меня.

Признаюсь, я обрадовался, что разговор кончился так плохо: пусть боль, причиненная Адриане воспоминанием о покойной сестре и о Папиано-вдовце, будет для синьорины Капорале наказанием за нескромность.

Но надо быть справедливым: то, что мне казалось нескромностью, было, в сущности, только естественным и вполне извинительным любопытством; странное молчание, окружавшее мою личность, не могло не возбудить его. А так как одиночество стало для меня теперь невыносимо и я был не в силах отказаться от такого соблазна, как общество других людей, эти последние имели полное право полюбопытствовать, кто я такой. Я же был вынужден удовлетворять их желание, то есть выдумывать и лгать,— другого пути у меня не было. Виноват в этом был только я, правда, свою вину я усугублял ложью, но если бы я не согласился лгать и страдал, оттого что лгу, я должен был бы уйти и снова отправиться в одинокие и безвестные странствия. Я заметил, что Адриана, которая сама никогда не задавала мне никаких нескромных вопросов, тем не менее вся превращалась в слух, когда я отвечал синьорине Капорале; вопросы же, по правде сказать, учительница музыки задавала очень часто, и они нередко переходили границы естественного и простительного любопытства.

Однажды вечером, например, на том же балконе, где мы обычно собирались, когда я возвращался после ужина, она спросила меня, смеясь и увертываясь от Адрианы, которая в крайнем возбуждении кричала ей: «Нет, Сильвия, не смей, я тебе запрещаю!»:

— Простите, синьор Меис, Адриана хочет знать, почему вы не носите хотя бы усов...

— Неправда,— кричала Адриана,— не верьте, синьор Меис, это все она, а я, напротив...

И наша маленькая мамочка неожиданно разрыдалась. Синьорина Капорале немедленно принялась утешать ее:

— Да что ты! В чем дело? Что тут дурного?

Адриана оттолкнула ее локтем:

— Дурно то, что ты солгала, и это меня сердит! Мы говорили об актерах, которые все... такие, и тогда ты сказала: «Как синьор Меис? Почему он не отрастит хотя бы усы?» А я только повторила: «Да, почему?»

— Ну что ж,— согласилась синьорина Капорале,— кто говорит: «Да почему?», тот и спрашивает.

— Но ведь первая сказала ты! — с досадой заявила Адриана.

— Можно ответить? — спросил я, чтобы их успокоить.

— Нет, простите, синьор Меис, не надо. Покойной ночи! — отрезала Адриана и встала, собираясь уйти. Но синьорина Капорале удержала ее за руку:

— Полно, глупышка! Мы ведь шутим... Синьор Меис так добр, что он не рассердится. Не правда ли, синьор Адриано? Скажите же ей сами, почему вы не отрастите по крайней мере усы.

На этот раз Адриана рассмеялась, хотя глаза у нее еще были полны слез.

— Под этим кроется тайна,— ответил я, комически понижая голос.— Я заговорщик.

— Не верим! — воскликнула синьорина Капорале тем же тоном, но потом прибавила: — А все-таки вы, без сомнения, очень скрытный. Что вы, например, делали сегодня после обеда на почте?

— Я? На почте?

— Да, синьор! Не станете же вы отрицать? Я видела вас собственными глазами. Около четырех... Я проходила по площади Сан-Сильвестро.

— Вы ошиблись, синьорина: это был не я.

— Ну, ну,— недоверчиво протянула Капорале.— Тайная переписка... Это правда, Адриана! Синьор Меис никогда не получает писем на дом. Заметь, мне это сказала служанка!

Адриана раздраженно заерзала на стуле.

— Не обращайтесь на нее внимания,— сказала она, бросив на меня грустный и почти ласковый взгляд.

— Да, я не получаю писем ни домой, ни до востребования,— согласился я.— Совершенно верно! Мне никто не пишет, синьорина, по той простой причине, что у меня нет никого, кто мог бы мне написать.

— Даже ни одного приятеля? Быть не может! Так-таки никого?

— Никого. На земле существуем только я и моя тень. Я непрерывно путешествую вместе с ней по разным местам и до сих пор нигде не задерживался так долго, чтобы успеть завязать прочную дружбу.

— Счастливеец! — вздохнула синьорина Капорале.—

Всю жизнь путешествовать!.. Расскажите нам хоть о путешествиях, если уж не желаете говорить ни о чем другом.

Преодолев подводные камни первых затруднительных вопросов, я постепенно научился обходить некоторые из них на веслах лжи, служившей мне рычагом и опорой; если же вопрос касался меня особенно близко, я цеплялся за подводный камень обеими руками и тихо-ненько, осторожненько поворачивал лодочку моего вымысла так, чтобы она могла наконец выйти в открытое море и поднять паруса фантазии.

И теперь, после года молчания, я получал большое удовольствие от того, что каждый вечер говорил на балконе — говорил, о чем хотел: обо всем, что видел, о своих наблюдениях, о приключениях, пережитых в разных местах. Я сам удивлялся, что за время путешествия собрал столько впечатлений, которые почти похоронило во мне молчание; теперь же, когда я заговорил, они воскресли и живыми слетали с моих губ. Это внутреннее удивление необычайно расцветчивало мои рассказы, и удовольствие, с которым обе женщины слушали меня, постепенно пробуждало во мне все большее сожаление о тех благах, которых я еще не вкусил полностью; это сожаление также окрашивало теперь мои рассказы.

После нескольких вечеров поведение синьорины Капорале и ее отношение ко мне совершенно изменились. Взгляд ее как бы отяжелел от нарочитой томности; он еще больше напоминал теперь о свинцовых шариках, подвешенных внутри для равновесия, и углублял контраст между скорбными глазами и карнавальной маской лица. Сомнений не было: синьорина Капорале влюбилась в меня. Нелепое удивление, которое я ощутил при этом открытии, показало мне, что все эти вечера я говорил не для нее, а для другой, всегда слушавшей меня молча. Адриана — это было совершенно ясно — тоже поняла, что я говорил для нее одной, ибо нас связало обоюдное, хоть и невысказанное желание посмеяться над неожиданным и комическим действием, которое производили мои рассказы, затрагивая самые чувствительные струны души сорокалетней учительницы музыки.

Когда я это открыл, у меня не появилось никаких нечистых чувств к Адриане — ее целомудренная, проникнутая грустью доброта исключала их, — но мне доставляли бесконечную радость даже первые проявления доверчивости, на какие могла решиться милая и застен-

чивая Адриана. То это был беглый, как молния, очаровательный нежный взгляд, то сочувственная улыбка по поводу смешного самообольщения подруги, то благосклонное предостережение, которое она посылала мне взглядом или легким кивком головы, когда я забредал по нашей тайной тропинке чуть-чуть дальше, чем надо, и подавал хоть проблеск надежды синьорине Капорале, то, словно бумажный змей, взвивавшейся к небесам блаженства, то падавшей с неба на землю при каком-нибудь моем неожиданном и резком выпаде.

— У вас не слишком нежное сердце,— объявила мне однажды синьорина Капорале,— если вы, как уверяете, вправду прошли по жизни невредимо, во что я, конечно, не верю.

— То есть как это невредимо?

— Я хочу сказать — ни разу не испытал страсти...

— О, ни разу, синьорина, ни разу.

— А все-таки вы не сказали нам, откуда у вас взялось... колечко, которое распилил ювелир, так как оно слишком резало вам палец.

— И причиняло мне боль. Разве я вам не говорил? Да нет, говорил, конечно. Это память о дедушке, синьорина.

— Ложь.

— Думайте, как вам угодно: но я, видите ли, могу вам даже сказать, что дедушка подарил мне это колечко во Флоренции, когда мы выходили из галереи Уффици. И знаете за что? За то, что я (мне было тогда двенадцать лет) принял одну вещь Перуджино за работу Рафаэля. В награду за эту ошибку я и получил колечко, купленное в одной из лавчонок на Понте Веккьо. Дедушка, не знаю уж по каким соображениям, был твердо убежден, что эта картина Перуджино должна считаться картиной Рафаэля. Вот вам и объяснение тайны. Вы понимаете, что между рукой двенадцатилетнего мальчика и моей теперешней ручищей есть известная разница. Взгляните сами. Теперь я весь такой, как эта ручища, на которую уже не наденешь изящное колечко. Сердце-то у меня, может быть, и есть, но я должен быть справедлив к себе, синьорина: когда я смотрю на себя в зеркало сквозь эти самые очки, которые ношу из жалости к собственной особе, у меня опускаются руки и я мысленно восклицаю: «И ты еще надеешься, дорогой Адриано, что какая-нибудь женщина полюбит тебя!»

— О, какой вздор! — взорвалась синьорина Капорале.—

И вы считаете, что думать так — справедливо? Напрасно: это вопиющая несправедливость в отношении нас, женщин. Запомните, дорогой синьор Меис: женщина гораздо великодушнее мужчины и обращает внимание не только на телесную красоту, как вы.

— Скажем тогда, что женщина и храбрее мужчины: надо признать, синьорина, что, кроме великодушия, ей надо иметь изрядную дозу отваги, чтобы по-настоящему полюбить такого мужчину, как я.

— Да подите вы! Вам просто нравится говорить о себе и даже изображать себя более некрасивым, чем на самом деле.

— Это правда. И знаете почему? Чтобы не вызывать ни в ком жалости. Пожелай я хоть немного приукрасить себя, надо мной бы посмеялись: «Посмотрите-ка на этого беднягу, он надеется, что станет менее уродлив, отрастив усы». А так не будут. Я некрасив? Ну что ж, зато некрасив откровенно и ничем не желаю себя прикрасить. Что вы на это скажете?

Синьорина Капорале глубоко вздохнула и ответила:

— Скажу, что вы не правы. Если бы вы, например, отрастили себе хоть маленькую бородку, вы сразу бы поняли, что вы совсем не такое чудовище, как уверяете.

— А мой косой глаз? — спросил я.

— О боже! — воскликнула синьорина Капорале.— Раз уж вы говорите об этом так просто, я, извините, скажу вам то, что хочу сказать уже несколько дней: почему вы не рискнете на операцию, которую теперь делают запросто? Стоит только захотеть, и вы очень быстро избавитесь от этого маленького недостатка.

— Вот видите, синьорина,— закончил я спор.— Допускаю, что женщина более великодушна, чем мужчина, но позволю себе заметить, что, давая мне такие советы, вы все-таки хотите, чтобы я изменил свою наружность.

Почему я так настойчиво длил этот спор? Неужели мне действительно хотелось, чтобы учительница Капорале в присутствии Адрианы прямо сказала, что уже любила меня, даже такого бритого и косоглазого? Нет. Я говорил так много и задавал синьорине Капорале столько мелких вопросов потому, что заметил удовольствие, вероятно бессознательное, которое испытывала Адриана при победоносных ответах учительницы.

Таким образом я понял, что, несмотря на мой нелепый облик, она могла бы полюбить меня. Я не призна-

вался в этом даже самому себе, но с этого вечера постель, на которой я спал в этом доме, стала казаться мне мягче, все окружавшие меня предметы — приятнее, воздух, который я вдыхал, — свежее, небо — лазурнее, солнце — ослепительнее. Мне хотелось верить, что эта перемена объясняется еще и тем, что Маттиа Паскаль умер на мельнице в Стиа, а я, Адриано Меис, на первых порах несколько потерявшись в своей новой беспредельной свободе, обрел наконец равновесие, постиг идеал, который нарисовал себе, и сделал из себя другого человека, живущего другой жизнью, которая теперь, я это чувствовал, переполняет меня.

И моя душа, избавив яд опытности, вновь обрела веселость ранней юности. Даже синьор Ансельмо Палеари не казался мне больше таким скучным: тень, туман, дым его философии растаяли на солнце моей новой радости. Бедный синьор Ансельмо! Из двух вещей, о которых, по его словам, надо думать на земле, он незаметно для себя привык думать только об одной; но как знать — быть может, и он в лучшие дни думал о жизни. Гораздо более достойна сочувствия была учительница Капорале, даже вино не давало ей «веселья», о котором говорил тот незабвенный пьяница с улицы Борго Нуово; бедняжка хотела жить и считала невеликодушными мужчин, которые обращают внимание только на телесную красоту. Значит, в душе она чувствовала себя красивой. Кто знает, сколько и какие жертвы она бы принесла, если бы нашла «великодушного» мужчину! Может быть, она отказалась бы даже от вина.

«Если мы признаём, — думал я, — что человеку свойственно ошибаться, разве справедливость не является нечеловеческой жестокостью?»

И я обещал себе, что не буду больше жесток к синьорине Капорале. Я это обещал, но, увы, я был жесток, сам того не желая, и даже тем более жесток, чем меньше я этого хотел. Моя приветливость еще больше разжигала в ней огонь, который так легко вспыхивал. И вот что случалось: при моих словах бедная женщина бледнела, а Адриана краснела. Я не очень хорошо понимал, что говорю, но чувствовал, что, хотя мои слова, звук голоса, интонация и волнуют ту, к кому они на самом деле обращены, она не хочет разрушить тайную гармонию, которая, не знаю как, уже создавалась между нами. Душам свойственна особая способность понимать друг друга,

вступать в близкие отношения, переходить, так сказать, на «ты», в то время как мы сами еще нуждаемся в сложности обыденных слов и пребываем в рабстве у социальных условностей. У наших душ есть свои собственные потребности и устремления, на которые тело не обращает внимания, когда видит невозможность удовлетворить их и претворить в действие. И всякий раз, когда двое общаются друг с другом на молчаливом языке души, они, оставаясь наедине, ощущают мучительную растерянность и нечто вроде острого отвращения к малейшему физическому контакту. Это острое чувство отвращения, удаляющее их друг от друга, немедленно прекращается, как только появляется кто-то третий. Тогда тягостное ощущение проходит, обе души вновь окрыляются, испытывают взаимное притяжение и снова издали улыбаются друг другу.

Сколько раз я убеждался в этом на примере себя и Адрианы. Но растерянность, которую она чувствовала, казалась мне следствием ее природной сдержанности и застенчивости, тогда как мое смущение объяснялось, по-моему, угрызениями совести, потому что я был принужден непрерывно притворяться, появляясь в ином, поддельном облике перед этим чистым, наивным, нежным и робким существом.

Теперь я смотрел на нее другими глазами. Но, может быть, она в самом деле переменялась за этот месяц? Разве не озарились внутренним светом ее беглые взгляды? И разве ее улыбка не доказывала, что те усилия, которых ей стоила роль мудрой хозяйшкы и которые представлялись мне раньше несколько показными, стали для нее теперь менее тягостны?

Может быть, и она инстинктивно повиновалась моей потребности создать себе иллюзию новой жизни, какой и как — я и сам не знал. Желание неясное, как вздох души, незаметно приоткрыло для нее, равно как и для меня, окно в будущее, откуда к нам лился опьяняюще теплый свет, хотя мы не умели ни приблизиться к этому окну, ни закрыть его, ни увидеть, что же находится за ним.

Наше сладкое опьянение заражало и бедную синьорину Капорале.

— Знаете, синьорина, — сказал я ей однажды вечером, — я почти решил последовать вашему совету.

— Какому? — спросила она.

— Оперироваться у окулиста.

Синьорина радостно захлопала в ладоши:

— О, великолепно! И обязательно у доктора Амброзини. Обратитесь к Амброзини — это самый лучший врач! Он оперировал катаракту бедной моей маме. Видишь, Адриана, зеркало заговорило. Что я тебе сказала?

Адриана улыбнулась, я — тоже:

— Дело тут не в зеркале, а в необходимости, синьорина: с некоторых пор у меня побаливает глаз. Правда, он никогда не служил мне как следует, но я все же не хочу его терять.

Это была неправда. Синьорина Капорале не ошиблась: зеркало заговорило и сказало мне, что, если относительно легкая операция сотрет с моего лица эту безобразную особую приметку Маттия Паскаля, Адриано Меис может снять синие очки, отрастить себе усы и вообще по мере сил привести свою наружность в соответствие с изменившимся состоянием духа.

Несколько дней спустя меня неожиданно потрясла ночная сцена, при которой я присутствовал, спрятавшись за жалюзи одного из моих окон.

Сцена разыгралась на балконе, где я до десяти пробыл в обществе обеих женщин. Вернувшись к себе в комнату, я начал рассеянно читать «Воплощение», одну из любимых книг синьора Ансельмо. Внезапно мне почудилось, что на балконе я слышу разговор. Я прислушался — не Адриана ли это? Нет. Говорили два голоса, тихо и возбужденно. Один голос был мужской и принадлежал не Палеари. В доме было всего двое мужчин — я и он. Меня охватило любопытство, я подошел к окну и заглянул в просветы жалюзи. Мне показалось, что в темноте я различил синьорину Капорале. Но кто был мужчина, с которым она разговаривала? Может быть, неожиданно приехал из Неаполя Теренцио Папиано?

По одному слову, которое синьорина Капорале произнесла чуть громче, я понял, что говорили обо мне.

Я подошел ближе к жалюзи и прислушался еще внимательнее. Мужчина был явно раздражен сведениями, которые учительница музыки, несомненно, сообщила обо мне, и теперь она старалась сгладить впечатление, произведенное ими на него.

— Богат? — вдруг спросил он.

— Не знаю... Кажется, да. Во всяком случае, живет на свои сбережения, ничего не делая...

— Он всегда дома?

— Нет. И потом, завтра ты его увидишь.

Она сказала именно так: «Увидишь». Значит, она была с ним на «ты»; значит, Папиано (в этом не было больше никакого сомнения) — любовник синьорины Капорале... Почему же тогда она все эти дни проявляла такую благосклонность ко мне?

Мое любопытство становилось все сильнее, но они как нарочно заговорили очень тихо. Лишась возможности следить за разговором, я еще напряженнее стал всматриваться во мрак. И тут я увидел, как синьорина Капорале положила руку на плечо Папиано. Минуту спустя тот грубо оттолкнул ее.

— Но как я могла запретить? — сказала она, с глубоким отчаянием повышая голос. — Кто я такая? Что я значу в этом доме?

— Позови мне Адриану, — повелительно бросил мужчина.

Услышав имя Адрианы, произнесенное таким тоном, я сжал кулаки и почувствовал, как кровь застучала у меня в жилах.

— Она спит, — ответила синьорина Капорале.

— Поди и сейчас же разбуди ее! — мрачно и угрожающе приказал он.

Не знаю, как я сдержался и в бешенстве не распахнул жалюзи. Усилие, которое я сделал над собой, чтобы обуздать свой гнев, на мгновение привело меня в себя. С губ моих готовы были сорваться те же самые слова, которые только что с таким отчаянием произнесла несчастная женщина: «Кто я такой? Что я значу в этом доме?»

Я отошел от окна и немедленно подыскал оправдание для себя: они говорили обо мне, а мужчина хотел, кроме того, расспросить Адриану; следовательно, я вправе узнать, каковы его намерения в отношении меня. Легкость, с которой я извинил такой свой неделикатный поступок, как подслушивание и подглядывание, показала мне, что я выдвигаю на первый план собственные интересы лишь с одной целью — чтобы не сознаваться самому себе, что Адриана внушает мне сейчас еще гораздо более живой интерес.

Я снова стал смотреть через щели жалюзи.

Синьорины Капорале на балконе уже не было. Мужчина стоял один, облокотившись о перила, сжав голову руками, и смотрел на реку.

Охваченный неудержимым страхом, согнувшись и крепко охватив руками колени, я ждал, когда же появится Адриана. Длительное ожидание несколько меня не утомило, напротив, я даже постепенно приободрился, испытывая живое и все возрастающее удовлетворение: я предположил, что Адриана заперлась у себя, не желая подчиниться этому грубияну. Может быть, как раз сейчас синьорина Капорале, ломая руки, умоляет ее выйти. А этого субъекта тем временем грызет досада. Я уже надеялся, что Адриана откажется встать с постели, а учительница придет и сообщит об этом. Но нет — вот она.

Папиано двинулся ей навстречу.

— Идите спать и дайте мне поговорить с моей свояченицей, — приказал он синьорине Капорале.

Та повиновалась, и Папиано принялся закрывать ставни выходявших на балкон окон столовой.

— Зачем? — возразила Адриана, удерживая рукой ставень.

— Мне нужно побеседовать с тобой, — мрачно бросил ей зять, стараясь говорить шепотом.

— Говори так. Что ты хочешь мне сказать? — спросила Адриана. — Мог бы подождать до завтра.

— Нет, теперь! — ответил Папиано, схватив ее за руку и притягивая к себе.

— Это еще что? — воскликнула Адриана, яростно вырываясь.

Не владея больше собой, я распахнул жалюзи.

— О, синьор Меис! — воскликнула Адриана. — Подите сюда, если вам не трудно.

— Сию минуту, синьорина! — торопливо отозвался я.

Сердце мое затрепетало от радости и благодарности, и я одним прыжком очутился в коридоре. Но там, у входа в мою комнату, свернувшись клубком на сундуке, лежал тощий белокурый юноша с длинным бескровным лицом, который, с трудом открыв голубые томные глаза, удивленно глянул на меня; в изумлении я на секунду остановился, решил, что это, вероятно, брат Папиано, и выбежал на балкон.

— Позвольте, синьор Меис, представить вам моего зятя, Теренцио Папиано, только что приехавшего из Неаполя, — сказала Адриана.

— Очень рад! Просто счастлив! — воскликнул тот, снимая шляпу, низко кланяясь и горячо пожимая мне

руку.— Мне очень жаль, что меня все это время не было в Риме, но я уверен, моя маленькая свояченица позаботилась обо всем, не правда ли? Если вам чего-нибудь не хватает, скажите, не стесняйтесь! Если вам, например, нужно бюро побольше или какая-нибудь другая мебель, не церемоньтесь. Мы всегда стараемся угождать постояльцам, которые делают нам честь.

— Благодарю! — ответил я.— У меня все есть. Благодарю.

— Не стоит благодарности — это мой долг! И пожалуйста, всегда обращайтесь ко мне со всеми своими надобностями, как бы дорого они нам ни стоили... Адриана, дитя мое, ты ведь уже спала, ложись, если хочешь.

— Оставь,— сказала Адриана, грустно улыбаясь.— Уж если я поднялась...

Она подошла к перилам и уставилась на реку.

Я почувствовал, что она не хочет оставлять меня с ним наедине. Чего она боится? Она стояла, погруженная в свои мысли, а Папиано, все еще держа шляпу в руке, говорил мне о Неаполе, где ему пришлось задержаться дольше, чем он предполагал, чтобы снять копии с множества документов из частного архива ее светлости герцогини Терезы Раваскьери Фьески, герцогини-мамы, как все ее зовут. Это документы исключительной важности, которые проливают новый свет на последние годы существования Королевства обеих Сицилий и в особенности на Газтано Филанджери, князя Сатриано, которого маркиз Джильо, дон Иньяцио Джильо д'Аулетта, собирается прославить в подробной и беспристрастной биографии. Он, Папиано, служит секретарем у маркиза Джильо. Биография должна быть беспристрастной хотя бы настолько, насколько это позволяют синьору маркизу его преданность и верность Бурбонам.

Папиано никак не мог кончить. Он упивался собственным красноречием и, говоря, подкреплял свои слова всеми уловками закоренелого актера-любителя — то легким смешком, то выразительным жестом. Ошеломленный, я стоял как чурбан, время от времени утвердительно кивая головой и взглядом следя за Адрианой, которая все еще смотрела на реку.

— Ну конечно,— сказал в виде заключения Папиано, понижая голос,— маркиз Джильо д'Аулетта был сторонником Бурбонов и клерикалов! А я, я, кто... я должен

говорить об этом шепотом даже у себя дома... кто каждое утро, перед уходом, отдает честь статуе Гарибальди на Джаниколо... Вы видели ее? Отсюда прекрасно видно... Я, кто готов каждую минуту воскликнуть: «Да здравствует двадцатое сентября!» — я должен быть его секретарем! Заметьте, он достойнейший человек, но сторонник Бурбонов и клерикал. Да, синьор, хлеб!.. Клянусь вам, мне столько раз хотелось, простите, плюнуть на все! Кусок застревает в горле, душит меня... Но что я могу поделать? Хлеб! Хлеб!

Он дважды пожал плечами, воздел руки и покачал бедрами.

— Ну, ну, Адрианучча! — сказал он потом, подбегая к девушке и слегка обнимая ее за талию.— В постель! Уже поздно. Синьор, вероятно, хочет спать.

У двери в мою комнату Адриана крепко пожала мне руку, чего до сих пор никогда не делала. Оставшись один, я долго не разжимал пальцев, словно для того, чтобы сохранить прикосновение ее руки. Всю ночь напролет я размышлял, стараясь подавить в себе противоречивые чувства. Церемонное лицемерие, вкрадчивое и красноречивое низкопоклонство, злонамеренность этого человека сделали для меня нестерпимым пребывание в доме, где он — в этом я не сомневался — хотел стать тираном, воспользовавшись слабоумием своего тестя. Кто знает, к каким еще ухищрениям он может прибегнуть! Он уже показал мне одну из своих уловок, совершенно изменившись при моем появлении. Но почему он так недоволен тем, что я поселился здесь? Разве я для него не только жилец, как и любой другой на моем месте? Что ему наговорила обо мне синьорина Капорале? Неужели он всерьез ревнует ее? Или другую? Он выгнал синьорину Капорале, чтобы остаться наедине с Адрианой, с которой начал говорить очень резко. Возмущение Адрианы и то, что она не позволила ему закрыть ставни, а также волнение, в которое она приходила всякий раз, когда при ней упоминали об отсутствующем зяте,— все укрепляло во мне отвратительное подозрение, что Папиано имел на нее виды.

Хорошо, но почему это меня так волнует? Разве я не могу в конце концов уйти из этого дома, если Папиано хоть немного досадит мне? Что меня удерживает? Ничто. И все же я с нежностью и теплотой вспоминал, как Адриана позвала меня на балкон, словно желая, чтобы

я защитил ее, а прощаясь, крепко-крепко пожала мне руку...

Я оставил открытыми и жалюзи, и ставни. Прошло еще некоторое время, и луна, склоняясь к горизонту, заглянула в просвет моего окна, словно желая подстеречь меня, застать еще бодрствующим на кровати и сказать мне:

— Я поняла, дорогой, я поняла! А ты нет? Полно!

12. ГЛАЗ И ПАПИАНО

— Трагедия об Оресте в марионеточном театрике,— объявил мне синьор Ансельмо Палеари.— Марионетки автоматические — новое изобретение. Сегодня вечером в половине девятого, улица Префетти, пятьдесят четыре.

— Трагедия об Оресте?

— Да! D'après Sophocles ¹, как сказано в афише. Дают «Электру». Но послушайте-ка, мне в голову пришла странная мысль! А вдруг в кульминационный момент, когда марионетка, изображающая Ореста, уже готова отомстить за отца Эгисту и своей матери, картонное небо театрика прорвется? Скажите-ка, что тогда произойдет?

Я только пожал плечами:

— Откуда мне знать?

— Но это же ясно, синьор Меис! Такая дыра в небе привела бы Ореста в полное замешательство.

— Почему?

— А вот послушайте. Ореста еще обуревают жажда мщения, в страстном иступлении он рвется утолить ее, но в этот миг глаза его невольно устремляются на дыру, откуда на сцену прорываются какие-то враждебные веяния, и руки у него сами собой опускаются. Словом, Орест превращается в Гамлета. Поверьте мне, синьор Меис, вся разница между трагедией античной и трагедией нового времени сводится к одному — к одной дыре в картонном небе.

И он удалился, волоча ногу.

Синьор Ансельмо частенько низвергал вот так снежные лавины мыслей с заоблачных вершин своих абстракций. Откуда у него возникали такие мысли, с чем они были связаны, что его на них наталкивало,— все это

¹ По Софоклу (франц.).

было скрыто там, в облаках, и его собеседник лишь с большим трудом мог уразуметь, о чем он, собственно, говорит.

И все же образ Ореста, приведенного в замешательство дырой в небе, почему-то запечатлелся у меня в памяти. «Какие, право, счастливы эти марионетки! — вздыхал я. — Небо над их деревянными головками всегда ровное, без дыр. Ни душевного смятения, ни колебаний, ни роковых вопросов, ни мрачных мыслей, ни сожалений — ничего! Они могут быть смелыми, радостно предаваться своей игре, любить, испытывать чувство самоуважения и собственного достоинства; это небо выкроено по их мерке, оно подходящая кровля для них и для их деяний».

«А прототип такой вот марионетки, милейший синьор Ансельмо, — вилась дальше нить моих мыслей, — вы имеете у себя дома: это ваш гнусный зятек Папиано. Он вполне удовлетворен этим низеньким небом из папьемаше над своей головой, этим удобным и спокойным жилищем иконописного бога, который на все смотрит сквозь пальцы, закрывает глаза на что угодно и охотно поднимает руку в знак отпущения грехов. На любое жульничество этот самый бог отвечает лишь тем, что сонно бормочет: «Береженого бог бережет». А ваш Папиано, он-то уж себя бережет. Для него жизнь — игра, в которой важно одно — словчить. И с каким наслаждением впутывается в любую интригу проворный, предприимчивый болтун!»

Папиано было лет сорок; он отличался хорошим ростом и крепким сложением; лоб у него уже начал лысеть; густые усы с проседью топорщились прямо под самым носом основательных размеров с вечно трепетавшими ноздрями; глаза были серые, остренькие и такие же беспокойные, как руки. Он все видел и все ошупывал. Разговаривает, например, со мною и, уж не знаю каким образом, замечает, что за его спиной Адриана что-то изо всех сил чистит или убирает в комнате. И вот он уже усердствует:

— Pardon! ¹ — Бежит к ней, выхватывает у нее из рук то, над чем она трудилась. — Нет, девочка, погляди: надо вот так!

Сам чистит заново, сам ставит на место и возвращается ко мне.

¹ Простите (*франц.*).

Иногда, внезапно заметив, что брат его, страдавший эпилептическими судорогами, начинает «чудить», он подбегал к нему и принимался хлопать его ладонью по щекам и щелкать по носу:

— Шипионе! Шипионе!

Или дул ему в лицо, пока тот не приходил в себя.

Как бы все это развлекало меня, если бы не мое прошлое!

Папиано с первых же дней, видимо, догадался, что у меня не все ладно — во всяком случае, он что-то учуял. Он начал правильную осаду, осторожно ходя вокруг да около, то и дело закидывая удочку в надежде, что я проболтаюсь. Мне казалось, что каждое его слово, каждый его вопрос, даже самый невинный, таит в себе подвох. Впрочем, я старался не выказывать ему недоверия, чтобы не усиливать его подозрений. Но меня до того бесили его повадки льстивого инквизитора, что я так и не научился достаточно хорошо скрывать свое раздражение.

Раздражали меня и еще два обстоятельства — внутренних, потаенных. Во-первых, то, что я, не совершив ничего дурного, не причинив никому зла, вынужден был в отношениях с любым другим человеком вести себя осторожно, с оглядкой, словно я потерял право на то, чтобы меня оставили в покое. Что касается второго обстоятельства, то в нем мне самому не хотелось отдавать себе отчет, и от этого я в глубине души еще больше раздражался. Сколько я себе ни твердил: «Болван, да плюнь ты на это, встряхнись!» — я не мог ни плюнуть, ни встряхнуться.

Борьба, которую я вел с самим собой, чтобы не осознать своего чувства к Адриане, не давала мне поразмыслить над теми последствиями, какие могло иметь для этого чувства мое в высшей степени ненормальное положение в жизни. И вот я топтался на месте, озабоченный, нестерпимо недовольный собой, в беспрестанном внутреннем возбуждении, но с безмятежной улыбкой на лице.

То, что я подслушал в первый вечер из-за спущенных жалюзи, еще не проявилось открыто. По-видимому, неблагоприятное впечатление, которое составилось обо мне у Папиано после разговора с синьориной Капорале, внезапно рассеялось при нашем знакомстве. Он, правда, донимал меня, но, вероятно, просто по привычке и, во всяком случае, без тайного намерения выжить меня из

дому. Напротив! Что же он замышлял? Синьорина Сильвия Капорале обращалась к Папиано на «вы», по крайней мере в присутствии других, этот же архинахал совершенно открыто говорил ей «ты». Он доходил до того, что называл ее Рея Сильвия. Я не знал, как понимать такое его бесцеремонное и в то же время шутовское поведение. Правда, несчастная вела настолько беспорядочную жизнь, что особого уважения не заслуживала, но она не заслуживала и подобного обращения со стороны человека, не состоявшего с ней ни в родстве, ни в свойстве.

Как-то вечером (стояла полная луна, и на улице было светло почти как днем) я увидел ее из своего окна: одинокая, грустная, стояла она на балконе, где мы собирались теперь редко и без того удовольствия, что прежде, так как к нам немедленно присоединялся Папиано, никому не дававший вымолвить слова. Движимый любопытством, я решил подойти к ней и, так сказать, захватить ее врасплох.

В коридоре, у своей двери, я, как всегда, обнаружил брата Папиано, свернувшегося на сундуке в том же положении, в каком я увидел его в первый раз. Было ли это его постоянным местопребыванием, или он наблюдал за мной по приказу брата?

На балконе синьорина Капорале плакала. Сперва она не захотела мне ничего сказать, только жаловалась на нестерпимую головную боль. Потом, словно приняв внезапное решение, она обернулась, посмотрела мне прямо в лицо, положила руку на плечо и спросила:

— Вы мне друг?

— Если вы согласны оказать мне эту честь... — с поклоном ответил я.

— Благодарю. Только, ради Бога, не говорите мне пустых любезностей. Если бы вы только знали, как я нуждаюсь в друге, в настоящем друге, и именно в данную минуту! Вы должны это понять — ведь вы, как и я, один на свете... Но вы — мужчина. Если бы вы только знали, если бы вы знали...

Чтобы не плакать, она закусила носовой платок, который держала в руке, но это не помогло, и она несколько раз яростно дернула его.

— Баба, уродина, старуха! — вскричала она. — Три непоправимые беды! Зачем мне жить?

Мне стало жаль ее:

— Успокойтесь. Зачем вы так говорите, синьорина?

Ничего лучшего я не придумал.

— Потому что...— вырвалось у нее, но она тут же замолчала.

— Но в чем же дело? — уговаривал ее я.— Если вам нужен друг...

Она поднесла изорванный носовой платок к глазам.

— Больше всего мне нужно умереть! — простонала она с таким глубоким отчаянием, что я почувствовал, как к горлу моему подкатывает клубок.

Никогда в жизни я не забуду ни скорбной складки ее жалких, увядших губ, когда она произносила эти слова, ни дрожи подбородка, на котором курчавилось несколько черных волосков.

— Но меня не берет даже смерть,— продолжала она.— Ничего... Извините, синьор Меис! Чем вы мне можете помочь? Ничем. Самое большее — словами... Да лишь капелькой сочувствия! Я сирота, мне не на что рассчитывать, и пусть со мной обращаются как... Вы, наверно, сами заметили — как. А ведь они не имеют на это никакого права! Они ведь мне не милостыню подают...

И тут синьорина Капорале заговорила со мной о шести тысячах лир, которыми, как я уже упоминал, поживился Папиано.

Как ни сочувствовал я горестям несчастной женщины, мне хотелось разузнать у нее нечто совсем другое. Воспользовавшись (признаюсь в этом) возбужденным состоянием, в котором она находилась,— вероятно, еще и потому, что пропустила лишний стаканчик,— я решился спросить:

— Но, простите меня, синьорина, почему вы дали ему эти деньги?

— Почему? — сжала она кулаки.— Две подлости, одна чернее другой! Я дала деньги, чтобы доказать ему, что отлично соображаю, чего он от меня хочет. Вы поняли? Жена его еще была жива, а этот субъект...

— Понимаю.

— Вы только представьте себе! — всхлипнула она.— Бедная Рита...

— Его жена?

— Да. Рита, сестра Адрианы... Она два года болела, все время была между жизнью и смертью. Подумайте, могла ли я... Но ведь все знают, как я себя вела. Адриана тоже знает и потому хорошо относится ко мне. Она-то ко

мне добра, бедняжка. Но с чем я сейчас осталась? Поверьте, из-за него мне пришлось расстаться даже с роялем, который был для меня всем, понимаете, всем. Не только из-за моей профессии: я беседовала с ним. Еще девочкой, в музыкальной школе, я сочиняла, сочиняла и потом, по окончании ее, а затем бросила. Но пока у меня был рояль, я все же импровизировала, просто так, для себя. Давала выход своим чувствам, опьянялась музыкой до того, что порой — поверьте мне — без сознания падала на пол. Сама не могу сказать, что вырывалось из моей души: я сливалась с инструментом в одно существо, и не пальцы мои бежали по клавишам, а душа кричала и плакала. Скажу только одно: как-то вечером (мы с мамой жили в мезонине) внизу, на улице, собрался народ, и под конец мне долго аплодировали. Мне даже стало немножко страшно.

— Извините меня, синьорина,— начал я, чтобы хоть немного утешить ее,— а разве нельзя взять рояль напрокат? Мне доставило бы такое удовольствие слушать вашу игру; и если вы...

— Нет,— перебила она,— что я теперь могла бы играть? С этим для меня покончено. Бренчу всякие пошлые песенки. Довольно. С этим покончено.

— Но синьор Теренцио Папиано, наверно, обещал вернуть вам деньги? — рискнул я снова спросить.

— Он? — внезапно с гневной дрожью вырвалось у синьорины Капорале.— А кто его об этом просит? Да, конечно, он обещал, если я ему помогу... Вот так! Он хочет, чтобы я, именно я, помогла ему. Он имел наглость самым спокойным образом предложить мне это.

— Помочь ему? В чем же?

— В новой подлости! Вы меня понимаете? Я вижу, что поняли...

— Адри... Синьорина Адриана? — пробормотал я, запинаясь.

— Вот именно. Я должна уговорить ее. Я, понимаете?

— Выйти за него?

— Разумеется. Знаете зачем? У него есть, или, вернее, должно быть, тысяч четырнадцать — пятнадцать лир приданого его несчастной жены, которые он обязан был сразу же возвратить синьору Ансельмо, поскольку Рита умерла бездетной. Не знаю уж, какое он там учинил жульничество. Во всяком случае, он попросил отсрочки на год. А теперь рассчитывает... Тсс! Адриана!

Адриана подошла к нам, еще более замкнутая и застенчивая, чем обычно, обняла за талию синьорину Капорале и слегка кивнула мне. После всех выслушанных мною признаний меня обуревало негодование при одной мысли о том, что она почти рабски подчиняется тирании этого мошенника. Вскоре на балконе, словно тень, появился братец Папиано.

— Вот и он,— шепнула синьорина Капорале Адриане.

Та опустила глаза, горько улыбнулась, покачала головой и ушла с балкона, бросив мне на прощание:

— Извините, синьор Меис, доброй ночи.

— Шпион,— шепнула мне, подмигнув, синьорина Капорале.

— Но скажите, чего боится синьорина Адриана? — вырвалось у меня от накипавшего раздражения.— Неужели она не понимает, что, поступая таким образом, дает ему лишний повод наглеть и тиранствовать еще больше? Слушайте, синьорина, должен вам признаться, что я крайне завидую всем, кто умеет любить жизнь и наслаждаться ею. Я восхищаюсь ими. Если уж выбирать между тем, кто примиряется с рабским положением, и тем, кто даже самым беззастенчивым образом стремится быть господином, то я предпочитаю второго.

Синьорина Капорале заметила мое возбуждение и спросила, словно бросив мне вызов:

— Так почему же вы сами не пытаетесь возмутиться?

— Я?

— Да, да, вы,— подтвердила она, с подстрекательским видом глядя мне прямо в глаза.

— Но я-то тут при чем? — возразил я.— Я могу проявить свое возмущение только одним способом — уехать.

— Ну так вот,— лукаво заявила синьорина Капорале,— может быть, именно этого Адриана и не желает.

— Не желает, чтобы я уезжал?

Она повертела в воздухе разорванным носовым платком, затем обкрутила его вокруг пальца и вздохнула:

— Почем знать?

Я пожал плечами.

— Пора ужинать! — воскликнул я и удалился, оставив музыкантшу одну на балконе.

Для начала в тот же самый вечер я, проходя по коридору, остановился у сундука, где опять свернулся клубочком Шипионе Папиано.

— Простите,— обратился я к нему,— не найдете ли вы другого места, где вам будет поудобнее? Здесь вы мне мешаете.

Он тупо глянул на меня сонными глазами, но даже не шевельнулся.

— Вы поняли меня? — возвысил я голос, тряся его за плечо. С таким же успехом можно было обращаться к стене! Но тут дверь в конце коридора открылась, и на пороге появилась Адриана.

— Прошу вас, синьорина,— обратился я к ней,— попробуйте вы втолковать этому бедняге, что ему следовало бы расположиться где-нибудь в другом месте.

— Он ведь больной,— вступилась Адриана.

— Вот именно, больной! — не сдался я.— Здесь ему плохо: мало воздуха... Да и лежать на сундуке... Может быть, мне поговорить с его братом?

— Нет, нет! — поспешно возразила она.— Я сама скажу, не беспокойтесь.

— Он поймет! — добавил я.— Я ведь еще не король, чтобы у моей двери все время находился часовой.

С этого вечера я перестал держать себя в узде и начал откровенное наступление на застенчивость Адрианы, закрыв на все глаза и без дальнейших размышлений предавшись своему чувству!

Бедная милая девочка! С самого начала она словно колебалась между страхом и надеждой. Довериться надежде она не решалась, догадываясь, что меня подхлестывает раздражение. Но я, со своей стороны, понимал, что страх в ней порождается именно скрытой до последнего времени и почти подсознательной надеждой на то, что она меня не потеряет. И так как я своим решительным поведением давал теперь пищу этой надежде, девушка не могла больше безраздельно поддаваться страху.

Эти колебания и благородная сдержанность, в которых проявлялась ее душевная деликатность, не давали мне остаться наедине с самим собой и вынуждали меня все глубже втягиваться в скрытое пока что соперничество с Папиано.

Я ожидал, что он сразу же примет вызов, отбросив обычную любезность и церемонность. Однако этого не случилось. Он убрал своего брата с его наблюдательного пункта на сундуке, как я требовал, и даже принялся подшучивать над смущением и застенчивостью, которые неволью выказывала в моем присутствии Адриана.

— Вы уж не взыщите с моей маленькой свояченицы, синьор Меис, она у нас застенчивая, словно монашка.

Такая неожиданная уступчивость и развязность заставили меня призадуматься: что он замышляет?

Однажды вечером он явился домой с каким-то субъектом, который вошел, громко стуча палкой по плитам пола; этот человек был обут в тряпичные туфли, заглушавшие топот ног, и стучал палкой, видимо, для того, чтобы слышно было, как он шагает.

— А где же мой любезный родственник? — закричал он с резким туринским акцентом, не снимая шапочки с приподнятыми полями, надвинутой на самые глаза, затуманенные вином, и не вынимая изо рта трубки, которой он словно подпаливал себе нос, еще более красный, чем нос синьорины Капорале.— А где же мой любезный родственник?

— Вот он,— сказал Папиано, указывая на меня. Затем он обратился ко мне: — Синьор Адриано, вас ждет приятный сюрприз: это синьор Франческо Меис из Турина, ваш родственник.

— Мой родственник? — изумленно вскричал я.

Субъект закрыл глаза, поднял, словно медведь, свою лапу и некоторое время держал ее на весу в ожидании рукопожатия.

Я, не принимая руки, оглядел его с головы до ног и наконец спросил:

— Что это за комедия?

— Простите, почему же комедия? — отозвался Теренцио Папиано.— Синьор Франческо Меис уверил меня, что он ваш...

— Кузен,— подтвердил субъект, не открывая глаз.— Все Меисы в родстве друг с другом.

— Но я даже не имею удовольствия знать вас,— возразил я.

— В том-то все и дело! — вскричал субъект.— Потому я и зашел с тобой повидаться.

— Меис? Из Турина? — переспросил я, делая вид, что припоминаю.— Но я же не из Турина!

— Как так? — вмешался Папиано.— Простите, разве вы не говорили мне, что до десятилетнего возраста жили в Турине.

— Ну да! — подхватил субъект, раздраженный тем, что кто-то взял под сомнение нечто для него вполне достоверное.— Вот этот господин... Как ваше имя?

— Теренцио Папиано. К вашим услугам.

— Теренциано. Он мне сказал, что твой отец уехал в Америку. А что из этого следует? А то, что ты сын дядюшки Антонио, уехавшего в Америку. И мы с тобой кузены.

— Но ведь моего отца звали Паоло...

— Нет, Антонио.

— Паоло! Паоло! Мне-то лучше знать.

Субъект пожал плечами и скривил рот.

— Мне помнилось — Антонио,— произнес он, поскребывая подбородок, поросший седоватой щетиной по меньшей мере четырехдневной давности.— Не стоит спорить: пусть будет Паоло. Я тоже мог запомнить — я ведь не знал его.

Бедняга! Он наверняка лучше меня знал, как звали его дядю, уехавшего в Америку, но тем не менее уступил, так как во что бы то ни стало желал быть моим родственником. Он сообщил мне, что его отец, которого тоже звали Франческо и у которого был брат Антонио, то бишь Паоло, мой отец, уехал из Турина, когда сыну было всего семь лет. Сам он, человек бедный и служащий, всегда жил отдельно от семьи — то тут, то там. Поэтому он очень мало знал о родичах как с отцовской, так и с материнской стороны, но тем не менее был совершенно убежден в том, что мы с ним двоюродные братья.

Но дедушку-то, дедушку он по крайней мере знал?

Я спросил его насчет дедушки. Оказывается — знал, но в точности не помнит, где это было: то ли в Павии, то ли в Пьяченце.

— Ах так? Знали? Какой же он был?

— Он был... Да нет, по чести скажу, не упомяну. Прошло-то ведь лет тридцать...

По-видимому, говорил он вполне чистосердечно. Похоже было, что это просто неудачник, утопивший душу в вине, чтобы не слишком ощущать бремя тоски и нищеты. Не открывая глаз, он кивал головой в ответ на все, что я ни говорил, только бы мне не перечить. Уверен: скажи я ему, что ребятишками мы росли вместе и я не раз вцеплялся ему в волосы, он точно так же согласился бы. Мне не разрешалось выражать сомнение лишь в одном — в том, что мы двоюродные братья. Тут уж он не шел ни на какие уступки: это твердо установлено, он на этом стоит, и конец.

Однако наступил момент, когда я взглянул на

Папиано, увидел его ликование, и у меня пропала охота шутить. Я отпустил этого полупьяного беднягу, именуя его «дорогим родственником», посмотрел Папиано в глаза, чтобы он сразу понял, что я — орешек не по его зубам, и спросил:

— А теперь вы мне скажете, где вы откопали этого чудака.

— Тысяча извинений, синьор Адриано,— рассыпался в любезностях этот мошенник, которому я, во всяком случае, не могу отказать в изобретательности.— Я вижу, что мне не повезло...

— Но вам же всегда необыкновенно везет! — воскликнул я.

— Я имею в виду лишь то, что не доставил вам удовольствия. Прошу вас верить, что это простая случайность. Вот как все получилось. Нынче утром по поручению маркиза, моего принципала, мне пришлось пойти в налоговое управление. Занимаюсь своим делом и вдруг слышу — кто-то громко зовет: «Синьор Меис, синьор Меис!» Я живо обернулся, подумав, что и вы зашли сюда по какому-нибудь делу и вам, может быть, понадобится моя помощь. Я же всегда к вашим услугам. Но ничего подобного: звали этого чудака, как вы правильно выразились. Ну вот, я взял, подошел к нему, просто так, из любопытства, и спросил, действительно ли его зовут Меис и откуда он родом, так как я имею честь и удовольствие сдавать комнату некоему синьору Меису... Вот как все получилось! Он уверил меня, что вы, наверное, его родич, и напросился пойти со мной, чтобы увидеть вас.

— Это было в налоговом управлении?

— Точно так. Он служит там помощником инспектора.

Можно ли было ему верить? Я решил в этом убедиться, и все подтвердилось. Но верно было и другое: в то время как я действовал напрямик, препятствуя тайным интригам, которые Папиано плел против меня в настоящем, он все время ускользал от меня и тайно рылся в моем прошлом, готовя мне удар в спину. Хорошо его зная, я имел все основания опасаться, что при его чутье он окажется такой ищейкой, которой не придется долго водить носом по ветру. Горе мне, если этот пес нападет хоть на малейший след: он уж наверняка приведет его к мельнице в Стиа.

Так вот, легко вообразить себе мой ужас, когда через

несколько дней я читал у себя в комнате и вдруг из коридора, как с того света, до меня донесся голос, голос еще живой в моей памяти.

Испанец? Мой маленький бородатый и коренастый испанец из Монте-Карло? Который хотел играть со мной и с которым я поссорился в Ницце? Ах, черт возьми. Вот он, след! Папиано удалось-таки на него напасть!

Растерявшись от неожиданности и страха, я вскочил и, чтобы не упасть, ухватился за столик. Ошеломленный, охваченный ужасом, я прислушался, и у меня мелькнула мысль спастись бегством, пока эти двое, Папиано и испанец (вне всякого сомнения, это был он: я буквально увидел его, услышав голос), еще не дошли до конца коридора. Бежать? А что, если Папиано, войдя, спросит у служанки, дома ли я? Что он подумает, узнав о моем бегстве? Но, с другой стороны, он, может быть, уже знает, что я не Адриано Меис? Спокойнее! Что известно обо мне испанцу? Он видел меня в Монте-Карло. Но сказал ли я ему тогда, что меня зовут Маттиа Паскаль? Может быть... Я не помнил.

Сам не знаю как, я очутился перед зеркалом, словно кто-то подвел меня к нему за руку. Всмотрелся в свое отражение. Проклятый глаз! Из-за него-то меня, пожалуй, и можно узнать. Но каким, каким образом Папиано докопался до моего приключения в Монте-Карло? Это удивляло меня больше всего. Что же теперь делать? Да ничего. Ждать, пока произойдет то, что должно произойти.

Но ничего не произошло. И тем не менее в тот день страх мой не прошел. Он не прошел даже вечером, когда Папиано, объяснив мне неразрешимую и страшную для меня тайну этого посещения, доказал, что он вовсе не напал на след моего прошлого и что только случай, чьей милостью я воспользовался в свое время, пожелал оказать мне еще одну милость, поставив на моем пути того самого испанца, который, может быть, и не помнил обо мне ровно ничего.

Судя по тому, что я узнал о нем от Папиано, выходило, что я неизбежно должен был встретить его в Монте-Карло, поскольку он профессиональный игрок. Странно было только, что я встретил его в Риме или, вернее, что, обосновавшись в Риме, я попал в дом, куда имел доступ и он. Разумеется, если бы мне нечего было бояться, случай этот не показался бы мне столь

странным. И правда — разве так редко приходится нам неожиданно сталкиваться с человеком, с которым мы случайно познакомились где-то в другом месте? Впрочем, он имел, или воображал, что имеет, весьма основательные причины для приезда в Рим и появления в доме Папиано. В страхах же своих виноват был лишь я сам или, точнее, то, что я сбрил бороду и переименовал имя.

Лет двадцать назад маркиз Джильо д'Аулетта, у которого секретарствовал Папиано, выдал свою единственную дочь за дона Антонио Пантогаду, атташе испанского посольства при святом престоле. Ескоре после свадьбы Пантогада вместе с другими представителями римской аристократии был однажды ночью задержан в игорном притоне и отозван в Мадрид. Там он продолжал в том же духе, а может быть, натворил и кое-что похуже, почему и был вынужден отказаться от дипломатической карьеры. С той поры маркиз д'Аулетта уже не знал покоя: ему приходилось без конца посылать деньги для оплаты карточных долгов неисправимого зятя. Четыре года тому назад жена Пантогады скончалась, оставив шестнадцатилетнюю дочь, которую маркиз решил взять к себе, слишком хорошо зная, в каких руках она окажется в противном случае. Пантогада сперва не соглашался отпустить дочь, но затем нужда в деньгах вынудила его уступить. Зато он без конца угрожал тестю, что отберет у него свою дочь, и именно в этот день явился в Рим с намерением вытянуть у бедного маркиза еще денег, отлично зная, что тот никогда не отдаст ему любимую внучку.

Папиано самыми пламенными словами бичевал гнусного вымогателя Пантогаду. И его благородный гнев был вполне искренен. Пока он разглагольствовал, я невольно восхищался необыкновенной изворотливостью его совести, которая позволяла ему самым неподдельным образом возмущаться гнусностью других людей и преспокойно делать то же или почти то же самое в ущерб такому доброму человеку, как его тесть Палеари.

Однако на этот раз маркиз Джильо проявил твердость. Поэтому Пантогада на некоторое время задержался в Риме и неизбежно должен был появиться у Теренцио Папиано; они, наверно, превосходно понимали друг друга. Таким образом, встреча между мной и этим испанцем в любой момент могла оказаться неотвратимой. Что же было делать?

Не имея возможности посоветоваться с кем бы то ни

было, я снова посоветовался с зеркалом. На глади его, словно из туманного водоема, всплыл передо мной образ покойного Маттиа Паскаля с его косым глазом — единственным, что у меня от него осталось. И покойник сказал мне так:

— В какое некрасивое дело впутался ты, Адриано Меис! Признайся, ты ведь боишься Папиано, а вину хочешь свалить на меня, опять на меня, только потому, что в Ницце я повздорил с этим испанцем. А ведь ты знаешь, что я был прав. Ты воображаешь, что сейчас тебе нужно одно — смыть с лица единственное напоминание обо мне? Что ж, последуй совету синьорины Капорале и обратись к доктору Амброзини, чтобы он водворил твой глаз на место. А потом поживешь — увидишь!

13. ФОНАРИК

Сорок дней в темноте.

Операция удалась, отлично удалась. Только, наверно, один глаз у меня будет чуточку больше другого. Терпение! А пока придется провести сорок дней в темноте, у себя в комнате.

Я смог на собственном опыте убедиться, что, когда человек страдает, у него возникает совсем особое представление о добре и зле. Другие должны делать ему добро, он на это претендует, словно страдания дают ему право требовать возмещения; если же он причиняет зло другим, то ему надо прощать, словно из-за своих страданий он приобрел право и на это. И он обвиняет других, если они, нарушая свой долг, не делают ему добра, и легко оправдывает себя за зло, которое по праву больного причиняет другим.

После нескольких дней заключения во мраке слепоты потребность хоть в каком-то утешении довела меня до полной ожесточенности. Я отлично понимал, что нахожусь в чужом доме и потому должен быть только благодарен своим хозяевам за внимание и заботу, которые они ко мне проявляют. Но их заботы уже не могли меня удовлетворить. Они даже раздражали меня, словно все делалось мне назло. Да, именно так. Я ведь догадывался, от кого они исходят. Ими Адриана доказывала мне, что мысленно она почти весь день со мной, в моей комнате.

Благодарю покорно за такое утешение! Какой в нем

был для меня смысл, если я-то мыслью неотступно и смятенно следовал за ней по всему дому? Только она могла ободрить меня и должна была это делать — ведь она больше других способна понять, до какой степени терзает меня скука и грызет желание видеть ее или хотя бы ощущать ее близость.

К душевному смятению и тоске прибавилась еще ярость, в которую привело меня известие о том, что Пантогада внезапно уехал из Рима. Разве стал бы я на целых сорок дней прятаться в полный мрак, если бы знал, что он так скоро уедет?

Чтобы утешить меня, Ансельмо Палеари решил доказать мне обстоятельными рассуждениями, что мрак этот — воображаемый.

— Воображаемый? Слепота — воображение? — крикнул я.

— Минуточку терпения. Я сейчас все объясню...

И он стал развивать (может быть, с целью подготовить меня к спиритическим опытам, которые на этот раз для моего развлечения поставлены были бы в моей комнате) целую весьма искусственную философскую концепцию, которой можно было бы дать наименование «фонарикософии».

Время от времени добряк останавливался и спрашивал:

— Вы не спите, синьор Меис?

Меня так и подмывало ответить:

— Благодарю вас, синьор Ансельмо, сплю.

Но так как намерение у него было, в сущности, самое благое — не оставлять меня в одиночестве, я отвечал ему, что крайне заинтересован и прошу продолжать.

И синьор Ансельмо продолжал, доказывая мне, что, на нашу беду, мы не устроены так, как дерево, которое живет, не осознавая себя, и которому вовсе не кажется, будто земля, солнце, воздух, дождь, ветер — это вещи либо дружественные, либо враждебные ему, чем на самом деле они отнюдь не являются. Нам же, людям, от природы дано печальное преимущество: мы сознаем, что живем. И это порождает в нас иллюзию: мы принимаем за некую находящуюся вне нас реальность свое внутреннее чувство жизни, изменчивое и разнообразное в зависимости от времени, обстоятельств и случая.

Для синьора Ансельмо это чувство жизни уподоблялось некоему фонарику; находящемуся внутри каждого

из нас. Фонарик этот показывает нам, что является для нас добром, а что злом. Он отбрасывает вокруг нас более или менее широкое кольцо света, а за пределами этого кольца царит непроглядная тьма, внушающая нам страх. Она не существовала бы, не будь в нас зажжен фонарик, но, пока он в нас горит, нам приходится считать ее реальностью. В конце концов фонарик погаснет от одного дуновения, наш суетный воображаемый день кончится, и нас примет вечная ночь. А может быть, мы просто окажемся во власти некоего Существа, которое только развеяло суетные образы, порожденные нашим разумом?

— Вы не спите, синьор Меис?

— Продолжайте, продолжайте, синьор Ансельмо, я не сплю. Мне кажется, я вижу его — этот ваш фонарик.

— Вот и хорошо... Но поскольку глаз ваш еще не зажил, мы не станем углубляться в философию, не так ли? Лучше попытаемся проследить за нашими фонариками, этими блуждающими огоньками во мраке людского бытия. Прежде всего я сказал бы, что они бывают разных цветов — как по-вашему? — в зависимости от стекол, которые поставляет нам наша иллюзия, великая продавщица цветного стекла. Мне, например, кажется, синьор Меис, что в те или иные исторические эпохи, равно как в те или иные периоды человеческой жизни, можно заметить преобладание того или иного цвета. Не так ли? Ведь в каждую эпоху у людей обычно наблюдается известная согласованность чувств, которая дает и свет, и окраску фонарикам, представляющим собой абстрактные понятия: истину, добродетель, красоту, честь и так далее... Не находите ли вы, что, скажем, фонарик языческой добродетели — красный? А фонарик добродетели христианской лилового, мрачноватого цвета? Свет всякой общей идеи питается коллективным чувством. Если чувство это перестает быть единым, фонарь отвлеченного понятия по-прежнему стоит на месте, но пламя идеи в нем начинает потрескивать, колебаться, гудеть, как это обычно и бывает во все так называемые переходные периоды. В истории, кроме того, нередки и бурные ветры, которые сразу задувают все фонари. Какая прелесть! Внезапный мрак — и в нем неопишуемая сумятица отдельных фонариков: один устремляется сюда, другой туда, тот возвращается назад, этот описывает круги, и ни один не находит своей дороги. Они сталкиваются, объединяются на мгновение группами по десять, по двадцать

огоньков, но не могут согласовать свои движения и опять разбегаются в полном смятении, тревоге и ярости, словно муравьи, которые никак не могут найти вход в муравейник, засыпанный жестоким ребенком. Мне кажется, синьор Адриано, что сейчас мы переживаем именно один из таких моментов. Мрак и смятение! Все большие светильники погасли. Куда нам податься? Может быть, назад, к еще уцелевшим фонарям, к тем, которые горят на могилах великих покойников? Мне вспоминаются замечательные стихи Никколо Томмазо:

Мой маленький светильник
И ярко не пылает,
И густо не дымит,
Не жжет он, не трещит,
Но к небу поднимает
Спокойный пламень свой.

Умру — он на могиле
Горит неугасимо;
Но от него все те,
Кто ночью в темноте
Бредут на ощупь мимо,
Зажгут огонь живой.

Но что делать, синьор Меис, когда в нашей лампе нет того священного еля, которым питается светильник поэта? Многие до сих пор еще ходят в церковь, чтобы заправлять маслом свои фонарики. Это по большей части несчастные старики, несчастные женщины, которых обманула жизнь и которые прокладывают себе путь во мраке нашего бытия, охваченные чувством, горящим словно лампада у образа. Они дрожат над этим огоньком, заботливо защищают его от ледяного дыхания губительных разочарований, только бы он горел до конца, до рокового часа, который уже близок. И вот они торопятся, не отрывая взгляда от пламени и беспрестанно повторяя про себя: «Бог меня видит!», чтобы только не слышать громких призывов окружающей их жизни, звучащих для них богохульством. «Бог меня видит...» — так говорят они, потому что сами видят его, и не только внутри себя, но во всем, даже в своей нищете, в своих муках, за которые они в конце пути получают воздаяние. Тусклый, но ровный свет этих светильничков у многих из нас вызывает тревожную зависть. Напротив, другие, считающие, что они, словно Юпитеры-громовержцы, вооружены молнией, которую

приручила наука, и торжественно выставляющие напоказ мощные электрические лампы, с презрением смотрят на эти церковные лампы. Но вот я спрашиваю себя, синьор Меис: а что, если весь этот мрак, вся эта великая тайна, которую с древних времен на все лады тщетно обсуждали философы, не отрицая, впрочем, ее, и которой перестала заниматься современная наука,— что, если она, в сущности, просто обман воображения, одно из заблуждений нашего разума, плоская, бесцветная фантазия? А что, если мы в конце концов убедим себя в том, что этой тайны вне нас просто нет, что она неизбежно существует лишь внутри нас именно из-за этого нашего пресловутого преимущества — сознания, что мы живем, то есть наличия у нас фонарика, о котором я говорил? Словом, что, если смерти, вызывающей у нас такой страх, нет; что, если она вовсе не прекращение жизни, а только порыв ветра, гасящий этот наш фонарик — злосчастное сознание жизни, сознание мучительное, боязливое, ибо оно ограничено, замкнуто со всех сторон кольцом мнимого мрака, сгущающегося за пределами того ничтожного пространства, которое озаряем мы, жалкие блуждающие светлячки? Ведь наша жизнь заключена в этом тесном пространстве, словно в тюрьме, она как бы отрешена на некоторое время от мировой жизни, вечной жизни, с которой мы, видимо, должны когда-нибудь слиться, чтобы пребывать в ней постоянно, но уже без чувства отрешенности и страха. Но пределы этого пространства — воображаемые, они определяются нашим слабым светом, нашей личностью, в действительности же в настоящей природе таких пределов нет. Мы — не знаю, согласитесь вы со мной или нет,— всегда жили и будем жить вместе со всем миром. И сейчас, в данном нашем облике, мы участвуем во всех движениях мира, но не знаем и не замечаем этого, потому что, к сожалению, наш проклятый унылый светильничек дает нам возможность увидеть ровно столько, сколько он в состоянии озарить. И если бы он еще показывал это немногое в настоящем виде! Ничего подобного: он все окрашивает по-своему и чего только не являет нашим глазам! Черт возьми, тут и впрямь пожалеешь, что в другой форме бытия у нас не будет рта и мы не сможем хохотенько над этим посмеяться! Да, синьор Меис, посмеяться над всеми суетными, глупыми огорчениями,

которыми наградит нас фонарик, над мраком, окружавшим нас, над страхом, мучившим нас, над нелепыми призраками, возникавшими впереди и позади нас по его вине!

Но почему же синьор Ансельмо Палеари, который с полным основанием бранил этот фонарик, зажженный в каждом из нас, так хотел зажечь в моей комнате другой фонарик, с красными стеклами, для своих спиритических опытов? Не достаточно ли одного, нашего собственного?

Я задал ему этот вопрос.

— В качестве корректива! — ответил он. — Один фонарик в противовес другому. К тому же в определенный момент второй, материальный фонарик гаснет.

— И, по-вашему, это самый верный способ что-нибудь увидеть? — нерешительно заметил я.

— Но, простите, — живо возразил синьор Ансельмо, — так называемый свет служит только для того, чтобы мы правильно видели вещи здесь, в нашей так называемой жизни. Видеть же за ее пределами свет, поверьте мне, совершенно не помогает, скорее препятствует. Все это глупейшие претензии кое-каких ученых с жалкой душонкой и еще более жалким умишком, которые ради своего удобства хотят убедить публику, что подобные опыты — оскорбление науки и природы. Ничего подобного! Мы стремимся открыть в природе законы, иные силы, иную жизнь, да, черт побери, в той же природе, только за пределами нашего ничтожного обычного опыта. Мы хотим преодолеть узость восприятий, которые получаем обычно от своих ограниченных чувств. Но, простите, разве сами эти ученые не создают определенной обстановки и условий для того, чтобы их опыты удались? Достаточно вспомнить камеру-обскуру в фотографии! Чего же еще? И, кроме того, существует столько способов проверить себя!

Однако, как я убедился в последующие вечера, синьор Ансельмо никаких способов не применял. Но ведь речь шла об опытах в домашнем кругу! Мог ли он заподозрить синьорину Капорале и Папиано в том, что они морочат его? С какой стати? Зачем? Он и без этих опытов неколебимо верил в спиритизм. Предположение же, что его могут морочить с другими целями, и в голову бы не пришло такому добрейшему человеку, как он. А что касается ребячески жалкой ничтожности результатов, то сама теософия находила для нее убедительнейшее объяс-

нение. Высшие существа ментального или еще более высокого плана не опускаются до общения с нами через медиума; таким образом, приходится довольствоваться грубоватыми опытами с вызыванием душ покойников низшего разряда, астрального плана, наиболее близкого к нам. Вот так.

Что можно было ему возразить? ¹

Я знал, что Адриана неизменно отказывалась участвовать в опытах. С тех пор как я заперся в полной темноте у себя в комнате, она заходила ко мне очень редко, всегда не одна и лишь для того, чтобы осведомиться о моем самочувствии. Каждый раз она задавала этот вопрос, казалось, просто из вежливости, да так оно было и на самом деле: она же отлично знала, как я себя чувствую. В ее голосе мне слышались даже иронические нотки — она ведь понятия не имела об истинной причине моего внезапного решения подвергнуться операции и поэтому, должно быть, считала, что я страдаю из тщеславия, в надежде стать более красивым или по крайней мере менее неприглядным, когда глаз мой будет приведен в порядок, согласно совету синьорины Капорале.

— Я чувствую себя превосходно, синьорина! — отвечал я. — Вот только не вижу ничего.

— Ну, скоро будете видеть, и даже лучше, чем прежде, — вмешивался Папиано.

Под покровом темноты я поднимал кулак, словно собираясь треснуть болтуна по физиономии. Он, несомненно, говорил это нарочно, чтобы я потерял последние остатки терпения. Он же не мог не замечать отвращения, которое я к нему испытывал: я изо всех сил выказывал это чувство — зевал, пыхтел. И тем не менее он был тут как тут: почти каждый вечер он заходил ко мне в комнату (именно — заходил!) и сидел часами, ни на минуту не умолкая. В непроглядной тьме у меня от его голоса чуть ли не спирало дыхание, я извивался на стуле, словно сиденье было утыкано гвоздями, сжимал кулаки и порою готов был задушить его. Догадывался ли он об этом? Ощущал ли мое ожесточение? Почему-то именно в такие моменты голос его становился особенно мягким, почти ласковым.

У человека всегда есть потребность обвинять кого-

¹ «Вера, — пишет маэстро Альберто Фьорентино, — есть субстанция вещей желаемых, подтверждение и доказательство вещей не явленных». (*Примечание дна Элиджо Пеллегринотто.*)

нибудь в своих бедах и невзгодах. В сущности, Папиано делал все, чтобы выжить меня из дома. И если бы в те дни я прислушался к голосу разума, я должен был бы от всего сердца благодарить своего недруга. Но как мог я внять этому благословенному голосу, когда он исходил из уст такого человека, как Папиано, которого я считал неизменно, явно, нагло неправым? Разве он не стремился выжить меня из дома, чтобы без помехи обманывать Палеари и погубить Адриану? Только это я и слышал тогда в его речах. Как случилось, что голос разума избрал уста Папиано, для того чтобы я ему внял? Но, может быть, это я сам вкладывал его в уста Папиано, чтобы найти оправдание себе и причины не доверять ему, так как я уже чувствовал, что запутался в сетях жизни, и бесился именно от этого, а не от окружавшего меня мрака и раздражения, которое вызывал во мне Папиано.

О чем он мне толковал? Каждый вечер об одном и том же — о Пепите Пантогады.

Хотя жил я весьма скромно, он вбил себе в голову, что я богат. И вот, чтобы отвлечь мое внимание от Адрианы, он, вероятно, взлелеял мысль влюбить меня во внуку маркиза Джильо д'Аулетты и описывал мне ее как девицу добродетельную и гордую, с умом, добрым сердцем и решительными манерами, откровенную и пылкую. И, кроме того, — красавица, ух какая красавица! Брюнетка, изящная и вместе с тем видная; вся — огонь, глаза искрятся, рот создан для поцелуев. О приданом и говорить нечего: оно будет сказочное — не более не менее, как все состояние маркиза д'Аулетты. Маркиз — в этом можно не сомневаться — счастлив был бы поскорее выдать ее замуж — не только для того, чтобы избавиться от папаши Пантогады, который не дает ему житья, но и потому, что деду и внучке не так уж сладко живется вместе. У маркиза не хватает характера, он замкнут в своем уже мертвом мире, Пепита же вся трепещет жаждой жизни.

Папиано было невдомек, что, чем больше он мне расхваливал Пепиту, тем сильнее росла во мне заочная антипатия к ней. Мне предстоит с ней познакомиться, уверял он. В один из ближайших вечеров он уговорит ее прийти на спиритический сеанс. Познакомлюсь я и с маркизом Джильо д'Аулеттой, который сам этого жаждет — столько хорошего слышал он обо мне от него, Папиано!

Но маркиз не выходит из дому и никогда не примет участия в спиритических сеансах из-за своих религиозных убеждений.

— Как так? — спросил я. — Сам не пойдет, а внучке разрешит?

— Он же отдает себе отчет, кому вверяет ее! — гордо воскликнул Папиано.

Дальнейшее меня не интересовало. Но почему и Адриана отказывается приходить на эти сеансы? Тоже из-за религиозных убеждений... Но если внучка маркиза Джильо будет принимать в них участие с разрешения дедушки-клерикала, почему бы не прийти и Адриане? Вооружившись этим доводом, я попытался убедить ее вечером, накануне первого сеанса.

Она зашла ко мне в комнату вместе с отцом, который услышал мое предложение.

— Вечно то же самое, синьор Меис! — вздохнул он. — Перед лицом этой проблемы религия настораживает свои ослиные уши и пугается, как и наука. Между тем я уже говорил и объяснял дочери, что наши опыты отнюдь не противоречат ни той, ни другой. Что касается религии, то они ведь как раз и доказывают те истины, которые она утверждает.

— А может быть, я просто боюсь? — возразила Адриана.

— Чего? — не сдавался отец. — Доказательств?

— Или темноты? — добавил я. — С вами, синьорина, мы были бы в полном составе. Неужели вы нам измените?

— Но я... — смущенно ответила Адриана, — я в это не верю, не могу верить... Вот и все.

Больше она не добавила ни слова. По ее тону и растерянности я сразу понял, что не одна только религия препятствовала Адриане бывать на этих опытах. Страх, на который она сослалась в свое оправдание, мог объясняться совсем другими причинами, о которых синьор Ансельмо и не подозревал. Вероятнее всего, ей было мучительно присутствовать при том, как ее отца, словно ребенка, морочат Папиано и синьорина Капорале.

У меня не хватило духу настаивать.

Но она, будто прочитав в моем сердце огорчение, которое причинял мне ее отказ, нерешительно пробормотала в темноте: «Впрочем...» и я тотчас же поймал ее на слове.

— Ах, молодец! Значит, вы будете с нами?

— Только на завтрашний вечер,— улыбнулась она.

На следующий день, попозже, Папиано явился приготовить комнату: внес грубовато сколоченный прямоугольный столик елового дерева, неполированный, без ящиков, освободил один угол и повесил там на протянутой веревке простыню. Потом притащил гитару, собачий ошейник с большим количеством бубенчиков и еще другие предметы. Все эти приготовления совершались при свете пресловутого фонарика с красными стеклами. Хозяйничая в комнате, он, разумеется, ни на минуту не умолкал.

— Простыня служит... да, служит... как бы это выразиться... ну, скажем, аккумулятором таинственной психической силы. Вы увидите, синьор Меис, как она будет дрожать, вздуться, словно парус, и порою озаряться странным, я бы сказал, звездным светом. Да, да, вот именно! Нам не удалось еще добиться материализации, но свет мы уже получили. Вы сами в этом убедитесь, если нынче вечером синьорина Сильвия будет в подобающем состоянии. Она общается с духом одного своего старого товарища по консерватории, умершего — храни нас господь! — от тифа в возрасте восемнадцати лет. Родом он был... право, не знаю... да, кажется, из Базеля, но его семья давно обосновалась в Риме. Одареннейший был музыкант, но жестокая смерть скосила его раньше, чем он дал все, что мог бы дать. Так по крайней мере утверждает синьорина Капорале. Она общалась с духом Макса еще до того, как выяснилось, что у нее дар медиума. Так его звали — Макс... Погодите... Макс Олиц, если не ошибаюсь. Да, да, уверяю вас! Когда этот дух овладевал ею, она импровизировала на рояле, пока не падала в обморок. Однажды вечером на улице собрался народ и ей стали аплодировать...

— И синьорина Капорале даже испугалась,— невозмутимо вставил я.

— Ах, так вы знаете?..— прервал свой рассказ Папиано.

— Она сама мне говорила. Значит, люди аплодировали музыке Макса, которую исполняла синьорина Капорале?

— Да, да! Жаль, что у нас в доме нет рояля. Приходится довольствоваться отрывками, двумя-тремя аккордами на гитаре. Из-за этого Макс иногда приходит в такую ярость — да, да! — что струны на гитаре рвутся...

Ну, да сегодня сами услышите. Кажется, сейчас все в порядке.

— А скажите-ка мне, синьор Теренцио,— я просто из любопытства решил спросить вас, пока вы не ушли,— вы-то сами в это верите? Действительно верите?

— Н-да,— отозвался он сразу, словно предвидел заданный ему вопрос.— По правде говоря, для меня тут не все ясно.

— Еще бы!

— Но вовсе не потому, что опыты совершаются в темноте! Все происходящие при этом явления вполне реальны, тут ничего не скажешь, они просто не подлежат сомнению. Не можем же мы сомневаться в самих себе...

— Почему нет? Как раз вполне можем!

— Как так? Не понимаю!

— Мы же так легко обманываемся! Особенно когда нам хочется во что-то верить...

— Но мне-то совсем не хочется! — запротестовал Папиано.— Мой тесть, весьма углубившийся в изучение этих вещей, верит в них. У меня же, должен вам сказать, помимо всего прочего, и времени-то нет в них вдуматься... даже если бы я и хотел. У меня столько дела с проклятыми Бурбонами моего маркиза — они меня просто заездили. Здесь я иногда по вечерам отдыхаю. Что же касается моих воззрений на это, то я считаю, что мы, пока милостью божьей еще живы, ничего не можем знать о смерти, а потому не напрасное ли дело и думать о ней? Лучше уж постарайтесь как можно удачнее прожить свою жизнь, прости нас господи! Вот как я на этот счет думаю, синьор Меис. Итак, до вечера? Сейчас я побегу на улицу Понтефичи за синьориной Пантогада.

Через полчаса он возвратился крайне недовольный: вместе с синьориной и ее гувернанткой явился некий испанский художник, которого Папиано сквозь зубы представил мне как друга семьи Джильо. Звался он Мануэль Бернальдес и бегло говорил по-итальянски, однако не настолько хорошо, чтобы произносить конечное «с» моей фамилии. Каждый раз, когда он произносил его, казалось, будто оно колет ему язык.

Вошли дамы: Пепита, гувернантка, синьорина Капорале, Адриана.

— И ты здесь? Вот это ново! — не слишком вежливо приветствовал Папиано свою свояченицу.

Этого сюрприза он не ожидал. Я же, со своей

стороны, по тому, как приняли Бернальдеса, понял, что маркизу Джильо не должно было стать известным его присутствие на сеансе и что за этим скрывается какая-то интрижка между ним и Пепитой.

Однако великий Теренцио не отказался от своего плана. Располагая вокруг столика медиумическую цепочку, он сел рядом с Адрианой, а возле меня посадил синьорину Пантогада.

Меня это не устраивало, да и Пепиту тоже. Она запротестовала, заговорив при этом совсем как ее отец:

— Помилуйте, *así no puede!* ¹ Я хочу *estar* ² между *el señor Paleari* ³ и моей *governanta* ⁴, дорогой *señor Terencio!*

В красноватом полумраке различались лишь контуры человеческих фигур и предметов. Поэтому я не мог убедиться, насколько верен портрет Пепиты, который мне нарисовал Папиано. Но очертания ее фигуры, голос и этот внезапный бунт хорошо соответствовали представлению, которое составилось у меня о ней на основании его слов.

Разумеется, столь пренебрежительный отказ от места рядом со мной, которое предназначил ей Папиано, был обиден для меня, но я не только не оскорбился, а даже обрадовался.

— Совершенно справедливо! — воскликнул Папиано.— Тогда можно сделать так: пусть рядом с синьором Меисом сядет синьора Кандида, а за нею сядете вы, синьорина. Мой тесть остается на своем месте, и мы трое тоже, где сидим. Так будет хорошо?

Нет, так тоже было не хорошо ни для меня, ни для синьорины Капорале, ни для Адрианы, ни — как выяснилось немного спустя — для Пепиты, которая гораздо лучше устроилась в новой цепочке, составленной по указанию гениального духа Макса.

Пока что рядом со мной оказалось некое привидение женского пола с каким-то странным холмиком на голове. Что это была за чертовщина? Шапочка? Чепец? Парик? Из-под этой тяжелой груды чего-то по временам исходили вздохи, заканчивавшиеся легким стоном. Представить меня синьоре Кандиде никто и не подумал. Между тем, составляя цепочку, мы должны были держать друг друга

¹ Так не годится (*исп.*).

² Находиться (*исп.*).

³ Синьор Паллари (*исп.*).

⁴ Гувернантка (*исп.*).

за руки, и она вздыхала. По ее мнению, это было неприлично... Боже, не рука, а ледышка.

Другой рукой я держал левую руку синьорины Капорале. Она сидела спиной к простыне, развешенной в углу. Папиано держал ее за правую руку. Слева от Адрианы сидел художник; на другом конце стола, как раз напротив синьорины Капорале, находился синьор Ансельмо.

Папиано сказал:

— Прежде всего следовало бы объяснить синьору Меису и синьорине Пантогада способ общения. Как он называется?

— Типтологический язык,— подсказал синьор Ансельмо.

— Мне, пожалуйста, тоже,— вмешалась синьора Кандида, ерзая на своем стуле.

— Совершенно справедливо! Разумеется, синьоре Кандиде тоже.

— Так вот,— начал объяснять синьор Ансельмо.— Два удара означают «да».

— Удары? — прервала его Пепита.— Какие удары?

— Удары,— ответил Папиано,— это значит постукивание по столику, по стульям или по чему другому, а иногда и общение посредством прикосновений.

— Ах, нет, нет! — тотчас же вскричала Пепита, вскакивая с места.— Я никаких прикосновений не люблю. Чьи это прикосновения?

— Речь идет о духе Макса, синьорина,— объяснил Папиано.— Я же вам показывал, как это бывает, когда мы шли сюда. Это совершенно безвредно, не беспокойтесь.

— Типтология,— добавила со снисходительным видом сведущей в таких делах женщины синьора Кандида.

— Так вот,— продолжал синьор Ансельмо,— два удара — «да», три удара — «нет», четыре — «темнота», пять — «говорите», шесть — «свет». Пока достаточно. А теперь, господа, нам надо сосредоточиться.

Воцарилось молчание. Мы сосредоточились.

14. ПОДВИГИ МАКСА

Страх? Нет, ни тени страха. Но мною овладело живейшее любопытство и, кроме того, некоторое опасение — как бы Папиано не провалился со своей затеей. Казалось, это должно было бы меня обрадовать. А между тем — ничего подобного. Но кто не испытывал

мучительного или, вернее, холодно-унизительного ощущения, присутствуя на спектакле, скверно разыгранном плохими актерами?

«Он сидит между двумя женщинами,— думал я.— Либо он уж очень искусен, либо упорное желание сидеть рядом с Адрианой мешает ему сообразить, что он помещен не там, где следовало б, что здесь он не сможет обмануть ни Бернальдеса с Пепитой, ни меня с Адрианой, и мы сразу же, не строя никаких иллюзий, убедимся в его мошенничестве. Прежде всего убедится в этом Адриана, сидящая рядом с ним. Но она уже подозревает обман и подготовлена к нему. Так как ей не удалось поместиться рядом со мной, она, вероятно, уже думает: зачем ей присутствовать при комедии, с ее точки зрения не просто глупой, но недостойной и кощунственной. Тот же вопрос, несомненно, задают себе Бернальдес и Пепита. Как же Папиано не дает себе в этом отчета теперь, когда ему не удалась его уловка — посадить меня рядом с Пантогадой? Выходит, он до такой степени уверен в своей ловкости? Что ж, посмотрим».

Размышляя таким образом, я упустил из виду синьорину Капорале. Она же внезапно заговорила, словно в легкой дремоте.

— Цепочка,— произнесла она,— цепочка сейчас изменилась...

— Макс уже тут? — торопливо спросил добряк синьор Ансельмо.

Синьорина Капорале ответила не сразу.

— Да,— объявила наконец она, но затем озабоченно и даже тревожно добавила: — Но сегодня вечером нас ведь больше...

— Правда! — прервал ее Папиано.— Но мне кажется, мы отлично разместились.

— Тише! — строго заметил синьор Палеари.— Послушаем, что скажет Макс.

— Он считает,— продолжала синьорина Капорале,— что цепочка недостаточно ровная. Вот тут, с этой стороны (она приподняла мою руку), рядом с мужчиной две женщины. Синьору Ансельмо хорошо бы поменяться местами с синьориной Пантогада.

— Сейчас! — воскликнул синьор Ансельмо, вскакивая с места.— Пожалуйста, синьорина, сядьте на мое место!

На этот раз Пепита не стала возражать. Она оказалась рядом с художником.

— Затем,— продолжала синьорина Капорале,— синьора Кандида...

Тут ее прервал Папиано:

— На место Адрианы, не так ли? Я уже об этом подумал. Что ж, отлично.

Как только Адриана уселась рядом со мною, я изо всех сил, до боли сжал ее руку. В то же время синьорина Капорале стиснула мне другую руку, словно спрашивая: «Ну как, довольны?» «Доволен, доволен»,— ответил я, в свою очередь пожав ей руку так, чтобы это означало: «А теперь можете делать все, решительно все, что вам угодно!»

— Тише! — раздался в этот миг строгий голос синьора Ансельмо.

А кто подал голос? Кто? Столик! Четыре удара! «Темнота!»

Клянусь, я ничего не слышал.

Однако, едва только фонарик потух, произошло нечто, сразу же опрокинувшее все мои предположения. Синьорина Капорале издала резкий крик, от которого все немедленно повскакали со стульев:

— Света! Света!

Что же случилось?

А то, что синьорина Капорале получила сильнейший удар кулаком по лицу: десны у нее кровоточили.

Пепита и синьора Кандида стояли, дрожа от страха. Папиано тоже встал, чтобы зажечь фонарик. Адриана тотчас же вырвала свою руку из моей. На лице Бернальдеса, красноватом от отсвета зажженной спички, которую он держал в пальцах, блуждала удивленная и в то же время недоверчивая улыбка. А совершенно растерявшийся синьор Ансельмо только повторял:

— Удар кулаком? Но как же могло это случиться?

Я тоже в полном смущении задавал себе этот вопрос. Удар кулаком? Выходит, что последний обмен местами не был согласован между синьориной Капорале и Папиано. Удар кулаком? Значит, синьорина Капорале взбунтовалась против Папиано. Что же теперь будет? Теперь синьорина Капорале, отодвинув от себя стул и прикладывая ко рту носовой платок, решительно заявила, что с нее хватит. А Пепита Пантогада визжала:

— Увольте, синьоры, увольте! Aquí se daño cachetes! ¹

¹ Да здесь дерутся! (исп.)

— Да нет же, нет! — вскричал синьор Палеари.— Послушайте, господа, это же совершенно новое и весьма странное явление! Надо выяснить, в чем дело.

— У Макса? — спросил я.

— Разумеется, у Макса. Может быть, вы, дорогая Сильвия, неправильно поняли то, что он вам подсказывал относительно упорядочения нашей цепочки?

— Весьма вероятно! Весьма вероятно! — расхохотался синьор Бернальдес.

— А что вы-то на этот счет думаете, синьор Меис? — спросил меня синьор Палеари, которому явно не нравился Бернальдес.

— Да, действительно похоже, что произошло нечто подобное.

Но синьорина Капорале решительно замотала головой.

— Тогда в чем же дело? — продолжал синьор Ансельмо.— Чем же объяснить, что Макс вдруг разъярился? Когда это бывало? А ты что скажешь, Теренцио?

Теренцио под покровом полумрака молчал. Он только пожал плечами.

— Ну что ж,— обратился я к синьорине Капорале.— Сделаем, как хочет синьор Ансельмо, синьорина? Потребуем у Макса объяснений. А если этот дух опять окажется... не в духе, прекратим сеанс. Правильно я говорю, синьор Папиано?

— Совершенно правильно! — ответил он.— Конечно, попросим его объясниться. Я так считаю.

— А вот я не считаю! — отпарировала синьорина Капорале, поворачиваясь к нему.

— Ты это мне? — спросил Папиано.— Но если ты не желаешь продолжать...

— Да, лучше бы прекратить,— робко вставила Адриана.

Но тут заговорил синьор Ансельмо:

— Вот трусишка! Ну что за ребячество, черт побери! Простите, Сильвия, это относится и к вам! Вы ведь хорошо знаете этого духа, он был с вами связан, и сегодня впервые случилось, что... Прекращать сеанс было бы просто грешно: как ни неприятен сам по себе этот инцидент, надо признать, что сейчас начались явления исключительной силы.

— Даже чрезмерной! — вскричал Бернальдес, заражая всех других своим саркастическим смехом.— Я,—

добавил он,— не хотел бы, чтобы мне поставили фонарь под глазом...

— И я тоже не хочу! — поддержала его Пепита.

— По местам! — решительным тоном скомандовал Папиано.— Последуем совету синьора Меиса. Попробуем добиться какого-нибудь объяснения. А если все эти феномены опять начнут проявляться слишком резко, прекратим сеанс. По местам!

И он погасил фонарик.

В темноте я нащупал холодные дрожащие пальчики Адрианы. Чтобы не испугать ее, я не стал сразу же стискивать руку девушки, а постепенно, понемногу пожимал ее, чтобы согреть и чтобы вместе с теплом Адриана прониклась уверенностью, что теперь все пойдет благополучно. И в самом деле, можно было, по-видимому, не сомневаться, что Папиано, раскаиваясь в приступе ярости, которому он поддался, изменил свои намерения. Во всяком случае, у нас будет передышка. Потом мишенью Макса в темноте, возможно, окажемся мы с Адрианой. «Ладно,— подумал я про себя,— если игра окажется слишком докучной, мы ее прекратим. Я не допущу, чтобы Адриану мучили».

Между тем синьор Ансельмо принялся разговаривать с Максом так, словно это был кто-то, присутствующий тут вполне реально:

— Ты здесь?

Два легких удара по столику. Он был тут!

— Как же это получилось, Макс,— с ласковым упреком спросил синьор Палеари,— что ты, такой добрый и дружелюбный, так плохо обошелся с синьориной Сильвией? Что это значит?

На этот раз столик сперва закачался из стороны в сторону, а затем в самом центре его раздалась три резких, громких стука. Три удара. Значит, нет. Он не желал объясниться.

— Мы не настаиваем! — продолжал синьор Ансельмо.— Ты, может быть, еще немного взбудоражен, не так ли, Макс? Понятно, я ведь знаю тебя, знаю... Но не скажешь ли по крайней мере, доволен ли ты теперешним расположением нашей цепочки?

Не успел синьор Палеари сформулировать этот вопрос, как я почувствовал, что меня кто-то быстро и легко дважды ударил по лбу — кончиками пальцев, как мне показалось!

— Да! — внезапно воскликнул я и сообщил всем об ответе духа, при этом тихонько пожав ручку Адрианы.

Должен сознаться, что это неожиданное «прикосновение» сразу произвело на меня какое-то странное впечатление. Я был уверен, что, вовремя подняв свою руку, я ухватил бы за руку Папиано, и все же... Легкость, нежность и вместе с тем четкость прикосновения были, во всяком случае, удивительны. К тому же, повторяю, я его не ожидал. Но почему Папиано избрал именно меня для проявления своей уступчивости? Хотел он этим успокоить меня или же, напротив, бросал мне вызов: «Сейчас узнаешь, доволен ли я?»

— Bravo, Макс! — воскликнул синьор Ансельмо.

Я же воскликнул про себя: «Именно, что bravo! Ух и надавал бы я тебе подзатыльников!»

— Так вот, если тебе угодно, — продолжал хозяин дома, — дай какой-нибудь знак своего расположения к нам.

Последовало пять ударов по столику, что означало: «Разговаривайте!»

— Что это значит? — испуганно спросила синьора Кандида.

— Что надо разговаривать, — спокойно объяснил Папиано.

— С кем? — осведомилась Пепита.

— Да с кем угодно, синьорина. Например, со своим соседом.

— Громко?

— Да, — сказал синьор Ансельмо. — Это означает, синьор Меис, что Макс тем временем подготовится к тому, чтобы как-то особенно явственно проявить себя. Может быть, вспыхнет свет... кто знает! Так будем же разговаривать...

Но что говорить? Я-то уже некоторое время разговаривал с ручкой Адрианы и — увы! — ни о чем больше не думал. Я вел с этой маленькой ручкой долгий разговор, напряженный, настойчивый и вместе с тем нежный; она же внимала ему трепетно и самозабвенно. Я уже заставил ее разжать пальцы, переплести их с моими. Мною овладело какое-то опьянение, я пылал, я наслаждался даже тем судорожным усилием, которого стоило мне старание подавить свой неистовый пыл и действовать лишь с той ласковой нежностью, какой требовала чистота ее тонкой, застенчивой души.

И вот, пока руки наши вели эту оживленную беседу,

я почувствовал, как что-то настойчиво трется о перекладину между двумя задними ножками моего стула. Папиано не мог дотянуться туда ногами, а если бы даже и мог, ему помешала бы перекладина между передними ножками стула. Может быть, он встал из-за стола и подошел к моему стулу сзади? Но в таком случае синьора Кандида, если только она не окончательная дура, заметила бы это. Прежде чем объявить о новом феномене, я хотел найти ему какое-то объяснение. Но затем мне пришло в голову, что, раз уж я добился того, чего хотел, мне теперь следовало, хотя бы в качестве награды, без дальнейших околочностей помогать Папиано мошенничать, чтобы не слишком раздражать его. И я сообщил о своих ощущениях.

— Вот как? — вскричал со своего места Папиано, с искренним, как мне показалось, изумлением.

Не меньшее удивление выказала и синьорина Капорале. Я почувствовал, как волосы у меня на голове зашевелились. Значит, все это не обман?

— Трение? — взволнованно спросил синьор Ансельмо. — Но какое? Какое?

— Ну да, трение! — несколько раздраженно подтвердил я. — И непрерывное! Словно там за стулом собачка... Вот опять!

Мое объяснение вызвало неожиданный взрыв хохота.

— Но это же Минерва! Минерва! — вскричала Пепита Пантогада.

— Что за Минерва? — с досадой спросил я.

— Да моя собачка, — ответила Пепита, продолжая смеяться. — Моя старенькая болонка, синьоры! Она трется así¹ обо все стулья. Позвольте-ка!

Бернальдес зажег спичку, Пепита встала, взяла болонку, именовавшуюся Минервой, и положила ее к себе на колени.

— Теперь я понимаю раздражение Макса, — недовольным тоном заметил синьор Ансельмо. — Сегодня мы несерьезно относимся к делу!

Может быть, с точки зрения синьора Ансельмо, так было только в тот вечер. Но, по нашему мнению, последующие вечера — по крайней мере в отношении спиритизма — отличались не большей серьезностью.

¹ Так (исп.).

Кому была охота внимательно следить за подвигами, которые совершал в темноте Макс? Столик поскрипывал, двигался, разговаривал посредством громкого или легкого стука. Другие постукивания раздавались под сиденьями наших стульев, а порою и под другими столами и стульями, стоявшими в комнате; слышались также царапанье, трение и прочие звуки. В воздухе на миг возникало и проносилось по комнате странное фосфорическое мерцание, похожее на блуждающие огни; простыня светилась и раздувалась, словно парус. Один маленький столик — подставка для сигарных ящичков — передвигался туда-сюда и однажды чуть не упал на стол, вокруг которого мы держали цепочку. У гитары словно выросли крылья: как-то раз она слетела с ящичка, на который была положена, и забренчала прямо над нашими головами. Впрочем, мне показалось, что Макс гораздо лучше проявлял свои выдающиеся музыкальные способности, играя бубенчиками на собачьем ошейнике, который неожиданно оказался на шее у синьорины Капорале. Синьор Ансельмо счел это за дружескую и в высшей степени милую шутку со стороны Макса, но синьорине Капорале она не слишком понравилась.

Можно было не сомневаться, что под покровом темноты на сцене появлялся брат Папиано Шипионе, которому даны были подробнейшие инструкции. Он действительно был эпилептик, но отнюдь не такой идиот, каким старался изобразить его братец Теренцио, да и он сам прикидывался. Он привык к темноте — глаза его, наверно, приспособились к ней и научились видеть во мраке. По правде сказать, я не берусь определить степень ловкости, с какой он совершал свои проделки, о которых заранее уславливался с братом и синьориной Капорале. Поскольку это касалось нас, то есть меня и Адрианы, Пепиты и Бернальдеса, он мог выделять, что ему было угодно, и все сходило как нельзя лучше. Таким образом, ему оставалось убогатворить только синьора Ансельмо и синьору Кандиду, и, кажется, он превосходно с этим справлялся. По правде говоря, оба они были не слишком требовательны. О, синьор Ансельмо просто ликовал — были минуты, когда он походил на мальчишку, попавшего в кукольный театр. Подчас, слушая его ребячески-восторженные восклицания, я страдал не только от стыда за отнюдь не глупого человека, который выставлял себя в таком до невероятия дурацком виде, но и потому, что

Адриана давала мне понять, какая мука для нее радоваться нашей близости за счет обманутого отца и пользоваться его смехотворной наивностью.

Только это и отравляло по временам нашу радость. Однако я знал Папиано, и у меня должно было бы зародиться подозрение, что, если он примирился с необходимостью позволить мне сидеть рядом с Адрианой и, вопреки моим опасениям, не только не тревожил нас вмешательством духа Макса, но даже как будто помогал нам и покровительствовал, значит, у него была при этом некая задняя мысль. Но в эти мгновения я так радовался свободе, которую давала мне темнота, что подобное подозрение даже не коснулось меня.

— Нет! — пронзительно вскрикнула вдруг синьорина Пантогада.

— Что такое, что такое, синьорина? — сразу же вскинулся синьор Ансельмо. — Что случилось? Что вы почувствовали?

Бернальдес тоже стал заботливо расспрашивать ее.

— Aquí ¹, с одной стороны, я ощутила словно ласку... — ответила Пепита.

— Прикосновение руки? — спросил синьор Палеари. — Легкое, правда? Прохладное, беглое, легкое... Ого, Макс, ты, когда захочешь, умеешь быть любезным с дамами! А ну, посмотрим. Макс, не коснешься ли ты еще раз синьорины?

— Aquí está! Aquí está! ² — со смехом завизжала Пепита.

— В чем дело? — спросил синьор Ансельмо.

— Опять, опять... Он ласкает меня!

— Может быть, ты поцелуешь ее, Макс? — предложил тогда синьор Палеари.

— Нет! — снова взвизгнула Пепита.

Но тут кто-то звонко и сочно поцеловал ее в щеку. Тогда я почти бессознательным жестом поднес к губам руку Адрианы и — мало того — наклонился, ища ее губ. И вот так-то мы обменялись первым поцелуем — долгим, беззвучным.

Что за этим последовало? Растерявшись от стыда и смущения, я не сразу заметил беспорядок, внезапно возникший вокруг нас. Неужели они узнали, что мы поцеловались? Кругом раздавались крики, вспыхнула

¹ Здесь (исп.).

² Вот! Вот! (исп.)

спичка, другая, потом и свеча, та, что была под красным стеклянным колпачком. Все оказались на ногах. Но почему? Почему? Внезапно, уже при свете, что-то грохнуло по столу. Это был мощный удар кулака, словно нанесенный невидимым великаном. Мы все побелели от ужаса. Папиано и синьорина Капорале больше всех.

— Шипионе! Шипионе! — закричал Теренцио.

Эпилептик лежал на полу и странно хрипел.

— Да садитесь же! — вскричал синьор Ансельмо.— Он тоже впал в транс! Видите — столик двигается, поднимается, поднимается... Это же левитация! Браво, Макс! Ура!

И правда, столик, до которого никто не дотрагивался, приподнялся над полом на целую ладонь, а затем с тяжелым стуком встал на место.

Мертвенно-бледная, дрожащая, перепуганная синьорина Капорале прижалась лицом к моей груди. Синьорина Пантогада с гувернанткой выбежали из комнаты, взбешенный же синьор Палеари кричал:

— Куда вы! Назад! Не разрывайте цепочки! Сейчас будет самое интересное! Макс! Макс!

— Да какой там Макс! — вскрикнул Папиано, оправившись наконец от оледенившего его страха и бросаясь к брату, чтобы встряхнуть его и привести в чувство.

На миг я забыл о поцелуе, ошеломленный поистине странным и необъяснимым явлением, при котором только что присутствовал. Если, как утверждал синьор Палеари, таинственная сила, действовавшая в то мгновение, при свете, у меня на глазах, была силой какого-то незримого духа, то, очевидно, дух этот не имел ничего общего с Максом. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на Папиано и синьорину Капорале. Макса они придумали сами. Но что же это такое было? Кто так мощно ударил по столу кулаком? Тут в уме моем хаотически ожило все то, о чем я читал в книжках синьора Палеари. И дрожь пробрала меня, когда я подумал о том неизвестном, который утонул в мельничной запруде Стиа и у которого я отнял слезы и траур родных и друзей.

«А если это он? — подумалось мне.— А если он пришел сюда, чтобы отомстить мне, раскрыв мою тайну?» Между тем синьор Палеари, единственный из всех нас, кто не ощутил ни страха, ни удивления, никак не мог уразуметь, почему столь простое и обычное явление, как

левитация столика, так взволновало нас, уже присутствовавших при самых разнообразных чудесах. С его точки зрения, было совсем несущественно, что это явление произошло при свете. Он гораздо больше удивлялся тому, что Шипионе оказался здесь, в моей комнате,— ведь он-то думал, что мальчик уже лег спать.

— Меня это удивляет,— сказал он,— потому что обычно бедняга ни на что не обращает внимания. Очевидно, наши таинственные сеансы вызвали у него некоторое любопытство; он отправился подсмотреть, что у нас делается, потихоньку вошел — и вот... бац! Попался! Ибо нет сомнения, синьор Меис, что необыкновенные явления медиумизма возникают весьма часто через посредство невропатов-эпилептиков, каталептиков, истериков. Макс берет ото всех, он заимствует и у нас значительную часть нашей нервной энергии, используя ее для спиритических явлений. Это же твердо установлено! Разве вы, например, не ощущаете, что у вас тоже кое-что взято?

— По правде сказать, пока не ощущаю.

Почти до утра ворочался я на кровати, все время представляя себе несчастного, погребенного под моим именем на кладбище Мираньо. Кто он был? Откуда явился? Почему покончил с собой? Может быть, он хотел, чтобы о его печальном конце стало всем известно; может быть, это было возмездие, искупление... А я использовал его в своих целях!

Признаюсь, я не раз леденел от страха во мраке ночи. Ведь не я один слышал удар кулаком по столику тут, в моей комнате. Не он ли нанес его? А может быть, он и сейчас здесь, со мной, молчаливый, невидимый? Я весь обращался в слух, если мне случалось уловить в комнате какой-либо звук. Потом я заснул, но меня тревожили страшные сны. На следующий день я открыл окна и впустил в комнату дневной свет.

15. Я И МОЯ ТЕНЬ

Нередко, когда я просыпался, как говорится, в самом сердце ночи (в данном случае ночь проявляла себя довольно бессердечной), мне случалось переживать в окружавшем меня молчании и мраке минуты странного удивления, странного смущения при воспоминании о чем-либо, что я делал при свете дня, даже не замечая, что

именно я делаю. И тогда я задавал себе вопрос: не определяются ли наши действия зримым обликом окружающих нас вещей, их окраской, многоголосым звучанием жизни? Да, разумеется, определяются и этим, и еще очень многим другим. Не находимся ли мы, как полагает синьор Ансельмо, в общении со всей вселенной? И нам следует подумать о том, сколько же глупостей заставляет нас делать проклятая вселенная, глупостей, в которых мы потом обвиняем нашу несчастную совесть, а ведь ее понуждают к этому внешние силы, ослепляя ее бьющим извне светом. И наоборот, сколько принятых ночью решений, сколько тщательно разработанных замыслов, сколько задуманных хитростей оказываются нелепыми, рушатся, рассеиваются при свете дня? Как день и ночь — вещи совершенно различные, так, может быть, и мы днем одни, а по ночам совершенно другие, но — увы! — при всем том жалчайшие создания — как днем, так и ночью.

Знаю одно: я не ощутил никакой радости, когда после сорока дней, проведенных во мраке, вновь открыл окна моей комнаты и увидел дневной свет. Его грозно затемнило воспоминание о том, что я делал, пока жил в темноте. Все доводы, оправдания и убеждения, имевшие вес и цену в темноте, утратили их или обрели противоположное значение, едва распахнулись окна. И тщетно то несчастное «я», которое столько времени жило за закрытыми ставнями и изо всех сил старалось облегчить себе неистовую тоску заключения, теперь, словно побитая собака, терлось, хмурое, суровое, возбужденное, возле того, другого «я», которое распахнуло окно и вставало навстречу дню. Тщетно стремилось оно оторвать своего двойника от мрачных мыслей, уговаривая его подойти вместо этого к зеркалу и порадоваться счастливому исходу операции, отросшей бороде и даже бледности, которая в известном смысле облагораживала меня.

«Болван, что ты наделал, что ты натворил!»

Что я наделал? Да, по правде говоря, ничего. Занимался любовью. Во мраке — моя ли это вина? — мне показалось, что никаких препятствий уже нет, и я утратил навязанную мне сдержанность. Папиано хотел отнять у меня Адриану, а бедняжка Капорале вернула мне ее, усадив рядом со мной, и за это получила удар кулаком по лицу. Я страдал и, естественно, считал, как всякий другой страдалец (такова уж человеческая природа), что имею право на некое возмещение. А так как это возмещение

было рядом, я его взял. Тут занимались всякими экспериментами с миром мертвых; Адриана же, сидевшая рядом со мною, была сама жизнь, только и ждавшая поцелуя, чтобы распуститься в лучах радости. К тому же Мануэль Бернальдес поцеловал ведь в темноте свою Пепиту и, значит, я тоже...

— Ах!

Я закрыл лицо руками и бросился в кресло. Губы мои дрогнули, когда я вспомнил об этом поцелуе. Адриана! Адриана! Какие надежды зажег я в ее сердце этим поцелуем! Она — моя невеста. Неужели? Окна распахнуты, пир на весь мир!

Уж не знаю, сколько времени сидел я так в кресле и то закрывал рукой глаза, то весь внутренне сжимался в диком смятении, словно защищаясь от острой душевной боли. Теперь мне наконец все стало ясно: стало ясно, какую жестокую шутку сыграл со мной мой же самообман и чем в конце концов оказалось то, что представлялось величайшим счастьем мне, опьяненному внезапным освобождением.

Я уже узнал на опыте, насколько моя свобода, не имевшая, казалось, границ, на самом деле, к сожалению, ограничена скудостью моих денежных средств. Затем я начал отдавать себе отчет и в том, что эта самая свобода может с гораздо большим основанием именоваться одиночеством и скукой и что она осуждает меня на жестокую кару — довольствоваться своим собственным обществом. Я стал искать общения с другими людьми. Но чего стоило мое намерение ни в коем случае, пусть даже очень слабо, не завязывать вновь разрезанных нитей? Ничего не стоило — эти нити сами собой завязались. И жизнь, как я ни сопротивлялся ей, чувствуя, что дело уже неладно, жизнь, на которую я уже не имел права, увлекла меня в своем неудержимом порыве. Да, я отдавал себе в этом полный отчет теперь, когда не мог уже, прибегая ко всевозможным нелепым доводам, почти ребяческим ухищрениям и жалким, мелочным оправданиям, не сознавать своего чувства к Адриане, затушевывать перед самим собой свои собственные намерения, слова, действия. Не произнося ни слова, я сказал ей слишком многое, когда сжимал ей руки, вынуждал ее пальцы переплетаться с моими. И наконец нашу взаимную любовь скрепил, запечатлел поцелуй. Но как мне теперь выполнить данное таким образом обещание? Могла ли

Адриана стать моей? Ведь это меня бросили в мельничную запруду там, в Стиа, две милые женщины — Ромильда и вдова Пескаторе. Не они же сами туда бросились! Свободной поэтому оказалась моя жена, а вовсе не я, устроившийся на положении покойника и вообразивший, что могу стать другим человеком, зажить другой жизнью. Стать другим человеком — да, но при одном условии: ничего не делать! И каким человеком! Тенью человека! Зажить другой жизнью? А какая это жизнь? Да, пока я довольствовался тем, что, замкнувшись в себе, созерцал, как живут другие, я мог хорошо ли, худо ли сохранять иллюзию, будто зажил другой жизнью. Но теперь, когда я вошел в эту жизнь настолько, что сорвал поцелуй с дорогих мне уст, я должен был в ужасе оторваться от них, словно поцеловал Адриану устами мертвеца, который не мог воскреснуть ради нее. Да, я мог бы позволить себе поцеловать продажные губы, но дадут ли они ощутить радость жизни? О, если бы Адриана, зная о моих странных обстоятельствах... Она? Нет, нет, что я! И думать об этом нельзя! Она, такая чистая, такая робкая... Но если бы все же любовь в ее сердце оказалась сильнее всего, сильнее любых соображений о том, что принято и не принято в обществе... Ах, бедная Адриана, мог ли я втянуть ее в пустой круг моей судьбы, сделать ее подругой человека, который ни под каким видом не смеет заявить о себе открыто, признаться, что он жив? Что делать? Что делать?

В дверь однажды постучали, и я вскочил с кресла. Это была она, Адриана.

Как ни старался я изо всех сил справиться со смятением своих чувств, мне все же не удалось скрыть от нее, что я несколько взволнован. Она тоже испытывала некоторое волнение, но от застенчивости, не дававшей ей свободно, как ей хотелось бы, проявить свою радость — ведь она наконец увидела меня при дневном свете, исцеленного, довольного... Разве нет? Почему нет?.. Она лишь на миг подняла на меня глаза, покраснела и протянула мне запечатанный конверт.

— Это вам...

— Письмо?

— Не думаю. Кажется, это счет от доктора Амброзини. Слуга просит сказать, будет ли ответ.

Голос у нее слегка дрожал. Она улыбнулась.

— Сейчас,— сказал я.

Но тут меня охватила невыразимая нежность: я понял, что она под предлогом этого счета пришла услышать от меня хоть одно слово, которое подкрепило бы ее надежды. Я ощутил глубочайшее волнение и жалость, жалость к ней и к самому себе, жестокую жалость, неудержимо повелевавшую мне приласкать девушку, а заодно ощутил и свое собственное страдание, которое лишь в ней, его источнике, могло найти утешение... И хотя мне было ясно, что я запутываюсь еще больше, я не устоял и обнял ее. Она доверчиво, но вся залившись румянцем, тихонько подняла свои руки и положила на мои. Тогда я привлек к себе на грудь ее белокурую головку и провел рукой по ее волосам:

— Бедная Адриана!

— Почему? — спросила она, пока я гладил ее волосы.— Разве мы не счастливы?

— Счастливы...

В тот миг меня охватило возмущение, мне захотелось во всем открыться ей, сказать: «Почему? Пойми же: я люблю тебя, но не могу, не должен тебя любить! И все же, если ты хочешь...» Но бог мой! Могло ли чего-либо хотеть это кроткое создание? Я с силою прижал к груди ее головку и почувствовал, что было бы куда более жестоко сбросить ее с высот блаженства, на которые она, ни о чем не ведая, была вознесена любовью, в ту бездну отчаяния, что разверзлась в моей душе.

— Потому,— промолвил я, отстраняясь от нее,— что я знаю очень многое такое, из-за чего вы не можете быть счастливы.

Словно какое-то горестное изумление охватило Адриану, когда я так внезапно выпустил ее из своих объятий. Может быть, она ожидала, что после всех этих ласк я начну говорить ей «ты»? Она взглянула на меня и, заметив мое смятение, несмело спросила:

— Столько вещей... которые вы знаете... насчет себя самого или... о моей семье?

Кивком я дал понять ей: «О вашей семье», чтобы отогнать все сильнее овладевавшее мною искушение заговорить, открыть ей все.

О, если бы я на это решился! Причинив ей внезапно эту острую боль, я избавил бы ее от других горестей и сам не запутался бы в гораздо более сложной и тяжелой неразберихе. Но печальное свое открытие я сделал еще слишком недавно, мне нужно было еще получше

освоиться с ним, а любовь и жалость лишали меня мужества так вот сразу разрушить ее надежды, да и свою собственную жизнь, то есть ту тень иллюзии, что я живу, которая еще могла оставаться у меня, пока я молчал. К тому же я понимал, как отвратительно звучало бы признание, которое мне пришлось бы ей сделать, признание, что у меня где-то есть живая жена. Да, да! Открыв ей, что я не Адриано Меис, я снова превращался в Маттиа Паскаля, умершего, но все еще женатого. Можно ли говорить такого рода вещи? Это же предел мучений, которыми жена может донимать своего мужа: сама освободилась, опознала его, увидев труп какого-то несчастного утопленника, и посмертно продолжает докучать ему, виснуть на нем. Правда, я мог взбунтоваться, объяснив, что я жив, и тогда... Но кто на моем месте не поступил бы как я? В такой момент, в таком положении все, все, как и я, сочли бы, разумеется, счастьем возможность столь неожиданным-негаданным чудесным способом освободиться от жены, от тещи, от долгов, от такого унылого и жалкого существования, как мое. Разве мог я думать, что даже мертвому мне не избавиться от жены? Что она-то от меня избавилась, а я от нее нет? Что дальнейшая моя жизнь, представлявшаяся мне свободной, беспредельно свободной, явилась, в сущности, лишь иллюзией и только в очень слабой степени могла стать действительностью? Что она оказалась существованием, еще более рабски зависящим от притворства, от лжи, к которой я вынужден был прибегать с таким отвращением, от страха быть обнаруженным, хотя, в сущности, за мной не числилось никакого преступления?

Адриана признала, что у нее и впрямь нет оснований быть довольной положением дел в семье. Но ведь сейчас... И взглядом своим, и грустной улыбкой она словно спрашивала, может ли явиться для меня препятствием то, что было причиной горести для нее. «Нет? Ведь правда?» — вопрошали эти глаза и грустная улыбка.

— Ах, да, надо же заплатить доктору Амброзини! — воскликнул я, делая вид, что внезапно вспомнил о счете и о слуге, дожидавшемся ответа. Я вскрыл конверт и тотчас же, принуждая себя говорить шутливым тоном, объявил: — Шестьсот лир! Ну, подумайте только, Адриана, природа выкидывает очередное коленце, заставляет меня столько лет ходить с таким, скажем, непослушным глазом; затем я испытываю боль и переносу заключение

ради того, чтобы исправлена была ее ошибка; а теперь ко всему еще должен платить деньги. Как, по-вашему это справедливо?

Адриана с трудом принудила себя улыбнуться.

— Пожалуй,— сказала она,— доктор Амброзини не был бы в восторге, если бы вы посоветовали ему обратиться за вознаграждением к природе. Думаю, что он рассчитывает даже на благодарность, так как глаз...

— По-вашему, он сейчас в порядке?

Она заставила себя взглянуть на меня и тихо вымолвила, тотчас же опустив взгляд:

— Да... как будто совсем другой...

— Я или глаз?

— Вы.

— Может быть, из-за моей бородачки?

— Нет... Почему? Она вам идет...

Я вырвал бы себе этот глаз! Какое теперь имело для меня значение, что он на месте?

— И все же,— заметил я,— сам глаз тогда, возможно был счастливее. Сейчас он меня как-то раздражает... Ну да ладно. Пройдет.

Я направился к висевшему на стене шкафчику, где держал свои деньги. Адриана повернулась было к выходу, а я, глупец, стал ее удерживать. Но как можно было предвидеть то, что случилось? Во всех моих злоключениях, больших или маленьких, меня, как читатель мог убедиться, всегда выручала судьба. Вот каким образом она пришла мне на помощь и в данном случае.

Стараясь отпереть шкафчик, я заметил, что ключ не поворачивается в замке. Я стал осторожно нажимать и внезапно дверца поддалась: шкафчик не был заперт!

— Как! — вскричал я.— Неужели я его так оставил?

Заметив мое неожиданное волнение, Адриана смертельно побледнела. Я взглянул на нее и сказал:

— Но... Посмотрите сами, синьорина, сюда кто-то запускал руку!..

В шкафчике все было перевернуто. Мои банковые билеты были вынуты из кожаного бумажника, куда я их прятал, и разбросаны по всей полочке. Адриана в ужасе закрыла лицо руками. Я в лихорадочном волнении собрал кредитки и принялся считать их.

— Быть не может! — воскликнул я, сосчитав деньги, и провел дрожащей рукой по лбу, на котором выступил холодный пот.

Адриана едва не лишилась чувств. Она оперлась о стоявший неподалеку столик и каким-то чужим голосом спросила:

— Украли?

— Погодите... Погодите... Как это могло случиться? — перебил я.

Я снова принялся считать, яростно ломал себе пальцы, мял бумажки, словно мои усилия могли выдавить из оставшихся кредиток те, которых не хватало.

— Сколько? — спросила она, взглянув на меня с искаженным от ужаса и отвращения лицом, когда я кончил считать.

— Двенадцать... двенадцать тысяч лир... — пробормотал я. — Было шестьдесят пять... осталось пятьдесят три! Сосчитайте сами...

Не подхвати я вовремя бедную Адриану, она упала бы на пол, словно ее ударили обухом по голове. Я хотел усадить ее в кресло, однако ценой невероятного усилия она еще раз справилась с собою и, судорожно рыдая и вырываясь из моих рук, устремилась к двери:

— Я позову папу! Я позову папу!

— Нет! — закричал я в свою очередь, удерживая ее и усаживая в кресло. — Ради бога, не волнуйтесь так! Для меня это страшнее, чем потеря денег... Не надо, не надо! При чем тут вы? Ради бога, успокойтесь. Дайте мне сперва убедиться, почему... Да, шкафчик оказался незапертым, но я не могу, не хочу еще верить в такую огромную кражу... Ну будьте же умницей!

И, в последний раз проверяя себя, я снова стал пересчитывать кредитки. Хотя я был совершенно уверен в том, что все мои деньги находились тут, в шкафчике, я принялся искать повсюду, даже там, где уж никак не оставил бы такую сумму, разве что меня на миг поразило бы безумие.

И, чтобы принудить себя к этим поискам, которые чем дальше, тем все очевиднее представлялись мне глупыми и напрасными, я убеждал себя, что такая дерзкая кража была просто неправдоподобна. Но Адриана, закрыв лицо руками, все время стонала прерывающимся от рыданий голосом:

— Бесполезно, бесполезно! Вор... вор... Он ко всему еще и вор!.. Все было заранее обдуманно... Я что-то чуяла тогда, в темноте... У меня возникло подозрение, но я не хотела допускать мысль, что он способен дойти до та-кого...

Она имела в виду Папиано: никто, кроме него, не мог совершить кражу. Это сделал он с помощью своего брата во время спиритического сеанса.

— Зачем же,— горестно стонала она,— зачем вы держали такую сумму здесь, дома?

Я обернулся и тупо уставился на нее. Что я мог ответить? Мог ли я сказать, что обстоятельства, в которых я нахожусь, вынуждают меня держать все деньги при себе? Мог ли я сказать, что мне нельзя так или иначе пустить эти деньги в оборот, доверить их кому-либо? Что я даже не могу положить их в банк на свое имя: возникни какое-нибудь затруднение при получении их обратно — а это было бы вполне вероятно,— мне никак не удалось бы доказать своих прав на них.

И, чтобы не показаться глупцом, я вынужден был пойти на жестокость:

— Да разве я предполагал что-либо подобное?

Адриана опять закрыла лицо руками и в полном отчаянии простонала:

— Боже! Боже! Боже!

Сообразив, что, совершая кражу, вор, несомненно, испытывал сильный страх, я задумался над тем, что же из всего этого получится. Конечно, Папиано не мог предположить, что я заподозрю в краже испанского художника, или синьора Ансельмо, или синьорину Капорале, или служанку, или дух Макса. Он, несомненно, был уверен, что я заподозрю его, его с братом. И тем не менее он решился на это, словно бросая мне вызов.

А я? Что я-то мог сделать? Уличить его? Но каким образом? Я ничего не мог сделать, еще раз — ничего! Я чувствовал себя сраженным, уничтоженным. Это было второе открытие, сделанное мною в тот день. Я знал вора и не мог на него донести. Какое было у меня право на защиту со стороны закона? Я ведь стоял вне всяких законов. Кем я был? Да никем. По закону я не существовал. Любой человек мог обобратить меня. А я — молчок!

Но Папиано обо всем этом не было известно. Тогда каким же образом?..

— Как он мог это сделать? — произнес я, словно размышляя вслух.— Откуда в нем столько дерзости?

Адриана открыла лицо и с удивлением взглянула на меня, словно хотела сказать: «Вы не знаете?»

— Ах да! — воскликнул я, сразу все сообразив.

— Но вы об этом заявите! — воскликнула она, вскакивая с кресла.— Прошу вас, пустите меня, дайте мне позвать папу... Он сам немедленно заявит!

Мне удалось и на этот раз вовремя удержать ее. Не хватало только, чтобы вдобавок ко всему Адриана принудила меня еще заявить о краже! Разве недостаточно было, что у меня походя украли двенадцать тысяч лир? Мне еще нужно было опасаться, как бы эта кража не обнаружилась, надо было заклинять Адриану всеми святыми не кричать об этом во весь голос, не говорить об этом никому. Но что было делать? Адриана — я это отлично понимал — ни в коем случае не могла допустить, чтобы я промолчал сам и заставил молчать ее, не могла ни под каким видом принять то, что она считала великодушным поступком с моей стороны. На это было много причин: прежде всего ее любовь ко мне, затем честь дома, затем я сам и, наконец, ее ненависть к зятю.

Но сейчас я находился в таком ужасном положении, что ее справедливый гнев показался мне последней каплей в чаше. Я раздраженно закричал:

— Вы будете молчать, я вам приказываю. Вы никому ни слова не скажете, понятно? Вы что, хотите скандала?

— Нет! Нет! — тотчас же, плача, запротестовала несчастная Адриана.— Я просто хочу избавить свой дом от этого гнусного человека!

— Но он же станет отрицать! — возразил я.— И тогда все живущие в доме попадут под следствие... Понимаете?

— Да, отлично понимаю! — пылко бросила мне Адриана.— Пусть, пусть отрицает! Но у нас-то, я полагаю, найдется, что ему возразить. Вы должны о нем заявить, и не думайте о нас, не опасайтесь за нашу судьбу... Поверьте, вы окажете нам услугу, большую услугу! Отомстите за мою бедную сестру... Вы должны понять, синьор Меис, что для меня будет оскорблением, если вы этого не сделаете. Я хочу, хочу, чтобы вы о нем заявили. А если вы не сделаете этого, я сама сделаю! Что ж, вы хотите, чтобы мы с отцом терпели этот позор? Нет, нет, нет! И, кроме того...

Я сжал ее в объятиях. Я уж не думал об украденных деньгах, видя, как она страдает, безумствует, отчаивается. И, чтобы успокоить ее, я пообещал, что сделаю, как она хочет. Но при чем тут позор? Для нее, для ее отца никакого позора нет. Я ведь знаю, кто виновник. Папи-

ано подсчитал, что моя любовь к ней, уж во всяком случае, стоит двенадцати тысяч лир, а я должен это опровергать? Заявить о нем? Хорошо, я это сделаю, но не для себя, а ради того, чтобы избавить дом от негодяя. Сделаю, но при одном условии: прежде всего она должна успокоиться, перестать плакать — вот так. Ну! ну!.. Затем она должна поклясться мне всем самым дорогим для нее на свете, что никому ни слова не скажет о краже, пока я не посоветуюсь с адвокатом относительно всех последствий, которые могут иметь место и которых мы с ней в теперешнем возбужденном состоянии не можем предвидеть.

— Клянётесь? Тем, что вам всего дороже?

Она поклялась и сквозь слезы бросила мне взгляд, ясно давший мне понять, чем она клянется и что ей всего дороже.

Бедная Адриана!

И вот я остался один в своей комнате, потрясенный, убитый, уничтоженный, словно весь мир для меня опустел. Через сколько времени пришел я в себя? И в каком состоянии? Болван... Болван... Как болван пошел я осмотреть дверцу шкафчика — нет ли на ней каких-либо следов взлома. Нет, ни следа. Его потихоньку вскрыли с помощью отмычки, в то время как я так старательно прятал в кармане ключ... «Разве вы не ощущаете,— спросил меня синьор Палеари, когда кончился последний сеанс,— что у вас тоже кое-что взято?»

Двенадцать тысяч лир!

И снова овладела мной, раздавила меня мысль о моем полном бессилии, о моем совершенном ничтожестве. Действительно, мне и в голову не могло прийти, что меня могут обокрасть, а теперь я вынужден буду молчать и даже бояться, как бы кража не обнаружилась, словно не меня обворовали, а я сам совершил воровство. Двенадцать тысяч лир? Пустяки, пустяки! Меня могут обчистить до нитки, снять с меня последнюю рубашку. А я — молчок! Какое право я имею возвышать голос? Первое, что меня спросили бы: «А вы кто такой? Откуда у вас эти деньги?» Но даже если я не подам на него жалобу... Посмотрим-ка, что получится, если нынче вечером я схвачу его за шиворот и крикну: «Отдавай сейчас же деньги, которые ты взял отсюда, из шкафчика, воруга!» Он поднимет крик, станет отрицать, возможно, даже скажет: «Да, да, вот они, я взял их по ошибке...» Дай бог,

чтобы так!.. А может случиться, что он подаст на меня жалобу за клевету. Итак, я должен молчать! Помнится, я считал, что для меня будет большим счастьем, если меня сочтут мертвым. Так вот, я на самом деле умер. Умер? Хуже чем умер. Мне об этом напомнил синьор Ансельмо: мертвым уже не приходится умирать, а мне еще придется. Какая у меня может быть теперь жизнь? Скука, одиночество, неизбежная необходимость довольствоваться своим собственным обществом!

Я закрыл лицо руками и упал в кресло.

Если бы я хоть был негодяем! Тогда я, может быть, приспособился бы к существованию между небом и землей, к жизни по воле случая, постоянно подверженной риску, без мало-мальски твердой почвы под ногами, без прочной основы. Но я не был на это способен. Что же в таком случае делать? Уйти? Но куда? А Адриана? Что я, однако, мог для нее сделать? Ничего... Ничего... Уйти без всяких объяснений после всего, что произошло? Но Адриана усмотрит в краже причину моего ухода и скажет: «Он захотел спасти преступника, а меня, невинную, покарать». О нет, нет, бедная моя Адриана! Но, с другой стороны, раз я ничего не в силах предпринять, как мне сделать мою роль в отношении ее менее жалкой? Я неизбежно должен оказываться непоследовательным и жестоким. Непоследовательность и жестокость — такова уж моя участь. И я первый страдаю от этого. Даже Папиано, вор, совершая преступление, оказался более последовательным и менее жестоким, чем, к сожалению, вынужден быть я.

Он хотел получить Адриану, чтобы не возвращать тестю приданого своей первой жены. Я пожелал отнять у него Адриану? Значит, я и должен возратить приданое синьору Палеари.

Абсолютно последовательное рассуждение с точки зрения вора.

Вора? Да воровства, в сущности, и нет, ибо изъятие у меня этих денег окажется не столько реальным, сколько видимым,— ведь зная порядочность Адрианы, Папиано не мог предполагать, что я рассчитываю сделать ее своей любовницей. Я, конечно, хотел жениться на ней и, значит, получил бы свои деньги обратно уже в качестве приданого Адрианы, а заодно обзавелся бы честной и хорошей женошкой. Что мне еще нужно?

О, я был уверен, что если бы мы могли подождать

и если бы у Адрианы хватило сил сохранить тайну, мы стали бы свидетелями того, как Папиано, сдержав свое обещание, возвращает тестю приданое покойной жены еще до истечения годичного срока.

Правда, деньги эти не перешли бы ко мне, поскольку Адриана не могла стать моей, но они достались бы ей самой, если бы она сумела промолчать, как я ей советовал, и если бы я мог задержаться здесь еще на некоторое время. Словом, мне надо было только проявить достаточно ловкости, и тогда к Адриане, на худой конец, вернулось хотя бы ее приданое.

Рассуждая таким образом, я немного успокоился — во всяком случае, за нее. Но не за себя! Для меня оставались только грубая очевидность обнаруженной кражи и крах моих иллюзий, а по сравнению с этим потеря двенадцати тысяч лир была просто пустяком, даже, пожалуй благом, если она могла обернуться к выгоде Адрианы.

Я понял, что навеки выброшен из жизни без всякой возможности вернуться в нее. Перетерпев и это испытание, я с омраченной душой уйду из дома, где уже прижился, обрел немного покоя, свил себе нечто вроде гнезда. Теперь я должен опять блуждать по дорогам, бессмысленно, бесцельно, в пустоте. Страх снова запутаться в сетях жизни заставит меня еще больше чуждаться людей; я буду одинок, по-настоящему одинок, я стану подозрителен, угрюм. И для меня возобновятся муки Тавтала.

Как безумный выбежал я из дома и лишь спустя некоторое время пришел в себя на виа Фламиниа, у Понте Молле. Зачем я сюда забрался? Я огляделся по сторонам; затем взор мой задержался на моей собственной тени, с минуту я созерцал эту тень, а потом яростно поднял ногу, чтобы растоптать ее. Но разве я в силах был растоптать свою тень?

И кто из нас был тенью — я или она?

Две тени!

Обе они повержены на землю. И кто угодно может по нам пройти, расплющить мне голову, растоптать мое сердце. А я ни гугу. И тень тоже ни гугу!

Быть тенью мертвеца — вот к чему свелась моя жизнь... Проехала телега. Я нарочно не двинулся с места. По тени моей прошли сперва четыре лошадиные ноги, потом колеса.

— Так, так, покрепче, по самой шее! Ого, и ты тоже,

собачка? Вот, вот, так и надо! Поднимай лапу, поднимай лапу!

Я разразился злорадным хохотом. Перепуганный песик улепетнул. Возница обернулся и посмотрел на меня. Тогда я двинулся вперед. Тень шла рядом, опережая меня. Я зашагал быстрее, с каким-то сладострастием бросая ее под другие колеса, под ноги пешеходов. Мною овладело неистовое озлобление, когтями впившееся в мои внутренности. Под конец я был уже не в силах видеть свою тень перед собой, мне хотелось стряхнуть ее с ног. Я повернулся: теперь она была позади меня.

«А если я побегу,— подумал я,— она станет меня преследовать».

Я изо всех сил ударил себя по лбу, боясь, что схожу с ума, что у меня возникает навязчивая идея. Ну да! Так оно и есть! Эта тень — символ, призрак моей жизни. Это я сам лежу на земле, и чужие ноги топчут меня как хотят. Вот что осталось от Маттиа Паскаля, погибшего в Стиа,— тень на улицах Рима.

У этой тени есть сердце, а она не может любить. Есть у этой тени и деньги, но каждый может обокрасть ее. Есть у нее и голова, но только для того, чтобы думать и понимать, что она — голова тени, а не тень головы. Да, именно так.

Тогда я ощутил ее как нечто живое, и мне стало за нее больно, словно она и вправду раздавлена ногами лошади и колесами телеги. Я уже не хотел, чтобы она продолжала лежать на земле под ногами у всех. Мимо проходил трамвай. Я вскочил в него.

А когда вернулся домой...

16. ПОРТРЕТ МИНЕРВЫ

Еще до того как мне открыли дверь, я догадался, что в доме, по-видимому, произошло нечто серьезное: до меня донеслись громкие голоса Папиано и синьора Палери. Навстречу мне попала взбудораженная синьорина Капорале.

— Так это правда? Двенадцать тысяч лир?

Я остановился, ошеломленный, задыхающийся. В тот же миг через прихожую пробежал Шипионе Папиано, эпилептик — бледный, босой, без пиджака; в руках он

держал ботинки. Из глубины дома доносились крики его брата.

Меня охватило сильнейшее раздражение против Адрианы: она все-таки проговорилась, несмотря на мой запрет, несмотря на свое обещание.

— Кто это болтает? — крикнул я синьорине Капорале.— Неправда: деньги я нашел.

Синьорина Капорале изумленно взглянула на меня.

— Деньги? Нашли? Правда? Слава тебе господи! — вскричала она, всплеснув руками, и тотчас же побежала с радостным известием в столовую, где орали Папиано с синьором Палеари и плакала Адриана.— Нашлись! Нашлись! Пришел синьор Меис! Он нашел деньги!

— Как!

— Нашлись?

— Неужто?

Все трое были поражены. Но у Адрианы и ее отца щеки пылали, а искаженное лицо Папиано покрывала землистая бледность.

С минуту я пристально смотрел на него. Я, наверное, был еще бледнее и весь дрожал. Он опустил глаза, словно охваченный ужасом, пиджак брата выпал у него из рук. Я подошел к нему так близко, что мы почти столкнулись, и протянул руку:

— Простите меня, пожалуйста. Прошу прощения... у вас и у всех.

— Нет! — вскричала возмущенная Адриана, но тут же зажала себе рот платком.

Папиано взглянул на нее и не посмел пожать мне руку.

— Прошу прощения...— повторил я и дотронулся до его дрожащей руки. Она была как рука мертвеца, и такими же были глаза — погасшие, мутные.

— Я крайне огорчен,— добавил я,— что, сам того не желая, причинил всем вам столько беспокойства и неприятностей.

— Да нет же... то есть да... по правде сказать,— бормотал синьор Палеари,— ведь такого... да, такого не могло случиться, черт побери! Я бесконечно счастлив, синьор Меис, бесконечно счастлив, что вы нашли эти деньги, ибо...

Папиано, отдуваясь, провел обеими руками по вспотевшему лбу и по волосам, отвернулся и уставился на балконную дверь.

— Со мной случилось как в известном анекдоте,— продолжал я, заставляя себя улыбнуться.— Я искал осла, а оказывается, сидел на нем. Эти двенадцать тысяч лир находились при мне, в бумажнике.

Тут уж Адриана не сдержалась.

— Но ведь вы же,— сказала она,— в моем присутствии прежде всего заглянули в бумажник; если там, в шкафчике...

— Совершенно верно, синьорина,— прервал я ее с холодной и суровой твердостью.— Но я, без сомнения, плохо искал, раз они все-таки нашлись... У вас я особо прошу извинения, так как из-за моей небрежности вы взволновались больше всех. Но я надеюсь, что...

— Нет! Нет! Нет! — закричала Адриана. Она рыдалась и выбежала из комнаты, вслед за ней вышла и синьорина Капорале.

— Не понимаю...— удивился синьор Палеари.

Папиано с негодующим видом обернулся к нему:

— Все равно я сегодня же ухожу... По-видимому, теперь уже не понадобится... не понадобится...

Он смолк, словно вдруг задохнулся. Он повернулся было ко мне, но у него не хватало духу посмотреть мне в глаза.

— Я... я, верите ли, даже не сумел ничего возразить, когда меня... так вот, застали врасплох... Я набросился на брата... Ведь он в таком состоянии... больной, безответственный... Кто знает! Можно было представить себе, что... Я притащил его сюда... Произошла дикая сцена! Я вынужден был раздеть его... стал прежде всего обыскивать его одежду, вплоть до ботинок... А он... Ах!

В горле его заклокотало рыдание, на глазах выступили слезы. И, задыхаясь, словно от непосильного душевного смятения, он добавил:

— Так что вы сами видели... Но теперь, раз уж вы... После всего этого я должен уйти!

— Да ведь ничего не случилось! — возразил я.— Уходить из-за меня? Нет, вы должны оставаться здесь. Гораздо лучше будет, если уйду я.

— Что вы, синьор Меис! — огорченным голосом воскликнул синьор Палеари.

Тогда и Папиано, стараясь подавить рыдания, отрицательно замахал рукой. Потом он вымолвил:

— Я и без того должен был... должен был уйти. И все-то вообще случилось лишь потому, что... что я,

ничего не подозревая, объявил, что собираюсь перебраться из-за своего брата, которого уже нельзя держать дома... И маркиз даже дал мне... вот оно, тут... письмо к директору лечебницы в Неаполе, куда мне надо поехать и за другими нужными документами... Тогда моя свояченица, которая к вам... вполне заслуженно... так хорошо относится, внезапно принялась говорить, что никто не имеет права покидать дом... что мы все должны оставаться на месте... так как вы... я уж не знаю... обнаружили... Это она заявила мне, своему зятю! Обратилась прямо ко мне, может быть, потому, что я, человек бедный, но порядочный, должен возместить своему тестю...

— Кто об этом думает! — вскричал, прерывая его, синьор Палеари.

— Нет! — гордо возразил Папиано.— Я-то об этом думаю! Много думаю, не сомневайтесь. А теперь я уожу... Бедный, бедный Шипионе!

И уж не в силах более сдерживаться, он отчаянно разрыдался.

— Ну хорошо,— вмешался пораженный и растроганный Палеари,— при чем же тут он?

— Несчастный мой брат!— воскликнул Папиано в таком искреннем порыве, что даже меня пронзила жалость.

В этом вопле я услышал голос раскаяния, которое в тот миг должен был ощущать Папиано, использовавший своего брата с намерением свалить на него ответственность за кражу, если бы я подал жалобу, и только что оскорбивший его публичным обыском.

Он-то лучше всех знал, что на самом деле я не мог найти деньги, которые он у меня украл. Мое неожиданное заявление спасало его в ту минуту, когда он, считая, что все погибло, обвинил во всем брата или, во всяком случае, постарался изобразить дело таким образом (все это, конечно, было заранее обдуманно), что только брат мог совершить кражу. Но этим же моим заявлением он был в полном смысле слова раздавлен. Теперь он плакал, понуждаемый неудержимой потребностью дать выход жестокому душевному потрясению, а может быть, еще и потому, что лишь так, плача, он мог стоять лицом к лицу со мной. Эти рыдания как бы означали, что он падает передо мною ниц, становится на колени, но при условии, что я и дальше стану утверждать, будто нашел деньги. Если же, увидев его унижение, я пожелал бы

воспользоваться этим и пошел бы на попятный, он дал бы мне самый яростный отпор. Сам он — это подразумевалось — ничего не знал и не должен был знать о краже; таким образом, мое заявление спасало только его брата, который в конечном счете, вероятно, и не пострадал бы нисколько, так как власти посчитались бы с его болезненным состоянием. Папиано же, со своей стороны, давал обязательство, на что уже намекал и раньше, вернуть приданое синьору Палеари.

Вот какой смысл имели, на мой взгляд, его рыдания. Уступая уговорам синьора Ансельмо и даже моим, он в конце концов успокоился и заявил, что возвратится из Неаполя, как только устроит брата в лечебницу, «выйдет из некоего торгового предприятия, которое он недавно основал там в компании с одним своим приятелем», и разыщет документы, которые потребовались маркизу.

— Да, кстати,— закончил он свою речь, обращаясь ко мне,— совсем забыл: синьор маркиз просил меня передать, что если вам это удобно, сегодня... вместе с моим тестем и Адрианой...

— Прекрасно, отлично! — вскричал синьор Ансельмо, прерывая его.— Мы все придем... Великолепно! Мне кажется, сейчас у нас есть все основания повеселиться, черт побери! Как вы считаете, синьор Адриано?

— Что до меня,— сказал я, разводя руками.

— Ну, тогда около четырех... Идет? — предложил Папиано, утирая напоследок глаза.

Я ушел в свою комнату. Мысли мои внезапно устремились к Адриане, которая после моего заявления выбежала, рыдая, из столовой. А что, если она явится требовать объяснений? Конечно, она не верит, будто я нашел деньги. Что же она должна в таком случае подумать? Что я, упорно отрицая кражу, хочу наказать ее за неверность слову? Но почему? Очевидно, потому, что от адвоката, к которому я будто бы намеревался обратиться за советом, прежде чем заявить о краже в полицию, я узнал, что и она, и все живущие в доме окажутся под подозрением. Ну и пусть! Разве она не сказала мне, что охотно пойдет на скандал, связанный с разбором этого дела? Да, но я — это было ясно — не согласился, предпочтя пожертвовать двенадцатью тысячами лир... И разве не придет ей в голову, что это с моей стороны великодушие, жертва, на которую я иду из любви к ней? Вот еще одна ложь,

к которой принуждало меня мое двусмысленное положение, тошнотворная ложь, которая изображала меня способным на утонченнейшее, деликатнейшее доказательство любви и приписывала мне великодушие тем более бескорыстное, что Адриана не просила о нем и не желала его. Но нет, нет, нет! С чего это я расфантазировался? Следуя логике моей необходимой и неизбежной лжи, она должна прийти к совсем иным выводам. Какое там великодушие? Какая жертва? Какие доказательства любви? Неужели я буду и впредь морочить голову несчастной девушке? Я обязан подавить, задушить свою страсть. Я не смею обратиться к Адриане ни с одним словом любви, не смею бросить на нее ни одного нежного взгляда. Что же тогда получится? Как ей согласовать мое кажущееся великодушие с той сдержанностью, к которой я отныне обязан принудить себя в ее присутствии? Выходит, что сила обстоятельств вынуждает меня воспользоваться этой кражей, о которой Адриана рассказала против моей воли и которую я опроверг, для того чтобы порвать всякие отношения с девушкой. Но какой логический вывод следует из всего этого? Либо я решил стерпеть кражу денег,— но тогда почему, зная вора, не выдаю его, а, напротив, отнимаю у нее свою любовь, словно она сама повинна в воровстве? Либо я и впрямь нашел деньги,— но тогда почему же не продолжаю любить ее?

Я задыхался от тошноты, отвращения, гнева, ненависти к самому себе. Мне следовало хотя бы сказать ей, что тут нет с моей стороны никакого великодушия, что я просто не имею ни малейшей возможности заявить о краже... Но тогда я должен сознаться — по какой причине. Уж не украл ли я сам эти деньги, как и те, что остались у меня? Она может предположить даже это... Или я должен изобразить себя беглецом, скрывающимся от властей, который вынужден таиться во мраке и не имеет права связать судьбу женщины со своей судьбой? Снова лгать бедной девочке... Но, с другой стороны, мог ли я сказать ей правду, правду, которая мне самому казалась невероятной, нелепой побасенкой, бессмысленным сном? Неужели для того, чтобы не солгать и теперь, я должен признаться в том, что лгал все время? Вот к чему приведет меня раскрытие истинного моего положения. А какой в этом смысл? Не получится ни оправдания для меня, ни лекарства для нее.

И все же в ярости и отчаянии я, может быть, открыл

бы все Адриане, не пошли она ко мне синьорину Капорале. Пусть бы она сама вошла в мою комнату и объяснила бы по крайней мере, почему она нарушила свое обещание.

Впрочем, причина мне была уже известна — ведь я узнал ее от самого Папиано. Синьорина Капорале добавила, что Адриана безутешна.

— Почему же? — спросил я с деланным безразличием.

— Потому что не верит, что вы на самом деле нашли деньги.

И тут у меня возникла мысль (она, впрочем, вполне соответствовала моему душевному состоянию, моему отращению к самому себе) заставить Адриану потерять ко мне всякое уважение, разлюбить меня, а для этого — выставить себя фальшивым, жестоким, легкомысленным, корыстным... Тем самым я наказал бы себя за причиненное ей зло. В данный момент я, конечно, нанес бы ей еще один удар, но с благой целью — чтобы излечить ее.

— Не верит? Как так не верит? — сказал я синьорине Капорале с грустной усмешкой. — Двенадцать тысяч лир, синьорина... Это же не песок! Неужели она воображает, что я был бы так спокоен, если бы у меня их украли на самом деле?

— Но Адриана сказала мне... — попыталась возразить синьорина Капорале.

— Вздор! Вздор! — оборвал я. — Да, правда, мне сперва почудилось... Но напомните синьорине Адриане, что я не допускал возможности кражи. Так оно и оказалось! К тому же зачем было бы мне говорить, что я нашел деньги, если бы я их действительно не нашел?

Синьорина Капорале пожала плечами:

— Вероятно, Адриана думает, что у вас есть особая причина...

— Да нет же, нет! — торопливо прервал я ее. — Речь идет, повторяю, о двенадцати тысячах лир, синьорина. Были бы это тридцать, сорок лир — ладно уж! Поверьте, на такое великодушие я неспособен... Черта с два! Для этого надо быть героем.

Когда синьорина Капорале ушла, чтобы передать Адриане мои слова, я заломил руки и впился в них зубами. Следовало ли мне выйти из положения именно таким образом? Воспользоваться этой кражей, словно похищенными у меня деньгами я хотел заплатить ей, возместить

обманутые надежды? О, какой низменный способ действовать! Она, разумеется, застонет от гнева, станет презирать меня, не понимая, что ее боль — также и моя. Ну что ж, пусть так и будет! Пусть она ненавидит и презирает меня, как я себя ненавижу и презираю. И для того, чтобы еще жарче распалить ее гнев, углубить ее презрение, я стану особенно ласков с Папиано, ее недругом, постараюсь на глазах у нее искупить возникшее было против него подозрение... Да, да, я приведу в полнейшее изумление даже самого вора, выставлю себя в глазах окружающих сумасшедшим. Больше того. Мы ведь собираемся в гости к маркизу Джильо? Так вот, с сегодняшнего дня я начну ухаживать за синьориной Пантогада.

— Ты станешь еще больше презирать меня, Адриана! — стонал я, ворочаясь на кровати. — Что еще, что еще могу я для тебя сделать?

Едва пробило четыре, ко мне в дверь постучался синьор Ансельмо.

— Сейчас, — сказал я, надевая пальто. — Я готов.

— Вы так и пойдете? — спросил синьор Палеари, с удивлением глядя на меня.

— А в чем дело? — спросил я.

И тут я заметил, что у меня на голове дорожная шапчонка, которую я всегда носил дома. Я сунул ее в карман и снял с вешалки шляпу, а синьор Ансельмо смеялся, смеялся, смеялся, словно сам он...

— Над чем это вы смеетесь, синьор Ансельмо?

— Посмотрите-ка, в каком виде я иду! — ответил он, все еще смеясь и указывая мне на свои домашние туфли. — Ну, выходите, выходите. Там Адриана...

— Она тоже идет? — спросил я.

— Она не хотела, — произнес, направляясь к себе в комнату, синьор Палеари, — но я ее уговорил. Выходите: она уже готова и ждет нас в столовой.

Каким суровым, осуждающим взглядом окинула меня синьорина Капорале, когда я вышел в столовую! Она, столько выстрадавшая из-за любви, она, которую так часто утешала ласковая, ничего не ведавшая девочка, теперь, когда Адриана тоже познала горе, тоже получила рану, в свою очередь стремилась великодушно и заботливо утешить ее. И она возмущалась мною: ей казалось несправедливым, что из-за меня страдает такое доброе и прелестное создание. Она сама — куда ни шло: она ведь и некрасивая, и недобрая — значит, если мужчины к ней

жестоки, у них есть хоть тень оправдания. Но как можно причинять боль Адриане?

Вот что говорил ее взгляд, побуждая меня посмотреть на ту, кого я заставлял страдать.

Как она бледна! По глазам видно, что она плакала. Кто знает, каких усилий стоило ей при ее душевном смятении заставить себя пойти в гости вместе со мной...

Несмотря на мрачное настроение, в котором я шел к маркизу Джильо д'Аулетте, дом и хозяин его вызывали у меня некоторое любопытство.

Я знал, что маркиз обосновался в Риме, потому что видел отныне лишь один способ возродить Королевство обеих Сицилий — вести борьбу за восстановление светской власти папы: если бы глава церкви вновь вернул себе Рим, единая Италия распалась бы, и тогда... кто знает! Пророчествовать маркиз не решался. В настоящий момент он ясно видел свою задачу — беспощадная борьба вместе с клерикалами. И дом его посещали наиболее непримиримые прелаты курии, наиболее пылкие рыцари черной партии.

В этот день, однако, в просторной, роскошно обставленной гостиной мы не застали никого. Впрочем, нет. Посреди комнаты стоял мольберт, а на нем незаконченная картина, долженствовавшая представлять собой портрет Минервы — Пепитиной болонки: черная собачонка развалилась на белом кресле, вытянувшись и положив голову на передние лапы.

— Творение художника Бернальдеса, — важно объявил Папиано, словно представлял нам кого-то и ждал от нас низкого поклона.

Первыми в гостиной появились Пепита Пантогада и ее гувернантка, синьора Кандида. Прошлый раз я видел обеих в полумраке моей комнаты; теперь, при дневном свете, синьорина Пантогада показалась мне другой, правда, не во всем, однако нос у нее был не тот... Возможно ли, что тогда, у нас в доме, нос у нее был такой же? Мне она рисовалась с маленьким, дерзко приподнятым носиком, а оказалось, что нос у нее орлиный и довольно крупный. Впрочем, она была очень хороша собой: брюнетка со сверкающими глазами, блестящими, совершенно черными вьющимися волосами, тонким, резко очерченным ярко-алым ртом. Черное платье с белыми гороши-

нами облегалo ее стройную, красивую фигуру. Кроткая прелесть блондинки Адрианы в сравнении с нею казалась бледной.

И наконец-то я понял, что за штука на голове у синьоры Кандиды! Великолепный рыжий завитой парик, а на нем большой голубой шелковый платок, почти шаль, подвязанный под подбородком. В этой яркой раме ее худенькое, дряблoе личико выглядело особенно бесцветным, хотя было весьма щедро умащено кремом, набелено и нарумянено.

Между тем старая болонка Минерва, заливаясь хриплым, надсадным лаем, не давала нам как следует поздороваться с хозяевами. Правда, бедная собачонка лаяла отнюдь не на нас. Она лаяла на мольберт, на белое кресло, которое, наверно, было для нее местом пыток; лай этот был как бы гневным протестом измученной души. Она хотела бы выгнать из гостиной это проклятое приспособление на трех длинных ногах. Но поскольку оно не трогалось с места, неподвижное, угрожающее, собачонка то с лаем отступала, то прыгала на него, скаля зубы, то опять в бешенстве отбегала.

Минерва со своим маленьким, коренастым, толстым тельцем на слишком тонких лапках была поистине безобразна: глаза у нее уже потускнели от старости, шерсть на голове выцвела, а на спине, у самого хвоста, просто вылезла из-за того, что Минерва привыкла исступленно чесаться о низ шкафов, о перекладыни стульев, где бы она ни находилась. Я-то кое-что об этом знал.

Пепита одним махом схватила ее за шиворот и бросила на руки синьоре Кандиде, крикнув при этом:

— Замолчи!

В этот момент в гостиную быстрым шагом вошел дон Иньяцио Джильо д'Аулетта. Согбенный, почти скрюченный, он бросился в свое кресло у окна и, усевшись с зажатой между ног тростью, глубоко вздохнул и улыбнулся какой-то смертельно усталой улыбкой. Его бритое, изможденное, изрезанное вертикальными морщинками лицо было мертвенно-бледным, глаза же, напротив, горели живым, почти юношеским огнем. Вдоль щек и на висках у него тянулись странно густые пучки волос, похожие на влажный пепел.

Он весьма сердечно приветствовал нас и с резким неаполитанским акцентом попросил своего секретаря показать мне собранные в гостиной памятные вещи,

свидетельствовавшие о верности маркиза Бурбонской династии. Когда мы подошли к картинке, прикрытой зеленой занавеской, на которой золотом были вышиты слова: «Я не скрываю, а сохраняю; подними меня и прочти», он попросил Папиано снять картину со стены и подать ему. Это оказалось вставленное в рамку под стекло письмо Пьетро Уллоа, который в сентябре 1860 года, то есть в последние дни существования Неаполитанского королевства, приглашал маркиза Джильо д'Аулетту стать членом министерства, которое, впрочем, уже не успело сформироваться. Тут же рядом находился черновик ответа, в котором маркиз заявлял о своем согласии,— гордое письмо, клеймившее позором всех, кто отказался принять власть и ответственность в момент величайшей опасности, тревоги и всеобщего смятения перед лицом врага, авантюриста Гарибальди, стоявшего почти у самых ворот Неаполя.

Громким голосом читая этот документ, старик так загорелся и взволновался, что я не мог не восхищаться им, хотя испытывал совершенно противоположные чувства. По-своему он тоже был героем. И я получил еще одно доказательство его героизма, когда он сам соблаговолил рассказать мне историю позолоченной деревянной лилии, находившейся тут же в гостиной.

Утром 5 сентября 1860 года король выехал из своего дворца в Неаполе в открытой коляске в сопровождении королевы и двух придворных. Когда коляска доехала до улицы Кьяйя, ей из-за скопления в этом месте телег и экипажей пришлось остановиться у аптеки, на вывеске которой были изображены золотые лилии. Приставленная к вывеске лестница загоразивала путь. Взобравшись на эту лестницу, несколько рабочих сдирали с вывески лилии. Король заметил это и движением руки указал королеве на трусливую предосторожность аптекаря, который раньше ходатайствовал о чести украсить свое заведение королевской эмблемой. Маркиз д'Аулетта как раз проходил мимо. Охваченный яростью и возмущением, он ворвался в аптеку, схватил подлого труса за ворот пиджака, показал ему короля, сидевшего в коляске, потом плюнул ему в лицо и, высоко подняв одну из сорванных с вывески лилий, закричал посреди густой толпы народа: «Да здравствует король!».

Теперь эта деревянная лилия напоминала маркизу здесь, в гостиной, то печальное сентябрьское утро и один из последних выездов его короля на улицы Неаполя. И он

гордился ею не меньше, чем своим золотым камергерским ключом, знаками ордена святого Януария и многими другими орденами и наградами, выставленными напоказ в этой гостиной под двумя большими портретами маслом — короля Фердинанда и короля Франциска II.

Вскоре после этого, приводя в исполнение свой грустный замысел, я оставил маркиза в обществе синьора Палеари и Папиано и подсел к Пепите.

Мне сразу бросилось в глаза, что она охвачена нетерпением и нервничает. Прежде всего она спросила меня, который час.

— Половина пятого? Отлично! Отлично!

Что эта «половина пятого» ей почему-то не нравилась, я заключил из произнесенных сквозь зубы: «Отлично! Отлично!», а затем из ее весьма бурной и даже вызывающей речи, в которой она нападала на Италию и особенно на Рим, не в меру похваляющиеся своим прошлым. Между прочим, она заявила мне, что у них в Испании имеется también¹ такой же Колизей, как и у нас, и столь же древний, но они не придают ему ни малейшего значения.

— Piedra muerta!²

Для них, испанцев, гораздо важнее plaza de toros³. Да, а лично для нее важнее всех знаменитых произведений античного искусства портрет Минервы работы художника Мануэля Бернальдеса, который что-то запаздывает. Нетерпение Пепиты вызывалось только этим, и теперь оно дошло до предела. Говоря, она все время дрожала, быстро потирала пальцем нос, кусала губы, сжимала и разжимала пальцы, а глаза ее устремлялись на дверь.

Наконец слуга доложил о Бернальдесе, и тот появился разгоряченный, потный, словно он не шел, а бежал. Пепита тотчас же повернулась к нему спиной и, сделав над собой усилие, приняла холодно-равнодушный вид. Но когда он, поздоровавшись с маркизом, подошел к нам, то есть, вернее, к ней, и, заговорив с ней на своем родном языке, стал извиняться за опоздание, она утратила сдержанность и обрушила на него целый поток слов:

— Прежде всего говорите по-итальянски, porque aquí⁴ мы в Риме и у нас эти господа, которые не

¹ Также (исп.).

² Мертвый камень (исп.).

³ Арена для боя быков (исп.).

⁴ Так как здесь (исп.).

понимают испанского языка, и, по-моему, неприлично, чтобы вы со мной говорили по-испански. А потом, знаете, что опоздание ваше мне совершенно безразлично, и вы можете не извиняться.

До крайности уязвленный Бернальдес растерянно улыбнулся и поклонился Пепите, а затем спросил, можно ли ему поработать над портретом, пока еще светло.

— Да пожалуйста! — ответила она с тем же видом и тем же тоном. — *Вы puede pintar* ¹ без меня или *también* отложить работу, если угодно.

Мануэль Бернальдес снова наклонил голову и повернулся к синьоре Кандиде, все еще державшей на руках болонку.

Для Минервы возобновилась пытка. Но еще более жестокой пытке подвергался ее палач. Чтобы наказать его за опоздание, Пепита до того раскокетничалась со мной, что я уже стал находить это излишним для моих целей. Взглянув несколько раз украдкой на Адриану, я понял, до какой степени она страдает. Словом, мучения выпали не только на долю Бернальдеса и Минервы — их хватило и Адриане, и мне. Лицо у меня горело, словно я постепенно пьянел от обиды, которую — я прекрасно сознавал это — наносил несчастному юнцу. Однако он не вызывал у меня жалости. Жалко мне было здесь лишь одну Адриану. А так как я должен был причинять ей боль, мне было совершенно все равно, что заодно страдает и он. Мне даже казалось, что чем больше мучится он, тем меньше должна страдать Адриана. Но мало-помалу насилие, которое каждый из нас совершал над самим собой, дошло до того, что всеобщее напряжение неминуемо должно было привести к взрыву.

Повод к нему дала Минерва. Так как сегодня хозяин взгляд не держал ее в страхе божьем, она, едва только художник переводил глаза с нее на полотно, потихоньку меняла позу, засовывала мордочку и лапки в щель между спинкой и сиденьем кресла, словно старалась забраться туда и спрятаться, и с пленительной откровенностью выставляла перед художником свой зад, похожий на букву о, помахивая как бы в насмешку высоко задраным хвостиком. Уже не раз синьора Кандида укладывала ее на место в прежней позе.

Бернальдес в ожидании пыхтел, ловил на лету обрыв-

¹ Можете писать (*исп.*).

ки того, что я говорил Пепите, и, вполголоса бормоча себе под нос, комментировал мои слова. Заметив это, я уже несколько раз порывался сказать ему: «Да говорите же громче!» В конце концов он потерял терпение и крикнул Пепите:

— Заставьте же по крайней мере эту тварь лежать смиренно!

— Тварь? Тварь? — в бурном негодовании выпалила Пепита, размахивая руками.— Может быть, она и тварь, но не вам это говорить!

— Почему знать? Вдруг бедняжка все понимает,— заметил я в оправдание Минервы, обращаясь к Бернальдесу.

Фразу мою действительно можно было понять по-разному. Я сообразил это лишь после того, как произнес ее. Я-то хотел сказать: «Почему знать? Вдруг она понимает, что с ней делают». Но Бернальдес придал моим словам другой смысл, пришел в ярость и, глядя мне прямо в глаза, бросил:

— Вы-то уже доказали, что ничего не понимаете!

Он смотрел на меня так упорно и вызывающе, да и сам я был так возбужден, что поневоле отпарировал:

— Но я прекрасно понимаю, дорогой синьор, что вы, пожалуй, станете великим художником...

— В чем дело? — спросил маркиз, заметив, что разговор наш принимает враждебный характер.

Совершенно перестав владеть собой, Бернальдес встал и вплотную подошел ко мне:

— Великим художником?.. Прекратите это издевательство!

— Да, великим художником, но, сдастся мне, плохо воспитанным и нагоняющим страх на маленьких собачек,— решительно и надменно отрезал я.

— Хорошо,— произнес он.— Посмотрим, только ли на одних собачек!

С этими словами он удалился.

У Пепиты неожиданно вырвалось странное судорожное рыдание, и она без чувств упала на руки синьоры Кандиды и Папиано.

Среди наступившего смятения, наблюдая вместе со всеми другими за синьориной Пантогада, которую положили на диванчик, я вдруг почувствовал, что меня схватили за руку, и вновь увидел перед собой вернувшегося в гостиную Бернальдеса. Я вовремя перехватил

его занесенную на меня руку и изо всех сил оттолкнул его, но он еще раз бросился на меня, и ему удалось слегка коснуться моего лица. Я в бешенстве кинулся на обидчика, но подоспевшие Папиано и синьор Палеари удержали меня, а Бернальдес выбежал из комнаты, крикнув на прощание:

— Можете считать себя оскорбленным! Я к вашим услугам! Здесь знают мой адрес.

Маркиз, весь дрожа, привстал с кресла и что-то кричал моему оскорбителю, я же старался вырваться из рук синьора Палеари и Папиано, которые не давали мне устремиться вдогонку за Бернальдесом. Маркиз тоже старался успокоить меня, внушая мне, как и подобало дворянину, что я должен послать двух друзей к этому негодяю, осмелившемуся выказать такое неуважение к его, маркиза, дому, и хорошенько проучить его.

Дрожа всем телом и задыхаясь, я выдавил лишь несколько слов, извинился за неприятный инцидент и поспешно удалился. Синьор Палеари и Папиано последовали за мной, Адриана же осталась с Пепитой, которую без сознания унесли из гостиной. Теперь мне оставалось лишь просить вора, обокравшего меня, быть моим секундантом. Да, его и синьора Палеари. К кому я мог еще обратиться?

— Я? — воскликнул с изумленным и наивным видом синьор Ансельмо. — Да что вы? Нет, нет! Вы это серьезно? — Он улыбнулся. — Я в таких вещах ничего не понимаю, синьор Меис. Полно, полно! Все это, вы уж меня извините, ребячество, глупости...

— Нет, вы это сделаете для меня! — громко крикнул я, чувствуя себя не в силах вступить с ним в длительный спор. — Вы со своим зятем отправитесь к этому господину...

— Да никуда я не пойду! Что вы такое говорите! — прервал он меня. — Просите о любой другой услуге — я на все готов, но только не на это. Прежде всего, такие дела не для меня; кроме того, я уже сказал вам — это чистейшее ребячество. Незачем придавать значение... Все вздор...

— Нет, нет, я с вами не согласен! — прервал его Папиано, видя мое неистовство. — Это не вздор! Синьор Меис имеет полное право требовать удовлетворения. Я сказал бы даже, что это его долг. Да, он должен, должен...

— Тогда пойдете вы с кем-нибудь из своих знакомых,— объявил я, не ожидая от него отказа.

Но Папиано с огорченным видом развел руками:

— Поверьте, я всем сердцем хотел бы это сделать!

— Но не сделаете?..— с силой крикнул я тут же, посреди улицы.

— Тише, синьор Меис,— взмолился он.— Посудите сами... Войдите в мое положение, жалкое положение зависимого человека, ничтожного секретаря маркиза. Я ведь слуга, только слуга...

— Что тут понимать? Ведь сам маркиз... Вы же слышали?

— Так точно, так точно! Но завтра? Он же клерикал... Перед лицом своей партии... Его секретарь вмешивается в дела чести... Ах, бог ты мой, вы и понятия не имеете о моем жалком положении. К тому же вы сами видели, что такое эта ветреная особа. Она же как кошка влюблена в этого мерзавца художника. Завтра они помирятся, и тогда, извините меня, что же мне-то делать? Я окажусь в дураках! Подумайте, синьор Меис, войдите в мое положение... Уверю вас, все это правда.

— Значит, вы оставляете меня на произвол судьбы в таком скверном деле? — с отчаянием выпалил я еще раз.— Я же никого здесь, в Риме, не знаю!

— Но средство есть! Есть средство! — поторопился успокоить меня Папиано.— Я как раз хотел дать вам совет. И я и мой тесть только запутаем все, мы тут не годимся... Вы совершенно правы, что дрожите от гнева, согласен: кровь не вода. Так вот, вам надо немедленно обратиться к двум любым офицерам королевской армии — в деле чести они не откажутся быть свидетелями такого достойного человека, как вы. Вы представитесь им, расскажете о случившемся... Им не впервой оказывать такую услугу приезжему.

Мы подошли к дому.

— Хорошо! — сказал я Папиано и, оставив его вдвоём с тестем, мрачно пошел куда глаза глядят.

Еще раз овладела мной мучительная мысль о полнейшем моем бессилии. Разве мог я в моем положении вызвать кого-нибудь на дуэль? Неужели мне еще не до конца ясно, что я ничего, решительно ничего не в силах предпринять? Два офицера? Хорошенькое дело! Прежде всего они с полным правом пожелают узнать, с кем имеют дело. Да ведь мне можно плюнуть в лицо,

надавать оплеух, колотить меня палками, а я еще буду просить, чтобы били покрепче, но только без криков и лишнего шума... Два офицера! Допустим, я открою им свое истинное положение — они прежде всего мне не поверят и заподозрят бог знает что. Да это было бы так же бесполезно, как и в случае с Адрианой: даже поверив всему, что я расскажу, они посоветуют мне ожить, поскольку положение мертвеца не соответствует условиям, требуемым по кодексу чести.

Значит, я должен спокойно снести обиду, как уже стерпел кражу? Меня оскорбили, мне без малого дали оплеуху, бросили вызов, а я должен бежать как трус, исчезнуть во мраке той невыносимой участи, которая ждет меня, презренного, ненавистного самому себе?

Нет, нет! Как после этого жить? Как вынести бремя существования? Нет, нет, довольно, довольно! Я остановился. Все вокруг меня ходило ходуном, ноги мои подкашивались; во мне возникло вдруг какое-то смутное чувство, от которого меня всего затрясло.

— Но, во всяком случае, сперва...— бормотал я про себя, словно в бреду,— сперва надо все же попытаться... Почему нет? А вдруг выйдет! Надо хотя бы попытаться — чтобы перед самим собой не выглядеть таким ничтожеством... Если выйдет, я буду не так противен самому себе... Да и терять-то ведь уж нечего... Почему не попытаться?

Я был в двух шагах от кафе «Араньо». «Здесь, здесь и рискованно!» Слепое возбуждение прищипывало меня, и я вошел.

В первом зале за столиком сидело пять или шесть артиллерийских офицеров. Один из них увидел, что я остановился неподалеку, заметил мое смущение, нерешительность и стал разглядывать меня. Я поклонился ему и дрожащим от волнения голосом произнес:

— Простите... Могу я обратиться к вам?

Это был безусый еще юнец, лейтенантик, только в этом году, наверно, окончивший военную школу. Он тотчас же встал и весьма учтиво подошел ко мне:

— Слушаю вас, синьор.

— Разрешите представиться: Адриано Меис. Я приезжий и не имею здесь знакомых. У меня произошла... произошла ссора... Мне нужны два свидетеля, а я не знаю, к кому обратиться... Не согласились бы вы с одним из ваших товарищей...

Тот, удивленный, призадумался и некоторое время внимательно разглядывал меня. Потом повернулся к товарищам и крикнул:

— Грильотти!

Тот, кого он позвал, был тоже лейтенант, но значительно старше возрастом, прилизанный, напомаженный, с закрученными кверху усами и моноклом, не без труда державшимся в глазу. Он встал, продолжая разговаривать с приятелями («р» он произносил картаво, на французский манер), и подошел к нам с легким сдержанным поклоном в мою сторону.

Увидев, что он поднимается со своего места, я едва не сказал лейтенантику: «Нет, ради бога, только не этого. Этого не надо!». Но я тут же сообразил, что никто из этого кружка не разбирается лучше его в подобных делах. Он, конечно же, знал кодекс чести как свои пять пальцев.

Не могу передать здесь во всех подробностях то, что ему угодно было наговорить мне в связи с моим делом, то, чего он от меня хотел... Я должен был телеграфировать уж не знаю как и кому, изложить, уточнить, переговорить с их полковником, *са ва sans dire*¹, как сделал он сам, когда еще не служил в армии и с ним в Павии приключилось то же, что со мной. Ибо в делах чести... И пошел, пошел перечислять статьи, и прецеденты, и казусы, возникавшие в судах чести, и еще невесть что.

Еще только завидев его, я уже почувствовал себя как на иголках. Что же было теперь, когда я слушал его излияния! Наступил момент, когда я оказался не в силах терпеть, и меня прорвало:

— Да, я отлично знаю все это, отлично знаю! Вы правы, вы совершенно правы. Но как я могу сейчас куда-то телеграфировать? Я же совсем один! Я хочу драться, драться немедленно, завтра же, если возможно, безо всяких проволочек! Откуда мне знать все эти тонкости? Я обратился к вам в надежде, что смогу обойтись без пустяковых формальностей, без таких — извините меня — глупостей!..

После моей вспышки разговор превратился чуть ли не в перебранку и неожиданно закончился взрывом грубого хохота со стороны всех этих офицеров. Я выбежал из кафе вне себя от ярости, с багровым лицом, словно

¹ Само собой разумеется (*франц.*).

там меня отхлестали, схватился за голову, словно хотел удержать покидавший меня рассудок, и, преследуемый этим хохотом, устремился прочь. Скрыться, спрятаться где-нибудь... Но куда бежать? Домой? Мысль об этом внушала мне отвращение. И вот я шел, шел, сам не зная куда, потом постепенно замедлил шаг и под конец, выбившись из сил, остановился, словно уже не мог больше нести свою несчастную душу, возмущенную, исхлестанную оскорбительным хохотом, полную мрачной, свинцово-тяжкой тоски. Некоторое время я простоял как вкопанный, потом опять двинулся вперед, ни о чем не думая, отупев и не ощущая больше никаких страданий. Я снова принялся бродить по улицам, утратив чувство времени, останавливался то тут, то там перед витринами лавок, которые постепенно закрывались, и мне казалось, что они закрываются только для меня, закрываются навсегда, что улицы понемногу пустеют для того только, чтобы я остался один и так вот блуждал в ночи, среди молчаливых темных домов с запертыми дверьми и окнами, навсегда закрытыми для меня. Вся жизнь кругом замыкалась, затухала, замолкала в наступающем мраке. И я созерцал ее как бы издали, будто она уже не имела для меня ни смысла, ни цели. И вот наконец, сам того не желая, движимый смутным, но охватившим все мое существо чувством, которое постепенно нарастало во мне, я оказался на Понте Маргерита, оперся о парапет и, широко раскрыв глаза, уставился на черную ночную реку.

— Сюда?

Я вздрогнул от ужаса, и ужас яростно пробудил все мои жизненные силы, вооружив их свирепой ненавистью к тем, кто издали опять понуждал меня покончить с собой, как когда-то в мельничной запруде Стиа я попал в такой переплет только из-за них — из-за Ромильды и ее матери: самому мне и в голову не пришло бы симулировать самоубийство, чтобы от них избавиться. И вот я кружился два года, как тень, в своей воображаемой посмертной жизни, а теперь они снова толкают меня, тащат за волосы к воде, чтобы я все-таки привел над собой в исполнение их приговор. Значит, они меня по-настоящему убили! И освободились только они, только они сами...

Гнев и возмущение охватили меня. А не отомстить ли им, вместо того чтобы убивать себя? Да и кого я намереваюсь убить? Мертвеца... Тень...

Я стоял, словно ослепленный внезапно брызнувшим светом. Отомстить? Значит, возвратиться туда, в Мираньо? Сбросить с себя эту ложь, которая душит меня и теперь стала уже непереносимой? Вернуться живым и этим покарать их, вернуться под своим именем, в своем прежнем состоянии, со своими подлинными, своими собственными невзгодами? А нынешние невзгоды? Могу ли я сбросить их с плеч так просто, словно докучный, ненавистный груз? Нет, нет, нет! Я чувствовал, что не в силах это сделать, и продолжал стоять на мосту, полный тревожных сомнений, еще не уверенный в своей участи.

Раздумывая обо всем этом, я беспокойно щупал и мял пальцами какой-то предмет в кармане пальто и никак не мог понять, что же это такое. Наконец я раздраженно вытащил его из кармана. Это оказалась моя дорожная шапчонка, та самая, которую, выходя из дому в гости к маркизу Джильо, я машинально сунул в карман. Я уже хотел швырнуть ее в реку, но тут меня внезапно озарила новая мысль. В памяти моей ясно возникло то, что пришло мне в голову в пути между Аленгой и Турином.

— Вот здесь,— молвил я про себя почти бессознательно,— на перилах... шляпа... трость... Да! Там, у мельничной запруды, Маттиа Паскаль, здесь — Адриано Меис... Раз и навсегда! Вернусь домой и отомщу!

Порыв почти безумной радости переполнил меня, придал мне бодрости. Да, да! Не себя, мертвеца, должен был я уничтожить, а дикую, нелепую фикцию, которая мучила и терзала меня два года,— этого Адриано Меиса, обреченного быть трусом, обманщиком, ничтожеством. Надо убить этого Адриано Меиса, который лишь вымышленное имя и у которого, следовательно, мозг из пакли, сердце из папье-маше, жилы из резины, а по жилам вместо крови струится подкрашенная водичка. Да, именно так! Падай же в реку, падай, жалкая постылая марионетка. Утони, как Маттиа Паскаль! Раз и навсегда! Пусть эта тень живого существа, порожденная мрачной выдумкой, достойным образом покончит со своим бытием с помощью еще одной мрачной выдумки! И все отлично устроится. Может ли Адриана получить лучшее удовлетворение за все зло, которое я ей причинил? Я не должен буду считаться с оскорблением, которое нанес мне тот мерзавец. Ведь он, подлец, предательски напал на меня. О, я был уверен в том, что несколько не боюсь

его. Но обида нанесена не мне, не мне — Адриано Меису. И вот теперь Адриано Меис сводит счеты с жизнью.

У меня просто не было иного выхода!

И все же тут меня охватил странный трепет, словно мне и вправду предстояло кого-то убить. Однако разум мой внезапно прояснился, с сердца спала тяжесть, дух осенила ясность, похожая на веселье.

Я огляделся по сторонам, опасаясь, нет ли здесь, на набережной Тибра, кого-нибудь, скажем — полицейского, который, увидев, что я слишком долго стою на мосту, может быть, стал за мной наблюдать. Я решил удостовериться: сперва заглянул на площадь Либерта, потом на набережную Меллини. Ни души! Я вновь направился к мосту, но, прежде чем взойти на него, задержался между деревьями, встал под фонарем, вырвал из записной книжки листок и карандашом нацарапал: «Адриано Меис». Что еще? Ничего. Адрес и число. Вполне достаточно. Весь Адриано Меис тут — в этой шляпе и трости. Дома оставалось все — одежда, книги... Что касается денег, то после кражи я держал их при себе.

Ссутулясь и съездившись, я тихонько вернулся на мост. Ноги у меня подкашивались, сердце бешено колотилось. Я выбрал самое темное место, куда не доходил свет фонарей, быстро сорвал с головы шляпу, сунул за ленту сложенную записку, потом положил на парапет шляпу и рядом с ней трость, нахлобучил на голову ниспосланную самой судьбою дорожную шапчонку, спасшую мне жизнь, и, не оборачиваясь, словно вор, пустился прочь по самым темным улицам.

17. ВОПЛОЩЕНИЕ

Я поспел на вокзал к поезду двенадцать десять на Пизу и забился в угол вагона второго класса, надвинув козырек шапчонки чуть ли не на нос, даже не столько для того, чтобы спрятаться, сколько для того, чтобы ничего не видеть. Но мысленно я видел все одно и то же: передо мной, словно наваждение, маячили шляпа и трость, оставленные на парапете моста. Может быть, сейчас их уже заметил какой-нибудь прохожий... Может быть, проходивший мимо ночной сторож уже побежал в квестуру сообщить о самоубийстве. А я еще в Риме! Почему этот поезд не трогается! У меня перехватило дыхание...

Наконец поезд отошел. К счастью, я был один в купе. Я встал, потянулся, расправил руки и с облегчением глубоко-глубоко вздохнул, словно с груди моей свалился обломок скалы. Ага, я начинаю оживать, становиться самим собой, Маттиа Паскалем! Я снова я! Я не умер! Это я стою здесь, в вагоне! Мне теперь уже незачем лгать, нечего бояться, что меня опознают! Впрочем, еще не совсем: раньше мне надо добраться до Мираньо. Там я прежде всего должен открыто заявить о себе, добиться, чтобы меня признали живым, опять срастись со своими оставшимися в почве корнями... Безумец! Какое самообольщение воображать, что я могу жить как ствол, отделенный от корней! И вот мне вспомнилась другая поездка — из Аленги в Турин: я и тогда точно так же считал себя счастливым. Безумец! Освобождение, думал я... И это мне казалось освобождением. Хорошенькое освобождение — со свинцовым саваном лжи на плечах! Со свинцовым саваном лжи на плечах у призрака... Правда, теперь у меня на плечах опять будут супруга и теща в придачу. Но ведь они давили на меня и когда я был мертвецом. Теперь я по крайней мере снова жив и набрался опыта. Теперь-то мы посмотрим!

Когда я размышлял обо всем этом, мне показалось просто невероятным легкомыслие, с которым за два года до того я пустился в такую авантюру, поставив себя вне закона. Я вспоминал, каким был в те первые дни, вспоминал бессознательное блаженство или, вернее, безумие, которому предавался в Турине, а затем в других городах, где я странствовал, молчаливый, одинокий, замкнувшийся в себе, переживая то, что казалось мне счастьем. Вот я в Германии, плыву на пароходе по Рейну... Что это? Сон? Нет, так оно и было! Ах, если бы я мог всегда вести такое существование, скитаться чужестранцем по жизни... Но затем, в Милане... Этот несчастный щенок, которого я хотел купить у старого уличного торговца... Тогда я уже начал понимать... А потом... Ах, потом!

Мысленно я вновь очутился в Риме, вошел как тень в покинутый мною дом. Они все уже спят? Адриана, может быть, и не спит, дожидается моего возвращения. Ей сказали, что я пошел искать двух свидетелей для поединка с Бернальдесом. Она прислушивается, но я все не иду, и она тревожится, плачет...

Я изо всех сил прижал руки к лицу, и сердце мое больно сжалось.

Но раз я все равно не мог быть для тебя живым, Адриана, лучше уж считай меня мертвым! Считай мертвыми губы, сорвавшие с твоих губ поцелуй, бедная Адриана... Забудь! Забудь!

Что произойдет в этом доме наутро, когда из квестуры придут с ужасной новостью? Какой причине припишут они мое самоубийство, опомнившись от первого изумления? Предстоящей дуэли? Нет, конечно. Было бы по меньшей мере странно, если бы человек, никогда не проявлявший трусости, вдруг покончил с собой из страха перед дуэлью. Тогда чему же? Тому, что я не мог раздобыть свидетелей? Нелепый повод. Или, может быть... Кто знает! Нет ли в моей странной жизни какой-нибудь тайны?..

О да! Так они, без сомнения, и решат! Я ведь покончил с собой без всякой видимой причины, никогда раньше и намеком не показав, что задумал нечто подобное. Впрочем, нет: за мной в последние дни замечались кое-какие странности, и не одна,— была эта неприятная история с кражей, которую я сперва заподозрил, а потом стал отрицать... Может быть, деньги были не мои? И я должен был их кому-нибудь возвратить? Незаконно присвоил часть этих денег и попытался изобразить себя жертвой воровства, а потом раскаялся и наконец покончил с собой? Кто знает! Я, без сомнения, был весьма загадочным человеком: ни одного приятеля, ни одного письма откуда бы то ни было...

Пожалуй, лучше было бы написать на этой бумажке, кроме имени, числа и адреса, еще какую-нибудь причину самоубийства. Но в тот момент... Да и какую я мог выдумать причину?

Кто знает, каким образом и как долго будут кричать газеты об этом таинственном Адриано Меисе... Мой пресловутый родич, туринский Франческо Меис, помощник инспектора, тоже выплывет и будет давать показания в квестуре. По этим показаниям предпримут розыски, и одному богу известно, что еще найдут. Хорошо, а деньги? Наследство? Адриана видела все мои банковские билеты... Представляю себе Папиано! Он бросается к шкафчику, но находит его пустым... Значит, деньги пропали? На дне реки? Жаль, жаль! Вот досадно-то: надо было сразу забрать всё! Квестура изымет мою одежду и книги... Кому они достанутся? О, пусть хоть что-нибудь останется на память бедняжке Адриане! Какими глазами станет она теперь оглядывать мою пустую комнату?

Поезд мчался в ночи, а во мне бушевали всевозможные мысли, чувства, вопросы, предположения, не давая мне ни отдыха, ни сна. Я решил, что из осторожности мне следует на несколько дней задержаться в Пизе, чтобы никому не пришлось в голову связать возвращение Маттиа Паскаля в Мираньо с исчезновением Адриано Меиса из Рима. А связь эта может броситься в глаза любому, особенно если газеты поднимут крик о вчерашнем самоубийстве. Я подожду в Пизе римских газет — и вечерних, и утренних. Затем, если слишком громкого шума не будет, по пути в Мираньо заеду в Онелью к брату Роберто и посмотрю, какое впечатление произведет мое возвращение к жизни. Однако мне ни в коем случае нельзя распространяться о пребывании в Риме и о том, как я там жил и что делал. Я сообщу о двух годах своего отсутствия самые фантастические сведения, буду рассказывать о путешествиях за границей. Да, теперь, вернувшись живым и здоровым, я, может быть, начну с увлечением врать, врать основательно, красочно, вроде как кавалер Тито Ленци и даже хлестче!

У меня еще оставалось пятьдесят две тысячи лир с лишним. Принимая во внимание, что я уже два года как умер, кредиторы, наверно, вполне удовлетворились имением Стиа и мельницей. После продажи того и другого они получили приличную сумму и поэтому избавят меня от своих домогательств. Впрочем, если они начнут ко мне приставать, я уж как-нибудь сумею от них отделаться. С пятьюдесятью двумя тысячами лир в кармане в Мираньо можно жить не скажу — роскошно, но, во всяком случае, вполне прилично.

Сойдя с поезда в Пизе, я прежде всего купил шляпу такого фасона и размера, какую носил при жизни Маттиа Паскаль, а затем отправился остричь шевелюру этого болвана Адриано Меиса.

— Покороче. Так ведь красивее, правда? — сказал я парикмахеру.

Борода у меня уже немного отросла, и теперь, укоротив волосы, я начал обретать свой прежний вид, но при этом значительно похорошел: лицо мое стало тоньше... Да, ничего не скажешь: благороднее. Глаз, правда, уже не косил — эта характерная черта Маттиа Паскаля исчезла. Итак, в лице моем все же сохранится кое-что от Адриано Меиса. Теперь я был гораздо больше похож на Роберто. Ну мог ли я когда-нибудь предположить что-либо подобное?

Но вот беда: когда я освободился от этой копны волос и надел на голову только что купленную шляпу, голова утонула в ней целиком, до самого затылка! Пришлось прибегнуть к помощи парикмахера, который заложил под подкладку картонный кружок.

Чтобы не заходить в гостиницу без багажа, я купил чемодан: пока туда можно будет положить костюм, который на мне, и пальто. Мне следовало теперь обзавестись всем необходимым. Я не мог рассчитывать, что за истекшее время моя жена в Мираньо сохранила хоть что-нибудь из моей одежды и белья. Я зашел в магазин готового платья, купил костюм, облачился в него и с новым чемоданом в руках отправился в отель «Нептун».

Будучи Адриано Меисом, я уже приезжал в Пизу, где останавливался тогда в гостинице «Лондон». Все достопримечательности города были мною осмотрены. Теперь, обессилев от всего пережитого, ничего не евши со вчерашнего утра, я просто умирал от голода и усталости. Я перекусил и затем проспал почти до самого вечера.

Едва я пробудился, как меня опять обуяло мрачное волнение. День промчался почти незаметно — сперва я занимался своими делами, потом спал мертвым сном. Но кто знает, как прошел он там, в доме синьора Палери! Суматоха, растерянность, нездоровое любопытство посторонних, торопливое следствие, нелепые предположения, клеветнические домыслы, тщетные поиски тела... А тут еще моя одежда и книги — на них все глядят с тяжелым чувством, которое неизменно внушают вещи, принадлежавшие трагически погибшему человеку.

А я спал! И теперь с тревогой и нетерпением должен был ждать следующего утра, прежде чем узнаю новости из римских газет.

Пока же, не имея возможности немедленно отправиться в Мираньо или хотя бы в Онелью, я вынужден был оставаться в таком вот приятном положении, пребывать вроде как в скобках два-три дня, а может быть, и дольше: в Мираньо я мертв — как Маттиа Паскаль, в Риме тоже мертв — как Адриано Меис.

Не зная, чем заняться, и надеясь хоть немного развлечься после стольких волнений, я решил устроить двум этим мертвецам прогулку по Пизе.

О, это была приятнейшая прогулка! Адриано Меис, уже бывавший здесь, решил послужить гидом и чичероне

Маттиа Паскалю. Но тот, озабоченный всем, что продолжало занимать его мысли, только мрачно качал головой и поднимал руку, словно отстраняя эту докучную волосатую тень в длинном сюртуке, широкополой шляпе и очках:

— Прочь! Прочь! Прочь! Возвращайся в реку, ты же утонул!

И мне вспомнилось, как два года тому назад Адриано Меис бродил по улицам Пизы. Тогда он точно так же почувствовал, что ненавистная тень Маттиа Паскаля докучает ему, раздражает его, и ему захотелось таким же движением руки избавиться от нее, прогнать ее назад в мельничную запруду Стиа. Уж лучше было не доверять ни той, ни другой. О белая пизанская башня, ты клонишься набок, а вот я болтаюсь между двумя тенями — то туда, то сюда.

Однако богу угодно было, чтобы я все же кое-как пережил еще одну бесконечно долгую мучительную ночь и получил наконец римские газеты.

Не скажу, чтобы чтение их успокоило меня — это было невозможно. Однако донимавшая меня тревога вскоре рассеялась: я убедился, что сообщению о моем самоубийстве в газетах уделено ровно столько внимания, сколько заслуживает любой факт из хроники происшествий. Все передавали, в общем, одно и то же: говорилось о шляпе и палке, найденных на парاپете Понте Маргерита вместе с коротенькой запиской; сообщалось, что я туринец, человек довольно странный и что причины, толкнувшие меня на столь роковой шаг, неизвестны. Впрочем, одна газета, основываясь притом на «ссоре с одним молодым испанским художником в доме некоего весьма важного лица, связанного с клерикальным миром», высказывала предположение, что речь идет об «обстоятельствах интимного порядка». Другая писала: «Вероятно, в связи с денежными затруднениями». В общем, все это было достаточно кратко и неопределенно. Лишь одна утренняя газета, обычно весьма подробно сообщавшая о всех происшествиях, накануне намекала на «изумление и горе в семье кавалера Ансельмо Палеари, отставного начальника отдела в Министерстве народного просвещения, у которого Меис проживал, снискав себе всеобщее уважение своей деликатностью и учтивостью». Весьма благодарен! Эта газета тоже упоминала о ссоре с испанским художником М. Б. и давала понять, что

причину самоубийства следует искать в тайном любовном чувстве.

Словом, получалось, что я покончил с собой из-за Пепиты Пантогада. Ну что ж, в конце концов, так даже лучше. Имя Адрианы не упоминалось вовсе, ни слова не было и о пропаже банковских билетов. Следовательно, квестура вела расследование секретно. Но по чьим следам она идет?

Теперь можно было ехать в Онелью.

Роберто оказался у себя на вилле — шел сбор винограда. Легко представить себе, что я почувствовал, увидев опять родное прекрасное побережье, куда, как я полагал, путь навсегда был мне заказан. Но радость моя омрачалась и тревожным стремлением поскорее добраться до места, и опасением, как бы раньше, чем родные, меня не узнал кто-нибудь посторонний, и все возраставшим волнением при мысли, что же они почувствуют, когда внезапно увидят меня живым. При этой мысли в глазах у меня мутилось, я не видел ни неба, ни моря, кровь в жилах лихорадочно пульсировала, сердце колотилось. И мне казалось, что я никогда не доеду! Когда наконец слуга открыл калитку прелестной виллы, которую Берто получил в приданое за женой, и я направился по аллее к дому, мне вдруг почудилось, что я и впрямь вернулся с того света.

— Прошу вас,— сказал слуга, пропуская меня вперед.— Как прикажете доложить?

Я почувствовал, что не могу выговорить ни слова. Стараясь прикрыть свои усилия улыбкой и запинаясь, я пробормотал:

— Ска... скажите... скажите ему, что... один его друг... очень близкий друг... приехал издалека... Ну вот...

В лучшем случае слуга счел меня зайкой. Он поставил мой чемодан у вешалки и провел меня в гостиную. В ожидании Роберто я дрожал, смеялся про себя, пыхтел и оглядывал светлую, удобную гостиную, обставленную новой зеленоватой мебелью полированного дерева. Внезапно я увидел на пороге двери, в которую вошел, прелестного мальчугана лет четырех. В одной руке у него была лейка, в другой грабельки.

Он во все глаза смотрел на меня.

Я ощутил невыразимую нежность: это, очевидно, был

мой племянник, старший сын Берто. Я нагнулся и по-манил малыша к себе, но он испугался и убежал.

Тут я услышал, как отворяется другая дверь. Я выпрямился, от волнения в глазах у меня опять помутилось, в горле заклокотал судорожный смех.

Роберто остановился в двух шагах от меня. Он был удивлен и даже смущен.

— С кем...— начал он.

— Берто! — вскричал я, открывая объятия.— Ты не узнаешь меня?

Услышав мой голос, он смертельно побледнел, быстро провел рукой по лбу и по глазам, зашатался и пробормотал:

— Как же это... как же... как?

Но я успел поддержать его, хоть он и отстранялся, словно в испуге.

— Это я — Маттиа! Да не бойся же! Я не умер... Ты что, не видишь? Ну потрогай же меня! Это я, Роберто! Уж если я был когда-нибудь жив, так именно сейчас. Ну же, ну!

— Маттиа! Маттиа! Маттиа! — повторял бедняга Берто, все еще не веря своим глазам.— Но как же это? Ты? О боже!.. Да как же так? Брат! Родной мой Маттиа!

И он крепко, изо всех сил обнял меня. Я расплакался как ребенок.

— Да как же это? — снова стал спрашивать Берто, тоже плача от радости.— Как же это так?

— Да вот так... Видишь? Вернулся... И не с того света, нет: я все время пребывал на этом окаянном свете... Ну, полно... Сейчас расскажу.

Крепко держа меня за руки, весь в слезах, Роберто не сводил глаз с моего лица и все еще не мог прийти в себя от изумления.

— Но как же так? Ведь там...

— То был не я... Сейчас объясню. За меня приняли другого. Я не был тогда в Мираньо и узнал о своем самоубийстве в Стиа, как, вероятно, и ты, из газеты.

— Значит, то был не ты? — воскликнул Берто.— Что же ты все это время делал?

— Притворялся мертвым — и ни гугу. Я тебе все расскажу, но только не сейчас. Знай одно: я переезжал с места на место и сперва, веришь ли, чувствовал себя счастливым. Затем начались всякие истории, и я понял, что совершил ошибку, что ходить в мертвецах — не

такое уж прибыльное дело. Ну вот, я вернулся; собираюсь снова ожить.

— Ох, Маттиа, я всегда говорил, что ты полоумный. Безумец! Безумец! Безумец! — воскликнул Берто.— Но до чего же я рад! Кто мог этого ожидать? Маттиа жив? Понимаешь, я никак не могу в это поверить! Дай-ка на тебя поглядеть... Ты что-то на себя не похож!

— Видишь, я привел в порядок глаз!

— Ах, да... Потому-то мне и казалось... Я все смотрел на тебя, смотрел... Ну и отлично! Пойдем же, пойдем к жене... Нет, постой... Ведь ты...

Он вдруг замолчал и смущенно взглянул на меня.

— Ты собираешься вернуться в Мираньо?

— Ну да, сегодня же вечером.

— Значит, ты не знаешь?

Он закрыл лицо руками и застонал:

— Несчастный! Что ты наделал, что ты наделал! Ты не знаешь, что твоя жена...

— Умерла? — вскричал я, застывая на месте.

— Нет! Хуже! Она вторично вышла замуж.

Я так и обомлел:

— Замуж?

— Да, за Помино! Я получил извещение. Тому уже больше года.

— Помино? Помино женился на...— бормотал я.

Но внезапно смех, горький, словно желчь, подкатил мне к горлу, и я громко, заливисто расхохотался.

Роберто смотрел на меня в полном недоумении, может быть, опасаясь даже, что я помешался:

— Ты смеешься?

— Ну да! Ну да! — закричал я, тряся его за руки.— Тем лучше! Это же верх блаженства.

— Что ты мелешь? — почти в бешенстве выпалил Роберто.— Блаженство! Но если ты теперь там появишься...

— Теперь-то уж наверняка появлюсь, не сомневайся!

— Да разве ты не знаешь, что тебе придется снова стать ее мужем?

— Мне? Как же так?

— Разумеется! — подтвердил Берто, и теперь уже я ошалело посмотрел на него.— Второй брак объявят недействительным, и ты будешь обязан ее взять.

Все вокруг меня так и завертелось.

— Как! Что же это за закон? — крикнул я.— Моя

жена снова выходит замуж, а я... Да что ты говоришь? Замолчи! Это невозможно.

— А я тебе говорю, что так оно и есть! — стоял на своем Берто. — Подожди: тут у нас мой шурин, он — доктор права и лучше меня все тебе растолкует. Пойдем... Или нет, обожди немного: моя жена беременна, и я боюсь, что слишком сильное потрясение причинит ей вред, хоть она тебя мало знает. Я ее подготавливаю. Подожди, ладно?

Он выпустил мою руку только у самой двери, словно боялся, что, если оставит меня хоть на миг, я опять исчезну.

Когда он вышел, я заметался по гостиной, как лев в клетке. Вышла замуж! За Помино! Ну разумеется, она именно та, кого он хотел в жены, — ведь он и раньше любил ее. Да он глазам своим не поверит! И она тоже... Подумать только! Богатая, жена Помино... И в то время как она вторично вышла замуж, я там, в Риме... А теперь, оказывается, обязан снова жить с ней в браке! Возможно ли это?

Вскоре Роберто, сияя от радости, вернулся и позвал меня к жене. Я, однако, был до того взбудоражен этим неожиданным известием, что не мог как следует оценить тот сюрприз, который приготовили мне моя невестка, ее мать и брат. Берто заметил это и сразу стал расспрашивать шурина о том, что мне прежде всего и надо было узнать.

— Хорошенький же это закон! — еще раз вырвалось у меня. — Это, извините, какое-то варварство.

Молодой адвокат улыбнулся и с видом превосходства поправил пенсне на носу.

— Но он таков, и тут уж ничего не поделаешь, — ответил он. — Роберто прав. Не скажу точно, какой статьей, но вообще-то подобный казус законом предусмотрен: в случае появления первого супруга, второй брак признается недействительным.

— И я должен признать женой, — гневно воскликнул я, — женщину, которая совершенно открыто в течение целого года жила в супружестве с другим мужчиной, а он...

— Но ведь это произошло по вашей вине, дорогой синьор Паскаль! — прервал меня адвокатик, не переставая улыбаться.

— По моей вине? Почему? — возразил я. — Прежде

всего эта милая женщина ошиблась, приняв за меня труп какого-то несчастного утопленника, потом она поспешила вторично выйти замуж, а виноват я? И я должен восстановить с ней брачные отношения?

— Конечно,— ответил адвокат,— поскольку вы, сеньор Паскаль, своевременно, то есть до истечения срока, в пределах которого по закону нельзя заключить новый брак, не пожелали исправить ошибку вашей жены, каковая ошибка — весьма возможно — была совершена не совсем бессознательно. Вы это ложное опознание приняли и даже воспользовались им... Не спорьте: я ведь вас за это даже хвалю, на мой взгляд, вы поступили совершенно правильно, и меня удивляет лишь, зачем вам понадобилось возвращаться и запутываться в нашем нелепом гражданском законодательстве. Я на вашем месте не стал бы оживать.

Безмятежность и самодовольное умничанье этого свежеиспеченного юриста рассердили меня.

— Вы же сами не знаете, что говорите! — ответил я ему, пожимая плечами.

— Как! — возразил он.— Ведь это такая удача, такое счастье!

— Вот-вот, вы бы сами и попробовали,— воскликнул я и, чтобы оборвать этого самодовольного субъекта, повернулся к Берто. Но и тут я напоролся на шипы.

— Да, кстати,— спросил меня брат,— а как ты все это время устраивался насчет...

И он потер большой палец об указательный, намекая на деньги.

— Как устраивался? — ответил я.— Это длинная история! Сейчас я не в таком состоянии, чтобы ее рассказывать. Но, должен тебе сказать, деньги у меня были, да и сейчас имеются. Так что пусть никто не воображает, будто я возвращаюсь в Мираньо, потому что очутился на мели.

— Ах, ты все же намереваешься вернуться туда? — опять спросил Берто.— После всего, что я тебе сообщил?

— Разумеется, намереваюсь! — вскричал я.— Неужели ты думаешь, что после всего, что я выстрадал, у меня еще есть желание притворяться умершим? Нет, дорогой мой, хватит. Я хочу снова получить законные документы, хочу ощутить себя живым, по-настоящему живым, даже ценой возвращения к семейной жизни. Да, вот что: а мать ее... вдова Пескаторе, жива?

— Этого не знаю,— ответил Берто.— Ты сам понимаешь, что после второго замужества... Но, кажется, она жива...

— Тем лучше! — воскликнул я.— Впрочем, неважно. Я отомщу! Я ведь, знаешь, уже не тот, что был. Жаль только, что это будет такое счастье для болвана Помино!

Все рассмеялись. Тут вошел слуга и объявил, что кушать подано. Мне пришлось остаться к обеду, но я до того дрожал от нетерпения, что не разбирая даже, какую пищу поглощаю. Во всяком случае, я ощутил наконец, что наелся досыта. Зверь, зашевелившийся во мне, подкрепил свои силы и приготовился к предстоящему прыжку.

Берто предложил мне задержаться до вечера и переночевать у них на вилле, а на следующее утро отправиться с ним вдвоем в Мираньо. Ему хотелось насладиться зрелищем моего неожиданного возвращения к жизни, увидеть своими глазами, как я, словно коршун, упаду на гнездышко, которое свил себе Помино. Но я уже закусил удила и слышать не захотел о проволочке. Я попросил его отпустить меня одного, и сегодня же, без всякой задержки.

Я уехал восьмичасовым поездом — через полчаса буду в Мираньо.

18. ПОКОЙНЫЙ МАТТИА ПАСКАЛЬ

Раздираемый двумя чувствами — тревогой и яростью (не могу сказать, которое из них волновало меня сильнее; вероятно, это было, в сущности, одно чувство — тревожная ярость или яростная тревога), я уже не беспокоился о том, что кто-нибудь посторонний узнает меня до того, как я приеду в Мираньо или едва только сойду с поезда.

Я принял лишь одну предосторожность: сел в вагон первого класса. Уже наступил вечер, и к тому же опыт, проделанный с Берто, успокоил меня: во всех так укоренилась уверенность в моей печальной кончине целых два года тому назад, что никому и в голову не пришла бы мысль, что я — Маттиа Паскаль. Я попытался высунуть голову из окна, надеясь, что вид знакомых мест вызовет у меня иное, более кроткое чувство, но это только усилило во мне тревогу и ярость. При лунном свете я издали различил холм в Стиа.

— Убийцы! — процедил я сквозь зубы. — Ну походите...

Сколько важного забыл я спросить у Роберто, ошеломленный неожиданным известием! Проданы ли имение и мельница? Или же кредиторы договорились между собой о временной отдаче их под опеку? Умер ли Маланья? Как тетя Сколастика?

Не верилось, что прошло всего два года и несколько месяцев. Казалось, что прошла целая вечность, а так как со мной случились вещи необычайные, я считал, что такие же необычайные вещи должны были произойти и в Мираньо. И, однако, там ничего не случилось, кроме брака Ромильды и Помино, то есть вещи самой обычной, которая лишь теперь, с моим возвращением, становилась необыкновенным происшествием.

Куда же мне следует направиться, как только я окажусь в Мираньо? Где свила гнездышко новая супружеская пара?

Для Помино, богача и единственного наследника, дом, где жил я, бедняк, был слишком убог. К тому же Помино, при своем нежном сердце, чувствовал бы себя неважно там, где все напоминало бы ему обо мне. Возможно, он поселился вместе с отцом, в большом доме. Я представил себе вдову Пескаторе — какой вид матроны она на себя теперь напускает! А бедняга кавалер Помино Джероламо Первый, такой щепетильный, мягкий, благодушный, в когтях у этой мегеры! Какие там сцены! Уж конечно, ни у отца, ни у сына не хватило мужества избавиться от нее. А теперь вот — ну не досадно ли? — избавлю их я...

Да, мне надо направиться прямо в дом Помино: если там я их не найду, то, во всяком случае, узнаю у привратницы, где искать.

О мой мирно уснувший городок, какое потрясение ожидает тебя завтра при известии о моем воскресении! Ночь была лунная, на почти вымерших улицах фонари уже погасли, многие в этот час ужинали.

Из-за предельного нервного возбуждения я не чуял под собой ног и шел, словно не касаясь земли. Не могу сказать даже, в каком я был душевном состоянии; у меня сохранилось только ощущение, будто все мои внутренности переворачивал гомерический смех, который, однако, не мог вырваться наружу; вырвись он — и камни мостовой оскалились бы, как зубы, и дома зашатались бы.

В одно мгновение очутился я у дома Помино, но не обнаружил в подъезде старухи привратницы в ее стеклянной будке. Дрожа от нетерпения, я подождал несколько минут и вдруг заметил над одной из створок парадной двери уже вылинявшую и пыльную траурную ленту, которая явно была приколочена здесь еще несколько месяцев тому назад. Кто же умер? Вдова Пескаторе? Кавалер Помино? Ясное дело — кто-то из них. Может быть, кавалер... Тогда, уж наверно, я найду свою пару голубков здесь, в большом доме. У меня больше не было сил дожидаться. Я побежал по лестнице, шагая через две ступеньки, и на втором пролете встретил привратницу:

— Дома кавалер Помино?

Старая черепаха посмотрела на меня так ошеломленно, что я сразу понял: умер бедняга кавалер Помино.

— Сын! Сын! — сразу поправился я, продолжая подниматься по лестнице.

Уж не знаю, что бормотала себе под нос старуха, спускаясь вниз. Дойдя почти доверху, я вынужден был остановиться — не хватало дыхания. Я взглянул на дверь и подумал: «Может быть, они еще ужинают, сидят за столом все трое, ничего не подозревая. Но пройдет несколько секунд — и едва я постучусь в дверь, как вся их жизнь перевернется вверх дном... Сейчас я — носитель грозящего им рока».

Я поднялся по последним ступенькам и взялся за шнурок звонка. Сердце у меня бешено колотилось, я прислушался. Ни звука. И в этой тишине я слышал легкое динь-динь звонка, который я сам медленно, осторожно тянул за шнурок.

Кровь ударила мне в голову, в ушах загудело, словно этот легкий звон, еле доносившийся до меня в тишине, звучал во мне самом резко и оглушительно.

Через несколько минут я вздрогнул, узнав за дверью голос вдовы Пескаторе:

— Кто там?

Я не смог ответить сразу и крепко прижимал к груди кулаки, словно для того чтобы не дать сердцу выпрыгнуть наружу. Потом глухо, скандируя каждый слог, произнес:

— Маттиа Паскаль.

— Кто? — вскрикнул голос за дверью.

— Маттиа Паскаль, — повторил я, стараясь говорить еще более замогильным голосом.

Я услышал, как старая ведьма — явно в ужасе — отбежала от двери, и внезапно представил себе, что там сейчас происходит. Теперь должен появиться мужчина — сам Помино, этот храбрец!

Мне, однако, следовало, не спеша, как и раньше, обдумать свой образ действий.

Едва только Помино гневным рывком открыл дверь и увидел меня, выпрямившегося во весь рост и словно наступающего на него, он в ужасе попятился. Я ворвался в комнату, крича:

— Маттиа Паскаль! С того света!

Помино с тяжелым стуком плюхнулся задом на пол. Руки он инстинктивно закинул за спину и теперь опирался на них всем телом, тараща на меня глаза:

— Маттиа? Ты?!

Вдова Пескаторе, прибежавшая со свечой в руке, издала душераздирающий вопль, словно роженица. Ударом ноги я захлопнул дверь и вырвал у нее свечу, которую она едва не уронила на пол.

— Тише! — крикнул я ей прямо в лицо. — Вы, кажется, и впрямь приняли меня за привидение?

— Ты живой? — выдавила она, побелев от страха и впиваясь пальцами себе в волосы.

— Живой! Живой! Живой! — подхватил я с какой-то свирепой радостью. — А вы меня опознали в мертвец? В утопленнике?

— Да откуда же ты? — в ужасе спросила она.

— С мельницы, ведьма! — зарычал я. — Вот, держи свечу да гляди на меня хорошенько! Это я? Узнаешь? Или тебе кажется, что перед тобой тот несчастный, который утонул в Стиа?

— Значит, то был не ты?

— Иди к черту, ведьма! Я же стою здесь, живой! А ты вставай, чудило! Где Ромильда?

— Ради бога!.. — простонал Помино, торопливо поднимаясь с пола... — Малютка... Я боюсь... Молоко...

Я схватил его за руку, тоже, в свою очередь, оторопев:

— Что еще за малютка?

— Моя... моя... дочка... — пробормотал Помино.

— Ах ты убийца! — заорала вдова Пескаторе.

Ошеломленный этим новым известием, я не мог ответить ни слова.

— Твоя дочь? — прошептал я. — Ко всему еще и дочь... И теперь она...

— Мама, ради бога, пойдите к Ромильде...— умоляющим тоном произнес Помино.

Но было уже поздно. Ромильда с раскрытой грудью, к которой присосался младенец, полуодетая, словно услышав наши крики, она впопыхах спрыгнула с постели,— Ромильда вошла в комнату и увидела меня:

— Маттиа!

Она упала на руки Помино и матери, которые унесли ее, оставив в суматохе малютку у меня на руках, когда я вместе с ними бросился к Ромильде.

Я остался один во мраке прихожей с этой хрупкой малюткой, которая пронзительно кричала, требуя молока. Я был смущен, растерян, в ушах у меня звучал отчаянный крик женщины, которая была моей, а теперь вот родила эту девочку, и не от меня, не от меня! А мою-то, мою она тогда не любила! Значит, и мне, черт побери, нечего жалеть ни ее ребенка, ни их всех. Она вышла замуж? Ну, так теперь я... Но малютка продолжала кричать, и тогда... Что оставалось делать? Чтобы успокоить девочку, я осторожно прижал ее к груди и принялся нежно похлопывать по крошечным плечикам и укачивать, прохаживаясь взад и вперед. Ярость моя утихла, пыл угас. Девочка мало-помалу смолкла.

Из темноты послышался испуганный голос Помино:

— Маттиа! А что девочка?

— Тише ты! Она у меня.

— А что ты с ней делаешь?

— Ем ее... Что делаю! Вы же сунули ее мне в руки... Пусть теперь и лежит у меня. Она успокоилась. Где Ромильда?

Он подошел ко мне, весь дрожа и глядя с опаской, как сука, увидевшая, что хозяин взял на руки ее щенка.

— Ромильда? А что? — переспросил он.

— А то, что мне надо с ней поговорить,— грубо ответил я.

— Знаешь, она в обмороке.

— В обмороке? Ну что ж, приведем ее в чувство.

Помино с умоляющим видом попытался преградить мне путь:

— Ради бога... Послушай... Я боюсь... Как это... ты... живой?... Где же ты был?... Ах, боже ты мой... Послушай... Может быть, ты лучше со мной поговоришь?

— Нет! — закричал я.— Буду говорить с ней. Ты во всем этом деле теперь никто.

— Как! Я?

— Твой брак недействителен.

— Как!.. Что ты говоришь? А девочка?

— Девочка... Девочка...— процедил я сквозь зубы.— Постыдился бы! Только два года прошло, а вы уж успели и дочкой обзавестись. Тише, маленькая, тише! Пойдем к маме!.. Ладно, веди меня! Куда идти?

Не успел я войти в спальню с ребенком на руках, как вдова Пескаторе накинулась на меня, словно гиена.

Я оттолкнул ее яростным взмахом руки:

— А вы убирайтесь! Вон там ваш зятек. Если хотите орать, орите на него. Я вас знать не знаю.

Я склонился над Ромильдой, которая горько рыдала, и положил девочку рядом с ней.

— Вот, возьми ее... Ты плачешь? Отчего? Оттого, что я жив? Ты предпочла бы, чтоб я был мертв? Посмотри на меня... Ну же, посмотри мне в лицо! Каким я тебе больше нравлюсь — живым или мертвым?

Она попыталась взглянуть на меня сквозь слезы и прерывающимся от рыданий голосом прошептала:

— Но... как... ты? Что... ты делал?

— Что делал? — усмехнулся я.— Это ты у меня спрашиваешь, что я делал? Ты-то вышла вторично замуж... за этого болвана... Родила дочку и теперь еще спрашиваешь, что я делал?

— Что теперь будет? — простонал Помино, закрывая лицо руками.

— Но ты, ты... Где ты пропадал? Раз ты притворился умершим, раз ты скрывался...— начала орать вдова Пескаторе, надвигаясь на меня с поднятыми кулаками.

Я схватил одну ее руку, скрутил и прорычал:

— Молчать, я вам говорю! Замолчите сейчас же, и если вы только пикнете, я позабуду жалость, которую испытываю к этому болвану, вашему зятю, и к этой крошке, и буду поступать по закону! А знаете ли, что гласит закон? Что я должен восстановить свой брак с Ромильдой...

— С моей дочерью? Ты?.. Ты с ума сошел! — не смущаясь, завопила она.

Но Помино, услышав мою угрозу, принялся уговаривать ее, чтобы она ради всего святого замолчала и успокоилась.

Тогда мегера, отстав от меня, напустилась на него, дурака, болвана, ничтожество, умеющего только хныкать и жаловаться, как баба.

Меня разобрал такой смех, что живот заболел.

— Хватит! — закричал я, когда немного успокоился. — Да я оставлю ему Ромильду! Охотно оставлю! Неужели вы считаете меня таким дураком, чтоб я захотел снова стать вашим зятем? Ах, бедный ты мой Помино! Прости, бедный мой друг, что я назвал тебя болваном. Но ведь ты же слышал? И теща твоя назвала тебя так, и — честное слово! — еще раньше так о тебе отзывалась Ромильда, наша женушка, да, да, она — не кто другой. Ты ей казался и болваном, и тупицей, и пошляком, и не помню уж чем еще. Не так ли, Ромильда? Ну, признайся же... Ну-ну, перестань плакать, дорогая, вытри глаза, а то еще молоко испортишь... Я теперь жив — видишь? — и хочу радоваться жизни, да, радоваться, как говорил один мой подвыпивший приятель... Радоваться, Помино! Ты думаешь, я хочу отнять маму у дочки? Ой, нет-нет! У меня уже есть сын без отца... Видишь, Ромильда? Мы с тобой теперь квиты: у меня есть сынок, он — сын Маланьи, а у тебя дочка, и она — дочь Помино. Если на то будет воля божья, мы их еще когда-нибудь поженим! Но теперь мой сын для тебя уже не обида... Поговорим о вещах повеселей... Расскажи-ка мне, как ты и твоя мать умудрились опознать мой труп там, в Стиа.

— Но я ведь тоже опознал! — вскричал, потеряв терпение, Помино. — Вся округа опознала! Не они одни!

— Молодцы! Молодцы! Он был так на меня похож?

— Твой рост... Борода... Одет как ты... в черное. К тому же ты столько времени пропадал...

— Ну конечно, я скрылся, ты ведь это уже слышал? Как будто я скрылся не из-за них. Из-за нее, из-за нее... И вот, знаешь ли, я все-таки решил было вернуться... Да, да, нагруженный золотом! Как вдруг, оказывается, я умер, утонул, даже разложился... И вдобавок всеми опознан! Слава богу, два года я болтался повсюду, как

блудный сын, а вы-то здесь — помолвка, свадьба, медовый месяц, пиры, веселье, дочка...

Спящий в гробе — мирно спи,
Жизнью пользуйся, живущий...

— А теперь-то как? Теперь-то как будет? — стеная, повторял Помино, сидевший как на иголках.— Вот о чем я спрашиваю!

Ромильда встала и перенесла девочку в колыбельку.

— Пойдем, пойдем отсюда,— сказал я.— Малютка заснула. Поговорим в другом месте.

Мы перешли в столовую, где на еще накрытом столе виднелись остатки ужина. С мертвенно-бледным, ошалелым, перекошенным лицом, весь дрожа и беспрестанно моргая помутневшими глазками, сузившиеся от муки зрачки которых казались двумя черными точками, Помино только и делал, что почесывал себе лоб и повторял, как в бреду:

— Жив... Жив... Как же это? Как же это?

— Да перестань ты ныть! — крикнул я.— Сейчас все обсудим.

Ромильда, облачившись в халат, присоединилась к нам. При свете лампы я на нее просто загляделся: она похорошела и стала совсем как в былые дни, даже еще красивее.

— Дай-ка я на тебя посмотрю... Разрешаешь, Помино? Тут ничего худого нет: я ведь раньше твоего стал ей мужем и был им подольше, чем ты. Да не стесняйся же, Ромильда! Смотри, смотри, как корчится Мино! Раз я на самом деле не умер, все в порядке!

— Это недопустимо! — пропыхтел побледневший Помино.

— Волнуется! — подмигнул я Ромильде.— Ну ладно, успокойся, Мино... Я же сказал, что не отберу ее у тебя, и я сдержу слово. Только подожди... С твоего позволения!

Я подошел к Ромильде и смачно чмокнул ее в щеку.

— Маттиа! — весь дрожа, крикнул Помино.

Я опять расхохотался:

— Ревнуешь? Ко мне? Вот еще! У меня право первенства. Впрочем, Ромильда, можешь предать это забвению. А знаешь, идя сюда, я предполагал (ты уж извини, Ромильда), я предполагал, дорогой Мино, что очень обрадую

тебя возможностью освободиться, и, признаюсь, это меня весьма огорчало: я ведь хотел отомстить. Поверишь ли, я и сейчас, пожалуй, не прочь отобрать у тебя Ромильду — ты, как видно, ее любишь, а она... Да, да, это похоже на сон, но она такая же, как была когда-то... Помнишь, Ромильда?.. Да не плачь же! Опять ты принялась хныкать!.. Хорошие были времена... Нет им возврата... Ладно, ладно: у вас теперь дочка, значит, и говорить не о чем! Оставлю вас в покое, черт побери!

— Но ведь брак-то наш будет недействительным! — закричал Помино.

— И пусть себе будет,— ответил я.— Если он и аннулируется, то чисто формально. Я своих прав заявлять не стану, не стану и добиваться официального признания меня живым, если не буду к этому вынужден. Я вполне удовлетворюсь, если все меня увидят и узнают, что на самом-то деле я жив. Я хочу только не числиться мертвым. Поверьте, такое состояние — самая настоящая смерть. Да ты и сам это понимаешь, раз Ромильда стала твоей женой... Остальное мне безразлично! Ты открыто, на глазах у всех, женился; все знают, что она уже целый год твоя жена; пусть так и остается. Неужто ты думаешь, что кто-нибудь поинтересуется, остался ли законным ее первый брак? Все это — прошлогодний снег... Ромильда была моей женой; теперь, вот уже год, она твоя жена, мать твоего ребенка. Через месяц об этом и судачить-то перестанут. Верно я говорю, вы, дважды теща?

Вдова Пескаторе с мрачным видом хмуро кивнула головой. Но Помино, которого все сильнее разбирало беспокойство, спросил:

— А ты останешься тут, в Мираньо?

— Да, и иногда вечером буду заходить к тебе выпить чашку кофе или стаканчик вина за ваше здоровье.

— Ну, уж это — нет! — выпалила вдова Пескаторе, вскакивая с места.

— Да он шутит!..— заметила Ромильда, не поднимая глаз.

— Видишь, Ромильда? — обратился я к ней.— Они боятся, как бы у нас с тобой опять не началась любовь... Это было бы мило с твоей стороны! Нет, нет, не надо мучить Помино. Я хочу сказать, что, раз он не желает принимать меня в своем доме, я стану прохаживаться по

улице под твоими окнами. Хорошо? И устраивать тебе дивные серенады.

Помино, бледный, дрожащий, ходил взад и вперед по комнате, бормоча:

— Это невозможно... Невозможно...— Вдруг он остановился и сказал: — Факт тот, что она, раз ты жив и находишься тут, больше не будет моей женой...

— А ты считай, что я умер! — спокойно ответил я.

Он снова принялся ходить взад и вперед:

— Теперь я не могу так считать!

— Ну и не считай! Ну посуди сам хорошенько: если со стороны Ромильды у тебя на этот счет не будет никаких неприятностей, то от кого еще тебе их ждать? Пусть скажет Ромильда... Ну же, Ромильда, говори, кто из нас лучше: он или я?

— Но я имею в виду — перед лицом закона! Перед лицом закона! — закричал он, останавливаясь.

Ромильда озабоченно и нерешительно взглянула на него.

— Если говорить о законе,— заметил я,— то мне, извини, кажется, что больше всего пострадаю я, поскольку мне придется отныне быть свидетелем того, как моя прекрасная половина ведет с тобой супружескую жизнь.

— Но ведь раз она,— возразил Помино,— больше не является твоей женой...

— Ну, в общем,— громко вздохнул я,— я намеревался отомстить и не мщу; я оставляю тебе жену, оставляю тебя в покое, а ты еще чем-то недоволен? Ладно, Ромильда, вставай, и уйдем отсюда вместе! Предлагаю тебе блестящее свадебное путешествие... Уж мы с тобой поселимся! Брось ты этого скучного плаксу! Как тебе нравится? Он хочет, чтобы я по-настоящему бросился в мельничную запруду Стиа.

— Вовсе я этого не хочу! — возопил выведенный из себя Помино.— Но ты по крайней мере уйди! Уходи отсюда, раз уж тебе понравилось притворяться умершим! Уходи сейчас же, и подальше, так, чтобы никто тебя не видел. Потому что, если ты... тут... живой... я не смогу...

Я встал, успокоительно похлопал его по плечу и объ-

явил, что уже был в Онелье у брата. Там все теперь знают, что я жив, и завтра эта весть неизбежно дойдет до Мираньо. Затем я вскричал:

— Чтоб я опять притворился умершим?! Прозябал где-то вдали от Мираньо? Шутишь, мой дорогой! Успокойся: живи себе мирно супружеской жизнью и ни о чем не тревожься... Как бы то ни было, свадьбу твою отпраздновали. Все одобряют то, что я предлагаю, принимая во внимание наличие ребенка. Обещаю, клятвенно обещаю, что никогда не явлюсь докучать тебе, даже чтобы выпить несчастную чашку кофе, даже чтобы насладиться радостным и бодрящим зрелищем вашей любви, вашего согласия, вашего счастья, построенного на моей смерти... Ах вы неблагодарные! Пари держу, что никто, даже ты, преданнейший друг, никто из вас ни разу не сходил на кладбище повесить венок, положить хоть жалкий цветок на мою могилу... Ведь правда? Отвечай же!

— Все-то ты шутишь! — весь сжавшись, произнес Помино.

— Шучу? И не думаю! Там ведь лежит труп человека, а с этим не шутят. Бывал ты там?

— Нет... Я не... У меня мужества не хватило... — пробормотал Помино.

— А жену у меня отнять — на это мужества хватало, озорник ты этакий!

— А ты — у меня? — быстро возразил он. — Разве ты первый не отобрал ее у меня, когда был жив?

— Я? Вот еще! Она же тебя сама не захотела! Неужто тебе надо повторять, что она считала тебя дураком? Пожалуйста, подтверди ему, Ромильда, — видишь, он обвиняет меня в предательстве. Ну ладно! Не будем больше об этом говорить, он все-таки твой муж. Но никакой вины за мной нет... Полно, полно... Завтра я сам навещу этого бедного покойника, который лежит там без единого цветочка, без единой пролитой слезы... А скажи, камень-то хоть положили на его могилу?

— Да, — живо ответил Помино. — За счет муниципалитета... Мой бедный папа...

— Произнес на моей могиле речь. Знаю. Если бы бедняга покойник слышал... А что написано на плите?

— Не знаю... Надпись сочинил Жаворонок.

— Представляю себе! — вздохнул я. — Ладно. Поста-

вим крест и на этом. Расскажи-ка мне лучше, как это вы так быстро поженились... Да, не очень-то долго ты меня оплакивала, моя вдовушка! А может быть, и вовсе не плакала? А? Да скажи хоть слово. Неужто я так и не услышу твоего голоса? Смотри: сейчас поздняя ночь, чуть забрезжит день, я уйду, и все будет так, словно мы никогда не знали друг друга... Воспользуемся же оставшимся временем. Ну, говори же...

Ромильда пожала плечами, взглянула на Помино и нервно усмехнулась. Потом опять опустила глаза и стала разглядывать свои руки.

— Что я могу сказать? Конечно, плакала...

— Чего ты не заслужил! — проворчала вдова Пескаторе.

— Благодарю! Но недолго, ведь правда? — продолжал я.— Эти прекрасные глаза нередко ошибались, но, разумеется, недолго портили себя слезами.

— Нам было очень плохо,— молвила, словно оправдываясь, Ромильда.— И если бы не он...

— Молодец, Помино! — воскликнул я.— А этот прохвост Маланья, значит, ничего?

— Ничего,— сухо отрезала вдова Пескаторе.

— Все сделал он...

— То есть... нет...— поправил ее Помино,— бедный папа... Ты знаешь, он ведь был член муниципального совета. Ну вот, прежде всего он добился маленькой пенсии, принимая во внимание несчастный случай, а потом...

— Согласился на вашу свадьбу?

— Он был просто счастлив! И захотел, чтобы все жили тут, с ним... Увы! Два месяца тому назад...

Он стал рассказывать мне о смерти отца, о том, как тот полюбил Ромильду и свою маленькую внучку, как оплакивали его смерть во всей округе. Тогда я спросил, что слышно о тете Сколастике, которая так дружила с кавалером Помино. Вдова Пескаторе, еще хорошо помнившая, как грозная старуха запустила ей в лицо комком теста, заерзала на стуле. Помино ответил мне, что она жива, но он уже года два не встречался с ней; затем он, в свою очередь, стал расспрашивать, что я делал, где жил и т. п. Я рассказал все, что можно было рассказать, не называя ни мест, ни

имен, и дал им понять, что не очень-то развлекался эти два года. И вот так, беседуя, мы поджидали наступления дня, того дня, когда все должны были узнать о моем воскресении из мертвых.

Бдение и сильные переживания утомили нас. Кроме того, мы озябли. Чтобы мы хоть немного согрелись, Ромильда сама приготовила кофе. Наливая мне чашку, она взглянула на меня с легкой, грустной и какой-то далекой улыбкой:

— Ты, как всегда, без сахара?

Что прочитала она в тот миг в моем взгляде? Ее глаза тотчас же потупились.

В этих бледных предрассветных сумерках я внезапно ощутил, как к горлу моему подкатывает клубок, и с ненавистью посмотрел на Помино. Но под носом моим дымился кофе, опьяняя меня своим ароматом, и я стал медленно потягивать его. Затем я попросил у Помино разрешения оставить у них чемодан — я пришлю за ним, когда найду себе жилье.

— Ну разумеется, разумеется! — предупредительно ответил тот. — Ты не беспокойся: я сам тебе его доставлю.

— Ну, — сказал я, — он ведь пустой. Кстати, Ромильда, не сохранилось ли у тебя случайно что-нибудь из моих вещей — одежда, белье?

— Нет, ничего... — с сожалением ответила она, разводя руками. — Сам понимаешь, после этого несчастья...

— Кто мог представить себе? — воскликнул Помино.

Но я могу поклясться, что у него, скупого Помино, шея была повязана моим старым шелковым платком.

— Ну, хватит. Прощайте и будьте счастливы, — сказал я, пожимая им руки и пристально глядя на Ромильду, так и не поднявшую на меня глаз. Когда она отвечала на мое пожатие, рука у нее дрожала. — Прощайте! Прощайте!

Очувшись на улице, я снова почувствовал себя неприкаянным, хотя и был на родине: один, без дома, без цели.

«Что ж теперь делать? — подумал я. — Куда идти?»

Я шел по улице, разглядывая прохожих. Возможно

ли? Никто меня не узнавал. Но ведь я не так сильно изменился — каждый, завидя меня, мог бы, во всяком случае, подумать: «Как этот приезжий похож на беднягу Маттиа Паскаля! Если бы глаз у него немного косил, был бы вылитый покойник». Но нет, никто меня не узнавал, ибо никто обо мне больше не думал. Я не вызывал ни любопытства, ни хотя бы малейшего удивления... А я-то представлял себе, какой поднимется шум, переполох, едва только я покажусь на улицах Мираньо! Глубоко разочарованный, я испытывал такое острое унижение, досаду, горечь, что не могу даже передать. Досада и унижение мешали мне обращать на себя внимание тех, кого я-то сам отлично узнавал. Еще бы! Прошло два года!.. Вот что значит умереть! Никто, никто больше не помнил обо мне, словно я никогда не существовал.

Дважды прошел я по городку из конца в конец, и никто меня не остановил. Раздражение мое дошло до того, что я уже подумывал возвратиться к Помино, объявить ему, что уговор наш меня не устраивает, и выместить на нем обиду, которую, как я считал, нанес мне наш городок, не узнавая меня. Но ни Ромильда не последовала бы за мной по доброй воле, ни я не знал бы, куда ее вести. Сперва мне надо было обзавестись жильем. Я подумал, не пойти ли мне прямо в муниципальный совет, в отдел записи актов гражданского состояния, чтобы меня сразу же вычеркнули из списка умерших. Но по пути туда я переменил решение и отправился в библиотеку Санта Мария Либерале, где застал на своем месте моего достопочтенного приятеля, дон Элиджо Пеллегринотто, который меня тоже сперва не узнал. Правда, дон Элиджо утверждал, что узнал меня с первого взгляда и готов был уже броситься мне на шею, но ждал только, чтобы я назвал свое имя, так как мое появление представилось ему настолько невероятным, что он просто не мог обнять человека, показавшегося ему Маттиа Паскалем.

Пусть будет так! Он первый горячо и радостно приветствовал меня, а затем почти насильно вытащил на улицу, чтобы изгладить из моей памяти дурное впечатление, произведенное на меня забывчивостью моих сограждан.

Но теперь, назло им, я не стану описывать всего, что произошло сперва в аптеке Бризиго, затем в «Кафе дель

Унионе», когда, весь еще захлебываясь от радости, дон Элиджо представил завсегдатаям ожившего покойника. В один миг новость облетела весь городок, и люди сбежавшиеся поглядеть на меня, засыпали меня вопросами. Они хотели, чтобы я сказал им, кто же был человек, утонувший в Стиа, как будто они сами, один за другим, не признавали в нем меня. А где же я-то был, я сам? Откуда возвратился? «С того света». Что делал? «Притворялся умершим!» Я решил ограничиваться этими двумя ответами — пусть болтунов посильнее грызет любопытство, и оно действительно грызло их довольно долгое время. Не удачливее прочих оказался друг Жаворонок, явившийся взять у меня интервью для «Фольетто». Тщетно он с целью растрогать меня и заставить разговориться принес мне номер своей газеты двухлетней давности с моим некрологом. Я сказал ему, что знаю его наизусть: «Фольетто» весьма распространен в аду.

— Да, да, благодарю, дорогой. И за надгробную плиту тоже... Я, знаешь ли, схожу поглядеть на нее.

Не стану пересказывать и «гвоздь» его следующего воскресного номера, где крупным шрифтом набран был заголовок:

МАТТИА ПАСКАЛЬ ЖИВ

В числе немногих, кто не захотел показаться мне на глаза, был, помимо моих кредиторов, Батта Маланья, который, однако же, по словам сограждан, два года назад изъявил глубочайшее сожаление по поводу моего варварского самоубийства. Охотно верю. Тогда, при известии о моем исчезновении на веки вечные, — глубочайшее огорчение; теперь, при известии о моем возвращении к жизни, — столь же величайшее неудовольствие. Я хорошо понимаю причину и того и другого. А Олива? Как-то в воскресенье я встретил ее на улице — она выходила из церкви, держа за ручку своего пятилетнего мальчугана, красивого, цветущего, как она сама. Моего сына! Она бросила на меня приветливый, смеющийся взгляд — и один этот беглый луч сказал мне столько...

Хватит. Теперь я мирно живу вместе с моей старой тетей Сколастикой, согласившейся приютить меня у себя в доме. Мое странное приключение сразу возвысило меня в ее глазах. Я сплю на той самой кровати, где умерла моя

Бедная мама, и провожу большую часть времени здесь, в библиотеке, в обществе дна Элиджо, который еще далеко не привел в должный порядок старые запыленные книги.

С его помощью я за полгода изложил на бумаге мою странную историю. И все, что здесь написано, он сохранил в тайне, словно узнал это на исповеди.

Мы долго обсуждали все, что со мной приключилось, и я часто говорил ему, что не усматриваю, какую мораль можно из этого извлечь.

— А вот какую,— сказал мне он в ответ.— Вне установленного закона, вне тех частных обстоятельств, радостных или грустных, которые делают нас самими собой, дорогой синьор Паскаль, жить невозможно.

Но я возразил ему, что, в сущности, не узаконил своего существования и не возвратился к своим частным личным обстоятельствам. Моя жена теперь жена Поминно, и я не могу в точности сказать, кто же я, собственно, такой.

На кладбище в Мираньо, на могиле неизвестного бедняги, покончившего с собой в Стиа, еще лежит плита с надписью, составленной моим приятелем Жаворонком:

ПОТЕРПЕВ ОТ ПРЕВРАТНОСТЕЙ СУДЬБЫ,
МАТТИА ПАСКАЛЬ,
БИБЛИОТЕКАРЬ.
БЛАГОРОДНОЕ СЕРДЦЕ, ОТКРЫТАЯ ДУША,
ЗДЕСЬ ДОБРОВОЛЬНО
УПОКОИЛСЯ.
ТЩАНИЕМ ЕГО СОГРАЖДАН ПОЛОЖЕНА
СИЯ ПЛИТА.

Я отнес на могилу, как и намеревался, венок из цветов и теперь иногда прихожу сюда поглядеть на себя — умершего и погребенного. Какой-нибудь любопытный следит за мной издалека и, хорошенько разглядев меня, спрашивает:

— Но вы-то кто ему будете?

Я пожимаю плечами, прищуриваюсь и отвечаю:

— Ах, дорогой мой... Я ведь и есть покойный Маттиа Паскаль.

1904

ПОСЛЕСЛОВИЕ О ЩЕПЕТИЛЬНЫХ СООБРАЖЕНИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ ¹

Господин Альберт Хейнц из Буффало в Соединенных Штатах, раздираемый любовью, с одной стороны, к своей жене и, с другой — к некоей двадцатилетней девице, почел за благо пригласить и ту и другую на совет, дабы принять какое-то согласованное решение.

Обе женщины и господин Хейнц в назначенное время являются в условленное место. Они долго обсуждают вопрос и в конце концов приходят к соглашению.

Все трое решают покончить с собой.

Госпожа Хейнц возвращается домой, стреляется из револьвера и умирает. Тогда господин Хейнц и влюбленная в него двадцатилетняя девица, видя, что со смертью госпожи Хейнц отпали все препятствия к их счастливому соединению, соображают, что у них нет больше никаких причин для самоубийства, и решают остаться в живых и пожениться. Однако судебно-следственные власти расценили все совершенно иначе и арестовали их.

Какой тривиальный исход дела!

(См. ньюйоркские утренние газеты от 25 января 1921 года.)

Допустим, какому-нибудь злополучному драматургу придет в голову никудышная мысль изобразить подобный случай на сцене.

Можно с уверенностью сказать, что его творческая фантазия прежде всего проявит щепетильное стремление какими-либо героическими средствами исправить нелепость самоубийства госпожи Хейнц, дабы сделать его хоть сколько-нибудь правдоподобным.

Но с такой же уверенностью можно утверждать, что к каким бы героическим средствам ни прибегал драматург, девяносто девять театральных критиков из ста заявят, что самоубийство это нелепо, а сюжет пьесы неправдоподобен.

Наша благословенная жизнь полна самых бесстыдных нелепостей, и малых и больших, но она обладает тем

¹ Первоначально Пиранделло опубликовал это послесловие в виде эссе в газете «Идея национале» от 22 июня 1921 года как ответ на критическую статью, и с того времени оно включалось во все издания романа.

бесценным преимуществом, что совершенно спокойно обходится без глупейшего правдоподобия, которому искусство считает себя обязанным подчиняться.

Нелепости, происходящие в жизни, не нуждаются в том, чтобы казаться правдоподобными, так как они на самом деле происходят — в противоположность нелепостям в искусстве, которым необходимо быть правдоподобными для того, чтобы показаться истинными. И вот, достигнув правдоподобия, они зато перестают быть нелепостями.

Случай из жизни может быть нелепым. Произведение искусства, если оно действительно произведение искусства, не может себе это позволить.

Отсюда следует, что глупо утверждать, будто то или иное произведение нелепо и неправдоподобно с точки зрения требований жизни.

С точки зрения требований искусства — да; с точки зрения требований жизни — нет.

В природе есть мир, населенный животными и потому изучаемый зоологией.

В число населяющих его животных включается и человек.

Зоолог может, говоря о человеке, сказать, например, что он животное не четвероногое, а двуногое и что, не в пример обезьяне, или, скажем, ослу, или павлину, у него нет хвоста.

С человеком, о котором говорит зоолог, никогда не может случиться такое несчастье, как, допустим, потеря ноги и замена ее деревянной, потеря живого глаза и замена его стеклянным. Человек, изучаемый зоологом, всегда обладает двумя ногами, и ни одна из них не деревянная; у него всегда два глаза, и ни один из них не стеклянный.

Спорить с зоологом невозможно: если вы покажете ему человека с деревянной ногой или со стеклянным глазом, он ответит вам, что это его не касается, так как это не человек вообще, а некий определенный человек. Правда, мы, со своей стороны, можем ответить зоологу, что человека, с которым он имеет дело, не существует, но зато существуют *человеки*, из которых ни один не тождествен другому и у которых, на их беду, бывают деревянная нога или стеклянный глаз.

Тут мы задаем себе вопрос: надо ли рассматривать как зоологов или как литературных критиков тех господ,

кои, вынося суждение о романе, рассказе или пьесе, осуждают тот или иной персонаж, то или иное изображение событий и чувств не с точки зрения искусства, что было бы совершенно справедливо, а с точки зрения человечества, каковое они, видимо, очень хорошо знают, словно оно и впрямь существует в некоем абстрактном мире, то есть за пределами бесконечно разнообразной совокупности людей, способных творить все те пресловутые нелепости, *которым незачем казаться правдоподобными, ибо они и без того вправду происходят?*

Между тем по своему личному опыту в отношении подобной критики я считаю весьма примечательным следующее обстоятельство. Зоолог считает, что человек отличается от прочих животных тем, что он мыслит, в то время как животные не мыслят. Однако способность мыслить (иначе говоря, то, что свойственно именно человеку) столько раз представлялась господам критикам не своего рода избытком человечности, а, напротив, ее нехваткой у многих моих невеселых персонажей. Для этих критиков, надо полагать, человечность есть нечто более относящееся к области чувства, чем разума. Но если уж говорить отвлеченно, как это делают критики, то, может быть, окажется верным и то, что человек никогда не мыслит так страстно (разумно или неразумно — это ничего не меняет), как тогда, когда страдает, потому что он ведь стремится узнать причину своих страданий, выяснить, кем они ему даны и справедливо ли даны. А когда он наслаждается, то упивается наслаждением, не рассуждая, словно наслаждение — его право.

Судьба животных — страдать, не рассуждая. Тот, кто страдает и в то же время мыслит (именно потому, что страдает), для этих господ критиков *не человек*. И вот получается так, что тот, кто страдает, должен быть подобен животному, и *человек* он только тогда, когда уподобляется животному.

Однако недавно я встретил критика, которому весьма благодарен.

Он спрашивает других критиков, откуда они берут критерий для того, чтобы говорить о моей *нечеловечной* и, видимо, неизлечимой «рассудочности», о парадоксальной

неправдоподобности моих сюжетов и персонажей и с этих позиций судить о моем творчестве?

«Из так называемой нормальной жизни? — задает он вопрос.— Но что она такое, как не просто система отношений, которые мы выбираем из хаоса повседневных событий и произвольно именуем нормальными». И свое рассуждение он заканчивает так: «Мир, созданный искусством художников, можно судить только по критерию, почерпнутому из самого этого мира».

Должен добавить в похвалу этому критику по сравнению с другими критиками, что, взяв меня как бы под защиту, он, несмотря на это и даже именно поэтому, все же неодобрительно отозвался о моем произведении. По его мнению, я не сумел придать своему повествованию и своим персонажам общечеловеческое значение и смысл. Не сумел настолько, что тот, кто стал бы высказываться о моей вещи, неизбежно задал бы себе недоуменный вопрос: не сознательно ли я поставил перед собой ограниченную задачу — изложить некоторые любопытные случаи, своеобразные психологические состояния?

Но что, если общечеловеческое значение и смысл моих сюжетов и персонажей, в которых, как выражается названный критик, противопоставлены реальность и иллюзия, индивидуальность и ее общественное лицо, что, если это общечеловеческое значение заключается именно в значении и смысле такого первичного противопоставления? И что, если само противопоставление реальности и иллюзии по содержанию своему всегда оказывается переменчивым, поскольку всякая сегодняшняя реальность неизбежно представится нам завтра иллюзией, однако иллюзией тоже неизбежной, а вне ее для нас никакой реальности не существует? Что, если этот общечеловеческий смысл в том и состоит, что какой-то мужчина и какая-то женщина, поставленные волей других людей или же собственной волей в положение тягостное, ненормальное с общественной точки зрения и, если угодно, нелепое, остаются в нем, терпят его и не скрывают от других то ли по своей слепоте, то ли по своему исключительному простосердечию, *пока не увидят его сами?* Ибо, едва они его увидят, словно в зеркале, возникшем перед ними, они уже не смогут его терпеть, ощутят весь его ужас и выйдут из него или, если выйти из него для них невозможно, будут испытывать смертную муку. А может быть, общечеловеческий смысл в том и состоит, что мы принимаем

положение ненормальное с общественной точки зрения, даже если видим это положение, как в зеркале, которое в данном случае кажется нам нашей иллюзией? Тогда мы словно играем на сцене, но при этом испытываем настоящие муки до тех пор, пока еще возможно играть под удушающей нас маской, которую мы сами на себя надели, которую нам навязали другие люди или жестокая необходимость, до тех пор, пока под этой маской какому-нибудь слишком уж живому нашему чувству не будет нанесена такая глубокая рана, что мы открыто восстанем, сорвем маску и растопчем ее.

«Тогда внезапно,— говорит уже упоминавшийся критик,— волна живой человечности захлестывает эти персонажи, марионетки становятся существами из плоти и крови, и из уст их вырываются слова, опаляющие душу, терзающие сердце».

Еще бы! Наше живое, неповторимое лицо выступило из-под этой маски, делавшей нас марионетками в наших собственных руках или в руках других людей, заставлявшей нас казаться жесткими, деревянными, угловатыми, незавершенными, неотделанными, сложными и напыщенными, как все то, что делается и заводится не самс собою, а под давлением обстоятельств в положении ненормальном, невероятном, парадоксальном — одним словом, таком, что под конец мы уже не в силах терпеть и восстаем против него:

Следовательно, если возникает путаница, то она устроена сознательно, если чувствуется хитрая выдумка, то она тоже вполне сознательна. Но не я придумываю и запутываю, а сам сюжет, сами персонажи. И все это, в сущности, раскрывается внезапно: часто перипетии действия слагаются в одно целое тут же на месте и выставляются напоказ зрителям в тот самый момент, когда возникают и комбинируются. Здесь уже заключено все: маска для одного единичного спектакля; комбинации ролей; то, чем мы бы хотели или должны были быть; то, чем мы кажемся другим, в то время как сами лишь до известной степени понимаем самих себя; грубая, неясная метафора нашего подлинного существа; сложное нередко сооружение, которое мы делаем из самих себя или которое из нас делают другие. Да, это действительно сложная выдумка, где каждый, повторяю, сознательно оказывается своей собственной марионеткой до тех пор, пока наконец всему этому балагану не наносится сокрушительный удар.

Думаю, что могу только порадоваться успехам моего воображения: отличаясь крайней щепетильностью, оно сумело представить в качестве вполне реальных жизненных неурядиц те, что оно само придумало, то есть недостатки в том искусственном сооружении, которое мои персонажи воздвигали над собой и над своей жизнью или которое воздвигли для них другие — словом, недостатки *маски*, пока она вдруг не оказывается сорванной.

Но еще большее утешение я почерпнул в самой жизни или, вернее, в хронике происшествий через двадцать лет после издания моего романа «Покойный Маттиа Паскаль», который сейчас снова выходит в свет.

Когда он появился в первый раз, то в почти единодушном хоре его критиков не было, пожалуй, ни одного голоса, который не упрекнул бы его за неправдоподобие.

Так вот, сама жизнь сооблаговолила дать мне доказательство его истинности, притом доказательство исключительно полное, вплоть до некоторых характернейших подробностей, в свое время изобретенных моей фантазией без чьей-либо подсказки.

Вот что напечатано было в «Коррьере делла сера» от 27 марта 1920 года:

**ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК
ВОЗЛАГАЕТ ВЕНОК НА СВОЮ
СОБСТВЕННУЮ МОГИЛУ**

На днях обнаружился удивительный случай двоемужества, оказавшийся возможным вследствие того, что первый муж был признан умершим, но на самом деле оказался живым.

Изложим вкратце предысторию данного происшествия. В декабре 1916 года в районе Кальвайрате несколько крестьян вытащили из канала «Пять шлюзов» труп мужчины в фуфайке и коричневых брюках. О происшествии дано было знать в полицию, которая предприняла расследование. Вскоре после этого труп был опознан некоей Марией Тедески, молодой женщиной лет сорока, а также некими Луиджи Лонгони и Луиджи Майоли и оказался телом электротехника Амброджо Казати ди Луиджи, рождения 1869 года, мужа Тедески. Утопленник действительно был очень похож на Казати.

Показания опознавших, как выяснилось, отнюдь не были бескорыстными, что в особенности относится к Майоли и Тедески. Настоящий Казати был, оказывается, жив! Он с 21 февраля предшествовавшего года находился в тюремном заключении за присвоение чужой собственности и еще до того разошелся со своей женой, хотя они не разводились юридически. По истечении положенных семи месяцев Тедески вышла вторым браком за Майоли, не наткнувшись ни на какие бюрократические препоны. Казати отбыл срок наказания 8 марта 1917 года и только тогда узнал, что он... умер, а его жена вторично вышла замуж и выехала неизвестно куда. Все это выяснилось, когда он отправился в адресный стол на площади Миссори за справкой на предмет получения вида на жительство. Чиновник в окошечке беспощадно объявил ему:

— Но вы же умерли! Ваше законное местожительство на кладбище Музокко, общий участок, могила № 550...

Все возражения человека, требовавшего, чтобы его признали живым, оказались тщетными. Но Казати намеревается добиться своего права... на воскресение из мертвых, и когда в актах гражданского состояния будет сделано соответствующее исправление, второй брак его предполагаемой вдовы окажется аннулированным.

Однако это удивительное происшествие отнюдь не огорчило Казати. Наоборот, он, по-видимому, пришел в отличное расположение духа и, стремясь изведать новые ощущения, отправился на свою собственную могилу, чтобы в знак уважения к своей собственной памяти возложить на надгробный холмик охапку душистых цветов и возжечь над ним лампадку.

Предполагаемое самоубийство в канале; труп, вытщенный из воды и опознанный женой и другим человеком, вскоре на ней женившимся; возвращение живого покойника и, наконец, возложение цветов на собственную могилу! Все фактические данные те же, разумеется, без всего того, что придавало единичному факту общечеловеческие значимость и смысл.

Не могу предположить, что синьор Амброджо Казати, электротехник, прочитал мой роман и принес цветы на свою могилу в подражание Маттеа Паскалю.

Между тем в жизни с ее великолепным презрением ко

всякой правдоподобности могут найтись такой священник и такой муниципальный чиновник, которые соединят законным браком синьора Майоли и синьору Тедески, не позаботившись проверить один факт, о котором легко было навести справку, а именно: что первый муж, синьор Казати, находится не в могиле, а в тюрьме.

Воображение писателя, разумеется, оказалось бы слишком щепетильным, чтобы этим пренебречь. Теперь оно торжествует, вспоминая об упреке в неправдоподобию, который ему тогда бросали, и имея возможность показать всем и каждому, на какое вполне реальное неправдоподобие способна жизнь даже в романе, где она, сама того не сознавая, подражает искусству.

Пьесы

ШЕСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОИСКАХ АВТОРА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Персонажи еще ненаписанной комедии

Отец.
Мать.
Падчерица.
Сын.
Мальчик } оба не произносят ни единого слова.
Девочка }
Мадам Паче (лицо, впоследствии исключенное).
Актеры и служащие театра.
Директор — он же режиссер. В дальнейшем будет именоваться просто Директором.
Премьерша.
Премьер.
Вторая актриса.
Молодая актриса.
Молодой актер.
Другие актеры и актрисы.
Заведующий сценой.
Суфлер.
Бутафор.
Машинист сцены.
Секретарь директора.
Швейцар.
Осветители и рабочие сцены.

Действие происходит днем, во время репетиции, на сцене драматического театра.

Пьеса не делится ни на акты, ни на сцены. Действие прерывается в первый раз, когда Директор и глава персонажей еще ненаписанной комедии уйдут за кулисы обдумывать сценарий, а актеры разойдутся по своим уборным. Занавес при этом не дается. Второй раз оно прерывается из-за машиниста сцены, который даст занавес по ошибке.

При входе в зал зрители увидят поднятый занавес и почти пустую, затемненную сцену... словом, у них будет впечатление, что к спектаклю ничего еще не готово.

Две приставные лесенки (одна — справа, другая — слева) соединяют сцену со зрительным залом.

На авансцене, рядом с зияющим люком, — сдвинутая набок суфлерская будка.

Сбоку от будки, у самой рампы, — столик и директорское кресло, повернутое спинкой к зрительному залу. Рядом еще два столика — один побольше, другой поменьше, с расставленными вокруг них стульями. Все это приготовлено для репетиции. В глубине сцены виднеются еще стулья. Они предназначены для актеров, ожидающих своей очереди. Еще дальше виднеется угол рояля. После того как в зале притушат огни, на сцене появится Машинист. На нем синяя рабочая блуза, у пояса — сумка с инструментами. Машинист проследует в дальний угол сцены, возьмет приспособления для установки декораций, разложит их на авансцене и, опустившись на колени, примется вколачивать гвозди. На стук молотка из-за кулис выбежит Заведующий сценой.

Заведующий сценой. Ты что делаешь?

Машинист. Что делаю? Прибываю.

Заведующий сценой. А знаешь, который теперь час? (*Смотрит на ручные часы.*) Половина одиннадцатого. С минуты на минуту придет Директор, и начнется репетиция.

Машинист. Скажи пожалуйста, а когда же работать?

Заведующий сценой. Когда хочешь, только не сейчас.

Машинист. А когда же?

Заведующий сценой. Уж конечно, не во время репетиции! Сейчас же забирай свое барахло! Мне надо готовить сцену для второго акта «Игры интересов».

Машинист, вздыхая и чертыхаясь, собирает инструмент и уходит за сцену. Сцена постепенно начинает наполняться актерами. Сначала

появляется один, потом другой, затем сразу двое, потом целая группа. На сцене должно быть человек девять или десять... словом, столько, сколько необходимо для репетиции пьесы Пиранделло «Игра интересов», назначенной на сегодня. При входе на сцену актеры раскланиваются сперва с Заведующим сценой, затем здороваются друг с другом. Некоторые расходятся по своим уборным; другие — и среди них Суфлер, держащий под мышкой свернутый в трубку текст пьесы, — остаются на сцене в ожидании Директора. Оставшиеся перебрасываются шутками, кто-то закуривает сигарету, кто-то жалуется на порученную ему роль, кто-то громким голосом читает отрывки из театрального журнальчика. Весьма желательно, чтобы актеры и актрисы были одеты в костюмы и платья веселых тонов и чтобы вся эта импровизированная сценка, при всей ее натуральности, шла в быстром, хорошем темпе. Одного из актеров можно даже усадить за рояль и заставить сыграть что-нибудь веселое, танцевальное. Тогда самые молодые из актеров и актрис смогут даже потанцевать.

Заведующий сценой (*хлопает в ладоши, призывая актеров к порядку*). Внимание, внимание! Пришел господин директор!

Музыка и танцы резко обрываются. Актеры поворачиваются к входу в зрительный зал, откуда появляется Директор. На голове у него котелок, под мышкой трость, в зубах толстая сигара. Он идет по проходу между рядами кресел и, отвечая на приветствия актеров, подымается по приставной лесенке на сцену. Секретарь вручает ему почту: журнал и машинописные листы.

Директор. Писем нет?

Секретарь. Нет. Это все.

Директор (*протягивая ему машинописные листы*). Отнеси ко мне в кабинет. (*Оглядевшись вокруг, обращается к Заведующему сценой*.) О, да здесь ни черта не видно! Дайте, пожалуйста, свет.

Заведующий сценой. Одну минуту! (*Идет распорядиться насчет света*.)

Вскоре вся правая сторона сцены, где находятся актеры, заливается слепящим белым светом. Пока Заведующий сценой возился с освещением, Суфлер уже занял место в будке, зажег лампочку и разложил перед собой текст репетируемой пьесы.

Директор (*ударяя в ладоши*). Начали, начали! (*Заведующему сценой*.) Кого нет?

Заведующий сценой. Премьерши!

Директор. Как всегда! (*Смотрит на часы*.) Мы и так опоздали на целых десять минут. Прошу отметить... В другой раз будет знать...

Не успел он излить свой гнев, как из глубины зала раздается голос

Премьерши: «Нет, нет! Не отмечайте! Я здесь!»

Одетая во все белое, в кокетливой шляпке и с маленькой собачонкой на руках, она вихрем промчалась по залу и вспорхнула по лесенке на сцену.

Можно подумать, что вы дали обет всегда опаздывать!

Премьерша. Извините! Я так долго искала такси, чтобы поспеть вовремя! Но вы ведь еще не начали! К тому же в первой сцене я вообще не занята! (*Назвав Директора фамильярно по имени, она сует ему собачку.*) Умоляю, заприте ее в уборной!

Директор (*ворчливо*). Еще и собака! Как будто здесь своих мало. (*Снова ударив в ладоши, Суфлеру.*) Начали, начали! Второй акт «Игры интересов». (*Усаживаясь в кресло.*) Внимание, господа! Кто занят в первой сцене?

Актеры и актрисы покидают авансцену и рассаживаются в стороне. На месте остаются только три актера, занятых в первой сцене, да еще Премьерша, которая, не обращая внимания на слова Директора, присела к одному из столиков, предназначенных для репетиции.

(*Премьерше.*) Вы, значит, заняты?

Премьерша. Я? Нет, господин директор!

Директор (*сухо*). Так отойдите же, черт возьми!

Премьерша подымается и отходит к другим, незанятым актерам, сидящим в стороне.

(*Суфлеру.*) Начали!

Суфлер (*читает по бумажке*). «В доме Леоне Гала. Столовая и одновременно кабинет...»

Директор (*поворачиваясь к Заведующему сценой*). Поставим красную гостиную.

Заведующий сценой (*делает пометку на листке бумаги*). Красная. Отлично.

Суфлер (*продолжает читать текст*). «Обеденный стол накрыт, письменный — завален книгами и бумагами. Книжные шкафы и витрины с роскошными безделушками. В глубине сцены — дверь в спальню Леоне. Дверь слева ведет на кухню. Прихожая — справа».

Директор (*подымаясь с кресла и показывая жестами*). Прошу внимания: здесь, справа, — прихожая, вот тут, слева — кухня. (*Актеру, исполнителю роли Сократа.*) Вы будете входить и уходить с этой стороны. (*Заве-*

дующему сценой.) Там вы повесите компас, тут натянете занавески. *(Снова усаживается в кресло.)*

Заведующий сценой *(записывает)*. Понятно.

Суфлер *(продолжает чтение)*. «Сцена первая. Леоне Гала, Гвидо Венанци, Филиппо, по прозвищу Со-крат». *(Директору.)* Авторские ремарки читать?

Директор. Ну да! Сто раз твердил вам об этом!

Суфлер *(читает)*. «При поднятии занавеса мы видим на сцене Леоне Гала в поварской шапочке и белом переднике. В руках у него чашка и деревянная палочка, которой он приготовился сбивать гоголь-моголь; Филиппо, выряженный поваром, также сбивает гоголь-моголь. Гвидо Венанци сидя слушает».

Премьер *(Директору)*. Простите, я непременно должен напаять поварской колпак?

Директор *(задетый этой репликой)*. А как вы думаете? Если здесь так написано? *(Показывает на текст.)*

Премьер. Но, простите, это смешно и глупо!

Директор *(вскакивая в ярости)*. «Смешно и глупо»! Да, смешно и глупо! Но что вы от меня хотите, если Франция давно уже перестала поставлять нам хорошие комедии и мы вынуждены ставить комедии этого Пиранделло, которого понять — нужно пуд соли съесть и который, словно нарочно, делает все, чтобы и актеры, и критики, и зритель плевались?

Актеры смеются.

(В бешенстве подбегает к Премьеру.) Да, ты напаялишь этот дурацкий колпак! И будешь сбивать яйца! Может, ты вообразил, что здесь все дело в желтках, которые ты сбиваешь? Нет, голубчик! Ты должен воплотить скорлупу тех яиц, которые ты вертишь своей деревяшкой!

Актеры снова раздражаются смехом и обмениваются ироническими замечаниями.

Молчать! Извольте слушать, когда вам объясняют! *(Снова Премьеру.)* Да-с, сударь, именно скорлупу! Пойми, наконец, что человеческий разум есть не что иное, как скорлупа, если он не наполнен слепым инстинктом! В этой пьесе ты воплощаешь разум, а твоя жена — инстинкт, понятно? Так вот, твоя задача заключается в том, чтобы изобразить собственную видимость... Теперь ясно?

Премьер (*разводя руками*). Не больше, чем прежде!
Директор (*возвращаясь на свое место*). И мне тоже! Поехали дальше... Дальше все будет в порядке! (*Доверительно, Премьеру.*) Прошу повернуться лицом к залу... Если всю эту галиматью произносить еще так, что публика вообще ничего не разберет,— тогда пиши пропало! (*Снова ударяя в ладоши.*) Внимание, внимание! Продолжаем!

Суфлер. Извините, господин директор, здесь дует. Разрешите поправить будку?

Директор. Хорошо, хорошо! Только поскорее!

В это время в зале появляется театральный швейцар; на голове у него фуражка с галунами. Он шествует по проходу между креслами к сцене, чтобы доложить Директору о приходе шести персонажей. Персонажи следуют за швейцаром в некотором отдалении, немного смущенные и растерянные, поминутно озираясь по сторонам.

Кто захочет поставить эту комедию на сцене, тот должен будет приложить все усилия, чтобы шесть персонажей не смешивались с актерами труппы. Ясно, что такому разделению будет способствовать расположение этих двух групп на сцене (оговоренное в ремарках), как, впрочем, и различное освещение с помощью особых рефлекторов. Однако самым подходящим и верным средством было бы использование специальных масок для персонажей: эти маски следует изготовить из материала, который бы не жухнул от пота и был в то же время достаточно легким и не утомлял актеров. В масках должны быть вырезы для глаз, ноздрей и рта. Маски эти призваны, помимо всего прочего, наиболее полно выражать самую суть комедии. Персонажи должны появляться не как призраки, а как реальные воплощения, как незыблемые порождения фантазии, то есть тем самым они будут реальнее и устойчивее, чем переменчивое естество актеров. Маски помогут создать впечатление, что это фигуры, сотворенные искусством, причем каждая из этих фигур будет выражать одно неизменное, присущее только ей чувство: Отец — угрызение совести, Падчерица — мстительность, Сын — презрение, Мать — страдание (восковые слезы у глазниц и у зияющего отверстия рта будут придавать этой маске сходство с изображением Mater Dolorosa в церквях). Особое внимание следует обратить и на одежду персонажей. В ней не должно быть ничего неестественного, но жесткие складки и почти статуарные формы костюмов должны тем не менее все время напоминать, что платье их сделано не из той материи, которую можно приобрести в любой лавочке и сшить у любого портного.

Отец — мужчина пятидесяти лет, волосы рыжие, редкие, но до лысины еще далеко; маленькие густые усики скрывают часть еще совсем не старческого рта; на губах появляется иногда какая-то растерянная улыбка; в фигуре заметно предрасположение к полноте; бледен; лоб широкий, глаза голубые, продолговатые, живые и пронизательные; брови светлые, куртка темная; в голосе слышится то медоточивость, то жесткие, властные нотки.

Мать — кажется, вот-вот рухнет под бременем стыда и душевной усталости. Черная вуаль, какие носят вдовы, черное скромное платье;

когда подымает вуаль — открывается бесцветно-восковое лицо; взгляд ее все время устремлен куда-то вниз.

П а д ч е р и ц а — ей восемнадцать лет, держится дерзко, почти вызывающе. Очень красива. Платье траурное, но подчеркнута элегантно. Все время сердится на своего брата, М а л ь ч и к а четырнадцати лет, с лица которого не сходит кроткое, озабоченное, растерянное выражение. На Мальчике черный костюм. Зато с необыкновенной нежностью относится Падчерица к своей сестренке, Д е в о ч к е четырех лет, одетой в белое платье, перехваченное у пояса черной шелковой лентой.

С ы н — двадцати двух лет; высокий, почти застывший в позе презрения к Отцу и злобного безразличия к Матери. На нем лиловый плащ и длинный зеленый шарф, повязанный на шее.

Ш в е й ц а р (*робко*). Господин директор, к вам пришли, желают с вами поговорить...

Директор и актеры поворачиваются и с удивлением смотрят в зал.

Д и р е к т о р (*сердито*). Я же репетирую! Вам известно, что во время репетиции вход воспрещен! (*Поворачиваясь к вошедшим.*) Что вам угодно?

О т е ц (*приближаясь к лесенке, ведущей на сцену. За ним — его спутники*). Мы забрели сюда в поисках автора...

Д и р е к т о р (*с удивлением, сердито*). Автора?.. Какого автора?..

О т е ц. Да все равно какого!

Д и р е к т о р. Нет здесь никакого автора... Мы репетируем не новую пьесу.

П а д ч е р и ц а (*с игривой поспешностью взбегая по лесенке*). Тем лучше, тем лучше! Мы сами можем стать вашей новой пьесой...

О д и н и з а к т е р о в (*среди общего смеха и шуток других актеров*). Вот тебе и на!

О т е ц (*идя следом за Падчерицей*). Так-то оно так... Но если нет автора? (*Директору.*) Вот если бы вы, господин директор, согласились стать нашим автором...

Мать, Девочка и Мальчик поднимаются на первые ступеньки лестницы и останавливаются в ожидании. Сын остается внизу, в зале.

Д и р е к т о р. Это что, шутка?

О т е ц. Вовсе нет. Напротив, мы принесли вам очень тяжелую драму.

Падчерица. И она принесет вам настоящий успех!
Директор. Ах вот как!.. Ну, а пока доставьте мне удовольствие: уберите отсюда вон!.. Мы не можем терять время на сумасшедших...

Отец (*оскорбленный в своих лучших чувствах, но тем не менее медоточивым голосом*). Ах, господин директор! Вы же знаете не хуже меня, что жизнь полна таких несуразностей, которые вовсе не нуждаются в правдоподобию. А знаете почему, господин директор? Потому что эти несуразности и есть правда!

Директор. Что вы такое плетете?

Отец. Я хочу сказать, господин директор, что пытаться делать как раз обратное, то есть создавать иллюзию правды,— это чистое сумасшествие. И это сумасшествие, разрешите вам заметить, составляет весь смысл вашей профессии.

Актеры дружно протестуют.

Директор (*подымается с кресла и смотрит на него в упор*). Ах вот как! Так наша профессия кажется вам ремеслом сумасшедших?

Отец. Ну, конечно! Судите сами! Придавать подобие правды тому, что не является правдой, и при этом без всякой нужды, просто так, ради игры... А разве ваша профессия не заключается в том, чтобы оживлять на сцене выдуманные персонажи?

Директор (*прерывая его, возбужденный нарастающим ропотом актеров*). Прошу вас зарубить себе на носу, дорогой мой, что профессия актера — профессия самая благородная. И если нынешние авторы поставляют нам идиотские пьесы, выводят какие-то чучела вместо человеческих характеров, то это не значит, что мы не можем гордиться своими подмостками, на которых нам удавалось воссоздавать многие гениальные творения!

Актеры выражают свое удовольствие и рукоплещут Директору.

Отец (*поспешно перебивая Директора*). Так, так! Превосходно! Вы создаете людей куда более живых, чем те, которые едят, дышат и числятся на службе! Эти существа, быть может, и не столь реальны, но зато куда более правдивы!.. Тут мы с вами не спорим.

Актеры в недоумении переглядываются.

Директор. Но как же, позвольте... Сперва вы говорили, что...

Отец. Нет, позвольте... Я просто отвечал вам! Вы сказали, что не можете терять время на сумасшедших, а между тем вы же сами знаете, что природа пользуется человеческим воображением для того, чтобы продолжить свою созидательную работу.

Директор. Совершенно верно! Но что же из этого следует?

Отец. Ничего, господин директор! Я просто хотел вам показать, что можно появиться на свет под тысячью видимостей, в тысячах различных форм. Можно родиться деревом или булыжником, водой, мотыльком или... женщиной! Можно родиться и театральным персонажем!

Директор *(с деланной иронией)*. Уж не родились ли случайно такими персонажами вы и ваши почтенные спутники?

Отец. Именно это, господин директор, я и хотел сказать. И все мы, как вы видите, люди вполне живые.

Директор и актеры разражаются хохотом, словно им довелось услышать удачную шутку.

(Обиженно). Весьма сожалею, что вам это показалось таким смешным... Мы носим в себе, повторяю, тяжелую драму. Об этом вы можете судить хотя бы по виду этой женщины, одетой в траур.

Директор *(сначала сбитый с толку, потом сердито)*. Будет, довольно! Замолчите наконец! *(Персонажам.)* Прошу освободить сцену! *(Заведующему сценой.)* Да выгоните вы их!

Заведующий сценой *(толкает пришельцев к выходу, но потом внезапно останавливается, словно его удерживает какая-то сила)*. Прошу! Прошу!

Отец *(Директору)*. Обождите, выслушайте нас. Мы...

Директор *(переходя на крик)*. Да понимаете ли вы, что мы работаем?

Премьер. Разве можно так шутить?..

Отец *(выходя вперед, решительно)*. Ваше недоверие поражает... Неужто вы, актеры, не привыкли иметь дело с живыми воплощениями персонажей, сотворенных автором? Неужто только потому, что нас нет в шпаргалке суфлера... *(Показывает на суфлерскую будку.)*

Падчерица *(с вызывающей улыбкой приближаясь)*

к Директору). Поверьте, господин директор, что перед вами действительно шесть самых необычных и интересных персонажей... хотя и сбившихся с пути!

Отец (*отстраняя ее*). Да, если хотите, сбившихся с пути... (Директору.) И вот в каком смысле: автор, который дал нам жизнь, потом раздумал или не смог возвести нас в ранг искусства... Это было настоящим преступлением, потому что кому выпало счастье породить хоть один настоящий живой персонаж, тот может смеяться даже над смертью. Он не умрет! Умрет человек, писатель, орудие творения, но само творение не умрет никогда! И заметьте, что для жизни в веках это творение не нуждается ни в каких-то особых качествах, ни в необходимости совершать чудеса. Кто такой Санчо Панса? Кто такой дон Аббондио? И тем не менее они вечны, потому что им посчастливилось найти благодатную почву, найти фантазию, которая сумела взрастить и выпестовать их, наделить бессмертием!

Директор. Все это прекрасно... Но что вам нужно в театре?

Отец. Мы хотим жить, господин директор!

Директор (*с иронией*). В веках?

Отец. Нет, господин директор, хотя бы одно мгновение — в вас.

Премьер. Скажи пожалуйста!

Премьерша. Они хотят жить в нас!

Молодой актер. С удовольствием! (*Показывая на Падчирицу*.) А я с ней!

Отец. Обождите, пьесу еще надо сделать. (Директору.) Если вы и ваши актеры согласны — мы мигом примемся за дело!

Директор (*сухо*). За какое дело? Здесь этим не занимаются! Мы только исполняем драмы и комедии!

Отец. Правильно... Вот почему мы и пришли сюда...

Директор. Где ваш текст?

Отец. Он внутри нас.

Актеры смеются.

Драма заключена в нас; мы сами — драма, и мы сгораем от нетерпения представить ее так, как нам подсказывают бушующие в нас страсти!

Падчирица (*с шутливым бесстыдством*). Ах! Моя

страсть! Если б вы только знали мою страсть... к нему!
(Показывает на Отца и делает жест, будто хочет его обнять. Потом заливается громким смехом.)

Отец (в гневе). Держи себя прилично! Прекрати этот дурацкий смех!

Падчерица. Ну, тогда хотите, я покажу вам, как я умею петь и танцевать? Этому я обучилась всего за два месяца — после того как умер отец. (Затягивает «Берегитесь Чу Цын-Чу» Дейва Стемпера, переделанную в фокстрот или медленный уанстен Френсисом Салабером. Поет первый куплет, сопровождая пение танцевальным па.)

«Les chinois sont un peuple malin,
De Shaugai à Peking,
Ils ont mis des écriteaux partout:
Prenez garde à Tchou-Thin-Tchou!»¹

Актеры и актрисы (смеются и хлопают в ладоши). Отлично!..

— Bravo!..

— Изумительно!

Директор (сердито). Тише! Можно подумать, что вы в кафешантане. (Отведя Отца в сторону, с некоторым удивлением.) Скажите: она сумасшедшая?

Отец. Нет... Хуже!..

Падчерица (прерывая его, Директору). Хуже! Хуже! Разве дело в том, хуже или лучше? Прошу вас, дайте нам сыграть эту драму сейчас же... В нужное время вы увидите... когда эту душку... (Берет за руку Девочку, которая до сего времени стояла, прижавшись к Матери, и подводит к Директору.) Видите, какая чудесная крошка! (Берет ее на руки и целует.) Милая ты моя, милая!.. (Опускает на пол и прибавляет как бы против воли, в волнении.) Так вот, когда господь приберет ее к себе... и когда этот идиот (грубо, за рукав выталкивает вперед Мальчика) сделает самую большую свою глупость — а ведь он полный кретин (резко отпихивает его), — тогда вы увидите, на что я способна, да, сударь, увидите! Сейчас еще не время! Ведь после того, что произошло между ним и мной (с жуткой многозначительностью подмигивает в сторону Отца), я больше не в силах находиться в этой

¹ Китайцы — осмотровый народ,
По дороге от Шанхая до Пекина
Они повсюду развесили плакаты:
«Берегитесь Чу Цын-Чу!» (Перевод с франц.)

компании. Я не могу видеть страдания Матери из-за этого болвана переростка. (*Показывает на Сына.*) Взгляните на него, взгляните! Безразличен, холоден как лед, полон презрения ко мне, к этому мальчугану (*показывает на Мальчика*) и к этой крошке... и все оттого, что он законный сын... А мы, видите ли, незаконные!.. (*Подходит к Матери и обнимает ее.*) И эту несчастную женщину, которая приходится матерью всем нам, он не признает, смотрит на нее свысока, будто она только наша мать... Прохвост! (*Все это произносится скороговоркой, в крайнем возбуждении. Сделав ударение на слове «наша», слово «прохвост» она произносит тихо, с таким выражением, будто хочет сплунуть.*)

М а т ь (*с бесконечной печалью в голосе, Директору*). Сударь, во имя этих двух несчастных созданий умоляю вас... (*Пошатывается, вот-вот лишится сознания.*) О боже, боже!..

О т е ц (*с помощью взволнованных, сбитых с толку актеров поддерживает ее*). Стул! Ради бога, скорее стул!..

А к т е р ы (*поспешно подбегая*). Так это не игра? Ей и в самом деле дурно?

Д и р е к т о р . Скорее стул!

Один из актеров приносит стул; другие предупредительно обступают ее. Мать, сидя на стуле, пытается помешать Отцу приподнять с ее лица вуаль.

О т е ц . Взгляните на нее, синьор, взгляните!..

М а т ь . Нет, нет, ради бога, не надо!

О т е ц . Оставь, пусть смотрят! (*Поднимает вуаль.*)

М а т ь (*вскакивает со стула и закрывает лицо руками, с отчаянием в голосе*). Заклинаю вас, господин директор, не позволяйте ему привести свой замысел в исполнение! Я этого не вынесу!

Д и р е к т о р (*в недоумении, совершенно сбитый с толку*). Я решительно не понимаю, где мы находимся и что тут происходит! (*Отцу.*) Это ваша жена?

О т е ц (*поспешно*). Да, сударь, моя жена!

Д и р е к т о р . Так почему же вы говорите, что она вдова?

Актеры, словно сбросив с себя тяжелый груз, раздражаются громким смехом.

О т е ц (*уязвленно, с обидой*). Не смейтесь! Ради всего

святого, не смейтесь! Ведь в том-то и заключается драма этой женщины, сударь! Она принадлежала другому мужчине, и тот, другой, должен был бы быть здесь!

М а т ь (*кричит*). Нет, нет! Не слушайте его!

П а д ч е р и ц а. На свое счастье, он умер два месяца назад. Как видите, мы еще носим траур.

О т е ц. Но здесь его нет не потому, что он умер. Его здесь нет — посмотрите на эту женщину, и вы мигом поймете, почему его здесь нет! Драма этой женщины вовсе не в том, что она любила двух мужчин... к настоящей привязанности она неспособна... разве что чувство благодарности, да и то не ко мне, а к тому, покойному! Она ведь не женщина-любовница, а мать! Ее драма — и заметьте себе: драма страшная — заключена вот в этих четырех отпрысках от двух разных мужчин, которым она принадлежала.

М а т ь. Я принадлежала? И у тебя хватает духу говорить, что я принадлежала, будто я сама этого хотела? Это он, сынор! Это он силой навязал мне того, другого! Он вынудил меня уйти с ним!

П а д ч е р и ц а (*с возмущением*). Это ложь!

М а т ь (*растерянно*). Как так — ложь?

П а д ч е р и ц а. Ложь! Ложь!

М а т ь. Что ты можешь об этом знать?

П а д ч е р и ц а. Ложь! (*Директору*.) Не верьте ей! Знаете, почему она так говорит? (*Показывая на Сына*.) Только ради него. Она клянет себя, убивается из-за этого сынка... хочет уверить его в том, что если она и бросила его двухлетним ребенком, то только потому, что ее вынудил он...

М а т ь (*настойчиво*). Вынудил, вынудил! Богом клянусь, что вынудил! (*Директору*.) Спросите его самого. (*Показывая на мужа*.) Пусть скажет!.. А ты (*показывая на Дочь*), ты ничего не знаешь.

П а д ч е р и ц а. Знаю только, что с моим отцом ты была счастлива до самой его смерти. Разве не так?

М а т ь. Так...

П а д ч е р и ц а. Он всегда был так ласков и заботлив к тебе! (*Мальчику, в ярости*.) Разве не так? Скажи! Чего молчишь, болван?

М а т ь. Оставь ребенка в покое! Зачем ты хочешь, чтобы меня считали неблагодарной? Я вовсе не желала обидеть твоего отца! Я просто сказала, что бросила дом и сына вовсе не по своей прихоти!

Отец. Это верно, господин директор. Виноват я.

Пауза.

Премьер (*своим товарищам*). Ну и сценка!

Премьерша. Да, для нас это просто готовый спектакль!

Молодой актер. И еще какой!

Директор (*живо, с интересом*). Послушаем, что будет дальше! (*Говоря это, он спускается по приставной лесенке в зрительный зал как бы для того, чтобы охватить картину в целом.*)

Сын (*не двигаясь с места, тихо, холодно, с иронией*). Вот, вот, послушайте, как он будет философствовать! Сейчас он заговорит о демоне опыта!

Отец. Я тебе сто раз говорил, что ты просто циник и болван! (*Директору.*) Он издевается надо мной за то, что я сказал в свое оправдание.

Сын (*презрительно*). Пустая болтовня!

Отец. Почему же болтовня? Разве, когда случится горе, не приносят нам подчас облегчение самые обыкновенные слова?

Падчерица. Особенно те, что заглушают угрызания совести.

Отец. Угрызания совести? Неправда! Я не заглушал их одними словами.

Падчерица. Ну да, еще чуть-чуть — деньгами... Да, да, именно деньгами!.. Вспомните хотя бы те сто лир, которые вы предложили мне в уплату!

Актеры содрогаются от омерзения.

Сын (*презрительно, сводной сестре*). Вот это уже подло!

Падчерица. Подло? А сто лир в синем конверте, которые были оставлены на столике красного дерева в гостиной заведения мадам Паче? Вы знаете, господа, мадам Паче? Это из тех хозяек, которые под вывеской «Платья и пальто» увлекают таких, как мы, бедных девушек из порядочных семей.

Сын. Так неужели эти паршивые сто лир, которые он хотел тебе уплатить и, по счастью, — по счастью, заметить! — просто не имел повода уплатить, дают тебе право всех нас тиранить?

П а д ч е р и ц а. Но ведь ты-то знаешь, что еще немно-
го — и деньги были бы мои? (*Хохочет.*)

М а т ь (*вмешиваясь*). Как тебе не стыдно, дочка!

П а д ч е р и ц а (*запальчиво*). Чего стыдиться? Просто
я решила отомстить. Мне и сейчас жутко вспомнить эту
сцену! Представьте комнату... Здесь вешалка, там диван-
кровать, зеркало, ширма, а перед окном — тот самый
столик красного дерева, и на нем синий конверт с день-
гами. Я вижу конверт... Стоит протянуть руку — и он
мой... Отвернитесь, синьоры, ведь я почти голая!.. Теперь
уж я не краснею — краснеет он... (*Показывает пальцем на*
Отца.) Но тогда, уверяю вас, он был бледен, как мертвец.
(*Директору.*) Даю вам слово!

Д и р е к т о р. Ничего не понимаю!

О т е ц. Еще бы! Когда на вас обрушиваются со всех
сторон! Прикажете им замолчать, дайте я скажу... На их
наскоки я отвечать не буду...

П а д ч е р и ц а. Нечего тут рассказывать, нечего!

О т е ц. Да не рассказывать, а просто кое-что по-
яснить!

П а д ч е р и ц а. На свой лад, конечно!

Директор выходит на сцену, чтобы навести порядок.

О т е ц. Но ведь если все зло отсюда! В словах-то
именно все зло и есть! В каждом из нас — целый мир,
и в каждом — этот мир свой, особенный. Как же мы
можем понять друг друга, господа, если в свои слова
я вкладываю только то, что заключено во мне, а собесед-
ник мой улавливает в них лишь то, что согласно с его
собственным миром? Мы только думаем, что друг друга
понимаем, а на деле нам никогда не столкнуться! Вот,
к примеру, моя жалость к этой женщине (*показывает на*
Мать) была понята ею как жестокость.

М а т ь. Но ведь ты же прогнал меня!

О т е ц. Вы слышите? Прогнал! Ей кажется, что я ее
прогнал!

М а т ь. Говорить-то ты умеешь, а я нет... Но раз ты
на мне женился... уж почему не знаю!.. Была я бедная,
забитая...

О т е ц. Вот потому-то я и женился! Твоя забитость
трогала меня, я верил... (*При виде отрицательных же-
стов Матери замолкает, в отчаянии разводит руками и,
видя никчемность своих попыток убедить ее, Директору.*)

Вот видите! Она не согласна! Ведь это ужасно, господин директор, право, ужасно, когда... *(Постукивает себя по лбу.)* Тут пусто!.. Сердце! Ну да, конечно, для детей! Но ведь когда тут пусто — поневоле упадешь в отчаяние!

Падчерица. А может, ты скажешь этим господам, что дал нам твой светлый ум?

Отец. О, если б можно было предугадать все зло, которым так часто оборачиваются наши благие намерения!

В этот момент Премьерша, которая мучается ревностью при виде заигрываний Премьера с Падчерицей, выступает вперед и спрашивает Директора.

Премьерша. Простите, господин директор, мы будем продолжать ренетицию?

Директор. Да, да! Конечно! Дайте только дослушать!

Молодой актер. Удивительный случай!

Молодая актриса. Поразительный!

Премьерша. Конечно, для тех, кто проявляет к нему особый интерес! *(Бросает многозначительный взгляд на Премьера.)*

Директор *(Отцу)*. Объясните все толком. *(Садится.)*

Отец. Пожалуйста. Видите ли, был при мне секретарем человек, преданный своему делу, тихий, порядочный. С ней он мигом и во всем решительно находил общий язык... *(Показывает на Мать.)* Боже упаси вас подумать что-нибудь такое... Был он скромн, покорен и чист душой, совсем как она... Оба они были не только неспособны сделать что-либо дурное, но даже помыслить о дурном!

Падчерица. Зато он не только помыслил за них *(показывает на Отца)*... но и сделал!

Отец. Неправда! Я желал им добра... ну и себе тоже, сознаюсь. Но ведь дело зашло так далеко, господин директор, что я слова не мог сказать ни тому, ни другому без того, чтобы они тут же понимающе не переглянулись... не посмотрели вопросительно друг на друга, будто спрашивая, как отнестись к моим словам, как бы не задеть моего самолюбия. Это, как вы понимаете, бесило меня, и порой я просто приходил в отчаяние.

Директор. А почему вы не выставили за дверь этого вашего секретаря?

Отец. Легко сказать — выставить! Я и выставил его! Но тогда эта несчастная женщина совсем потеряла рассудок и бродила по дому, словно понурая собака, подобранная на улице из жалости.

Мать. Еще бы, если...

Отец (*мигом повернувшись к ней, как бы желая предупредить ее слова*). Все дело в сыне? Не правда ли?

Мать. Сначала, господин директор, он отобрал у меня сына!

Отец. Но вовсе не из желания причинить ей боль. Я хотел, чтобы он рос здоровый и сильный духом, поближе к земле!

Падчерица (*показывая на Сына, иронически*). Оно и видно!

Отец (*поспешно*). Ах, значит, я виноват и в том, что он вырос таким? Я отдал его кормилице, в деревню... Жена хотя и из простых, но сама кормить не могла. К деревне, знаете ли, у меня какая-то особая тяга... Быть может, это заскок, но что поделаешь? Я всегда возлагал проклятые надежды на здоровую простую мораль...

При этих словах Падчерица заливается громким смехом.

Заставьте ее замолчать! В конце концов, так же нельзя!

Директор. Замолчите! Не мешайте слушать, черт возьми!

Окрик Директора заставил ее умолкнуть. Она так и застыла с усмешкой на лице, далекая, словно ушедшая в себя. Директор спускается в зрительный зал, чтобы взглядом охватить всю сцену.

Отец. Больше я не мог видеть подле себя эту женщину. (*Показывает на Мать*.) Но, верьте, не столько из-за мертвящей пустоты, которая царила в доме, сколько из сострадания, искреннего сострадания к ней...

Мать. Потому-то ты и прогнал меня...

Отец. ...и к этому человеку! Я дал денег... я должен был избавить ее от себя!

Мать. И избавиться от меня!

Отец. Ну что же... отчасти! А в результате — лишь одна беда. Я старался сделать как можно лучше... и лучше для нее, чем для себя, клянусь вам! (*Скрещивает руки на груди; Матери*.) Я не терял тебя из виду до тех пор, пока тот, другой, не увез тебя куда-то далеко, глупо приревновав меня. Верьте мне, господин директор, что

интерес, который я проявлял к новой семье моей жены, был самым бескорыстным. Я с такой нежностью следил за тем, как подрастают ее новые дети! Даже она это подтвердит! (*Делает жест в сторону Падчерицы.*)

Падчерица. Ну как же! Я была еще малюткой — косы до пят, панталончики длиннее юбки — вот такой маленькой, — а он, помню, все поджидал меня у школы. Все ходил смотреть, как я подрастаю...

Отец. К чему эти гадкие намеки? Это же просто подло!

Падчерица. Почему же?

Отец. Подло! Подло! (*Директору, как бы пытаясь что-то объяснить.*) Мой дом, господин директор, когда она ушла (*показывает на Мать*), сразу мне опостылел. Как ни было с ней тяжело, а все не так одиноко! Я метался по комнатам, как зверь в клетке. Когда этот субъект (*показывает на Сына*) был привезен из деревни от своей кормилицы, он показался мне совсем чужим. Рос он без матери, как-то в стороне, и между нами не было никакой близости. И вот тогда-то — как ни странно, господин директор, — сперва я заинтересовался, а потом мало-помалу и привязался к новой семье моей жены, в появлении которой, как вы понимаете, отчасти я был повинен; мысли о ней заполняли образовавшуюся пустоту. У меня явилась настоящая потребность знать, что там, в этой маленькой семье, занятой милыми житейскими заботами и такой далекой от сложности моих душевных переживаний, все благополучно. И вот, желая убедиться, я и ходил смотреть на этого ребенка к дверям школы.

Падчерица. Он ходил за мной по пятам, дорогой улыбался, а когда я подходила к дому, махал мне рукой — вот так! Я отвечала ему сердитым взглядом. Ведь я даже не знала, кто он такой. Дома я рассказала обо всем маме. Видно, она сразу поняла, кто это.

Мать утвердительно кивает головой.

Несколько дней она не пускала меня в школу. Когда же я снова пошла, то увидела его у дверей — это было смешно, — он стоял с большим бумажным пакетом в руках. Подойдя, он приласкал меня и вытащил из пакета большую соломенную шляпу, украшенную майскими розочками, какие носят во Флоренции... Это был его подарок!

Директор. Но, сударыня, это же домашние воспоминания, а не...

Сын (*презрительно*). Дешевая литература!

Отец. Какая там литература! Это сама жизнь, господин директор!

Директор. Пусть жизнь! Но ведь на сцене такое не представишь!

Отец. Согласен. Это только еще предыстория! Я вовсе не требую, чтобы вы ее изображали. С тех пор прошло много времени. Как видите (*показывает на Падчерицу*), она уже не та девочка с косами до пят...

Падчерица. ...и в панталончиках, торчащих из-под юбки!

Отец. Драма только сейчас начнется, господин директор! Драма невиданная, неслышанная, потрясающая!

Падчерица (*прерывает его и гордо выступает вперед*). Когда умер отец...

Отец (*прерывает Падчерицу*). ...наступила полная нищета! Они вернулись сюда, даже не известив меня. И все по ее глупости. (*Показывает на Мать.*) Правда, она и писать-то почти не умеет, но ведь могла же она попросить дочь или этого парнишку написать мне, что они терпят нужду!

Мать. А как я могла догадаться, господин директор, что им владеют такие благородные чувства?

Отец. В этом-то и заключалась твоя всегдашняя ошибка — ты никогда не умела угадывать истинные мои чувства!

Мать. После стольких лет разлуки и всего, что между нами произошло...

Отец. А разве я виноват, что этот достойный человек увез вас куда-то к черту на рога? (*Директору.*) Там он, кажется, нашел какую-то работу. И понятно, что со временем — ведь я не видел их несколько лет — мой интерес к ним стал ослабевать. Драма, господин директор, разыгралась молниеносно и совершенно неподвижно, когда они вернулись... в тот день, когда я поддался влечению своей еще не угасшей плоти... Ах, какое это несчастье для одинокого мужчины, который не хочет идти на случайные связи... для мужчины, который еще не так стар, чтобы обходиться без женщин, и не так молод, чтобы гоняться за ними без стыда и зазрения совести!.. Несчастье? Да что несчастье! Ужас, настоящий ужас! Ведь ни одна женщина уже не может подарить тебе свою

любовь. Как только ты это понял — смирись... Но, увы, господин директор, на людях-то мы все стараемся поддерживать внешнее достоинство, а вот оставшись наедине с самим собой, охотно признаемся в самых сокровенных своих влечениях... Мы уступаем искушению... и как часто лишь для того, чтобы тут же, словно спохватившись, вновь натянуть маску невозмутимого достоинства, глухую, как надгробье, только бы похоронить под ней следы и самую память о своем позоре. Так поступают все! Но не всем хватает мужества признаться в этом!

П а д ч е р и ц а. А делать так всем хватает!

О т е ц. Всем без исключения! Но только тайком! Вот почему требуется столько мужества признаться в этом! Стоит кому-нибудь из нас признаться — и конец! Его сейчас же прозовут циником. И это несправедливо, господин директор. Такой человек ничуть не хуже других; даже, наоборот, гораздо лучше, потому что он не боится выставить на общее обозрение свою сокровенную животную сущность, при виде которой люди жмурятся и стыдливо отводят глаза. Ну вроде как женщина,— впрочем, вы сами знаете, как поступает женщина. Она смотрит на вас призывно, словно поддразнивая... Как только вы сжали ее в своих объятиях, она закрывает глаза. Это и есть знак согласия, знак, который говорит мужчине: «Я ничего не вижу, закрой и ты глаза!»

П а д ч е р и ц а. А когда женщина не закрывает глаза? Когда она не ощущает необходимости таиться от самой себя, когда, напротив, она смотрит сухими, незамутненными глазами и видит, как краснеет мужчина, который теряет голову, не испытывая при этом никакой любви? Ах, какая мерзость все эти ваши умствования, вся эта философия, которая обнажает скотское нутро и к тому же еще оправдывает!.. Противно слушать! Когда сама бываешь вынуждена «упростить» жизнь таким животным способом, растоптать все человеческое, что есть в тебе: свои чистые помыслы, чувства, идеалы, долг, стыдливость, целомудрие — ничто не вызывает большего отвращения, чем подобные излияния: все это крокодиловы слезы!

Д и р е к т о р. Вернемся к фактам, господа! Довольно рассуждений!

О т е ц. Правильно, господин директор. Но ведь факты подобны мешкам — если они пусты, они не могут стоять. Чтобы факт стоял на ногах, нужно прежде всего напитать его разумом и чувствами, которые дали ему жизнь. Как

мог я предполагать, что, вернувшись после смерти этого человека сюда, ей (*показывает на Мать*), чтобы прокормить семью, придется просить работу именно у этой самой... мадам Паче!

Падчерица. Ох и тонкая бестия эта мадам Паче! Как будто обслуживает женщин высшего круга, но при этом выходит так, что клиентки сами работают на нее... О женщинах попроще я уж не говорю, на них она здорово наживается!

Мать. Поверьте, господин директор, мне даже на секунду в голову не приходило, что эта мегера дает мне работу только потому, что ей приглянулась моя дочь...

Падчерица. Бедная мама! Знаете, что делала мадам Паче, когда я приносила ей мамину работу? Она перемеряла материал, говорила, что он испорчен,— и вычитала из маминых денег. Сами понимаете, расплачиваться приходилось мне, а бедняжка верила, будто жертвует собой ради меня и этих крошек, просиживая ночи напролет над платьями для мадам Паче!

Присутствующие на сцене актеры громко негодуют и делают возмущенные жесты.

Директор (*нетерпеливо*). И там-то в один прекрасный день вы встретили...

Падчерица (*указывая на Отца*). ...его! Еще бы, старый клиент! Вот посмотрите, какая это будет сцена! Потрясающая!

Отец. Приход ее матери...

Падчерица (*перебивая, с ехидством*). ...столь своеобразный!

Отец (*повышая голос до крика*). Именно! По счастью, все разъяснилось вовремя! Я тут же забрал их всех к себе! Но представьте мое теперешнее положение — я не могу ей даже в глаза смотреть, а она... сами видите, как она держится!

Падчерица. Поразительный тип! Неужели, господин директор, можно после «того, что произошло», требовать, чтобы я прикидывалась скромной, добродетельной девицей, воспитанной в согласии с его проклятыми идеями «простой здоровой морали»?

Отец. Для меня смысл всей этой драмы в том, что каждый из нас напрасно воображает себя «одним», неизменно единым, цельным, в то время как в нас «сто»,

«тысяча» и больше видимостей... словом, столько, сколько их в нас заложено. В каждом из нас сидит способность с одним быть одним, с другим — другим! А при этом мы тешим себя иллюзией, что остаемся одними и теми же для всех, что сохраняем свое «единое нутро» во всех наших проявлениях! Совершеннейшая чепуха! Мы сами подчас ловим себя на том, как вдруг, в каком-то нашем акте, мы словно оказываемся подвешенными на крючок; и только тогда понимаем, что в этом акте выразилась отнюдь не вся наша суть и что было бы вопиющей несправедливостью судить о нас лишь по нему... в этот момент нам кажется, будто нас выставили у позорного столба пожизненно, будто вся наша жизнь выразилась в одном этом мгновении! Теперь вам понятно коварство этой девицы? Она застала меня в месте, в котором ей не следовало меня встречать, в виде, в каком я не должен был ей являться; и она хочет закрепить за мной образ, который мне несвойствен, образ, который принадлежал мне в отношениях с ней только мимолетно, в позорную минуту моей жизни! Вот это-то, господа, я и переживаю особенно тяжело. И вы убедитесь в том, что именно это обстоятельство придаст нашей драме настоящий размах. Однако нужно выяснить положение и других персонажей, например его... *(Показывает на Сына.)*

Сын (брезгливо пожимая плечами). Оставь меня в покое, я-то тут при чем?

Отец. Как — при чем?

Сын. Ни при чем и не хочу быть при чем, потому что в вашей компании мне делать нечего!

Падчерица. Мы для него слишком грубы! Подумай, возвышенное создание! Как вы могли заметить, господин директор, всякий раз, когда я взглядываю на него, он отводит глаза! Он ведь знает то зло, которое мне причинил.

Сын (посмотрев краем глаз на нее). Кто? Я?

Падчерица. Конечно, ты, а кто же еще? Кому я обязана, дорогой мой, тем, что оказалась на панели?

Актеры в ужасе вздрагивают.

Разве не из-за тебя нет у нас в доме ни согласия, ни даже обычной теплоты и доброжелательства? Мы все выглядим какими-то втирушами, которые самочинно ворвались в царство твоей «законности»! Мне бы хотелось,

господин директор, чтобы вы поприсутствовали при какой-нибудь сценке «с глазу на глаз» между мной и им! Он утверждает, будто всех в доме тираню я! Но именно его поведение заставило меня решиться! Иначе я не вошла бы в этот дом на правах хозяйки! Ведь у нас есть мать, его родная мать, с которой он не хочет считаться!

Сын (*медленно выступая вперед*). Против меня у них у всех хорошие карты, потому им так легко играть. Но представьте себе сына, который спокойно живет в отчем доме, как вдруг, в один прекрасный день, он видит нахальную девицу, она спрашивает, где отец, ему ей нужно якобы сказать что-то важное; затем она заглядывает все чаще и чаще, иногда с этой крошкой, нагло и двусмысленно разговаривает с отцом, вымогает у него деньги, словно отец должен ей эти деньги в силу каких-то обязательств...

Отец. Но у меня и в самом деле есть обязательства: ведь это же ради твоей матери!

Сын. А что я об этом знаю? Когда я видел свою мать? Когда мне говорили о ней? И вдруг, однажды, она является с этой (*показывает на Падчерицу*) и вот с этим мальчиком и девочкой и мне говорят: «Познакомься, это твоя мать!» По ее манерам (*снова показывает на Падчерицу*) я сразу понял, что это за птица и как она сумела втереться в дом... Ах, сударь, если б вы только знали, чего я натерпелся и что пришлось мне пережить! Такое можно услышать только на исповеди... Я сам себе боюсь в этом признаться! Словом, судите сами, есть ли в этой драме для меня роль? Поверьте, господин директор, что я персонаж драматургически «нереализованный», и в этой компании мне приходится куда как туго. Пусть оставят меня в покое!

Отец. Как так? Нет уж, извини! Ты должен участвовать именно потому, что ты таков...

Сын (*в отчаянии*). Ты-то откуда знаешь, каков я есть? Когда ты мной занимался?

Отец. Согласен, согласен! Но разве для театра это не интересная ситуация? Например, как ты относишься ко мне, к матери, которая вернулась и видит тебя почти впервые и сразу таким большим, не узнает тебя, но знает, что ты ее сын... (*Указывает Директору пальцем на Мать.*) Смотрите, она плачет!

Падчерица (*в ярости топает ногой*). Как последняя дура!

Отец (*показывает Директору на Падчерицу*). Она его не выносит! (*Продолжает о Сыне.*) Он говорит, что в нашей драме не играет никакой роли, а на самом деле он-то и есть главная ее пружина! Взгляните на этого крошку, который так испуганно жметя к матери... Ведь это все из-за него! Быть может, самое тяжкое положение именно у этого крошки! Он чувствует себя несчастнее всех нас; он чувствует смертельную обиду, что принят в этом доме лишь из сострадания... (*Доверительным тоном.*) Поразительно похож на отца! Такой же униженный, как и он; слова не вымолвит...

Директор. Признаться, это не находка для вашей драмы. Вы не представляете, как чертовски мешают на сцене дети!

Отец. Этот не будет вам долго морочить голову! И эта девочка тоже. Она первая исчезнет со сцены...

Директор. Отлично! Уверяю вас, что все безумно интересно! Чувствую, что здесь есть что-то от настоящей драмы!

Падчерица (*вмешиваясь в разговор*). Еще бы! С таким персонажем, как я!..

Отец (*жестом прогоняя ее, взволнованный словами Директора*). Тише, ты!

Директор (*как бы не замечая этой сценки, продолжает*). Очень все оригинально...

Отец. В высшей степени оригинально!

Директор. Однако у вас, должно быть, много мужества, если вы так вот прямо решились явиться сюда на сцену...

Отец. Господин директор поймет и извинит нас: люди, подобные нам, рожденные для сцены...

Директор. Вы актеры-любители?

Отец. Нет, я просто говорю, что мы рождены для сцены, потому что...

Директор. Оставьте, вы же играли!

Отец. Да нет, сударь: лишь в той мере, в какой каждый из нас играет отведенную ему в жизни роль... или роль, которую ему отводят другие... Все дело в страсти, и, как всякая страсть — стоит ей воспламениться, — она принимает театральный характер!..

Директор. Ну это бог с ним! Однако я полагаю, вы поймете, что без автора... Послушайте, я могу вас направить к...

Отец. Да нет, вы будете нашим автором!

Директор. Я?

Отец. Да, да, вы! Почему же нет?

Директор. Потому, что я еще никогда не выступал в роли автора!

Отец. А почему бы вам не попробовать? Ведь дело-то пустяковое! Кто только не берется за него! Задача ваша куда как упрощается благодаря тому, что мы все живы и находимся здесь, перед вами...

Директор. Но ведь этого мало!

Отец. Как — мало? Вы увидите, как драма будет оживать прямо на ваших глазах...

Директор. Да, но ведь ее нужно еще и написать!

Отец. Не написать, а просто-напросто записать то, что мы будем говорить, сцену за сценой. А впрочем, можно даже набросать сценарий и попробовать его сыграть.

Директор (*сдавшись, выходит на авансцену*). Эх... почти уломали... Если так, разве что в шутку... Может, и впрямь попробовать...

Отец. Ну конечно, господин директор! Вот увидите, какие сцены у нас пойдут! Я вам помогу!

Директор. Пожалуй, мне не устоять... Сдаюсь. Что ж, попробуем... Идемте в мой кабинет! (*Актерам.*) Можете отдохнуть, но прошу не расходиться. Через пятнадцать — двадцать минут будьте снова на сцене. (*Отцу.*) Посмотрим, попробуем... Может, и в самом деле получится что-нибудь необыкновенное...

Отец. Наверняка! Вам не кажется, что лучше захватить и их с собой? (*Показывает на своих спутников.*)

Директор. Да, да! Идемте с нами! (*Направляется в свой кабинет, затем возвращается и говорит актерам.*) Еще раз повторяю, прошу быть точными! Ровно через пятнадцать минут...

Директор и шестеро персонажей скрываются за кулисами. Актеры остаются на сцене, вид у них растерянный, они в недоумении смотрят друг на друга.

Премьер. Это он серьезно? Что он хочет делать?

Молодой актер. Какая-то чепуха!

Третий актер. Он хочет симпровизировать драму так, с налету?

Молодой актер. Словно это комедия дель арте.

Премьерша. Если он воображает, что может так шутить со мной...

Молодая актриса. Я тоже не намерена сносить подобные шутки!

Четвертый актер (*имея в виду персонажей*). Хотел бы я знать, кто это такие?

Третий актер. То есть как — кто? Сумасшедшие или чудаки!

Молодой актер. Неужели директор будет их слушать?

Молодая актриса. А все тщеславие! Видите ли, автором захотелось сделаться...

Премьер. Неслыханно! Если театр превратится в подобный балаган...

Пятый актер. Нет, как хотите, а это забавно!

Третий актер. А в общем, посмотрим, что из этого получится.

Так, переговариваясь между собой, актеры уходят со сцены. Часть из них скрывается в дверях в глубине сцены, часть расходится по своим уборным.

Занавес не опускается.

Спектакль прерывается минут на двадцать.

* *
*

Звонки возвещают продолжение репетиции. На сцену, из-за кулис и из зрительного зала, начинают стекаться актеры и служащие театра: Заведующий сценой, Главный машинист, Суфлер, Бутафор. Точно по звонку на сцену выходит Директор в сопровождении шести персонажей.

Директор. Итак, господа, все собрались? Внимание, начинаем! Машинист!

Машинист. Здесь!

Директор. Сцену салона.. Пока хватит одного задника с дверью. Прошу побыстрее!

Машинист уходит выполнять распоряжение. Директор улаживает с Заведующим сценой, Бутафором, Суфлером и актерами по поводу необходимых мизансцен.

(*Бутафору.*) Узнайте, нет ли на складе дивана.

Бутафор. Есть, зеленого цвета.

Падчерица. Только не зеленого! Диван там был желтый, плюшевый, в цветах, просторный и на редкость удобный.

Бутафор. Такого у нас нет.

Директор. Все равно! Давайте какой есть!

Падчерица. Как — все равно? Ведь это же знаменитое ложе мадам Паче!

Директор. Для репетиции хватит и такого! Прошу не вмешиваться! (*Заведующему сценой.*) Посмотрите, нет ли у нас низкого, широкого, застекленного шкафа.

Падчерица. Главное, не забудьте столик красного дерева, на котором должен лежать конверт с деньгами.

Заведующий сценой (*Директору*). Есть маленький, с позолотой.

Директор. Подойдет.

Отец. Еще зеркало...

Падчерица. И ширму! Мне необходима ширма!

Заведующий сценой. Чего-чего, а этого добра у нас полно.

Директор (*Падчерице*). Вероятно, и вешалки вам понадобятся?

Падчерица. Да, да! И очень много!

Директор (*Заведующему сценой*). Давайте все, что есть.

Заведующий сценой. Не беспокойтесь, все будет в порядке.

Заведующий сценой идет отдавать распоряжения. Директор продолжает разговор с Суфлером, персонажами и актерами. Рабочие сцены вносят мебель и расставляют по указанию Директора.

Директор (*Суфлеру*). Займите свое место в будке, вот вам листки; на них, сцена за сценой, набросан весь порядок действия... (*Протягивает ему несколько листков бумаги.*) От вас потребуются настоящий подвиг...

Суфлер. Стенографировать, что ли?

Директор (*радостно*). Как? Вы знаете стенографию?

Суфлер. Не буду хвастаться, но со стенографией я...

Директор. Великолпно! Все идет как по маслу! (*Одному из рабочих сцены.*) Сбегай ко мне в кабинет и возьми всю бумагу, какую найдешь!

Рабочий уходит и вскоре возвращается с увесистой кипой в руках. Отдает ее Суфлеру.

(*Суфлеру.*) Будете записывать все подряд, сцену за сценой. Постарайтесь записать реплики точно, по крайней мере самые важные! (*Актерам.*) Освободите место, гос-

пода! Садитесь здесь (*показывает на левую часть сцены*) и будьте внимательны!

Премьерша. Но, позвольте, что же мы...

Директор (*перебивая ее*). Успокойтесь, импровизировать вам не придется!

Премьер. А что мы должны делать?

Директор. Ничего! Смотреть и слушать. А потом вы все получите готовые тексты ролей. Сейчас проведем черновую репетицию; репетировать будут они. (*Жест в сторону персонажей.*)

Отец (*словно свалившись с заоблачных высот в неразбериху сцены*). Мы? Простите, как вы сказали: репетировать?

Директор. Ну да, вы! Вы будете репетировать, а они будут смотреть! (*Жест в сторону актеров.*)

Отец. Но раз мы и есть персонажи драмы...

Директор. Эк, заладил: «Персонажи, персонажи»! Поймите, друг мой, что на сцене действуют актеры, а не персонажи. А персонажи находятся там (*показывает на суфлерскую будку*), в шпартгалке суфлера, в тексте... если он, конечно, есть!

Отец. Вот видите! Текста нет, но зато вам выпала удача заполучить для сцены самых настоящих, живых персонажей...

Директор. Ах вот оно что! Я вижу, вы хотите делать все сами, с начала до конца? Хотите показаться публике?

Отец. Ну да, показаться ей такими, какие мы есть.

Директор. Смеем вас уверить, что это будет презабавное зрелище!

Премьер. А что же в таком случае остается делать нам, настоящим актерам?

Директор. Уж не воображаете ли вы, что сможете играть на сцене? Это же курам на смех...

Актеры дружно хохочут.

Вот видите, они смеются! (*Вдруг, вспомнив об одном упущении.*) Кстати, мы забыли распределить роли. Правда, это пустяк, все и так ясно. (*Второй актрисе.*) Вы будете играть Мать!.. (*Отцу.*) Да, а какое мы дадим ей имя?

Отец. Амалия, господин директор.

Директор. Но ведь это имя вашей жены! Зачем же называть ее настоящим именем!

Отец. А что тут плохого? Если ее так зовут на самом деле... Впрочем, признаюсь, едва ли эта госпожа (*жестом показывает на Вторую актрису*) подходит... Ведь для меня Амалия (*жест в сторону Матери*) только она и никто другой! Но, сами понимаете, противиться... я не знаю... Просто мне начинает казаться, что в чужих устах ее слова будут звучать как-то фальшиво, иначе...

Директор. Об этом не беспокойтесь... Мы уж стараемся найти верный тон... А насчет имени — если хотите, назовем ее Амалией, а нет — подыщем другое. Остальные роли распределим так: (*Молодому актеру.*) Ты будешь Сыном. (*Премьерше.*) Вы, понятно, — Падчерицей.

Падчерица (*решение Директора кажется ей забавным*). Как, как? Я — это вон та? (*Хочочет.*)

Директор (*сердито*). Что тут смешного?

Премьерша (*возмущенно*). Еще никто не позволял себе смеяться надо мной! Либо мне здесь будут оказывать подобающее уважение, либо я уйду!

Падчерица. Простите, я ведь совсем не потому смеялась...

Директор (*Падчерице*). Вы должны гордиться, что вас будет играть...

Премьерша (*перебивая, с иронией*). ...«вон та»!

Падчерица. Честное слово, я не хотела вас обидеть! Просто мне показалось забавным увидеть себя в вашем исполнении, вот и все. Не знаю, но... вы ведь на меня совсем не похожи!

Отец. Вот, вот... Послушайте, господин директор: наша индивидуальность...

Директор. Какая там к черту индивидуальность! Вы воображаете, что как персонажи представляете собой какую-то индивидуальность? Чепуха!

Отец. Как? Вы серьезно думаете, что у нас нет своего лица?

Директор. Конечно, нет! Ваша индивидуальность, ваше лицо, возникнет здесь, на сцене, когда актеры облекут вас с помощью жестов, голоса и пластики в живую плоть. Мои актеры способны дать жизнь персонажам и почище вашего! Пока — вы еще мертвы; на сцене вы заживете только благодаря актерам.

Отец. Не смею спорить, господин директор, но подумайте только, как нестерпимо будет нам — таким, как мы есть, — видеть себя...

Директор (*перебивает его*). Ну, это плевое дело! Для этого существует грим!

Отец. А голос, жесты...

Директор. Довольно препираться! На сцене вы же можете быть таким, как в жизни! Здесь вас будет играть актер, и все!

Отец. Понятно, господин директор; теперь я начинаю догадываться, почему автор, видевший нас такими, какие мы в жизни, не пожелал вывести нас на сцену. Я не хочу обидеть ваших актеров. Боже меня сохрани! Но когда я думаю, что мне придется увидеть себя в исполнении... уж не знаю, в чьем...

Премьер (*величественно выступает вперед под смехи молодых актрис*). С вашего позволения — в моем!

Отец (*подобострастно, вкрадчивым голосом*). Я счастлив, сударь. (*Отвешивает ему поклон.*) Одним словом, когда я думаю что каково бы ни было доброе намерение и искусство актера, который собирается, так сказать, меня «впитать»... (*Старается подыскать нужное слово.*)

Премьер. Гм! Гм!

Актеры смеются.

Отец. ...Образ, который он может воссоздать, даже прибегнув к гриму... фигура...

Актеры хохочут.

Вряд ли будет походить на то, каков я есть в действительности. Но даже отбросив вопрос о внешнем сходстве, актер сможет выразить свое личное представление обо мне, свое личное восприятие,— если только оно у него есть вообще,— а вовсе не то, что я представляю собой на самом деле, и не так, как я воспринимаю себя сам. И мне сдается, что люди, призванные нас судить, должны с этим считаться.

Директор. Так вы обеспокоены тем, что скажет критика? А я-то развесил уши! Пусть критика говорит, что ей угодно. Давайте лучше подумаем о том, как нам поставить пьесу! (*Оглядывается кругом.*) Внимание, внимание! Все готово? (*Актерам и персонажам.*) Займите свои места! Дайте взглянуть! Так. (*Спускается со сцены.*) Не будем терять времени! (*Падчирице.*) Ну как, похоже?

Падчерица. Ничего общего!

Директор. Уж не хотите ли вы, чтобы мы выстроили здесь на сцене точную копию заведения мадам Паче? (Отцу.) Вы говорили, что на обоях были цветы?

Отец. Да, господин директор, белые обои, и на них цветы.

Директор. Ну, а у нас полосатые! Разница невелика. Зато с мебелью дело, кажется, в порядке! Этот столик выдвиньте вот сюда...

Рабочие сцены передвигают столик.

(Бутафору.) Раздобудьте где-нибудь конверт, хорошо бы синего цвета, и дайте его вот этому господину. (Показывает на Отца.)

Бутафор. Конверт почтовый?

Директор. Ну да, почтовый!

Бутафор. Сию минутку! (Уходит.)

Директор. Так, начали! Первая сцена: выходит синьорина...

Премьерша выходит вперед.

Да обождите! Я говорю вот этой синьорине (показывает на Падчерицу), а вы должны смотреть, как...

Падчерица (подхватывает). ...я перевоплощаюсь.

Премьерша (с обидой в голосе). Можете, милая, не сомневаться, что, когда нужно будет, я сама сумею перевоплотиться!

Директор (схватившись за голову). Да оставьте, наконец, свои глупые пререкания! Итак, первая сцена: синьорина и мадам Паче... А где же мадам?

Отец. Ее здесь нет.

Директор. Как же быть?

Отец. Но вообще-то она есть, она жива!

Директор. Где же она?

Отец. Разрешите! Сейчас мы все устроим. (Актрисам.) Будьте любезны, сударыни, одолжите мне на время ваши шляпки!

Актрисы (слегка удивленные, смеются, говорят все вместе, перебивая друг друга). Что?

— Наши шляпки?

— Что он говорит?

— Зачем ему шляпки?

— Увидим!

Директор. Что вы будете делать с этими шляпками?

Актеры смеются.

Отец. О, ровно ничего! Просто я развешу их вот на этих вешалках. А может быть, кто-нибудь будет так любезен, что снимет и свое пальто?

Актеры (*та же сцена*). Еще и пальто?

— А дальше?

— Он с ума сошел!

Несколько актрис (*вместе, перебивая друг друга*). Зачем?

— Сперва пальто, а потом, смотришь...

Отец. Нужны только пальто и шляпки... Прошу вас, окажите мне эту услугу! Хорошо?

Актрисы (*стаскивают с себя шляпки, некоторые свои пальто и со смехом развешивают их*). Почему же нет?

— Вот, пожалуйста!

— Да он и впрямь шутник!

— Может, лучше развесить, как на выставке?

Отец. Лучше всего, как на выставке!

Директор. Скажите, для чего вам это понадобилось?

Отец. Видите ли, господин директор, может статься, что, когда мы подготовим сцену, как надо, не замедлит появиться и мадам Паче, привлеченная предметами своей торговли... (*Показывает на дверь в глубине сцены.*) Смотрите, смотрите!

Дверь распахивается, на пороге появляется мадам Паче и делает несколько шагов вперед. Это жирная мегера, неохватных размеров. На голове у нее пышный шерстяной парик морковного цвета, в который вставлена огненная роза à la Кармен. Лицо густо намазано; платье — темно-красного шелка, самого невиданного покроя; в одной руке она держит веер из диковинных перьев, в другой — зажженную сигарету. При ее появлении актеры и сам Директор опрометью, с криками ужаса, бросятся со сцены вниз по приставным лесенкам и будут бегать по проходам зрительного зала. Падчерица подбежит к мадам Паче со знаками всяческого подобоострастия, как полагается при появлении хозяйки.

Падчерица (*подбегая к ней*). Вот она! Вот она!

Отец (*радостно*). Она! Я говорил вам! Вот она!

Директор (*победив приступ первого страха, с возмущением*). Это что еще за чертовщина?

Премьер (*почти перебивая его*). Где мы, наконец, находимся?

Молодой актер (*тоже*). Откуда взялось это чудище?

Молодая актриса (*тоже*). Где они ее прятали?

Премьерша (*тоже*). Что они, фокусники-иллюзионисты?

Отец (*заглушая негодующие голоса*). Позвольте, позвольте! Почему во имя вульгарного правдоподобия вы хотите убить это чудо реальности, которое вызвано к жизни самой сценической ситуацией и которое имеет куда больше прав на существование, чем все вы?.. Ведь она правдивее, истиннее и достовернее, чем все вы, вместе взятые! Кто из ваших актрис будет играть мадам Паче? Пусть внимательно посмотрит на нее — вот она! Согласитесь с тем, что актриса, которой доведется ее играть, будет куда менее жизненно правдива! Взгляните: моя дочь мигом узнала ее! Смотрите, что сейчас произойдет!

Директор и актеры опасливо возвращаются на сцену. Пока Отец и актеры обменивались репликами, сцена между Падчерицей и мадам Паче уже началась. Но шла она пока вполголоса, совсем тихо, чего, разумеется, на настоящей сцене быть не должно. Словом, когда актеры заняли свои места и стали следить за сценой, это уже был тот момент, когда мадам Паче держала Падчерицу за подбородок, стараясь приподнять ей голову и заглянуть в лицо. Некоторое время актеры слушали с напряжением, но, поскольку ничего нельзя было разобрать, начался шум.

Директор. Ну?

Премьер. Что она говорит?

Премьерша. Ничего не разберу!

Молодой актер. Громче, громче!

Падчерица (*отходит от мадам Паче, которая продолжает улыбаться, и подходит к актерам*). «Громче!» Не обо всем можно говорить громко! Раньше я говорила громко, чтобы пристыдить его. (*Показывает на Отца.*) Это была месть. Но что касается мадам, то тут дело другого рода: она рискует тюрьмой!

Директор. Здорово! Отлично!.. Но в театре требуется, чтобы слышали все, дорогая моя! А мы на сцене — и то ничего не разберем! Представьте себе положение публики! Нужно говорить громко, отчетливо. Поймите,

что вы ничем не рискуете! Считайте, что никого, кроме вас, на сцене нет! Вам должно казаться, будто вы одни в задней комнате ателье и никто вас не слышит.

Падчерица, мило улыбаясь, несколько раз делает отрицательный жест указательным пальцем.

Как так — нет!

Падчерица (*вполголоса, таинственно*). Есть некто, кто может услышать, если она (*кивает на мадам Паче*) станет говорить громко!

Директор (*становясь в тупик*). Еще кто-нибудь должен появиться?

Актеры вздрагивают в испуге.

Отец. Нет, господин директор. Она имеет в виду меня. Я должен находиться за дверью, в ожидании, и мадам Паче об этом знает... С вашего разрешения, я займу свое место за дверью... чтобы быть готовым... (*Направляется к двери.*)

Директор (*останавливая его*). Постойте! Нужно считаться с законами театра! Прежде чем вы будете готовы...

Падчерица (*прерывая Директора*). Чего вы тянете! Я горю желанием снова пережить эту сцену! Пусть он идет быстрее, я готова!

Директор (*переходя на крик*). Но ведь сперва надо отработать сцену между вами и этой мадам! (*Показывает на мадам Паче.*) Понятно?

Падчерица. Боже мой, господин директор! Она сказала мне то, что вы уже давно все знаете, господин директор... Она сказала, что мамина работа гроша ломаного не стоит, что материал испорчен и его надо выкинуть на помойку и что мне нужно решиться, если я хочу, чтобы она и впредь помогла нам...

Мадам Паче (*с победоносным видом, торжественно выступая вперед*). Иначе, сеньор мой, я не могу мне позволить... я не хочу профитар... мне не угодно получать выгоду из...

Директор (*почти в ужасе*). Как, как? Что она городит?

Актеры заливаются смехом.

Падчерица (*тоже смеясь*). Она испанка, господин директор, и говорит на какой-то забавной смеси...

Мадам Паче. Мне не представляется хороший тон делать смешно, что я говорю плохо ваш язык, сеньор!

Директор. Да нет, нет! Уверяю вас, сударыня! Продолжайте... это будет даже очень эффектно! Чтобы немного смягчить грубость и щекотливость ситуации, лучше ничего и не придумашь! Продолжайте в том же духе, и все пойдет отлично!

Падчерица. Отлично! Еще бы, господин директор! Если говорить на этойкой тарабарщине, то, разумеется, все может показаться веселой шуткой! Конечно, трудно удержаться от смеха, когда услышишь, как «один сеньор рамолитико» хочет «делать амур со мной». (*Ударяет себя в грудь.*) Не правда ли, мадам дуэнья?

Мадам Паче. Рамолитико, да! Старый рамолитико и такая красotka! Но мехор... лутче для тебя! Если тебе не любится он, зато научит тебя пруденсторожности!

Мать (*на глазах у пришедших в замешательство актеров яростно вмешивается в эту сцену. До сих пор на нее никто не обращал внимания; теперь все пытаются удержать ее. Она срывает с головы мадам Паче парик и швыряет на пол. Это вызывает приступ всеобщего веселья*). Ведьма! Ведьма! Убийца! Дочь моя!

Падчерица (*подбегая к Матери, пытается ее успокоить*). Успокойся, мама! Ради бога, успокойся!

Отец (*подбегает одновременно с Падчерицей*). Успокойся, прошу тебя... сядь, посиди!

Мать. Гоните ее вон!

Падчерица (*подоспевшему Директору*). Маму нужно увести отсюда!

Отец (*Директору*). Вместе они не могут оставаться! Именно поэтому мадам не было с нами, когда мы пришли сюда!.. Если они будут вместе, развязка, как вы понимаете, наступит моментально, и все действие полетит к черту!

Директор. Ничего! Ничего! Для черного прогона и так неплохо! Потом я склею все эти разорванные сценки. (*Усаживает Мать на прежнее место.*) Возьмите себя в руки, сударыня, успокойтесь, сидите тихо!

Падчерица, снова вышедшая на середину сцены, обращается к мадам Паче.

П а д ч е р и ц а. Продолжим, мадам...

М а д а м П а ч е (*обиженно*). Ах, но! Милльон благодарностей! Я ни шагу, пока на сцене твоя мадре!

П а д ч е р и ц а. Пошли дальше! Пусть входит «сеньор рамолитико, который хочет делать амур со мной!» (*Повелительно.*) Эта сцена должна быть сыграна... Давайте, давайте! (*К мадам Паче.*) Вы свободны, можете идти!

М а д а м П а ч е. Я ушел, ушел... ушел совсем... (*Подняв с полу парик и гордо взглянув на Актеров, в ярости покидает сцену.*)

Актеры провожают ее смешками и шутивными аплодисментами.

П а д ч е р и ц а (*Отцу*). Входите, входите же! Что вы там крутитесь? Сделайте вид, будто входите! Вот так! Я стою здесь, скромно опустив голову... Говорите! Говорите так, будто видите меня впервые: «Добрый день, синьорина...».

Д и р е к т о р (*поднявшись со своего места*). Скажите, кто ведет репетицию, вы или я? (*Отцу, который обалдело смотрит на него.*) Делайте то, что вам говорят: приготовьтесь к своему выходу.

Отец покорно, как лунатик, выполняет указание. Он очень бледен, но, захваченный реальностью своего перевоплощения, улыбается, словно не подозревая надвигающейся на него драмы. Актеры напряженно следят за сценой.

(*Тихой скороговоркой, Суфлеру.*) Приготовьтесь записать все, слово в слово!

Сцена.

Отец (*выходя на середину сцены, совершенно новым, неузнаваемым голосом*). Добрый день, синьорина!

П а д ч е р и ц а (*с потупленным взором, с трудом превозмогая отвращение*). Здравствуйте.

Отец (*пытается заглянуть под шляпку, которая почти совсем скрывает лицо синьорины. При виде ее молодости не может удержаться от восклицания, которое одновременно выражает и радостное предвкушение и некоторую боязнь возможной неудачи*). А... что... скажите, вы здесь не в первый раз? Верно?

П а д ч е р и ц а (*не меняя позы*). Нет, сударь.

Отец. Вы уже бывали тут? (*Как бы в ответ на*

утвердительный знак головой, который делает Падчерица.) И много раз? *(Некоторое время ожидает ответа, снова заглядывает ей под шляпку и улыбается.)* Так почему же?.. Вы не должны быть так суровы... Разрешите снять шляпку?

Падчерица (поспешно, как бы предупреждая его, не в силах сдержать отвращение). Спасибо, сударь, я сама! *(Судорожным движением снимает шляпу.)*

Мать, которая присутствует при этой сцене, равно как и Сын и двое других детей, сидящих в противоположной стороне рядом с актерами, чувствует себя как на иголках. Она следит за сценой между Отцом и Падчерицей, и на ее лице сменяются поочередно выражения то боли, то гнева, то страха, то презрения. Она то прячет лицо, то испускает стоны.

М а т ь. О боже, боже, боже!

Отец (услышав стон Матери, словно каменеет, затем берет себя в руки и продолжает в прежнем тоне). Разрешите вашу шляпку, я сам повешу. *(Берет у нее из рук шляпку.)* На такой прелестной маленькой головке хотелось бы видеть шляпку понаряднее... Хотите, мы сейчас выберем любую из тех, что тут развешаны? Не хотите?

Молодая актриса (выступающая на ролях инженю). Тут нужен глаз да глаз! А то плакали наши шляпки!

Директор (свирепея). Тише, черт вас побери... Бросьте свои дурацкие остроты! Вы же на сцене! *(Падчерице.)* Продолжайте, прошу вас, синьорина!

Падчерица (продолжая сцену). Нет, спасибо, сударь.

Отец. Не отказывайтесь, прошу вас... Не обижайте меня... Смотрите, какие красивые! И потом, мадам Паче будет приятно. Она ведь нарочно их тут держит!

Падчерица. Спасибо, сударь, но мне они ни к чему, ведь я даже не смогу надеть...

Отец. Вы думаете, что скажут дома, когда вы придете в новой шляпке? Какие пустяки! Знаете, что нужно сказать?..

Падчерица (не в силах сдержаться). Ах, совсем не в этом дело, сударь! Я не смогу ее носить, потому что... Неужели вы не видите! *(Показывает на свое черное платье.)*

Отец. Ах, вы носите траур! Простите! Теперь я вижу

и прошу извинить меня! Верьте, что я очень вам сочувствую.

Падчерица (*героическим усилием подавляет в себе гнев и отвращение*). Это я, сударь, должна благодарить вас за внимание... Но вам-то вовсе ни к чему страдать и огорчаться. Не обращайтесь на мои слова внимания... Ведь и мне лучше (*пытается выдавить улыбку*) пореже вспоминать об этом своем наряде. (*Показывает на траурное платье.*)

Директор (*прервав сцену, выходит на подмости и кричит Суфлеру*). Подождите, подождите записывать! Не надо последней реплики! (*Отцу и Падчерице*). Отлично! Просто замечательно! (*Только Отцу.*) Дальше действуйте так, как мы условились! (*Актерам.*) Правда, прелестная сценка с предложением шляпки?

Падчерица. А вот сейчас будет самая сильная! Почему мы не продолжаем?

Директор. Наберитесь терпения! (*Актерам.*) Конечно, эту сцену придется трактовать с несколько большей легкостью...

Премьер. ...изяществом.

Премьерша. Нет, так, конечно, нельзя! (*Премьеру.*) Хотите, попробуем?

Премьер. Если желаете... Сейчас мой выход! (*Уходит в глубину сцены, за двери.*)

Директор (*Премьерше*). Так, хорошо! Сцена между вами и мадам Паче прошла... Потом я ее отработаю и запишу. Стойте! Куда вы?

Премьерша. Одну минуту! Я только надену шляпу... (*Снимает свою шляпу с вешалки.*)

Директор. Замечательно! Голову вниз — и ждите!

Падчерица (*смешливо*). Но как же без черного платья?

Премьерша. У меня будет черное платье еще лучше вашего!

Директор (*Падчерице*). Прошу помолчать! Лучше внимательно следите! Это вам полезно! (*Ударяет в ладоши.*) Раз, два, три! Выход! (*Спускается в зрительный зал, чтобы охватить взглядом целое.*)

Дверь открывается и появляется Премьер. У него развязный, самоуверенный вид старого ловеласа. Исполнение этой сцены актерами с первых же реплик будет совершенно отличным от того, что мы только что видели, но без малейшего намека на пародию. Все гораздо приглаженнее, внешне красивее. Как и следовало ожидать, Падчерица и Отец

совершенно неузнаваемы в исполнении Премьера и Премьерши; и, хотя оба они произносят те же самые слова, слова эти звучат иначе, сопровождаются другими жестами, другими улыбками, другим удивлением и другим страданием. Вся сцена будет идти под четкий аккомпанемент голоса Суфлера.

Премьер. «Добрый день, синьорина...»

Отец (*не в силах сдержаться*). Совсем не так!

Падчерица при виде выхода Премьера не может удержаться от смеха.

Директор (*обозлившись*). Да замолчите же наконец! Будет вам! Так мы никогда не сдвинемся с места!

Падчерица (*уходя с просцениума*). Простите, но я не могла сдержаться, господин директор! Синьорина (*показывает на Премьершу*) стоит молча, неподвижно, как ей полагается, но если бы я очутилась сейчас на ее месте, то, уверяю вас, услышав «добрый день, синьорина», сказанное с такой интонацией и с такими жестами, я бы лопнула от смеха!

Отец (*вмешиваясь в разговор*). Да, выражение лица и интонация...

Директор. Какого лица? Какой интонации? Отойдите в сторону и не мешайте репетировать!

Премьер (*выходя вперед*). Поскольку я должен играть старика, попавшего в дом сомнительной репутации...

Директор. Да не обращайтесь вы на них внимания! Давайте лучше повторим! Все было превосходно! (*Ждет повторения.*) Ну...

Премьер. «Добрый день, синьорина...»

Премьерша. «Здравствуйте...».

Премьер (*копируя жест Отца, заглядывает под шляпку, но только выражая при этом, строго последовательно, сначала радостное предвкушение, потом боязнь возможной неудачи*). «А что... скажите, вы здесь не в первый раз, наверно?..»

Отец (*не в силах удержаться от поправки*). Не «наверно», а «верно»!

Директор. «Верно» требует несколько иной интонации.

Премьер (*показывая на суфлерскую будку*). А мне послышалось «наверно»!

Директор. А, подумаешь, разница — «верно» или «наверно». Продолжайте! Только не надо так нажимать...

Сейчас я сам покажу... (*Подымается на сцену и показывает «выход Отца».*) Добрый день, синьорина...»

Премьерша. «Здравствуйте».

Директор. «А... скажите...» (*Поворачивается к Премьеру для того, чтобы пояснить ему, как он должен себя вести, заглядывая под шляпку Премьерши.*) Вы должны выразить удивление... страх, радость... (*Премьерше.*) «Вы здесь не в первый раз? Верно?» (*Делает Премьеру экспрессивный знак рукой.*) Теперь понятно? (*Премьерше.*) Вы отвечаете: «Нет, сударь». (*Снова Премьеру.*) В общем, пластики больше, пластики! (*Уходит с подмостков.*)

Премьерша. «Нет, сударь...»

Премьер. «Вы уже бывали тут? И много раз?»

Директор. Да нет же! Дайте сначала ей (*показывает на Премьершу*) сделать утвердительный знак. «Вы уже бывали тут?»

Премьерша слегка приподнимает голову и, скорбно закатив глаза, по знаку Директора, два раза как бы с отвращением, кивает головой.

Падчерица (*не в силах сдержаться, заливается смехом*). Боже мой! (*Поспешно прикрывает рот ладонью.*)

Директор (*быстро поворачивается к ней*). Это еще что?

Падчерица (*торопливо*). Ничего, ничего!

Директор (*Премьеру*). Давайте дальше! Чего вы медлите?

Премьер. «И много раз? Так почему же?.. Вы не должны быть так суровы... Разрешите снять шляпку?»

Премьер произносит эту последнюю реплику с такой интонацией и сопровождает ее таким жестом, что Падчерица, все еще прикрывавшая рот ладонью, при всем желании не выдерживает и начинает оглушительно смеяться.

Премьерша (*возмущенная до глубины души, возвращается на свое место*). Нет, я решительно не намерена служить посмешищем для этой девчонки!

Премьер. И я тоже! Довольно!

Директор (*набрасываясь на Падчерицу*). Долго это будет продолжаться?

Падчерица. Простите меня!.. Я больше...

Директор. Вы просто невоспитанная, самоуверенная девчонка!

Отец (*пытаясь вмешаться*). Правда, господин дире-

ктор, сущая правда, но все-таки постарайтесь простить ее...

Директор (*возвращаясь на сцену*). Это здесь не поможет. Ведь это, наконец, просто неприлично!

Отец. Верно, господин директор, но согласитесь, что то странное впечатление, которое производит на нас...

Директор. Странное? Что же тут странного?

Отец. Конечно, господин директор, актеры ваши мне нравятся... Вот, например, хотя бы тот господин... (*Показывает на Премьера.*) Или эта госпожа... (*Показывает на Премьершу.*) Но сознайтесь: право же, это не мы...

Директор. Чудак! Зачем же им быть «вами», если они актеры?

Отец. Именно потому, что они актеры! И оба хорошо играют наши роли. Но нам-то кажется, что у них получается нечто совсем другое...

Директор. Так что же у них получается?

Отец. То, что... принадлежит лично им, а вовсе не нам.

Директор. Иначе невозможно! Я вам уже сказал!

Отец. Понимаю, понимаю...

Директор. Ну, значит, на этом мы и покончим! (*Актерам.*) Продолжим наши репетиции без них. Репетировать в присутствии автора — всегда такая мука! Всегда-то они недовольны! (*Отцу и Падчерице.*) А сейчас давайте продолжать с вами! Только на этот раз прошу без смешков.

Падчерица. О, мне совсем не до смеха! Настает самая сильная для меня сцена... Будьте спокойны!

Директор. Значит, после реплики: «Прошу, не обращайтесь на мои слова внимания... ведь я тоже!» (*Отцу.*) Вы поспешно говорите: «Понимаю, понимаю» — и тут же спрашиваете...

Падчерица (*перебивая Директора*). О чем он спрашивает?

Директор. О причине вашего траура!

Падчерица. Э, нет, господин директор! Вы знаете, что он ответил, когда я попросила не обращать внимания на мое траурное платье? Он ответил: «Чудесно! Ну так снимите его скорее!»

Директор. Потрясающе! Вы что, хотите, чтобы зрительный зал пришел в негодование?

Падчерица. Но ведь это правда!

Директор. Бросьте вы свою правду! Вы в театре! И правда здесь хороша только до известного предела!

Падчерица. А что вы предлагаете?

Директор. Увидите, увидите! Предоставьте это дело мне!

Падчерица. Нет, господин директор! Весь этот наворот грязных и постыдных фактов, сделавших меня «такой», какая я есть теперь, я не позволю заменить сентиментально-романтической сценкой: он спрашивает о причине траура, а я, всхлипывая и утирая слезы, рассказываю ему о недавней кончине дорогого папочки! Нет, нет и нет! Нужно, чтобы он сказал все так, как было на самом деле: «Чудесно! Ну, так снимите его скорее!» А я с щемящей болью в сердце от недавно пережитой утраты пошла, видите, туда... за ширму, и вот этими самыми пальцами, которые и теперь еще дрожат от стыда и отвращения, расстегнула корсаж, юбку...

Директор (*хватаясь за голову*). Ради бога! Подумайте, что вы говорите?

Падчерица (*в испуге*). Правду! Самую неприкрытую правду, господин директор!

Директор. Да я... я и не отрицаю, что это правда... мне понятно ваше отвращение; но согласитесь, что на сцене все это решительно невозможно!

Падчерица. Невозможно? Ну что ж, тогда простите, я отказываюсь играть!

Директор. Да нет, видите ли...

Падчерица. Отказываюсь, отказываюсь — и все! То, что может подойти для сцены, вы уже обдумали вдвоем, спасибо! О, я отлично понимаю вас! Ему (*показывает на Отца*) не терпится вытащить на сцену свои душевные терзания, а я хочу показать вам свою драму! Именно свою!

Директор (*пожимая плечами, сухо и высокомерно*). Скажите пожалуйста, «свою драму»! Нет уж, извините, драма эта отнюдь не только ваша! Это и их драма тоже! Например, его (*показывает на Отца*) и вашей матери. Поймите, что сцена не терпит, чтобы один какой-нибудь персонаж действовал в ущерб другим. Все персонажи должны представлять одно слаженное целое, на сцене может играть только то, что целесообразно! Мне и самому известно, что у каждого есть своя особая внутренняя жизнь, которую он хотел бы выразить как можно полнее. Но в том-то вся загвоздка: выразить нужно

ровно столько, сколько необходимо для партнера, а все остальное остается «внутри», должно угадываться! Конечно, было бы куда проще и удобнее, если бы каждый персонаж мог в пространном монологе... или даже в специальном обращении к зрителю... выложить все, что у него накипело! (*Уже более добродушным, примирительным тоном.*) Нужно уметь ограничивать себя, сударыня, это в ваших же интересах. Могу заверить вас, что ваша излишняя откровенность может произвести на публику тяжелое впечатление!

П а д ч е р и ц а (*потупившись, прочувствованным тоном, после некоторой паузы*). Верно! Но не забудьте, что, говоря о других мужчинах, я все равно подразумеваю только его!

Д и р е к т о р (*сбитый с толку*). Как так? Что вы хотите сказать?

П а д ч е р и ц а. А разве в глазах согрешившего виновником его падения является не тот, кто первый толкнул его в пропасть? Для меня первым был он... еще до моего рождения. Подумайте, и вы увидите, что это так.

Д и р е к т о р. Допустим! Но разве груз совести, тяготеющий над ним, представляется вам таким уж ничтожным? Дайте возможность и ему излить душу!

П а д ч е р и ц а. Позвольте! Как может он излить душу, выставить напоказ свои «благородные» страдания, свои душераздирающие нравственные сомнения, если вы не дадите ему возможности сперва ощутить весь ужас объятий с падшей женщиной — той, которой он предлагал сбросить траурное платье и которая оказалась тем самым ребенком, которого он когда-то ходил встречать у дверей школы? (*Последние слова она произносит дрожащим от волнения голосом.*)

При последних словах дочери Мать разражается рыданиями. Все взволнованы. Длительная пауза.

(*Едва рыдания Матери стихают, добавляет мрачно и решительно.*) Здесь все свои. Публики тут нет. Завтра можете показывать ей все, что вам заблагорассудится. А сейчас хотите посмотреть драму такой, какой она была в действительности? Хотите видеть, как развивалась она в жизни?

Д и р е к т о р. Ну да, конечно! Все, что я смогу оттуда взять, я, понятно, возьму!

Падчерица. Тогда уведите отсюда эту бедняжку.
(Показывает на Мать.)

М а т ь (подымаясь, истерически). Нет, нет! Не позволяйте ей, господин директор! Не позволяйте!

Д и р е к т о р. Мы только посмотрим!

М а т ь. Я не могу! Не могу!

Д и р е к т о р. Но раз это уже все в прошлом! Я вас не понимаю!

М а т ь. Нет, это происходит и сейчас, это происходит всегда. Мои мучения еще не кончились, господин директор! Я жива, и свои страдания переживаю вновь и вновь, и нет мне от них избавления! А вот эти крошки, вы слышали их? Они молчат, они безмолвствуют, господин директор! Они цепляются за меня, чтобы вечно продлить мои мучения, но сами по себе они не существуют... больше не существуют! Вот она (показывает на Падчерицу) покинула... бежала от меня, и теперь она пропащая, пропащая... Если сейчас я ее увижу здесь, на сцене, то лишь для того, чтобы разбередить и без того незаживающие раны!

О т е ц (торжественно). О вечный миг! Она (указывает на Падчерицу) здесь для того, чтобы схватить меня, связать и приковать к позорному столбу навечно, придравшись к одному позорному мгновению моей жизни. Она не может от этого отказаться, а вы не в силах меня избавить.

Д и р е к т о р. Я не говорю, что не надо этого показывать: пусть эта сцена будет основой всего первого акта — вплоть до неожиданного ее появления. (Показывает на Мать.)

О т е ц. Точно так, господин директор. Тот миг явился тяжким приговором для меня. В ее крике заключены все наши страсти. (Показывает на Мать.)

П а д ч е р и ц а. Он у меня еще стоит в ушах! Ее крик чуть не лишил меня рассудка! Вы можете изображать меня на сцене как вам угодно, господин директор, даже в одежде... оставьте только руки обнаженными, одни руки... Мы находились в такой вот позе. (Подходит к Отцу и склоняет голову к нему на грудь.) Голова здесь, руки обвили шею... Я видела, как бешено пульсирует вена на моей руке... Я закрыла глаза и уткнулась ему в грудь! (Поворачиваясь к Матери.) Кричи, кричи! (Прячет голову на груди Отца; плечи вздернуты, словно для того, чтобы не слышать крика. Сдавленным голосом.) Кричи, кричи, как ты кричала тогда!

Мать (*бросаясь вперед, чтобы разнять их.*) Нет! Дочь! Дочь моя! (*Оторвав ее от Отца.*) Несчастный, ведь это моя дочь! Не видишь, что это моя дочь?

Директор отшатывается при этом крике к самой рампе; чувствительные восклицания актеров: «Отлично!», «Превосходно!», «Занавес! Занавес!»

Отец (*в сильном возбуждении подбегает к Директору*). Вот видите, вот... И все потому, что так оно и было на самом деле!

Директор (*в восхищении, убежденный виденным*). Ну да! Это как раз то, что нам нужно! Занавес! Занавес!

Как бы в ответ на многократные выкрики Директора, Машинист дает занавес; у рампы, на фоне опущенного занавеса, остаются Директор и Отец.

(*Глядя наверх, размахивает руками.*) Идиот! Я говорил «занавес» в том смысле, что так кончается акт, а он и в самом деле опустил занавес! (*Отцу, приподымая краешек занавеса, чтобы пройти на сцену.*) Просто великолепно! Зрители будут в восторге! Успех первого действия я гарантирую!

Вместе с Отцом уходит за занавес.

* *
*

Занавес подымается — на сцене новая декорация. Вместо комнаты в заведении мадам Паче — уголок сада с небольшим бассейном. По одну сторону сцены сидят рассаженные в ряд актеры, по другую — персонажи. Директор стоит посреди сцены, подперев щеку кулаком, в позе крайней задумчивости.

Директор (*после короткой паузы, будто стряхивая оцепенение*). Да-с! Значит, переходим ко второму действию! Предоставьте это дело мне, как мы условились, и все пойдет отлично!

Падчерица. Мы переселяемся к нему в дом (*жест в сторону Отца*) вопреки его желанию (*жест в сторону Сына*).

Директор (*нетерпеливо*). Ладно, ладно! Говорят вам, предоставьте все мне!

Падчерица. Только не забудьте подчеркнуть его злость и раздражение. (*Снова жест в сторону Сына.*)

Мать (*покачивая головой*). При всем том, что было хорошего...

П а д ч е р и ц а (*обрывая Мать*). Какое это имеет значение! Чем больше он причинил нам зла, тем сильнее должна его мучить совесть!

Д и р е к т о р (*раздраженно*). Все понятно! Мы это будем иметь в виду, особенно в начале сцены! Можете не волноваться!

М а т ь (*умоляюще*). Очень прошу вас, господин директор, постарайтесь ради моего спокойствия сделать так, чтобы было сразу понятно, что я всеми силами пыталась...

П а д ч е р и ц а (*грубо перебивая Мать, заканчивает ее фразу*). ...утихомирить меня, примирить с ним. (*Директору.*) Сделайте, как она просит... ведь это суцья правда! Я даже рада буду. А какой результат? Чем больше она просила его, чем больше пыталась снискать его расположение, тем больше он отдалялся, сторонился ее. Вот награда!

Д и р е к т о р. Будем мы, наконец, репетировать дальше или нет?

П а д ч е р и ц а. Я умолкаю! Но разве это правдоподобно, чтобы действие целиком шло тут, в саду?

Д и р е к т о р. Почему же нет?

П а д ч е р и ц а. Потому что он (*показывает на Сына*) всегда держался в стороне, запершись в своей комнате! И жизнь вот этого несчастного малютки (*показывает на Мальчика*) протекала только в стенах дома.

Д и р е к т о р. Какое это имеет значение! Мы же не можем развешивать таблички, извещающие зрителя о том, что где происходит! Не можем мы и менять декорации по три, по четыре раза в течение одного действия!

П р е м ь е р. Так делалось только в старину...

Д и р е к т о р. Во времена, когда публика была не разумнее вот этой маленькой девочки!

П р е м ь е р ш а. И создать иллюзию тогда было — пара пустяков!

О т е ц (*внезапно прорываясь, даже встав со своего места*). Иллюзию? Сделайте милость, только не произнесите этого слова! Для нас оно звучит особенно жестоко!

Д и р е к т о р (*удивленно*). Простите, почему жестоко?

О т е ц. Жестоко, даже очень жестоко! И вы должны это понять!

Д и р е к т о р. А как же надо говорить? Именно ил-

люзию, сударь... Иллюзию, которую необходимо вызвать у зрителя...

Премьер. ...с помощью нашего исполнения...

Директор. ...иллюзию реальности происходящего!

Отец. Я понимаю, господин директор. А вот вы, простите, не можете нас понять. Видите ли, для вас и ваших актеров дело заключается только в самой вашей игре...

Премьерша (*перебивает его, с возмущением*). Игре? Вы что, принимаете нас за детей? Для нас это серьезная работа, а не игра!

Отец. Я с вами не спорю! Под игрой я понимаю только ваше мастерство, которое, как говорил господин директор, и должно дать полную иллюзию реальности.

Директор. Наконец мы поняли друг друга!

Отец. Хорошо, но неужели вы думаете всерьез, что мы (*показывает на себя и на пятерых своих спутников — персонажей*) такие, какие есть, не имеем никакой другой реальности, кроме этой вашей иллюзии?

Директор (*сбитый с толку, смотрит на растерявшихся актеров*). Что вы хотите сказать?

Отец (*некоторое время молча, едва заметно улыбаясь, смотрит на Директора*). Именно так, господа! Какая другая реальность? То, что для вас является игрой, поводом для создания иллюзии, для нас является единственной нашей реальностью. (*Короткая пауза. Сделав несколько шагов в сторону Директора.*) И не только для нас, подумайте об этом! Подумайте хорошенько! (*Смотрит Директору прямо в глаза.*) Вы можете сказать, кто вы такой? (*Ждет ответа, не убирая вытянутой руки с указующим перстом.*)

Директор (*смущенно, с какой-то кислой полуулыбкой*). Как — кто я такой? Я — это я!

Отец. А если я скажу, что это неправда, что вы — это я?

Директор. Я отвечаю, что вы сумасшедший!

Актеры хохочут.

Отец. Они правы, что смеются: ведь здесь все собралось для игры. (*Директору.*) Вы можете сказать мне, что с помощью простой игры этот господин (*показывает на Премьера*), являясь «самим собой», должен стать

«мною» и что «я» — это, собственно, не я, а «он»! Видите, я поймал вас в ловушку!

Актеры смеются.

Директор (*которому явно надоели все эти препирательства*). Об этом вы уже говорили! Неужели опять сначала?

Отец. Нет, нет! Я вовсе не то хотел сказать. Напротив, я призываю вас забыть на время эту игру... (*Смотрит на Премьершу и как бы спешит ее предупредить.*) Художественную игру, к которой вы привыкли на сцене со своими актерами,— и еще раз спрашиваю вас: кто вы такой?

Директор (*поворачиваясь к актерам, сердито и одновременно растерянно*). Хорош шутник! Сам выдает себя за театральный персонаж, а туда же, спрашивает, кто я такой!

Отец (*с достоинством, но без высокомерия*). Персонаж, господин директор, всегда имеет право спросить у человека, кто он такой. Потому что персонаж и в самом деле всегда имеет свою собственную жизнь, отмеченную характерными, ему одному присущими чертами... Персонаж всегда есть «кто-то». Между тем человек — разумеется, не вы, сударь,— человек вообще часто может быть и «никем».

Директор. Но зачем вы меня-то об этом спрашиваете? Ведь я же и директор, и режиссер! Понятно вам?

Отец (*тихо, вкрадчиво*). Я спрашивал, господин директор, чтобы узнать... как вы... такой, какой вы есть сейчас... ощущаете ли вы себя сейчас таким, каким вы были когда-то, много лет назад, со всеми иллюзиями, которые вы тогда питали... видите ли вы вещи так, как видели тогда и какими они и в самом деле тогда были... Так вот, господин директор! Раздумывая над прошлыми иллюзиями, которых у вас нет теперь, над тем, что сегодня уже не кажется вам таким, каким казалось прежде,— разве не чувствуете вы, как колеблются под вашими ногами не только доски этой сцены, но уходит из-под ног сама земля?... Разве не даете вы себе отчета в том, что ваше нынешнее самочувствие, вся ваша сегодняшняя реальность завтра вам покажется пустой иллюзией?

Директор (*ничего не понял; хитроумная аргумен-*

тация собеседника окончательно запутала его). Я не возьму в толк, куда вы клоните?

Отец. Да никуда, господин директор! Я просто старался пояснить, что если мы (*тут он снова показывает на себя и на своих пятерых спутников*) являемся иллюзией, а не реальностью, то и вам тоже следует опасаться, как бы ваша собственная реальность, которой вы живете сегодня, завтра не улетучилась и не превратилась, как всякий вчерашний день, в иллюзию.

Директор (*решил обратить все в шутку*). Допустим. Ну, а скажите, вы сами, с этой комедией, которую вы пришли показывать сюда, вы сами — реальнее меня?

Отец (*совершенно серьезно*). О, безусловно, господин директор!

Директор. Вы полагаете?

Отец. Я думал, что вы это сразу поняли.

Директор. Вы — реальнее меня?

Отец. Естественно, поскольку ваша реальность может меняться с каждым днем.

Директор. Но ведь все же знают, что она меняется! Она непрерывно меняется. Уж такова общая наша участь!

Отец (*переходя почти на крик*). А наша не меняется, господин директор! Вот в чем разница! Мы не меняемся, мы не можем измениться, стать «другими»; мы такие, какие есть (это страшно, не правда ли, господин директор?). И всегда такими останемся! Вам, наверное, жутко даже приближаться к нам!

Директор (*порывисто, пораженный какой-то внезапно пришедшей ему мыслью*). Хотел бы я знать, виданы ли на свете персонажи, которые, выйдя за пределы своей роли, брались бы толковать ее вкривь и вкось! Вы таких видели? Мне, по крайней мере, не приходилось!

Отец. Вы не видели, господин директор, просто потому, что авторы нередко скрывают муки творчества. А вот когда персонажи здравствуют, и не только здравствуют, но находятся перед глазами автора, он должен лишь следить за их словами, жестами и переносить их на бумагу; автор должен их брать такими, какие они есть; горе тому автору, который поступает иначе! Когда персонаж родился — он тотчас получает такую независимость даже от своего автора, что легко может быть примыслен кем угодно к ситуации, в которую автор и не думал его ставить... а иногда персонажу случается приобретать значение, которое автору и не снилось!

Директор. Это-то мне хорошо знакомо!

Отец. Так чего же вы удивляетесь! Представьте себе персонаж, вроде любого из нас, на которого свалилось тяжкое несчастье — авторская фантазия произвела его на свет, а потом отказала ему в месте под солнцем! Признайтесь: разве такому брошенному персонажу, живому, но без места в жизни, не имело смысла попытаться сделать то, что сейчас мы пробуем проделать перед вами?.. Особенно после того, как много раз — поверьте, господин директор,— мы много раз пытались убедить автора сесть за перо. То я унижался перед ним, то она *(показывает на Падчерицу)*, то эта несчастная мать...

Падчерица *(выходя вперед, словно в беспамятстве)*. Это правда, господин директор. Я не раз пыталась убедить его... когда в тиши кабинета, в полумраке, откинувшись на спинку кресла, он не решался зажечь свет и сумрак вливался в комнату, заполнял ее, и в этом сумраке возникали мы, персонажи... и пытались соблазнить его взяться за перо... *(Говорит так, словно и сейчас находится в кабинете и только смущена присутствием актеров.)* Ах, если бы вы все тогда ушли и оставили нас наедине!.. А тут и Мать со старшим своим сыном... и я с сестренкой... и мальчик, как всегда, хмурый и нелюдимый... и снова я, уже вместе с ним... *(показывает на Отца)* и, наконец, я одна... в этом полумраке. *(Вздрагивает, будто перед ее глазами пронеслись эти картины прошлого.)* Ах, жизнь, жизнь... Какие только сцены мы ему не предлагали! Кажется, ему я приглянулась больше всех!

Отец. Но, быть может, именно из-за тебя, из-за твоей настойчивости и страсти все преувеличивать он так и не решился!

Падчерица. Неправда! Он сам требовал, чтобы я была такой! *(Подходит к Директору. Доверительно.)* Я думаю, господин директор, что тому причиной скорее его презрение к театру, театру, какого требует сегодняшняя публика...

Директор. Довольно, довольно! Довольно, черт возьми! К делу!

Падчерица. Мне кажется, что для сцены переезда в его дом *(показывает на Отца)* фактов больше чем достаточно! Вы сами, господин директор, говорили, что вывешивать таблички и каждые пять минут менять декорации нельзя!

Директор. Безусловно! Главное — отобрать факты, сгруппировать их, наметить действие одновременное и стремительное, а не так, как предлагали вы: сначала показать вашего младшего братика, как он приходит из школы и потом, словно призрак, мается по дому, прячась по углам и обдумывая свое намерение, которое... как вы говорили?

Падчерица.. ..его истачивает!

Директор. Никогда не слышал подобного выражения! Но ведь это намерение остается только намерением, не правда ли?

Падчерица. Да, господин директор. Вот он, этот мальчик! *(Показывает на Мальчика, который сидит возле Матери.)*

Директор. И еще вы хотели, чтобы зрители видели одновременно и эту маленькую девочку, которая, ничего не подозревая, играет себе в саду... Один там, в доме, другая — в садике, так, что ли?

Падчерица. Да, да, господин директор! И обязательно на солнышке! Ее смех, ее игры в садике — единственная моя отрада. Видеть ее вырванной из нищеты, из ужасной конуры, в которой мы спали все четверо, вповалку... Я спала с ней, я чувствовала свое поруганное тело рядом с ее тельцем, которое жалось ко мне... Она обвиняла меня своими ручонками, невинными и нежными... Едва завидев меня в саду, она неслась навстречу и хватала меня за руку... Больших цветов она не замечала, всегда отыскивала «махонькие, махонькие» и показывала их мне, заливаясь радостным смехом.

Увлечшись воспоминаниями, Падчерица волнуется все больше и больше и, под конец, начинает плакать горючими слезами, уронив голову на руки, вытянутые на столе. Присутствующие растроганы. Сам Директор подходит к ней и по-отечески утешает.

Директор. Будет у нас сад, будет, не бойтесь! Все сцены мы перенесем туда! *(Окликнув одного из рабочих сцены.)* Эй, спусти-ка деревца! Пару кипарисиков сюда, к бассейну!

Из-под колосников на сцену спускаются два кипариса. Машинист подбегает и гвоздями закрепляет их на полу.

(Падчерице.) Ну, как? Теперь лучше? Уже на что-то похоже! *(Опять подзывает Рабочего.)* Дай сюда члок неб!

Рабочий (*сверху*). Клочок чего?
Директор. Клочок неба! Опускай задник сразу за бассейном!

Сверху спускается белая ткань.

Да не белый! Я же сказал — небо! Ну ладно, черт с ним, сейчас поправим! (*Зовет.*) Осветитель! Прикрой лампы и дай сюда луну... синего, синего сюда... рефлектором... Так, довольно!

Сцена заливается таинственным лунным светом. Обстановка заставляет актеров двигаться и говорить так, словно они и в самом деле гуляют в саду при луне.

Директор (*Падчерице*). Теперь ваш маленький братец, вместо того чтобы прятаться по углам, сможет прятаться за стволы деревьев. А вот с Девочкой будет трудновато! Нужно найти такую, которая могла бы хорошо провести сцену с цветами. (*Мальчику.*) Ну-ка, иди вперед! Посмотрим, что тут можно сделать.

Мальчик не двигается с места.

Иди, иди! (*Тацит его вперед, пытается заставить держать прямо голову, которую тот все время опускает.*) Упрямый парнишка... Что с ним? Необходимо заставить его сказать хоть несколько слов... (*Подходит к Мальчику, кладет ему руку на плечо и подводит к кипарисам.*) Иди, иди сюда, посмотрим! Спрячься вот сюда... Так... Выгляни одним глазом, будто подсматриваешь... (*Отходит назад, чтобы проверить, что из этого выходит.*)

Мальчик выполняет свою задачу с таким правдоподобием, что актеры поражены.

Отлично... Замечательно... (*Падчерице.*) А что, если в тот момент, когда он так стоит и подсматривает из-за дерева, к нему подбежит Девочка и попробует с ним заговорить?

Падчерица (*подымаясь со стула*). И не надейтесь! Он рта не раскроет, пока здесь этот... (*Показывает на Сына.*) Сначала нужно его убрать!

Сын (*решительно направляясь к одной из лесенок*). Я готов! Счастлив! Больше мне ничего и не надо!

Директор (*поспешно останавливает его*). Куда вы? Подождите!

Мать приподымается со своего места, опечаленная мыслью, что с и в самом деле уйдет; инстинктивно она вытягивает руки вперед, словн для того, чтобы удержать его. Но с места не двигается.

Сын (*подходит к самому краю сцены. Директору, который удерживает его*). Мне здесь решительно нечего делать! Позвольте мне уйти! Я не хочу здесь оставаться!

Директор. Как так — нечего делать?

Падчерица (*тихо, с иронией*). Да не держите вы его! Пусть, пусть идет!

Отец. Он должен показать ужасную сцену в саду, которая разыгралась у него с матерью!

Сын (*быстро, решительно и не без гордости*). Я ничего показывать не буду! Я заявил об этом с самого начала! (*Директору.*) Пустите!

Падчерица (*подбегая к Директору*). Разрешите, господин директор! (*Отстраняет руку Директора.*) Оставьте его! (*Как только Директор опустил руку, Сыну.*) А теперь прочь отсюда!

Сын, занесший было ногу на лесенку, так и застыл на месте, словно скованный какой-то таинственной силой; затем, под тревожными, растерянными взглядами актеров, он проходит через всю авансцену к другой лесенке, но и там какая-то сила удерживает его. Падчерица, следившая за ним презрительным взором, начинает безудержно хохотать.

Видите, он не может уйти! Он вынужден остаться здесь, незримая цепь держит его! Это я могла бы бежать отсюда, господин директор, так как то, что должно было случиться, уже случилось — я могла бы бежать из одной ненависти к нему, бежать, лишь бы его не видеть. И если я еще тут и переношу его присутствие, то как же может уйти отсюда он, когда ему нужно еще побыть здесь со своим папочкой, когда ему предстоит сцена с Матерью, у которой не останется других детей, кроме него?.. (*Матери.*) Иди! Ну, иди же!.. (*Директору, обращая его внимание на Мать.*) Она поднялась, чтобы остановить его... (*Матери, почти заклиная.*) Иди, иди!.. (*Директору.*) Вы представляете, что происходит у нее в душе, если она решилась при актерах подвергнуться такому испытанию?.. Она так жаждет подойти к нему, поговорить, что... вот видите... готова пережить такую сцену!

И действительно, как только Падчерица замолчала, Мать раскрыла объятия, как бы выражая свое согласие.

Сын (*торопливо*). Но я — нет, я — нет! Если меня не отпускают, я останусь здесь, но повторяю еще раз — принимать участие в ваших сценах я не намерен!

Отец (*Директору, вздрагивая*). Вы можете его заставить, господин директор!

Сын. Никто не может меня заставить!

Отец. Я тебя заставлю!

Падчерица. Постойте, постойте! Сначала идет сцена Девочки у бассейна! (*Подбегает к Девочке, опускается перед ней на колени.*) Бедная моя детка смотрит так растерянно своими чудными глазенками. Тебе, наверное, кажется, что мы бог знает куда попали! Успокойся, мы всего-навсего на сцене! Знаешь, что такое сцена? Видишь? Место, где взрослые пытаются играть «не понарошку». Сейчас они играют комедию. И мы будем с тобой играть. Только всерьез, понимаешь? И ты тоже... (*Обнимает Девочку, прижимает ее к груди и некоторое время укачивает.*) Ах, милая моя крошка, милая крошка, в какой противной комедии довелось тебе участвовать! Каких только ужасов не напридумали для тебя! Сад, бассейн... Не настоящий, конечно! На сцене в этом вся соль! Здесь нет ничего настоящего! Но, может быть, тебе, малышка, ненастоящий бассейн нравится больше настоящего? Ведь в нем можно играть, не правда ли? Нет, пусть это будет игра для других, а ты ведь, малышка, настоящая, и играешь ты в самом деле, в настоящем бассейне, большом, красивом, зеленом, кругом растет бамбук и отражается в воде, а в ней плавают уточки и ломают это отражение. Одну такую уточку ты хочешь поймать... (*С воплем, который наполняет всех ужасом.*) Нет, Розетта, милая Розетта! Мать совсем не смотрит за тобой, и все из-за этого прохвоста, своего сыночка! И у меня голова забита всякой чертовщиной... И еще этот... (*Оставляет Девочку и уже обычным тоном обращается к Мальчику.*) Ты что тут делаешь? Стоишь и смотришь, словно нищий! Если девочка утонет, то помни: ты будешь виноват... все это из-за твоего проклятого стояния... Подумаешь, нищий!.. Как будто я не расплатилась за всех вас! (*Хватает его за рукав и заставляет вынуть руку из кармана.*) Что у тебя там? Что ты прячешь? Давай сюда руку! (*Выдергивает его руку из кармана. В руке у него револьвер.*)

Присутствующие на сцене в ужасе отшатываются.

(Смотрит на него даже как бы с некоторым удовлетворением. Строгим тоном.) Откуда ты его взял?

Мальчик стоит с выпуклыми, бессмысленными глазами.
Молчит.

Падчерица. Болван! Вместо того чтобы стреляться, я бы убила одного из них, или даже обоих сразу. (Показывает на Отца и Сына. Толкает Мальчика за кипарис, из-за которого он продолжает наблюдать. Затем берет Девочку и опускает ее в бассейн так, что ее совсем не видно; сама становится на колени возле бассейна и, опершись локтями на край, пристально смотрит на дно.)

Директор. Потрясающе! (Сыну.) А теперь ваша сцена...

Сын (презрительно). Какая сцена! Неправда, господин директор. Между нами не было никакой сцены! (Показывает на Мать.) Пусть она сама скажет, как было дело.

А в это время Вторая актриса и Молодой актер отделились от своих товарищей; Актриса внимательно наблюдает за Матерью.
Молодой актер — за Сыном. Обоим предстоит играть их роли.

Мать. Да, это верно, господин директор! Я вошла в его комнату.

Сын. В мою комнату, вы слышите? В мою комнату, а не в сад!

Директор. А какая разница? Пусть все происходит в саду!

Сын (заметив наблюдающего за ним Молодого актера). Что вам угодно?

Молодой актер. Ничего, я просто присматриваюсь к вам.

Сын (поворачиваясь в ту сторону, где находится Вторая актриса). А она к ней присматривается? (Показывает на Мать.)

Директор. Именно, именно! Мне кажется, вы должны быть довольны, что вами интересуются!

Сын. Покорнейше благодарю! А вы еще не поняли, что сделать эту комедию вам не под силу? Мы, сударь, не стали вашей сущностью, ваши актеры смотрят на нас как-то «со стороны». Неужели вам представляется возможным находиться перед зеркалом, которое не доволь-

ствуется простым честным отображением того, что есть на самом деле, но возвращает нам его с гримасой, которая делает нас неузнаваемыми даже для самих себя?

Отец. Это верно. Он прав. Вам следует это понять.

Директор (*Молодому актеру и Второй актрисе*). Хорошо. Отойдите от них.

Сын. Мне безразлично, пусть смотрят. Я ведь все равно не намерен участвовать в спектакле.

Директор. Помолчите! Дайте послушать, что говорит ваша несчастная мать! (*Матери*.) Так, значит, вы вошли. Что же дальше?

Мать. Да, господин директор, я вошла к нему в комнату, больше я не могла терпеть. Мне нужно было открыть ему сердце, излить душу. Но едва он увидел меня в дверях...

Сын. Никакой сцены не было! Я просто ушел, ушел, чтобы не устраивать сцены. Я никогда не устраивал никаких сцен, понятно?

Мать. Верно! Он правду говорит, я подтверждаю!

Директор. Но здесь-то такая сцена как раз и нужна! Она нам совершенно необходима!..

Мать. Я, господин директор, готова! Ах, если б вы могли помочь мне сделать так, чтобы я могла поговорить с ним хоть одну минутку, излить все, что накипело у меня в душе!

Отец (*подойдя к Сыну, очень сурово*). Для своей матери ты это сделаешь! Обязан сделать!

Сын (*решительно*). Нет, не сделаю!

Отец (*хватает Сына за шиворот и встряхивает*). Клянусь богом, сделаешь! Разве ты не слышишь, как она просит! Разве она не мать тебе?

Сын (*тоже хватая Отца за шиворот*). Нет, нет и нет! Отстань, говорю тебе по-хорошему!

Всеобщее замешательство. Мать в ужасе пытается их разнять.

Мать. Умоляю!.. Сжальтесь надо мной!

Отец (*не отпуская Сына*). Ты должен это сделать! Должен!

В завязавшейся борьбе Сын в конце концов одолевает Отца и валит его на пол, возле самой лесенки. Общий испуг.

Сын. Что с тобой? Как тебе не стыдно так позориться

на публике, да еще позорить весь наш дом? Я не хочу, не хочу! Отказываясь играть, я всего лишь выполняю волю того, кто не пожелал вывести нас на сцену.

Директор. Но раз вы сюда пришли!..

Сын (*указывает на Отца*). Это он пришел, а не я!

Директор. А вы разве не здесь?

Сын. Это он захотел прийти сюда и привел всех нас...

Мало того, он еще принялся на пару с вами прилаживать для сцены не только то, что произошло на самом деле — хотя и этого хватило бы за глаза, — но и то, чего и в помине не было!

Директор. Но расскажите по крайней мере мне, что там у вас произошло! Лично мне! Вы вышли из своей комнаты, ни слова не сказав...

Сын (*после некоторых колебаний*). Ни слова. Я не хотел сцен...

Директор (*пытаясь возбудить интерес Сына*). Ну, а потом... что вы сделали?

Сын (*среди мучительного ожидания присутствующих на сцене, сделав несколько шагов*). Ничего... Проходя через сад... (*Мрачно задумывается*.)

Директор (*наседая на Сына, заинтригованный сбивчивостью его рассказа и недомолвками*). Ну-ну... Проходя через сад...

Сын (*в отчаянии, закрыв лицо рукой*). Почему, зачем вы пытаете меня? Это ужасно!..

Мать дрожит, с растущей тревогой смотрит на бассейн.

Директор (*отметив про себя ее взгляд, тихо, но настойчиво, Сыну*). Девочка?

Сын (*глядя в зал, прямо перед собой*). Там, в бассейне...

Отец (*сочувственным жестом указывая на Мать*). И она шла за ним, господин директор!

Директор (*Сыну, с тревогой*). И что же она?

Сын (*медленно, по-прежнему устремив взор куда-то перед собой*). Я увидел, бросился ее спасать... Но внезапно остановился: там, за деревом, я увидел такое, от чего кровь у меня застыла в жилах, — там стоял мальчишка и совершенно сумасшедшими глазами смотрел на утонувшую сестренку...

У Падчерицы, сидящей у бассейна, вырывается отчаянный крик.

Пауза.

Сын. Я подошел, и тогда...

Из-за деревьев, где прятался Мальчик, раздается выстрел. Мать с душераздирающим криком подбегает вместе с Сыном и актерами к месту общей сумятицы.

М а т ь. Сын, сын мой!

Среди замешательства выделяется крик: «На помощь, на помощь!» Директор пытается проложить себе дорогу; а в это время Мальчика поднимают за руки и за ноги и выносят со сцены.

Д и р е к т о р. Он что, и в самом деле ранен?

Все, кроме Директора и Отца, стоящего подле лесенки, отправляются за занавес, изображавший клочок неба. Оттуда доносится смутный шум встревоженных голосов. Затем постепенно, двумя параллельными потоками актеры возвращаются на сцену.

П р е м ь е р ш а (*выходя справа, страдальческим голосом*). Умер! Бедный ребенок! Какое горе!

П р е м ь е р (*возвращаясь слева, смеется*). Да не думал он умирать! Это же игра! Видимость! Не верьте!

Д р у г и е а к т е р ы (*появляются справа*). Игра?

— Увы это сама реальность!

— Он умер!

Д р у г и е а к т е р ы (*выходя слева*). Нет! Самая обыкновенная игра!

— Видимость!

О т е ц (*подымаясь, крича*). Какая там игра! Сама реальность, господа, сама реальность! (*В отчаянии убегает за кулисы.*)

Д и р е к т о р (*не в силах сдержаться*). Видимость! Реальность! Игра! Смерть! Идите вы все к черту! Свет! Свет! Дайте свет!

Внезапно сцена и зал озаряются ярчайшим светом. Директор издает такой вздох, словно он избавился от наваждения. Все смотрят друг на друга, смущенные и взволнованные.

Черт знает что такое! Зря потерял целый день! (*Смотрит на часы.*) Идите, идите! На сегодня все кончено. Начинать репетицию слишком поздно. До вечера!

А к т е р ы прощаются с Директором и уходят.

Д и р е к т о р. Осветитель, гаси свет!

Театр мгновенно погружается в крошечную тьму.

Экий остолоп! Хоть бы лампочку догадался оставить!
Здесь сам черт сломит ногу!

И сразу же в глубине сцены, словно по оплошности осветителя, загорается зеленая подсветка; появляются огромные тени персонажей — за исключением Мальчика и Девочки. При виде их Директор в ужасе вихрем сбегает со сцены. Однако подсветка в этот момент выключается, и сцена заливается прежним синеватым светом. Медленно, с правой стороны появляется Сын, за ним, с простертыми руками, М а т ь; с левой стороны — О т е ц. Пройдя половину сцены, они останавливаются в неподвижных позах. После всех с левой стороны появляется П а д ч е р и ц а: она быстро пробегает по сцене к лесенке, уже занеся ногу на ступеньку, оборачивается и при виде других персонажей не может сдержать смех, затем сбегает вниз, бежит по проходу между креслами, по дороге оборачивается и при виде трех застывших на сцене фигур снова смеется. Последний раз ее смешок раздается уже в дверях зала.

Занавес медленно опускается.

ГЕНРИХ IV

Трагедия в трех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Генрих Четвертый.

Матильда Спина, маркиза.

Фрида, ее дочь.

Карло ди Нолли, молодой маркиз.

Тито Белькреди, барон.

Дионизио Дженони, доктор.

Четыре лица, изображающие тайных советников:

1 — Ландольфо (Лоло).

2 — Ариальдо (Франко).

3 — Ордульфо (Момо).

4 — Бертольдо (Фино).

Джованни, камердинер.

Двое переодетых лакеев.

Уединенная вилла в сельской Умбрии в наши дни.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната виллы, в точности воспроизводящая строгое убранство тронного зала Генриха Четвертого в императорском дворце в Госларе. Среди старинных вещей два больших современных портрета, написанных маслом в натуральную величину, поставленных в глубине сцены на невысоком резном деревянном цоколе, который тянется вдоль всей стены (он широк, выступает вперед, так что на нем можно сидеть, как на скамейке). Трон, императорское кресло с низким балдахином, разрезает цоколь на середине стены. Портреты, стоящие по обеим сторонам трона, изображают мужчину и женщину — молодых, одетых в маскарадные костюмы, один — Генриха Четвертого, другой — Матильду Тосканскую. Двери справа и слева.

При поднятии занавеса два лакея испуганно соскакивают с цоколя, на котором они лежали, и, с алебардами в руках, застывают, как статуи, с двух сторон трона. Немного погодя из правой двери выходят Ариальдо, Ландольфо, Ордульфо и Бертольдо — юноши, служащие у маркиза Карло ди Нолли и разыгрывающие роль «тайных советников» — королевских вассалов из мелких дворян при дворе Генриха Четвертого. Они одеты в костюмы немецких рыцарей XI века. Последний из них, Бертольдо, по имени Фино, только начинает свою службу. Три товарища учат его, слегка потешаясь над ним. Вся сцена разыгрывается с крайней живостью.

Ландольфо (к Бертольдо, как бы продолжая свои объяснения). А это тронный зал!

Ариальдо. В Госларе!

Ордульфо. Или, если хочешь, в Гарце.

Ариальдо. Или в Вормсе.

Ландольфо. В зависимости от того, что мы изображаем, он переносится вместе с нами то туда, то сюда.

Ордульфо. В Саксонию!

Ариальдо. В Ломбардию!

Ландольфо. На Рейн!

Один из лакеев (не меняя позы, чуть шевеля губами). Тсс... тсс...

Ариальдо (оборачиваясь на призыв). Что такое?

Первый лакей (стоя по-прежнему неподвижно, как статуя, шепотом). Идет он или нет? (Намекает на Генриха IV.)

Ордульф о. Нет, нет. Он спит, будьте спокойны.

Второй лакей (*переводя дух, вместе с первым лакеем потягивается и снова ложится на цоколь*). Боже мой, что стоило сказать нам об этом!

Первый лакей (*подходя к Ариальдо*). Будьте добры, нет ли у вас спички?

Ландольфо. Ой, здесь в зале нельзя курить трубку.

Первый лакей (*пока Ариальдо передает ему зажженную спичку*). А я выкурю папиросу. (*Зажигает и, покуривая, укладывается на цоколь*.)

Бертольдо (*в изумлении и смущении оглядывая зал, свой костюм и костюмы товарищей*). Но простите... этот зал... эта одежда... Какой Генрих Четвертый? Не могу понять: это французский король Генрих Четвертый или нет?

При этом вопросе Ландольфо, Ариальдо и Ордульфо раздражаются громким смехом.

Ландольфо (*продолжая смеяться, показывает на Бертольдо товарищам, тоже продолжающим смеяться, точно приглашая их еще посмеяться над ним*). Французский, ты говоришь?

Ордульф о (*как раньше*). Он думал — французский.

Ариальдо. Генрих Четвертый германский, дорогой мой, из Салийской династии.

Ордульф о. Великий и трагический император.

Ландольфо. Генрих Четвертый из Каноссы! Мы ведем здесь, изо дня в день, ужасающую войну церкви и государства! Ох!

Ордульф о. Войну императора против папства. Ох!

Ариальдо. Антипап против пап!

Ландольфо. Королей против антикоролей!

Ордульф о. Войну против саксонцев!

Ариальдо. И против всех непокорных князей!

Ландольфо. Против родных сыновей императора!

Бертольдо (*защищая голову руками от этой лавины слов*). Понял! Понял! А то я никак не мог собраться с мыслями, видя свой костюм и войдя в этот зал. Конечно, я прав: этот костюм не подходит к шестнадцатому веку.

Ариальдо. Хорош шестнадцатый век!

Ордульф о. Мы здесь в начале одиннадцатого века!

Ландольфо. Можешь сосчитать: если двадцать пя-

того января тысяча семьдесят первого года мы были перед Каноссой...

Бертольд о (*все более и более смущаясь*). О боже мой, я пропал!

Ордульф о. Конечно, если ты считал, что находишься при французском дворе.

Бертольд о. Вся моя подготовка по истории...

Ландольфо. Мы, дорогой мой, живем на четыре-ста лет раньше. Ты кажешься нам мальчишкой.

Бертольд о (*раздражаясь*). Черт побери, они должны были мне сказать, что речь идет не о французском, а о германском Генрихе Четвертом. За две недели, которые мне дали на подготовку, сколько книг я перелистал!

Ариальдо. Извини — разве ты не знал, что бедный Тито — это епископ Адальберт Бременский?

Бертольд о. Какой Адальберт? Ни черта я не знал!

Ландольфо. Вот так раз! Когда умер Тито, молодой маркиз ди Нолли...

Бертольд о. Вот, вот, этот самый маркиз! Что ему стоило сказать мне?..

Ариальдо. Он, наверно, думал, что ты знаешь!

Ландольфо. Маркиз не хотел брать никого другого взамен. Ему казалось, что нас троих будет достаточно. Но тот начал кричать: «Прогнали Адальберта!» Знаешь, ведь он не понял, что бедный Тито умер, и, считая его Адальбертом, решил, что его изгнали враждующие с ним епископы Кёльнский и Майнцкий.

Бертольд о (*хватаясь обеими руками за голову*). Но я ни черта не знаю во всей этой истории!

Ордульф о. В таком случае ты влип, дорогой мой!

Ариальдо. А хуже всего то, что и мы не знаем, кто ты.

Бертольд о. И вы тоже? Вы не знаете, кого я должен изображать?

Ордульф о. Гм, Бертольдо.

Бертольд о. Но кто этот Бертольдо и почему — Бертольдо?

Ландольфо. «Вы изгнали Адальберта? Теперь я хочу Бертольдо, хочу Бертольдо!» — начал он кричать.

Ариальдо. Мы все переглянулись; кто такой этот Бертольдо?

Ордульф о. И вот оказался ты, Бертольдо, дорогой мой.

Ландольфо. Теперь и ты попал в историю!

Бертольдо (*возмущаясь и делая вид, что направляется к выходу*). Но я не хочу! Благодарю вас! Я уйду! Уйду!

Ариальдо (*удерживает его и смеется вместе с Ордульфо*). Успокойся, успокойся!

Ордульфо. Ты ведь не будешь сказочным Бертольдо.

Ландольфо. И можешь утешиться, что и мы, в сущности, тоже не знаем, кто мы такие. Это — Ариальдо; он — Ордульфо; я — Ландольфо. Так он называет нас. Теперь мы к этому привыкли. Но кто мы такие? Вероятно, люди той эпохи! Вероятно, и твое имя — Бертольдо взято из той же эпохи. Только одному из нас, бедному Тито, посчастливилось играть хорошо известное в истории лицо — епископа Бременского. И Тито казался настоящим епископом! Бедный Тито, он был великолепен!

Ариальдо. Еще бы! Ему нетрудно было изучить материал по книгам!

Ландольфо. И он даже приказывал его величеству: настаивал, руководил им, как и подобает опекуну и советнику. Мы тоже именуемся «тайными советниками». Ведь, согласно истории, высшая знать ненавидела Генриха Четвертого за то, что он окружил себя молодыми людьми низкого происхождения.

Ордульфо. Вот мы и изображаем этих молодых людей.

Ландольфо. Ну да, мелких королевских вассалов, преданных, немного развратных, веселых...

Бертольдо. Я тоже должен быть веселым?

Ариальдо. Конечно! Как и мы!

Ордульфо. Это совсем нелегко, знаешь?

Ландольфо. И обидно. Видишь, какая здесь декорация: наши костюмы были бы очень эффектны в исторической пьесе; они похожи на те, которые имеют теперь такой успех в театрах. А материала, материала история Генриха Четвертого дает достаточно — не для одной, а для нескольких трагедий. Увы! Нас четверых и этих двух несчастных (*показывая на лакеев*), когда они стоят вытянувшись, точно проглотив аршин, у подножия трона, нас... нас никто не приглашает разыграть какую-нибудь сцену. Мы — ну, как бы это выразить — форма, и нам не хватает содержания. Нам гораздо хуже, чем

настоящим тайным советникам Генриха Четвертого. Хотя им тоже не позволяли играть никакой роли, они по крайней мере не знали, что должны ее разыгрывать. А если и приходилось им играть, они играли; для них это была не роль, а сама жизнь; они боролись за свои интересы в ущерб другим; они продавали инвестиции и еще кое-что. Мы же живем здесь, при великолепном дворе, костюмированные... для чего? Чтобы ничего не делать... Мы точно шесть марионеток, повешенных на стенку, ждем, чтобы кто-нибудь взял нас, заставил двигаться и сказать несколько слов.

Ариальдо. О нет, дорогой мой! Это не так просто! Надо отвечать в тон! Надо уметь отвечать в тон! Горе тебе, если он с тобой заговорит, а ты не сможешь ему ответить так, как он хочет!

Ландольфо. Да, да! Это верно.

Бертольдо. И ты меня не предупредил! Как же я могу отвечать в тон, если я готовился к встрече с Генрихом Четвертым французским, а передо мной появится теперь Генрих Четвертый германский?

Ландольфо, Ордульфо, Ариальдо опять смеются.

Ариальдо. Надо тебе сейчас же перестроиться.

Ордульфо. Не бойся! Мы тебе поможем.

Ариальдо. У нас столько книг! На первое время тебе хватит, если ты их просмотришь.

Ордульфо. Поймешь кое-что в общих чертах.

Ариальдо. Смотри. *(Заставляет его обернуться и показывает на задней стене портрет маркизы Матильды.)* Например, кто эта женщина?

Бертольдо *(разглядывая)*. Эта? Простите, прежде всего это анахронизм: две современные картины среди всей этой почтенной древности.

Ариальдо. Ты прав. И действительно, раньше их не было. За этими картинами — две ниши. Там надо было поставить две статуи в стиле той эпохи. Но так как ниши оставались пустыми, их закрыли этими картинами.

Ландольфо *(прерывая его и продолжая)*. Они были бы анахронизмом, если бы действительно были картинами.

Бертольдо. А разве это не картины?

Ландольфо. Да, на ощупь действительно картины. Но для него (*с таинственным видом указывает направо, намекая на Генриха Четвертого*), ведь он к ним не прикасается...

Бертольдо. Не прикасается? Так что же они для него?

Ландольфо. Не запутайся, толкователь! Хотя, я думаю, что, по существу, это так. Они — образы. Образы, как... ну, хотя бы вот, как отражает зеркало — сейчас объясню! Вот этот (*показывает на портрет Генриха Четвертого*) представляет его, живого, в этом самом тронном зале, а зал, как полагается, — в стиле той эпохи. Позволь, чему ты удивляешься? Если перед тобой поставят зеркало, разве ты не увидишь себя в нем живым, таким, как сейчас, одетым в эти старинные одеяния? Ну вот, а это — как бы два зеркала, отражающие живые изображения здесь, в мире, который, живя с нами, увидишь ожившим и ты, не беспокойся.

Бертольдо. Знаете, я не хочу сойти с ума.

Ариальдо. Вот еще! Ты будешь просто развлекаться.

Бертольдо. Ну, а скажи, как это вы все стали такими мудрыми.

Ландольфо. Дорогой мой, нельзя, вернувшись на восемьсот лет назад, не стать хоть немного мудрей.

Ариальдо. Полно! Полно! Вот увидишь, мы очень скоро и тебя zarazим этой мудростью.

Ордульф. В такой школе и ты сделаешься ученым.

Бертольдо. Да, ради бога, помогите мне сейчас же. Дайте мне по крайней мере основные указания.

Ариальдо. Предоставь все нам. Каждый понемногу...

Ландольфо. Мы свяжем твои проволочки и приведем тебя в порядок, как самую способную и совершенную марионетку. Пойдем, пойдем. (*Берет его под руку, чтобы увести.*)

Бертольдо (*останавливаясь и смотря на портрет*). Подождите! Вы мне не сказали, кто она. Жена императора?

Ариальдо. Нет. Жена императора Берта из Сузи, сестра Амедея Второго Савойского.

Ордульф. А император, который хочет быть молодым, как мы, поэтому терпеть ее не может и думает развестись с ней.

Ландольфо. А на этом портрете самый неприимый враг его — Матильда, маркиза Тосканская.

Бертольдо. Ага, я понял! Та самая, которая приютила папу.

Ландольфо. Вот именно. В Каноссе.

Ордульфо. Папу Григория Седьмого.

Ариальдо. Да, наше пугало! Пойдем! Пойдем!

Все четверо направляются направо к двери, через которую вошли, но в это время из двери слева выходит старый камердинер
Джованни во фраке.

Джованни (*торопливо, взволнованно*). Эй! Тсс... Франко! Лоло!

Ариальдо (*останавливаясь и оглядываясь*). Что тебе нужно?

Бертольдо (*удивившись, что Джованни входит в тронный зал во фраке*). Как же это? Он — здесь?

Ландольфо. Человек двадцатого века! Прочь! (*Бежит ему навстречу вместе с другими и в шутку грозит и гонит его.*)

Ордульфо. Посол Григория Седьмого, вон!

Ариальдо. Вон! Вон!

Джованни (*защищаясь, раздраженно*). Ну, довольно.

Ордульфо. Нет. Ты не имеешь права входить сюда!

Ариальдо. Прочь! Прочь!

Ландольфо (*к Бертольдо*). Это, знаешь ли, кощунство! Демон, вызванный магом из Рима. Вынимай шпагу! Вынимай шпагу! (*Вытаскивает шпагу.*)

Джованни (*крича*). Довольно, я вам сказал! Не разыгрывайте передо мной сумасшедших! Приехал синьор маркиз и с ним...

Ландольфо (*потирая руки*). А, чудесно! Есть и дамы.

Ордульфо (*так же*). Молодые? Старые?

Джованни. С ним двое мужчин.

Ариальдо. А дамы-то кто такие?

Джованни. Синьора маркиза и ее дочь.

Ландольфо (*удивленно*). О-о! Возможно ли?

Ордульфо (*так же*). Ты сказал — маркиза?

Джованни. Маркиза! Маркиза!

Ариальдо. А кто мужчины?

Джованни. Не знаю.

Ариальдо (*к Бертольдо*). Понимаешь, они приехали продиктовать нам роли.

Ордульф о. Все они — послы Григория Седьмого. Вот потеха!

Джованни. Дадите ли вы мне сказать, наконец?

Ариальдо. Говори! Говори!

Джованни. Кажется, один из этих господ — врач.

Ландольфо. А! Понятно! Один из обычных врачебных визитов.

Ариальдо. Bravo, Бертольдо! Ты приносишь счастье!

Ландольфо. Вот увидишь, как мы обработаем этого синьора доктора.

Бертольдо. Я думаю, что сразу же попаду в затруднительное положение.

Джованни. Да послушайте же меня! Они хотят войти в этот зал.

Ландольфо (*удивленно и озабоченно*). Как? Она? Маркиза? Сюда?

Ариальдо. Ну, значит, дело уже не в ролях.

Ландольфо. Разыграется настоящая трагедия.

Бертольдо (*с любопытством*). Почему? Почему?

Ордульф о (*показывая на портрет*). Да ведь вот она — маркиза, понимаешь ты это?

Ландольфо. А дочь — невеста маркиза ди Нолли.

Ариальдо. Но зачем они приехали? Можно узнать?

Ордульф о. Беда, если он ее увидит!

Ландольфо. Но, может быть, теперь он ее не узнает?

Джованни. Надо, чтобы вы удержали его там, если он проснется.

Ордульф о. Вот как! Ты шутишь! Каким образом?

Ариальдо. Ты же знаешь, какой он?

Джованни. Черт возьми, хотя бы силой! Раз мне так приказали! Идите! Идите!

Ариальдо. Да, да, может быть, он уже проснулся.

Ордульф о. Идем, идем!

Ландольфо (*уходя с другими, к Джованни*). Ты нам объяснишь потом.

Джованни (*крича им вслед*). Заприте дверь и спрячьте ключ! И от другой двери тоже. (*Показывает на другую дверь направо.*)

Ландольфо, Ариальдо и Ордульф о уходят во вторую дверь направо.

Джованни (*лакеям*). И вы тоже уходите туда! (*Указывает на первую дверь справа.*) Заприте дверь и уберите ключ.

Л а к е и уходят в первую дверь направо. Джованни направляется к двери слева и открывает ее, чтобы пропустить м а р к и з а д и Н о л л и.

Д и Н о л л и. Ты распорядился как следует?
Д ж о в а н н и. Да, синьор. Будьте спокойны.

Ди Нолли выходит на мгновение, чтобы позвать других. Сначала входят барон Тито Белькреди и доктор Дионизио Дженони, потом маркиза Матильда Спина и синьорина Фрида. Джованни кланяется и уходит. Маркизе Матильде Спина около сорока пяти лет; она еще сохранила свою красоту и обаяние, хотя слишком заметно исправляет неизбежные разрушения, произведенные возрастом, сильно, но искусно красясь. Этот грим придает ей гордый вид валькирии, которому противоречит линия красивого и скорбного рта. Она вдова уже много лет, ее другом является барон Тито Белькреди, которого ни она, ни кто-либо другой не принимают всерьез, по крайней мере внешне. То, чем Тито Белькреди на самом деле является для нее, знает только он, и ему смешно, когда его подруге необходимо притворяться, будто ничего между ними нет; он смеется в ответ на смех, который вызывают у других резкости маркизы по его адресу. Она — сухощавый, преждевременно седой, немного моложе ее; его голова удивительно похожа на птичью. Он был бы очень живым, если бы его гибкая подвижность (что делает его очень опасным фехтовальщиком) не была ослаблена сонной ленью араба, проявляющейся в своеобразном голосе, слегка гнусавом и тягучем. Фриде, дочери маркизы, девятнадцать лет. Она отодвинута на задний план своей властной и затмевающей ее матерью и несколько страдает от злословия, которое мать этим вызывает, в ущерб не столько себе, сколько дочери. К счастью, она уже обручена с маркизом Карло ди Нолли, строгим юношей, снисходительным к другим, но твердо разыгрывающим ту роль, которую он считает предназначенной ему в мире; хотя, в чем она состоит, он сам хорошенько не знает. Во всяком случае, он сознает большую ответственность, по его мнению, возложенную на него; он считает, что другие счастливицы могут болтать и развлекаться, а он — нет, не потому, что не хочет, а потому, что действительно не может. Он соблюдает строгий траур по случаю недавней смерти матери. У доктора Дионизио Дженони красивое, румяное и бесстыдное лицо сатира; глаза навывкате, коротко подстриженная острая бородка, блестящая как серебро; он почти совсем плешив, манеры его безукоризненны.

Все входят взволнованные, почти испуганные; они осматривают зал с любопытством (за исключением ди Нолли) и сначала говорят шепотом.

Б е л ь к р е д и. Великолепно! Великолепно!

Д о к т о р. Очень интересно. Эта безумная фантазия последовательно выдержана даже в обстановке! Великолепно! Поистине великолепно!

С и н ь о р а М а т и л ь д а (*ищет глазами свой пор-*

трет, видит его и подходит к нему). Ах, вот он! *(Пока она смотрит на него на некотором расстоянии; в ней возникают разные чувства.)* Да... да... О, посмотри... Боже мой... *(Зовет дочь.)* Фрида, Фрида... Посмотри...

Фрида. А, твой портрет!

Синьора Матильда. Да нет же! Посмотри! Это не я, это ты!

Ди Нолли. Не правда ли? Я вам говорил.

Синьора Матильда. Но я никогда не могла бы себе представить... *(Вздрагивая, точно от холода в спине.)* Боже, какое чувство! *(Потом, глядя на дочь.)* Ну что, Фрида! *(Привлекает ее к себе, обняв за талию.)* Подойди ближе. Разве ты не видишь себя во мне, на этом портрете?

Фрида. Право же...

Синьора Матильда. Тебе не кажется? Как ты этого не видишь? *(Оборачиваясь к Белькредо.)* Посмотрите вы, Тито! Скажите вы!

Белькредо *(не глядя)*. Нет, я не хочу смотреть. Я заранее не верю.

Синьора Матильда. Как глупо! Вы думаете, что делаете мне комплимент! *(Оборачиваясь к доктору Дже-нони.)* Скажите, скажите вы, доктор.

Доктор подходит к портрету.

Белькредо *(смотрит через плечо на доктора, таинственным тоном.)* Тсс... Не поддавайтесь, доктор!

Доктор *(смущенно улыбаясь)*. Чему?

Синьора Матильда. Не обращайтесь на него внимания. Подойдите! Он невыносим!

Фрида. Он шут по профессии, разве вы не знаете?

Белькредо *(доктору, видя, что он опять направляется к портрету)*. Посмотрите себе на ноги, на ноги, доктор! На ноги!

Доктор *(тем же тоном)*. На ноги! Почему?

Белькредо. У вас железные сапоги.

Доктор. У меня?

Белькредо. Да. А вы идете навстречу четырем стеклянным ножкам.

Доктор *(громко смеясь)*. Да нет! Мне кажется, что, здраво рассуждая, нет оснований удивляться, что дочь похожа на мать...

Белькредо. Трах! Готово!

Синьора Матильда (*крайне разгневанная, направляется к Белькреди*). Почему «трах»? Что случилось? Что он сказал?

Доктор (*невинно*). Разве это не так?

Белькреди (*отвечая маркизе*). Он сказал, что удивляться нечему; а вы, напротив, крайне удивлены. Но почему же, если вам кажется это таким естественным?

Синьора Матильда (*еще более раздражаясь*). Дурак! Дурак! Именно потому, что это так естественно! Потому что там (*показывая на портрет*) не моя дочь. Это мой портрет. И меня удивило то, что я увидела на картине свою дочь, а не себя; и поверьте, удивилась искренне; и я запрещаю вам в этом сомневаться!

Проходит минута смущенного молчания, вызванного этой резкостью.

Фрида (*тихо, с неудовольствием*). Боже мой, вечно так... ссоры из-за всякого пустяка!

Белькреди (*тоже тихо, словно поджав хвост, виноватым голосом*). Но я ни в чем не сомневался. Я только заметил, что ты с самого начала не удивлялась, как твоя мать, а если и удивлялась, то только поразительному сходству между тобой и портретом.

Синьора Матильда. Понятно! Не могла же она узнать себя во мне, какой я была в ее годы; но я отлично могу узнать себя в ней такой, как она сейчас.

Доктор. Совершенно правильно! Потому что портрет навсегда фиксирует мгновение прошлого, далекого и выходящего за пределы памяти синьорины, между тем как все то, что он может напомнить синьоре маркизе: движения, жесты, взгляды, улыбки, все то, чего в ней уже нет...

Синьора Матильда. Вот именно!

Доктор (*доканчивает, обращаясь непосредственно к ней*). ...вы, естественно, видите теперь ожившими в вашей дочери.

Синьора Матильда. А он считает необходимым испортить мне всякое, самое непосредственное чувство, только чтобы мне досадить.

Доктор (*в восторге от собственного объяснения, продолжает профессорским тоном, обращаясь к Белькреди*). Сходство, дорогой барон, возникает часто из вещей неуловимых! И таким именно образом объясняется, что...

Белькреди (*чтобы прервать лекцию*). ...что кто-нибудь способен найти сходство даже между мной и вами, дорогой профессор!

Ди Нолли. Перестаньте! Перестаньте, прошу вас! (*Указывает на две двери направо, чтобы предупредить, что за ними находится некто, кто может их услышать.*) Мы и без того уже многим рискуем, придя сюда.

Фрида. Конечно! Раз он здесь... (*Намекая на Белькреди.*)

Синьора Матильда (*быстро*). Потому-то я и не хотела, чтобы он ехал с нами!

Белькреди. И это после того, как повеселились на мой счет! Какая неблагодарность!

Ди Нолли. Довольно, Тито, прошу тебя! Здесь доктор; мы приехали сюда по очень важному делу, которое меня серьезно волнует.

Доктор. Да, да. Давайте сначала выясним некоторые подробности. Скажите, маркиза, как попал сюда ваш портрет? Вы его давно подарили?

Синьора Матильда. Нет, нет! Как бы я могла его подарить? Я была тогда, как Фрида, и даже не обручена. Я уступила его через три или четыре года после того, как случилось несчастье, по настоятельным просьбам его матери. (*Указывает на ди Нолли.*)

Доктор. Которая была его сестрой? (*Указывает на дверь направо, намекая на Генриха Четвертого.*)

Ди Нолли. Да, доктор! Приезд сюда — наш долг, долг по отношению к моей матери, умершей месяц тому назад. Вместо того, чтобы быть здесь, я и она (*указывая на Фриду*) должны были бы быть в дороге...

Доктор. И думать совсем о другом! Понимаю!

Ди Нолли. Но она умерла с твердой верой, что близок момент, когда ее любимый брат выздоровеет.

Доктор. А не можете ли вы мне сказать, на основании чего она пришла к такому выводу?

Ди Нолли. Кажется, вследствие одного странного разговора, который был у них незадолго до ее смерти.

Доктор. Разговор? Так... так... Было бы страшно важно, страшно важно, черт возьми, узнать его содержание!

Ди Нолли. К несчастью, я не знаю. Знаю только, что моя мать вернулась после своего последнего посещения чрезвычайно взволнованной; кажется, он выказал к ней необычную нежность, точно предчувствуя ее близ-

кий конец. На смертном одре она заставила меня дать слово, что я никогда не перестану о нем заботиться, что я буду показывать его врачам, навещать...

Доктор. Так, так... Теперь еще один вопрос... Иногда самые ничтожные причины... Значит, этот портрет...

Синьора Матильда. Боже мой! Я не думаю, доктор, что стоит придавать ему большое значение. Он произвел на меня такое впечатление только потому, что я не видела его столько лет.

Доктор. Позвольте, позвольте...

Ди Нолли. Ну да! Он здесь уже лет пятнадцать...

Синьора Матильда. Больше! Более восемнадцати лет.

Доктор. Простите, пожалуйста, вы еще не знаете, о чем я хочу спросить! Я придаю огромное значение, да, огромное, этим двум портретам, написанным, как мне кажется, перед несчастной прогулкой верхом. Не правда ли?

Синьора Матильда. Конечно!

Доктор. Когда он был совершенно здоров,— вот что я хотел сказать! Он просил вас заказать их?

Синьора Матильда. Нет, доктор. Это сделали и многие другие участники кавалькады, просто на память.

Белькредди. Я тоже заказал свой портрет, в костюме Карла Анжуйского.

Синьора Матильда. Как только были готовы костюмы.

Белькредди. Потому что, видите ли, было предположение собрать их все на память, как в картинной галерее, в салоне виллы, куда должна была приехать кавалькада. Но потом каждый захотел взять свой портрет.

Синьора Матильда. А мой портрет, как я вам уже сказала, я уступила,— впрочем, без особого сожаления,— потому что его мать... *(Снова указывает на ди Нолли.)*

Доктор. Не знаете, не он ли просил об этом?

Синьора Матильда. Не знаю. Возможно... А может быть, сестра хотела доставить ему удовольствие...

Доктор. Я не о том! Мысль устроить кавалькаду явилась у него?

Белькредди *(поспешно)*. Нет, нет! У меня! У меня!

Доктор. Разрешите...

Синьора Матильда. Не слушайте его! Эта мысль пришла в голову бедному Беласси.

Белькреди. Совсем не Беласси!

Синьора Матильда (*доктору*). Графу Беласси, который умер, бедняга, через два или три месяца после этого.

Белькреди. Но если Беласси не было, когда...

Ди Нолли (*опасаясь нового столкновения*). Простите, доктор, не все ли равно, у кого явилась эта мысль?

Доктор. Нет... все-таки мне помогло бы...

Белькреди. Мысль эта явилась у меня! Поверьте, мне тут нечем хвастаться, принимая во внимание печальные последствия этой затеи. Это было, доктор,— я прекрасно помню — в один из первых вечеров ноября, в клубе. Я перелистывал немецкий иллюстрированный журнал (понятно, я рассматривал только картинки, потому что я не читаю по-немецки). На одной из них был изображен император в каком-то университетском городе, где он был студентом.

Доктор. В Бонне, в Бонне!

Белькреди. Допустим, что в Бонне! Он ехал верхом, одетый в один из удивительных традиционных костюмов стариннейших студенческих обществ Германии. За ним следовал целый кортеж других студентов из дворян, тоже верхом и в костюмах. При виде этой картинки у меня явилась мысль. Потому что, надо вам сказать, в клубе собирались устроить большой маскарад по случаю карнавала. Я предложил эту историческую кавалькаду — лучше сказать, не историческую, а вавилонскую. Каждый из нас должен был выбрать персонажа того или другого века и изображать его: короля, или императора, или князя, рядом со своей дамой, королевой или императрицей, верхом на коне. Лошади, понятно, тоже должны были быть наряжены в стиле эпохи. И предложение было принято.

Синьора Матильда. Я получила приглашение от Беласси.

Белькреди. Если он сказал вам, что мысль принадлежала ему, он просто незаконно присвоил ее. Я говорю вам, что он даже не был в клубе в тот вечер, когда я внес предложение. И он (*намекает на Генриха Четвертого*) тоже не был.

Доктор. Тогда-то он и выбрал образ Генриха Четвертого?

Синьора Матильда. Потому что и я должна была выбрать себе какос-нибудь имя; даже не подумав, я заявила, что хочу быть маркизой Матильдой Тосканской.

Доктор. Но... я не понимаю, какая связь...

Синьора Матильда. Ах! Сначала и я не поняла, когда он сказал мне, что в таком случае он будет у моих ног, как Генрих Четвертый в Каноссе. Название «Каносса» было мне знакомо; но, по правде сказать, я не очень хорошо помнила всю эту историю; а когда перечла ее, готовясь к своей роли, мне показалось очень забавным, что я — вернейшая и усерднейшая союзница папы Григория Седьмого в ожесточенной борьбе с германским императором. Тогда я хорошо поняла, почему он, когда я уже выбрала роль его непримиримого врага, захотел, как Генрих Четвертый, быть со мной в паре в этой кавалькаде.

Доктор. А! Вероятно, потому, что...

Белькреди. Поймите, доктор, что он тогда настойчиво за ней ухаживал, а она (*указывая на маркизу*), естественно...

Синьора Матильда (*подчеркивая с жаром*). «Естественно!» Именно «естественно!» И тогда более чем когда-либо «естественно!»

Белькреди. Вот видите! (*Показывая на нее*.) Она его не выносила!

Синьора Матильда. Это неправда! Он никогда не был мне неприятен! Напротив! Но всякий раз, как кто-нибудь начинает серьезно ухаживать...

Белькреди (*заканчивая*). ...вам хочется посмеяться над его глупостью!

Синьора Матильда. Нет, дорогой мой! В данном случае — нисколько! Потому что он никогда не был так глуп, как вы.

Белькреди. Я никогда не требовал к себе серьезного отношения.

Синьора Матильда. Я это хорошо знаю! Но с ним нельзя было шутить. (*Другим тоном, доктору*.) Дорогой доктор! Одно из несчастий для нас, женщин, когда вдруг за нами начинают неотступно следить чьи-то глаза и упорно обещают прочное чувство! (*Разражается пронзительным смехом*.) Ничего нет смешнее этого! Если бы мужчины видели себя с этой «прочностью» во взгляде... Мне всегда становилось смешно! А в то время —

особенно. Теперь я могу сознаться: ведь с тех пор прошло больше двадцати лет. Если я тогда смеялась, то больше от страха. Возможно, что обещанию этих глаз надо было поверить. Хотя это было бы крайне опасно.

Доктор (*с живым интересом, сосредоточенно*). Вот-вот, именно это мне было бы интересно узнать. Очень опасно?

Синьора Матильда (*легкомысленным тоном*). Потому что он не был таким, как другие! Надо сказать, что и я... Ну, да... тоже... тоже немного... по правде сказать, достаточно... (*ищет более мягкого выражения*) нетерпимо, да, нетерпимо отношусь ко всему умеренному и вялому! Но я была тогда слишком молода, понимаете? И женщина! Я закусила удила. Надо было иметь мужество, которого у меня не доставало. Я посмеялась над ним! С сожалением, с настоящим раздражением против себя самой, больше всего потому, что видела, как мой смех сливался со смехом остальных — всех тех глупцов, которые смеялись над ним.

Белькреди. Так же, как и надо мной.

Синьора Матильда. Ваша приниженность и кривляние всегда были смешны, дорогой мой, а он — никогда не был смешон. В этом большая разница! И потом, вам всегда смеются в лицо!

Белькреди. Я нахожу, что лучше в лицо, чем за спиной.

Доктор. К делу, вернемся к делу. Значит, он был уже несколько возбужден, насколько мне удалось понять?

Белькреди. Да, но так странно, доктор!

Доктор. А именно?

Белькреди. Как бы это сказать? Кто-то холодно возбужден.

Синьора Матильда. Ничего подобного! Такова его натура, доктор. Он был немного странный, конечно, но от избытка жизненных сил, вдохновенных порывов.

Белькреди. Я не говорю, что он симулировал возбужденность. Даже напротив, часто эта возбужденность была вполне искренней. Но я готов поклясться, доктор, что он сейчас же сам начинал видеть себя со стороны в этом состоянии. В этом вся штука! И я думаю, что это случалось с ним при каждом произвольном возбуждении. Больше того, я уверен, что он страдал от этого. Иногда он очень забавно сердился на самого себя.

Синьора Матильда. Это верно!

Белькреди (*синьоре Матильде*). А почему? (*Доктору.*) Конечно, потому, что этот взгляд со стороны сразу же разрушал в нем живую связь со своим собственным чувством; ведь он не притворялся, это чувство было искренним, и тем не менее он сразу же начинал его оценивать... ну, как бы это выразить... оценивать рассудком, стараясь разжечь в себе ту душевную искренность, которой ему не хватало. И он сочинял, преувеличивал, раздувал без удержу, чтобы оглушить себя, чтобы не видеть себя со стороны. Он казался непостоянным, тщеславным и... ну да, можно сказать, иногда даже смешным.

Доктор. А... может быть, необщительным?

Белькреди. Вовсе нет! Он был очень общительным! Большим мастером по части устройства живых картин, танцев, благотворительных спектаклей — для развлечения, понятно! Иногда он превосходно играл, могу вас уверить!

Ди Нолли. А сойдя с ума, он сделался великолепным и страшным актером!

Белькреди. И сразу же! Представьте себе, когда случилось это несчастье и он упал с лошади...

Доктор. Он ударился затылком, не правда ли?

Синьора Матильда. Ах, какой ужас! Он ехал рядом со мной, и я увидела его под копытами вставшей на дыбы лошади...

Белькреди. В первый момент мы не подумали, что он сильно ушибся. Конечно, все остановилось, возникло замешательство; все бросилось смотреть... но его сразу же подняли и отнесли в видлю.

Синьора Матильда. Никакого следа! Даже самой маленькой ранки! Ни одной капли крови!

Белькреди. Подумали, что он просто лишился чувств...

Синьора Матильда. А когда, часа через два...

Белькреди. ...он вновь появился в салоне виллы, — я именно это хотел сказать...

Синьора Матильда. Ах, какое у него было лицо! Я сразу же заметила.

Белькреди. Ну, нет! Не говорите! Поймите, доктор, мы ничего не заметили.

Синьора Матильда. Потому что вы все были как сумасшедшие!

Белькреди. Каждый в шутку играл свою роль! Настоящее вавилонское столпотворение!

Синьора Матильда. Вы представляете себе, доктор, какой ужас охватил нас, когда мы увидели, что он играет свою роль всерьез?

Доктор. Ах, значит, и он тоже?..

Белькреди. Ну да! Он присоединился к нам. Мы думали, что он оправился и играет роль, как мы все... только лучше нас, потому что, как я уже говорил вам, он был мастером по этой части. Словом, мы думали, что он шутит.

Синьора Матильда. Начали хлестать его...

Белькреди. И тогда... у него было оружие, как полагается королю... он обнажил шпагу и бросился на двух или трех из присутствующих. Это был такой ужас!

Синьора Матильда. Я никогда не забуду этой сцены! Все наши глупые, искаженные лица в масках перед его ужасной маской, которая была уже не маской, а безумием!

Белькреди. Генрих Четвертый! Настоящий Генрих Четвертый, собственной персоной, в момент бешенства.

Синьора Матильда. Я думаю, доктор, на него подействовала навязчивая мысль о маскараде, которая занимала его целый месяц. Эту навязчивую мысль он и слил со своими действиями.

Белькреди. И все то, что он изучил, когда готовился. До самых малейших подробностей... до последних мелочей.

Доктор. Да, это часто бывает. Навязчивая идея одного мгновения зафиксировалась во время падения; удар в затылок был причиной сотрясения мозга. Эта идея зафиксировалась навсегда. Так можно стать идиотом, сумасшедшим.

Белькреди (*Фриде и ди Нолли*). Вы понимаете, что он шутит, дорогие мои? (*К ди Нолли.*) Тебе было тогда четыре или пять лет. (*Фриде.*) Твоей матери кажется, что ты заменила ее здесь на портрете,— а тогда она даже и не думала, что произведет тебя на свет! У меня уже седые волосы, а вот он (*показывает на портрет*) — трах, шишка на затылке — и остановка. Он так и остался Генрихом Четвертым!

Доктор (*глубоко задумавшись, поднимает руку, словно желая привлечь общее внимание и готовясь дать научное объяснение*). Да, да, именно так. Видите ли...

Но в это мгновение распахивается дверь справа, ближайшая к рампе, и из нее с искаженным лицом выбегает Бертольдо.

Бертольдо (*врываясь, совершенно вне себя*). Можно? Простите... (*Сразу останавливается, видя смятение, вызванное его появлением.*)

Фрида (*с криком ужаса, отбегая*). О боже! Это он!

Синьора Матильда (*отступая в ужасе и закрываясь одной рукой, чтобы не видеть его*). Это он? Это он?

Ди Нолли (*тотчас же*). Да нет! Нет! Успокойтесь.

Доктор (*удивленно*). Но кто же это?

Белькреди. Один из беглецов с нашего маскарада.

Ди Нолли. Это один из четырех юношей, которых мы держим здесь, чтобы угождать его безумию.

Бертольдо. Простите, синьор маркиз...

Ди Нолли. Не принимаю никаких извинений! Я приказал, чтобы двери были заперты на ключ и никто сюда не входил!

Бертольдо. Да, синьор, но я не мог выдержать. Прошу позволения уйти.

Ди Нолли. А, это вы должны были приступить к своим обязанностям с сегодняшнего утра?

Бертольдо. Да, синьор, но уверяю вас, что я не могу выдержать...

Синьора Матильда (*к Ди Нолли, с большой тревогой*). Значит, он не так спокоен, как ты говорил?

Бертольдо (*горячо*). Нет, нет, синьора! Он ни при чем! Это трое моих товарищей! Вы говорите — «угождать», синьор маркиз? Какое тут угождение! Они не угождают: они настоящие сумасшедшие. Я пришел сюда в первый раз — и вместо того чтобы помочь мне, синьор маркиз...

Быстро в тревоге выбегают из той же двери справа Ландольфо и Ариальдо, на секунду все же задерживаясь на пороге, прежде чем войти.

Ландольфо. Можно войти?

Ариальдо. Можно, синьор маркиз?

Ди Нолли. Войдите. Но что случилось? Что вы делаете?

Фрида. Я уйду, уйду, мне страшно. (*Направляется к двери слева.*)

Ди Нолли (*сейчас же останавливая ее*). Подожди, Фрида!

Ландольфо. Синьор маркиз, этот глупец... (*Указывает на Бертольдо.*)

Бертольдо (*протестуя*). Ну нет, спасибо, дорогие мои! При таких условиях я не останусь! Не останусь!

Ландольфо. Как так — не останешься?

Ариальдо. Удрал сюда, синьор маркиз, он все испортил.

Ландольфо. Он вывел его из себя! Мы не можем больше удержать его там. Он приказал арестовать его и хочет сейчас же «судить» его в тронном зале. Что нам делать?

Ди Нолли. Заприте! Заприте! Подите и заприте эту дверь!

Ландольфо запирает дверь.

Ариальдо. Один Ордульфо будет не в силах удержать его...

Ландольфо. Синьор маркиз, нельзя ли сейчас же сообщить ему о вашем приезде, чтобы отвлечь его? Если уже решено, как будут распределены роли...

Ди Нолли. Да, да, мы все решили. (*Доктору.*) Если бы вы, доктор, могли сейчас же повидать его...

Фрида. Но я не хочу, не хочу, Карло! Я ухожу. И ты тоже, мама, ради бога, пойдем, пойдем со мной!

Доктор. Скажите... Он сейчас не вооружен?

Ди Нолли. Да нет, доктор, что вы! (*Фриде.*) Прости меня, Фрида, но твой страх — просто ребячество. Ты хотела приехать.

Фрида. Вовсе не я: это мама!

Синьора Матильда (*решительно*). Я готова! Итак, что мы должны делать?

Белькреди. Скажите, нам действительно необходимо нарядиться кем-нибудь?

Ландольфо. Необходимо! Необходимо, синьор! Ведь вы же видите... (*Показывает свой костюм.*) Беда, если он увидит вас в современном платье!

Ариальдо. Он сочтет это дьявольским наваждением!

Ди Нолли. Вам кажутся переодетыми они, а ему покажемся переодетыми мы, если останемся в наших костюмах.

Ландольфо. И хуже всего, синьор маркиз, что ему может показаться, будто это дело рук его смертельного врага.

Бертольд о Папы Григория Седьмого?

Ландольфо. Вот именно! Генрих Четвертый говорит, что папа — «язычник».

Белькреди. Папа? Недурно сказано!

Ландольфо. Да, синьор! И еще, что он вызывает мертвецов! Он обвиняет папу в занятиях черной магией и смертельно боится его.

Доктор. Мания преследования.

Ариальдо. Он придет в бешенство.

Ди Нолли (*к Белькреди*). Знаешь, тебе незачем присутствовать. Уйдем-ка отсюда. Достаточно, если его увидит доктор.

Доктор. Как... совсем один?

Ди Нолли. Они останутся здесь! (*Указывает на трех юношей.*)

Доктор. Нет, нет... Я хотел сказать, что если синьора маркиза...

Синьора Матильда. О да! Я тоже хочу присутствовать! Я буду здесь. Хочу снова увидеть его!

Фрида. Зачем, мама? Прошу тебя, пойдем с нами!

Синьора Матильда (*повелительно*). Оставь меня! Я для этого сюда приехала! (*К Ландольфо.*) Я буду Аделаидой, матерью.

Ландольфо. Отлично! Матерью императрицы Берты! Вполне достаточно, если синьора наденет герцогскую корону и мантию, которая всю ее закроет. (*К Ариальдо.*) Иди, иди, Ариальдо.

Ариальдо. Подожди, а синьор? (*Указывает на доктора.*)

Доктор. Ах да... Мы, кажется, решили выбрать роль Ключнийского епископа Гуго?

Ариальдо. Синьор хочет сказать — аббата? Превосходно. Гуго Ключнийский.

Ландольфо. Он уже столько раз был здесь...

Доктор (*удивленно*). Как — был?

Ландольфо. Не бойтесь, я хотел сказать, что это очень легкая роль и потому...

Ариальдо. Ее играли и раньше.

Доктор. Но...

Ландольфо. Не беспокойтесь, он не запомнил лица. Он смотрит больше на одежду, чем на человека.

Синьора Матильда. Это хорошо и для меня.

Ди Нолли. Идем, Фрида! Идем! И ты иди с нами, Тито!

Белькреді. Ну, нет. Если она останется (*указывает на маркизу*), то останусь и я.

Синьора Матильда. Вы мне совсем не нужны.

Белькреді. Я не утверждаю, что я вам нужен. Мне тоже хочется посмотреть на него. Разве нельзя?

Ландольфо. Почему нет? Может быть, даже лучше, если вы будете все трое.

Ариальдо. Но в таком случае, синьор?

Белькреді. Подыщите легкую роль и для меня.

Ландольфо (*к Ариальдо*). Пусть синьор будет ключником...

Белькреді. Ключником? Что это такое?

Ландольфо. Бенедиктинским монахом из Ключинского аббатства. Вы будете изображать спутника монсиньора. (*К Ариальдо*.) Иди! Иди! (*К Бертольдо*.) Ты тоже уходи и не показывайся сегодня весь день! (*Но как только они направились к двери, он кричит*.) Подождите! (*К Бертольдо*.) Принеси сюда одежды, которые он тебе даст. (*К Ариальдо*.) А ты иди и доложи сейчас же о прибытии «герцогини Аделаиды» и «монсиньора Гуго Ключинского». Понял?

Ариальдо и Бертольдо уходят через первую дверь справа.

Ди Нолли. Ну, мы уходим. (*Выходит вместе с Фридой в дверь слева*.)

Доктор (*к Ландольфо*). Надеюсь, он отнесется ко мне хорошо, когда я буду Гуго Ключинским?

Ландольфо. Очень хорошо. Будьте спокойны. Монсиньора всегда здесь принимали с большим уважением. И вы тоже будьте спокойны, синьора маркиза. Он помнит всегда, что после двух дней ожидания на снегу, только благодаря вам двоим, его, почти окоченевшего, впустили во дворец Каноссы к папе Григорию Седьмому, который не хотел принимать его.

Белькреді. А я?

Ландольфо. А вы почтительно держитесь в стороне.

Синьора Матильда (*возбужденно, очень нервно*). Лучше бы вы ушли.

Белькреді (*тихо, раздраженно*). Вы очень взволнованы...

Синьора Матильда (*гордо*). Я такая, как всегда! Оставьте меня в покое!

Входит Бертольд с костюмами.

Ландольфо (*увидев его*). Вот и костюмы! Эту мантию — маркизе.

Синьора Матильда. Подождите, я сниму шляпу. (*Снимает шляпу и передает ее Бертольдо.*)

Ландольфо. Отнеси ее туда. (*Потом маркизе, показывая жестом, что хочет надеть ей на голову герцогскую корону.*) Вы разрешите?

Синьора Матильда. Боже мой, неужели здесь нет зеркала?

Ландольфо. Есть там. (*Указывает на дверь слева.*) Если синьора маркиза хочет сама...

Синьора Матильда. Да, да, лучше я сама. Дайте сюда, я сейчас надену.

Берет шляпу и выходит с Бертольдо, который несет мантию и корону. В это время доктор и Белькредди старательно надевают рясы бенедиктинцев.

Белькредди. По правде сказать, я никогда не думал, что мне придется изображать бенедиктинца. Да, скажу я вам, это сумасшествие стоит изрядных денег.

Доктор. Да, как и многие другие безумства...

Белькредди. Когда можешь тратить на это доходы с родового имения...

Ландольфо. Да, синьор. У нас есть полный набор костюмов той эпохи, превосходно изготовленных по старинным образцам. Это моя обязанность: я обращаюсь к лучшим театральным костюмерам. И это обходится недешево.

Синьора Матильда входит в мантии и в короне.

Белькредди (*восхищаясь ею*). Великолепно! Поистине, царственный вид!

Синьора Матильда (*при виде Белькредди разражается смехом*). О боже мой, лучше снимите рясу! Вы невозможны! Вы похожи на страуса, одетого монахом!

Белькредди. Посмотрите лучше на доктора.

Доктор. Ничего... ничего...

Синьора Матильда. Нет, вы выглядите не так уж плохо, доктор. А вы, Белькредди, просто смешны.

Доктор (*к Ландольфо*). Значит, здесь бывают большие приемы?

Ландольфо. Случается. Иногда он приказывает, чтобы явился тот или другой персонаж, и тогда нужно, чтобы кто-нибудь согласился сыграть его роль. Даже женщины...

Синьора Матильда (*обиженно, хотя и хочет скрыть это*). А! Даже женщины?

Ландольфо. Раньше, да... Многие...

Белькреди (*смеясь*). Великолепно! В костюмах? (*Показывая на маркизу.*) Вроде нее?

Ландольфо. Ну, знаете, женщины из тех, которые...

Белькреди, Которые соглашаются? Я понял. (*Лукаво, маркизе.*) Смотрите, это становится для вас опасным.

Открывается вторая дверь справа и появляется Ариальдо.

Ариальдо (*делает знак прекратить все разговоры в зале. Потом объявляет торжественно*). Его величество — император!

Входят сначала двое слуг, которые располагаются у подножия трона; потом между Ордульфо и Ариальдо, которые почтительно держатся немного позади, появляется Генрих Четвертый. Ему около пятидесяти лет. Он очень бледен, наполовину седой. На висках и на лбу у него волосы белокурые, благодаря бросающейся в глаза краске, положенной весьма неумело; на щеках, среди трагической бледности, два красных пятнышка, как у кукол, тоже очень заметных. Поверх королевского платья на нем надета одежда кающегося, как в Каносе. В глазах — пугающая, нервная сосредоточенность, контрастирующая с одеждой, говорящей о чисто показном смирении и раскаянии, — потому что он считает это унижение незаслуженным. Ордульфо несет императорскую корону, Ариальдо скипетр с орлом и державу с крестом.

Генрих Четвертый (*кланяясь сначала синьоре Матильде, потом доктору*). Мадонна... Монсиньор... (*Смотрит на Белькреди, готов ему поклониться, но потом оборачивается к Ландольфо, который к нему подошел, и спрашивает у него недоверчивым шепотом.*) Это Петр Дамианский?

Ландольфо. Нет, ваше величество, это клюнийский монах, сопровождающий аббата.

Генрих Четвертый (*снова вглядывается в Белькреди со все возрастающим недоверием и, видя, что тот оборачивается нерешительно и смущенно к синьоре Матильде и доктору, точно спрашивая у них совета, выпрямля-*

ется и кричит). Это Петр Дамианский! Напрасно, отец мой, вы смотрите на герцогиню! *(Внезапно обернувшись к синьоре Матильде, точно желая предотвратить опасность.)* Клянусь вам, клянусь вам, мадонна, что я переменялся по отношению к вашей дочери. Признаюсь, что, если бы он *(указывая на Белькреди)* не пришел ко мне с запрещением от папы Александра, я развелся бы с ней. Да, нашелся человек, который готов был благословить развод за сто двадцать имений,— епископ Майнцский *(смотрит на немного смущенного Ландольфо и тотчас же продолжает)*, но я не должен сейчас дурно говорить об епископах. *(Почтительно оборачивается к Белькреди.)* Я благодарю вас, поверьте, благодарю вас теперь, Петр Дамианский, за это запрещение! Вся моя жизнь полна унижений: моя мать, Адальберт, Трибур, Гослар и теперь — эта ряса, которую вы на мне видите. *(Внезапно меняет тон и говорит в сторону, как человек, который репетирует свою роль.)* Неважно! Ясность мысли, зоркость, сдержанность и терпение в тяжкую минуту! *(Потом оборачивается ко всем и говорит с печальной серьезностью.)* Я умею исправлять свои ошибки и смиряюсь даже перед вами, Петр Дамианский. *(Делает глубокий поклон и остается склоненным перед ним, затем, точно охваченный неясным подозрением, которое в нем сейчас зародилось и заставляет его как бы против воли говорить угрожающим тоном.)* Если только не вы распространяете гнусные слухи, будто моя святая мать Агнеса была в незаконной связи с епископом Генрихом Аугсбургским!

Белькреди (в то время как Генрих Четвертый остается еще склоненным, но с угрожающе направленным на него пальцем, прикладывает руку к груди, в знак отрицания). Нет... не я... нет...

Генрих Четвертый *(выпрямляясь)*. Не вы? Значит, это клевета. *(Смотрит на него, потом говорит.)* Я не считаю вас способным на это. *(Приближается к доктору и тянет его слегка за рукав, лукаво подмигивая.)* Это — из «их» шайки! Все то же, монсиньор.

Ариальдо *(тихо, со вздохом, точно желая подсказать доктору)*. Да, да, епископы-похитители.

Доктор *(желая продолжить игру, оборачиваясь к Ариальдо)*. Да, эти... эти...

Генрих Четвертый. Им все мало! Бедный мальчик, монсиньор... беззаботно играл, хотя и был королем, сам не зная этого. Мне было шесть лет, когда меня

украли у моей матери и воспользовались мной, несмышленишем, против нее же и против могущества династии, все оскверняя, все воруя, один жаднее другого: Анно больше Стефана, Стефан больше Анно.

Л а н д о л ь ф о (*шепотом, настойчиво, чтобы отвлечь его*). Ваше величество...

Г е н р и х Ч е т в е р т ы й (*тотчас оборачиваясь*). Да, да! Я не должен говорить сейчас плохо о епископах. Но эта клевета о моей матери, монсиньор, переходит границы. (*Смотрит на маркизу и смягчается.*) Я даже не могу оплакивать ее, мадонна. Я обращаюсь к вам; в вас, вероятно, живет материнское чувство! Она приезжала ко мне из своего монастыря месяц тому назад. Мне сказали, что она умерла. (*Замолкает, охваченный глубоким волнением. Потом грустно улыбается.*) Я не могу оплакивать ее, потому что если вы здесь, а я в таком виде... (*показывает на свою покаянную одежду*), то это значит, что мне двадцать шесть лет.

А р и а л ь д о (*почти вполголоса, ласково, чтобы утешить его*). Но, значит, она жива, ваше величество!

О р д у л ь ф о (*так же*). И живет в своем монастыре!

Г е н р и х Ч е т в е р т ы й (*оборачивается и смотрит на них*). Да, и я могу отложить свою скорбь на другое время. (*Кокетливо показывает маркизе свои крашенные волосы.*) Посмотрите, еще белокурые... (*Потом тихо, точно по секрету.*) Для вас! Мне этого не нужно. Но внешность все же имеет значение. Знамение времени, не правда ли, монсиньор! (*Снова подходит к маркизе и смотрит на ее волосы.*) Э, да я вижу, что... и вы, герцогиня... (*Прищуривает один глаз и делает выразительный знак рукой.*) Итальянка (*точно желая сказать: «не настоящая», но без тени презрения, даже с насмешливым восхищением*). Боже упаси меня выказывать отвращение или удивление! Суета сует! Никто не хочет смириться и признать темную и роковую власть, кладущую пределы нашей воле. Но раз людям суждено рождаться и умирать... рождаться... Вы хотели родиться, монсиньор? Я — нет. И между этими двумя гранями, равно не зависящими от нашей воли, происходит столько событий, нежеланных для нас, с которыми волей-неволей приходится мириться!

Д о к т о р (*чтобы что-нибудь сказать, в то же время внимательно его разглядывая*). Да, да, конечно!

Г е н р и х Ч е т в е р т ы й. Если мы смиряемся, появля-

ются суетные желания. Женщина хочет стать мужчиной, старик — юношей... Никто из нас не лжет и не притворяется. Больше того: мы добровольно носим придуманную нами маску. В то время, монсиньор, как вы стоите неподвижно, держась обеими руками за вашу святую рясу, оттуда, из рукавов, скользит, скользит, ускользает, как змея, что-то такое, чего вы не замечаете. Жизнь, монсиньор. А потом удивитесь, внезапно поняв, что она ускользнула: сколько досады, злости на самого себя и угрызений совести, да, да и угрызений. Ах, если бы вы знали, сколько раз это было. И я видел на своем собственном лице такое ужасное выражение, что не мог смотреть на него... (*Подходит к маркизе.*) С вами этого никогда не случилось, мадонна? Вам кажется, что вы всегда были такой же? О боже, но ведь однажды... Как же... Как же вы могли сделать это?.. (*Он так пристально смотрит ей в глаза, что она едва не лишается чувств.*) Да, именно «это» — мы понимаем друг друга! Будьте спокойны, я никому не скажу! И вы, Петр Дамианский, могли быть другом такого...

Ландольфо (*так же*). Ваше величество...

Генрих Четвертый (*сразу же*). Нет, нет, я не назову его! Я знаю, что вызываю в нем такое раздражение... (*Быстро оборачиваясь к Белькреди.*) Что вы думаете... что вы думаете об этом?.. Но все мы продолжаем цепко держаться за нашу маску, как старик, который красит волосы. Разве важно, что эта краска не может быть выдана вам за настоящий цвет моих волос? Вы, мадонна, красите их, конечно, не для того, чтобы обмануть других или самое себя; вы хотите немного, чуть-чуть, изменить ваше собственное изображение в зеркале. Я это делаю для смеха. Вы — серьезно. Но уверяю вас, что, хотя это и серьезно, вы все же в маске, мадонна; я говорю не о почтенном венце на вашей голове, я склоняюсь перед ним, не о вашей герцогской мантии, — я хочу сказать, что вы захотели искусственно сохранить воспоминание о ваших белокурых волосах, которые вам когда-то нравились, или о каштановых — если они были каштановые; вы хотите удержать гаснущий образ вашей молодости! А вам, Петр Дамианский, воспоминание о том, чем вы были и что сделали, кажется теперь только призраком прошлого, затаенным в душе, как сон, не правда ли? И мне все кажется сном — если вдуматься, есть столько необъяснимого... Ба! В этом нет ничего

удивительного, Петр Дамианский; завтра наша сегодняшняя жизнь тоже покажется сном! *(Внезапно выходя из себя, хватая покаянную одежду.)* Эта ряса! *(С почти дикой радостью пытается сорвать ее, в то время как испуганные Ариальдо, Ландольфо и Ордульфо подбегают к нему, пытаясь удержать его.)* Ах, черт возьми! *(Отступает, срывает рясу и кричит.)* Завтра в Брессаноне двадцать семь немецких и ломбардских епископов подпишут вместе со мной низложение папы Григория Седьмого — не первосвященника, а лжемонаха!

Ордульфо *(вместе с остальными двумя умоляет его замолчать)*. Ваше величество, ваше величество, умоляю вас!

Ариальдо *(жестом предлагая ему снова надеть рясу)*. Подумайте о том, что вы говорите!

Ландольфо. Монсиньор здесь вместе с герцогиней, чтобы защитить вас! *(Настойчиво делает доктору знаки, чтобы тот сказал что-нибудь.)*

Доктор *(в смущении)*. Да... да... Мы здесь, чтобы защитить вас...

Генрих Четвертый *(сразу же раскаявшись, почти испуганно, позволяет снова надеть на себя рясу и судорожно хватается за нее руками)*. Простите, да, да... простите, простите, монсиньор; простите, мадонна... Я чувствую, клянусь вам, чувствую всю тяжесть анафемы! *(Склоняется, обхватив обеими руками голову, точно ожидая, что сейчас на нее что-то обрушится; некоторое время остается в этом положении, затем другим голосом, не меняя позы, говорит тихо Ландольфо, Ариальдо и Ордульфо.)* Не знаю, почему сегодня мне не удается быть смиренным в его присутствии. *(Показывает тайком на Белькредо.)*

Ландольфо *(вполголоса)*. Потому что вы, ваше величество, упорно принимаете его за Петра Дамианского, между тем как это совсем не он.

Генрих Четвертый *(глядя на него со страхом)*. Это не Петр Дамианский?

Ариальдо. Нет, это просто скромный монах, ваше величество!

Генрих Четвертый *(скорбно, с тяжелым вздохом)*. Ах, никто из нас не может понять своих поступков, если действует инстинктивно... Может быть, вы, мадонна, поймете меня лучше, чем другие, вы — женщина и герцогиня. Это — великая, решающая минута. Я мог

бы сейчас, пока говорю с вами, принять помощь ломбардских епископов, захватив папу и заключив его здесь в замке, устремиться в Рим и выбрать там другого папу, протянуть руку для союза с Робертом Гискараром. Григорий Седьмой погиб бы! Я не поддаюсь искушению и, поверьте, поступаю умно. Я чувствую дух времени и величие человека, умеющего быть тем, кем он должен быть: папой! Вы готовы смеяться надо мной, видя меня в таком состоянии? Неужели вы так глупы, чтобы не понять, что политическая мудрость побудила меня надеть эту покаянную одежду! Говорю вам, что завтра, быть может, мы поменяемся ролями! И что вы тогда будете делать? Смеяться над папой в одежде пленника? Нет. Мы — равны. Сегодня я нарядился кающимся; завтра он нарядится пленником. Но горе тому, кто не умеет носить своей маски, все равно, короля или папы. Быть может, он сейчас чересчур жесток; пожалуй, да. Подумайте, мадонна, что Берта, ваша дочь, по отношению к которой, повторяю вам, я переменялся (*внезапно оборачивается к Белькреди и кричит ему в лицо, точно тот сказал: «нет»*), переменялся, переменялся, потому что в тот ужасный час она проявила ко мне столько привязанности и преданности... (*останавливается, задыхаясь от прилива гнева, и делает усилие, чтобы сдержаться и подавить в себе стон; потом с ласковой и скорбной покорностью снова оборачивается к маркизе*) она приехала со мной, мадонна; она внизу, во дворе; она хотела последовать за мной, как нищая, и мерзла две ночи на открытом воздухе, под снегом! Вы ее мать! Все внутри у вас должно перевернуться от жалости, вы должны вместе с ним (*указывая на доктора*) молить папу о прощении; нужно, чтобы он принял нас.

Синьора Матильда (*дрожа, еле слышным голосом*). Да, да, сейчас же...

Доктор. Мы сделаем это, сделаем!

Генрих Четвертый. И еще одно! Еще одно! (*Подзывает их к себе и говорит тихо, очень таинственно.*) Мало, чтобы он меня принял. Вы знаете, что он может сделать «все», поверьте мне, «все». Он даже вызывает мертвых! (*Ударяет себя в грудь.*) Вот я! Вы меня видите! — И нет такого магического искусства, которое бы не было ему известно. Итак, монсиньор и мадонна, мое настоящее наказание в том — смотрите (*показывает почти со страхом на свой портрет на стене*) — в том,

что я не могу освободиться от этого колдовства! Я теперь кающийся и останусь им, пока он меня не примет. Но потом, после того как с меня будет снята анафема, вы оба должны умолять папу, ибо это в его власти — освободить меня отсюда (*снова указывает на портрет*) и дать мне прожить всю, всю мою бедную жизнь, из которой я выброшен... Нельзя же всегда быть двадцатилетним, мадонна! И я прошу вас об этом также ради вашей дочери: чтобы я мог любить ее, как она того заслуживает, теперь, когда я так настроен и растроган вашим милосердием! Вот. Только это. Я в ваших руках... (*Кланяется.*)
Мадонна! Монсиньор!

Продолжая кланяться, он идет к той же двери, из которой вышел. Маркиза так глубоко взволнована, что, как только он исчезает, она, почти без чувств, тяжело падает на стул.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Другой зал в вилле, смежный с тронным, обставленный строгой старинной мебелью. Налево два окна, выходящих в сад. В глубине выход.

Направо дверь, ведущая в тронный зал. Под вечер в тот же день. На сцене синьора Матильда, доктор и Тито Белькреди. Они продолжают разговор, но синьора Матильда держится особняком. Она мрачна и, видимо, раздражена тем, что говорят ее собеседники. Но не слушать их она не может, так как находится в состоянии такого возбуждения, что все невольно ее занимает, не позволяя сосредоточиться и обдумать намерение, поглощающее сейчас все ее мысли. Слова, которые Матильда слышит, привлекают ее внимание еще и потому, что она инстинктивно чувствует необходимость в том, чтобы ее удержали.

Белькреди. Это верно, верно, что вы говорите, дорогой доктор; но таково мое впечатление.

Доктор. Не буду спорить с вами; но все же согласитесь, что это — только так... впечатление.

Белькреди. Позвольте, ведь он это почти сказал, и вполне ясно! (*Оборачиваясь к маркизе.*) Не правда ли, маркиза?

Синьора Матильда (*отвлекаясь от своих мыслей, оборачивается к нему*). Что он сказал? (*Потом, не соглашаясь.*) Ах да... но по другой причине, чем вы думаете.

Доктор. Он имел в виду наши одежды: вашу мантию (*показывает на маркизу*) и наши бенедиктинские рясы. Все это очень по-детски.

Синьора Матильда (*внезапно снова оборачиваясь, с возмущением*). По-детски? Что вы говорите, доктор?

Доктор. С одной стороны, конечно, по-детски! Прошу вас, дайте мне договорить, маркиза. Но с другой стороны, дело гораздо сложнее, чем кажется.

Синьора Матильда. Для меня, напротив, все ясно.

Доктор (*со снисходительной улыбкой специалиста, говорящего с профанами*). Видите ли, надо вникнуть в особую психологию сумасшедших, благодаря которой — заметьте это себе — можно быть уверенным, что сумасшедший замечает, часто очень хорошо замечает, что перед ним — люди переодетые; он понимает это и все же верит, совсем как ребенок, для которого игра и реальность — одно и то же. Потому-то я и сказал: по-детски. Но в то же время это очень сложно, и вот почему: он отчетливо сознает, что для себя, перед самим собой, он только образ — тот самый образ! (*Намекая на портрет в тронном зале, показывает пальцем налево от себя.*)

Белькреди. Он сам это сказал!

Доктор. Вот именно! Образ, перед которым появились другие образы,— я хочу сказать, наши. И вот, в своем бреде, обостренном и пронизательном, он сразу же заметил разницу между своим образом и нашими: то есть то, что в нас, в наших образах, было притворным. И он почувствовал недоверие. Все сумасшедшие всегда настроены настороженно и недоверчиво. И в этом все дело! Он, конечно, не понял доброго намерения нашей игры, разыгранной для него. А его игра показалась нам особенно трагичной, потому что он, словно нарочно,— понимаете ли? — побуждаемый недоверием, отнесся к ней именно как к игре; и он, видите ли, тоже играет, выходя к вам с накрашенными висками и щеками и сообщая, что он сделал это нарочно, ради смеха!

Синьора Матильда (*снова вспыхив*). Нет, это не то, доктор! Не то! Не то!

Доктор. А что же тогда?

Синьора Матильда (*решительно, сильно взволнованная*). Я убеждена, что он меня узнал!

Доктор	} (<i>одновременно</i>).	Это невозможно...
Белькреди		Невозможно...
		Что вы!

Синьора Матильда (*еще решительнее, почти судорожно*). Поверьте, он меня узнал! Когда он подошел близко, чтобы поговорить со мной, глядя мне в глаза, прямо в глаза,— он меня узнал!

Белькреди. Но ведь он говорил о вашей дочери...

Синьора Матильда. Неправда. Обо мне! Он говорил обо мне.

Белькреди. Да, может быть, когда он говорил...

Синьора Матильда (*сразу же, порывисто*).

О моих крашенных волосах! Но разве вы не заметили, что он тотчас же прибавил: «или воспоминание о ваших каштановых волосах, если они были каштановые». Он припомнил, что я «тогда» была шатенкой.

Белькреди. Полноте! Полноте!

Синьора Матильда (*не обращая на него внимания, оборачивается к доктору*). Мои волосы, доктор, были действительно каштановые, как у моей дочери. И потому-то он заговорил о ней.

Белькреди. Но он не знает вашу дочь! Он ее никогда не видел!

Синьора Матильда. Вот именно! Вы ничего не понимаете! Под моей дочерью он подразумевал меня — такой, какой я была в то время!

Белькреди. О, безумие заразительно! Заразительно!

Синьора Матильда (*тихо, с презрением*). Заразительно? Дурак!

Белькреди. Простите, вы когда-нибудь были его женой? В его бреду жена его — ваша дочь: Берта Сузская.

Синьора Матильда. Понятно! Потому что я уже не шатенка, какой он меня помнит, а такая, как теперь, блондинка, явившаяся к нему под видом «Аделаиды» — матери его жены. Моя дочь для него не существует: он ее никогда не видел, как вы сами сказали. Поэтому он не может знать, блондинка она или шатенка.

Белькреди. Но он сказал «шатенка» случайно, наугад! Чтобы назвать цвет волос, какой бывает у молодых женщин, блондинок или шатенок! А вы, как всегда, принялись фантазировать! Доктор, она говорит, что я не должен был приезжать; а, по-моему, не должна была приезжать она.

Синьора Матильда (*на одно мгновение сбитая с толку замечанием Белькреди, затем оправляется, хотя ее все же смущает закравшееся в ее душу сомнение*). Нет... нет... он говорил обо мне... Он все время говорил, обращаясь ко мне, со мной, обо мне.

Белькреди. Помилуйте! Он ни минуты не дал передохнуть, а вы заявляете, что он все время говорил о вас! Может быть, он имел в виду вас, когда разговаривал с Петром Дамианским?

Синьора Матильда (*вызывающе, готовая перейти все грани приличия*). Кто знает! Можете вы мне ска-

зять, почему он сразу же, с первого момента, почувствовал к вам отвращение — только к вам?

Тон ее вопроса допускает лишь один возможный ответ: «Потому что он понял, что вы мой любовник!» — Белькреди это настолько ясно, что он растерянно замолкает, застыв на месте с глупой улыбкой на лице.

Доктор. Позвольте! Это могло быть вызвано тем, что ему доложили только о приходе герцогини Аделаиды и Ключийского аббата. Увидев третье лицо, о котором его не предупредили, он почувствовал недоверие...

Белькреди. Вот именно недоверие заставило его увидеть во мне врага — Петра Дамианского! Но если она вбила себе в голову, что он ее узнал...

Синьора Матильда. В этом нет никакого сомнения! Мне это сказали его глаза, доктор. Знаете, когда смотрят так, что... что никакого сомнения быть не может! Вероятно, это было одно мгновение! Почему я знаю?

Доктор. Нельзя исключить возможности момента просветления.

Синьора Матильда. Может быть, и так. И тогда вся его речь показалась мне полной сожалений о моей и его юности,— из-за этого ужасного случая, навсегда замкнувшего его в маске, от которой он не может больше освободиться, хотя и хочет, очень хочет этого!

Белькреди. Вот как? Чтобы начать любить вашу дочь? Или, быть может, вас, растрогавшую его своим сочувствием?

Синьора Матильда. Поверьте, я очень сочувствую ему.

Белькреди. Это видно, маркиза! Сочувствуете так сильно, что кудесник, вполне возможно, увидел бы здесь чудо.

Доктор. Позвольте мне сказать! Я не совершаю чудес, потому что я врач, а не кудесник! Я очень внимательно слушал все, что он говорил, и повторяю, что та специфичная стройность бреда, которая свойственна всякому систематическому безумию, явным образом в нем уже значительно — как бы сказать? — ослабела. Словом, элементы его бреда уже не так плотно спаяны. Мне кажется, что он с трудом удерживает в равновесии элементы принятой им на себя роли, ибо резкие вспышки бросают его, что очень утешительно, от состояния не то чтобы начинающейся апатии, но скорее болезненной вя-

лости, в состояние задумчивой меланхолии, что доказывает — да, действительно доказывает — значительную мозговую активность. Повторяю вам, это очень утешительно. И теперь, если этот резкий толчок, который мы задумали...

Синьора Матильда (*оборачиваясь к окну, тоном жалующейся больной*). Но почему еще не вернулся автомобиль? Я распорядилась, чтобы в половине четвертого...

Доктор. О чем вы говорите?

Синьора Матильда. Об автомобиле, доктор! Теперь уже больше чем половина четвертого!

Доктор (*вынимая часы и смотря на них*). Да, уже пятый час!

Синьора Матильда. Он уже полчаса как должен был быть здесь. Но, по обыкновению...

Белькреди. Может быть, они не могут найти платя?

Синьора Матильда. Но ведь я им ясно объяснила, где оно находится! (*В сильном нетерпении.*) Фрида лучше бы... Где Фрида?

Белькреди (*выглядывая из окна*). Вероятно, она в саду, с Карло.

Доктор. Он убедит ее преодолеть страх...

Белькреди. Это не страх, доктор, не верьте! Она просто не в духе.

Синьора Матильда. Пожалуйста, не упрашивайте ее! Я знаю ее характер!

Доктор. Будем терпеливо ждать. Все произойдет быстро, и надо, чтобы это было вечером... Одно мгновение! Если нам удастся встряхнуть его, разбить одним ударом уже ослабевшие нити, которые связывают его еще с призраком, возвратить ему то, о чем он сам просил, сказав: «Нельзя же вечно быть двадцатилетним, мадонна!» — и освободить его от того, что он сам называет своей карой... словом, если нам удастся на одно мгновение дать ему почувствовать разницу во времени...

Белькреди (*быстро*). Он выздоровеет! (*Потом отчеканивая, с иронией.*) Мы его освободим!

Доктор. Да, есть надежда, что мы «заведем» его, как часы, остановившиеся в определенное мгновение. И вот, мы тоже, можно сказать, с часами в руках, будем дожидаться, когда настанет тот самый час; потом —

удар, и будем надеяться, что его часы снова придут в движение после такой долгой остановки.

В этот момент из двери в глубине входит маркиз Карло ди Нолли.

Синьора Матильда. Карло!.. А где Фрида? Куда она пошла?

Ди Нолли. Она здесь, сейчас придет.

Доктор. Автомобиль вернулся?

Ди Нолли. Да.

Синьора Матильда. Вот как! И привез платье?

Ди Нолли. Все давно уже здесь.

Доктор. Тогда все в порядке.

Синьора Матильда (*в трепете*). Где оно? Где ж оно?

Ди Нолли (*пожимает плечами, грустно улыбаясь, как человек, который нехотя соглашается на неуместную шутку*). Сейчас увидите... (*Показывая на дверь в глубине.*) Оно там...

На пороге появляется Бертольдо.

Бертольдо (*торжественно докладывает*). Ее светлость, маркиза Матильда Каносская.

Тотчас же входит Фрида во всем блеске красоты: она одета в старое платье матери, платье маркизы Тосканской, и кажется ожившим портретом тронного зала.

Фрида (*проходя мимо низко склонившегося Бертольдо, говорит ему с презрительной гордостью*). Тосканская, из Тосканы, пожалуйста. Каносса — это только один из моих замков.

Белькредди (*любясь ею*). Поглядите! Поглядите! Она кажется совсем другой!

Синьора Матильда. Ее можно принять за меня! Боже мой, поглядите! Остановись, Фрида. Поглядите! Это прямо мой оживший портрет...

Доктор. Да, да... Безусловно! Безусловно! Портрет!

Белькредди. Не нахожу слов... Смотрите! Смотрите! Какая картина!

Фрида. Не смешите меня, не то все лопнет. Ну и талия же была у тебя, мама! Мне пришлось совсем сжаться, чтобы влезть в это платье.

Синьора Матильда (*нервно поправляет на ней платье*). Погоди. Стой. Надо оправить складки... Тебе оно действительно так узко?

Фрида. Я прямо задыхаюсь! Кончим скорее, ради бога!..

Доктор. Мы должны дождаться вечера...

Фрида. Нет, нет. Мне не выдержать. Мне не выдержать до вечера.

Синьора Матильда. Зачем же ты сразу его надела?

Фрида. Сразу же, как только увидела! Непреодолимый соблазн!

Синьора Матильда. Ты должна была позвать меня! Чтоб помочь... Оно еще все в складках!..

Фрида. Я видела это, мама. Но это старые складки. Их невозможно расправить.

Доктор. Это не важно, маркиза! Иллюзия полная. (*Потом подходит и приглашает ее встать перед дочерью, но так, чтобы не заслонять ее.*) Простите. Станьте так... сюда... на некотором расстоянии... немного ближе...

Белькредди. Чтобы дать почувствовать разницу во времени!

Синьора Матильда (*оборачиваясь к нему, небрежно*). Двадцать лет! Ужасная беда — не правда ли?

Белькредди. Не будем преувеличивать!

Доктор (*смущенно, желая загладить впечатление*). Нет-нет. Я... я... имел в виду костюм... Я хотел посмотреть...

Белькредди (*смеясь*). Ну, доктор, между костюмами — не двадцать лет! Восемьсот! Пропать! Вы действительно хотите заставить его одним прыжком перепрыгнуть (*указывая сначала на Фриду, потом на маркизу*) отсюда — сюда? Как бы он не сломал при этом шею! Я говорю вам серьезно. Для нас — это двадцать лет, два платья и маскарад. Но если для него, доктор, время, как вы говорите, остановилось, — и в нем самом и вокруг него, — если он живет там (*показывает на Фриду*), с нею восемьсот лет тому назад, — у него может так закружиться голова, что, перепрыгнув к нам...

Доктор делает пальцем отрицательный знак.

Вы говорите, нет?

Доктор. Нет. Потому что жизнь, дорогой барон, сразу захватывает человека. Наша жизнь сразу же станет

реальной для него. Она тотчас вернет его на землю, мгновенно разбив его иллюзию, и откроет ему, что восемьсот лет, о которых вы говорите,— не больше чем наши двадцать. Понимаете, это вроде фокуса, например масонского прыжка в пустоту, который кажется чем-то необычайным, а на самом деле является лишь спуском на одну ступеньку.

Белькреди. Какое открытие это будет для него. Да! Посмотрите, доктор, на Фриду и на маркизу! Которая из них впереди? Мы — старики, доктор. Молодые люди думают, что они впереди; неправда, впереди — мы, потому что время больше принадлежит нам, чем им.

Доктор. Да, если бы прошлое нас не отдаляло!

Белькреди. Отдаляло? От чего? Если они (*показывает на Фриду и на ди Нолли*) должны делать то же самое, что уже делали мы,— стареть, повторяя примерно те же самые глупости... Ошибка — думать, что человек выходит из жизни в ту дверь, которая перед ним. Неправда! Едва лишь человек родился, как он начинает умирать; кто первый начал, тот впереди всех. И самый молодой — праотец Адам! Посмотрите-ка на нее (*показывает на Фриду*): она маркиза Матильда Тосканская на восемьсот лет моложе нас! (*Низко кланяется.*)

Ди Нолли. Прошу тебя, прошу тебя, Тито, перестань шутить.

Белькреди. По-твоему, я шучу?..

Ди Нолли. А как же? С первого момента, как ты сюда приехал...

Белькреди. Как! Я даже нарядился бенедиктинцем...

Ди Нолли. Да, но ради очень серьезного дела...

Белькреди. Ну, знаешь, не все чувствуют его серьезность... Вот, например, Фрида сейчас. (*Оборачивается к доктору.*) Честное слово, доктор, я все еще не понимаю, что вы хотите сделать.

Доктор (*сухо*). Скоро увидите. Предоставьте все мне... Если он увидит маркизу в таком платье...

Белькреди. А, значит, она тоже должна...

Доктор. Понятно, понятно! Надеть другое платье, которое там лежит. Чтобы он увидел, что перед ним маркиза Матильда Каносская...

Фрида (*тихо разговаривавшая с ди Нолли, замечает ошибку доктора*). Тосканская! Тосканская!

Доктор (*сухо*). Это все равно!

Белькреди. А, я понял! Он увидит перед собой
обеих...

Доктор. Совершенно верно, обеих. И тогда...

Фрида (*отзывает его в сторону*). Подите сюда,
доктор, послушайте...

Доктор. Иду. (*Переходит к молодым людям и что-то объясняет им.*)

Белькреди (*тихо, синьоре Матильде*). Черт
возьми! Но в таком случае...

Синьора Матильда (*оборачиваясь, с замкнутым
выражением лица*). В чем дело?

Белькреди. Это вас действительно так увлекает?
Настолько, чтобы согласиться на это? Это невероятно
для женщины!

Синьора Матильда. Для обыкновенной жен-
щины!

Белькреди. Ну нет, дорогая моя,— для всякой
женщины! Такая самоотверженность...

Синьора Матильда. Я обязана сделать это
для него.

Белькреди. Не лгите! Вам ведь не свойственно
унижаться!

Синьора Матильда. Так что же? При чем тут
самоотверженность?

Белькреди. Да, вы хотите не себя унижить в глазах
других, а оскорбить меня.

Синьора Матильда. Кто думает о вас в этот
момент?

Ди Нолли (*выступая вперед*). Вот-вот, так и сдела-
ем... (*Оборачиваясь к Бертольдо.*) Эй, вы, подите и позо-
вите одного из тех троих!

Бертольдо. Сию минуту! (*Уходит через дверь
в глубине.*)

Синьора Матильда. Но мы должны сначала
притвориться, что прощаемся с ним.

Ди Нолли. Конечно! Я для того и позвал «совет-
ника», чтобы уговориться с ним насчет прощания. (*К
Белькреди.*) Ты можешь в этом не участвовать! Оставайся
здесь.

Белькреди (*иронически качая головой*). Да, могу...
могу...

Ди Нолли. Хотя бы для того, чтобы снова не
возбудить в нем подозрительности, понимаешь?

Белькреди. Еще бы! Такое ничтожество!

Доктор. Необходимо совершенно убедить его, что мы уехали отсюда.

Из двери направо выходит Ландольфо, за ним Бертольдо.

Ландольфо. Можно войти?

Ди Нолли. Войдите! Войдите. Вот что... Вас зовут Лоло?

Ландольфо. Лоло или Ландольфо, как вам угодно!

Ди Нолли. Слушайте. Сейчас доктор и маркиза с ним попрощаются...

Ландольфо. Прекрасно. Достаточно будет сказать, что они получили от папы милостивое согласие на свидание. Он там, в своих комнатах, стонет, кается в том, что он говорил, и отчаивается в получении прощения. Если бы вы были так добры и сообразовали бы снова надеть костюмы...

Доктор. Да! Да. Идем, идем...

Ландольфо. Подождите немного. Разрешите мне посоветовать вам одну вещь: прибавить, что и маркиза Матильда Тосканская просила вместе с вами о той милости, которую он ему оказал.

Синьора Матильда. Вот видите! Он меня узнал!

Ландольфо. Нет, простите меня. Просто он очень боится враждебности этой маркизы, приютившей папу в своем замке. Но вот что меня удивляет. В истории, насколько мне известно,— впрочем, вы должны быть более осведомлены, чем я,— ничего не говорится о том, что Генрих Четвертый тайно любил маркизу Тосканскую!

Синьора Матильда (*быстро*). Нет, не говорится! Даже напротив!

Ландольфо. И мне так казалось! Но он говорит, что любил ее, и все время повторяет это... А теперь он боится, что ее отвращение к этой тайной любви может плохо повлиять на отношение к нему папы.

Белькреди. Надо дать ему понять, что этого отвращения больше нет!

Ландольфо. Вот-вот! Очень хорошо!

Синьора Матильда (*к Ландольфо*). Очень хорошо! (*Потом к Белькреди*.) Потому что в истории как раз говорится,— хотя вы этого, может быть, и не знаете,— что папа уступил именно просьбам маркизы Матильды и Клюнийского аббата. И прибавлю вам, дорогой Бельк-

реди, что, когда мы устраивали кавалькаду, я как раз хотела воспользоваться этим, чтобы показать ему, что я совсем не так враждебна к нему, как он это думал.

Белькреди. В таком случае — превосходно, дорогая маркиза. Продолжайте, продолжайте следовать истории...

Ландольфо. Отлично. Значит, синьора может не прибегать к новому переодеванию. Она может явиться вместе с монсиньором (*показывает на доктора*) в одежде Матильды Тосканской.

Доктор (*быстро и настойчиво*). Нет, нет! Только не это, пожалуйста! Это может погубить все! Эффект сопоставления должен быть мгновенным, внезапным! Нет, нет! Пойдемте, пойдемте, маркиза: вы снова явитесь герцогиней Аделаидой, матерью императрицы. И мы попросимся. Особенно важно, чтобы он знал, что мы ушли. Скорее, скорее, не будем терять времени, нам еще только надо приготовить.

Доктор, синьора Матильда и Ландольфо уходят в дверь справа.

Фрида. Мне опять становится страшно...

Ди Нолли. Опять, Фрида?

Фрида. Лучше было бы, если бы я его увидела сначала.

Ди Нолли. Поверь, совсем не стоит его бояться!

Фрида. Он не буйный?

Ди Нолли. Да нет, он очень спокоен.

Белькреди (*иронически, ласковым тоном*). Меланхолик! Разве ты не слышала, что он тебя любит?

Фрида. Очень вам благодарна! Именно за это!

Белькреди. Он не захочет причинить тебе зла...

Ди Нолли. Ведь это будет длиться только одно мгновение...

Фрида. Да, но там, в темноте, с ним...

Ди Нолли. Только одно мгновение — и я буду рядом с тобой; а все другие будут за дверями, готовые прибежать в любую минуту. Как только он увидит перед собой твою мать, — понимаешь? — твоя роль будет кончена.

Белькреди. Я боюсь другого — что это будет холостой выстрел.

Ди Нолли. Брось! Мне этот способ кажется очень действенным.

Фрида. И мне, и мне тоже! Я предчувствую... и вся дрожу!..

Белькреди. Но, дорогие мои, сумасшедшие, сами того не сознавая, обладают счастьем, которого мы не ценим.

Ди Нолли (*раздраженно прерывая его*). Каким там счастьем? Пожалуйста, брось это!

Белькреди (*с силой*). Они не рассуждают!

Ди Нолли. Но, позволь, при чем тут рассуждение?

Белькреди. Как! Тебе не кажется, что именно на рассуждение его должен был бы навести вид ее (*показывает на Фриду*) и рядом с нею — ее матери? Ведь на этом мы и строим все!

Ди Нолли. Ничего подобного! Никаких рассуждений! Мы покажем ему, как сказал доктор, удвоенный образ его бреда!

Белькреди (*с внезапным раздражением*). Знаешь, я никогда не мог понять, почему им выдают докторские дипломы!

Ди Нолли (*ошеломленно*). Кому?

Белькреди. Психиатрам.

Ди Нолли. Вот мило! А какие же дипломы, потвоему, должны они иметь?

Фрида. Раз они психиатры!

Белькреди. Вот именно! Дипломы юристов, дорогая! Сплошная болтовня! Кто больше болтает, того больше ценят! «Растяжимость аналогии!..» «Ощущение дистанции во времени»... И прежде всего они заявляют, что не делают чудес, между тем как тут именно требуется чудо! При этом они прекрасно знают, что чем больше уверяют, что они не кудесники, тем больше верят их знаниям. Не делают чудес, но падают только на ноги, просто великолепно!

Бертольдо (*который следил, глядя в замочную скважину первой двери*). Вот они! Вот они! Собираются идти сюда...

Ди Нолли. Ах так?

Бертольдо. Он, кажется, хочет их сопровождать... Да, да — вот он, вот он!

Ди Нолли. Уйдем отсюда! Скорее! (*Оборачивается к Бертольдо, прежде чем уйти.*) А вы останетесь здесь!

Бертольдо. Я должен остаться?

Не отвечая, ди Нолли, Фрида, Белькреди уходят в дверь в глубине, оставив Бертольдо в нерешительности и смущении. Дверь направо открывается, первым входит Ландольфо, почтительно кланяясь, за ним синьора Матильда в мантии и герцогской короне на голове, как в первом действии, а за нею доктор в рясе клонийского аббата. Генрих Четвертый идет между ними. На нем королевское платье. За ним следуют Ордольфо и Ариальдо.

Генрих Четвертый (*продолжая разговор, начатый в тронном зале*). Скажите, как же я могу быть хитрым, когда они сами считают меня упрямым?

Доктор. Да нет же, совсем не упрямым!

Генрих Четвертый (*ласково улыбаясь*). Значит, я вам действительно кажусь хитрым?

Доктор. Нет, нет! Ни упрямым, ни хитрым.

Генрих Четвертый (*останавливается и восклицает тоном, которым хочет добродушно, но иронически доказать, что этого не может быть*). Монсиньор! Если упрямство — порок, который не может совмещаться с хитростью, то, я полагаю, что, отказывая мне в упрямстве, вы все же признаете за мной некоторую долю хитрости. Уверю вас, мне она очень необходима! Но если вы хотите удержать ее целиком для себя...

Доктор. Как, я? Я вам кажусь хитрым?

Генрих Четвертый. Нет, монсиньор! Что вы говорите! Совсем не кажется. (*Обрывает и обращается к синьоре Матильде*.) Разрешите, мадонна-герцогиня, прежде чем расстаться, сказать вам несколько слов с глазу на глаз? (*Отводит ее немного в сторону и спрашивает с большим волнением, очень таинственно*.) Ваша дочь вам действительно дорога?

Синьора Матильда (*смущенно*). О да, конечно.

Генрих Четвертый. И вы хотите, чтобы я поблагодарил ее со всей любовью, со всем благоговением за все те серьезные проступки, в которых я повинен перед ней, — хотя вы, конечно, не должны верить тому, что я развратен, как утверждают мои враги?

Синьора Матильда. Нет, нет, я этому не верю и никогда не верила...

Генрих Четвертый. Значит, вы хотите?

Синьора Матильда (*как раньше*). Что?

Генрих Четвертый. Чтобы я снова полюбил вашу дочь? (*Смотрит на нее и тотчас же прибавляет таинственным тоном, полным мольбы и одновременно ужаса*.) Разве вы не друг, не друг маркизы Госканской?

Синьора Матильда. И все же я повторяю вам, что она умоляла и заклинала не меньше всех нас, стараясь выхлопотать вам прощение...

Генрих Четвертый *(быстро, тихо, в трепете)*. Не говорите, не говорите мне об этом! Разве вы не видите, как это на меня действует?

Синьора Матильда *(смотрит на него, потом тихо, точно выпрашивая тайну)*. Вы еще любите ее?

Генрих Четвертый *(растерянно)*. Еще? Как вы знаете? Никто об этом не знает! Никто не должен знать!

Синьора Матильда. Но, может быть, она так просила за вас?

Генрих Четвертый *(смотрит на нее некоторое время, потом говорит)*. И вы любите вашу дочь? *(Короткая пауза. Оборачивается к доктору со смехом в голосе.)* Ах, монсиньор, это верно, я узнал, что женат, только поздно... очень поздно... И даже теперь жена у меня есть,— несомненно, она у меня есть,— но я могу вам поклясться, что почти никогда о ней не думаю. Это грех, но ее нет, нет в моем сердце. А самое удивительное, что ее нет и в сердце ее матери! Сознайтесь, мадонна, что вам очень мало до нее дела! *(Доктору, с отчаянием.)* Она мне говорит о другой *(все больше возбуждаясь)* с таким упорством, с таким упорством, что мне никак не удастся уяснить себе...

Ландольфо *(скромно)*. Может быть, для того, ваше величество, чтобы рассеять ваше ошибочное мнение о маркизе Тосканской? *(Испугавшись, что позволил себе такое замечание, тотчас же добавляет.)* Я, конечно, говорю только о данном моменте...

Генрих Четвертый. И ты тоже утверждаешь, что она была мне другом?

Ландольфо. Да, в настоящий момент — да, ваше величество!

Синьора Матильда. Да! Да, именно поэтому...

Генрих Четвертый. Я понял. Вы, значит, хотите сказать, что не верите в мою любовь к ней? Понял, понял! Этому никто никогда не верил, никто никогда не подозревал. Тем лучше. Довольно об этом! Довольно! *(Обрывает, доктору с совершенно другим настроением и выражением лица.)* Монсиньор, вы видели? Условия, в зависимости от которых папа ставит снятие отлучения, не имеют ничего, совершенно ничего общего с теми причи-

нами, по которым он меня отлучил! Сообщите папе Григорию, что мы увидимся с ним в Брессаноне. А если вам, мадонна, посчастливится встретить свою дочь во дворе замка вашей подруги маркизы, то что я могу сказать ей? Пускай она придет ко мне. Посмотрим, может быть, мне удастся удержать ее здесь при себе, как супругу и императрицу. До сих пор многие женщины приходили сюда, и каждая уверяла меня, что она — моя жена, которую я знаю, которую я искал иногда... ведь это же не стыдно, ведь это — моя жена!.. Но все они, называя себя Бертой и говоря, что они из Сузи, начинали смеяться не зная почему! (*Точно по секрету.*) Понимаете ли вы, в постели, когда на мне нет этого костюма... и на ней тоже. Ну да, боже мой, раздетые... как мужчина с женщиной... это так естественно!.. Забываешь о том, кто ты такой. Когда одежда висит на крючке, она только призрак! (*Другим тоном, доверительно, доктору.*) И я думаю, монсиньор, что вообще призраки — это только легкое расстройство мозга: образы, которые не удается удержать в царстве сна, вдруг оживают днем, когда человек бодрствует, и пугают его. Мне всегда бывает так страшно, когда я ночью вижу их перед собой — пеструю толпу людей, которые смеются, спрыгнув с лошадей. Иногда меня пугает даже биение собственной крови в жилах или глухой звук шагов в дальних комнатах, в ночной тишине... Но довольно, я и то слишком долго заставил вас стоять. Мое почтение, мадонна! Привет, монсиньор! (*Проводив их до порога задней двери, прощается с ними, отвечая на их поклоны.*)

Синьора Матильда и доктор уходят.

Генрих Четвертый (*закрывает дверь и тотчас же оборачивается с совершенно изменившимся лицом.*) Шуты! Шуты! Шуты! — Цветная клавиатура! Стоит до нее дотронуться — и готово: белая, красная, зеленая, желтая. А этот, Петр Дамианский. — Ха, ха, ха! Великолепно! Угадал! — Не посмел вторично предстать передо мной.

Он говорит все это с судорожной и нервной веселостью, шагая взад и вперед и блуждая взглядом, пока внезапно не замечает Бертольдо, более чем пораженного и испуганного происшедшей с ним переменой. Он останавливается перед ним и показывает на него трем его товарищам, которые тоже изумлены.

Полюбуйтесь на этого дурака, который смотрит на меня, разинув рот!.. *(Трясет его за плечи.)* Ты не понимаешь! Не видишь, как я дурачу всех, в каком виде заставляю появляться передо мной этих испуганных шутов! А ведь боятся они только того, что я сорву с них шутовскую маску и распознаю их переодевание: точно не я сам заставил их маскироваться из-за того, что мне хочется разыгрывать сумасшедшего!

Ландольфо, Ордульфо и Ариальдо *(потрясенные, переглядываются)*. Как? Что вы говорите? Так значит...

Генрих Четвертый *(тотчас же оборачивается на их восклицания и кричит повелительно)*. Довольно! Кончим! Мне все это надоело! *(Потом сейчас же самому себе, как человек, который не может успокоиться и не в состоянии поверить тому, что он видит.)* Черт возьми, какое бесстыдство — явиться ко мне сюда, да еще вместе со своим любовником... И еще делают вид, что являются из сострадания, чтобы не взбесить беднягу, который живет вне мира, вне времени, вне жизни! — А иначе он, конечно, не стерпел бы их притеснения! Эти люди каждый день, каждую минуту требуют, чтобы другие были такими, как они хотят. Для них это не насилие! Нет! Это их образ мыслей, их способ видеть и чувствовать: у каждого — свой! А у вас тоже есть свой? Конечно! Но только какой? Стадный, жалкий, изменчивый, неуверенный. И они этим пользуются, заставляют вас подчиняться и принять их взгляд на вещи — чтобы вы чувствовали и видели, как они. Или же они просто заблуждаются? Да и что они могут навязать другим! Слова, слова, которые каждый понимает и повторяет по-своему. Да, но ведь так и слагаются так называемые «ходячие мнения»! И горе тому, кто в один прекрасный день окажется заклеянным одним из тех словечек, которые затем будут повторять все. Например: «сумасшедший!» Например, — ну, что бы еще? — «дурак»! — Но, скажите, можно ли относиться спокойно к тому, что кто-нибудь внушает другим свой собственный взгляд на вас, внедряет его в сознание других — «сумасшедший», «сумасшедший»! Я не говорю теперь, что делаю это для шутки! Но раньше, прежде чем я ударился головой, упав с лошади... *(Внезапно останавливается, видя, что другие волнуются, все более изумляясь и пугаясь.)* Вы переглядываетесь? *(Передразнивает их удивленные жесты.)* А? Какое открытие?

Да или нет? Ну да, я сумасшедший? (*Приходит в бешенство.*) А если так, черт возьми, становитесь на колени! На колени! (*Заставляет их всех встать на колени.*) Я приказываю вам стоять на коленях передо мной — вот так! И три раза стукнуться лбом о землю. Ниже! Все должны стоять так перед сумасшедшим! (*При виде юношей, стоявших перед ним на коленях, он чувствует, как в нем внезапно исчезает дикая веселость, и приходит в негодование.*) Ну, довольно, бараны, вставайте! Вы повиновались мне? А могли бы надеть на меня смирительную рубашку... Можно раздавить кого-нибудь тяжестью одного слова? Пустяки! Что случилось? Пролетела муха? Так вся жизнь раздавлена тяжестью слов! Тяжестью мертвецов! — Вот я здесь: разве вы действительно верите, что Генрих Четвертый еще жив? — А между тем вот я говорю и повелеваю вам, живым. Хочу, чтобы вы были такими! Вы думаете, выдумка, что мертвые продолжают жить? — Да, здесь это выдумка. Но выйдите туда, в живой мир. Начинается день. Время в вашем распоряжении. Заря. — Этот день, который перед нами, говорите вы, мы проживем по-своему! Да? Вы? Приветствуйте все обычаи! Приветствуйте все традиции! Начните говорить! Вы будете повторять те же слова, которые звучали столько раз! Вы думаете, что живете? Вы пережевываете жизнь мертвецов! (*Подходит к совершенно одуревшему Бертольдо.*) Ты совсем ничего не понимаешь? А? Как тебя зовут?

Бертольдо. Меня?.. Бертольдо.

Генрих Четвертый. Да брось, Бертольдо, дурак! Мы здесь без посторонних. Говори, как тебя зовут?

Бертольдо. По... по-настоящему меня зовут Фино...

Генрих Четвертый (*заметив предостерегающий жест остальных, тотчас же оборачивается, чтобы заставить их молчать*). Фино?

Бертольдо. Фино Пальюка, синьор.

Генрих Четвертый (*снова оборачиваясь к другу*). Ведь я столько раз слышал, как вы называете друг друга, между собой. (*К Ландольфо.*) Тебя зовут Лоло?

Ландольфо. Да, синьор... (*В порыве радости.*) О боже!.. Так значит?..

Генрих Четвертый (*быстро и резко*). Что такое?

Ландольфо (*сразу сжимаясь*). Нет... я так...

Генрих Четвертый. Значит, я больше не сумасшедший? Конечно, нет! Разве вы не видите? — Посмеем-

ся над теми, кто этому верит. (*К Ариальдо.*) Я знаю, тебя зовут Франко... (*К Ордульфо.*) А тебя, дай вспомнить...

Ордульфо. Момо!

Генрих Четвертый. Да, Момо! Не плохо?

Ландольфо (*как раньше*). Но значит?.. О боже...

Генрих Четвертый (*как раньше*). Что? Ничего не значит. Давайте хорошенько посмеемся все вместе... (*Смеется.*) Ха-ха-ха-ха-ха!

Ландольфо, Ариальдо и Ордульфо (*нерешительно переглядываются, не зная, радоваться им или бояться*). Он выздоровел? Правда ли это? Как это случилось?

Генрих Четвертый. Тише! Тише! (*К Бертольдо.*) А ты не смеешься? Ты все еще обижен? Полно! Ведь это я не тебе говорил! — Понимаешь ли, иногда удобно объявить кое-кого сумасшедшим, чтобы держать его взаперти. Знаешь почему? Потому что нет сил вынести его слов. Что можно сказать об ушедших? Одна — потаскуха, другой — грязный распутник, третий — обманщик... Все скажут — неправда! Никто этому не поверит. Но все в ужасе слушают меня. Хотел бы я знать, почему слушают, если это неправда? Нельзя же верить тому, что говорит сумасшедший! — А все-таки слушают, вот так, широко открыв глаза от ужаса. Почему? — Скажи, скажи мне, почему? Ведь ты видишь, я спокоен!

Бертольдо. Может быть... потому что думают, что вы...

Генрих Четвертый. Нет, милый... нет... Посмотри мне как следует в глаза... Я не говорю, что это правда, будь спокоен. Все неправда. Но посмотри мне в глаза.

Бертольдо. И что же?

Генрих Четвертый. Ты видишь? Видишь? И у тебя теперь ужас в глазах. Потому что я кажусь тебе сумасшедшим! Вот доказательство! Вот доказательство! (*Смеется.*)

Ландольфо (*с решимостью отчаяния спрашивает за всех троих*). Какое же доказательство?

Генрих Четвертый. Ваш страх потому, что теперь я снова кажусь вам сумасшедшим! И все же, черт возьми, вы знаете! Вы мне верите; ведь верили же вы до сих пор, что я сумасшедший! — Правда или нет? (*Глядит на них и видит, что они в замешательстве.*) Вот видите? Вы чувствуете, что этот страх может стать ужасом, от которого почва уходит из-под ног и легким не хватает

воздуха? Еще бы! Ведь вы знаете, что значит находиться с сумасшедшим! Это значит быть с человеком, который разрушает все, что вы построили в себе и вокруг себя — логику, логику всех ваших построений! Чего же вы хотите? Сумасшедшие — счастливы: они строят без логики! Или повинуюсь собственной логике, которая порхает, как перышко! Они летают! Летают! Сегодня сюда, а завтра — кто знает куда! Вы обуздываете себя, а они не сдерживаются. Они летают! Летают! Вы говорите: «Этого не может быть!» — а для них все может быть. Вы говорите, что это неправда. А почему? Потому что тебе, тебе, тебе (*показывает на троих из них*) и ста тысячам других это кажется неправдой. Ах, милые мои! Стоит посмотреть на то, что кажется правдой этим ста тысячам, которых не считают сумасшедшими! Стоит полюбоваться на их согласие, на цветы их логики! Я помню, что, будучи ребенком, я принимал за настоящую луну ее отражение в колодце! И сколько еще вещей казались мне настоящими! Я верил всему, что мне говорили другие, и был счастлив! Ибо горе, горе вам, если вы не уцепитесь изо всех сил за то, что вам кажется истинным сегодня, или за то, что покажется вам истинным завтра, хотя бы оно противоречило тому, что казалось вам истинным вчера! Горе вам, если вы углубитесь, как я, в созерцание того ужаса, который может действительно свести с ума; если, будучи рядом с другим человеком, вы глубоко заглянете в его глаза, — как я заглянул тогда в одни глаза, стоя, как нищий, перед дверью, в которую никогда не удастся войти; ибо тот, кто войдет в нее, будет уже не вы, с вашим внутренним миром, каким вы его видите и чувствуете, но некто неведомый вам, по-иному видящий и ощущающий себя в своем непроницаемом мире...

Долгое молчание. Тени в зале сгущаются, увеличивая чувство смятения и глубокой тревоги, которым оквачены четверо замаскированных; они внутренне все более отдаляются от главного замаскированного, углубленного в созерцание великой нищеты — не только его одного, но и всех людей. Затем он вздрагивает, точно ища своих спутников, которых не чувствует больше около себя, и говорит.

Генрих Четвертый. Здесь уже стало темно.

Ордульфо (*быстро выступая вперед*). Хотите, я принесу лампу?

Генрих Четвертый (*насмешливо*). Лампу, да... Вы думаете, я не знаю, что, как только я выхожу со своей

масляной лампой, направляясь спать, вы для себя зажигаете электричество — здесь, и даже там, в тронном зале? Я притворяюсь, что не вижу этого...

Ордульф о. А! Значит, вы хотите...

Генрих Четвертый. Нет, мне будет слепить глаза. Я хочу мою лампу.

Ордульф о. Она, наверное, уже приготовлена здесь, за дверью. *(Направляется к двери в глубине; открывает ее, на секунду выходит и тотчас же возвращается, неся одну из старинных ламп, с кольцом наверху.)*

Генрих Четвертый. Вот и немного света. Садитесь здесь, вокруг стола. Да не так! Непринужденно, в красивых позах... *(К Ариальдо.)* Ты вот так... *(Поправляет его позу, потом к Бертольдо.)* А ты так. *(Делает то же.)* Ну вот... *(Садится против них.)* А я здесь... *(Повернув голову к одному из окон.)* Надо было бы заказать луне хороший декоративный луч... Помогай нам, помогай, луна. Мне она нужна всегда, и я часто забываюсь, глядя на нее из окна. Глядя на нее, разве можно поверить, что она-то знает, что прошло восемьсот лет, и я не могу быть настоящим Генрихом Четвертым, любующимся луной, как любой бедняк? Но посмотрите, посмотрите, какая великолепная ночная сцена: император среди своих верных советников... Разве вам не нравится?

Ландольфо *(тихо Ариальдо, точно не желая нарушить очарования)*. Удивительно! Подумать только, что это было притворством...

Генрих Четвертый. Что такое?

Ландольфо *(запинаясь, виноватым тоном)*. Нет... видите ли... Я вот ему *(показывает на Бертольдо)* — ведь он только что поступил на службу — как раз сегодня утром говорил: «Как жаль, что в таких одеждах... когда у нас столько красивых костюмов там, в гардеробе... и такой зал, как этот...» *(Указывает на тронный зал.)*

Генрих Четвертый. Ну? Что жаль?

Ландольфо. Что мы не знали...

Генрих Четвертый. Что разыгрываете в шутку эту комедию?

Ландольфо. Потому что думали...

Ариальдо *(выручая его)*. Ну да... что это серьезно!

Генрих Четвертый. А разве нет? Вам кажется, что это было несерьезно?

Ландольфо. Понятно, если вы говорите, что...

Генрих Четвертый. Говорю вам, что вы глупцы!

Вы должны были создать иллюзию для самих себя; не для того, чтобы играть передо мной, посещая меня время от времени, а так, как будто вы здесь живете целые дни, ни перед кем (*к Бертольдо, беря его за руку*), а для тебя самого, чтобы, живя в мире вымысла, ты мог есть, спать, почесывать плечо, если чувствуешь зуд (*ко всем*); чувствовать себя живым в истории одиннадцатого века, здесь, при дворе вашего императора Генриха Четвертого, и видеть отсюда из глубины далекой эпохи, красочной и торжественной, как склеп, видеть, как восемь веков спустя люди двадцатого столетия хлопочут и мечутся в страстном стремлении узнать, как обернутся их дела, как разрешатся волнующие и мучающие их вопросы. А в это время жить — там, в истории, со мной! Пусть печальна моя судьба, ужасны мои деяния, жестока моя борьба со скорбным уделом — но все это уже отошло в историю, не изменится, не может измениться, все закреплено навсегда, понимаете? Вы можете приспособиться к нему, любясь тем, как каждое следствие логически вытекает из своей причины и как каждое событие разворачивается ясно и естественно во всех своих подробностях. Словом, испытать все то великое наслаждение, которое дает нам история!

Л а н д о л ь ф о. Как это прекрасно! Как прекрасно!

Г е н р и х Ч е т в е р т ы й. Прекрасно — да, но теперь все кончено! Теперь, когда вы это знаете, я не смогу больше продолжать. (*Берет лампу, чтобы идти спать.*) Да и вы не сможете, если не поняли до сих пор истинной причины. Теперь мне все это стало противно! (*Почти про себя, с сильным, хотя и сдержанным гневом.*) Черт возьми, я заставлю ее раскаяться в том, что она приехала сюда! Нарядилась тещей... А он отцом аббатом... И еще приводят доктора исследовать меня. И кто знает, быть может, надеются меня вылечить... Шуты! Я бы с удовольствием дал пощечину хотя бы одному из них. Он отличный фехтовальщик. Пожалуй, заколет меня?.. Посмотрим, посмотрим...

Слышен стук в заднюю дверь.

Кто там?

Г о л о с Д ж о в а н н и. Deo gratias! ¹

¹ Благодарение Богу, слава Богу (*итал.*).

Ариальдо (*радуясь возможности подиутить над ним.*) А, это Джованни. Джованни пришел, как всегда, вечером, чтобы изображать монашка!

Ордульфо (*так же, потирая руки*). Да, да, пусть себе изображает!

Генрих Четвертый (*быстро, строго*). Глупец! Зачем? Смеяться над бедным стариком, который делает это из любви ко мне?

Ландольфо (*к Ордульфо*). Все должно быть так, как в жизни! Понимаешь?

Генрих Четвертый. Именно! Как в жизни. Потому что только тогда правда перестает быть шуткой! (*Идет, открывает дверь и вводит Джованни, одетого скромным монахом, со свитком пергамента под мышкой.*) Войдите, войдите, отец мой! (*Потом трагически серьезно и с глубокой горечью.*) Все документы моей жизни и моего царствования, которые говорили в мою пользу, были умышленно уничтожены моими врагами; единственно, что избегло уничтожения,— это моя жизнь в описании скромного, преданного мне монаха,— а вы хотите посмеяться над ним? (*Ласково оборачивается к Джованни и приглашает его сесть к столу.*) Садитесь, отец мой, садитесь. А рядом поставим лампу. (*Ставит рядом лампу, которую до этого держал в руках.*) Пишите, пишите.

Джованни (*развертывает свиток и приготавливается писать под диктовку*). Я готов, государь!

Генрих Четвертый (*диктуя*). Декрет о мире, подписанный в Майнце, был столь же благодетелен для бедных и добрых, как тягостен для сильных и злых.

Занавес понемногу опускается.

Он принес достаток первым, голод и нужду вторым...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Тронный зал. Темнота. Во мраке едва можно различить стену в глубине. Портреты убраны, а их место между карнизами, обрамляющими углубления ниш, занимают, воспроизводя в точности позу портретов, Фрида, одетая маркизой Тосканской, какой она появилась во втором действии, и Карло ди Нолли, одетый Генрихом Четвертым. После поднятия занавеса сцена одно мгновение остается пустой. Затем открывается дверь слева, и выходит, держа лампу за кольцо, Генрих Четвертый; обернувшись, он говорит с четырьмя юношами, которые находятся в соседнем зале вместе с Джованни, как в конце второго действия.

Генрих Четвертый. Нет, оставайтесь, оставайтесь! Я все сделаю сам! Спокойной ночи. *(Закрывает дверь и направляется, печальный и усталый, через зал ко второй двери направо, ведущей в его комнату.)*

Фрида *(едва увидев его из-за трона, лепечет из ниши, теряя сознание от страха)*. Генрих...

Генрих Четвертый *(останавливаясь при звуке этого голоса, словно предательски пораженный в спину ножом, испуганно оборачивается к стене в глубине, пытается инстинктивно, точно для защиты, поднять руки)*. Кто меня зовет! *(Это не вопрос, а восклицание, полное ужаса и не требующее ответа от мрака и от ужасного молчания зала, сразу возбуждающих в нем подозрение, что он действительно сумасшедший.)*

Фрида *(одинаково испуганная как этим проявлением ужаса, так и тем, что она решилась, повторяет немного громче)*. Генрих... *(При этом она слегка высовывает голову, чтобы посмотреть на другую нишу, но все же продолжает играть назначенную ей роль.)*

Генрих Четвертый испускает вопль, роняет лампу, охватывает руками голову и хочет бежать.

Фрида (*выпрыгнув из ниши на цоколь, кричит как безумная*). Генрих... Генрих... Мне страшно... Мне страшно...

Ди Нолли тоже прыгает на цоколь, а оттуда на землю и подбегает к Фриде, которая продолжает судорожно кричать, почти теряя сознание: в то же мгновение из двери слева выбегают: доктор, синьора Матильда, одетая маркизой Тосканской, Тито Белькреди, Ландольфо, Ариальдо, Ордульфо, Джованни. Один из них немедленно зажигает свет в зале: странный свет от скрытых на потолке лампочек, отчего хорошо освещена лишь верхняя часть залы. Генрих Четвертый, пережив мгновение ужаса, от которого еще дрожит всем телом, стоит молча, пораженный неожиданным нашествием. Остальные, не обращая на него внимания, торопливо устремляются к Фриде, чтобы поддержать и успокоить ее. Она дрожит, стонет и мечется в руках жениха. Все говорят сразу.

Ди Нолли. Успокойся, Фрида... Я здесь... с тобой...

Доктор (*подбегая с другими*). Довольно! Довольно! Больше ничего не нужно...

Синьора Матильда. Он выздоровел, Фрида! Он выздоровел! Видишь?

Ди Нолли (*изумленно*). Выздоровел?

Белькреди. Это была шутка! Успокойся!

Фрида (*как раньше*). Нет! Я боюсь! Боюсь!

Синьора Матильда. Но чего же? Посмотри на него! Это все обман, обман!

Ди Нолли (*как раньше*). Обман? Что вы говорите? Выздоровел?

Доктор. По-видимому! Что касается меня...

Белькреди. Ну да! Они нам сказали это. (*Показывает на четырех юношей.*)

Синьора Матильда. Да, и уже давно,— он сказал им это!

Ди Нолли (*теперь уже более возмущенный, чем удивленный*). Как так! Если он еще сегодня...

Белькреди. Ба! Он играл роль, чтобы посмеяться над тобой, а также и над всеми нами, а мы доверчиво...

Ди Нолли. Возможно ли? И над сестрой, до самой ее смерти?

Генрих Четвертый (*смотрит то на одного, то на другого; блеск его глаз показывает, что он замышляет месть, для которой негодование, кипящее в нем, еще мешает найти нужную форму; и вдруг у него, оскорбленного до глубины души, является мысль признать истиной то при творство, которое ему коварно приписали. Кричит*). И дальше! Говори дальше!

Ди Нолли (*останавливаясь от крика, ошеломленный*). Что дальше?

Генрих Четвертый. Разве умерла только «твоя» сестра?

Ди Нолли (*как раньше*). Моя сестра? Я говорю — «твоя», которую ты принуждал до последней минуты являться сюда под видом твоей матери Агнесы.

Генрих Четвертый. Разве она не была «твоей» матерью?

Ди Нолли. Да, именно так, — это была моя мать.

Генрих Четвертый. Она умерла и для меня, «старого и далекого», твоя мать! Ты только что выскочил оттуда. (*Показывает на нишу, откуда тот выпрыгнул.*) Почему ты думаешь, что я не оплакивал ее долго, долго, тайно, хотя и в такой одежде?

Синьора Матильда (*удрученно оглядывая остальных*). Что он говорит?

Доктор (*очень заинтересованный, наблюдая за ним*). Тише, тише, ради бога!

Генрих Четвертый. Что я говорю? Я спрашиваю у всех: разве не была Агнеса матерью Генриха Четвертого? (*Оборачивается к Фриде, точно та действительно маркиза Тосканская.*) Вы, маркиза, должны, мне кажется, это знать!

Фрида (*еще испуганная, крепче прижимаясь к ди Нолли*). Я? Нет, нет!

Доктор. Опять возвращается его бред... Тише, синьоры!

Белькреди (*в негодовании*). Какой бред, доктор? Он снова начинает разыгрывать комедию!

Генрих Четвертый. Я? Вы опустошили эти две ниши; он является передо мной Генрихом Четвертым...

Белькреди. Теперь уже довольно этих шуток!

Генрих Четвертый. Кто сказал «шутка»?

Доктор (*резко, к Белькреди*). Не раздражайте его, ради бога!

Белькреди (*не обращая на него внимания, громко*). Мне это сказали они! (*Снова указывает на четырех юношей.*) Они, они!

Генрих Четвертый (*оборачиваясь, чтобы посмотреть на них*). Вы? Вы сказали, что это — шутка?

Ландольфо (*робко, смущенно*). Нет... мы сказали, что вы выздоровели!..

Белькреди. А, этого довольно! Довольно! (*Синьоре*

Матильде.) Не находите ли вы, что его вид (*показывая на ди Нолли*), да и ваш, маркиза, в этих костюмах, кажется невыносимо ребяческим?

Синьора Матильда. Замолчите! Можно ли говорить сейчас о костюмах, если он действительно выздоровел?

Генрих Четвертый. Да, выздоровел! Выздоровел! (*К Белькреди.*) Но не для того, чтобы все забыть так легко, как тебе кажется. (*Наступает на него.*) Знаешь ли ты, что уже двадцать лет, как никто не смел появляться здесь передо мной в таком виде, как ты и этот синьор? (*Показывает на доктора.*)

Белькреди. Ну да, знаю. И я тоже сегодня утром появился перед тобой одетый...

Генрих Четвертый. Монахом, да!

Белькреди. А ты меня принял за Петра Дамианского! И я не смеялся, потому что думал...

Генрих Четвертый. Что я сумасшедший! Теперь тебе хочется смеяться, видя ее в таком костюме! Теперь, когда я выздоровел? И все же ты мог подумать, что для меня ее вид, теперь... (*Обрывает фразу негодующим восклицанием.*) А-а! (*И сейчас же оборачивается к доктору.*) Вы доктор?..

Доктор. Да.

Генрих Четвертый. И вы ее тоже нарядили маркизой Тосканской? Знаете, доктор, вы чуть-чуть не вернули тьму моему разуму. Черт возьми, оживить портреты и заставить их говорить, выпрыгнув из рам... (*Смотрит на Фриду и ди Нолли, затем на маркизу, потом на свое платье.*) А, прекрасная комбинация... Две парочки... Прекрасно, прекрасно, доктор: для сумасшедшего... (*Слегка взмахнув рукой в сторону Белькреди.*) Ему это кажется неуместным маскарадом, а? (*Смотрит на него.*) Теперь мне надо снять маскарадный костюм! Чтобы пойти с тобой, не правда ли?

Белькреди. Со мной! С нами!

Генрих Четвертый. Куда? В клуб? Во фраке и в белом воротничке? Или вместе с тобой в дом маркизы?

Белькреди. Куда угодно! Неужели же ты захочешь оставаться здесь, чтобы продолжать в одиночестве то, что было несчастной карнавальная выдумкой? Непостижимо, как ты мог продолжать так жить после выздоровления.

Генрих Четвертый. Но видишь ли, дело в том, что, упав с лошади и ударившись головой, я действительно сошел с ума на некоторое время...

Доктор. Вот как! И это длилось долго?

Генрих Четвертый (*очень быстро, доктору*). Да, доктор, долго! Около двенадцати лет. (*Тотчас снова обращаясь к Белькреду*.) И я ничего не видел, мой милый, из того, что происходило после маскарада — с вами, не со мной. Как изменились вещи, как изменили друзья; как кто-то занял мое место... ну, например, в сердце женщины, которую я любил... между тем как я словно умер... словно исчез... И все это, понимаешь, совсем не было для меня шуткой, как тебе казалось!

Белькреду. Да нет, я не об этом говорю, а о том, что было после.

Генрих Четвертый. А после? Однажды... (*Остонавливаясь, доктору*.) Необычайно любопытный случай, доктор! Изучайте меня, изучайте хорошенько! (*Весь дрожит, говоря*.) Внезапно, сам не знаю как, это... (*касается лба*)... ну, как бы сказать... все это залечилось. Приоткрываю глаза и не знаю сначала, сон это или явь; трогаю одну вещь, другую и начинаю ясно понимать... А — как он сказал (*показывая на Белькреду*) — долой маскарадную одежду. Долой наваждение! Откроем окна, вдохнем жизнь! Долой все это! Долой! Выйдем на улицу! (*Внезапно сдерживает свою горячность*.) Куда? Что делать? Чтобы все исподтишка показывали на меня пальцем, как на Генриха Четвертого, в то время как я прогуливаюсь под руку с тобой, в компании милых спутников моей жизни?

Белькреду. Позволь! Что такое ты говоришь?

Синьора Матильда. Кто мог бы... хотя бы подумать об этом! Раз случилось такое несчастье!

Генрих Четвертый. Но ведь меня и раньше все называли сумасшедшим! (*К Белькреду*.) И ты это знаешь! Ты, больше всех нападавший на тех, кто пытался защищать меня!

Белькреду. Это было так, для шутки!

Генрих Четвертый. Посмотри на мои волосы! (*Показывает ему волосы на затылке*.)

Белькреду. Но и у меня они седые!

Генрих Четвертый. Да, но с той разницей, что они у меня поседели здесь, пока я был Генрихом Четвертым! И я этого не замечал! Я заметил это только в тот

день, когда внезапно открыл глаза и ужаснулся, ибо тотчас же понял, что не только волосы, но и все во мне поседело, все разрушилось, все для меня кончилось, что я приду голодный, как волк, на пир, когда все уже убрано со стола.

Белькреди. Да, но другие, прости...

Генрих Четвертый (*быстро*). Я знаю. Они не могли ждать, пока я выздоровлю, даже тот, кто сзади уколол до крови мою разукрашенную лошадь...

Ди Нолли (*взволнованно*). Что? Что?

Генрих Четвертый. Да, предатель заставил лошадь встать на дыбы и сбросить меня!

Синьора Матильда (*быстро, с ужасом*). Но я-то это в первый раз слышу!..

Генрих Четвертый. Может быть, и это было шуткой?

Синьора Матильда. Кто это был? Кто ехал за нашей парой?

Генрих Четвертый. Не все ли равно, кто? Все те, кто продолжал пировать, а теперь, маркиза, предлагают мне остатки скудной и дряблой жалости или обглоданную кость угрызений совести на грязном блюде. Благодарю! (*Резко оборачивается к доктору.*) — И тогда, доктор, — вы видите, как интересен этот случай для истории психиатрии! — я предпочел остаться сумасшедшим, найдя здесь все готовым и приспособленным для наслаждений особого рода: пережить в просветленном сознании свое безумие и этим отомстить грубому камню, разбившему мне голову! Одиночество — такое, как это, — показавшееся мне убогим и пустым, когда я открыл глаза, наполнилось для меня сразу же всей красочностью и великолепием того далекого маскарада, когда вы, маркиза (*смотрит на синьору Матильду и показывает ей на Фриду*), блистали так, как сейчас блистает она, — и я заставил всех тех, кто посещал меня, продолжать — черт возьми, по моей уже прихоти! — этот давнишний знаменитый маскарад, который был не для меня, а для вас забавой одного дня! Сделать так, чтоб он стал навсегда уже не забавой, а реальностью, реальностью подлинного сумасшествия; все здесь — маскированные: и тронный зал, и эти мои советники — тайные советники и, понятно, предатели! (*Внезапно обращается к ним.*) Хотел бы я знать, что вы выиграли, разгласив, что я выздоровел! — Если я выздоровел, вы здесь больше не нужны

и будете уволены! Довериться кому-нибудь, вот это — действительно сумасшествие! — Ну, а теперь я вас буду обвинять, моя очередь! — Знаете? Они собирались тоже посмеяться вместе со мной над вами. (*Разражается смехом.*)

Смеются, но тревожно, и другие, кроме синьоры Матильды.

Белькредди (*к ди Нолли*). Слышишь?.. Не плохо...

Ди Нолли (*к четырем юношам*). Вы?

Генрих Четвертый. Надо простить их! Это (*дергает свое платье*), это для меня — карикатура, явная и добровольная, на тот, другой маскарад, непрерывный, ежедневный, в котором мы, шуты (*показывает на Белькредди*), невольно маскируемся в то, чем мы кажемся, — и потому простите им их маски, ибо они еще не понимают, что это и есть их лица. (*Снова к Белькредди.*) Знаешь ли, ужасно легко к этому привыкаешь и прогуливаешься вот так, как ни в чем не бывало, в виде трагического персонажа (*прохаживается*) по залу, вроде этого! — Послушайте, доктор! Я видел, как один священник — наверно, ирландец, очень красивый, — спал на солнце в ноябрьский день, опершись рукой о спинку скамьи в публичном саду, утонув в золотистом блаженстве тепла, которое было для него почти летним. Вы можете быть уверены, что в это мгновение он не помнил ни того, что он священник, ни того, где он находится. Он грезил! Кто знает, о чем он грезил! Подошел какой-то мальчишка, вырвал с корнем цветок и, на ходу, пощекотал ему шею. Я увидел, как священник открыл смеющиеся глаза, и его губы блаженно улыбались этому сну — он был в забытьи; но почти в то же мгновение он принял снова свой суровый вид священника и в глазах его снова появилась та же серьезность, какую вы видели в моих; потому что ирландские священники защищают серьезность своей католической веры с таким же рвением, с каким я защищал священные права наследственной монархии. — Я выздоровел, господа, потому что прекрасно умею изображать сумасшедшего, и делаю это спокойно! Тем хуже для вас, если вы с таким волнением переживаете свое сумасшествие, не сознавая, не видя его.

Белькредди. Полюбуйтесь, он теперь пришел к выводу, что сумасшедшие — это мы!

Генрих Четвертый (*с порывом, который он пы-*

тается сдержанть). А если бы вы не были сумасшедшими, ты, да и она тоже (*показывает на маркизу*), разве вы бы явились ко мне?

Белькреди. Сказать по правде, я приехал в уверенности, что сумасшедший — это ты.

Генрих Четвертый (*быстро, резко указывает на маркизу*). А она?

Белькреди. Она? Не знаю... Видишь, она совсем зачарована тем, что ты говоришь... увлечена твоим «соznательным» сумасшествием! (*Синьоре Матильде.*) Уверяю вас, что в этом платье, маркиза, вы вполне можете здесь поселиться...

Синьора Матильда. Вы — наглец!

Генрих Четвертый (*быстро, желая успокоить ее*). Не обращайтесь на него внимания! Он продолжает выводить других из себя, хотя доктор и просил его этого не делать. (*К Белькреди.*) Почему меня должно волновать то, что произошло между нами? Роль, которую ты играл в моих бывших неудачах (*показывает на маркизу и затем обращается к ней, показывая на Белькреди*), роль, которую он теперь исполняет при вас? — Моя жизнь не в этом. Она не ваша! В той вашей жизни, в которой вы состарились, я не участвовал. (*Синьоре Матильде.*) Вы хотели мне это сказать, показать это, пожертвовав собой, одевшись по указанию доктора? О, это было отлично выполнено, — я уже вам сказал, доктор: «Вот какими мы были тогда и какими стали теперь!» Но я, доктор, не тот сумасшедший, какого вам надо! Я отлично понимаю, что он (*указывая на ди Нолли*) не может быть мной, потому что Генрих Четвертый — это я, я, вот уже двадцать лет! Я застыл в этой вечной маске! Она их прожила, эти двадцать лет (*указывая на маркизу*), она насладилась ими, чтобы стать вот такой — мне незнакомой, потому что я знаю ее в таком виде... (*указывает на Фриду и подходит к ней*) и для меня она навсегда такая... Вы все кажетесь мне детьми, которых я пугаю. (*Фриде.*) А ты и вправду перепугалась, девочка, от той шутки, которую они заставили тебя разыграть, не понимая, что для меня это не может быть шуткой, как им хотелось, а только грозным чудом, ибо моя мечта ожила в тебе ярче, чем когда-либо! Здесь было изображение — они сделали из него живое существо, и ты — моя! Моя! По праву моя! (*Обнимает ее, смеясь, как сумасшедший, в то время как остальные испуганно кричат; но, когда они подбегают,*

чтобы вырвать Фриду из его объятий, он становится страшным и кричит своим четырем юношам.) Задержите их, я приказываю вам задержать их!

Юноши, в смятении, точно ослепленные, автоматически пытаются удержать ди Нолли, доктора, Белькредди.

Белькредди (*тотчас же освобождается и бросается на Генриха Четвертого*). Оставь ее! Оставь! Ты не сумасшедший!

Генрих Четвертый (*молниеносно выхватывая шпагу у Ландольфо, стоящего рядом с ним*). Я не сумасшедший? Вот тебе! (*Ранит его в живот.*)

Раздается крик ужаса. Все бросаются, чтобы поддержать Белькредди, восклицая в смятении.

Ди Нолли. Он тебя ранил?..

Бертольд. Ранил! Ранил!

Доктор. Я говорил вам!

Фрида. О боже!

Ди Нолли. Фрида, сюда!

Синьора Матильда. Он сумасшедший! Он сумасшедший!

Ди Нолли. Держите его!

Белькредди (*в то время как его выносят через левую дверь, кричит в бешенстве*). Нет! Ты не сумасшедший! Он не сумасшедший! Не сумасшедший!

Все выходят через дверь слева с криками, продолжающимися раздаваться из-за сцены, пока не доносится, заглушая все голоса, вопль синьоры Матильды, за которым следует молчание.

Генрих Четвертый (*оставшийся на сцене около Ландольфо, Ариальдо и Ордульфо, с широко раскрытыми глазами, потрясенный жизнью своей собственной выдумки, заставившей его сейчас совершить преступление*). Теперь — да... Уже неизбежно... (*Зовет юношей к себе, точно желая защититься.*) Мы останемся здесь вместе, вместе... и навсегда!

Занавес

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЬЕСАМ

«ШЕСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОИСКАХ АВТОРА»

(«SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE»)

Первое представление пьесы состоялось в Риме, в театре Валле (труппа Никкодеми). Первое печатное издание комедии вышло в 1921 г. (Флоренция, изд. Бемпорад). Пьеса имела очень большой успех, переводилась на многие иностранные языки, в том числе и на русский («Шесть действующих лиц в поисках автора», пер. Е. Лазаревской, Современный Запад, кн. 1 (5), 1924). До 1958 г. пьеса выдержала 12 изданий. В 1960 г. она напечатана в сборнике Пиранделло Л. Пьесы. М.: Искусство. Перевод Н. Томашевского.

С. 433. «Игра интересов» — пьеса Пиранделло, поставленная в 1918 г.

С. 440. Санчо Панса — персонаж романа Сервантеса «Дон Кихот».

Дон Аббондио — персонаж из романа итальянского писателя Мандзони (1785—1873) «Обрученные». В Италии его имя стало нарицательным, оно означает трусливого человека, угождающего властям и оберегающего свой покой.

С. 455. Комедия дель арте — итальянская комедия, в которой профессиональные актеры импровизировали по написанному сценарию (она возникла в XVI в. и просуществовала до конца XVIII в.). Комедия имела устойчивую схему и постоянных персонажей.

«ГЕНРИХ IV»

(«ENRICO IV»)

Трагедия в трех действиях. Первое ее представление состоялось в Милане, в театре Мандзони (труппа Руджери), 24 марта 1922 г. Впервые была опубликована в 1922 г. (Флоренция, изд. Бемпорад). На русском языке была напечатана в сборниках «Обнаженные маски», 1932 г. и «Пьесы», 1960 г. (Перевод Г. Рубцовой).

С. 490. Генрих IV — германский император (1050—1106), вел войны с германскими князьями и епископами и ожесточенную борьбу с римским папой Григорием VII. В 1077 г. Генрих был вынужден под угрозой отлучения от церкви отправиться в Италию и в замке Каносса (Сев. Италия, возле г. Реджо) униженно просить прощения у папы. Коронован императорской короной король Генрих был только в 1084 г.

В конце жизни Генриха IV трон захватил сын его Генрих V, и Генриху IV пришлось бежать в г. Люттих, где он и умер.

С. 491. Матильда Тосканская — (1046—1115) — маркграфиня, правившая Тосканским маркграфством, распространявшим свою власть над Феррарой, Мантуей, Кремоной и другими графствами. Она была в союзе с папой Григорием VII против Генриха IV. В родовом замке Матильды Каносса папа принял кающегося Генриха.

Гослар — старинный город в районе горного края Гарца, в северной Германии.

Вормс — древнейший германский город, который с XI века стал «вольным». Во время войн Генриха IV с князьями граждане Вормса выступили в его защиту.

С. 492. Генрих IV — французский (1553—1610) — был королем во Франции с 1589 по 1610 г.

Салийская династия германских императоров правила в XI—XII вв. Генрих IV был одним из ее представителей.

Каносса — см. примечания к с. 491.

Антипап против пап — Пиранделло имеет в виду следующий исторический факт: созванное в 1080 г. Генрихом IV собрание епископов в городе Бриксене низложило папу Григория VII (см. прим. к с. 497) и избрало папой архиепископа Равенны Гиберта, принявшего имя Климента III.

С. 493. Адалберт Бременский (умер в 1072 г.) — архиепископ, воспитатель и опекун Генриха IV, имевший на Генриха большое влияние и правивший за него в годы его ранней юности.

С. 494. Сказочный Бертольд — герой одноименной народной итальянской поэмы (изд. 1736 г.), шут при дворе лангобардского короля Альбоина.

С. 495. Инвеститура — церковная — назначение духовного лица в должности и сане и передача ему церковных земель.

С. 496. Берта из Сузи — дочь маркграфа Сузского, основавшего в Савойе, и сестра савойского графа Амедея II, была женой Генриха IV.

С. 497. Григорий VII — был папой с 1073 по 1085 г., боролся за то, чтобы папство обладало не только духовной, но и светской властью. Одним из главных мотивов его борьбы с Генрихом IV был «спор из-за инвеституры», то есть за право назначения духовных лиц на церковную должность.

С. 499. Валькирия — в скандинавской мифологии валькирии девы-воительницы, дочери бога Одина. Они помогают героям в битвах и уносят души убитых в загробное царство, дворец Валгаллу, где прислушивают им на пирах.

Сатир — в древнегреческой мифологии сатиры — низшие божества природы, спутники бога вина и виноделия Диониса. Изображались в виде людей с козлиными ногами, рогами и конским хвостом.

С. 503. Карл Анжуйский (1226—1288) — принц из французской династии Капетингов, был королем Неаполитанским.

С. 504. Бонн — немецкий город в Рейнской области. Боннский университет, основанный в 1818 г., считался одним из лучших в Германии.

Вавилонская кавалькада — по аналогии с библейским сказанием о вавилонском столпотворении, согласно которому древние люди после потопа пытались построить башню, «вышиною до небес», но разгневанное божество смешало их языки, так что они перестали

понимать друг друга, и рассеяло их по всей земле. В нарицательном смысле вавилонская башня — собрание людей разных племен и национальностей, говорящих на разных языках.

С. 511. **Гуго Ключеныйский**, аббат (1024—1109), старался примирить Генриха IV и папу Григория VII.

С. 514. **Петр Дамьянский** (ок. 988—1072) — деятель католической церкви, сурово обличал пороки духовенства и стремился поднять значение папства.

С. 515. **Папа Александр** — Александр II, первый папа, выбранный коллегией кардиналов без вмешательства германского императора. Был папой с 1061 по 1073 г. Он проводил политику, направленную против Генриха IV под влиянием кардинала Гильдебранда, который впоследствии под именем Григория VII (см. прим. к с. 497) стал его преемником.

Трибур (Требур) — старинный немецкий город.

Агнеса, **Генрих Аугсбургский**. Агнеса — мать Генриха IV, правившая при малолетнем сыне после смерти Генриха III (1056) до 1062 г. Ее поддерживал епископ Генрих Аугсбургский.

С. 516. **Анно** — архиепископ кельнский, похитивший в 1062 г. двенадцатилетнего Генриха и ставший регентом. Под нажимом недовольных его правлением князей он предложил участие в правлении и в воспитании Генриха Адальберту, архиепископу Бременскому (см. с. 493).

Стефан X — папа (с 1057 по 1058); был избран против желания германского двора и не сразу был признан Агнесой. Так же, как Григорий VII, он боролся за усиление церкви.

С. 518. **Брессаноне** — древний город Бриксен, ныне известный под названием Брессаноне, расположен в Северной Италии.

С. 519. **Роберт Гискар** (1015—1085) — норманнский вождь, захвативший Южную Италию и создавший там сильное государство. Папа Григорий VII прибегнул к его помощи в своей борьбе с Генрихом IV.

С. 542. **Декрет о мире в Майнце** — в 1103 г. в городе Майнце Генрихом IV был обнародован декрет, призывавший всех присягнуть сохранению мира в Германии.

«МАСКИ» И «ЛИЦА» ПЕРСОНАЖЕЙ ПИРАНДЕЛЛО

Луиджи Пиранделло (1867—1936) была присуждена Нобелевская премия по литературе в 1934 г. за драматургию и прозу. Выступив новатором в жанре новеллы и романа, писатель наибольших успехов добился в области театрального искусства. Он стал создателем в Италии в начале XX в. новой философской драмы. Но путь к этому был долгим.

«Я вышел из хаоса», «Я сын хаоса»,— любил повторять Пиранделло. В год, когда он родился на Сицилии, там развилась эпидемия холеры и семья будущего писателя укрылась от нее в небольшом загородном доме в окрестностях Агридженто. Место это называлось «Хаос». «Итак, я сын хаоса,— вспоминал Пиранделло,— и не аллегорически, а в самом прямом смысле, потому что я родился за городом, в том месте, которое находится возле густого леса и обитателями Джирдженти¹ на местном наречии называется «Хаос». Однако, называя себя «сыном хаоса», Пиранделло подразумевал и нечто большее — состояние Сицилии и всей Италии, недавно вышедшей из кровопролитной национально-освободительной борьбы (Рисорджименто), в которой участвовал и его отец. Отдельные области Италии, находившиеся прежде под властью итальянских или иностранных правителей, превратились в единое государство. Однако их население продолжало придерживаться старинных обычаев и традиций, заботиться о местных нуждах и говорить на своих диалектах. Это тоже был хаос, из которого еще только предстояло создать единую Италию.

Правящие круги страны проводили жесткую унитарную политику, не учитывая своеобразия местных условий, что вело к обострению отношений между разными частями Италии. На Сицилии в силу ее вековой экономической и культурной отсталости противоречия итальянской действительности ощущались более остро, так как новые социальные отношения

¹ В 1927 г. было восстановлено старинное название города Агридженто (от древнегреческого Акрагант).

приспосабливались здесь к традициям и нормам жизни, существовавшим еще с феодальной поры. Все это приводило к усилению оппозиционных настроений и неприятию политики «итальянцев из Рима», как говорили на Сицилии. И как представление о мире, утратившем гармонию и находящемся в процессе становления, в сознании Пиранделло возник образ хаоса.

Отец будущего писателя, состоятельный арендатор серных копей, хотел, чтобы сын получил техническое образование, но юный Пиранделло настоял на занятиях филологией сначала в университете в Палермо, а затем в Риме. Здесь он работает под руководством известного лингвиста Э. Моначи, по совету которого завершает свое образование в Германии. В 1891 г. Пиранделло заканчивает Боннский университет, написав работу о диалекте родной провинции. Вернувшись в Италию, он сотрудничает в журналах, с 1897 г. начинает преподавать итальянскую литературу в Римском университете, а с 1908 г. становится профессором этого университета.

Свою литературную деятельность Пиранделло начал не с поэзии, как принято думать, а с прозы. В 17 лет он написал небольшую новеллу из сицилийской жизни под названием «Домишко» (1884). Но это была лишь проба пера, о которой автор скоро забыл, обратившись к более трудному жанру, каким считалась поэзия. В 1889 г. выходит в свет его сборник стихов «Радостная боль», в котором Пиранделло обращается к античным мифам и образам. В его стихах чувствуется стремление к пантеистическому слиянию с природой, олицетворяющей царство чистоты и покоя, а также горькая насмешка над настоящим. В Бонне Пиранделло пишет две другие книги стихов: «Пробуждение Гея» и «Рейнские элегии», опубликованные в 1891 и 1895 гг., уже после его возвращения в Италию. В первой из этих книг культ языческой богини земли, связанный с прославлением природы и земных радостей, противостоит аскетическому идеалу смирения и умерщвления плоти. В «Рейнских элегиях» темы любви и природы переплетаются с прошлым и настоящим величественного Рейна. В 1896 г. выходит в свет перевод Пиранделло «Римских элегий» Гёте, который был духовно близок Пиранделло и своими языческими увлечениями.

Хотя Пиранделло и признавался, что вплоть до 1892 г. ему казалось невозможным писать иначе, чем стихами, его настоящим призванием стала проза. Совет попробовать свои силы в прозе дал Пиранделло Л. Капуана, один из основателей и теоретиков веризма, нового литературного направления в Италии. Веризм (от слова «всего» — истинный, правдивый) возник

после завершения национально-освободительного движения и создания единого государства как отражение нового умонастроения эпохи¹. Веристский кружок, куда входили видные писатели, литературные критики и журналисты Дж. Верга, Л. Капуана, Л. Стеккетти, Ф. Камерони, образовался в Милане около 1878 г. Выступая с критикой искусства Рисорджименто, ориентировавшегося главным образом на прошлое, веристы ставили своей задачей создание современной литературы, способной показать итальянское общество на новом этапе его развития.

Веристское движение возникает на базе позитивизма и опирается на теоретические труды и художественное творчество французских натуралистов, и прежде всего Э. Золя. Главным для веристов становится требование объективного изображения действительности. Вслед за своими французскими собратьями по перу веристы придают важное значение собиранию и использованию в произведении искусства жизненных фактов, или «человеческих документов». Другим не менее важным требованием веристской эстетики является изучение «среды», которую писатели понимают достаточно широко, включая в это понятие все, что окружает человека и воздействует на него, в том числе и природу. Придерживаясь принципа детерминизма — причинной обусловленности человеческого поведения, веристы полагали, что наряду с внешними причинами психология формируется и под влиянием причин внутренних — особенностей данного организма, т. е. физиологии. «Жизнь души» рассматривалась ими как некая функция организма и вместе с тем ставилась в прямую зависимость от условий существования. Пороки отдельного человека они объясняли неблагоприятным состоянием общества и его негативным воздействием на индивида. Таким путем писатели пытались вскрыть общественные причины социального зла.

В своем творчестве веристы обратились к жанру наброска, зарисовки с натуры, который они заимствовали из живописи и который полностью отвечал их требованию объективного изображения действительности. В «наброске» («боццетто») в сжатой форме описывалось какое-либо событие или давалась психологическая зарисовка нравов. Он заключал в себе «человеческий документ», который, по мнению веристов, своей горькой правдой сильнее, чем вымысел, воздействует на душу. Веристская новелла и роман тесно связаны с «боццетто». Новелла отличается краткостью, лишена занимательной интриги

¹ Термин появился около 1870 г. для обозначения искусства, близкого к природе. Из изобразительных искусств он проник в литературу и с конца 1870-х гг. стал употребляться наравне с понятиями «реализм» и «натурализм».

и трагической концовки, представляя собой жизненный факт или «ломоть действительности». Роман складывается из многих «ломтей действительности», являя собой серию картин или набросков с натуры. Писатели-веристы полагали, что осуществить объективное, «научное» изучение действительности можно в рамках романа из современной жизни, который они провозгласили всеобъемлющим литературным жанром нового времени.

В духе такого классического в своей форме веризма и написана новелла Пиранделло «Домишко», которая носит подзаголовок «Сицилийский набросок» и по своей проблематике близка к сицилийским новеллам Дж. Верги из сборника «Жизнь полей» (1880). Рассказ Пиранделло состоит из пяти «боццетто», в которых на фоне живописного пейзажа рассказывается о любви молодого батрака к дочери его хозяина, о побеге влюбленных и о бессильной ярости ее отца, сжигающего свой домишко. Герои Пиранделло неотделимы от «среды» и так же вписаны в пейзаж, как и персонажи Верги.

Однако очень скоро эта отчетливая ориентация на классический веризм сменяется поисками новых путей в искусстве. Пиранделло увлекается поэзией, а затем в Германии погружается в изучение немецкой литературы и философии. Он интересуется философскими и эстетическими проблемами в тесной связи с психологией, о чем свидетельствуют заметки из его «Боннской записной книжки». В этих записях и статьях конца 1880-х — начала 1890-х гг. Пиранделло говорит о том, что современной прозе не хватает непосредственности выражения, а следовательно, и жизненности. Он утверждает, что новое поколение утратило гармонию, которой в полной мере обладали лишь древние греки, имевшие «четкое представление о жизни и человеке». Пиранделло приходит к заключению, что в последнее десятилетие наблюдается «большой сдвиг идеалов» и что позитивная философия уже не может разрешить волнующих его поколение вопросов.

В 1890-е гг. Пиранделло знакомится в Риме с Л. Капуаной, который становится его «другом и паставником», и начинает посещать литературный кружок, собиравшийся в его доме. Он принимает участие в обсуждении стихов, рассказов, статей членов кружка, а также читает то, что пишет сам. В это время Пиранделло стоит ближе к Капуане, чем к Верге, восприняв интерес Капуаны к изучению странных психологических «казусов». Свой первый роман «Марта Айала» (1893) о судьбе женщины, которую предрассудки общества едва не приводят к гибели, Пиранделло написал под влиянием Капуаны, который

сам разработал эту тему с трагической развязкой в романе «Джачинта» (1879), посвященном Золя. Опубликованный в журнале роман получил более общее название — «Отверженная» (1901), а в отдельном издании 1908 г. он посвящен Капуане. Как будто роман Пиранделло развивается в традициях веризма: здесь есть «среда» — провинциальный сицилийский город, где сознание людей особенно цепко держится за старые традиции и нравственные нормы. Есть и «факт»: муж, обвинив жену в измене на основании одного лишь подозрения, изгоняет ее из дома. Однако Пиранделло показывает случайность, даже иллюзорность «факта», который не соответствует реальному положению вещей, ибо Марта не изменяла мужу. Но, раз возникнув, факт измены влияет на судьбу персонажей. Весь город ополчается против опозоренной женщины, когда же происходит ее настоящее падение и она ждет ребенка от другого мужчины, муж прощает ее и возвращает под родной кров, а сограждане возвращают ей свое уважение.

Конфликт веристского романа, заключавшийся в столкновении личности и общества (например, в романе «Джачинта»), заменяется в «Отверженной» проблемой несоответствия реального облика героини и представлений о ней окружающих, поэтому и разрешение этого конфликта у Пиранделло не трагическое, а, скорее, комическое. Сам Пиранделло называл свой роман юмористическим и жаловался, что критика не уловила этой направленности книги. Ирония и юмор не были чужды веристскому искусству. Капуана использовал иронию в «Джачинте», чтобы, как и Флобер в «Мадам Бовари», снизить трагическую развязку. У Пиранделло смысл иронии — в утверждении взгляда на жизнь как на некую игру человеческих судеб, идей или, вернее, иллюзий. В «Отверженной» писатель дал, по сути дела, новое понимание важнейших веристских постулатов.

Отход Пиранделло от веризма, отказ от изображения «среды» и ее определяющего воздействия на человека, взгляд на жизнь как на столкновение трагических и комических случайностей, внимание к подсознательным импульсам, влияющим в большей степени на психологию, чем сознание, еще более явно обнаружилось в сборнике рассказов «Любовь без любви» (1894) и в небольшом романе «Очередь» (1902).

В конце XIX — начале XX в. Пиранделло уже стоял на пороге выработки нового художественного метода, получившего впоследствии название «юморизма». Первую попытку определить свое изменившееся отношение к действительности и дать оценку состоянию современного ему искусства он предпринял в статье «Искусство и сознание сегодня» (1893), в которой более

подробно говорит о кризисе идеалов, переживаемом молодым поколением, о его безверии и разочарованности. Подвергая критике позитивизм за его неспособность в новых условиях объяснить быстро меняющийся мир, Пиранделло все же не отказывается от науки, выделяя психиатрию, которая одна, по его мнению, помогает понять внутреннюю жизнь человеческого «я». Пиранделло ссылается при этом на труды по психиатрии Б. О. Мореля, М. Нордау, на книги Ч. Ломброзо. Позднее он назовет и книгу А. Бине «Изменения личности» (1892), которая произвела на него глубокое впечатление. Пиранделло заинтересовался также работой итальянского ученого Дж. Маркезини «Уловки души» (1905), посвященной той же проблеме. Эти труды как будто подтвердили мнение Пиранделло о том, что не существует «единой души», а следовательно, и единой психологии, которую изучали веристы. На ее место Пиранделло ставит комбинацию случайных и непрочных душевных состояний, составляющих, по его убеждению, психическую жизнь индивида. В этих мыслях получил отражение новый взгляд на личность.

На рубеже веков личность рассматривается уже не как нечто стабильное, зависимое от условий существования, а как меняющееся и непостоянное. Философское обоснование изменчивости личности находили в теории относительности Эйнштейна, из которой заимствовались лишь самые общие положения. Это вело к отрицанию закономерностей развития и причинной обусловленности явлений. В действительности видели проявление самых общих законов, содержание которых легко могло изменяться. Заменяв детерминизм понятием относительности и случайности, освободили и личность от всех общественных связей. Личность получила подвижность; в ней принялись исследовать не объективные закономерности эпохи, а субъективно понятую психическую жизнь. Этому способствовало также распространение фрейдистских идей. Новый взгляд на личность формируется у Пиранделло не без влияния и его семейной драмы — разорения отца и тяжелой психической болезни жены, что лишний раз как будто подтверждало мысль об изменчивости и нестабильности человеческой судьбы.

Свое новое отношение к проблеме личности и ее воплощению в искусстве Пиранделло изложил в книге «Юморизм» (1908). Жизнь в представлении писателя — бесконечный поток, постоянно изменяющийся вокруг нас и в нас самих, и в том, что «мы называем душою и что составляет все живое, этот поток продолжается незаметно... образуя наше сознание, конструируя нашу личность». Этот поток, составляющий глубинную жизнь индивида, не прекращается ни на минуту и получает отражение,

или фиксируется, как говорит Пиранделло, в отдельных «формах». Затем он назовет эти «формы» «масками». Это — наши представления о нас самих и об окружающих, которые могут выразить лишь часть кроющейся в нас глубинной жизни. «Формы», т. е. наша сознательная жизнь, непостоянны и временны и легко могут быть разрушены мощным жизненным потоком.

Ставя «жизнь души» в зависимость от подсознания, Пиранделло утверждает, что в одном человеке сосуществует много душ и что наше «я» многолико. Так человеческая личность теряет свои четкие контуры и раздваивается. О комическом раздвоении собственной личности Пиранделло писал еще в 1890-е гг. в письме к своей будущей жене Антониетте Портулано: «Во мне заключены как бы два человека. Ты уже знаешь одного, другого даже я сам не знаю хорошенько. Я имею обыкновение говорить, что во мне живет «Я» большое и «я» маленькое. Эти два синьора почти постоянно ведут между собою войну, так как один испытывает неприязнь к другому. Первый молчалив и постоянно погружен в свои мысли, второй — легко ведет беседу, шутит и не прочь посмеяться и посмеяться... Я полностью разделен между этими двумя лицами».

То же предпочтение стихийного начала логике и разуму характерно и для определения творческого процесса: Пиранделло полагает, что художественное произведение создается «свободным движением внутренней жизни, которое преобразует идеи и образы в гармоническую форму» — мысль, впервые высказанная им еще в 1890-е гг., но теперь эта мысль получает воплощение в новом художественном методе писателя, который он назвал «юморизмом». Пиранделло понимал под «юморизмом» разрушение иллюзий с помощью рефлексии, которой подвергают себя его персонажи; их драма, считал писатель, заключает в себе момент сострадания, поэтому трагическое и комическое, сосуществуя в жизни, отражают «чувство контраста», присущее юмористическому произведению в понимании Пиранделло. Только метод «юморизма» позволит художнику в полной мере раскрыть противоречивую сущность личности в постоянно меняющемся мире.

Философско-эстетические идеи книги «Юморизм» находят полное воплощение в художественном творчестве Пиранделло, сначала в прозе, затем в драматургии. Он написал еще пять романов. Самым известным из них является «Покойный Маттия Паскаль» (1904). Проблема непонимания героини окружающими в «Отверженной» перерастает теперь в более общую, даже глобальную проблему отчуждения индивида

в современном мире — трагедию личности, в которой, по мысли Пиранделло, раскрываются важнейшие противоречия эпохи. Порывая связи с враждебной действительностью и создавая воображаемый мир, человек уходит в иллюзорный мир, а по сути дела, в пустоту. Такой путь проходит и герой романа «Покойный Маттиа Паскаль». Сначала он ведет унылое существование в провинциальном городке на Лигурийском побережье, находясь на нищенском жалованье библиотекаря и проводя время среди пыльных книг, которых никто не читает, и мышей. Семейные дразни, смерть детей, одинокие прогулки по пляжу, чтобы хоть как-то убить время и отделаться от скуки и, конечно, мечты об освобождении. Неожиданно случай помогает Маттиа — в Монте-Карло он выигрывает в рулетку крупную сумму денег. Он думает уехать в Америку, чтобы обрести свободу. И снова случай помогает ему — из газет он узнает, что в его родном городке найден утопленник, в котором жена и родные опознали Маттию. Мечты о свободе как будто становятся реальностью. Маттиа решает отказаться от привычного существования и «маски», которую носил, и начать новую жизнь. Но так как «лицо», сущность человека, по мнению Пиранделло, не совпадает с его «маской», Маттиа принужден надеть на себя новую «маску» — иначе ему нет места в обществе. Для этого ему нужно создать себя как бы заново, изменив даже внешность: он бреет усы и бороду, надевает другой костюм и темные очки, так как один глаз у него косит (позднее он подвергнет себя операции, чтобы избавиться от этого недуга). Он придумывает себе новое имя — Адриано Меис и новую биографию. Под «маской» Адриано Меиса он сначала наслаждается свободой: путешествует, а затем поселяется в Риме в обычной мещанской семье.

Однако очень скоро Маттиа замечает, что его новое существование, по сути дела, мало чем отличается от прошлой жизни и его новая «маска» оказывается еще более стесняющей, чем прежняя. У него нет паспорта, а следовательно, и юридического лица: он не может потребовать удовлетворения за оскорбление, не может заявить в полицию о краже денег, он не может даже ответить на чувства милой и нежной девушки, дочери хозяев его квартиры, полюбившей его. Маттиа в полную меру ощущает свою несвободу и зависимость от «маски» Адриано Меиса. И тогда он еще раз принимает решение освободиться и вернуться к прежней жизни. Предварительно он инсценирует самоубийство и снова меняет свою внешность, чтобы походить на Маттию Паскаля. Он садится в поезд и едет в родной город. Ему кажется, что он оживает и становится самим собой. Но и это

новое освобождение оказывается очередной иллюзией и возврат к прошлому оборачивается возвращением в пустоту — его место в жизни занято: жена вышла замуж за другого, в библиотеке — другой библиотекарь, и на кладбище под могильной плитой с его именем лежит другой человек.

Маттиа потерял все, чем обладал раньше, даже имя. Теперь он — «бывший Маттиа Паскаль» и у него нет преимущества, которое было прежде, твердого убеждения, что он — это он и никто другой. Он уже ни о чем не мечтает, а, сидя в библиотеке, пишет воспоминания. Так парабола жизни героя Пиранделло завершилась: от несвободы через эксперимент обретения этой свободы он вернулся к тому, с чего начал, потерпев неудачу в попытке «выразить» себя. Да это и невозможно, считает Пиранделло. Одним из первых европейских писателей (и задолго до экзистенциалистов!) он понял и показал трагедию человеческой личности, отчужденной от самой себя. С образом Маттиа Паскаля в творчество Пиранделло вошел не только герой, который стал символом раздвоенного, большого сознания своего времени, но и герой, которому не дано «осуществить» себя, — и в этом суть иронии Пиранделло.

Переведенный на французский и немецкий языки роман сделал известным имя Пиранделло за пределами Италии, а на родине писателя он не вызвал ни энтузиазма, ни похвал — итальянцы еще не были готовы воспринять новаторские идеи Пиранделло.

Мысль о своеобразном круге, который прошел Маттиа Паскаль, в расширенном плане повторяется в идее круговорота событий и человеческих судеб в романе «Старые и молодые» (1909). Здесь на примере Италии после окончания Рисорджименто Пиранделло высказывает свой взгляд на историю не как поступательное движение, а как топтание на месте, в лучшем случае — возвращение к своим истокам. Этот тезис писателя звучит и в эпиграфе к роману: «Моим детям — сегодня молодым, завтра старым». Всем суетным стремлениям многочисленных персонажей романа Пиранделло противопоставляет прозрение нескольких из них, понявших, что высшей мудростью является желание «просто жить», ни во что не вмешиваясь, за что подчас тоже приходится расплачиваться жизнью.

Проблеме творчества и состоянию современного ему искусства Пиранделло посвятил роман «Ее муж» (1911), получивший в процессе переработки название «Джустино Рончелла, урожденный Боджоло». Новым названием писатель хотел подчеркнуть мысль, что в жизни муж занял место, предназначенное жене. Пиранделло утверждает в романе идею

о том, что в искусстве получает отражение не столько логическая деятельность рассудка, сколько непосредственное чувство художника. Поэтому всем дельцам от искусства, в том числе и собственному мужу, противостоит героиня романа, скромная писательница, в которой воплощен подлинный идеал искусства, не подчиняющийся никаким выкладкам ума и денежным расчетам.

Сложным взаимоотношениям жизни, искусства в его высоком понимании и кино как некоего суррогата подлинного искусства, способного, по мнению Пиранделло, лишь копировать действительность, посвящен роман «Снимается кино» (1916), озаглавленный затем «Записки Серафино Губбьо, кинооператора». И наконец, в последнем романе Пиранделло «Кто-то, никто, сто тысяч» (1926) мысли об отчуждении, одиночестве, бессмысленности существования выражены особенно отчетливо. Идея субъективного восприятия действительности и раздвоения личности, существующей в восприятии других людей, не совпадающем с ее сущностью, заставляет героя романа в поисках самого себя порвать всякие связи с обществом, отказаться от богатства и поселиться в приюте в надежде, что лишь «растительное существование» поможет ему обрести душевный покой.

Под пером Пиранделло изменяется не только содержание романа по сравнению с веристскими романами, меняется и его структура. Веристский роман строился по «методу картин» («Джачинта» Капуаны, «Семья Малаволья» Верги и др.). Смена картин в их неторопливом ритме создавала иллюзию реальной жизни. Отказ Пиранделло от изображения «среды», погружение в глубинную внутреннюю жизнь персонажа, взгляд на действительность как на хаос, в котором безраздельно господствует случай, помогающий проявиться разным сторонам психической жизни персонажа,— все это привело писателя к взгляду на роман как на серию эпизодов, в которых разные сюжетные линии иногда сталкиваются, а чаще существуют самостоятельно. В романах нет единого стержня повествования, а замедленное развитие действия создает ощущение растянутого времени, в котором случайное сцепление обстоятельств выступает как главный двигатель происходящего.

Новеллистика — другой важный аспект творчества Пиранделло. Он писал новеллы на протяжении всей жизни и часто обращался к ним как источнику своих пьес. С 1900 по 1919 г. Пиранделло написал более двухсот новелл, которые выходили отдельными сборниками, а позже были объединены под общим названием «Новеллы на год» (I—XIII т.— с 1922 по 1928 г., XIV

и XV т.— 1934 г. и 1937 г.). В этих рассказах жизнь предстает как калейдоскоп, в котором сталкиваются различные человеческие судьбы, и читатель становится участником жизненных драм и комических ситуаций. В новеллах Пиранделло, как и в жизни, трагедия и фарс соседствуют. И в этот хаотический и вечно меняющийся мир постоянно, и неожиданно, вторгается случайность, которая все запутывает, распутывает и меняет лики. Идеи одиночества, отчуждения, «лица» и «маски», омертвляющей это «лицо», стремление персонажей разбить свою «маску» и стать хотя бы на несколько мгновений самим собой — все это и составляет живую ткань рассказов. «Где же выход из этого скорбного и тягостного существования?» — как бы спрашивает писатель. Как можно обрести самого себя? Пиранделло видит единственный выход — уйти от общества, от людей на лоно природы, слиться с окружающим миром, почувствовать себя его частицей, отказавшись от рассудка и памяти. Такова общая тональность новеллистики Пиранделло.

Сначала он продолжал писать на темы, близкие веризму, обратившись к сицилийскому материалу. Жизнь в его новеллах иногда предстает в своем комическом аспекте («Глиняный кувшин», «Живая и мертвая»). Комедия и драма присутствуют вместе в наивном протесте верующего против несправедливости власть имущих, уподобившего себя Христу и занявшего место распятия («Часовенка»). Трагична история двух молодых людей, которых жизнь развела в разные стороны и сделала чужими («Сицилийские лимоны»). Иногда трагедия может обернуться фарсом правосудия («Чистая правда»), и только глубокой горе вызывает чувство сострадания («Брачная ночь»). В этих новеллах не только смех и слезы, есть в них и глубокий лиризм, который рождается от чувства сопричастности человека и природы, как в истории бедного, забитого мальчишки на серной шахте, который, впервые увидев на ночном небе луну, заливавшую землю своим ясным светом, заплакал от умиления, почувствовав себя утешенным во всех горестях («Чаула открывает луну»). Как светлячок светит в ночи (в Сицилии его называют «падушья свечка»), так и любовь пробивается через все препоны и распри («Свинья»). А счастье материнства Пиранделло сравнивает с солнцем, освещающим человеческую жизнь («Счастье»).

Новеллы Пиранделло, подобно его романам, все больше насыщаются философским содержанием. Его герои, окончательно оторвавшись от «среды», живут в своем особом мире, который чище их обыденного пошлого существования («Некоторые обязательства»); или предпочитают смерть, желая

остаться навечно в мире своих грез («Длинное платье»). Истинной оказывается не та жизнь, в которую человек погружен повседневно, а та, что вдруг нечаянно открывается ему («Свисток поезда»), и в сознании бесполезно прожитой жизни кроется настоящая трагедия («Соломенное чучело»). В этом мире лишь горечь пережитого может на несколько мгновений сблизить бывших врагов, пробудив в них чувство жалости («Скамья под старым кипарисом»).

Одной из самых ужасающих бед современного человека Пиранделло считал одиночество, выходом из которого часто оказывается смерть («В молчании»). Лучше принять смерть, чем жить с истерзанной душой, — так и поступает героиня новеллы «В самое сердце». Лишь немногие персонажи Пиранделло отваживаются разорвать душасшие их условности («Тесный фрак») или попросту пренебречь ими («Подумай, Джакомино!»). Комическую интерпретацию темы отчуждения и стирания личности Пиранделло разработал в новелле «Незабвенная душа», героиня которой чем-то напоминает чеховскую Душечку. Пустота, фальшь и лицемерие, неспособность к состраданию прикрываются в обществе «маской» добропорядочности («Все как у порядочных людей»). Но иногда даже у самых респектабельных людей появляется желание взглянуть на свою «форму» со стороны, сбросить хотя бы на миг свою «маску», чтобы хотя бы на миг почувствовать себя свободным («Тачка»). Если же герой хочет продлить этот миг свободы, он отказывается навсегда от своей привычной жизни, чтобы погрузиться в мир живой природы — жить «жизнью травинки», стать подобно растениям, птицам, зверям, и смерть тогда совсем не страшна («Пой-Псалом»).

Наряду с зеленым, цветущим деревом — символом животворной, обновляющей человека силы (образ, широко распространенный в натуралистической и веристской литературе), у Пиранделло появляется и образ засыхающего дерева как символ увядания доброты и человеколюбия («Скамья под старым кипарисом»).

Воплощая свои философско-эстетические идеи в новеллах и романах, Пиранделло мечтал о театре. Его зрелая драматургия венчает творческий путь писателя и свидетельствует о новом взлете его таланта. Именно в театре в полной мере проявились оригинальность мысли и режиссерское новаторство Пиранделло, благодаря которым он стал реформатором драмы в Италии.

На рубеже веков на итальянской сцене помимо веристских пьес господствовали семейно-психологические драмы Р. Брак-

ко, связанные еще с веризмом; пьесы о «сильной» личности и сильных страстях Г. Д'Аннунцио, а также неоромантические драмы на исторические сюжеты Сема Бенелли. Однако постепенно итальянские писатели начинают отходить от этих традиционных форм и усваивать опыт создателей «новой драмы» Г. Ибсена, А. Стринберга, М. Метерлинка, Г. Гауптмана, Б. Шоу, А. Чехова.

Первую попытку обновления итальянского театра предприняла группа писателей, создавших театр «гротесков»: Л. Кьярелли, П. М. Россо ди Сан Секондо, Л. Антонелли и др. Отказавшись от внешнего бытописания и событийности, они пытались углубиться во внутренний мир человека, раскрыть движения духа и нюансы чувств. В пьесах Кьярелли («Маска и лицо»¹, 1916) и Россо ди Сан Секондо («Марионетки, сколько страсти!», 1918) Пиранделло привлекла проблема противоречия между видимостью («маской») и сущностью («лицом») человека, а также и уподобление людей марионеткам, лишенным всякой индивидуальности (у Россо ди Сан Секондо персонажи называются «Синьор в сером», «Синьора с голубым песцом», «Певница» и т. п.).

В своей театральной реформе Пиранделло опирался на опыт создателей европейской интеллектуальной драмы, а также на достижения театра «гротесков». В области драматургии он шел тем же путем, что и в прозе — от ранних пьес, написанных в традициях веризма, к новой философской драме, воплотившей идеи его книги «Юморизм».

В первых веристских пьесах, многие из которых являются переделками его новелл: «Сицилийские лимоны» (1910), «Подумай, Джакомино!» (1916), «Лиолá» (1916), «Глиняный кувшин» (1917), «Колпак с бубенчиками» (1917), и других уже проявляется ирония Пиранделло в интерпретации эстетических принципов веризма. Лучшей среди этих пьес является жизнерадостная комедия из сицилийской жизни «Лиолá», в которой крестьянский парень и поэт по прозвищу Лиолá, живущий в полном согласии со здоровыми требованиями природы и естественной нравственности, противопоставит миру сельских богачей и накопителей. Конфликт, возникший из-за корыстных интересов, разрешается в парадоксальном плане — в борьбе не за красавца, бедняка Лиолá, а за богача, немощного старика.

К 1920-м годам основной задачей Пиранделло становится воплощение на сцене новых идей о театре как зрелище, что потребовало от него коренной ломки старых представлений

¹ Жанр своей пьесы Л. Кьярелли определил как «гротеск», отсюда и название всей группы драматургов.

о режиссуре. Именно в эти годы, развивая традиции интеллектуальной драмы Ибсена и особенно Шоу и обогащая их достижениями театра «гротеска», Пиранделло создает свои самые известные философские пьесы: «Шесть персонажей в поисках автора» (1921), «Генрих IV» (1922), «Каждый по-своему» (1924), «Сегодня мы импровизируем» (1930) и др. В этих пьесах с особой остротой ставится проблема отчуждения и невозможности самовыражения человека, противоречия «лица» и «маски», реальности и мечты, относительности истины и т. п. Первой попыткой сценического воплощения идеи «драмы-спектакля», в которой действующим лицом выступает сам театр, стала программная пьеса Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора». Драматург предпослал ей предисловие, в котором обосновывает философские принципы своей пьесы и рассказывает историю ее написания. Тема «нереализованного» персонажа была подсказана Пиранделло Капуаной, который в последней новелле сборника «Малый Декамерон» (1901) набросал драму двух влюбленных, «требовавших» от автора завершить их историю¹. Но то, что для Капуаны осталось психологическим «казусом», превратилось для Пиранделло в важный эстетический принцип. Этой теме он коснулся в новелле «Трагедия персонажа» (1911) и более подробно разработал ее в пьесе. Относя себя к «писателям-философам», Пиранделло не нашел «особого» смысла в жизненной драме шести персонажей, которых однажды привела к нему его «служанка» (фантазия), и не стал писать о них ни новеллу, ни роман. Но созданные воображением и не получившие воплощения в произведении искусства, персонажи обрели неполную жизнь и мучились своей «недосозданностью». Желая избавиться от них, Пиранделло решил выпустить их на сцену. Он попытался вскрыть творческий процесс, показать, как создается художественное произведение и как соотносятся в этом процессе воображение и действительность, искусство и жизнь.

Идея придать действию бóльшую театральность заставила Пиранделло обратиться к приему «театра в театре», популярному еще в эпоху Возрождения. В пьесе Пиранделло занавес поднят, на сцене актеры, занятые репетицией новой пьесы. В этот момент из зрительного зала появляются освещенные ярким светом шесть персонажей: Отец, Мать, Сын, Падчерица, мальчик 14 лет и девочка 4 лет. Чтобы отделить персонажей от актеров труппы, Пиранделло использовал прием импровизированной комедии и «надел» на персонажей маски, выражающие

¹ См.: Капуана Л. Рассказ доктора Маджолли//Искусство и художник в зарубежной новелле XIX века. Л., 1985. С. 281—286.

суть каждого из них: Отец — угрызение совести, Мать — страдание, Сын — презрение, Падчерица — месть. Персонажи ищут автора, который воплотил бы их в художественные образы, и предлагают режиссеру поставить их драму на сцене. Пиранделло намеренно сталкивает два плана: реальный (актеры, репетирующие пьесу) и нереальный, фантастический (персонажи из ненаписанной комедии). Созданные воображением персонажи, по мысли Пиранделло, так же реальны, как и актеры, и еще более реальны, чем сама жизнь.

Драма персонажей начинается обыденно и заканчивается трагически. Это история семьи, в которой Отец, думая, что жена влюблена в другого, оставляет ее. Она уходит к секретарю своего мужа и счастливо живет с ним, оставя старшего сына. У нее рождается еще трое детей. После смерти секретаря семья возвращается в родной город. Это — прошлое. Настоящее семьи более драматично. Старшая дочь (Падчерица), чтобы спасти родных от нищеты, становится на путь порока, встречаясь с мужчинами в заведении некоей мадам Паче. Отец, узнав обо всем, раскаивается и поселяет семью в своем доме. Здесь разыгрывается новая трагедия. Старший сын отворачивается от Матери и не признает ее незаконных детей, Падчерица не хочет примириться с Отцом. Семейный конфликт завершается смертью детей: в бассейне тонет маленькая девочка и стреляется Младший сын. Режиссер, сбитый с толку всем, что происходит, не может отличить, где игра, а где реальность, и прерывает спектакль. Четверо персонажей покидают сцену — им так и не удалось воплотить себя в искусстве.

В пьесе нет последовательного развития сюжета. Драма персонажей раскрывается то в их рассказе, то в показе на сцене отдельных моментов из их жизни (например, встреча Падчерицы и Отца в заведении мадам Паче), то в финале — смерти двух детей. Эта смерть такая же фантастика, превращенная в реальность, как и появление на сцене мадам Паче, которой не было в числе персонажей. Такова сила искусства, которое может, по утверждению Пиранделло, не только заменять жизнь, но и опережать ее. Он поставил искусство на уровень действительности, противопоставив правдоподобию реальность иллюзии.

Прошлое, настоящее и непосредственная реальность как бы сосуществуют в пьесе Пиранделло, что позволяет ему глубже раскрыть драму персонажей. Эта драма психологическая, однако в ней отразился и социальный момент — трагическое положение индивида в современном писателю обществе, что он подчеркнул в судьбе Падчерицы.

Проблему отчуждения и разобщенности людей своего

времени драматург попытался обосновать философски с помощью неадекватности «лица» и «маски». В пьесе «маски» всех персонажей отражают лишь малую долю их глубинной внутренней жизни. Только «маска» Матери совпадает с ее истинным лицом страдающей женщины, целиком поглощенной одним чувством — любовью к детям.

Постановка «Шести персонажей» в Риме ознаменовалась скандалом; пьеса шла под громкие крики негодования и одобрения зрителей, большинству из которых трудно было отказаться от традиционных представлений о театре и воспринять новаторские идеи Пиранделло.

Проблему «драмы-спектакля» Пиранделло разрабатывает в двух других пьесах: «Каждый по-своему» и «Сегодня мы импровизируем», составивших вместе с «Шестью персонажами» «театральную трилогию». В новых пьесах, используя тот же прием «сцены на сцене», Пиранделло создает яркое театральное представление, стирая традиционные грани между режиссером, актерами и зрителями. Актеры как бы получают возможность импровизировать, а зрители — непосредственно участвовать в развитии действия. Так актеры, режиссер и зрители как бы вместе создают спектакль — «чудо искусства», которое длится мгновение. Пиранделло особо подчеркнул роль режиссера в творении этого «чуда».

Пьеса «Генрих IV» по праву считается одной из самых глубоких философских драм Пиранделло, которую иногда ошибочно именуют фарсом. Главный герой (настоящее его имя не называется) выступает только под «маской» германского императора Генриха IV, жившего в XI в., а его одинокая вилла предстает как императорский замок с тронным залом. Другие персонажи пьесы выступают под своими собственными именами и под именами исторических лиц. Но пьеса Пиранделло не историческая, а философская. В ней рассказывается не об участии германского императора, вступившего в конфликт с папской властью, а о трагической судьбе одинокого человека, испытывшего предательство в любви и дружбе.

Действие пьесы развивается в двух планах — прошлом и настоящем. Прошлое — молодость героя, любовь и надежды на счастье, а также и безумие в течение двенадцати лет после случайного падения с лошади, неожиданное выздоровление и разыгрывание в течение восьми лет роли императора Генриха IV. Уход от действительности в иллюзию обусловлен в пьесе конфликтом героя со светским обществом, к которому он прежде принадлежал. Когда герой, выздоровев, узнал о том, что его соперник в любви, подстроивший несчастный случай, овла-

дел сердцем его возлюбленной, он решил не возвращаться в общество, в котором для него уже не было места. Добровольно надетая «маска» Генриха IV сделалась своеобразной формой самозащиты и вместе с тем протеста и насмешки, превратив карнавальную маскарадную реальность в реальность его нового бытия.

Настоящее — встреча мнимого Генриха IV через двадцать лет с его бывшей возлюбленной и ее юной дочерью, невестой племянника главного героя, а также с его соперником и врагом и доктором, готовым вылечить больного. Все они появляются перед Генрихом IV переодетыми в костюмы исторических лиц той эпохи. Как будто их миссия гуманна — они хотят помочь главному герою обрести рассудок. Однако, вскрывая противоречие между видимостью и сущностью действующих лиц, Пиранделло показывает Генриха IV мудрецом и философом, а настоящими безумцами тех, кто хочет вернуть его в общество с его лицемерной моралью. В тронном зале разыгрывается настоящий спектакль, в котором сталкивается «игра» двух сторон: добровольная, но вынужденная игра Генриха IV и игра — светская забава приехавших на виллу, которые подвергают его жестокому испытанию: вместо портретов Генриха IV и его возлюбленной в молодости в рамы встают племянник главного героя и его невеста. В этот кульминационный момент развития действия Генрих IV вынужден сбросить «маску», чтобы разоблачить обман. Он показывает свое истинное лицо одинокого и страдающего человека и мстит за себя, пронзив шпагой своего противника. Акт возмездия, совершенный через двадцать лет, является нравственной победой главного героя, но он и углубляет его драму — теперь он уже всегда должен носить свою «маску», уйдя в созданный им иллюзорный мир.

В «Генрихе IV» нет развития характера главного героя. Его внутренняя жизнь раскрывается с помощью идеи «лица» и «маски» и предстает как сумма душевных состояний, изменчивых и непостоянных, в зависимости от ситуаций, в которых оказывается герой. Важную роль в самораскрытии персонажей драмы Пиранделло отводит парадоксу: приехавшие на виллу гости разыгрывают исторических лиц XI в., что ставит их в положение шутов, а мнимый сумасшедший, понимая это шутство, издевается над ними и даже выходит из своей роли. Второй парадокс — замена портретов живыми людьми — приводит к обратному результату: умственно здоровый человек, отомстив за себя, навсегда надевает «маску» безумия. Парадоксы в пьесах Пиранделло — это не только наследие театра «гротеска», для которого главным была пародия на современное общество и буржуазную семью, в па-

радоках Пиранделло получил отражение трагизм действительности и противоречивость сознания его времени.

В пьесах Пиранделло нет не только характера, но и развития действия в его традиционном понимании. Внимание переносится с событий на «словесное» действие, которое движет пьесу по замкнутому кругу, возвращаясь всякий раз к тому, с чего оно началось. В новой структуре пьесы нашел свое воплощение взгляд писателя на бесполезность всяких усилий самовыражения персонажей. Таким образом, «оморизм» в драматургии Пиранделло — это прежде всего анализ внутреннего мира персонажей, приводящий к разрушению иллюзий, а также соединен в пьесе трагических и комических черт.

В утверждении философского содержания драмы и новых требований режиссуры на итальянской сцене важную роль сыграл основанный Пиранделло в Риме в 1925 г. «Театро д'арте» («Художественный театр»). Деятельность театра продолжалась три года; его гастроли по Европе и в Латинской Америке принесли Пиранделло мировое признание.

Завершают драматургическую деятельность Пиранделло пьесы, которые он сам назвал «мифами»: «Новая колония» (1928), «Лазарь» (1929), «Горные великаны» (1936). Его обращение к «мифам» продиктовано стремлением обрести нравственно-философскую опору в фашистской Италии, в которой он все больше чувствовал одиночество. Это и время глубоких раздумий писателя над судьбами искусства в современном мире.

Жанр театральной притчи, к которому обратился драматург, по его мысли, открывал больше возможностей изображать вечные и неизменные человеческие чувства, которые приобретали очертания мифологических аллегорий и символов. В пьесе «Новая колония» Пиранделло проводит идею о невозможности социального переустройства общества на примере неудачной попытки начать новую жизнь на одиноком острове нескольких представителей «дна». Пьеса «Лазарь» — притча о потере и обретении веры и о духовном обновлении персонажей. Через всю пьесу проходит противопоставление догмы (ее олицетворяет огромное распятие) и жизни (ее символом является зеленый кипарис). Наконец, последняя неоконченная пьеса «Горные великаны» как бы подводит итог творческому пути писателя. В ней в форме иносказания Пиранделло воплотил свои заветные мысли о роли и назначении искусства в современном мире. В контексте творчества Пиранделло «Горные великаны» завершают тему «Шести персонажей в поисках автора», но теперь эта тема раскрыта иначе: «чудо искусства» — это не сам спектакль, а фантазия, которая его создает.

Однако это «чудо» — живую поэзию — нельзя соединить с реальной действительностью, в которой господствует грубое физическое начало, лишенное духовности, которое олицетворяют Горные великаны и их слуги (очевидный намек на фашистскую правящую верхушку). Преодолеть противоречие искусства и жизни Пиранделло намеревался (по свидетельству его сына Стефано) с помощью могучего маслячного дерева, которое должно было воплотить важную для писателя мысль о вечности прекрасного, высшим выражением которого является искусство, и самой жизни.

Дорогой для Пиранделло образ дерева — олицетворение жизни — связан и с его посмертной судьбой: прах писателя покоится возле величественной сосны в «Хаосе», в окрестностях Агридженто, где он когда-то увидел свет.

Творчество Пиранделло развивалось в переломный для итальянской истории и культуры период. Работая на стыке двух эпох, Пиранделло одним из первых ощутил и запечатлел в своих произведениях кризисный, трагический характер своего времени. Он был новатором в области новеллы, романа и драмы. Вершиной его творчества, безусловно, является его философский театр, в котором воплотились смелость мысли и творческая оригинальность. Он добивался максимального воплощения своей идеи «драмы-спектакля» как театрального действия, в которое вовлечен и зритель. От актеров Пиранделло требовал полного слияния с героями пьесы, внутренней напряженности и эмоциональности при речевой передаче текста, тщательного следования авторским ремаркам в развитии действия и в поведении персонажей, использования мнимой импровизации и приема «сцены на сцене». Все эти средства режиссерски подчинялись одной цели — утверждению реальности театральной иллюзии и силы искусства. Новаторские идеи Пиранделло и новые принципы режиссуры во многом определили пути развития европейской драматургии XX века.

И. Володина

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЕЛЛЫ

Сицилийские лимоны. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	7
Тесный фрак. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	18
Часовенка. <i>Перевод И. Соболевой</i>	30
Незабвенная душа. <i>Перевод Л. Вершинина</i>	41
В самое сердце. <i>Перевод Л. Вершинина</i>	50
В молчании. <i>Перевод Г. Рубцовой</i>	57
Все как у порядочных людей. <i>Перевод Л. Вершинина</i>	77
Глиняный кувшин. <i>Перевод Л. Шапориной</i>	95
Подумай, Джакомино! <i>Перевод Я. Лесюка</i>	104
Живая и мертвая. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	113
Соломенное чучело. <i>Перевод В. Федорова</i>	120
Пой-Псалом. <i>Перевод В. Федорова</i>	129
Счастье. <i>Перевод В. Чернявского</i>	136
Чистая правда. <i>Перевод Н. Томашевского</i>	144
Чаула открывает луну. <i>Перевод Г. Рубцовой</i>	151
Некоторые обязательства. <i>Перевод А. Ясной</i>	158
Свинья. <i>Перевод Н. Медведева</i>	165
Длинное платье. <i>Перевод Н. Медведева</i>	173
Свисток поезда. <i>Перевод Г. Рубцовой</i>	186
Тачка. <i>Перевод Н. Фарфель</i>	192
Скамья под старым кипарисом. <i>Перевод Н. Фарфель</i>	199
Покойный Маттиа Паскаль. Роман. <i>Перевод Г. Рубцовой</i> <i>и Н. Рыковой под редакцией Ю. Корнеева</i>	205

ПЬЕСЫ

Шесть персонажей в поисках автора. <i>Перевод Н. Томашевского</i>	431
Генрих IV. <i>Перевод Г. Рубцовой</i>	490
Примечания к пьесам <i>Н. Елиной</i>	552
<i>И. Володина</i> . «Маски» и «лица» персонажей Пиранделло	555

Пиранделло Л.

ПЗЗ Избранные произведения. Пер. с ит./Послесл. и сост. И. Володиной; Худож. А. Неровный.— М.: Панорама, 1994.— 576 с.— (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»).

ISBN 5-85220-202-9

Луиджи Пиранделло (1867—1936) — крупнейший итальянский драматург и прозаик, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1934 г. «за творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства».

В настоящий том включены наиболее популярные пьесы Л. Пиранделло — «Шесть персонажей в поисках автора» и «Генрих IV», лучший его роман «Покойный Маттеа Паскаль» и новеллы, большая часть которых давно не переиздавалась.

П 4703010100-02
088(02)-94

ББК 84. 4Ит

Луиджи Пиранделло
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Тексты печатаются по изданиям:

- Пиранделло Л.* Новеллы. М.: Гослитиздат, 1958
Итальянские новеллы. Л.: Гослитиздат, 1960
Пиранделло Л. Пьесы. М.: Искусство, 1960
Пиранделло Л. Избранная проза. В 2-х т. Тома 1-2
Л.: Художественная литература, 1983
Ссора с патриархом. Сборник. Л.: Лениздат, 1987

Редактор *О. Жданко*
Художественный редактор *В. Гордеев*
Технический редактор *Н. Неретина*
Корректор *С. Плисова*

ЛР № 010209 от 06.03.92.

Сдано в набор 23.06.93. Подписано в печать 06.09.94.

Формат 84 × 108/32. Бумага типографская. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная
Усл. п. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,35. Уч.-изд. л. 31,05. Изд. № 044500059. С-024
Тираж 26 000 экз. Заказ 3795

Издательство «Панорама». 123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16